

ЛЕОНТИЙ
РАКОВСКИЙ

КУТУЗОВ



Отечественные
верные
сыны





ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ

КУТУЗОВ

Роман

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1987

Редакционная коллегия библиотеки «Отчизны верные сыны»

Алексеев М. Н. (председатель)

Ананьев А. А.

Волгонов Д. А.

Горбачев Н. А.

Грибов Ю. Т.

Жарков В. М.

Карпов В. В.

Леонов Б. А.

Мосийкин В. В.

Овчаренко А. И.

Островский А. В.

Проханов А. А.

Сахаров А. Н.

Стаднюк И. Ф.

Предисловие М. Н. Алексеева

Оформление серии В. А. Тогобицкого

Оформление тома, иллюстрации М. Л. Буткина

Печатается по изданию: Раковский Л. И. Кутузов: Роман. — М.: Воен-
издат, 1962

Р — 4702010200—080 КБ — 13—41—87
072(02)—87 БЗВ — 1—2—87

© Вступительная статья. Оформление. Иллюстрации.
Издательство ДОСААФ СССР, 1987.

СЛОВО
О ПОДВИГЕ

Готовность к защите Отечества — святое, уходящее корнями в седую даль времени проявление патриотизма, свойственное всем поколениям нашего народа. В старинном жизнеописании Александра Невского враги сулят: «Пойдем, и победим Александра, и захватим его». «И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью». Так пишет автор древней рукописи. На льду Чудского озера был разгромлен хвастливый, закрытый с головы до пят железом противник. Вспомним гениального создателя «Слова о полку Игореве», главную тему бессмертного произведения русской литературы: «Загородите Полю ворота своими острыми стрелами, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!»

Замечательно сказал в своих «Раздумьях у старого камня» наш великий и мудрый современник Леонид Леонов: «Наши былины и живопись не раз брали темой раздумье могучего, в броне, конного витязя на распутии посередине мертвой костью усеянного чистого поля. Заботливые деда и посмертно, самими останками своими наставляют уму-разуму опрометчивых внучат. И в том состоит их наука, что никому в нашей необъятности знать не дано, что поджидает тебя, вперед — поганая Калка, предпобедное Бородино, славное поле Куликовское». Леонов напоминает трагический сорок первый: в прекрасное суровое утро ноябрьского парада пришлось выкапывать «на передовые позиции столь устарелую, казалось

бы, артиллерию с клеймами Суворова, Дмитрия Донского и даже сопричисленного к лику святых Невского Александра. Причем делал это предельного авторитета человек — с грозным, на весь свет гулким именем».

Всматриваясь в нашу жизнь, еще и еще раз убеждаешься в том, что память — сила поистине созидаящая. Она заостряет наше сознание, пробуждает совесть в человеке. Она производит материальные блага, ибо человек трудится на своем посту, сознавая, что работает и за того, кто пал в бою, замучен в фашистских застенках. И за их не появившихся детей, внуков. Нам всегда будет не хватать погибших в Великую Отечественную войну. Поэтому и говорим о невосполнимости потерь. Поэтому и мера ответственности живых должна быть выше. Память — это не только и не столько слезы и скорбь о павших. Это и работа души моего современника, воспитание на примерах предков, на подвигах наших солдат — освободителей человечества от коричневой чумы. Память всегда должна быть на посту, на чеку. Память — это стержень, на котором держатся и приумножаются традиции. Идут красные следопыты по местам боев — это крепнет и обогащается, а одновременно и работает наша память. Сооружаются памятники, обелиски, создаются музеи руками новых поколений с помощью ветеранов, проводятся встречи с участниками боев — все это остается в памяти и создает человека-патриота, подлинного гражданина Союза Советских Социалистических Республик, готового встать на защиту завоеваний социализма.

Многовековая история человечества оставила нам достаточно свидетельств того, что нельзя победить, уничтожить тот или иной народ силой оружия, но можно втоптать его в грязь, превратить в быдло, в раба более хитрым способом: для этого нужно только лишить народ исторической памяти, то есть выбить из-под его ног опору, именуемую чувством национальной гордости и патриотизма. Чувством, не имеющим ничего общего с чванливой националистической спесью.

Историческая память — могучий арсенал и могучее оружие в руках народа. И в наших силах, и в наших обязанностях сделать все, чтобы оно не притуплялось, не покрывалось ржавчиной, а все более оттачивалось и содержалось в полной сохранности. Грядущие поколения не простили бы нам, если бы мы забыли о подвигах великих предков, равно как и мы не простили бы им, если бы они предали забвению дела и подвиги наши, наших героев.

Людская память не так уж коротка. Я вспоминал выше наши древние литературные памятники, уже тогда, столетия

назад, память народа оставила свой след в назиданье потомкам. Слово не исчезает. Оно зовет, будоражит, волнует, учит, свидетельствует. У него созидаящая сила. Традиция патриотизма перешла от старорусских книжников и летописцев к Пушкину, Карамзину, она зазвучала в стихах Ломоносова, Державина. Вдохновенно заговорила муза поэтов-декабристов. А после появились горячие, гордые строки Гоголя, Толстого.

Говоря словами Герцена, «книга — это духовное завещание одного поколения другому». Классикой нам завещано огромное богатство. Уроки патриотической классики непреходящи. Разве смог бы подняться на такую огромную нравственную высоту советский человек без книг наших классиков? Великие мастера всегда будут любимыми учителями людей. Воспитание героинкой продолжила и наша — советская — литература, наследница лучших традиций классического искусства. Мое поколение, то самое, которое приняло на себя первый страшный удар гитлеровских полчищ и вынесло все тяготы войны до победного штурма Берлина и разгрома Квантунской армии, это поколение мужало на книгах Шолохова, Фадеева, Алексея Толстого, Фурманова, Всеволода Иванова. Убежден, что в душе нашего поколения настоящую крепость возвел Николай Островский своим прекрасным романом «Как закалялась сталь». Писатель совершил подвиг, равный выигранному сражению.

За много лет до Великой Отечественной созревали человеческие души. И я потом видел под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре: солдаты наши приходили на поле боя со своей верой в победу, она в них крепко сидела. Во многом и благодаря литературе. Книгам. В душе советского человека был накоплен огромный потенциал сопротивляемости жестокостям войны. Солдат выдержал натиск врага и в конце концов победил. Писатели-фронтовики дали психологический срез мнувшего испытания, и тем самым был сделан следующий шаг в решении военной темы, воссоздана правда, художественно пересмыслена природа народного подвига.

Тема войны в литературе наполнена огромным философским и нравственным содержанием. И в лучших книгах она раскрывается ярко и всегда по-новому. Наша «военная» литература качественно отличается от зарубежной. Главное отличие — в гражданском миропонимании героев книг. Солдат, защищающий интересы народа, рожден революцией, его характер преобразован Октябрем. До последнего часа не пе-

рестанет волновать мой ум и сердце неисчерпаемость солдатского братства, подвига и подвижничества. Много переплавилось в огне Отечественной, но преданность тому солдатскому делу осталась у писателей-ветеранов. Самое трудное в твоей судьбе, но сопричастное подвигу народному всегда свято.

Издательство ДОСААФ СССР, призванное приобщать массового читателя к военно-патриотической литературе, начинает большое дело: выпуск библиотеки «Отчизны верные сыны», которую составят лучшие произведения русской и советской художественной литературы, посвященные защитникам Родины. Пятьдесят томов библиотеки выйдут к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Уникальная идея! Заслуживающая поддержки, заинтересованного внимания. Понятна и духовная значимость такой библиотеки. Слово о подвиге выстроится в ряд очень нужных нам книг.

В числе первых книг издательство планирует выпустить романы А. Субботина «За землю Русскую», П. Федорова «Генерал Доватор», Ю. Андреева и Г. Воронова «Багряная лептись». О подвиге, о ратном труде, о солдате талантливо, с высшей мерой правды расскажут лучшие произведения Ю. Бондарева и А. Ананьева, К. Симонова и Э. Казакевича, В. Пинкуля и Н. Горбачева, Г. Бакланова и В. Карпова, Г. Данилевского и М. Загоскина, А. Серафимовича и Д. Фурманова, других русских и советских писателей. А открывается библиотека романом-хроникой Леонтия Раковского «Кутузов». Такой выбор не случаен. 175 лет назад народный избранник Михаил Илларионович Кутузов возглавил борьбу русской армии, народа против наполеоновских захватчиков. 175 лет назад полыхала Отечественная война 1812 года, окончившаяся полным поражением неприятеля, изгнанием врага из пределов России. Славная страница нашей истории.

У меня есть экземпляр романа Раковского, подаренный мне автором в Ленинграде в 1968 году с надписью: «Михаилу Николаевичу Алексею — мою десятилетнюю работу». Десять лет трудился над «Кутузовым» писатель. Немалый срок... Теперь скажу несколько слов об авторе романа-хроники.

Леонтий Иосифович Раковский (1896—1979) родился в Белоруссии в небольшом местечке Глубокое. Там прошли его детство и отрочество. В 1915 году он поступил в Киевский университет на историко-филологический факультет. Гражданская война прервала обучение. Будущий писатель служит в Красной Армии, затем занимается вопросами внешкольного

образования. В 1922 году Леонтий Иосифович приезжает в Петроград и поступает в университет для изучения общественных наук, который заканчивает в 1924 году по отделению права.

Писать он начал рано. В 1916 году в студенческом сборнике Киевского университета «Звено» было напечатано его первое стихотворение. А первый из рассказов — «Месь» — был опубликован в журнале «Ленинград» в 1924 году. Учился в университете, Раковский активно печатает в «Ленинградской правде» статьи и очерки. Одновременно он выступает и в качестве беллетриста. В 1927 году выходит сборник его повестей и рассказов «Зеленая Америка», в 1928 году — «Синюпляс», в 1930 — роман «Четвертая жена», а в 1931 — повесть «Блудный бес». Эти произведения отмечены знанием быта белорусских местечек, юмором, яркими сценами, но, как заметно сейчас, несли на себе черты влияния Зощенко и отчасти Бабеля. И хотя читатели и литературная общественность в целом благосклонно приняли первые беллетристические опыты Раковского, сам писатель оставался внутренне не до конца удовлетворен своим творчеством. Он искал иной путь. И нашел: с середины 30-х годов и до конца жизни Раковский занимается исторической прозой. Работа с подлинно историческим документальным материалом — вот та стихия, в которой Раковский по-настоящему обрел себя.

Интерес к прошлому у настоящего писателя, как и интерес к исторической романистике, объясняется стремлением не только к познанию старины. Исторический прозаик многое способен прояснить читателям и в нашей, нынешней жизни. Сказанное, несомненно, относится и к лучшим произведениям Леонтия Раковского.

В 1960 году появляется самый значительный из исторических романов Раковского «Кутузов». Все, что было накоплено писателем за прошедшие десятилетия, нашло в этой книге наиболее полное выражение. В центре произведения — дорогой всем нам образ Кутузова, великого военачальника, которого Россия призвала в годину смертельной опасности и который с честью оправдал надежды Отечества.

Конечно, после толстовского романа «Война и мир» дерзко было приниматься за жизнеописание Кутузова и историю Отечественной войны 1812 года. Но Раковский и не состязался с гением мировой литературы — его задача состояла в том, чтобы высветлить, сделать известной в подробностях биографию русского полководца и дипломата, достойного продолжателя побед Александра Суворова. У Раковского главной чертой

Кутузова является высочайшее воинское мастерство, умение понять и осмыслить множество самых разнообразных факторов и поставить их на службу победе.

Подробный рассказ о молодых годах Кутузова, о его службе под руководством Румянцева, о тяжелейшем ранении в голову, о жизни в Петербурге, о наводнении 1773 года и множестве других историко-биографических фактов составляет содержание первой части романа-хроннки.

Мы раньше были осведомлены о полководческом искусстве Кутузова, но значительно меньше до романа Леонтия Раковского знали о его дипломатической и военно-административной работе. А между тем деятельность Михаила Илларионовича в качестве дипломата и администратора (так, например, Кутузов был военным губернатором Петербурга при Павле I) в значительной степени содержала предпосылки той мудрости, крепости духа, которая и позволила Кутузову в урочное время одержать победу над Наполеоном.

Вторая часть книги, целиком посвященная эпохе 1812 года, построена на множестве малоизвестных, в том числе и французских, исторических источников. Безусловно, в этом романе, во второй его половине в особенности, читатель найдет немало созвучного и нашему недавнему прошлому, и нашим дням. В годы появления романа не могли не вызвать, например, широких ассоциаций картины всенародного партизанского движения, развернувшегося в тылу французских войск. Автор при работе руководствовался словами самого полководца, не утратившими патриотического звучания по сей день: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел; народ, который в продолжение стольких лет не знал войны на своей территории, народ, готовый жертвовать собою для Родины и который не делает различий между тем, что допустимо или недопустимо в обычных войнах. Что же касается до армий, которыми я командую, то я льщу себя надеждой... что все признают в их образе действий принципы, характеризующие храбрую, честную и великодушную нацию...»

Специалисты-исторники отмечали высокую научную достоверность романа, безукоризненную точность автора в обращении с историческими фактами. Специалисты-литературоведы писали о жизненной достоверности характеров Кутузова, Павла I, Александра I, Наполеона и многих других персонажей произведения.

В перспективе планируется выпуск еще одной книги Раковского — «Адмирал Ушаков», которую прозаик завершил в 1952 году.

Мы надеемся, что все произведения, которые составят библиотеку «Отчизны верные сыны», помогут читателям — особенно молодым — еще раз прикинуть к неслыханному источнику, имя коему — патриотизм. Синова и снова мне хочется назвать планету нашу «космическим кораблем человечества». Можем ли мы допустить, чтобы кто-то из находящихся в нем сознательно портил его, старался сбить с естественной для него мирной орбиты, подвергая опасности жизнь пяти миллиардов «пассажиров», то есть все человечество вместе с созданной им в течение тысячелетий цивилизацией?! Поэтому, думая о каждодневных наших делах, мы обязаны постоянно помнить о главном из них — о священном деле защиты мира, а стало быть, и Земли как таковой. Без патриотизма, без горячей любви к родной — своей, отчей, Отечественной — колыбели, к земле предков, к традициям не родится и чувство единения со всем человечеством.

Наследие народного подвига на протяжении десятков столетий побуждает нас оберегать мир, саму жизнь. И литература, как часть этого наследия, помогает нам быть памятливей, мудрее, крепче.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ,
председатель редакционной коллегии
библиотеки «Отчизны верные сыны»,
Герой Социалистического Труда

Часть первая

«ИЗ СТАИ СЛАВНОЙ»



**СЛАВА КУТУЗОВА НЕРАЗРЫВНО
СОЕДИНЕНА СО СЛАВОЮ РОССИИ.**

Пушкин

Глава первая

«ЧУГУН КАГУЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩЕН!»

С малым числом разбить великие силы тут
есть искусство и сугубая слава.

П. Румянцов

Сражение при реке Кагуле походит более
на баснословное, нежели на действительно
историческое.

Д. Бантиш-Каменский

I

Россия не хотела войны, но турки навязали ее. Европейские покровители турок уговорили Османскую Порту напасть на русских. Они боялись того, что силы России растут с каждым днем и что с каждым днем растет ее влияние в Европе.

Европейские враги России думали ослабить ее. Они убедили турок, что с такой армией, как турецкая, можно завоевать весь мир.

И война началась.

Русско-турецкая граница проходила по открытым причерноморским степям, удобным для нападения.

В первые же месяцы войны, осенью 1768 года, подвластные Турции крымские татары попробовали сделать набег на Украину, как делали они это сотни лет подряд.

Русские отбросили их, нанеся татарам большой урон.

Это был последний набег крымских татар на Россию.

1769 год прошел в незначительных военных операциях.

А летом следующего, 1770 года генерал Румянцов разбил турок и крымских татар в Молдавии у Рябой

Могины и на реке Ларге, несмотря на то, что враг имел большое численное превосходство.

Разбитые 7 июля у Ларги турки и татары бежали в беспорядке.

Легкая кавалерия и егеря, всегда шедшие впереди армии, неутомимо преследовали турок уже шестой день.

Июльское солнце стояло над головой. На небе ни облачка. Давила полуденная духота и дорожная пыль.

Укрыться бы хоть на часок под чахлыми кустиками, да некогда: тотчас же после Ларги командующий армией Румянцов приказал авангарду генерала Боура узнать, куда враг «ретираду держит».

И вот авангард поспешал из последних сил.

Измученная кавалерия вперемешку с егерями растянулась по всей дороге до самого горизонта. Коня едва тащились. В русской кавалерии лошади были рослые, требовавшие хороших кормов. А какой корм в выжженной солнцем степи?

Егеря не отставали от карабинеров: недаром в егеря Румянцов велел отобрать расторопных, проверенных и ловких людей. Они шли, по своему обыкновению, налегке: ни тяжелых гренадерских сум, ни палаток, ни шпаг. Одно винтовальное тульское ружье со штыком. А за плечами полупустой шнабзак — вешевой мешок.

— Сторонись, кавалерия: пятки отдавим! — шутил молодой егерь, поравнявшись с усталыми конниками.

— Катись, катыш! — беззлобно отвечал карабинер.

— Ишь, чуть от земли виден, а туда же! — откликнулся другой, глядя на опережавших их пехотинцев: в егеря брали малорослых.

Егеря не остались в долгу:

— Егерь ростом не велик: мал, да дорог золотник! — ответил словами песни один.

— Гляди, экой великан выискался!

— Взгрозоздился на бедную скотинку и доволен!

— Слезь с коня, и ты больше нашего ростом не выйдешь! — отбивались другие.

— Нет, брат, — не сдавался карабинер. — Я — два аршина восемь вершков. А у вас, егерей, больше пяти вершков не положено. Видел я, как в прошедшую прусскую кампанию генерал Румянцов впервые заводил эту вашу блошиную команду!..

— И отчего вы, карабинеры, так утомились? — поддевал егерь. — Ведь Петра Александрович почти на два

пуда уменьшил вашу снасть. А что делали бы вы, если бы на вас кирасы да колеты еще остались?

— А ты разве столько несешь, сколь мушкатер? — огрызнулся карабинер. — Ни шпаги у тебя, ни гренадерской сумы. Не в снаряжении дело. Первое дело — конь. Сам знаешь, он животная нежная, не как человек. Он такую воду, как мы с тобой пьем, и в рот не возьмет! Опять же еда. Нехотя притомисься тут...

— И то верно! — согласились егеря.

— И куда же вы, егеря, так прятко?

— За туркой!

— Не поймаешь: турок хорошо пятки салом смазал. Который день его ни слуху ни духу!

— Ан поймаем!

— Ну, бегите, ловите! Вам — пешки мало замешки, а нам — коня седлай, амуницию надевай! — отшучивался карабинер.

Егеря один за другим обгоняли еле тащившихся карабинеров. Навстречу им из-за пригорка выехал казак. Загорелый, черный от пыли, одни зубы белые. Широкая русая борода, а глаза молодые, двадцатилетние.

— Что, станишник, назад ударился?

— Чего испугался? — спрашивали егеря.

— А знатная у тебя, казачок, грудка русая! Чай, тепло? — шутили безбородые егеря, намекая на пышную казачью бороду.

— Благодарение господу. Не жалуюсь! — ответил казак. — А где ваш полковник, ребята? — серьезным тоном спросил он.

— У нас не полк, а батальон! У нас не полковник, а капитан.

— Ну, давай капитана!

— А тебе зачем?

Егеря — рады случаю — остановились, окружив казака.

— Надо: тьма-тьмущая турки валит, — махнул куда-то в сторону нагайкой казак. — И конница, и пехота, и пушки, над землей такой гул да трескотня, как на току.

— Дошли, братцы!

— Не убей! — зашумели егеря.

— Вот капитан! — указали казаку.

Сзади, в гуще егерей, ехали два офицера. Один — лет тридцати пяти, осповатый, с какой-то презрительно сощуренной физиономией. Похоже было, что офицер вот-

вот чихнет. Другой — лет на десять моложе, миловидный, румяный, быстрый, как и надо быть егерскому командиру.

— Тот, рябой? — переспросил потише казак, мягко нагибаясь с седла к егерям.

— Да нет, другой, что помоложе, русский!

— Ай не видишь: кареглазый — наш, русский, а тот высокий — его помощник француз, капитан Анеужели.

— Это что, евоная прозвища такая — Анеужели? — улынулся казак.

— Да, фамилия.

— А нашего, русского капитана, как звать-то?

— Михайло Кутузов.

Казак тронул коня и поехал навстречу офицерам.

— С чем, борода? — окликнул казака кареглазый офицер.

— Турок отыскался, ваше благородие.

— Где? — оживился Кутузов.

— Недалече. Верстов с пятнадцать.

— Чудесно. И много их там?

— Без счету, ваше благородие.

— Наконец-то! Что ж, придется поехать полюбопытствовать, не так ли? — обратился к капитану Анжели Кутузов.

Анжели только поморщился:

— А зачем? Ведь казак видел?

— Точно так, ваше благородие, видал!

— Как зачем? Рекогносцировать. Петр Александрович всегда так учит: обозреть самому! Он самовидцу больше доверяет!

— В Европе так никто не делает!

— В Европе у вас многого не делают. У вас и ночью не воюют, а вот Петр Александрович — воюет, и с успехом!

— Поезжайте один, Михайло Илларионович, а я останусь: немоготу, жара...

— Труса празднуете, Франц Карлович, а зря: опасности-то никакой! — насмешливо улыбаясь, посмотрел на Анжели Кутузов. — Пойдем, братец!

Он кивнул казаку и пришпорил коня.

Капитан Анжели вспыхнул — так о нем при солдатах! Молокосос! Мальчишка! Но ничего не сказал, а, отъехав в сторону от дороги, стал слезать с коня. Проходившие егеря смеялись втихомолку:

— Не в бровь, а в глаз: энтот Анеужели и впрямь трус!

— Трус, да еще каких мало. Даве, в бою, все возле обожа только и спасался!

— А гляди, наш Михайло: даром, что молодой, а остер!

— Да, брат, и сметлив!

II

Небольшая молдаванская деревня Гречени — полтора десятка мазанок, разбросанных как попало по степи, — неожиданно-негаданно оказалась в центре расположения русской армии.

Сначала до деревни доносились пушечные раскаты, и жители с ужасом ждали, что на Гречени налетят турки и предадут все огню и мечу. Потом все стихло, словно нигде не было никакой войны.

И вдруг однажды на рассвете появились русские войска.

Вся степь пришла в движение. Пушки, кони, люди, повозки охватили Гречени со всех сторон.

Вокруг нее стала лагерем армия генерала Румянцева.

Белые палатки, усеявшие степь, напоминали издали стадо гусей, слетевшихся на пастьбу.

Тихая, затерявшаяся в степи деревенька ожила. Ее мазанки заполнились генералами и офицерами. Хозяева уступали гостям чистую прохладную горницу: сами они все равно никогда не жили в ней. А солдаты уж устраивались кто как умел: в будяке и чертополохе, пожелтевшем на солнце, во дворе, у громадной — чуть поменьше хаты — плетеной кошелки, куда молдаване ссыпали початки кукурузы, или под одиноко стоящей каруцей, выискивая хоть какое-нибудь подобие тени. И обсуждали новую стоянку:

— Это называется у них — двор: ни сарая, ни гумна!

— Телега ихняя — каруца — и та вон жарится на солнцепеке.

— А молдаванину что? Он все равно колес никогда не мажет!

— И хоть бы деревцо! Солнце встанет — опять деваться некуда.

— А все-таки дома у них ладные, чистые. Вишь, окна и двери как размалеваны...

— Да что толку-то в чистоте, коли в избе настоящей русской печи нет. Один очаг в сенях.

— Нет, это хорошо, что варят в сенях: в избе чище!

— Чисто-то чисто, да красного угла у них нет...

— И спят где попало. Войлок по всей избе таскают. То ли дело у нас: печь.

— Ты все о холоде позабыть не можешь. Тут, брат, морозы поменьше, чем у тебя в Архангельске...

— Слышь, а как эта деревенька прозывается?

— Гречани.

— Выходит: «Гоп, мои гречаники»?

— Да. Наш Петра Александрович не зря подобрал такую — Гречаники: он любит все украинское, вырос на Украине!

— А знаешь, бабы тут схожи на украинок, ражие.

— Э, далеко куцему до зайца! — отозвался украинец.

— Наша Одарка чи Пидорка як буря по хате носится, и кричит, и сокочет. А эта чуть ворушается и только одно знает: «Нушти русешти».

— Верно, народ здесь тихий.

А кое-кто раздумывал о другом.

— Сказывают, турок отселе недалече.

— Эх, рогаток нет. Обставились бы ими — все надежнее от турка! — говорил старик гренадер, который еще никак не мог привыкнуть к тому, что генерал Румянцева уничтожил все рогатки. Раньше и на постое, и в бою пехота ограждалась ими от налетов турецкой конницы.

— Зря жалеешь, дядя! — возразил гренадер помоложе. — Петр Александрович верно сказал: рогатки — трусу заграда, храброму помеха!

— Пропади они пропадом, эти рогатки! — поддержал другой. — Ты их не перетаскивал в бою, так тебе можно хвалить. А как мы вшестером из нашего взводу таскали их, так несладко было. Бусурман только и глядит, как бы перво-наперво срубить переносчиков. А у нас руки рогаткой заняты и за оружие не взятыся!

— Сказано: надейтесь не на рогатку, а на штык!

— Без них и обозу легче!

— Теперь обозу и так легко, — ворчал старик. — Про-виант на исходе. Пустые мешки возят...

— Не пропадем: у молдаванина кукуруза есть.

— Привезут. На целый месяц привезут. Провиант идет! Обоз не поспевает за нами: ведь только намерен он через Прут перешел.

Армия Румянцева действительно находилась в довольно трудном положении: провианта при себе было только до 21 июля, а впереди и сзади стоял численно превосходящий противник.

Если бы действовать по европейским правилам, то надо было бы торопиться назад, навстречу обозу. А Румянцов, подойдя к Греченим, остановился: он ждал, когда подойдут обозы, которые отстали на шестьдесят верст.

При Ларге Румянцов воспользовался тем, что визирь еще не переправился с главными силами через Дунай, и ударил на крымского хана Каплан-Гирея, который командовал соединенными турецко-татарскими силами.

А теперь Румянцов принужден был выжидать. Он стоял, зная, что визирь тем временем переправится и соберет все силы, но не боялся этого, надеясь на свои войска.

На второй день стоянки у Гречени в полдень с юга донесли пушечные выстрелы.

В бою турки обычно палили торопливо, без толку, а тут стреляли размеренно и не спеша.

Было похоже на салют.

Румянцов понял: радуются, что наконец пришел с главными силами сам визирь Халил-бей.

Русская разведка подтвердила это: Халил-бей переправился через Дунай у Исакчи. Туркам в конце концов удалось навести мосты: в этом году река разлилась так широко, что старики не помнили такого половодья.

Визирь с громадными силами в сто пятьдесят тысяч человек при ста сорока орудиях надвигался с фронта, а сто тысяч татар все время норовили напасть с тыла на армию Румянцева, в которой насчитывалось не более двадцати пяти тысяч человек при ста восемнадцати орудиях.

Казаки в тот же день донесли: визирь остановился у деревни Вулканешти, до которой от Гречени было восемь верст.

— Если Халил-бей раскинет у Вулканешти хоть одну палатку, я атакую его немедленно! — сказал своим генералам Румянцов.

Генералы знали, что Румянцов не побоялся сделать это. Они запомнили, как на военном совете перед Ларгой командующий сказал: «Слава и достоинство воинства российского не терпят, чтобы видеть неприятеля и не наступать на него!»

Но генералы знали также, что Петр Александрович вместе с тем очень осмотрителен и осторожен.

На следующий день, утром 20 июля, у Гречени уже появились турецкие конные разведчики. Они кружили на своих резвых скакунах, подлетали к самым передовым постам, джигитуюя, что-то крича и стреляя на всем скаку.

Карабинеры и кирасиры не рисковали выступать против них на своих тяжелых лошадях, пригодных больше для парада, чем для боя.

Но казаки Иловайского сразу кинулись в стычку — пятерых спагов¹ зарубили, а остальных прогнали за Траянов вал.

Румянцов приказал казакам захватить «языка».

Через час к русскому лагерю снова примчались зайчишковые, как оводы, наглые спаги. Их было около двух десятков. Один из турок, в малиновой чалме, был с зеленым значком на пике.

Казаки тотчас же кинулись на спагов.

— Берите живьем этого, со значком! — крикнул своим донцам урядник.

Казаки старались как-либо отбить в сторону турка, возившего значок. Они насккивали, но спэг отмахивался значком. Пугливые казачьи кони каждый раз шарахались в сторону, и турок ускользал из рук.

— Вот я сейчас его, сучьего сына! — обозлился урядник. Он изловчился и выстрелил из пистолета в коня всадника.

Турецкий конь рухнул на передние ноги, а спэг перелетел через голову и шлепнулся, как мешок.

Казаки в один миг скрутили его.

На выручку своего бросились остальные турки, но девятых из них казаки уложили, а около десятка спагов успели ускользнуть.

Пленного спага повели к командующему армией.

¹ Спаги — легкая кавалерия. (Прим. автора. В дальнейшем все примечания принадлежат автору.)

Пленный, поджав под себя ноги, невозмутимо сидел перед мазанкой, в которой помещался командующий русской армией. Турок устался в землю, не обращая внимания ни на часовых, застывших у дверей мазанки, ни на входивших в нее и выходивших офицеров.

Двое карабинеров с палашами наголо стояли возле спага, изнывая от жары. Карабинеры с удивлением смотрели на турка: как может он сидеть в такой чалме, окутавшей всю голову, когда в треуголке, которая прикрывает одно темя, и то нестерпимо?

Черноглазые молдаванские ребятишки выглядывали из-за угла, терпеливо ожидая, что же будет дальше. За эти дни они уже привыкли к русским и смело шныряли по лагерю.

Переводчик, низенький, тучный армянин, старался как-либо укрыться в тень камышовой крыши мазанки и все поглядывал на дверь: скоро ли выйдет командующий?

Наконец послышались голоса и шаги. Из мазанки не торопясь вышел высокий, величественный Петр Александрович Румянцов.

За ним шли генералы Боур, Племянников, Олиц, Репнин и инженер-генерал Илларион Кутузов.

Переводчик подбежал к пленному, что-то быстро сказал ему и слегка ткнул турка в бок носком сапога.

Турок лениво поднял вверх голову, нехотя поднялся на ноги и вдруг, заливаясь краской, быстро залопотал.

Он запальчиво выпалил несколько фраз, среди которых мелькнуло слово «Румянчу», и так же неожиданно смолк.

— Чего он хочет? — сурово спросил Румянцов.

Армянин перевел:

— Русские только надеются на свои пушки, против которых, конечно, никто не может устоять: они разят, как молнии! Но пусть русские не стреляют. Пусть Румянцов прикажет, чтобы его солдаты вышли как храбрые воины — с одним мечом в руках. И тогда он увидит, могут ли неверные противостоять мусульманам!

— Кипи, кипи, збанок, доки вухо не вырвется! — усмехнулся командующий, взглянув на генералов.

Турок исподлобья смотрел на него.

— Где визирь? — строго спросил Румянцов.

— В Вулканештах.

— Как расположен лагерь?

— В долине, на левом берегу реки, где она впадает в озеро Кагул.

— Войска много?

— Без числа.

— Сколько пушек?

— Как дней в году!

— Ну, положим, не столько! — ответил Румянцов. — А какого калибра? Больше, чем были при Ларге?

— Больше. У нас есть пушки «балгемес». Их каждую везут сорок буйволов.

— А что такое «балгемес»?

— «Балгемес» по-турецки значит: «не едят меду», — ответил переводчик.

Румянцов усмехнулся:

— Да, это известно: от любой пушки — врагу сладости мало. А обозы-то богатые?

— Обозы богатые. Но русским не видать их как своих ушей! Вас мало. Вы будете раздавлены, как козявки! — убежденно твердил пленный.

— Когда же Халил-бей собирается нас раздавить?

— Завтра после намаза: завтра счастливый день.

— А где татары?

— За озером Ялпук.

— Почему они не вместе с турками?

— Татары осрамились при Ларге. Мы больше не хотим выступать вместе с ними.

— Так вам и поверили! — сказал Румянцов. — Янычары роют окопы? — спросил он, зная, что турецкая пехота предпочитает драться за укрытием.

— Роют.

— Значит, все готово к бою?

— Готовятся. Визирь подарил пашам по шубе. Паши поклялись, что, не разбив русских, не уйдут!

— Так, так. Завтра пашам и без шуб станет жарко!

Турок снова заговорил о чем-то очень горячо.

Армянин перевел:

— Турок хвалится, что перед их знаменем пророка не устоит никто: санджак-шериф — кипарис побед, зеленое знамя калифов! Чуть на него взглянет неверный, сразу же ослепнет!

— Ну, уж понес чепуху! — досадливо махнул рукой командующий. — Довольно. Все ясно. Уведите его!

И Румянцов пошел назад в мазанку.

«Медлить нельзя, надо предупредить Халил-бея, — думал он. — Татары раньше завтрашнего полудня не успеют к нему на помощь!»

В маленькой молдаванской хате командующий казался еще более высоким и мощным.

У окна на столе лежала карта. Румянцов нагнулся над ней.

Генералы почтительно стояли поодаль.

Румянцов смотрел на карту и думал:

«Визирь уверен в победе. Он даже не позаботился выбрать лучшую позицию: стал не на высотах, а в долине. Ему удобно перебрасывать свою конницу по долинам. Он уверен в том, что ему не придется отступать. Надо воспользоваться оплошностью врага. Наступать немедленно!»

А генералы в это время раздумывали: что предпримет командующий в таком трудном положении? Отступать в виду превосходящего в десять раз противника уже опасно, но и наступать с двадцатью пятью тысячами против двухсот пятидесяти не шутка! В случае неудачи армия Румянцева оказалась бы запертой в узком пространстве между двух рек и больших озер.

Румянцов повернулся к начальникам дивизий.

— По моему простому рассуждению, — начал он своим любимым присловьем, — надо выступать сегодня в час полуночи. Ударим, пока визирь не догадался переменить позицию. Вот смотрите, господа!

Генералы подошли к столу.

— Генералу Боуру идти по высотам к левому флангу турок. Племянникову и Олицу — туда же. Остальным — отвлекать неприятеля.

Многословия Петр Александрович не любил. Замысел командующего был ясен: Румянцов намеревается ударить всеми силами в одно место. В бой идти пятью каре. Бой начать ночью!

Все по-своему, не так, как учит Европа. Все по-русски!

IV

Войска, построенные в пять колонн, ждали сигнала к выступлению. Сегодня командующий приказал бить вечернюю зорю на два часа раньше, чтобы люди успели выспаться. И хотя была ночь, но в колоннах никто не клевал носом.

Полки стояли «вольно».

— Курить и говорить — на месте! Чтоб на марше ни огонька, ни звука! — таков был приказ.

Курили, переминаясь с ноги на ногу, думали, перешептывались:

— Знато это, братцы, что впереди — Траянов вал: турок не видит, что ему готовится!

— Бусурман спит спокойно.

— Чего ему бояться! Нас против него — горсточка!

— А хорошо это придумал Петр Александрович — выступать ночью: не жарко и враг нас не ждет.

Генерал Боур с остальными офицерами — графом Воронцовым, князем Меншиковым и Михайлой Кутузовым — стоял между егерями, разговаривая.

Вестовые держали командирских лошадей.

К Боуру подошел капитан Анжели. Француз шел скорчившись и держась одной рукой за живот.

— Что с вами, капитан? — участливо спросил Боур.

— Живот схватило, ваше превосходительство. Как ножами режет, — хмуро ответил Анжели.

— А что вы ели? Лапти дульче?

— Ел эту проклятую молдаванскую маринованную тыкву с чесноком. Теперь ни стоять, ни сидеть...

— Подите ко мне в хату. Полежите. Выпейте водки или хотя бы здешней ракии. Авось пройдет. Вы нас успеете догнать!

Анжели только стонал.

— И надо же, перед самым боем схватило, — почувствовал Воронцов.

— Да, да, — натужно сказал Анжели и, все так же скрючившись, пошел по направлению к Греченям.

— Медвежья болезнь приключилась! — вполголоса сказал вслед ему Кутузов.

Двадцатичетырехлетний подполковник Меншиков не выдержал, фыркнул. Первая шеренга егерей слышала весь разговор и оживленно перешептывалась:

— Анеужели тягу дал!

— И как ему не стыдно?

— А зачем барину-то голову класть за чужое отечество?

— Тогда не лезь в нашу армию! Сиди у себя дома на печке!

— Да, назвался груздем, полезай в кузов!

Сзади послышался конский топот и какие-то голоса.

— Кто там шумит? — восторженно Буор, взглянув назад, где стояли его двенадцать эскадронов карабинеров и гусар.

В полутьме летней ночи вырисовывалась приближающаяся группа всадников. Еще минута — и все сразу узнали высокого румянцовского жеребца Цербера, которого солдаты звали по-своему, понятнее, — Цебер. На Цербере возвышалась представительная фигура командующего. За ним трусили три адъютанта: Румянцов не любил пышной свиты.

— Са-ам!

— Петра Александрович! — заговорили егеря, к которым подъезжал он.

Буор и командиры батальонов поспешно сели на коней.

— Не робеть, ребята! — не спеша, раздельно и четко говорил командующий. — Вспомним Ларгу! Вспомним Рябую Могилу! Была могила турку и впредь будет! Мы победим! Молодцами, егеря!

Вот тут-то егерям задача. В другое время они единодушно гаркнули бы: «Рады стараться!..» Но ведь сейчас громко говорить не велено. И задние полки тоже ведь молчат!

И по егерским рядам только пронесся одобрительный гул, — мол, не выдадим!

Чувствовалось, что солдаты поддерживают своего командира.

Румянцов поравнялся с Кутузовым.

— А-а, Михайло Ларионович! — улыбнулся он.

Кутузов молча снял треуголку, приветствуя командующего. «Всех всегда помнит. Удивительная память. Офицеров — даже по именам и отчествам, а многих солдат — по фамилии».

Румянцов заставлял офицеров знать своих солдат по имени, ближе знакомиться с ними.

Командующий армией поехал дальше, к артиллеристам, шедшим в голове колонны.

Буор присоединился к Румянцову. Воронцов и Меншиков поспешили назад к своим батальонам.

Михаил Илларионович всегда с интересом смотрел на командующего.

Когда он приехал в армию из Санкт-Петербурга и представлялся Румянцову, командующий сказал его отцу, Иллариону Матвеевичу Кутузову, который присутствовал при этом: «Подобного Михайле наукою я в сем чине еще не встречал!»

Кутузов запомнил, как отец рассказывал, что Фридрих II прусский в Семилетнюю войну предупреждал своих генералов: «Остерегайтесь этого дьявола Румянцова, остальные генералы союзников не опасны!»

И всегда помнил, что Петр Александрович Румянцов — родной, хотя и внебрачный, сын Петра Великого.

Да, в Петре Александровиче Румянцове есть что-то от его отца! И особенно в военном искусстве.

В военном деле Румянцов во всем следует петровским заветам. Румянцов, так же как и Петр Первый, ценит и любит солдата, надеется на него, помнит о нем. Поэтому-то и сейчас приехал говорить с ними.

Чувствует, что солдаты знают о том, как силен визирь, и что кое-кто из солдат может вдруг усомниться в успехе.

Вот и приехал сказать им хоть два слова — Петр Александрович был немногословен.

Приехал подбодрить в последнюю минуту перед неравным боем.

Недаром девиз Румянцова — *non solum armis*¹.

И солдаты ценили такое отношение к ним командующего.

V

Русские войска спокойно продвигались вперед, не встречая на своем пути никого. Идти было легко: ночь стояла прохладная.

Егеря капитана Кутузова, растянувшись по степи длинной цепочкой, сторожко шли впереди пехотных полков армии Румянцова.

¹ Не только оружием (лат.).

— Гляди в оба, ребята! — передал по цепи капитан Кутузов и сам зоркими, молодыми глазами пристально вглядывался в даль, осматривая местность: нет ли где засады. Но из-под ног егерей только выскакивали потревоженные суслики.

Румянцов ехал с самой сильной, в шестнадцать батальонов, дивизией генерала Олица, которая по диспозиции занимала в боевом порядке центр. Он ехал молча на своем высоком Цербере, думая о том, удастся ли нагрянуть на турка врасплох.

Как войска ни старались продвигаться бесшумно, но все-таки по степи к Траянову валу шагали двадцать тысяч пехотинцев и ехали семь тысяч всадников.

Иногда какой-либо grenадер спотыкался в полутме о кочку и, не выдержав, чертыхался вполголоса. Иногда звякал подковой о подкову конь. По степным ухабам глухо тарактели сто восемнадцать пушек.

Все эти звуки отчетливо раздавались в ночи.

А турки, которые располагались вон тут, за Траяновым валом, казалось, не слышали ничего.

Правда, однажды в их лагере вдруг открылась беспорядочная ружейная стрельба. Но это была ложная тревога, и через минуту все стихло.

«Врасплох не захватить», — огорченно думал Румянцов.

Когда подошли к Траянову валу — древним римским земляным укреплениям, заалел восток.

До турок осталось не более двух верст.

Кутузов увидал: на возвышенностях, прилегающих к турецкому лагерю, табунятся тысячи турецких всадников. Турки, видимо, готовились к наступлению. Кутузов остановил егерей и послал к Румянцову ординарца с донесением.

Румянцов приказал войскам принять боевой порядок.

Егеря стали в резерве. Их батальонные каре прикрывали тыл.

Каждая дивизия построилась в два каре, имея позади резерв. Если окинуть глазом все четырехугольное каре, то как будто и много войск. Но там, за Траяновым валом, стоят несметные турецкие орды. Когда поднялись на Траянов вал, солнце взошло и турецкий лагерь оказался как на ладони.

Вся ложбина между гребнями высот была, как саранчой, покрыта всадниками. Турецкая кавалерия пред-

ставляла весьма пеструю картину: красные, синие, малиновые чепраки, расшитые золотом, огромные огненно-красные чалмы, разноцветные шальвары, значки, бунчуки — все это двигалось, волновалось: горячие, маленькие лошадки спагов не стояли на месте.

— Чистая ярмонка!

— Ишь сколько их, чертей, поднабравши!..

— Осиное гнездо! — говорили русские солдаты.

Румянцов приказал главной батарее генерала Мелесино ударить скорострельным огнем по лагерю и спагам.

Тихое, ясное утро прорезали пушечные выстрелы.

В лагере сразу же поднялась суматоха. А спаги лавиной кинулись вперед. Они мчались, и им не было видно конца.

К грому пушек присоединился страшный топот тысяч лошадиных копыт и неистовый рев всадников.

Русские каре приостановились, ожидая удара.

Они стояли неподвижно, словно окаменев, стояли безмолвно, как грозная стена. Турки с каждым мгновением становились все ближе. В каре раздалась команда:

— Тревога! Каре... товсы!

Барабаны подхватили этот боевой клич.

Тысячи турецких всадников облепили все русские дивизии, но главная масса спагов бросилась на левое, слабое каре Брюса.

Русские встретили налетевший шквал дружным ружейным и пушечным огнем. Он раскатывался по степи веселой дробью. Столбы пыли, волны порохового дыма скрыли все.

Румянцов не мог видеть, выдержит ли Брюс.

Свита тревожно переговаривалась, вытягивая головы. Цербер поставил уши, казалось, он тоже слушает: а что там, на левом фланге?

Только всегда гордое лицо Румянцева было спокойное.

И вдруг турецкие крики и ружейные выстрелы стали уже доноситься откуда-то с тыла, из-за Траянова вала.

— По ложине докатились в тыл! — высказал общую мысль генерал Олиц.

Ни один мускул не дрогнул на лице командующего армией, словно он ждал, что так и должно быть.

— Резерв и пехоту с пушками! Правофланговым каре — влоборота. Ударить сбоку! Закрывать туркам выход из лошаины! — приказал он.

Ординарцы уже пробирались через задний фас каре, чтобы поскорее мчаться с приказом.

Столбы пыли и дыма у каре Брюса стали рассеиваться. И без зрительной трубы было видно: каре цело.

Пушечные и ружейные выстрелы раздавались уже сбоку: мушкетеры и егеря стали поливать огнем столпившуюся в лошине турецкую кавалерию. Снова под тысячами копыт застонала, загудела земля: орды турок мчались сломя голову по лошине назад. Но на многих лошадях не было видно всадников, и еще больше лошадей осталось лежать в лошине.

— Отбили, слава те господи!

— Первую атаку отбили! — радостно заговорили кругом.

Все хорошо знали, что турки вернутся. Это еще не конец. Спаги еще не раз попробуют напасть на каре.

А солнце поднималось все выше, и становилось невыносимо жарко.

Пыль, поднятая тысячами конских копыт, клубы пушечного и ружейного дыма висели над полем битвы.

Казалось, что бой длится еще не так долго, а уже прошло три часа. Атаки турецкой конницы были отбиты. Пехота не подкрепляла их, и русские окончательно отбросили спагов.

Впереди оставался укрепленный турецкий лагерь. В нем засели десятки тысяч янычар со ста сорока орудиями.

Лагерь ограждали четыре оборонительные линии.

— Не поленились, успели вырыть!

Но русские каре с барабанным боем смело шли на турецкие укрепления. Каре генерала Племянникова чуть выдалось вперед, двигалось быстрее соседнего каре Олица.

Еще несколько сажен — и наши примут турка в штыки.

И вдруг из лошины на каре Племянникова выскочили с саблями и ятаганами тысячи янычар. Они, очевидно, сидели в засаде.

Нападение было настолько неожиданным, что правый фас каре, который составляли Астраханский и Первый Московский полки, в минуту оказался прорванным. Астраханцы и первомосковцы не успели выстрелить.

То, чего не удалось достичь коннице, удалось турецкой пехоте. Янычары с дикими, торжествующими криками ворвались внутрь каре. В образовавшиеся ворота ринулись лавиной спаги.

Каре Племянникова сразу потеряло строй. Солдаты бросились бежать назад, к своим, к каре Олица.

Ближе всех оказался 1-й гренадерский бригадира Озерова.

Румянцов тотчас же послал адъютанта с приказом Озерову:

— Удержаться во что бы то ни стало!

Гренадеры мужественно сдерживали яростный натиск янычар.

Румянцов оживился. Он выхватил из ножен шпагу и дал шпоры коню:

— Пропустите, ребята!

— Куда вы, батюшка?

— Куда? — останавливали командующего солдаты.

— Теперь мой черед! Пропусти!

Румянцов выехал из каре и помчался навстречу бегающим.

— Стой, ребята! Стой! — кричал он. — На вас смотрят отцы и матери! На вас смотрит Родина! Стой!

Астраханцы и первомосковцы пришли в себя. Торопливо, не разбирая, какой полк, какая рота, становились плечом к плечу. Каре Племянникова понемногу восстанавливалось.

Румянцов увидел оплошность визиря: он не поддержал вовремя удачное нападение янычар. Командующий приказал кавалерии ударить по турецкой пехоте.

Из-за каре с тяжким топотом вырвалась русская конница Салтыкова и Долгорукова. Засверкали палаши. Астраханцы и первомосковцы, обозленные конфузом, приняли турок в штыки. Отборные, закаленные в боях янычары — цвет турецкого войска — побежали. Их рубили палаши кирасир и карабинеров.

А сзади за легкой кавалерией уже поспевали егеря Кутузова.

— Вперед, ура! — кричал капитан Кутузов, легко бежавший впереди солдат.

Егеря не отставали от своего неустрашимого командира.

В турецком лагере поднялся переполох.

Дивизия Боура первой ворвалась в лагерь.

Егеря, рассыпавшиеся между палатками, били турецких командиров на выбор, увеличивая панику.

Турецкая армия кинулась из лагеря, бросая пушки, палатки, обозы — все свое добро.

Победа была полная. Татарская конница не успела прийти на помощь туркам.

VI

Жаркое, высоко стоявшее солнце освещало недавнее поле кровопролитной битвы и брошенный турками богатый лагерь.

В лощинах и на гребнях возвышенностей, у домов полуразрушенной, разграбленной турками деревни Вулканешти — всюду валялись сотни турецких трупов.

Оставленный турками лагерь был похож на громадную ярмарку.

Среди белых наметов и палаток бродили верблюды, буйволы, кони. В степи кочевали без пастухов стада овец.

Румянцов приказал пехоте построиться; кавалерия еще продолжала преследовать разбитого врага.

Черные от пыли, потные и усталые, но веселые стояли русские войска. Кое-где в шеренгах вместо треуголок виднелись окровавленные повязки.

Румянцов въехал в это плотное, многотысячное каре. Он ценил солдата, верного защитника Отечества, и потому в эти минуты хотел говорить с ним. Командующий стал в середине каре и сказал:

— Я прошел все пространство степей от берегов Дуная и всюду бил врага, превосходящего нас численностью. Я нигде не делал укреплений. Ваше мужество и ваша добрая воля были моей непреодолимой стеной! Спасибо, дети мои! Поздравляю вас с викторией! Ура! — закончил он короткую речь и, подняв над головой треуголку, поехал вдоль строя.

Сквозь раскаты ответного «ура!» Румянцов слышал, как кричали из шеренг:

— Чему ты дивишься? Разве мы когда-нибудь были иными?

— Ты сам — прямой солдат!

— Ты — истинный товарищ!

Гордое, мужественное лицо Румянцева светилось довольной улыбкой. Эти простые, искренние слова солдат были лучшей похвалой сыну великого Петра.

...Победители, так нуждавшиеся в роздыхе, наконец смогли отдохнуть и подкрепиться по-настоящему. О про-

вианте не приходилось уже беспокоиться: в турецком лагере оказалось много разных припасов.

Михаил Илларионович, вместе с легкоконными войсками Боура преследовавший бежавших без оглядки турок, вернулся к Вулканешти уже после полудня.

Полки стояли вперемешку, и нельзя было разобрать, кто где: становились ведь без квартирьеров, в степи.

Кутузов заботливо разместил в ложине среди кустиков своих егерей, едва таскавших ноги, и поехал разыскивать отца. Он был уверен, что отцовский денщик Митюха, который тридцать лет сопровождал Иллариону Матвеевичу во всех его походах, конечно, успел уже приготовить своему барину обед.

Михаил Илларионович сильно проголодался.

Было жарко, спина под мундиром вся промокла, на зубах хрустел песок.

Пробираясь сквозь гущу полковых палаток, своих и трофейных, среди фур и повозок подошедшего обоза, пушек, зарядных ящиков и прочей армейской толчеи, Кутузов смотрел по сторонам: а где же палатки штаба? Пахло дымком бивачных костров, свежей артельной кашей, а кое-где и жареной бараниной.

Внимание Михаила Илларионовича привлекла группа мушкатер.

У костра, над которым висел артельный котел, сидели солдаты. Один из них стоял с ложкой в руке и, видимо, пробовал кашу. Он отплевывался и ругался под беззлобный, но дружный смех товарищей.

— Какой полк, ребята? — спросил Кутузов.

— Первомосковский, ваше высокоблагородие.

— Чем это угощаетесь?

— Да вот, ваше высокоблагородие, пробуем какое-то бусурманское масло, — ответил мушкатер, державший в одной руке ложку, а в другой большой хрустальный флакон. — Пахнет очень вкусно, а попробуешь класть в кашу, рот дерет!

— А ну-ка покажи мне скляночку, — протянул руку Кутузов.

Мушкатер передал ему красивый хрустальный флакон с какой-то жидкостью. Михаил Илларионович понюхал. Сомнений не оставалось: это было дорогое розовое масло, которое турецкая знать употребляла как благовоние.

— Это масло в пищу не годится, — улыбнулся Кутузов. — Это только для запаха!

— Я те говорил: давай лучше сапоги смажем!
— Осман им, должно быть, ружья смазывает!
— Возьми, братец, полтинник за эту склянку. Масло мне пригодится,— предложил Михаил Илларионович.
— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! — радостно ответил мушкатель, принимая деньги.
— А где палатки штаба? — спросил Михаил Илларионович. — Где инженер-генерал Кутузов?
— Вона, за бугорком...
— Давеча ихний денщик прибежал к нам за дровами.
— Так, так, спасибо!

Михаил Илларионович поехал к бугорку.

Через минуту он уже слезал у знакомой палатки.

Отец, без мундира, в туфлях, лежал и курил.

Михаил Илларионович передал ему флакон с розовым маслом и смеясь стал рассказывать:

— Солдаты пробовали класть его в кашу, не понравилось, говорят: рот больно дерет!

— Откуда же им знать о розовом масле, это не конопляное. Астраханцы вон нашли мешок чудного кофе. Думали — турецкий горох. Стали варить. Варят-варят — никак не разваривается. «Одначе, говорят, не поддается, проклятуший!» Так и выбросили. Вот мы тебя, Михайло, сейчас турецким горохом попотчует... Митюха! — крикнул генерал.

...Кутузов проснулся.

Сразу же после сытного обеда и кофе он лег в палатке отца спать — валился от усталости.

Вечерело.

Отец — уже в сапогах и мундире — ходил возле палатки. Его седые клочковатые брови были сдвинуты: старик явно был чем-то недоволен.

Михаил Илларионович сел на постели:

— Эх, хорошо отдохнул! Теперь надо поехать к своим егерям — посмотреть, как там они. Сегодня мои ребята показали себя молодцами!

— Тебе придется ехать немного подальше, — многозначительно сказал отец.

— Куда? — с удивлением посмотрел Михаил Илларионович.

— Какие у тебя счета с этим Анжели?

— Никаких.

— А почему он так зол на тебя?

— Не знаю... Может, за то, что я сказал, что он — трус? А в чем дело? — встал с постели Михаил Илларионович.

— Анжели переписывал убитых...

— Это по его разумению...

— Докладывал командующему о потерях, а заодно и наядбедничал на тебя. Мне только что генерал Ступишин сказывал.

— С Анжели всего станется. Что же он плел?

— Что ты осуждаешь действия Румянцова, говоришь, что Румянцов храбр умом, а не сердцем!..

— Так это же не я сказал, а царица! Все знают! И что в этом поносного?

— Знают, а тебе-то пересказывать зачем? Природа не зря дала человеку два уха и только один рот. Приучайся, Михайло, больше слушать, а меньше говорить. По-нял? — наставительно сказал отец.

— Понял! — ответил Михаил Илларионович. — И что ж, Петр Александрович разгневался? — спросил он немного погодя.

— Разгневался. Знаешь: ведь он сам осторожен в словах. Сказал: отправить немедленно этого новоиспеченного стратега в Крымскую армию.

— Ну что ж, в Крым так в Крым! — ответил несколько смущенный Михаил Илларионович и вышел из палатки.

Но этот урок и мудрые слова отца Кутузов запомнил на всю жизнь.

Глава вторая

ФОНТАН СУНГУСУ

I

Гренадеры целое утро стреляли в цель.

Два раза в неделю из гренадерского батальона Московского легиона выводили в степь на учебную стрельбу одну роту. Гренадеры шли с ружьями и патронными сумками, но без шпаг и гранат.

Батальон был составлен из молодых солдат, и его командир, двадцативосьмилетний подполковник Михаил

Илларионович Кутузов, старался обучить своих солдат получше.

— Заряжать умеете, так думаете, остается только палить? Нет, надо раньше научиться стрелять! — подчеркивал он.

Кутузов строго предупреждал сержантов и капралов учить солдат терпеливо, не давать воли ни языку, ни рукам.

— Руганью да кулаком учит только лентяй или мало знающий сам! — говорил подполковник.

Он приказывал солдатам беречь патроны.

— Патроны сами не растут. Их надо беречь! В бою сколько хочешь патронов никто не даст!

Стреляли поодиночке в двухаршинные щиты, выкрашенные черной краской. Посредине щита шла узкая — в четыре вершка — белая полоска. В нее-то и надо было попасть. Щиты ставили сначала в сорока саженях, потом в восьмидесяти и наконец относили за сто двадцать сажен так, что белая полоска, казалось, и вовсе пропадала.

Офицеры ходили по капральствам и показывали, как надо прикладываться, как правильно целиться: не шевелить ни головой, ни ружьем, за «язычок» не дергать.

За всем неотступно следил сам командир батальона Михаил Илларионович.

И grenадеры день ото дня стреляли все лучше.

Другие командиры частей Крымской армии Долго-рукова, стоявшей лагерем у деревушки близ Акмечети, не обучали своих солдат стрельбе. На вопрос молодого командира москвичей они отговаривались по-разному.

— У меня солдаты обстрелянные, старые, а у вас, Михайло Ларионович, молодые. Им полезно! — говорил один.

— Разве наших пентюхов выучишь стрелять цельно? — нелепо отвечал другой.

— Да ведь у нас, в Крыму, войны-то нет. Это не на Дунае! — возражал третий.

На Дунае действительно шла настоящая война.

Восемьсот лет русские войска не переходили Дунай. Фельдмаршал Румянцов, впервые после князя Святослава, не только закрепился на его берегах, но и перешел через Дунай.

А генерал Суворов прекрасно продолжал румянцовские победы: бил турок у Туртукая, Гирсова и Козлуджи.

В Крыму ждали со дня на день заключения мира с Османской Портой. Крымские татары уже три года считались не зависимыми от Турции. Все знали, что султан не признает ханом Саиб-Гирея, утвержденного русскими, и что в Константинополе сидит и ждет, когда русские будут изгнаны из Крыма, Девлет-Гирей, которого султан назначил Крымским ханом.

А сами крымские татары держали себя так, словно они тут ни при чем. Молодые, надвинув на лоб низкую барашковую шапку и накинув на плечи бурку, под которой наверняка скрывалась кривая сабля, ездили верхом по своим делам. А старые, поджав ноги, отсиживались в кофейнях, а в благостные предзакатные часы выползали на плоские кровли домишек и, покуривая, бесстрастно смотрели сверху вниз.

Женщины — по восточному обычаю — не показывались вовсе на глаза, лишь изредка за глинобитным плетнем мелькал розовый бешмет и малиновая бархатная шапочка.

Глазастые, загорелые татарчата, увидя русского, кричали «хазак, хазак» и мгновенно исчезали в кустах, как ящерицы.

А муэдзин пронзительно, заунывным голосом что-то возглашал с высокого минарета. Но кто мог знать, к чему он звал правоверных в этот наполненный мелодическим треском цикад и терпким запахом полыни тихий вечер. Стоял томительно жаркий, сухой крымский июль, с ясным, безоблачным небом, раскаленными, горячими ветрами, веющими из прожженной солнцем степи, с внезапно падающей на землю густой чернотой ночи, когда часовой должен напрягать зрение, чтобы в пяти шагах рассмотреть, кто идет.

Подполковник Михаил Кутузов переходил от одной группы grenадер к другой. Наблюдал, как стреляют, поправлял. Иногда, поворачиваясь, он невольно смотрел туда, где за степью, в далекой синеве, чернел Чатырдаг, или, как называли его русские солдаты, Чердак. Где-то там немолчно шумело, билось в берега бирюзовое море, а здесь расстилалась скучная, сухая степь. Становилось жарко. Вода, принесенная в ведерке из лагеря, невкусная, солоноватая вода, и та уже вся вышла. Люди утомились, и пули чаще шлепались в пригорок, чем в белую полосу мишени.

— Вольно! — скомандовал подполковник. — Отдохните, ребята! Брусков, сбегай-ка за водой! — приказал

он, капралу. Он знал всех своих гренадер-москвитин фамилии. Михаил Илларионович запомнил мудрый совет фельдмаршала Румянцева: поближе узнавать своих солдат. Подполковник Кутузов звал гренадер к себе в палатку и подолгу, запросто беседовал с ними о доме, о семье.

При команде «вольно» гренадеры начали проворно ставить ружья в козлы, оживленно переговариваясь:

— И до чего пить хочется! Теперь, кажется, напился бы даже ихней «язвы». («Язвой» солдаты звали язьму, любимый татарский напиток из разбавленного водой кислого молока с тертым чесноком.)

— Тыфу, пакость! Словно в прогорклую простоквашу натолкли мелу!

— Буза¹ у них лучше!

— А ветер сегодня какой горячий, ровно из бани,— говорил гренадер, снимая гренадерку и вытирая потный лоб.

— Эх, жалко: нашей, русской баньки нет!

— И так паришься кажинный день! Айда, ребята, в тени! — сказал капрал.

И гренадеры побежали в тень пригорка к мишеням.

— Вот моя пуля! — тыкал пальцем в белую полосу мишени один гренадер.

— Ты, брат, ловок только ружейные приемы отхватывать, а в стрельбе еще слаб! Твоя вон где! — садясь, хлопнул по земле капрал.

Все рассмеялись, рассаживаясь на выжженной, желтой и жесткой траве.

— На такой травке-муравке не разлежишься!

— Да, здешнее сенцо не возьмешь в руки: пальцы сразу наколешь.

— И скажи, как только его скотина ест?

— Верблюды жрет за милую душу. У него язык и губы жесткие, ему хоть бы что: бурьян так бурьян!

— Верблюды скотина особая. У него все иное. И ревет он ровно дитя, и зрак не такой, как, скажем, у коня.

— У коня зрак веселый. Конь человека любит. А этот горбатый черт смотрит на тебя, как на недруга, с презрением.

¹Буза — пиво из проса.

— Братцы, а я вчера видел, как в деревне вола подковывали.

— Да ну?

— Ей-богу! Связали сердешному ноги, опрокинули на спину. И лежит вол — ноги кверху...

— И на сколько же подков ковали?

— На восемь.

— Чтоб ему по горам способнее было ходить...

Офицеры — командир роты, капитан и восемнадцатилетний голубоглазый подпоручик — стояли вместе с подполковником, сняв гренадерки.

— Ну как, Павел Андреевич, привыкаете? — спросил Кутузов у своего любимца подпоручика Резвого, который недавно прибыл в армию.

— Привыкаю, господин подполковник.

— С ним вчера приключение случилось, — улыбнулся капитан.

— Какое?

— Да что там!.. — покраснел подпоручик.

Кутузов весело смотрел на обоих.

— Расскажите, расскажите!

— Наш Ахметка, что поставляет барашков, позвал подпоручика в гости... — начал капитан.

— И вовсе не в гости. Я хотел купить у него медный кунган.

— Ну и что же?

— Я вошел в хату, а в углу — две молодые татарки стоят. Без покрывал. Увидели меня, прижались друг к дружке и скорее платком завесились. Держат перед глазами платочки и из-под него выглядывают. А тут старуха — как вскочит в хату, как закричит на девушек. Накинула на обеих покрывало и потащила вон...

— И вот теперь наш Павел Андреевич влюбился... Хочет идти второй кунган торговать, — шутил капитан.

— Да полноте вам, Иван Егорович!

Подполковник улыбаясь смотрел на покрасневшего подпоручика.

— И что же это наш Брусков замешкался? Пора бы уж!.. — переменял разговор Кутузов.

Он оглянулся на белевшие в степи палатки лагеря. По пыльной дороге тащилась одна длинная татарская мажара, запряженная буйволами. Ее громадные, неуклюжие колеса раздражающе, немилосердно визжали. Татары не мазали своих телег, говоря, что только плохой

человек въезжает в деревню потихоньку... И вдруг, перебивая отвратительный визг мажары, из лагеря донесся призывный звук генерал-марша: тревога, поход! Подполковник Кутузов оживился.

Генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков был хлебосольный московский барин и меньше всего полководец. Это не Румянцов и не Суворов. От тех можно всего ждать: подымут и среди ночи только затем, чтобы приучить войска к ночным походам. А Долгоруков воюет по старинке. Значит, тревога не для пробы, а на самом деле.

— Становись! — крикнул Кутузов.

Рота мигом построилась.

— Бегом! — скомандовал подполковник и первым легко побежал к лагерю, который уже весь пришел в движение.

Тревога была основательной. Генерал-аншеф Долгоруков получил неприятное известие: турецкий сераскир-паша Гаджи-Али-бей высадил у Алушты с кораблей большой десант в пятьдесят тысяч человек.

Турки подняли восстание татар. Надо было поскорее уничтожить десант, чтобы восстание не распространялось по всему Крыму.

Саиб-Гирей оказался предателем. Он помогал туркам высаживаться и сразу же арестовал и передал туркам русского резидента — статского советника Веселицкого.

— Как волка ни корми, он в лес глядит!

— Да. Сказывают, турки уже высаживались в течение целой недели.

— Я-то смотрю, чего это татары разносились. Бывало, тащатся на осликах в арбе, а то все сигают верхами, — обсуждали новость офицеры.

К полудню 18 июля 1774 года от лагеря остались только следы, где стояли палатки и были коновязи кавалерии. Долгоруков со всеми своими силами — девятью батальонами пехоты и двумя конными полками — скорым маршем двинулся к Алуште, где, по слухам, сильно укрепился Гаджи-Али-бей.

II

Дорога сначала не представляла трудностей: шли глубокой степной балкой. Наверху осталась скудная, каменистая, выжженная солнцем степь. А здесь зеленели

деревья и к дороге подбегали кусты орешника, кизила, жасмина.

Иногда через балку переливался тоненькой серебряной струйкой небольшой ручеек и исчезал где-то в кустах.

Гор еще не было.

Далеко на горизонте синел Чатырдаг, похожий на гигантский стол. Но с боков долину сжимали степные обрывы, кое-где отвесные, как стена.

Идти было все-таки легче, нежели по открытой, голой степи, дышавшей зноем.

Так прошли около двадцати верст. День клонился к вечеру. И вдруг шедшие в авангарде московские grenadiery Кутузова увидели, что степная балка кончается и дорогу сжимают горы.

— И скажи, кто понастроил эти горы? — подымая вверх головы, удивлялись солдаты.

— Да, без них шли бы свободнее!

— Кабы туда взобраться, все легче было бы...

— А ты еще попробуй взобраться, тогда и говори! — усмехались старики.

Двигаться ночью по горам было во всех отношениях трудно и неудобно.

— Стой! — скомандовал Кутузов.

И мгновенно, от одного конца походной колонны до другого, пронеслось это: «Стой!»

Люди и лошади, уставшие за день, остановились с удовольствием.

Подполковник Кутузов поехал к генерал-аншефу Долгорукову, который следовал в середине колонны.

Командующий армией согласился с мнением подполковника Кутузова и приказал становиться на ночлег.

В свежем вечернем воздухе особенно четко звучали людские голоса, ржание коней.

Уже трещали под топорами кусты, которые рубили для костров, и звенели ведрами разыскивающие воду артельные старосты, готовясь варить кашу. А некоторые солдаты, измученные целодневным походом, не дожидались ужина и укладывались тут же, у своей ружейной пирамиды или у лафета пушки под густым южным небом.

Темнота все сгущалась и все плотнее накрывала балку, смешивая grenadier и мушктер, карабинеров и гусар. И в этой темноте еще ярче становились огни весело горевших костров.

Генерал-аншеф собрал у себя в палатке командиров.

Он не хотел рисковать — двигаться со всей своей армией в горы. Чтобы не оказаться зажатыми среди ущелий, Долгоруков решил оставить на месте два батальона пехоты и два полка кавалерии прикрывать тыл. А остальным семи пехотным батальонам произвести поиск на Алушту.

Он рассказывал о своем плане собравшимся.

— Вам, Валентин Платонович, — обратился Долгоруков к генералу Мусину-Пушкину, — я поручаю сделать поиск. Лазутчики говорят, что визирь устроил где-то по дороге, в горах, передовое укрепление. Вы постараетесь занять его, но дальше пока не предпринимайте ничего: главный лагерь у Алушты защищают семь батарей. А я с двумя батальонами пехоты останусь здесь, чтобы вы были спокойны в спине.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

— Всю конницу я оставляю при себе: с ней в горах все равно делать нечего. Наши кони — не ихние, татарские, которые скачут по горам, как козы. Жаль, что не у всех господ командиров местные кони!

— У Михаила Илларионовича хороший конь, — похвалил Мусин-Пушкин.

— Да, настоящий горский, — подтвердил подполковник Кутузов.

— Он вас в горах вывезет, — сказал командующий. — Вот и все, господа. А теперь — отдыхать!

Румянцов тут же, у походного костра, собственноручно написал бы приказ, а Долгоруков, этот хлебосольный московский барин, а не полководец, никакого письменного приказа генералу Мусину-Пушкину не дал. Он писать не любил и часто говаривал: «Я человек военный и в чернилах не окупан!»

И командиры разошлись по своим частям.

III

Генерал-поручик Мусин-Пушкин выступил в поход еще до зари: предстояла самая трудная часть пути.

Московский гренадерский шел в авангарде. Подполковник Кутузов ехал вместе с проводником Ахметом впереди grenадер.

Войска вступили в ущелье. Пехоте сразу же пришлось перестроиться: grenадеры едва проходили по четыре в ряд.

Узкую, тесную дорожку с обеих сторон крепко сжали горы, все склоны которых были покрыты лесом.

Дорога шла то вверх, то вниз, извиваясь вокруг горы. Она кружила, петляла. Одно и то же место проходили по несколько раз. Вот дорога идет под нависшим уступом скалы, напоминающим кусок сломанной арки. А через полчаса ту же арку русские солдаты видят уже где-то внизу.

Под ногами хрустел осыпающийся мелкий щебень или стучал твердый, чистенький, словно отполированный, плитняк.

Несмотря на то, что солнце еще не взошло и не было жарко, с солдат уже катил пот. Пехота шла напряженно, как по льду, то и дело скользя. Кони ступали осторожно, прижав уши. Единороги двигались сегодня медленнее, осмотрительнее: ездовые боялись засесть в какой-либо расщелине или свалиться с гаубицей в ущелье. В одном месте, у поворота, проводник Ахмет вдруг осадил коня.

— Что такое? — оглянулся своими быстрыми, зоркими глазами Кутузов. Он все время ехал, настороженно глядя вперед — нет ли где засады? И не очень доверял проводнику-татарину.

— За поворотом начинается такая дорога! — закрутил головой Ахмет и стал слезать с коня. — Надо подтянуть подпругу!

Кутузов дал знак. Grenадеры остановились. Приказ «Остановиться» облетел с быстротой молнии всю колонну русских войск, все эти две тысячи восемьсот пятьдесят человек пехоты. Люди охотно остановились, снимая grenадерки, вытирая потные лица и шею. Артиллеристы подкладывали под колеса единорогов камни, чтобы гаубицы не катились назад.

— Молодая! — говорил канонир, поглаживая свою гаубицу. — Вместе со мной на службу поступила.

— Ты гляди, хорошо ли подложил? Еще сунется под гору, — не шутя заметил ефрейтор.

— Не сдвинется, дяденька. А кабы сорвалась, беда! — глянул вниз солдат.

— Тебя ждать не стала бы! — засмеялись товарищи.

— Зачем остановились? Турки? — спрашивали сзади. Как бы в ответ им из авангарда шло по цепи:

— Артиллерии и верховым подтяни подпруги!

Михаил Илларионович слез и внимательно осмотрел, исправно ли у него седло.

А гренaдеры, отдыхая, переговаривались:

— А нам что осмотреть?

— Подметки...

— До чего насклизли — идти нельзя!

— Тебя бы, Павлуша, подковать, как того вола, восемью подковами, ты бы легче пошел!

— А что, думаешь, худо было бы?

И вот колонна тронулась дальше.

Обогнули отвесную скалу, которая тянулась вверх, как стена. Сквозь кусты можжевельника внизу глянулась пропасть, а дальше шла такая немыслимо крутая тропинка, что Михаилу Илларионовичу стало не по себе.

Извилистая тропинка вся была завалена камнями. Она лепилась у горы по самому краю обрыва. По ней не пройти и трем человекам.

— Справа по двое! — обернулся Кутузов.

«А как же тут пройдут двенадцатифунтовые гаубицы?» — подумал он.

Колонна стала спускаться. Из-под ног гренaдер сыпались камни и с глухим шумом падали в пропасть.

Кутузов невольно оглядывался: а его гренaдеры все целы?

Тропинка все суживалась, а иногда и вовсе пропадала.

Крепконогий, маленький горский конь Михаила Илларионовича шел твердым шагом, не останавливаясь. Кутузов бросил поводья: он чувствовал, что конь лучше его знает, как идти по такой немыслимой дороге.

«Хорошо, что сухо. А если бы дождь? Тогда тут не пройти!»

Пробирались по краю скалы. Внизу — страшно взглянуть — чернела пропасть. Кони здесь чуть шли, цепляя нога за ногу; иногда садились на крупы. Одно малейшее неосторожное движение, и конь с всадником неминуемо летели бы в бездну.

Ахмет громко понукал своего коня, свистел, подбадривая его. Конь неохотно шел вперед. Голос Ахмета звучно отдавался в молчании гор.

«Уж не подает ли он знака своим родичам?» — подумалось Кутузову.

Колонна двигалась очень медленно. Трехфунтовые гаубицы еще кое-как прошли, а двенадцатифунтовые,

«новой пропорции», пришлось тащить солдатам на канатах.

Солнце уже поднялось, когда вышли опять на более сносную, широкую дорогу.

И вот тут солдаты увидели — казалось, до них рукой подать — величественные горы: справа широко раскинул свою плосковерхую палатку четырехугольный Чатырдаг, опоясанный облаками. А слева — подымала красноватые голые изломы громадная Демерджи. Демерджи была похожа на женщину, закутанную в чадру, которая сидит высоко, над самой бездной.

Кутузов невольно залюбовался этим великолепием, но Ахмет уже указывал ему на другое.

— Тырда-тарла! — говорил он, показывая пальцем. — Земляной вал. Турки!

Верстах в полутора было расположено передовое турецкое укрепление. Турки насыпали вал и укрепили его камнями.

Они ждали русских.

Место для обороны было выбрано удачное: с двух сторон шли крутые каменные стремнины. Обойти врага не представлялось никакой возможности. Сзади за укреплением виднелись невдалеке плоские крыши татарского селения.

— Какая это деревня? — спросил у Ахмета Кутузов.

— Шумы.

— До моря далеко?

— Недалеко.

Кутузов слез с коня. Ноги от напряжения дрожали.

Гренaдеры становились в каре.

Русская пехота и пушки выходили на дорогу.

IV

Над Чатырдагом, высоко в небе, парили орлы: их потревожили выстрелы. Уже два часа в горах, не умолкая, гремели громы. Русские гаубицы били по турецким укреплениям у деревни Шумы. Турки отвечали.

К грохоту орудий присоединялась частая ружейная трескотня. Обойти турок было нельзя. Приходилось атаковать сильно укрепившегося врага в лоб.

Сидя за надежным каменным укреплением, турки яростно защищались. Русская пехота медленно продви-

галась вперед. Уже были убитые и раненые. К генерал-поручику Мусину-Пушкину, стоявшему со своим адъютантом за грудой камней, подошел командир московцев, коренастый подполковник Кутузов:

— Ваше превосходительство, надо ударить в штыки. Время идет, а толку никакого. Наши ядра мало вредят басурманам. В этой перестрелке мы потеряем больше, чем в штыковой атаке!

— Пожалуй, вы правы,— согласился Мусин-Пушкин.— Но басурман ведь втрое больше, чем нас!

— Ничего. Не устоят. Позвольте лишь начать. Мои grenадеры ближе всех к туркам. Я ударю первый, а вы поддержите!

— Ваши grenадеры действительно дерутся, как старые солдаты. Ну что ж, давайте. С богом! — согласился Мусин-Пушкин.

Кутузов спокойно вернулся под свинцовым дождем турецких пуль к своему батальону.

Несколько минут у московцев шли приготовления. А потом они вдруг с распущенным знаменем и барабанным боем кинулись на турецкий ретраншемент. В первый момент турки, не ожидавшие такого смелого приступа, опешили. Но московцы еще не успели добежать до турецкого укрепления, как турки опомнились и засыпали их пулями.

Grenадеры приостановились было на полдороге, и кое-кто из них стал укрываться за камнями.

Тогда подполковник Кутузов выбежал вперед и с криком: «За мной, ребята!» — бросился к турецкому редуту.

Grenадеры подхватили «ура!» и в один миг достигли турецкого вала.

Вслед за ними ударило в штыки и правое крыло.

На валу в числе первых показалась крепкая фигура подполковника Кутузова.

И тут турецкая пуля сразила храброго командира московцев — Кутузов упал. Но дело было сделано: янычары дрогнули и побежали к Алуште, где белели паруса их фрегатов и ждали семь больших батарей.

...Подполковник Кутузов лежал в тени у фонтана Сунгусу. Вся его голова была забинтована.

Генерал-поручик Мусин-Пушкин со своими старшими офицерами и капитаном московцев Завалишиным стояли поодаль у кипариса и тихо переговаривались. Генерал рас-

спрашивал лекаря, который все время находился при раненом, а теперь пришел доложить генералу о состоянии здоровья подполковника Кутузова:

— Ну как?

— Пуля угодила между глазом и виском. Прошла через всю голову...

— Жив останется?

— Не могу знать, ваше превосходительство. На все воля божья.

— Глаза целы?

— Левый смотрит как надо быть, а правый запух.

— Жалко, если повредится. Глаза у Михайлы Илларионовича такие зоркие,— пожалел капитан Завалишин,— давеча орла увидал раньше всех. Никто не мог приметить, а он показывает: вон — орел над горами!

— А теперь что: спит?

— Находится в забытии, ваше превосходительство.

— Хорошо, что турецкая пуля, а не татарская баларма,— сказал секунд-майор Шпилов.

— А что такое баларма? — спросил генерал.

— Это, ваше превосходительство, две небольшие пули, прикрепленные друг к дружке медной проволокой, собранной в спираль. При выстреле проволочка растягивается и получают две раны. Да кроме того, и проволочка дает рану. Подлая штука!

— Ну и турецкая немало беды натворила! Как чуть начнет солнышко спускаться, отправить подполковника Кутузова в лагерь к командующему! — приказал лекарю генерал-поручик Мусин-Пушкин.

Через несколько часов от шумлинского водопада к Акмечети отправилась экспедиция. Четверо grenадер бережно несли на носилках своего тяжело раненного командира. Сзади шел потрясенный случившимся подпоручик Резвой и проводник Ахмет с двумя лошадьми.

За ними следовало целое капральство московцев.

— И, скажи, как получилось: больше недели тому назад турки замирились, а только сегодня об этом в Алуште узнал сераскир!

— Кабы на сутки раньше пришел естафет, никакого боя не было бы!

— И наш Михайло Ларивонович был бы невредимый! А так кто знает, что будет?.. — сокрушались grenадеры.

ЖЕНИТЬБА

Знать, к мученью я влюбился,
Знать, мне век несчастну быть;
И на то ль мой дух вспалился,
Чтоб в тоске всегдашней жить?

Н. Курганов

I

Второй день в Петербурге стояла непогодь. Хотя сентябрь только еще начинался, но уже по-осеннему было пасмурно и неуютно.

На город навалились низкие серые тучи — вот-вот пойдет дождь. Ветер крутил с разных сторон, а в полдень наконец установился — стал с бешенством налетать на город с залива.

Нева вздулась и помрачнела.

На Петропавловской крепости и Адмиралтействе трепыхались флаги. Корабли на Неве, еще вчера убравшие паруса, взлетали на свинцовых валах, как на качелях. Деревья Летнего сада гнулись и шумели. Под яростным напором ветра летели на землю сломанные ветви. На улицах редкие прохожие старались поскорее укрыться в дома: ветер валил с ног.

Вечерело. В Преображенском, всей гвардии, соборе ударили ко всенощной. Колокольный звон слышался приглушенно: его относил ветром.

Михаил Илларионович, не зажигая огня, в раздумье ходил по комнате. Читать он не хотел — боялся натрудить глаза.

После боя у Шумы прошло три года. Подполковник Кутузов чудом остался жив. Не только вся русская армия, вся Европа изумлялась и никогда не поверила бы в это, если бы сама не увидала Кутузова.

Когда Кутузов, немного оправившись от раны, приехал в Петербург, императрица приняла его, наградила орденом Георгия 4-й степени и 1 января 1776 года отправила лечиться за границу «на теплые воды».

Кутузов лечился в Лейдене, где был знаменитый медицинский факультет, и целый год прожил в Европе, путе-

шествуя по Германии, Англии, Голландии и Италии. Живя за границей, Михаил Илларионович имел возможность встречаться со многими видными людьми. В Берлине его принял прусский король Фридрих II, в Вене — знаменитый генерал Лаудон.

Европейские врачи приказали беречь глаза, не утомлять их. После ранения правый глаз стал видеть плохо — как сквозь кисею. Поэтому Михаил Илларионович, любивший книги, вынужден был пока читать поменьше и старался заняться чем-либо иным. Сегодня утром он ездил с отцом на Глухой проток.

Чтобы предупредить разлив Невы, императрица Елизавета приказала устроить на месте Глухого протока канал. Проект канала она поручила сделать известному инженер-полковнику ученику Брюса Иллариону Матвеевичу Кутузову, которого за ум все звали «разумной книгой» и который построил Кронштадтский канал Петра I.

Кутузов сделал проект, но строить канал пришлось уже при Екатерине II.

Новый канал называли в честь императрицы Екатерининским и, так же как на набережной Невы и Фонтанки, приступили к облицовке его берегов камнем.

И вот теперь Илларион Матвеевич тревожился, что ветер нагонит воду с залива и размочит не одетые камнем берега Екатерининского канала. Илларион Матвеевич вернулся домой удрученный: вода в канале стояла высоко, если ветер не утихнет, то к ночи можно ждать наводнения. Уже и теперь берега стали обсыпаться. Озабоченный, Кутузов пообедал и лег отдохнуть.

А сыну не хотелось спать. Молодой Кутузов вообще не мог понять, зачем старики ложатся после обеда отдыхать: разве мало им для этого ночи?

Он ходил и думал не о канале и наводнении, а о том, удобно ли сегодня сходить к Бибиковым, которые жили неподалеку, или нет.

Пойти к ним Михаилу Илларионовичу очень уж хотелось.

Инженер-генерал Илья Александрович Бибиков, сослуживец и приятель отца, считался лучшим военным инженером и одним из самых образованных генералов русской армии. Он укреплял украинскую линию — Таганрог, Кизляр, Бахмут, затем служил начальником Тульского оружейного завода. Бибиков уже более десяти лет жил в отставке, но в свои восемьдесят лет сохранил ясность ума

и был интересным собеседником. У старика инженера можно было многому поучиться.

Однако не это тянуло молодого Кутузова: у Ильи Александровича была дочь от второго брака — Катя.

Михаил Илларионович знал Катю с детства. Он был на девять лет старше ее и потому привык считать Катю девочкой, тем более что ростом она никогда похвастать не могла и всегда была худенькая и маленькая, но живая.

В годы ученья в Инженерном корпусе, когда Мише было пятнадцать лет, а Кате шесть, Миша держался с Катей снисходительно и дразнил ее «мышкой», а она не оставалась в долгу и звала его, конечно же, «Мишка-медведь».

Потом Миша уехал в армию и несколько лет не был в Петербурге. Приехав как-то в отпуск домой, он с удивлением обнаружил в «мышке» большую перемену. Миша увидал, что Катя превратилась из невзрачной девочки в милостивую барышню. Она все так же была невелика ростом, но грациозна. У нее оказались (раньше Миша как-то не обращал на это внимания) прекрасные черные «бибиковские» глаза. И вдобавок ко всему Катя была умная, начитанная девушка.

Она смеялась над княжной Сукиной, которая на ее вопрос, что она читает, ответила: «Я — голубенькую, а сестра — розовую книжечку».

Встретившись после многих лет разлуки с другом детства, Катя зарделась. Миша уже никак не дразнил Катю, а был к ней отменно внимателен.

После этой краткой встречи Катя запомнилась Кутузову, и он думал о ней с нежностью.

А сейчас, вернувшись из-за границы, он два месяца прожил в Петербурге, видался с Катей, узнал ее ближе и теперь понял, что влюблен в нее по-настоящему.

Михаил Илларионович старался под тем или иным предлогом чаще бывать у Бибиковых. Лучшим предлогом был старший брат Кати Василий, с которым Михаил Илларионович учился в Инженерном корпусе и дружил. Правда, последние годы друзья встречались редко: Василий Бибиков пошел не по военной дороге — он с детства пристрастился к театру.

Императрица Екатерина любила театр, покровительствовала ему. «Народ, который поет и пляшет, зла не думает!» — говорила она. Свою любовь к театру Екатерина старалась привить всем. Она заставила членов святейшего

синода посещать итальянскую оперу и в письме к Гримму так потешалась над монахами, которым волей-неволей пришлось насладиться «мирским» развлечением:

«Святейший синод был на вчерашнем представлении, и они хохотали до слез вместе с нами».

По примеру Петра I она посылала русских детей учиться за границу. Петр слал в Европу артиллеристов и корабельщиков, Екатерина — «танцовальщиков» и актеров. Императрица сама писала (хотя и не лучше других доморожденных драматургов) пьесы. Трагедии и разные комедии «в улыбатальном духе» стали повсеместным увлечением, начиная от придворной знати и кончая мастеровыми. На пустыре за Малой Морской улицей был открыт частный любительский театр, в котором играли желающие — переплетчики, наборщики, портные и иной рабочий люд.

Василий Бибиков играл на придворной сцене и, так же как многие другие актеры-любители, писал пьесы, потому что своих еще было мало — ставили большею частью переводные.

Императрица оценила его любовь к театру и рвение и назначила заведовать русской придворной труппой.

Это пристрастие старшего брата передалось Кате. Она в десять лет выступала уже в числе любителей на придворном спектакле во дворце. С тех пор Катя бредила Лекеном и Гарриком и была без ума от Дмитревского.

Михаилу Илларионовичу нравилось в Кате даже это увлечение — он сам любил театр.

Кутузов ходил по комнате и с улыбкой вспоминал, как первое, о чем спросила Катя у него после приезда из-за границы, было: «А в Париже не были? Клерон и Дюмениль не видали?»

И вот теперь он думал: идти ли сегодня к Кате или неудобно? «Вчера ходил, позавчера ходил, третьеводни ходил... Пожалуй, нельзя. Лучше завтра: завтра воскресенье...» — убеждал один, рассудительный, голос.

А второй не менее рассудительный напоминал, что два месяца тому назад Михаила Илларионовича произвели в полковники, назначили командовать Луганским пикирным полком и что уже в воскресенье вечером надо отбыть к полку. Остались всего лишь сутки.

«Э, схожу!» — решил Кутузов, схватил плащ и треуголку и вышел из дому.

По 3-й Артиллерийской улице, где жил инженер-генерал Бибиков, ветер гнал тучи пыли и мусора. Где-то хло-

пала калитка. Редкие прохожие, солдаты-артиллеристы, служители с пушечного двора, торопились по домам. Михаил Илларионович пригнул от ветра голову и, придерживая рукой шляпу, осторожно пошел по улице.

Вот длинный желтый дом Татищева, а за ним синий, бибиковский.

У дома Кутузов с неудовольствием увидел карету и сразу же догадался чья: Жана Рибопьера.

Швейцарец лейтенант Жан Рибопьер оставил свое милое отечество и приехал искать счастья в дикой, суровой России.

Счастье сопутствовало ему: он привез изящно написанное рекомендательное письмо Вольтера к императрице Екатерине.

Рибопьер обладал парижскими манерами, был бесспорно красив и так же бесспорно ловок и хитер. Его тотчас же повысили в чине и стали звать «Иван Степанович». Он был принят во всех лучших домах столицы, где очаровал девушек и дам. Но ухаживал швейцарец за одной — племянницей Кати, красавицей фрейлиной Аграфеной Александровной Бибиковой.

Бибиковы — старшее поколение — невзлюбили пронырливого, лстивого швейцарца. Да и считали они, что родниться с иностранцами нехорошо.

Груня же была более снисходительна к нему и не гнушалась его общества.

Михаил Илларионович сразу раскусил заморского гуся: «Карьерист и интриган!»

Но держал свое мнение при себе и ничуть не уступал Рибопьеру в вежливом с ним обхождении.

Очевидно, Груня приехала с Рибопьером к своей ровеснице и подружке «тете Кате» (она была дочерью сводного брата Кати, известного вельможи Александра Ильича Бибикова, посланного Екатериной усмирять Пугачева и умершего скоропостижно весной 1774 года).

Михаилу Илларионовичу встреча с Рибопьером была неприятна. Он еще никак не мог примириться с мыслью, что у него поврежден правый глаз, и чувствовал себя весьма неважно. При разговоре с кем-либо приходилось все время помнить о том, чтобы собеседник находился слева, а не справа. Кутузову казалось, что все с любопытством смотрят на его глаз, что он словно какой-то монстр. Нужна была большая выдержка, чтобы оставаться веселым и непринужденным. Особенно когда рядом с тобой

такой красавчик, у которого ни единой царапинки на выхоленном лице.

Катя как будто бы не обращала никакого внимания, никогда словом не обмолвилась о Мишиной ране, точно ее не было. Михаилу Илларионовичу хотелось думать, что для Кати он все такой же, каким был раньше (он помнил, что в детстве Катя хорошо относилась к нему).

Михаил Илларионович собирался поговорить с ней о своих чувствах, но откладывал со дня на день: боялся отказа, хотел проверить, правильно ли он полагает, что не противен Кате. К тому же всегда кто-нибудь мешал разговору. У Бибиковых вечно толкался народ — актеры, любители-театралы, приехавшие к Василию Ильичу. Катя, конечно, сидела тут же. По натуре она была человеком общительным, а театр ее очень интересовал.

Идучи к Бибиковым, Михаил Илларионович думал: погода плохая, авось сегодня никого чужого не будет.

И вот — нате!

Делать нечего. Кутузов вошел на крыльцо.

Старый денщик генерала уже широко распахнул перед ним дверь:

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие!

В вестибюле стояли готовые к отъезду Груня и щеголеватый Рибопьер. Они, видимо, ожидали кого-то.

«Славу богу, уезжают!» — подумал Кутузов.

Но не успел он поздороваться с ними, как по лестнице застучали каблучки, и со второго этажа, где помещалась бибиковская молодежь, быстро сбежала оживленная Катя.

— Мы едем к Груне репетировать «Нанину» Вольтера, — сказала она, протягивая руку Михаилу Илларионовичу. — Я играю Нанину, а Иван Степанович — графа.

— Ну что ж, это прекрасно! — ответил Кутузов, хотя уже понял, что все надежды на разговор сегодня пропали.

— Поедьте с нами! — предложила Груня.

— Миша никуда не поедет! — раздался сбоку голос Ильи Александровича Бибикова.

Старый генерал стоял на пороге своего кабинета, расположенного на первом этаже.

— Он останется со мной. Куда еще ехать? Вон какой ветер. Того и гляди наводнение станет.

— Дедушка, если будет наводнение, то и Артиллерийские улицы зальет, — возразила, оборачиваясь к нему, Груня.

— Нет, Артиллерийские выше, чем ваша Конюшенная. К нам вода не достанет.

— Папенька, ежели случится наводнение, Миша меня спасет: приедет за мной на лодке. У них ведь на Фонтанке лодка есть. Правда, Миша, приедете? — спросила, кокетливо поглядывая, Катя.

— Приеду! — ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович.

— Ну, адъё!

Катя помахала ручкой и выпорхнула на крыльцо. За ней вышли Груня и Рибольер.

Михаил Илларионович остался коротать вечер со стариком.

II

Молодой Кутузов просидел у Бибиковых за беседой до одиннадцати часов ночи.

Илья Александрович, как всегда, рассказывал много интересного о Семилетней войне, об австрийском фельд-маршале Лаудоне.

Михаилу Илларионовичу, который знал Фридриха II и Лаудона, было смешно представить, как прусский король, увидав впервые генерала Лаудона, сухошавого человека с громадными черными бровями, сказал приближенным: «Физиономия этого господина мне не нравится».

Король как будто предчувствовал, что этот скромный генерал будет способствовать страшному поражению пруссаков при Кунерсдорфе.

Когда Кутузов собрался уходить, Илья Александрович дал ему в провожатые лакея с фонарем: на улице была непроглядная темень. Ветер погасил те немногие фонари, что горели у некоторых домов. К ночи он не только не ослабел, но еще посвежел — рвал с необычной силой.

Где-то за Невой тревожно выли собаки.

«Видимо, придется в самом деле спасать Катю на лодке, — думал Михаил Илларионович, идучи следом за лакеем, несшим фонарь. — Не смыло бы нашу лодку на Фонтанке».

Ночь Михаил Илларионович спал тревожно. Он проснулся, чуть брезжил рассвет. С Петропавловской крепости били пушки.

Михаил Илларионович оделся — надел шинель и картуз вместо треуголки — и вышел из дому. У калитки стояли дворник, кучер, лакей и денщик молодого барина Иван, рязанский парень, никогда не выдавший ничего подобного. Он, должно быть, ходил смотреть, как разливается Нева, и теперь делился впечатлениями и новостями.

— Вода уже пошла по верху невской каменной набережной. Сказывают, давеча сорвало с якоря корабль, он перемахнул через набережную и проплыл мимо Зимнего дворца... А любский, груженный яблоками, швырнуло в лес на Васильевский остров. А на Проспективной что делается! Не приведи бог! Не улица, а река: шлюпки, боты плавают, — говорил он с увлечением.

— Гляди и до нас скоро доберется, — опасливо косился лакей.

— Не дойдет, не впервой! — авторитетно возразил старый дворник.

— А нашу лодку на Фонтанке не сорвало с цепи, не унесло? — спросил, подходя к ним, Кутузов.

— Да я на ней только что ездил, — ответил Иван.

— Тогда поедем со мной. И еще кто-нибудь, — обернулся он к дворовым.

— Я поеду, — откликнулся кучер.

— Хорошо.

Михаил Илларионович быстро пошел по направлению к Фонтанке.

Где-то в церкви не то звонили к ранней обедне, не то били в набат.

Возбужденный Иван шел рядом с полковником и все продолжал рассказывать:

— А один дом, ваше высокоблагородие, снесло с Адмиралтейской на тую сторону Невы. А сколько крыш посрывало!

У самой Фонтанки им пришлось шлепать по лужам: вода понемногу просачивалась все дальше. Лодку увидели издалека. Она чернела непривычно высоко — так вздулась Фонтанка, — и столб, к которому прикреплялась цепь, уже почти скрылся под водой.

Кое-как отцепили лодку. Михаил Илларионович сел за руль, а денщик и кучер на весла.

Полноводную Фонтанку пересекли быстро, а затем двинулись напрямик через пустыри и дворы домов: деревянные заборы нигде не уцелели.

Было странно видеть дома, окруженные водой. Волны захлестывали опустевшие лачуги бедняков. Из окон вторых этажей барских особняков испуганно смотрели невыспавшиеся господа и слуги.

Кутузов правил к березкам Невской Проспективной, которые маячили в бледном утреннем свете. Часть из них была сломана яростным ураганом.

Справа мрачно шумел Летний сад, над которым носились, крича, вороны.

Грести было трудно — ветер дул с прежней яростью.

Вот наконец лодка выплыла на Невскую Проспективную улицу. Денщик не соврал: по ней плавали доски, заборы, какие-то сарайчики. Как по реке, по грязным волнам сновали лодки и морские шлюпки, спасавшие бедноту, лишенную жилья, и ее скудный домашний скраб.

Мимо Кутузова проплыл, покачиваясь, подмытый стог сена.

Сквозь порывы ветра доносились крики о помощи, мычание коров, плач детей, звон разбитого стекла. И вместе с тем где-то так обычно и спокойно пел петух.

Проехали мимо Гостиного двора. Из нескольких магазинов купеческие молодцы грузили на лодки товар.

Дальше слева показалась церковь Рождества Богородицы. Она словно возникала из воды, как град Китеж. Волны хлестали в ее запертую дверь.

Свернули направо, к Конюшенной.

А вот и дом, где живет с матерью красавица Аграфена Александровна Бибикова.

Вода плескалась у самых окон высокого первого этажа. Еще один дружный напор ветра, и она прольется внутрь.

В доме не спали. Слышалось, как из первого этажа спешно подымали мебель на второй.

Кутузов подвел лодку к одному из окон и хотел уже окликнуть Катю, но вдруг сверху услышал ее удивленно-радостный голос:

— Груня, смотри, Миша приехал! Вот верный рыцарь!

Михаил Илларионович поднял вверх голову. Из полураскрытого окна второго этажа на него смотрели вовсе не перепуганные Катя и Груня.

— Я здесь. Собирайтесь, Катя, поедemте домой — на Артиллерийской воды нет! — встал в лодке Михаил Илларионович, держась за подоконник. — Да и Груню заберите!

— Груне надо во дворец: императрица ведь уже с вечера дома. Груня не хочет извиняться от дежурства. Вы сначала отвезите ее, а потом приедете за мной.

— Хорошо. Я готов.

Долго ждать Груню не пришлось. Она быстро собралась, сбежала в первый этаж, пока в нем еще не было воды, и через окно ловко прыгнула в лодку. Вслед за ней в окно передали чемоданы с фрейлинскими уборами.

— Спасибо вам, дорогой Мишенька! — высунувшись из окна, благодарила мать Груни Анастасия Семеновна.

— Приезжайте, я жду! — кричала вдогонку Катя.

Дворовые девушки смотрели из окна на свою красавицу барышню, которая не побоялась пуститься на лодке в такую бурю во дворец.

В Зимнем Михаил Илларионович благополучно сдал Груню придворным лакеям и отправился обратно.

Ветер стихал.

Вода стала заметно убывать.

— Навалитесь, ребята, а то и мы, чего доброго, застрянем с лодкой среди города, — сказал своим гребцам Кутузов, глядя, как засела на площади громаднейшая барка, которую выбросило из Невы.

Кате пришлось прыгать в лодку с большей высоты, чем Груне. Она даже на секунду замешкалась, стоя на подоконнике и в нерешительности глядя вниз, но Михаил Илларионович протянул к ней руки, и Катя с его помощью легко очутилась в лодке.

Назад ехать было легче и быстрее. Чтобы не засесть где-либо на мели, Кутузов сразу же постарался вывести лодку на Фонтанку.

Когда подъехали к своей пристани, столб уже возвышался над водой. Но ступеньки спуска были мокры и скользки, и Михаил Илларионович предложил Кате снести ее на берег.

Катя согласилась.

Михаил Илларионович бережно взял на руки маленькую, легонькую Катю и вынес наверх.

Он с удовольствием понес бы ее до самого дома, но Катя воспротивилась:

— Уже светло. Что подумают люди?

Она быстро, не оглядываясь, побежала к Артиллерийским улицам.

— Катенька, мне надо с вами поговорить...— начал Кутузов, когда они подошли к дому Бибиковых и остановились.

— Только не сейчас. Я ничего не слышу, не понимаю... Мы не спали всю ночь. Я так хочу спать,— капризным тоном сказала девушка, пряча зевоту.

Михаил Илларионович умел владеть своим лицом — он не показал виду, что слова Кати ему очень неприятны.

— Но ведь я сегодня вечером уезжаю...

Катя почувствовала огорчение Михаила Илларионовича и переменяла тон:

— Вы же скоро приедете. Тогда и поговорим обо всем, не правда ли? Ведь к рождеству приедете, Мишенька, да? Приедете? — спрашивала она, ласково заглядывая ему в глаза.

— Постараюсь приехать! — ответил Михаил Илларионович, смягчаясь.

III

Как ни старался Михаил Илларионович исполнить обещание, данное Кате,— приехать к рождеству, но ничего не поделаешь: служба! Смог вырваться домой лишь к февралю 1776 года.

Командующий легкой кавалерией Григорий Александрович Потемкин дал ему отпуск «для исправления домашних дел».

Кутузов хотел попасть домой к масленой неделе, но Новороссия, где стоял Луганский пикинерный,— не близкий свет. Пока он тащился на перекладных, уже пришла — по календарю «сырная», по еде «блинная» — любимая масленица.

Каждый день широкой масленицы получил у народа свое название: понедельник звался «встреча», вторник — «заигрыш», среда — «лакомка», четверг — «тещины вечерни», пятница — «разгул», суббота — «золовкины посиделки», воскресенье — «проводы».

Сначала Михаил Илларионович думал поспеть домой к началу гулянья — к «встрече», чтобы это была встреча вдвойне, но за метелями и вьюгами только в среду доставился в Тверь. «Разгул» он проводил не с Катей,

а в дороге, а «тещины вечерни» просидел не у гостеприимных Бибиковых, а на постоялом дворе у Новгорода, ожидая лошадей.

И только поздно вечером в субботу он наконец приехал в Петербург.

— Сегодня я приглашен к Илье Александровичу на блины. Поедем вместе,— сказал в воскресенье Илларион Матвеевич сыну.

Молодой Кутузов весьма охотно согласился поехать в гости.

У Бибикова собрался тесный круг его ближайших друзей.

Сам разносторонне образованный и умный, Илья Александрович подбирал себе таких же собеседников. Это были: директор Морского корпуса генерал Иван Лонгинович Кутузов, женатый на старшей дочери Бибикова — Евдокии, сослуживец Ильи Александровича генерал в отставке Николай Порфирьевич Быков и известный артист, «русский Росциус», Иван Афанасьевич Дмитриевский.

Пока хозяйка Варвара Никитишна не приглашала еще к столу, Бибиков увел Иллариона Матвеевича к себе в кабинет покурить, а Михаилом Илларионовичем завладела Катя.

Катя встретила Мишу очень тепло, искренне обрадовалась его приезду. Михаил Илларионович не без удовольствия заметил, что Катя, увидев его, покраснела,— стало быть, он был ей не безразличен. Катя повела гостя в залу, усадила на диван и сама села рядом.

Тотчас же из соседней комнаты выплыла с вязаньем в руках старая тетушка Прасковья Ивановна — считалось неприличным оставаться одной девушке с молодым человеком наедине. Тетушка поздоровалась с Мишей и продолжала вязать, не вмешиваясь в их оживленную беседу.

— Почему вы так замешкались? — спросила Катя.— Почему не приехали к рождеству?

— И рад бы в рай, да грехи не пускают: полк!

— Ну, рассказывайте, что у вас нового?

— Какие новости у солдата? — невольно улыбнулся Кутузов — ему вспомнилось, как на такой вопрос всегда отвечают в армии: «Знай службу — плюй в ружье да не мочи дула!» Но так же неприлично сказать девушке.— У вас новостей больше!

— У нас, правда, новостей хватает. Об одной вы уже, я надеюсь, слыхали: Груня все-таки вышла за Рибоьера замуж, как мать ни была против.

— Что ж, не Анастасии Семеновне жить с Рибоьером, а Груне,— ответил Кутузов.— И увлечение театром у Груни уже прошло?

— Ничуть! Вскоре после свадьбы мы у них же играли «Привидение с барабаном». Затем, знаете, Мишенька, наша очаровательная Габриель чуть не уехала к себе в Италию.

— Это почему же?

— Она запросила у императрицы за оперный сезон десять тысяч рублей. Императрица ответила, что такое жалованье получает у нее только фельдмаршал. Тогда Габриель возьми и скажи: «Так пусть, ваше величество, фельдмаршалы и поют!» Хорошо, что императрица была в добром расположении и оставила без внимания эту дерзость.

Михаил Илларионович искренне смеялся.

— Это грубо, но, право же, не лишено остроумия! А что же, некоторые из наших фельдмаршалов совсем неплохо поют, например, Румянцов, Потемкин. Да и у Разумовского голос хорош — недаром его брат на одном голосе карьеру сделал. Только у Александра Михайловича Голицына ни слуха, ни голоса. И на чем же все-таки примирились? — спросил Кутузов.

— На семи тысячах рублях.

— Не худо. Нет, Катенька, у вас в Петербурге веселее, чем у нас, в армии. Продолжайте, я вас с интересом слушаю!

— Самую главную новость вы тоже знаете,— продолжала рассказывать Катя.— Во вторник двенадцатого декабря у наследника Павла Петровича родился сын Александр. Петропавловская и Адмиралтейская крепости целый день палили из пушек. Можно было оглохнуть.

— Ничего не поделаешь: полагается салют в двести один выстрел,— шутливо развел руками Михаил Илларионович.

— И с той поры пошли у нас балы да маскарады, прямо отдыха нет. Вася рассказывал: императрица смеется — боюсь умереть от бесконечных обедов, придется заказать себе заранее эпитафию. Она так и написала Гримму.

— Жеманна матушка-императрица,— улыбнулся Кутузов.— Теперь заказывать эпитафию нечего, а вот когда Пугачев шел на Москву, тогда приходилось о ней серьезно подумать,— добавил, понизив голос, Михаил Илларионович.

— А вы, Мишенька, я вижу, все такой же насмешник! — улыбнулась Катя.

— А как в петербургских гостиных, весело? — переменил тему Михаил Илларионович.

— Тоска смертная. На балах передвигают ноги и кланяются, а в вечерних беседах играют в бостон и фарао или говорят о модных шаях и чепчиках.

— Но все-таки ж не о погоде и городских происшествиях, а о предметах высоких чувств,— пошутил Кутузов.— А как кавалеры?

Катя только махнула рукой.

— Один непрестанно хохочет, думая, что в этом состоит любезность светского человека, а другой развлекает дам, говоря о гальванизме, в котором не разбирается сам.

— Пожалуйте к столу! — послышался из-за двери голос горничной.

— Ну, пойдемте есть блины! — пригласила Катя.

Они встали.

— А знаете, он мне нравится: в нем удаль наша, русская! — сказала Катя, когда они спускались по лестнице в столовую.

— В ком удаль русская, в Гримме? — спросил, сдерживая улыбку, Михаил Илларионович, будто не понимая, о ком речь.

Катя рассмеялась.

— Да ну вас, какой там Гримм! В Пугачеве! А вы как думаете, скажите серьезно!

— Что ж, Пугачев, конечно, незаурядный человек! — уже совершенно серьезно ответил Кутузов.

IV

За блинами Катя спросила у Михаила Илларионовича:

— Миша, вы давно видали масленичные балаганы?

— Уж и не помню когда. В детстве.

— Поедем после обеда. Сегодня ведь последний день.

— Поедем! — обрадовался Кутузов.

Это было ему на руку. Он все время ждал случая, чтобы поговорить наедине. Тетушка, конечно, будет сопровождать их, но побойтся сесть на качели. Вот на качелях и поговорить с глазу на глаз!

Когда было покончено с блинами, Катя шепнула матери:

— Маменька, мы с Мишей чая пить не будем — поедем смотреть балаганы. Можно?

Варвара Никитишна разрешила им незаметно уйти из столовой.

— Только попроси тетушку сопровождать вас.

— Тетенька, милая, поедем! — приласкалась к Прасковье Ивановне Катя.

— Ну, поедем уж, что с тобой делать, баловница! — неохотно поднялась тетушка.

Гости продолжали сидеть у стола, оживленно разговаривая.

Они вспомнили молодость, военную службу. Дмитревский рассказывал о том, как он был в Париже и Лондоне.

Михаил Илларионович оделся, велел своему кучеру подать сани к крыльцу и ждал Катю и Прасковью Ивановну в вестибюле.

Катя выбежала в собольей шубке и беличьей шапке. Маленькая, верткая и черноглазая, точно белочка.

Кутузов залюбовался ею.

Сзади медленно плыла в лисьей шубе, точно попадья, тетушка.

Они сели в сани и поехали к Адмиралтейскому лугу, на котором устраивались все народные развлечения.

Погода благоприятствовала проводам масленицы: было безветренно и чуть морозило.

На улицах встречалось больше народа, чем обычно.

Величественно проплывали роскошные придворные кареты, запряженные цугом, с нарядными гайдуками на запятках.

Мелкой рысцой трусили чухонские лошаденки, украшенные бумажными розами. В их тесных санках едва умещалась честная компания ремесленников или чиновников с разрумянившимися барышнями.

И с гиканьем и песнями мчались тройки. В розвальнях стояли, сидели и лежали подгулявшие бородатые купчики с приятелями, женами и детьми.

Масленичное катанье было в полном разгаре.

А издалека, от Адмиралтейского луга, уже доносился веселый, разноголосый шум.

Когда они подъехали к Полицейскому мосту через Мойку, где начиналась масленичная толчея, тетушка не стала вылезать из саней.

— Я не хочу. Я останусь, — сказала она. — Вы походите немного, а я лучше посижу...

— Хорошо, тетенька, мы быстро, — ответила Катя, выпрыгивая из саней.

Михаил Илларионович взял Катю под руку, и они направились к балаганам, у которых легко полоскались на ветру разноцветные флаги.

Адмиралтейский луг тонул в звуках: пронзительно свистели, верещали дудочки, рожки, свистульки; скрипели размашистые качели; заливалась, играла шарманка, тренькали балалайки, задорно бил бубен, ухал барабан.

Отовсюду раздавались назойливые зазыванья разносчиков, пьяные и просто веселые выкрики, хлопушечные, словно орудийные, выстрелы, девичий визг и восторженный детский смех.

Толпа, облепившая балаганы, была разношерстна и цветиста.

Желтые и черные дубленые кожухи барской челяди мешались с зелеными шинелями солдат и мелкой чиновничьей сошки.

И красными, синими, оранжевыми, фиолетовыми цветами пестрели среди них праздничные бабьи платки и полушалки.

И тут же приплясывали на морозе оборванные нищие, выпрашивавшие грош на пропитание; слонялись опухшие присяжные пьяницы; толпились голодные крестьяне, пришедшие из далеких деревень за подаяннем в столицу. В стороне от этой толпы, не смешиваясь с «подлым» людом, стояли приехавшие посмотреть в лорнеты на масленичное веселье, а не на эту изнанку жизни, безучастные к чужому горю барыни и баре.

Катя и Михаил Илларионович, не задумываясь, нырнули в пестрый, шумный, веселый людской водоворот.

— Я люблю зрелища! — говорила возбужденная общим весельем Катя.

Они протискались сквозь текучую, праздную, праздничную толпу.

Над их ушами кричали продавцы калачей, пышек, ароматного имбирного сбитня, меда, кваса. Во всю мочь дудели, свистели продавцы глиняных лошадок и деревянных свистулек.

Тянули за рукав к своим ларькам торговцы конфет, пряников, орехов, царьградских стручков.

Но Катя устремлялась все дальше, к балаганам, к ледяной горе, возвышавшейся над всем широким лугом.

Вот наконец первый балаган с красным кумачовым занавесом. И перед балаганом, на шатком дощатом балкончике,— дед-завывала.

Он в сером кафтане, подпоясанном зеленым ямщицким кушаком, в громадных лаптях, в лохматой, волчьего меха, шапке, обшитой красной тесьмой. У него длинная льняная борода и озорные голубые глаза.

Дед-завывала весело, молодым, двадцатилетним голосом, кричит:

Эх, для ваших для карманов
Сколь понастроено балаганов,
Каруселей да качелей
Для праздничных веселий!
А ну, шевелись, веселись,
У кого денежки завелись!

— Заглянем к нему в балаган? — спросил Кутузов.

— Нет, у них самое интересное на виду, а не внутри. Мы походим, послушаем. Так будет разнообразнее и веселее,— ответила Катя, и они пошли дальше.

Возле следующего балагана такой же разбитной дед потешал, зазывал, но по-иному:

Задумал я жениться,
Не было где деньгами разжиться,
У меня семь дураков —
Медных пятаков
Лежат под кокорюю...
Сам не ведаю, под корою...

Катя шла не останавливаясь.

— Подождем, послушаем,— предложил Михаил Илларионович.

— А вы что, не собираетесь ли жениться? — лукаво взглянула на него Катя.

— Собираюсь...

— Пойдем, пойдем! У него женитьба невеселая. У невесты вон какое приданое, слышите?

Они замедлили шаг. А дед под хохот толпы перечислял приданое своей невесты:

Липовых два котла, да и те прогорели дотла,
Сито с обечайкою да веник с шайкою,
Чепчик печальной из материи мочальной,
Кожаная самара¹ да рваных лаптей пара...

— А ведь этот дед не без ехидства,— улыбнулся Кутузов.— Заметили, как он сказал: «чепчик печальной». Это ведь последняя парижская мода. Так и называется: «чепчик печальный».

— Да. Есть еще чепчики «подавленных чувств» и «нескромных жалоб»,— смеялась Катя.— Дед не отстает от века. Я ж говорила вам, что зазывалы интереснее, острее прочего.

— Когда моя бабушка выходила замуж в одиннадцать лет, ей в приданое дали куклу,— вспомнил Кутузов.

Но Катя не поддержала разговора о свадьбе. Она была поглощена разворачивающимся вокруг действием.

На их пути встал со своим ящиком с картинками раешник.

Он издали приманивал:

Подходи, народ честной и божий, шитый рогожей!
Подходи, мужик и барин — всякой будет благодарен!

— Посмотрим? — спросил Кутузов.

И тут же сам невольно подумал: «Одним глазом неудобно смотреть...»

И Катя, словно поняла его мысль, ответила:

— Нет, не стоит — все знакомое: «Париж — угориш», «Москва — золотые маковки... Успенский собор...» Это для детей хорошо.

— Может, покатаемся на карусели?

— Нет, лучше на качелях. Я люблю их — так дух и замирает. Но это напоследок. А теперь пойдем к Петрушке. Как же, быть на масленичном гулянье — и не повидать Петрушки? Я его очень люблю.

Они повернули и направились туда, где гнусавила шарманка.

Перед ширмой петрушечника толпились ребята и взрослые.

¹ Самара — долгополая одежда.

Из-за ширмы слышалось то кряхтенье, то какое-то кудахтанье.

И вдруг выскочил всем знакомый смешной Петрушка:
— Здравствуйте, господа. Я, Петрушка, пришел сюда повеселить всех, больших и малых, молодых и старых! Он сел на барьер, застучал рукой:

— Эй, музыка!

И тотчас же из другого угла ширмы появился музыкант — с громадным носом и скрипкой в руке.

В толпе засмеялись:

— Тальянец, тальянец!

— Что скажешь, Петрушка? — спросил музыкант.

— Я задумал жениться...

— А где невеста?

— Сейчас приведу!

Петрушка исчез за ширмой. Он вывел оттуда красиво одетую куклу:

— Смотри: хороша! Ручки, губки, шейка. Добыть такую сумей-ка. А пляшет как! Ну-ка, сыграй!

Музыкант заиграл «Камаринского». Петрушка пустился с невестой в пляс.

— Ну, дальше пойдет малопристойное: Петрушка станет выбирать для невесты лошадь. Пойдем к качелям, — обернулась к Михаилу Илларионовичу Катя, и они пошли к перекидным качелям.

Когда они взлетели на качелях и стали стремительно падать вниз, Катя прижалась к Мише — стало все-таки страшновато.

И он невольно поцеловал ее в прохладную от легкого морозца румяную щечку:

— Катенька, моя дорогая! Катенька!

Катя полуобернулась к нему и сказала с укоризной:

— И обязательно целоваться на людях? Разве иначе нельзя?

— Значит, целоваться можно? Значит, ты любишь меня? — зашептал Кутузов, не выпуская Кати.

Он не чувствовал больше ни взлетов, ни падений.

— Люблю, Мишенька...

— Когда же повенчаемся?

— Это тебя все Петрушка подбил? — шутила Катя.

— Нет, я давно хотел сказать.

— Знаю, знаю. Но что же делать? Завтра уже нельзя: великий пост. Придется обождать красной горки. Тогда

и повенчаемся, — говорила она, и ее черные бибиковские глаза сияли от счастья.

Качели остановились.

Надо было с небес спускаться на землю.

Глава четвертая

ОЧАКОВ

Я на камушке снжу,
На Очаков я гляжу.

А Суворов

I

Над русским лагерем у Очакова стояли облака пыли. Армия фельдмаршала Потемкина располагалась одним громадным каре на пшеничных полях, истоптанных повозками, людьми и лошадьми.

Ветер, дувший из степи, подымал тучи песку. Он набивался в лицо и обмундирование. Им был запорошен весь полотняный палаточный город. Даже роскошные шатры фельдмаршала не избежали общей участи, хотя стояли в середине каре.

Когда русские полки становились вокруг Очакова и Потемкин увидал, что его со всех сторон обступили побуревшие армейские палатки, он, смеясь, сказал:

— Да вы меня, братцы, совсем сжали!

В ответ на это со всех сторон раздалось:

— Сейчас ослобоним местечко, ваше сиятельство!

— Гренадеры, прими вправо!

— А ну, алексопольцы, подвиньтесь малость!

Солдаты любили фельдмаршала: Потемкин заботился о них. Он уничтожил ненавистные им букли и косы и тесное прусское обмундирование.

Он запретил офицерам бить солдат.

Хотя какой фельдмаршал сможет запретить жилистому фельдфебельскому кулаку втихомолку угощать солдата зуботычиной?

Полки отодвинулись подальше от палаток фельдмаршала, чтобы густые армейские запахи — заношенного белья и плохих солдатских желудков — не так били бы в нос командующему.

Армия Потемкина охватила восьмиверстным полукругом турецкую крепость Очаков.

Очаков — с каменными одеждами и башнями — стоял на крутом мысу, на возвышенном берегу Черного моря и Днепровского лимана.

Волны подбегали к его каменным высоким стенам, с которых глядели триста орудий.

Перед старой крепостью тянулись ретрашементы, рвы, волчьи ямы, и где-то были заложены мины — измышление французских, европейских инженеров.

Внутри крепости укрывался небольшой городок — лабиринт узких, восточных улочек, кое-где утыканных минаретами.

Очаков был единственной надеждой турок.

Крым, ставший русским, не давал им покоя. Турки считали, что Очаков поможет им вернуть утраченный Крым. Очаков запирал выход к морю из Днепровского лимана, у которого русские построили город Херсон.

Кючук-Кайнарджийский мир турки считали простым перемирием.

Послы в Константинополе — английский Энсли и прусский Диц — научили турок: не ждать, а напасть на Россию. В Европе считали положение России плохим: два последних года были неурожайные.

И 13 августа 1787 года «вздумалось блистательной Порте и неблистательным ее советникам объявить войну России», как писала Екатерина II.

Прежде всего турки решили уничтожить русские укрепления на Кинбурнской косе, которая лежит против Очакова.

Первого октября они высадили на косе большой десант, но Суворов опрокинул турок в море. Из пятидесяти турецкого десанта спаслось не более шестисот человек.

А летом 1788 года армия Потемкина осадила Очаков.

В первую турецкую кампанию 1768—1774 годов никто не обращал внимания на Очаков, а теперь он приобрел первостепенное значение.

Екатерина II говорила об Очакове, что он «южный, естественный Кронштадт» — Очаков влиял на развитие и само существование Черноморского флота и на оборону Крыма.

И к Очакову Потемкин стянул все свои силы.

В числе других войск у очаковских стен стояли любимые егеря Потемкина под командой генерал-майора Михаила Кутузова.

II

Кутузов смотрел из траншеи в зрительную трубу на очаковское предместье, утопавшее в садах. Сады находились в полуверсте от русской передовой батареи, которую прикрывали бугские егеря.

Сегодня егеря получили задание: во что бы то ни стало добыть «языка». Князь Потемкин хотел узнать расположение турецких мин у Очакова.

Турки сидели в окопах среди садов.

Егерям и батарее было приказано не тревожить сегодня турок. И на левом фланге с утра стояла полная тишина.

Уже час тому назад два егеря, умело пользуясь местностью, отважно подползли к буеракам и рвам, которые были в нескольких саженях от турецкого окопа, и залегли.

Кутузов остался доволен своими молодцами. Он недаром приучил егерей действовать на разнообразной местности. Егеря так скрытно подползли к буеракам, что турки не заметили их.

Дальше предстояло так же умело разыграть вторую часть действия.

Убедившись, что егеря благополучно добрались до намеченного места и готовы к дальнейшему, Кутузов подал знак.

Из траншеи выскочил Вася Ложкин, ловкий, быстрый солдат. Он был налегке — без штуцера, но турки не могли видеть, что под егерской курткой у Васи спрятан кинжал.

Ложкин бросился бежать напрямки к турецкому предместью. Он то и дело падал, будто укрывался от русских выстрелов.

Егеря стреляли по Ложкину холостыми, делая вид, что хотят свалить перебежчика.

Тогда ожил и турецкий окоп. Из него высунулись пестрые чалмы: турки заинтересовались этой сценой.

Ложкин не добежал нескольких сажен до турок и упал, будто в изнеможении, в широкую яму. Он лежал так, что его товарищи оказались по обе стороны ямы.

Ложкин стал звать турок на помощь.

Русская батарея и егеря напряженно следили за тем, что будет, готовые в любой момент прийти на помощь товарищу.

Несколько минут турки совещались, а потом один из них перемахнул через бруствер и прыгнул в яму, где лежал Ложкин.

Как только он наклонился над егерем, Ложкин крепко обхватил его руками, крича:

— Ребята, вяжи!

Егеря, выскочившие из своего укрытия, накинулись на турка.

В яме образовался живой комок тел.

Кутузов махнул рукой. Батарея ударила по турецкому окопу, мешая туркам прийти на помощь своему.

А егеря уже волокли связанного «языка». Рой турецких пуль провожал их. Но егеря со своим пленником благополучно вкатились в траншею. Все были невредимы, только Ложкин отплевывался и вытирал разбитый нос.

— Проклятуший осман! В самый нос саданул кулачищем! — обижался он.

— Ты курносый, не страшно! — смеялись товарищи. «Языка» повели в лагерь.

Турецкие батареи наконец спохватились: поднялась частая пушечная и ружейная стрельба.

Кутузов собирался уходить к себе, но увидел, что к траншее из лагеря приближается группа генералов.

Впереди, в шитом золотом фельдмаршальском мундире с орденами, в белых рейтузах, шел высокий, громадный князь Потемкин.

Его окружали генералы и иностранные офицеры, которых при штабе Потемкина хоть отбавляй. Вся эта цветистая группа представляла прекрасную мишень для турок. Турки участвовали в стрельбе.

Егеря, укрываясь от турецких снарядов, лежали в траншее.

Кутузов скомандовал:

— Встать, смирно!

Егеря поднялись.

Потемкин шел, не сгибаясь под турецкими выстрелами.

— Ребята! — сказал фельдмаршал. — Приказываю вам раз навсегда: передо мною не вставать, а от турецких ядер не ложиться!

Он поздоровался с Кутузовым, узнал, что «языка» добыли, и так же спокойно пошел дальше.

Михаил Илларионович пропустил мимо себя потемкинскую свиту. И вдруг в группе иностранцев увидел знакомое сморщенное лицо боязливо оглядывавшегося полковника Анжели.

Француз шел, делая вид, будто не замечает Кутузова.

«Давненько не встречались! — иронически подумал Михаил Илларионович. — Но что же делает при штабе этот хитрый интриган?»

Кутузов направился к себе в лагерь.

Занятый добычей «языка», он как-то не заметил, что с моря надвигалась туча. Засверкала молния, прогремел гром, и полил дождь.

Кутузов заторопился.

Лагерь весело принял грозу: всем надоела изнурительная жара последних недель.

Крупный дождь хлестал по палаткам. Земля сразу превратилась в липкую грязь.

Кутузов, отряхиваясь, вбежал к себе в палатку и стал переодеваться. Гром продолжал греметь, вплетаясь в орудийные раскаты.

А у фельдмаршала Потемкина уже играла музыка: князь каждый день угощал своих гостей концертами.

Кутузов лежал на жесткой тростниковой постели и с удовольствием освежался ветерком, дувшим с моря.

Ветер приносил с собою морскую свежесть и едва уловимый запах тлена: из лимана к Очакову в бурную погоду все еще продолжало прибывать из-под Кинбурна турецкие трупы, исклеванные чайками.

«А ведь весь лагерь пьет воду из лимана!» — невольно подумал Кутузов.

В русском лагере с каждым днем все больше становилось больных. Кровавый понос и гнилая лихорадка косили солдат и офицеров.

А князь Потемкин только забавлялся концертами да балами, не думая штурмовать Очаков.

Он ждал, когда Очаков сдастся сам.

III

Михаил Илларионович, задумавшись, шел по лагерю. Надоело ожидание штурма, вечная жара и еда всухо-

мятку — с топливом под Очаковым было плохо.

Откуда-то со стороны берега моря доносилось жиденькое пение: несколько неспевшихся голосов тянули «со святыми упокой». Снова кто-то умер от поноса, не дождавшись штурма турецкой крепости.

— Михаил Илларионович! — окликнули сзади.

Кутузов обернулся. К нему шел, размахивая снятой с головы каской, непоседливый, энергичный генерал-аншеф Суворов — восходящая звезда русской армии, герой Туртукая, Козлуджи и Кинбурна. Любимец солдат.

— Здравия желаю, Александр Васильевич! — живо приветствовал его Кутузов.

— Ваши егеря — молодцы! Как ловко-то «языка» добыли, помилуй бог! Слыхал, слыхал! — хвалил Суворов, пожимая Кутузову руку. — Ну что ж? Сидим у моря, ждем погоды? — спросил генерал-аншеф.

Осторожный Кутузов только улыбнулся.

А Суворов, не дождавшись ответа, с жаром заговорил, — видимо, наболело:

— Князь Потемкин так спешил к Очакову: помилуй бог, двести верст тащился тридцать пять суток. Словно баба на богомолье. Я вон из Минска до Варшавы — шестьсот верст — отмахал за двенадцать дней. Принц де Линь смеется: фельдмаршала, мол, задержала на Днепре вкусная рыба. Как говорится: либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Вот и сел на мель. Сидит и глядит. А одним гляденьем крепости не возьмешь! Турок считает: раз толчемся на месте, значит, слабы. Ободрился. Лезет сам. Не таким способом бивали мы басурман! Послушался бы меня — давно Очаков был бы наш! Помилуй бог, штурм — дешевле всего. Наши вон без штурма кажинный день мрут, как мухи. И выйдет по солдатской поговорке: турки падают, как чурки, а наши здоровы — стоят без голов. Не правда ли? Знаем одно — пахать из пушек.

— Бомбардировки ретраншемента не достигают цели, — согласился Кутузов. — Мы поздно оценили значение передовых турецких пунктов-садов.

— Верно! А кому тут и оценить? Инженер-генералу Меллеру? Сюда бы наших старичков: вашего батюшку Лариона Матвенча или тестя, Илью Александровича Бибикова. Вот это были инженеры.

— Да, — вздохнул Михаил Илларионович. — Старики умерли...

— А он сидит, боится шевельнуться: мины! Ждет, когда лазутчики купят в Париже и пришлют ему полный план, где в Очакове заложены мины. А я не побоюсь! Мне надоело сидеть, помилуй бог!

И он побежал дальше, точно сию минуту собирался на штурм.

Кутузов смотрел вслед Суворову и думал: все такой же — пылкий, горячий.

А князь Потемкин чересчур уж осторожен!

Бригадным командиром Потемкин был хорош, а вот главнокомандующий из него получился никудышный.

IV

В палатке стало совершенно темно. Кутузов велел денщику зажечь свечу: хотел написать в Петербург жене. Домой Михаил Илларионович писал часто.

Как быстро летит время! Кажется, вчера женился, а вот уже прошло больше десяти лет! И у них уже пятеро маленьких дочерей. Самой младшей, Дарье, нет еще и полугода...

Михаил Илларионович писал письмо, спрашивал о здоровье детей и живо представлял себе всех их.

Старшая, Прасковья, уже совсем большая — ей одиннадцатый год. Но самая любимая — это средняя, пятилетняя Лизанька, толстенькая, черноглазая. Вся в Бибиных.

Когда Михаил Илларионович уезжал в армию и старшие девочки плакали, Лизаньку уговорили, что папа уезжает ненадолго.

И она повторяла: «Ты скоро вернешься, скоро?» — «Скоро, скоро», — отвечал папа, прижимая девочку к себе.

Михаил Илларионович не писал жене о том, что в лагере свирепствует кровавый понос и гнилая лихорадка, чтобы не тревожить родных. Написал лишь, что маркизенты пользуются случаем, невероятно дерут за все продукты и что под Очаковым плохо с дровами — не на чем готовить еду. Рассказал, как он сжег свою коляску: на каждом колесе денщик Ничипор сготовил ужин, а на оглоблях — обед.

«Написать о том, как 27 июля Суворов все-таки атаковал передовые укрепления Очакова, а Потемкин не

поддержал его? Нет, не сто́ит!»— решил Михаил Илларионович.

В это время из ставки фельдмаршала слышалась веселая музыка: начинался всегдашний вечерний концерт, на который очаковские собаки отвечали нескончаемым лаем.

Кутузов продолжал писать:

«Нет ничего смешнее, как читать в разных немецких, французских и прочих ведомостях о действиях нашей армии, все ложно, бесчестно и бессовестно написано...»

Вдруг за палаткой слышался конский топот и какие-то возбужденные голоса.

Кутузов вышел из палатки.

С десятка егерей окружило двух ахтырских гусар, проезжавших мимо.

— В чем дело, ребята? — спросил Кутузов.

— Турки у лимана захватили в плен корнета и гусара, ваше превосходительство, — отвечал егерь.

— Как так?

— Вечеру корнет и трое гусар поехали за тростником.

— На ночь глядя — за тростником? — удивился Кутузов.

— Так было приказано корнетом, ваше превосходительство, — объяснил гусар.

— Ну и что же дальше?

— Поехали, а турки у лимана их и схватили.

— Как же это? Ведь не слышно было ни выстрелов, ничего...

— Их благородие даже пистолетов из ольстреда не выняли, — рассказывал гусар.

— Как фамилия корнета?

— Шлимень.

Кутузов усмехнулся, думая: «Нарочно передался, подлец! Вон и степь подожгли».

Из степи несло на русский лагерь дымом и гарью: в степи горела трава. В сгуставшейся ночной темноте пожар представлял мрачную, зловещую картину.

А в ставке князя Потемкина гремела, не умолкая, веселая музыка.

V

Уже второй день очаковские пушки молчали, словно их и вовсе не было. Левофланговая русская батарея,

ближе других расположенная к крепости, отдыхала.

Неожиданным роздыхом воспользовались и бугские егеря, прикрывавшие батарею. Полковник разрешил одной роте постирать белье. Августовский день был благостен, тепел и тих.

Егеря расползлись по берегу — стирали, сушили, купались.

С высокого минарета, выглядывавшего из садов очаковского предместья, прокричал муэдзин, призывая правоверных к полуденной молитве.

Намаз окончился.

И тут турки, таившиеся в соседних буераках, как мыши, стали стрелять из ружей по егерям.

Егеря лишь посмеивались: толку от этой стрельбы для турок — никакого.

— Мало каши едал осман! Придется еще подучиться стрелять!

— Пусть его потешится.

Разложив на камнях и по берегу выстиранные сорочки и порты, егеря сидели под откосом, в укрытии. Несколько человек еще купалось в море. И вдруг неожиданно-негаданно раздался пушечный выстрел и в самую середину разложенного белья грохнула бомба.

Вместе с песком и камнями полетели в стороны ошметки солдатского бельишка. А берег окрасился кровью — двое егерей оказались ранеными. Егеря бросились собирать непросохшее белье и бежали к своим.

Турецкие пушки били по берегу, но на этот раз ядра падали в воду, подымая фонтаны радужных брызг.

Артиллеристы посмеивались сверху:

— Басурман — дурак: каждый выстрел сто́ит двадцать пять рублей, а за все эти латанные порты да сорочки маркитант и пятерки не даст.

— Тебе, конечно, не жалко — чужое, а мне сорочка дороже ста рублёв! Потому как она у меня остатняя! — говорил в сердцах егерь, с трудом натягивая на себя еще сырую сорочку.

На батарее раздалось знакомое:

— ...То-овсь!

Русские пушки стали отвечать.

С первого выстрела угодили в самую площадку минарета.

— Пусть мулла благодарит аллаха, что успел убраться оттуда!

И тотчас же на очаковских валах показались белые и красные знамена. И турецкая пехота, надеясь, что егеря не успели одеться, высыпала из буераков и садов с истошными криками «алла».

Егеря приняли их в штыки.

— Вот тебе за мои порты! — кричал кто-то.

Все смешалось — чалмы и каски.

А батареи били через головы пехоты друг по другу.

...Генерал-майор Кутузов проверял с капитаном Резвым ведомости на продовольствие 2-го батальона, когда к нему от 1-го батальона прибежал егерь:

— Ваше превосходительство, турки зачали трепалку!

— Слышу! — спокойно ответил Кутузов.

— Их сила большая. Страсть. Головы нашим режут.

Полковник просит сикурец!

Кутузов понял, что дело серьезное. Он бросил ведомости и кинулся выводить 2-й батальон.

Залились егерские трубы.

Капитан Резвой задержался в палатке, складывая ведомости.

2-й батальон уже поспешил на выручку к своим.

Резвой бежал сзади, с тревогой думая о генерале: «Ну что он сам всегда впереди? И ведь больше сорока годов, а бежит как молоденький!»

2-й батальон вступил в бой.

Где-то впереди виднелась плотная фигура генерал-майора.

Вот он остановился, машет шпагой, увлекает егерей вперед — и вдруг зашатался:

— Что это? Опять ранили? Ах ты господи!

Резвой бежал изо всех сил. Янычарские пули визжали вокруг.

Когда капитан подбежал к группе егерей, склонившихся над упавшим командиром, он увидел: по щеке Михаила Илларионовича на мундир льется кровь.

— Неужели снова в голову? — с отчаянием вырвалось у Резвого.

— В голову, — ответил кто-то.

— Басурманы давно уже перестали стрелять Михайле Ларивоновичу в грудь: знают, что она у него каменная. Почали метить в голову!

— Не ждите носилок. Несите так! — приказал капитан, а сам кинулся вперед, потому что натиск турок не ослабевал и батареи угрожала опасность.

Турецкая вылазка была отбита, но командир бугских егерей генерал-майор Кутузов лежал без чувств: пуля, ударив в щеку, вышла в затылок.

И на следующий день, 19 августа, находившийся при Потемкине австрийский генерал принц де Линь, отправляя донесение императору Иосифу, написал:

«Принц Ангальт сменил генерала Кутузова, того самого, у которого в прошлую войну голова была насквозь прострелена пулею позади глаз и который, по беспримерному счастью, не лишился зрения. Вчера этот генерал получил другую, подобную той, рану в голову же, пониже глаз, и умрет сегодня или завтра».

VI

После дела 18 августа весь русский лагерь беспокоился об одном: останется ли в живых генерал-майор Михаил Кутузов?

Егерский лекарь, лысый немец Баллод, не надеялся на выздоровление. Первая рана была смертельна, а теперь пуля снова прошла через голову.

— Дфа раза чуда не пыфайт! — говорил он.

Но егеря почему-то надеялись.

— Ларивоныч поборот! Даст бог, выживет!

Прошли сутки — генерал Кутузов не умер.

Прошла неделя — генерал Кутузов живет.

И так побежал день за днем...

Императрица Екатерина три раза справлялась в письмах к Потемкину о здоровье Михаила Илларионовича, писала: «Я весьма жалею о его ранах».

Кутузов снова удивил всех врачей: и рядовых — полковых и главного лекаря потемкинской армии, известного парижского хирурга Массо, удивил весь мир — он выздоравливал от ужасной, смертельной раны.

Массо, убедившись наконец в том, что этот невероятно живучий русский генерал не умрет, донес императрице Екатерине:

«Должно полагать, что судьба назначает генерала Кутузова к чему-либо необычайному, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской».

В последних числах ноября 1788 года генерал-майор Кутузов возвратился из Елисаветграда, где он лежал в госпитале, в лагерь под Очаков.

Рана совершенно зажила.

Стояла стужа, мороз. Вместо палаток степь покрылась холмами: люди укрылись в землянки. Только бедные лошади кавалерии дрогли на ветру.

Егеря, увидев своего командира, были вне себя от радости:

— Видал: жив-здоров! А то каркала немчура: помрет!

— Кого так, загодя, хоронят, тот долго живет!

— Русский человек — живуч!

— А Михайла Ларивоныч — такой, как был! Не переменялся!

— Правый глаз чуть маленечко вроде скашивает...

— Это ничего! Ему, брат, не жениться — давно женат!

Кутузов осмотрел своих егерей. Солдатам было нелегко: мерзли в траншеях, коченели от холода, стоя на часах, а возвратившись к себе в землянку, тоже не находили тепла.

Егеря просили генерала:

— Скорее бы, ваше превосходительство, на штурм! Хоть кровушку-то согреть!

Кутузов остановился у своего старого приятеля — капитана Резвого. Генерал не захотел поместиться у принца Ангальта, который после ранения Кутузова был временно назначен командиром бугских егерей.

— Пока мне сделают землянку, я поживу с тобой, Павел Андреевич, — сказал он капитану.

— Милости прошу, Михаил Ларионович, пожалуйста! Моя землянка не хуже принцессы. Только вместо ковров в ней одни рожи!

— Нет, у тебя ничего, — осматривал землянку Резвого генерал. — Вон и потолок из досок...

— Много труда стоило, Михаил Ларионович, лес найти. За два эти бревна, — хлопнул капитан ладонью по столбу, подпиравшему потолок, — я заплатил — не поверите — четыре рубля! А перекладины мы из старых телег соорудили. Голь на выдумки хитра!

— Я и говорю: землянка ничего, только сыровато поди...

— Сырость есть. Хоть и песок, а все-таки — яма... Но ждать осталось недолго: не позже Николина дня пойдем на штурм Очакова. Все говорят.

— Вот я и поспел! — улыбнулся Кутузов.

— Теперь-то хоть будьте поосторожнее, Михаил Ларионович!

— Пуля угодит во всякого — и в труса, и в храбреца! А как же Очаков?

— Держится, да уж не тот. Позавчера вышел на левом фланге к батарее старый турок. Говорит по-русски: долго ли, спрашивает, будете стоять под Очаковом? А наши егеря смеются: хоть целую зиму, пока не сдадитесь... Не сладко и туркам. Как-то в октябре наши сделали большой пожар в Очакове, такой черный дым валил. Пленные турки говорили: хлебный магазин горит. У турок голод: доедают лошадей, собираются приняться за собак и кошек.

— У нас, видно, тоже негусто с хлебушком?

— Не очень. Как ударили морозы да пошел снег, много скота пало. У маркитантов цены на все еще повысились: морковку и ту стали на штуки продавать.

— А что делается в штабе фельдмаршала?

— Эх, — досадливо махнул рукой капитан. — Коварство да хитрость. Всяк старается всклепать на другого пороки, коими заражен сам. Да только и слышишь: тот сорвал уже за нынешнюю кампанию два чина, а тот получил такой-то орден. И все больше иностранцы ловят рыбку в мутной воде...

— Не слыхал ли, как Анжели?

— Выслали, как французского шпиона.

— Наконец-то. Давно пора! А что, Павел Андреевич, фельдмаршал тоже в землянке живет?

— В землянке. У него, рассказывают, много отменно хороших покоев. Печи изразцовые, ковры, зеркала. Жить можно!

— Ну вот я сейчас все это увижу сам, — сказал Кутузов, собираясь явиться к фельдмаршалу Потемкину.

VII

Мокрая, холодная осень сменилась ранней зимой.

По осени армия Потемкина страдала от слякоти и непролазной грязи, а теперь стала терпеть от лютой стужи. Зима пришла раньше и суровее обычного.

Маркитанты жаловались: такой зимы в этих местах не запомнит никто. Градусник у больших парчовых па-

латок главнокомандующего показывал 20 градусов ниже нуля. Степь покрылась снегом. Кое-где блестел ледок. Замерзли реки и лиман перед Очаковым. Солдаты без опаски ходили по прозрачному в воздушных пупырышках льду.

Топлива не хватало — жгли все, что могло гореть: тростник, старый бурьян, конский помет. Каждый день замерзало в настывших землянках и на постах до сорока человек.

А Потемкин все не решался на штурм, хотя даже Екатерина II писала ему: «Для сбережения людей — расчет самый неверный поздняя кампания, а особенно в местах, где продовольствие так затруднительно и есть лишение всех нужных потребностей. Филантропия не всегда бывает кстати».

Потемкин все еще надеялся на какое-то чудо, на то, что упрямому сераскиру Гуссейну-паше вдруг надоест сидеть в осаде и он сдастся. А хитрый Гуссейн-паша посылал в русский лагерь перебежчиков, чтобы они распространяли слухи, будто бы очаковский гарнизон готов сдаться и уже два раза пытался бунтовать, но паша не соглашается.

И Потемкин верил в эти вздорные слухи.

Михаил Илларионович смеялся над нехитрой уловкой Гуссейна-паши:

— Князь не знает турок и их упрямства. Осман все вытерпит, а не сдастся, — говорил он Резвому.

Потемкин пребывал в мрачнейшем настроении: он уже ясно видел, что зря прождал лето и осень. Крепость была все та же. Перед ней, на две с половиной версты, тянулись большие земляные укрепления — с моря ее защищал пятиугольный форт «Гассан-паша» с толстыми стенами; гарнизон был больше осаждающей русской армии.

Придворные прихлебатели и роскошные петербургские дамы, лето и начало осени жившие при ставке главнокомандующего, с первыми заморозками потянулись в столицу, как журавли к теплу.

Ставка главнокомандующего поскучилась.

Нерешительность Потемкина угнетала всех — солдат и офицеров. Мороз, стужа и ветер, холод и голод прочно держали в своих цепях русскую армию. Походило на то, что в осаде находятся не турки, а русские.

Армия роптала.

Пятого декабря мороз усилился до двадцати двух градусов.

Дежурный генерал Рахманов поутру доложил главнокомандующему, что на завтра не осталось ни полена дров. Вместе с ним явился с такою же невеселой новостью и обер-провиантмейстер генерал Каховский: сегодня армии роздан последний хлеб.

Зимний Никола не сулил ничего приятного.

Потемкин побледнел.

— Этот поганый городишко меня убьет! — зарычал он.

Выхода не оставалось — приходилось идти на штурм. Но Потемкин все еще продолжал упрямо верить во что-то. Он отправил к Гуссейну-паше еще одно предложение сдаться.

Турки только посмеялись над потемкинским парламентом:

— Сдавайтесь вы, пока не вымерзли все в степи, а у нас в домах тепло!

И вправду, над очаковскими домами подымались вверх столбики дыма.

Почерневший от волнения, от того, что последнюю неделю валялся среди подушек небритый и плохо вымытый, Потемкин наконец уступил: он приказал генералам Репнину и Меллеру написать диспозицию к завтрашнему штурму.

Диспозицию написали быстро.

Четыре колонны должны были с запада штурмовать большое нагорное укрепление и толстые стены форта «Гассан-паша», две колонны — с востока передовые укрепления, прикрывающие Очаков.

К вечеру диспозицию разослали во все полки.

Солдаты не очень вникали в нее — это дело командиров. Они поняли одно: назад идти нельзя — нет ни хлеба, ни дров. Остается одно — победить!

О смерти никому не хотелось думать.

VIII

Михаил Илларионович шел мимо выстроенных егерей.

Рассветало. Штурм был назначен на шесть часов утра. Мороз сегодня — как назло — жал сильнее, чем вчера. Все кругом было в инее. Каменные стены Очакова казались седыми.

Невыспавшиеся, закоченевшие, полуголодные егеря дрожали в своих легких мундирах. Пальцы с трудом держали настывшее на морозе ружье. На таком окаянном холоде странной казалась команда «Смирно». Солдатам и офицерам трудно было не шевелиться: мороз пробирал все тело.

Михаил Илларионович, встав чуть свет, велел вытащить из своей землянки бревно, доски и перетертые в труху тростниковые постели, на которых он спал с Резвым, и сложить несколько костров для егерей: пусть хоть погреются у огонька да выкурят трубочку — все же легче перед штурмом.

Он выстроил егерей, чтобы сказать им несколько слов перед атакой:

— Ребята, берегитесь турецких мин. Французские инженеры не пожалели их, заложили эту пакость всюду. Продвигайтесь вперед только по следам отступающего врага. Не отходите в сторону. Особенно будьте осторожны в домах.

Михаил Илларионович говорил, и его голос дрожал: не от волнения, а от стужи зуб не попадал на зуб.

— А теперь — вольно! Погрейтесь, покурите, двигайтесь!

И он сам, потирая озябшие руки и уши, затопал на месте.

Егеря охотно побежали к веселым огонькам костров. Плясали, шутя били друг друга по спине, по плечам, чтобы согреться. Но отдых продолжался недолго. Вот над русским лагерем взлетела долгожданная ракета. Егеря тотчас же поспешили встать на свои места.

Еще минута — и русские войска с криком «ура!» кинулись на штурм Очакова.

Кутузов привык быть в бою всегда впереди. Он и сегодня побегал вместе с первой шеренгой, но бежать было труднее, чем прежде: поврежденный правый глаз почти ничего не различал. Резвой и егеря уговаривали генерал-майора не торопиться — кутузовскую неустрашимость знали все.

Артиллерия усиленно била по Очакову. Она удачно пристрелялась — уже в нескольких местах города горели дома и взлетел на воздух турецкий пороховой склад. Столб пламени и густого дыма на минуту затмил ясное, морозное солнце, встававшее над степью. Замолчала гас-

сан-пашинская батарея, которую атаковала соседняя колонна генерал-майора Палена.

Атака бугских егерей и астраханских гренадеров была так стремительна, что защитники части передовых турецких укреплений были смяты.

Михаил Илларионович вместе со всеми очутился внутри турецкого ретраншемента. Егеря, пробивая штыками дорогу, продвигались все дальше: теперь уже не было холодно никому.

Михаил Илларионович остановился передохнуть: он бежал все-таки слишком быстро и устал. Мороз и не думал уменьшаться, а со лба у Кутузова тек пот. Он вытер лицо, слезящийся правый глаз и невольно глянул на часы. Прошло только двадцать пять минут, а уже все полевые укрепления Очакова, перед которыми русские войска стояли столько месяцев, были взяты. Турки повсегдашнему защищались храбро и упорно, но ярость русских войск была велика. Холод и голод не ослабляли, а лишь усиливали натиск штурмующих.

Всюду валялись убитые, стонали раненые.

Михаил Илларионович ужаснулся их непривычному виду. На сильном морозе кровь запекалась, как сургуч. А на лицах убитых застыла последняя страшная гримаса, в которой соединились накрепко боль, ужас и отчаяние. На лицах убитых не было того умиротворения, которое в конце концов накладывает смерть.

В штурме действовали мужественно все — рядовые и командиры. Артиллерийские офицеры — из рвения — составили первый ряд бомбардирского дивизиона и по лестницам вззошли на каменные стены крепости. Бригадир Горич был убит, три сына генерала Меллера — ранены.

Бой уже перекинулся в самый город Очаков, в его тесные, узкие улочки.

Враг был сломлен, но не сдавался. Здесь и там раздавались взрывы мин. Астраханские гренадеры, не предупрежденные об этой коварной опасности, теряли на минах много людей. Но русские с еще большим ожесточением выбивали турок из переулков и домов.

Штурм оказался более стремительным и яростным, чем можно было предполагать: он длился лишь час пятнадцать минут.

Михаил Илларионович очищал с егерями последние дома на большой площади. Он командовал, стоя у ме-

чети. К нему от его других батальонов подбегали с докладами ординарцы. Сюда же вели и турецких пленных.

Среди группы турецких командиров оказался небольшой человек с рыжей остроконечной бородкой. На голове у него была зеленая чалма.

Михаил Илларионович догадался, что это сам сераскир. Невзрачный, худощавый Гуссейн-паша походил больше на какого-либо торговца рахат-лукумом, чем на твердого и упорного сераскира.

Кутузов окружил турецких пленных военачальников цепью егерей.

На площадь, заваленную трупами турок и русских, усеянную битым стеклом и выброшенным из домов имуществом, въехал победитель — князь Потемкин.

Михаил Илларионович пошел навстречу главнокомандующему и доложил, что пленили самого сераскира Гуссейна-пашу.

— Где он? — оглянулся Потемкин.

— А вот, ваше сиятельство, в зеленой чалме, — указал Кутузов. Потемкин подъехал к группе пленных и закричал:

— Твоему упрямству мы обязаны таким кровопролитием! — Он театральным жестом указал на турецкие и русские трупы, разбросанные по площади.

Один из приближенных сераскира тотчас же перевел ему гневные слова Потемкина.

— Останови реку своих упреков, — ответил Гуссейн-паша. — Я исполнил мой долг, как ты свой. Судьба решила в твою пользу. Так угодно аллаху! — и презрительно отвернулся в сторону.

Офицер-толмач, ехавший позади главнокомандующего, перевел ему эти горделивые слова сераскира.

Взбешенный Потемкин ударил нагайкой коня и помчался в узкую улочку, из которой доносились крики сражающихся и тянуло гарью и дымом близкого пожара.

Турецкая крепость пала.

Обрадованная Екатерина II даже написала по этому поводу вирши:

О пали, пали с звуком, с треском
Пешец и всадник, конь и флот,
И сам, со громким верных плеском,
Очаков, силы их оплот!

«ДЕНЬ ИЗМАИЛА РОКОВОЙ...»

Кутузов находился на левом крыле, но был моею правой рукою.

Суворов

I

Суворов и Кутузов, оба небольшие, но Суворов — худощавый и подвижный, а Кутузов — полный и неторопливый, стояли с егерскими батальонными командирами у ярко горевшего костра. Генерал-аншеф Суворов дал бугским егерям получасовой отдых: они хорошо поработали, изображая штурм неприступного «Измаилова», как русские солдаты звали крепость Измаил.

Самая сильная турецкая крепость на Дунае, Измаил, лежала вот тут, верстах в пяти на восток. Ночная темнота скрывала ее высокие, четырехсаженные стены и шестисаженные рвы, сделанные под наблюдением французского инженера де Лафит-Клаве.

По приказу Суворова в придунайской степи, на запад от крепости, был насыпан вал и вырыт ров — такие же, как в Измаиле. Здесь каждую ночь Суворов лично обучал войска, как штурмовать турецкую крепость, учил забрасывать рвы фашинами, быстро выбираться из них наверх, а затем по лестницам всходить на вал.

На валу вместо турок стояли фашины; их надо было колоть штыком.

Некоторые генералы удивлялись: и зачем самому командующему, почтенному человеку, заниматься этим? Любой старый капрал мог показать, как надо влезать на стены!

Генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин, двоюродный брат светлейшего, так и сказал Александру Васильевичу: мол, зачем беспокоиться, стоило вам приказать, и каждый командир полка обучил бы своих солдат.

«Si duo faciunt idem, non est idem!»¹ — ответил на это латинской поговоркой Суворов.

Павел Сергеевич, не знавший латыни, не понял, а Михаил Илларионович Кутузов считал, что Суворов прав: вложить в это обучение столько задора мог только он один.

¹ Если двое делают то же, это — не то же.

Война с Турцией тянулась уже четвертый год. После падения Очакова турки были разбиты при Фокшанах и Рымнике. У турок не хватало средств, но они все-таки не хотели мириться: султан надеялся на помощь европейских держав. Его сильно разгневали недавние капитуляции соседних с Измаилом небольших крепостей на Дунае: Килии, Тульчи и Исакчи. Султан дал фирман¹, по которому велел казнить каждого защитника Измаила, если и эта сильная крепость сдастся русским. На Измаил в Константинополе очень надеялись. Он был весьма удобно расположен — на возвышенности, спускавшейся к Дунаю крутыми обрывами. Французские инженеры указали туркам, как укрепить Измаил. Турки согнали к нему тысячи валахов, которые сделали семь бастионов с каменными башнями, вырыли ров. Часть рва была наполнена водой. На измайльских стенах стояло двести орудий разного калибра. В Измаил сбежались остатки защитников маленьких дунайских крепостей, сдавшихся русским, и у Айдозли Мегмет-паши, командовавшего гарнизоном Измаила, оказалась целая армия в сорок тысяч человек, снабженная достаточным количеством продовольствия.

Покончив с незначительными крепостями на Дунае, русские подошли к Измаилу. Здесь находились войска генералов Павла Потемкина, Гудовича, Кутузова и флотилия де Рибаса. Они обложили Измаил, ожидая, что турки, уstraшенные сдачей Килии, Тульчи и Исакчи, капитулируют, но Айдозли только посмеивался над русскими: крепость была неприступна. Кроме того, приближалась зима. Русские войска, жившие под открытым небом, сильно терпели от холода, недостатка провианта и болезней. Войска восемь месяцев не получали жалования и вообще «начали скучать службой». Генералы решили: осаду крепости надо снять.

Но Екатерина II понимала, что если не покончить с Турцией сейчас, то весной на ее стороне выступят европейские державы, и в первую очередь Пруссия. Императрица настаивала на том, чтобы Измаил был взят во что бы то ни стало.

Тогда главнокомандующий князь Потемкин решил испытать последнее средство: поручил штурм Измаила Александру Васильевичу Суворову.

¹ Фирман — указ.

Суворов прискакал к Измаилу, и в русском лагере снова все ожило.

С приездом Суворова вернулась утраченная бодрость, вернулась вера в победу. Русские солдаты, четыре недели кочевнившие в холодной, неуютной степи под Измаилом, повеселели: они знали, что Суворов долго тянуть не станет.

Александр Васильевич так и решил: взять Измаил, пока не нагрянула зима, взять немедленно, но подготовиться к штурму как следует.

Это была первая операция, которую Суворов проводил один: при Козлуджи ему мешал Каменский, при Фокшанах и Рымнике приходилось считаться с принцем Кобургским, а здесь он был сам хозяин.

Он не жалел себя, не жалел трудов, спешил обучить, подготовить русские войска к небывалому штурму.

Здесь, на ученье, он все изображал сам: показывал, как действовать внизу и как колоть турка наверху. За вечер он несколько раз быстро и ловко влезал в темноте по шаткой лестнице на четырехсаженный вал, кричал наверху «ура!» и остервенело колол штыком фашины, изображавшие турок.

Михаил Илларионович смотрел и удивлялся: как у Александра Васильевича хватает сил! Суворов в шестьдесят лет был легче и проворнее, чем Кутузов в сорок пять.

Вот и теперь Суворову не стоялось на месте. Минутку посушил у костра пропотевший мундир, а потом сорвался: пошел ходить от одной группы егерей, отдохавших у костров, к другой.

Разговаривал, шутил, подбадривал.

Короткий раздых быстро кончился.

И опять неугомонный генерал-аншеф стоял перед строем егерей и учил:

— Бросай фашины, спускайся в ров! Ставь лестницы. Лети через стену на вал! Ударь в штыки, коли, гони, бери в полон!

II

Михаил Илларионович заночевал у командующего. Ученье бугских егерей кончилось поздно, а наутро Суворов решил поехать вместе с Кутузовым разведать Измаил

с противоположной, восточной стороны, где располагался кутузовский корпус и откуда Кутузову предстояло идти на приступ в общем штурме турецкой крепости.

Суворов жил в крохотной мазанке, которая как-то уцелела одна из всей разоренной дотла деревни Броска. Поместить вторую постель в мазанке было негде, и Михаил Илларионович лег в палатке. У себя в лагере он тоже спал на воздухе: с восточной стороны Измаила деревень не было и в помине. Но кутузовской денщик Ничипор возил для барина пуховичок и теплое шелковое одеяло, а здесь пришлось спать по-суворовски — на охапке дунайского камыша, укрывшись шинелью.

И с непривычки было, признаться, жестковато и холодно.

«Как это он спит?» — ворочаясь на шуршащем, неудобном ложе, думал о Суворове Михаил Илларионович.

И когда чуть забрезжил рассвет и из мазанки послышались голоса (Суворов вставал), Михаил Илларионович мгновенно проснулся.

На дворе было холодно, сквозь легкий туман Михаил Илларионович видел, что вся земля покрыта инеем: ночью морозило. Вставать из-под шинели все-таки не хотелось. Михаил Илларионович лежал, облокотясь на руку, и смотрел сквозь отдернутый полог палатки на мазанку командующего.

Из мазанки выскочил нагишом, в одних туфлях, худенький Александр Васильевич. За ним шел с ведром в руке и мохнатым полотенцем на плече угрюмый, всегда чем-то недовольный денщик Прохор. За хмурым денщиком показалось веселое курносое лицо казака Ванюшки — востовой нес к завалинке одежду и сапоги генерала.

Александр Васильевич легко согнулся, и Прошка не торопясь вылил на него ведро воды.

Суворов выпрямился, встряхиваясь и подпрыгивая на одном месте.

Денщик неласково сунул барину полотенце.

Александр Васильевич, что-то весело приговаривая, стал энергично растирать полотенцем шею, грудь, поясницу, ноги. Потом бросил полотенце денщику и начал бегать возле мазанки, выкидывая руки вверх и в стороны, и так и эдак, словно отбиваясь от кого-то.

Михаил Илларионович не раз видел эти не всем понятные упражнения. Он не одобрялся большинству генералов и офицеров, которые за глаза осуждали Суворова,

смеялись над его обливаниями и гимнастикой, называя все это «чужацеством». Кутузов помнил, как в бабушкином псковском имении дворовые парни выбегали зимой из жаркой бани и катались по снегу. Народ не видел в этом ничего странного и смешного. И так же судил Кутузов. Он знал, что Александр Васильевич считает баню лучшим средством против всех болезней, завидовал Суворову, что он может закаляться, хотя сам никогда не пробовал подражать ему.

Но теперь, в это промозглое декабрьское утро, когда и без обливания сыро и зябко, видеть, как человек окатывается студеной водой, было не по себе.

«Молодец Александр Васильевич!» — подумал Кутузов и стал подыматься с неудобной тростниковой постели.

Не надевая мундира, Михаил Илларионович поеживаясь вышел из палатки.

Лагерь еще спал. Над потухшими кострами лишь кое-где вился слабый дымок. Озябшие часовые, засунув руки в рукава шинелей и прижав ружья к груди, стояли нахохлившись.

А вдали, как горная гряда, высились измаильские стены. За стенами небось тепло: там дома, печи...

— Здравия желаю, Александр Васильевич! — приветствовал Суворова Кутузов.

— А-а, Мишенька! Здравствуй, дорогой. Сбрасывай все да обливайся! — предложил Суворов, не прекращая бега.

— Нет, благодарствую, Александр Васильевич, я не умею! — ответил, улыбаясь, Кутузов.

— Наука невелика! — крикнул Суворов, пробегая мимо.

— Наука, верно, не горазд велика, да больше-то дураков так скакать не сыщешь! — сурово ответил вместо Кутузова Прошка.

Он подошел к Кутузову с ведром, кружкой и полотенцем — собирался помочь гостю умыться, Михаил Илларионович подставил Прошке ладони, денщик стал лить на руки Кутузову воду и продолжал бурчать:

— Нет того, чтобы умыться по-человечески, а все, прости господи, полощется, как воробей в луже... Давеча прибыл из Петербурху французский герцог Впросак, — вспоминал Прошка. — Увидал, как он козлом скачет, спра-

шивает: «Какой это, спрашивает, полоумной у вас?» Ей-богу! — рассказывал, вытаращив глаза, денщик.

— Твой герцог Фронсак столько же смыслит, сколь и ты! — беззлобно сказал Суворов, окончив бег и подходя к завалинке, где его ждал с одеждой казак.

— Это самый лучший способ дышать воздухом. По-моему, ничего нет здоровее! Советую тебе, Мишенька, заняться, а то вон как ты, помилуй бог, раздался! — говорил Александр Васильевич, одеваясь.

— Да, брюхо у меня действительно... — утирая лицо полотенцем, виновато оглядывался Кутузов. — Но так бегать я, Александр Васильевич, отяжелел. А не побегать после обливания — закоченеешь на здешнем-то холоду.

— Ничего. Вот сейчас мы нальемся горяченького чайку, согреемся — и в путь! Пока осман почивает, — сказал Суворов, думая уже о другом.

III

Турки не обращали никакого внимания на всадников, подъехавших к крепостным рвам у восточных Килийских ворот. Они не боялись русских: если «неверные» не смогли ничего сделать Измаилу за четыре недели, то чего же бояться их теперь, когда запахло зимой.

И тем более нестрашными были эти четверо верховых (Суворова сопровождали два казака), которые с высоких крепостных валов казались просто не стоящими никакого внимания.

Суворов и Кутузов медленно ехали вдоль рва.

— Глубок, проклятуший!.. — смотрел Кутузов. — Придется бросать по две фашины.

— Да, не меньше, — согласился Суворов.

— У них вон сколько орудий, а у нас маловато...

— До рвов пройдете с колонной в темноте, тихонько, а чуть спуститесь в ров, ихние пушки станут вам не вредны. Тут, Михайло Ларионович, все дело будет решать штык! — уверенно говорил Суворов. — Значит, колонну выведете сюда, к Килийским воротам, — указал он. — Учтите, Мишенька: все ворота в Измаиле завалены камнями и бревнами — пусть солдаты зря не ломают прикладов! Де Рибас поддержит с Дуная. Запорожские лодки, дубы и паромы доставят с острова Чатал полторы тысячи казаков и три

с половиною тысячи пехоты. Рибас займет берег, кавальер¹ и куртину². Осип Михайлович поможет вам. А вы не упускайте из виду соседнюю казачью колонну Платова: у казаков, помилуй бог, одни лики!

— Платову будет трудновато! — вздохнул Кутузов.

— Ваша колонна, Михайло Ларионович, и правофланговая генерала Львова — самые важные в штурме. Надеюсь на вас! — сказал на прощание Суворов, протягивая руку Кутузову.

— Будьте спокойны, Александр Васильевич, не выдадим! — ответил Михаил Илларионович, крепко пожимая руку командующего.

Суворов хлестнул коня нагайкой и помчался к себе в лагерь.

Кутузов с минуту задумчиво смотрел вслед Александру Васильевичу. Он понимал мысли Суворова.

Туртукай, Козлуджи, Кинбурн, Фокшаны, Римник — славные, достойные дела, но такие же победы бывали и у других полководцев. А вот если Суворов возьмет этот неприступный Измаил, тогда с ним не сможет равняться никто!

Была глубокая ночь, когда Михаил Илларионович, еще раз проверив, все ли у него готово к штурму, подъехал к своей палатке.

В палатке горела свеча.

«Значит, наши сидят не у солдатских костров, а дома», — подумал он.

Вместе с Кутузовым, кроме его старого приятеля капитана Павла Андреевича Резвого, жили муж Груни Бибиковой, все такой же лошений, щеголеватый бригадир Иван Степанович Рибопьер, и простецкая, русская душа — полковник 1-го батальона егерей Иван Иванович Глебов.

Михаил Илларионович слез с коня и, передав поводы вестовому, вошел в палатку.

У опрокинутой бочки, которая заменяла стол, закусывали Рибопьер и Глебов.

— Зря едите перед боем, господа! — заметил Кутузов. — Легче, если ранят в пустой живот, а не в полный.

¹ Кавальер — отдельная башня позади вала в ограде крепости.

² Куртина — участок крепостной ограды между двумя бастionsами.

— Вы правы, Михайло Ларионович, да коли не поесть перед боем, так и ног не потянешь: измаильские стены вон какие! Когда-то бог приведет позавтракать, — ответил Глебов.

— Милости просим закусить с нами! — услужливо предложил, приятно улыбаясь, Рибопьер.

— Благодарю. Я лучше отдохну; день-деньской на ногах, чертовски устал, — сказал Кутузов и прилег на жесткую тростниковую постель.

Молчали. Каждый думал о своем, но все мысли неизбежно сводились к одному.

На сегодня Суворов назначил штурм Измаила. По его замыслу главный удар должен быть направлен на придунайскую, наиболее доступную часть Измаила. Здесь Александр Васильевич сосредоточил все лучшие по боевым качествам войска, и в том числе бугских егерей Кутузова.

А остальные колонны должны были отвлекать турецкие силы, чтоб гарнизон Измаила защищал все шестиверстные крепостные стены.

Суворов остерегался, как бы турки не узнали о его замысле, и потому хитро составил диспозицию, тщательно замаскировав основную идею штурма: каждая колонна могла полагать, что ей поручена главная роль.

Михаил Илларионович, целый день занятый приготовлениями к бою, не мог найти времени подумать о семье. Было ясно: предстоял кровопролитный, ужасный штурм, который будет посерьезнее очаковского. Удастся ли выйти из него живым, кто знает.

И теперь Михаил Илларионович с нежностью думал о своих — Екатерине Ильинишне и девочках. Они спокойно спят в эту тревожную декабрьскую ночь там, в Петербурге, не чувствуя, какой страшной опасности подвергается он...

Рибопьер и Глебов окончили еду, курили молча. Иван Степанович вообще не отличался словоохотливостью, а Глебов тоже, очевидно, думал о том же, о чем в эти часы думали осаждавшие Измаил русские войска...

Уставший Кутузов задремал.

Он проснулся от громкого окрика Резвого:

— Михаил Илларионович, пора: уже без четверти три! Кутузов встрепенулся и стал подыматься.

В три часа ракетой был дан подъем. Суворов приказал до первой ракеты не выводить войска, чтобы, как

говорилось в диспозиции, «людей не удручать медлением к приобретению славы».

Он вышел с егерскими командирами из палатки.

Все вокруг еще покрывала темная, мрачная ночь. Полукольцо огней русского лагеря ярко светилось в темноте. К этой ночи войска заготовили побольше камыша, чтобы костры не потухали и чтобы турки думали, что в русском лагере спокойно спят.

Но Измаил не спал. Лазутчики дали знать врагу о предполагаемом штурме. В крепости слышался какой-то шум. Тревожно лаяли собаки.

Присмотревшись в темноте, Кутузов снова различил штурмовые лестницы и кучи фашин, приготовленных для забрасывания широких, шестисаженных рвов.

И вот высоко вверх взвилась зеленая ракета. Казалось, она падает над самой крепостью.

Пора выступать и идти к назначенному пункту. Путь в четыре версты, в кромешной тьме.

— Колонновожатые на месте? — спросил у Глебова Михаил Илларионович.

— На месте.

— Не собьются в этакой темени, выведут к Килийским воротам?

— Выведут. Вчера опять делали пробу; пришли точно. А вчера было еще темнее — пасмурнее.

Кутузов сел на коня.

Его шестая колонна уже зашевелилась.

Впереди шли сто пятьдесят стрелков, а за ними двигалось что-то большое, темное, лохматое: это обозные солдаты несли восемь четырехсаженных лестниц и шестьсот фашин.

И сзади за всеми выступали три батальона бугских егерей и войска резерва — два батальона херсонских grenадер и казачий полк Денисова в тысячу человек.

IV

Штурм Измаила был в полном разгаре.

Воздух дрожал от несмолкаемого грохота пушек, беспорядочной ружейной трескотни и людских криков.

Еще стояла ночь, но от ярких вспышек выстрелов крепостные стены вырисовывались как днем.

Жестокий огонь турецких батарей и пехоты с валов не остановил и не расстроил кутузовскую колонну, двигавшуюся к бастиону у Килийских ворот. Колонна подошла к крепостному рву и под прикрытием стрелков стала забрасывать глубокий, шестисаженный ров фашинами, собираясь преодолеть его.

Кутузов верхом на коне стоял среди 2-го батальона егерей, готовившихся идти на штурм.

Турецкие пули, картечь и ядра косили русских, столпившихся передо рвом. То тут, то там падали убитые и, охая и стеная, тащились назад к своему лагерю раненые.

Вот из толпы прямо на Кутузова егеря вынесли на плаще чье-то распростертое тело. Кутузовский конь захрипел, вздергивая шею.

— Кого несете? — окликнул Михаил Илларионович.

— Бригадира Рыбапёрого, — ответили из темноты.

— Сильно ранен?

— Кончился уже...

Кутузов перекрестился:

— Вот те и поужинал... Бедная Груня!..

Но предаваться грустным размышлениям было некогда — его уже не на шутку беспокоила эта задержка 1-го батальона у рва.

«И чего они ждут, когда уложат все фашины?» — недовольно подумал Михаил Илларионович.

И, вспомнив суворовское наставление, крикнул как мог громче:

— Ребята, кидайся в ров!

И сам стал слезать с седла: конь беспокойно вертелся под выстрелами, наступая на егерей; к тому же незачем было предоставлять турецким стрелкам столь заметную мишень.

1-й батальон посыпался вниз, в ров. Затрещал фашинами — это егеря стали перебегать на другую сторону рва.

Подсаживая друг друга, они карабкались наверх и оказывались под самыми страшными крепостными стенами.

Сюда долетали только шальные пули и совсем не доставали ядра. Под стенами можно было минутку передохнуть, пока через ров не перетащат штурмовые лестницы.

Вместе со 2-м батальоном подошел ко рву и Михаил Илларионович.

Во время суворовских учений он не лазил по лестницам, а теперь приходилось.

Впереди Кутузова слезал в ров дежурный офицер секунд-майор Алфимов, он смотрел, чтобы генерал-майор не оступился.

Идти по качающимся под ногами, скользким фашинам было неудобно.

В ров также сыпались турецкие пули, но Михаил Илларионович не спешил — чему быть, того не миновать.

Он благополучно перешел через ров, а затем по лестнице взобрался наверх, к черной глыбе измаильской стены.

— Ребята, ставь к стенам лестницы! Вперед! — приказал он.

Длинные, неуклюжие штурмовые лестницы медленно поползли вверх по валу, обсыпая землю.

Турки всполошились. Начали бросать вниз камни, бревна, но лестницы продолжали продвигаться все выше и выше.

Вот уже их верхние концы стали вровень с валом.

Турки пытались оттолкнуть их, в ярости рубили шашками, но лестницы крепко уперлись в вал, и по ним лезли проворные бугские егеря.

Впереди шли более опытные, те, кто принимал участие в очаковском штурме. Их вел отважный полковник Глебов.

Казалось, туркам было легко сбить так неустойчиво стоявших русских, но егеря отшвырнули турок от лестниц.

Вот один егерь вскочил на вал, за ним другой. Наверху закрепилось целое капральство, потом рота.

Лестницы были в безопасности. По ним спешили на подмогу своим десятки новых егерей.

— А ну, ребята, пустите и меня наверх! — сказал Кутузов, подходя к лестнице.

Он хотел сам руководить штурмом. Он хотел подбодрить егерей: раненые, слезавшие вниз, сказали, что полковник Глебов убит. Там командовал капитан Резвой. Дело было жаркое.

Было плохо видно. Лестничные перекладыны — скользкие от крови. Мешала никчемная шпажонка, болтающаяся сбоку. С непривычки дрожали ноги. Мешала тучность.

Кутузов торопился: уж очень яростно кричали наверху «алла».

«Не опрокинули бы наших! Это не Очаков — тут они бьются не на живот, а на смерть!»

Наконец последняя перекладина.

Секунд-майор Алфимов и ротмистр Кошелев, бывшие при генерал-майоре для поручений, подхватили его под руки, помогая подняться на вал.

Михаил Илларионович встал на валу, вытер вспотевшее лицо, отдышался. Здесь, наверху, было свежо. Сквозь волны порохового дыма снизу от Дуная тянуло речной влагой.

Кутузов присмотрелся к полутыме. Справа и слева шел рукопашный бой. Турки отбивались шашками и ятаганами, егеря стреляли и кололи штыком.

Крики, лязг оружия, ругань, стоны.

Наверху бился только еще один 1-й батальон егерей. У бастиона, который яро штурмовали егеря, слышался звучный голос молодого секунд-майора Ергольского, командира батальона. Ергольский кричал не «виват Екатерина!», а попросту: «Бей их, ребята! А ну, смелее, братьцы!» Видимо, загорелось ретивое.

«Молодец Вася!» — одобрительно подумал Кутузов.

Он глянул налево, на куртину, идущую к Дунаю. Там, в этой немыслимой свалке, где-то был Павел Андреевич Резвой, поднявшийся на вал в числе первых.

Снизу по штурмовым лестницам все лезли и лезли наверх егеря — уже подымался 2-й батальон. К Кутузову подбежал его командир подполковник Меллер-Закомельский.

— Куда вести, Михайло Ларионович?

— Сюда! — указал Кутузов налево. — Здесь слабее!

Кутузова охватило знакомое волнение боя. Ему казалось, что офицеры дают мало примеров храбрости; к тому же их число сильно уменьшилось. Он вынул шпагу из ножен и хотел было идти к куртине, но Алфимов и Кошелев удержали:

— Ваше превосходительство, без вас справятся!

Кутузову пододвинули турецкий барабан. Михаил Илларионович машинально сел, беспокоило поглядывая одним своим зрячим глазом то на бастион, то на куртину.

Ядра с русских батарей, насыпанных перед Измаилом, и батарей с острова Чатал прочерчивали небо, падая в город. В Измаиле уже начались пожары. Пламя ярко рдело в непроглядной темноте, придавая всему зловещий оттенок. Из взбудораженного города доносились тревожные крики людей и вой собак.

У бастиона дела шли как будто успешно, но слева егеря вдруг стали отступать. Крики «алла» усиливались и приближались.

Михаил Илларионович увидел Резвого. Павел Андреевич был уже с ружьем. Он не только командовал, но и колол сам, отбиваясь от наседавших врагов.

Кутузов вскочил с барабана и кинулся навстречу отступающим егерям.

— Егеря, стой! Стой! — кричал он. — Второй батальон сюда! — обернулся он к Алфимову. — Живо!

«Сомнут! Опрокинут!» — мелькнуло в голове.

Противный холодок прошел по спине.

Действительно, турки прижимали егерей к самому краю рва. Егеря пятились, спотыкаясь о трупы.

Даже Михаилу Илларионовичу пришлось отразить удар неожиданно появившегося перед ним турка. Он вспомнил старое — сделал выпад шпагой, и турок упал.

«Давненько не приходилось...» — подумал Кутузов.

Мимо Кутузова с криком «ура!» бросились на турок егеря 2-го батальона. Турки не устояли и начали отходить.

Кутузов облегченно вздохнул.

Михаил Илларионович не забывал, что его колонне выпало самое ответственное дело. От быстроты успеха здесь, у Килийских ворот, зависел успех всего штурма. Соседняя колонна Платова, составленная только из казаков, не могла сама пробиться в город. Казаки были вооружены одними пиками, которые легко перерубались турецкими шашками.

А время не ждало — ночь проходила.

«Светлеет. Скоро турки увидят, как нас немного!» — тревожился Михаил Илларионович.

И тут к Кутузову подбежал какой-то незнакомый гусарский корнет.

— Его сиятельство граф Суворов-Рымникской назначает ваше превосходительство комендантом Измаила. Уже послан гонец к ее величеству о взятии крепости! — весело прокричал он.

Кутузов кивнул суворовскому гонцу. Он понял: Суворов, находясь в нескольких верстах от Килийских ворот, почувствовал заминку шестой колонны и прислал офицера подбодрить ее.

«Ну что ж, комендант так комендант!»

Надо торопиться.

Михаил Илларионович поспешил к егерям, штурмовавшим бастион.

— Вперед, орлы! Вперед, егеря! Ура! — кричал он, размахивая шпагой.

Егеря, увидав генерала, с еще большим ожесточением кинулись на бастион.

Подымавшихся на вал егерей 3-го батальона Кутузов слал к бастиону.

И наконец бастион пал.

Тогда-то и на куртине турки стали беспорядочно отступать.

Уже светало.

И вдруг снизу, из рва, послышались крики «алла».

Турки спустились в ров и попытались ударить на штурмующих с тыла.

Вот тут пришлось наконец двинуть последний резерв — два батальона херсонских grenадер.

Раскатистое «ура!» покрывало все турецкие крики.

Схватка продолжалась недолго: на валах показались grenадерские шапки херсонцев.

Последняя попытка турок отбить Килийский бастион провалилась. Подкрепленные свежими силами grenадер, егеря смяли турок. Янычары посыпались вниз, в город.

Успех шестой кутузовской колонны помог соседней, пятой колонне Платова. Турки, сжатые с двух сторон, начали отступать и там.

К восходу солнца русские знамена колыхались над всеми шестиверстными стенами Измаила.

V

Сбив турок с крепостных стен, русские скатились в тесные улочки города. Турки засели в домах, ханах, мечетях и продолжали отчаянно защищаться. Приходилось брать с бою каждый дом, отвоевывать каждый шаг.

Суворов впустил через городские ворота артиллерию. Она влетела и била по улицам продольным огнем.

Наконец атакующие подошли к центру Измаила.

Сераскир со своими приближенными заперся в громадном каменном сарае. Кутузовские егеря взяли его штурмом. Из сарая вышло и положило оружие около двух тысяч янычар.

Организованное сопротивление турок в Измаиле прекратилось.

Невыспавшийся, но бодрый, счастливый великолепной победой, Суворов принял в палатке, поставленной на крепостном валу, командиров колонн. Он обнимал каждого генерала, поздравлял с викторией и каждому говорил одно и то же:

— Если бы не ты, нам крепости не взять!

Михаил Илларионович, выслушав такой же комплимент, спросил, почему Александр Васильевич назначил его комендантом Измаила еще тогда, когда крепость не была взята.

— Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова. Если бы Измаил не был взят, Суворов умер бы под его стенами и Кутузов тоже! — ответил Александр Васильевич. — Комендантствуйте, Михайло Ларионович!

Кутузову не оставалось больше ничего делать, как выполнять приказ командующего.

Он выбрал в центре Измаила дом и принялся за трудные, хлопотливые комендантские обязанности.

Прежде всего полагалось учесть пороховые погреба и разные провиантские и иные склады турок и поставить к ним часовых.

Затем приходилось спешно позаботиться о тысячах раненых — своих и неприятельских, о пленных, об уцелевших жителях Измаила: женщинах и детях.

Надо было собрать трофеи. Солдаты уже шеголяли, обвешанные турецкими знаменами, сорванными с древков, казаки гнали десятки турецких лошадей.

Надо было не допустить послабления дисциплины. Опьяненные победой, счастливые уже одним тем, что остались в живых после такого небывалого, кровопролитного штурма, солдаты готовы были пировать, забыв обо всем на свете.

И надо было предпринять срочные меры, чтобы уберечься от эпидемии: все дворы, улицы и площади Измаила заполняли турецкие трупы. И хотя уже начались заморозки, но днем еще хорошо пригревало солнышко.

Михаил Илларионович работал до ночи, не имея ни минутки покоя. Поздно вечером он поехал к себе в лагерь, чтобы хоть несколько часов отдохнуть на своей постели, в степи, а не в Измаиле, заваленном трупами.

На следующий день, 12 декабря, Михаил Илларионович встал, чуть поднялось солнце, и вышел из палатки.

Сегодня он новыми глазами смотрел на грозно черневшие вдаль уже не страшные измаильские стены. Глядя на них в утреннем свете, не верилось, что вчера можно было под турецким огнем по шатким лестницам влезть на них, сбить турок со стен и взять Измаил.

Сейчас это все еще казалось невыносимым, непостижимым.

Михаил Илларионович позавтракал и решил здесь же, в спокойной лагерной обстановке, написать письмо домой. Вчера он успел послать из Измаила с курьером в Петербург только коротенькую записку, что жив-здоров, чтобы дома не беспокоились.

Кутузов написал жене:

«Любезный друг мой, Екатерина Ильинишна.

Я, слава богу, здоров и вчера к тебе писал с Луценковым, что я не ранен и бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшной город в наших руках, а ввечеру приехал домой, как в пустыню. Иван Ст. и Глебов, которые у меня жили, убиты; кого в лагере ни спрошу — либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. Целый вечер был один; к тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привести город, в котором одних турецких тел больше пятнадцати тысяч... Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось...

Деткам благословение.

Верный друг Михаила Кутузов».

Глава шестая

«БЕДНЫЙ ПАВЕЛ!»

I

Хотя дома и знали, что Михаил Илларионович должен приехать из армии в Петербург (весь город облетела необычайная новость: царица назначила генерал-поручика Кутузова чрезвычайным послом в Турции), но так скоро

его не ждали. Кутузов командовал 1-й частью Украинской армии, которая с весны находилась в Польше, стояла с войсками у самой Варшавы.

Михаил Илларионович приехал в Петербург в сырое ноябрьское утро. Над городом тяжело плыли низкие тучи. Летний сад стоял голый и неуютный. Неприветливо и хмуро глядела широкая Нева.

Тройка, звеня бубенцами, проехала мимо пустынного и черного Царицына луга и завернула на набережную.

Когда коляска остановилась у подъезда, в окнах мелькнули удивленно-обрадованные лица прислуги.

В прихожей Михаила Илларионовича встретила жена Екатерина Ильинишна и старшая дочь, тринадцатилетняя Прасковья.

Екатерина Ильинишна, небольшая и худенькая, выглядела моложе своих тридцати восьми лет. Она всегда следила за собой и теперь, несмотря на ранний час, была причесана и одета так, словно собралась в гости.

— А-а, добро пожаловать, господин посол! — обняла она мужа.

— Здравствуй, мой дружок, здравствуй! Прости, что не успел ко дню твоего рождения, — ответил Михаил Илларионович.

— А ты все растешь, Прасковьюшка! — сказал он, целуя дочь.

Девочка смутилась: она в самом деле была уже ростом выше маменьки.

Все направились в гостиную.

Навстречу им спешили две средние дочери: десятилетняя Аня, такая же худенькая, как мать, только с голубыми глазами, и девятилетняя, по-бибиковски черноглазая и по-кутузовски крепкая, плотно сбитая, папина любимица Лиза.

Михаил Илларионович обнял их.

А из дальних комнат с радостными криками уже бежали самые младшие — пятилетняя Катя и четырехлетняя Даша.

Девочки облепили отца.

— Погодите, вот я достану вам варшавские подарки, — сказал Кутузов. — Эй, Ничипор!

— Чего изволите, ваше превосходительство? — выглянул из прихожей денщик.

— Принеси-ка сюда меньшей чемодан.
— Подарки! Папа привез подарки! — прыгали вокруг отца девочки.

Екатерина Ильинишна улыбалась.

Денщик внес чемодан. Михаил Илларионович открыл его.

Дети с любопытством заглядывали в чемодан: что там?

Прасковья стояла поодаль. Ей тоже хотелось заглянуть, но было неловко: как маленькая!

— Вон что-то...

— Красивое... Золотое... — говорили дети.

— Это не ваше, это мой парадный мундир. Вот, получите! — сказал папенька.

Он вынул из чемодана четыре совершенно одинаковые куклы. Они были одеты в польский национальный костюм — юбку и шнуровку. И всем четверым дал по большому шоколадному барашку.

— Спасибо, спасибо, папенька! — защебетали девочки.

Они тотчас же занялись куклами. Отошли в сторонку и стали рассматривать, у кого красивее цвет юбочки, у кого какой корсетик. Только Лиза не отходила от отца. Она держалась за его руку, восторженно глядя на папеньку снизу вверх.

— Почему это не зайчики или медведи, а барашки? — заинтересовалась Екатерина Ильинишна.

— Это польские рождественские подарки. Агнец непорочный. Видишь, возле каждого — хоругвь. А вот, Прасковьюшка, и тебе гостинец, — протянул старшей дочери золотое колечко Михаил Илларионович. — Может, велико будет? Я не знаю, какие у тебя пальцы. Брал на свой мизинец.

— Спасибо, папенька, как раз впору, — зарделась от удовольствия Прасковья.

— А это тебе, дружок! — передал жене сверток Кутузов.

— Ты очень мил, мой дорогой. Это что же такое? — говорила, поспешно разворачивая подарок, Екатерина Ильинишна.

— С цветами! Ох, какое красивое! — восхищались девочки.

— Это итальянский флер на бальное платье. В Париже и в Варшаве все знатные дамы носят.

— Правда, хорошенькое! Какие красивые розы! И дорогой этот отрез, Мишенька?

— Шестнадцать червонцев заплатил.

— Дорогой. Ну и зачем было тратить? — притворно недовольным тоном говорила Екатерина Ильинишна, с восхищением разглядывая тонкую материю. Видно было, что подарок ей нравится. — А каким же покроем шьют в Варшаве? Парижским? Открытая грудь и плечи?

— Парижским, парижским. Все открыто. Таким покроем, как Федька Ростопчин смеется: словно с вывески торговых бань — дамы чуть ли не нагишом ходят! — усмехнулся Михаил Илларионович.

— А рукава носят одинакового цвета с юбкой?

— Разные.

— Папенька, а косыночки из лино или из кружев? — робко встала Прасковья.

Кутузов, улыбаясь, потрепал дочь по щеке:

— Не помню, дружок. Я, право, как-то не присматривался... Чепцы и косынки весьма разнообразны.

— Мишенька, а какие носят прически? — не унималась щеголиха Екатерина Ильинишна. — Высокие, палисадником, или взбитые, вроде лебяжьего пуха?

— В большинстве случаев этакое остроконечное сооружение, — улыбаясь, показал пальцами Михаил Илларионович. — И наверху еще разные фигурки — пастушки, мельницы...

— А какие башмаки: остроконечные, стерлядкою?

— Да, да, стерлядкою! — потирал застывшие руки Михаил Илларионович, нетерпеливо поглядывая на дверь в столовую.

— Ты, верно, озяб в дороге, Мишенька? Такая отвратительная, промозглая погода, — зябко передернула плечами Екатерина Ильинишна. — И захотел есть. Пойдем я отогрею тебя кофеем.

И она увела мужа.

Михаил Илларионович умылся и сел завтракать.

— Весь город удивлен, почему государыня назначила тебя послом, — рассказывала за столом Екатерина Ильинишна.

— Она всегда была заботлива и добра ко мне. А что же удивительного в моем назначении?

— Ты ведь никогда не был дипломатом.

— Официальным — да, но вести переговоры с врагом мне приходилось неоднократно.

— Но ты же военный человек, генерал.

— В прошлый раз, в тысяча семьсот семьдесят пятом году, ездил послом в Турцию князь Репнин, генерал-аншеф. А наш поверенный в делах в Константинополе теперь — полковник Хвостов. Он командовал Троицким пехотным полком. Видишь, все военные. Война и мир тесно связаны. Римляне ведь говорили: «Si vis pacem, para bellum».

— Это что значит? — задумалась Екатерина Ильинишна. — «Мир и война — сестры», не так ли?

— Почти так: «Если хочешь мира, готовься к войне». Мы хотим мира. Так кому же и думать о нем, как не нам, военным!

— Может быть, в этом и есть резон. Ты турок знаешь, всю жизнь имел с ними дело, и они тебя должны помнить.

— Если уже позабыли Кагул, Очаков и Измаил, то не могли еще забыть Мачин: ведь всего полтора года тому назад я неплохо побил у Мачина их великого визиря. Думаю, потому и назначили меня послом: с победителем приходится больше считаться! Тем более что великий визирь остался тот же.

— А кто он?

— Юсуф-паша, по прозвищу «Коджа» — большой. Прозвали за высокий рост: турок — как колоколья. Борода у него, словно у пророка, по пояс, но талантов никаких. В молодости служил у капудана Гази-Хасана, на адмиралтейские деньги торговал на фрегатах с лотка. Разбогател, купил чин паши.

— Как у них просто!

— Да, у турок решают все две вещи — деньги и кинжал.

— Что было бы, если б у нас торговец с лотка стал министром?

— У нас и такие были.

— Кто?

— Меншикова забыла? А сколько у нас министров хуже любого лоточника! — махнул рукой Михаил Илларионович. Помолчал и сказал: — Да, как воевать с турками, я знаю, а вот как удержать их в мире — еще не пробовал!

— Найдешься! Я где-то читала, кажется, у леди Монтегю, что если хочешь заслужить расположение турок, надо хвалить все ихнее.

— Ну, на эту удочку — на лесь — кого не поймешь! — усмехнулся Михаил Илларионович. — Восток любит лесь, но больше любит подношения, бакшиш. Не зря Фридрих Второй говаривал: «Турок за деньги готов продать даже своего пророка!»

— Представляю, какие чудесные вещи вы повезете в подарок султану и всем этим пашам. Драгоценные камни, меха, золото...

— Надо будет выбрать верного человека для надзора за дарами. Я вообще наберу в свиту побольше своих людей. Вытребую из моего Бугского егерского корпуса.

— Кому же ты поручишь хранение подарков?

— Майору Павлу Андреевичу Резвому.

— А-а, это верно. Он вполне подходит: порядочный и преданный человек. Мишенька, а нельзя ли пристроить куда-либо Федю Кутузова?

— А что с него толку-то, с Феди?

— Свой человек. Возьми, голубчик!

— Разве что офицером для посылки — на большее он не годится, — ответил Михаил Илларионович. — А скажи, что нового во дворце? Императрица долго оплакивала смерть Потемкина?

Екатерина Ильинишна улыбнулась:

— Ты помнишь, мы когда-то играли у Груши комедию Детуша «Привидение с барабаном»?

— Помню, ты играла баронессу.

— Ну так вот. Баронесса убивалась по мужу до тех пор, пока портной не принес ей красивое турецкое платье. То же было и здесь: императрица скоро утешилась...

— А как чувствует себя ее новый любимчик Zubov?

— С каждым днем все больше входит в силу и все больше наглеет. И как ему не наглеть, если придворные льстецы уже уверяют, что этот Платон достойнее древнего Платона.

— Ну, знаете! — возмутился Кутузов.

— Льстецы и просители стараются попасть к чему в убожную, когда он одевается и причесывается.

— Это что ж, как было у мадам Помпадур или у кардинала Флери? — усмехнулся Михаил Илларионович.

— Наш Федя Кутузов пошел к нему с прошением — хотел перевестись в гвардию, но вынужден был уйти ни с чем.

— Zubov не принял его?

— Не то. У Зубова тоже есть своя фаворитка — обезьянка. Она живет у него на свободе. Прыгает по ширмам, столам, диванам. С печки на люстру, с люстры на плечи посетителей. Увидит у кого-либо высокий тупей, прыг на плечи и ну теребить его. Лысцы и просители терпят, а наш Федя испугался за свой пышный тупей и ретировался.

— А как наследник Павел Петрович? Все в том же небрежении?

— Да. По-прежнему живет у себя в Гатчине. Возится со своим гатчинским гарнизоном. До других дел императрица его не допускает. А сама она сейчас занята жеманностью старшего внука, Александра.

— Не рановато ли ему жениться? Позволь, а сколько же Александру лет? — вдруг задумался Михаил Илларионович. — Он, кажется, на год старше нашей Прасковьюшки.

— Да, он родился вскоре после наводнения; значит, ему только пятнадцать.

— Сыну подыскивала невесту, когда ему еще пятнадцати лет не было, теперь за внука взялась. А кто же невеста?

— Дочь маркграфа Баденского. Маркграфиня прислала в Петербург двух дочерей на выбор: Луизу тринадцати лет и Фредерику одиннадцати.

— Кого же выбрал Александр?

— Старшую.

— А что, какова она?

— Прелестна. У нее греческий профиль, большие голубые глаза, чудесные белокурые волосы, приятный голос. Она сразу же всем понравилась. Императрица зовет ее «сиреною». И вот теперь Екатерина и весь двор изо всех сил стараются помочь неопытным возлюбленным.

— Ну, сводников и учителей цитерному искусству¹ в Зимнем хватит!

— В прошлое воскресенье на придворном театре ставили нарочито для молодого князя комедию «Новичок в любви». Александр громче всех бил в ладоши, а бабушка сияла от удовольствия, что комедия так трогает ее «ангела».

— Избалует она внука. Посмотрим, какой из Александра получится ангел. Не вышло бы так, как говорится

в польской поговорке: «aniolek z razugami» — не ангел, а черт. Сына держит в черном теле, а с внуком бог не весть как нянчится!

— Знаешь, Миша, мне очень жалко Павла Петровича, — сказала Екатерина Ильинишна.

— Да, его положение незавидное: человеку без малого сорок лет, а он все еще в наследниках ходит.

— Ты, Мишенька, съезди и в Гатчину. Во-первых, надо поздравить их: у Марии Федоровны летом родилась пятая дочь, Ольга. А во-вторых, Павел Петрович всегда так внимателен ко мне на балах: подойдет, поговорит. Не забыл, как мы детьми вместе играли на придворном театре, как танцевали и он всегда робел. Павел Петрович тепло вспоминает покойного брата Василия — Вася ведь частенько бывал у наследника. И к тебе Павел Петрович хорош. Он всех Кутузовых жалует. Съезди!

— Конечно, съезжу, — ответил Михаил Илларионович и пошел одеваться.

II

Екатерина II встретила Кутузова по-всегдашнему очень радушно, была весьма внимательна к нему. Приняв его благодарность за столь ответственное назначение, императрица участливо справилась о здоровье Михаила Илларионовича, не забыла спросить о семье, сказав, что видела недавно «свою тезку», Екатерину Ильинишну, и что она прекрасно выглядит.

Кутузов не считал удобным спрашивать о самочувствии императрицы: она любила хвастать своим железным здоровьем и всегда подчеркивала, что ни разу в жизни не падала в обморок, как другие женщины.

Михаил Илларионович только как бы вскользь скромно заметил:

— Ваше величество одни знаете секрет вечной молодости...

(Хотя сравнивать двух Екатерин не приходилось: императрице Екатерине было шестьдесят три года, а Екатерине Ильинишне Кутузовой — тридцать восемь.)

Это замечание императрица приняла с признательной улыбкой.

Когда Кутузов в свою очередь спросил о Павле Петровиче, императрица ответила, что он благоденствует у себя

¹ Цитерное искусство — любовное искусство.

в своей любимой Гатчине. И тут же полушутя пожаловалась:

— Он целую осень каждый день палил из пушек... Расстучал мне всю голову своей пальбой! — иронически улыбалась Екатерина, прикладывая пухлые, маленькие пальцы к своим чуть седеющим вискам.

— Его высочество всегда имел пристрастие к артиллерии, — с такою же улыбкой ответил Кутузов, вспомнив, как однажды в его присутствии Павел Петрович возмущенно говорил императрице о революции во Франции: «Не понимаю, чего толковать с этим сбродом? Я бы их тотчас усмирил пушками!»

А Екатерина тогда резонно заметила сыну: «Пушки не могут воевать с идеями!»

Михаил Илларионович знал, что Екатерина недолюбливает своей красивой, молодой, добродетельной невестки, жены Павла — Марии Федоровны, но вынужден был справиться и о ней.

Императрица досадливо махнула рукой:

— Что ей делается? Рисует цветики да рождает детей! Она на это мастерица!

Екатерине было не по душе, что великая княгиня хорошо играет, рисует и вырезывает на камне.

Кутузов не стал углубляться в эту тему — и так было достаточно ясно: между «большим», петербургским двором и «малым», гатчинским по-старому лежит пропасть.

Чтобы доставить императрице удовольствие, он спросил ее о внуках Александре и Константине.

Екатерина сразу оживилась. Она стала превозносить Александра — его красоту, обходительность, ум, его необычайные способности и таланты. По ее словам получалось так, что учителя и наставники не могут нахвалиться Александром, что он любит ученье, много читает и никогда не бывает праздным. Александр представлялся необыкновенным, замечательным мальчиком, равных которому нет никого на свете.

«Кажется, неглупая, рассудительная женщина, а вот об Александре судит, как всякая бабушка о родном внуке», — думал Кутузов.

О Константине императрица предпочла ничего не говорить: этого внука она не любила.

Зато точно такие же дифирамбы, как Александру, пела она его невесте, тринадцатилетней баденской принцессе Луизе.

— Вот милости просим, Михаил Ларионович, сегодня отобедать с нами, увидите эту восхитительную юную пару. Это Амур и Психея, — восторженно говорила Екатерина, провожая гостя, который уже стал откланиваться...

...В зале, смежной с «бриллиантовой», где обедала императрица, Кутузов застал несколько вельмож, приглашенных к царскому столу.

У окна стоял маленький, с непомерно большой головой на хилом тщедушном теле Николай Иванович Салтыков, главный воспитатель великого князя Александра Павловича, нервный, желчный человек. Его желтое лицо всегда кривила гримаса, но, несмотря на нервозность, Салтыков считался самым ловким, пронырливым придворным. Отличительным свойством его характера была угодливость. Именно поэтому Екатерина II сносилась с великим князем Павлом Петровичем через Салтыкова, а наследник через него же пересылал матери свои ответы. Салтыков умел сглаживать все шероховатости этих больше частью малопривлекательных заочных переговоров.

В личной жизни Салтыков был беспомощен. Им безраздельно командовала его старая, своенравная, сварливая жена Наталья Владимировна.

Салтыков, стоя у окна, беседовал со своим помощником по воспитанию князя Александра генералом Александром Яковлевичем Протасовым. Салтыков говорил и все время поддегивал штаны: он не носил подтяжек.

У стола сидели, разговаривая, обер-гофмаршал князь Барятинский, вежливый, обходительный человек, и бездарный полководец граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, которого за его нерешительность на поле брани императрица называла «мешок нерешимый».

Когда Кутузов вошел в залу, одновременно с ним из «бриллиантовой» вкатился толстый обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин.

Екатерина II считала веселость самой сильной стороной своего характера и любила веселых, остроумных людей. Она не выносила уныния и потому ценила Льва Александровича Нарышкина, неистощимого на забавную выдумку, на острое, меткое слово, на приятную шутку.

Нарышкин подошел к Кутузову, поздравил его с новым назначением и пошутил, сказав, что завидует Кутузову, потому что Михаил Илларионович увидит султанский гарем.

Кутузов в тон ему ответил:

— Я думаю, Лев Александрович, гаремов и в России не занимать стать! А вот расскажите, какие веселые истории приключились за последнее время при дворе.

— Вы слышали, как адмирал Василий Яковлевич Чичагов докладывал ее величеству о своих победах над шведским флотом у Ревеля?

— Нет.

— Так извольте повесить уши на гвоздь внимания, как говорят ваши любезные турки. Императрица захотела послушать об этой виктории от самого Чичагова — ведь он разбил втрое превосходящий флот шведов. Ей очень понравилось, что Чичагов, узнав о превосходстве шведов, сказал: «Ну что ж? Авось не проглотят! Подавятся!» Я Василия Яковлевича давненько знаю. Он — морской волк, ничего пресного не любит и в беседе тоже не жалеет соли. Предупредил об этом императрицу, но она отвечает: «Не извольте, Лев Александрович, мерить всех на свой аршин!» А, думаю, коли так, слушайте ж, ваше величество! Вот усадила она Чичагова рядом с собой и пригласила слушать его рассказ. Сперва у адмирала был, так сказать, штиль — он вел рассказ спокойно и вполне пристойно. А как дошел до самой драки, то попал в шторм: пошел чесать по-морскому, по-боцмански. «Шведский король, распросукин сын, думал улизнуть от нас, ан не тут-то было. У меня не улизнешь, б... сын! Я его, такого-растакного, как хряснул!» Выпалил сгоряча и вдруг спохватился. Упал перед царицей на колени: «Виноват, матушка, прости меня, дурака! Я привык с матросами...» А императрица и виду не подала. «Ничего, говорит, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ведь ваших морских речений не разумею!»

— И что же, неужто Чичагов продолжал после этого? — смеясь, спросил Кутузов.

— Продолжал. Не так гладко, как раньше, потому что без «морских речений», но продолжал.

— Лев Александрович, можно вас на минуточку? — позвал Барятинский.

Нарышкин извинился перед Михаилом Илларионовичем и оставил Кутузова. Генерал Протасов, окончивший разговоривать с Салтыковым, собирался уходить из залы. Увидав Кутузова, Протасов подошел к нему.

Протасов тоже поздравил Михаила Илларионовича с неожиданным, важным и интересным назначением.

Кутузов спросил у Протасова, как его дела, и разговор невольно зашел о великом князе Александре Павловиче.

— Говорят, ваш воспитанник делает большие успехи в науке, много читает, — заметил Кутузов.

— Кто это вам сказал? — изумился Протасов.

— Сама бабушка.

— Ну, это настоящие бабушкины сказки!

Протасов огляделся кругом и заговорил вполголоса:

— К сожалению, дело обстоит далеко не так. Князь Александр чрезвычайно ленив. Его никакими канатами не притянуть к книге. Газету прочесть и то лень. У него одно на уме — веселиться и ничего не делать.

— Но все-таки чем-нибудь же он любит заниматься?

— Любимое его занятие — осуждать и высмеивать других. Вот передразнивать и притворяться Александр действительно мастер. Из него получился бы отменный актер.

— А нравом он как?

— Самолюбив и упрям. Недаром даже бабушка, для которой в Александре нет никаких изъянов, называет его «кроткий упрямец». Вообще императрица в нем души не чает. Своими неумеренными похвалами она и испортила его. Александр, мол, такой, да Александр — этакой! А в результате — влюбленный в себя, своенравный и лживый мальчик! Да вот вы сейчас сами, Михаил Ларионович, увидите его за обедом, — с огорчением сказал Протасов и протиснулся к Кутузовым.

За обедом Кутузов впервые увидел нового фаворита Екатерины II — Платона Александровича Зубова, бывшего конногвардейца, а теперь всесильного вельможу.

Своим появлением при дворе он был обязан хитрой лисе Николаю Ивановичу Салтыкову, у которого отец Зубова управлял помещьем.

Молодой конногвардейский ротмистр понравился стареющей, но пылкой императрице и в 1789 году, после Рымника, вошел в фавор. Двадцатипятилетний ротмистр Платон Зубов был в один день пожалован с великим Суворовым: Суворов за Рымникскую победу над турками — графом Рымникским, а Платон Зубов за «бескровную» победу во дворце — генерал-майором.

Зубов был небольшого роста стройный брютет с злыми карими глазами.

Тут же, за императрицыным столом, Кутузов увидал

обоих великих князей — Александра и Константина — и невесту Александра принцессу Луизу Баденскую.

В одном императрица оказалась права: Александр был рослый, красивый мальчик. Он походил лицом на мать, на вюртембергскую линию Марии Федоровны.

Его брат и неразлучный друг Константин больше напоминал гольштинцев — своего отца Павла и деда Петра III: был так же мал, курнос и порывист.

Александр держал себя за столом хорошо, а Константин вертелся, как юла, барабанил ножом по золотой тарелке, что-то выделывал под столом ногами, — видимо, лягал своего соседа — Льва Александровича Нарышкина. Николай Иванович Салтыков, сидевший напротив, не сделал проказнику ни одного замечания. Старый увертливый царедворец старался никогда не высказывать своего мнения. Он считал, что главная задача его как воспитателя состоит в том, чтобы уберечь молодых князей от сквозняка и засорения желудка. Не стоит с детских лет ожесточать горячего Константина и вооружать его против себя — не плюй в колодец, пригодится воды напиться!

Бабушка-императрица тоже, казалось, не видала ничего: она была увлечена зарождающейся на ее глазах молодой, неопытной любовью внука. Екатерина откровенно восхищалась обуревавшими Александра чувствами, переживала всю их юную остроту.

Было странно видеть рядом две несовместные, несуразные пары: двух детей, всерьез стремящихся играть в любовь, и шестидесятитрехлетнюю женщину со своим двадцатипятилетним возлюбленным.

Михаил Илларионович заметил, что Платон Зубов с большим оживлением говорит с прелестной молоденькой принцессой, чем с величественной, но старой императрицей.

Александр же был всецело поглощен своей красавицей невестой, которая держала себя скромно и с достоинством.

В детских голубых глазах Александра уже играли совсем не детские огоньки.

«Тебе бы, красавчик, следовало еще учиться, а не жеваться!» — думал Кутузов, глядя на сластолюбивого мальчика.

На следующий день Михаил Илларионович поехал к «гатчинскому помещику» — так называл себя великий князь Павел Петрович после того, как в 1783 году поселился в Гатчине.

Императрица купила у Орловых мызу, расположенную в сорока двух верстах от Петербурга, и подарила ее наследнику. В старину мыза называлась «село Хотчино», но с годами название переделали в «Гатчину»; так показалось понятнее, потому что напоминало немецкое *hat Schön*¹.

Гатчина со своими живописными озерами, холмами и прекрасным парком была действительно недурна.

Павлу Петровичу Гатчина пришлась по душе, и он зажил здесь, уйдя в личную жизнь, потому что мать ревниво не допускала его ни до каких государственных дел. Поселившись в Гатчине, великий князь, при молчаливом попустительстве президента военной коллегии хитрого Николая Салтыкова, завел в Гатчине свое войско. Это стало главным занятием наследника престола, томившегося в безделье.

Павел Петрович был помешан на всем прусском. Он боготворил прусского короля Фридриха II, подражал ему в одежде, походке и хотел подражать даже в посадке на лошади, но ездил наследник хуже короля: робел. Свое гатчинское войско он обмундировал и обучал на старинный прусский лад.

Каждый въезжавший в гатчинские владения Павла Петровича словно попадал в другое государство. Все дороги перегораживали черно-красно-белые шлагбаумы с часовыми, окликавшими идущих и едущих: кто, куда, откуда? Там и сям торчали такие же полосатые будки и дорожные столбы. Встречные солдаты резко отличались по виду от солдат русской армии: они носили смешные, точно крысиные хвосты, косички, громоздкие, нелепые треуголки и были одеты в тесные, неудобные прусские мундиры времен Миниха.

Михаил Илларионович с иронической улыбкой смотрел на этот никчемный, пустой павловский маскарад.

Павел Петрович искренне обрадовался приезду генерала Кутузова.

— А кто-либо, кроме ваших домашних, знает, что вы,

¹ Имеет красоту.

Михаил Ларионович, поехали ко мне? — спросил он. — Смотрите, не повредило бы это вашей карьере.

— Волков бояться — в лес не ходить, ваше высочество, — ответил Кутузов.

Ни для кого не представляло секрета, что в Гатчине было предостаточно шпионов императрицы. Михаил Илларионович понимал, что так или иначе, а завтра же Екатерина будет знать о его визите в Гатчину и, по всей вероятности, о всем том, что он будет здесь говорить.

Жизнь в гатчинском дворце не походила на жизнь Зимнего дворца в Петербурге.

В Петербурге были роскошь и великолепие, в Гатчине — суровая простота.

В Петербурге — легкомысленная непринужденность Версаля, в Гатчине — мещанская чопорность Потсдама.

В Петербурге царила атмосфера галантного алькова, в Гатчине — семейная, супружеская «тихая пристань».

Было странно, что петербургский разврат не коснулся Гатчины.

Несмотря на то, что Павел Петрович с детства видел примеры легкого отношения к семье и браку, из него получился добродетельный муж и чадолюбивый отец.

Никита Иванович Панин, главный воспитатель мальчика-цесаревича Павла Петровича, гурман и сластолюбец, говорил у него за столом по преимуществу о женщинах. Эта тема была наиболее интересна Панину. Он позволял себе в присутствии мальчика касаться самых щекотливых вопросов, без стеснения рассказывал разные скабрзные истории. Так, например, Никита Иванович рассказал о том, как в Швеции за придворным столом зашла речь о «цитерном» мужестве. Все мнения сошлись на том, что в этом деле сильнее турок нет. А одна графиня, не покраснев, возразила: «На турок только слава, а я доподлинно знаю, что они не могут тягаться с русскими!»

В другой раз за тем же обеденным столом наследника почтенные государственные мужи, не стеснявшиеся мальчика, стали разбирать физические достоинства актрисы Лагланд. Захарий Чернышев заметил, что он предпочитает полных, а Лагланд худа, как семь смертных грехов. И тут в разговор вдруг вмешался десятилетний Павел. Он сказал, вероятно, услышанную где-то фразу, не понимая ее скрытого смысла: «Лагландша потому худа, что прошла через несколько рук!»

Это вызвало бурное восхищение почтенных воспитателей.

Мать Павла, императрица Екатерина II, тоже не всегда говорила с мальчиком о том, о чем следовало бы. Она с приятной улыбкой, словно беседовала не с сыном-ребенком, а с галантным принцем де Линь, допытывалась у Павла, которая из фрейлин ему больше всех нравится.

И маленький Павел оказался тактичнее матери, ответил: «Мне все равны».

Дворцовая жизнь в Гатчине отличалась от дворцовой жизни в Петербурге, но в одном сохранялось сходство: и в Гатчине, и в Петербурге благоденствовали дворцы и бедствовали хижины.

После первых приветствий Михаил Илларионович стал поздравлять великого князя с рождением пятой дочери.

Павел Петрович улыбнулся:

— С дочерьми я догнал тебя, Михаил Ларионович, а вот с сыновьями — перегнал!

— Что же поделаться, ваше высочество! — с шутилой виноватостью развел руками Кутузов.

Павел Петрович тотчас же спросил, как поживает Екатерина Ильинишна, как дети.

Михаил Илларионович поблагодарил великого князя за внимание, кратко сказал о своей семье.

Затем он выразил соболезнование по поводу смерти младшего брата Марии Федоровны, вюртембергского принца Фридриха. Принц уехал летом 1791 года в армию Потемкина и скоропостижно умер в Галаце.

Павел заговорил о смерти Потемкина, который умер через два месяца после принца Фридриха. Потемкин присутствовал при отпевании, вышел из церкви, и ему вместо кареты вдруг подали к крыльцу погребальную колесницу, приготовленную для покойного принца. Потемкин в ужасе отшатнулся: он был чрезвычайно мнителен и суеверен.

Павлу Петровичу были близки переживания Потемкина, верившего во все таинственное.

— Это удивительно, непостижимо! — говорил он, шагая по кабинету прусским шагом.

Кутузов не находил в этом ничего удивительного — во всем был виноват разиня-церемониймейстер, — но смолчал.

Наследник с увлечением заговорил о своем войске, жалел, что Кутузов приехал поздно и не успел застать вахт-парад. И тотчас же сел на своего любимого конька — вспомнил о Фридрихе II.

Павел Петрович уважал Кутузова за то, что его когда-то принимал сам Фридрих II.

— Вам повезло, Михаил Ларионович: вы видели этого орла! — возбужденно говорил наследник, продолжая ходить по кабинету.

Кутузов невольно вспомнил сцену приема: Фридрих II вышел к русскому подполковнику со шляпой и костылем в руке. Синий мундир его был неряшливо засыпан нюхательным табаком. Голову этот «орел» держал не по-орлиному, а скорее по-вороньи — набок, направо.

— Да, имел счастье видеть короля, — ответил Кутузов, хотя не разделял любви Павла Петровича к Фридриху II.

Павел Петрович стал превозносить прусскую линейную тактику. Михаил Илларионович слушал и думал: «Отстаешь, батенька, от жизни: ничего твоя линейная тактика не стоит!» Но из вежливости поддакивал и соглашался.

Затем Павел пригласил гостя к обеду.

Обед в гатчинском дворце был прост и скромен во всех отношениях. Великий князь ел не на золоте, как его мать, а на фарфоре: когда Павел Петрович путешествовал по Европе, ему в Берлине подарили саксонский сервиз.

Здесь за столом не слышалось фривольных шуток и каламбуров, как у императрицы Екатерины. Разговор был пристойный и тих.

Мария Федоровна, словно наседка любившая детей, подробно расспрашивала Михаила Илларионовича о его пяти дочерях.

Павел Петрович говорил о Турции, куда был назначен Кутузов.

Кроме известных Михаилу Илларионовичу приближенных «малого» двора — Бенкендорфа, Плещеева и фрейлин Нелидовой и Аксаковой, за обедом присутствовал незнакомый молодой капитан Аракчеев, которого Павел рекомендовал Кутузову.

— Это человек, умеющий носить панталоны!

Так Павел Петрович называл людей с твердым характером.

Аракчеев был высок, жилист и сутуловат, с большими ушами и мясистым, некрасивым носом. В его серых, холмистых глазах светилась хитрость. Всем своим обликом капитан напоминал большегрузную, нескладную, хотя и не лишнюю некоторого ума, обезьяну.

«Ну и личико, — подумал Михаил Илларионович, глядя

на капитана. — Не зря говорят, что в гатчинский гарнизон порядочные люди не идут! С такой физиономией только и насаждать тупую муштру!»

Аракчеев, видимо, чувствовал себя за великокняжеским столом не весьма удобно. Ел он жадно и некрасиво: дул на ложку, чавкал — не привык есть в таком обществе.

После обеда Павел Петрович пригласил Кутузова посидеть в библиотеке.

У великого князя была прекрасная библиотека в сорок тысяч томов, купленная у президента Академии наук барона Корфа.

— Князь Репнин, ездивший послом в Турцию, рассказывал мне, что у турок вовсе нет книг, — сказал Павел Петрович, усаживаясь в кресло и закуривая. — Они думают, что книга служит лишь напоминанием о человеческой глупости, и потому читают один коран.

— Да, ваше высочество, у них-то и грамотных, поди, днем с огнем не сыщешь, — сказал Кутузов.

Минуту сидели молча, курили.

— А вы знаете, Михаил Ларионович, со мной тоже случилось однажды таинственное приключение, — прервал молчание Павел Петрович (виднo было, что вспоминая нелепая история с Потемкиным не выходила у него из головы). — Я вам не рассказывал?

— Никак нет, ваше высочество.

— Так слушайте. Года два-три назад, ранней весной, мы как-то засиделись с Куракиным. Говорили о непонятном, таинственном. У меня вдруг разболелась голова. Я говорю: «Пойдем, князь, пройдемся по набережной инкогнито». Вышли. Идем как в дозоре: впереди, шагах в пяти, лакей, я, за мной Куракин, а за ним, в замке, — второй лакей. Ночь лунная, тени густые, странные. Идем. Вдруг вижу, слева в нише дома — высокий человек. Завернулся в плащ, шляпу надвинул на глаза, как испанец. Чуть я поравнялся с ним, он пошел рядом. Думаю: это какой-либо гвардеец для охраны. Никак не могу вспомнить, кто бы это мог быть такой высокий: Пассек не Пассек, Гагарин не Гагарин. Думаю: какой-нибудь правофланговый солдат. Шагает четко, но шаг тяжелый, гулкий. И чудится мне: левый бок мой стал холодеть. «Кто это?» — спрашиваю у Куракина. «Где, ваше высочество?» — «Идет слева от меня». — «Слева от вас — стена дома. Человеку не пройти! А впереди — лакей!» Я протянул руку — прав-

да: холодная стена... Идем. Спутник не отстает. И вдруг он заговорил. Я слышу глухой голос — рот у него закрыт плащом. Наглость — он осмелился назвать меня по имени: «Павел!» Я вспылil: «Что тебе нужно?» — «Павел! Бедный Павел! Бедный князь!» Я оборачиваюсь к Куракину: «Ты слышишь?» — «Ничего не слышу». — «Кто ты?» — спрашиваю у незнакомца. «Тот, кто принимает в тебе участие». — «Чего ты хочешь?» — «Хочу предостеречь тебя». — «От чего?» — «Если желаешь умереть спокойно, живи как следует!» В это время мы подошли к большой площади у Сената. «Прощай, Павел! Ты еще увидишь меня здесь», — сказал и приподнял шляпу. И я вижу: да это мой прадед, Петр Великий! Я вскрикнул от изумления. Куракин ко мне: «Что с вами?» Я оглянулся — прадед исчез. Я ничего не ответил Куракину, а скорым шагом во дворец. Я увидел прадеда на этом месте еще раз, когда матушка поставила ему памятник... Ну что вы на это скажете, Михаил Ларионович?

— Не следует много курить, ваше высочество, — с легкой улыбкой ответил Кутузов.

А сам невольно вспомнил рассказы Порошина, который в детские годы Павла был его воспитателем. Порошин всегда удивлялся впечатлительности и необузданной фантазии своего воспитанника.

Уже было совершенно темно, когда Кутузов, откланявшись, выехал из старомодной, странной Гатчины.

Глава седьмая

ПОСОЛ РОССИИ

В особливом уважении на усердную службу Вашу, многими отличными подвигами доказанную, избрали мы Вас к сему торжественному посольству.

Рескрипт Екатерины II Кутузову

Дипломатическая карьера сколь ни плутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать, как надобно.

Кутузов

I

Кутузов уже больше месяца жил в маленьком украинском городишке Елисаветграде: он задержался на пути в Константинополь.

Из Петербурга Михаил Илларионович выехал в конце

февраля 1793 года со свитой торжественного посольства в шестьдесят восемь персон, воинскими командами и большим обозом, всего в шестьсот человек.

В Петербурге еще была настоящая зима, еще сердито завывали февральские метели, и Екатерина Ильинишна, провожая мужа, уговаривала, чтобы он повязал шею пуховым шарфом; а в Москве по-весеннему глянуло солнышко, с крыш застучали капели, и все шарфы оказались лишними.

И чем дальше продвигались на юг, тем становилось теплее.

Из саней пришлось пересестъ в коляску. С каждым днем было труднее ехать: снег стоял, дороги раскисли.

По Украине шла буйная, веселая весна.

Посольский обоз еле тащился и наконец застрял где-то в пути. А Михаил Илларионович торопился.

По Ясскому мирному договору 1791 года в пограничном городке Дубоссары на Днестре должен был состояться размен послов: Кутузов из Дубоссар направлялся в Константинополь, а турецкий посол беглер-бей¹ Румелии Рашик-Мустафа-паша — в Петербург.

Только в половине апреля посольство доставилось в Елисаветград.

До Константинополя было еще так далеко, а уже обнажилась вся сложность миссии Кутузова.

Михаил Илларионович помнил обыкновение турок презрительно относиться ко всем немагометанам, помнил их всегдашнее стремление унижить «франка», если только он допустит это.

От мелочно-щепетильных турок можно было ждать любого подвоха. Кутузову рассказали, сколько пришлось его предшественнику князю Репнину в посольство 1775 года выказать твердости, чтобы удержать турок на должном месте.

Ближайшая задача Михаила Илларионовича была: выдержать характер, не отступать ни на йоту от условий, на которых договорился Николай Васильевич Репнин.

У турок еще не были готовы перевозочные средства, они, как обычно, делали все в самую последнюю минуту, но и у Кутузова еще не прибыл обоз. Приходилось ждать.

¹ Беглер-бей — губернатор.

Было томительно сидеть в пыльном, скучном селе, которое пышно именовалось «городом», «крепостью святой Елисаветы».

Все эти посольские «дворяне», офицеры для посылок, квартирмейстеры, вагенмейстерские помощники и прочие чины, в большинстве своем состоявшие из офицеров армии и флота, от тоски и безделья потихоньку дулись в карты да любезничали с горожанками.

У самого Кутузова дел было мало. Небольшая дипломатическая переписка, которую он вел с Петербургом и поверенным в делах в Константинополе полковником Хвостовым, отнимала у него не много времени. Вечера оставались совершенно свободными.

К Михаилу Илларионовичу приходили посидеть за чайком приятели — генерал-аншеф Петр Богданович Пассек, который был назначен «комиссаром» проводить со стороны России размен послов, и генерал-майор Илья Андреевич Безбородко, брат министра иностранных дел, старый боевой товарищ Кутузова. Безбородко считался «первым приставом посольства»: на его обязанности было сопровождать турецкого посла в Петербург.

Обычно они заставляли у Михаила Илларионовича его ученика и давнего сослуживца секунд-майора Бугского егерского корпуса Павла Андреевича Резвого, заведовавшего в свите царскими подарками, и советника посольства Николая Антоновича Пизани.

Кутузов приглашал Пизани потому, что Николай Антонович несколько лет прослужил первым драгоманом в Константинополе и превосходно знал быт и нравы турок. Михаил Илларионович хорошо изучил турок на поле сражения, но в мирной обстановке знал мало и хотел узнать их и с этой стороны.

— Вам, Михаил Ларионович, надо уже пить не чаек, а кофе по-турецки — без сливок и сахара, — сказал в один из вечеров Пассек, принимая от кутузовского денщика стакан чаю.

— А почему это турки, словно наши московские бабы, так любят кофе? — подумал вслух Кутузов.

— Для мусульман кофе не просто напиток, а «капля радости», «отец веселья». Турки считают, что кофе открыл Магомет, — ответил Пизани.

— Хорошенькая радость! От кофе только сердцебие, — скривился Безбородко.

— Да и аппетита никакого...

— Арабское слово «кафе» и значит «лишающий охоты к еде», — объяснил Пизани.

— Что ж, — вздохнул Михаил Илларионович, — придется пить кофе и есть барашков, а я баранины не люблю.

— Телятина, конечно, лучше, — улыбнулся Пассек.

— Турки не едят ни свинины, ни телятины, — напомнил Пизани.

— Может быть, так не едят, как не пьют вина? — язвительно заметил Безбородко. — Николай Васильевич Репнин рассказывал, что в Константинополе расходуются вина больше, чем в Париже.

— Я никогда не слышал у турок веселых песен, — сказал Кутузов.

— Когда пьяный осман поет, он вздыхает до слез! — поправил Пизани.

— Не всякий пьяница весел. Турок вообще угрюм как сыч. Угрюм и ленив, — отрезал Пассек, не питавший большого расположения к ним.

— Не знаю, как в мирной обстановке, а в бою турок не ленив, — возразил Кутузов.

— Да, в бою он деятелен и жесток! — поддержал Безбородко. — Это мы хорошо видели в Измаиле.

— Турок очень сострадателен, — защищал османов Пизани.

— К кому?

— К животным...

— Видал я, как они колотят осла, когда осел не хочет тащить непосильную кладь.

— Кажется, турки любят детей, — вставил Резвой.

— Турки ценят только мальчиков, — повернулся к Резвому Пизани. — Ежели турок скажет, что у него трое детей, это значит — у него трое мальчиков. Девочки в счет не идут.

— Тогда мне с моими пятью дочерьми придется говорить, что я — бездетный, — улыбнулся Кутузов.

— Говорите — пятеро детей, кто в Константинополе проверит? — пошутил Безбородко.

— Найдутся. Первый — английский посол сэръ Энсли. Он обо мне успеет все узнать, пока дотащимся... До смерти надоело ждать!

— Да, всем неугоду. Давеча я смотрю, наши офицеры режутся со скуки в картишки. Что ни деиь — поминают царя фараона! Даже зависть берет! — сказал Безбородко.

— Что и говорить: фараон вещь приятная! — оживился Пассек.

...В конце апреля турки предложили перенести пункт размена послов из Дубоссар, как было раньше условлено, в Бендеры.

Это предложение исходило не столько от них, сколько от князя молдавского, который хотел, чтобы размен состоялся не на его территории. Князь боялся излишних расходов по содержанию большой, прожорливой свиты Рашик-Мустафы.

Разница в расстоянии была невелика — около двадцати верст, но Кутузов не мог согласиться на это: казалось бы, что Россия уступает турецким настояниям, боится их.

Михаил Илларионович не забывал инструкции, данной ему Екатериной II. В ней говорилось:

«...не должно Вам соглашаться ни на какое снисхождение, от которого могло бы уменьшено быть достоинство и уважение, подобающее величию нашей империи и званию, на Вас возложенному, наблюдая напротив того, чтоб весь церемониал точно и без малейшего упущения исполнен был».

Кутузов от предложения князя отказался.

И турки волей-неволей стали готовиться к переправе у Дубоссар, а Кутузов по частям отправлял туда воинские команды и свиту и в ночь на 19 мая выехал сам: условились окончательно, что размен послов произойдет 4 июня на середине Днестра.

В последний момент турки предложили, чтобы церемония размена обязательно происходила на их плоту.

— Пусть сделают и украсят плот они, — согласился Михаил Илларионович, — но к плоту подъезжать и входить на него одновременно — мне и Рашик-Мустафе.

Турки не возражали против этого.

II

У дубоссарских ребятишек никогда еще не было столько развлечений, как в эту весну.

Сперва на противоположном, правом берегу Днестра появились турки — заперели палатки, замелькали резвые всадники.

Турок теперь не боялись: уже прошло около двух лет с тех пор, как с ними был заключен вечный мир.

Турки купали в Днестре коней, конопатили и смолили лодки, пригнанные откуда-то, строили паром, — видимо, собирались переправляться на русский берег.

В Дубоссарах давно прошел слух, что отсюда турецкий посол поедет к царице.

Потом по шляху из Елисаветграда стали прибывать русские войска. Вот с песнями пришли мушкеры, стали размещаться по хатам и рассказали хозяевам, что в воскресенье 4 июня на плоту на середине Днестра (чтоб ни нашим, ни вашим!) встретятся послы: русский, который живет в Елисаветграде, и турецкий. Русский поедет в Турцию к султану в гости, а турецкий — в Россию к царице.

Мужики обсуждали это предстоящее событие:

— Побачимо, чий краще: турецкий або наш.

— Турецкий, кажуть, паша...

— А наш — царицын сват.

— Какой сват? — вмешался мушкатырь. — Не сват, а генерал-майор Кутузов.

— Вот я ж и кажу: генерал, да еще и майор...

— Генерал Кутузов. Одним словом, «туз»!

— А правда, что у него одного ока нема?

— Чтоб еще у твоих внуков были такие светлые очи, як у Кутузова!

Затем в одно утро в город въехали легкие, пестрые, как петухи, гусары. А на следующий день появились на больших белых конях, в белых мундирах грузные, словно откормленные гуси, кирасиры.

Глядя на них, крепких и ладных, старики говорили:

— Ишь гладки! Мабудь, их гарно кормят!

— Та ж яка у них работа? Коня почистить да щеки себе выголить.

За кавалерией, подымая по дороге пыль, протарахтели десять пушек. Их медь горела, как золото.

Дубоссарцы всполошились: а пушки зачем? Уж не война ли снова?

Но их успокоили солдаты:

— Салют отдавать турецкому послу.

— Ему бы и одной хватило: зачем же десять?

— Такая, братику, форма!

Последним притащился обоз. На подводах лежало обычное: палатки, мешки с провиантом, котлы, солдатская «худоба».

Но четыре фуры были наглухо закрыты, и в них день и ночь сидело по два солдата с ружьями — один спереди, другой сзади.

Объяснилось и это: в фурах везут подарки султану.

— Что ж, мы побили турка да мы же и подарки ему везем?

— Э, не понимаешь! Наш посол в гости к ним едет — царица гостинец султану шлет.

— Не была б жинка: хитрая...

— И салтан нашей царице что-сь пришлет.

— Побачимо!

А через день в Дубоссары приехал какой-то важный, громадного роста, генерал со свитой.

Он остановился у обер-провиантмейстера Зимина, дом которого, весь в вишеннике, стоял на дороге из Дубоссар к Днестру.

Все думали, что приехал наш посол, но солдаты объяснили: этот великан — генерал-аншеф Пассек, белорусский генерал-губернатор. Он назначен комиссаром от царицы при размене послов.

— А-а, він вроде дружка чи свата! — догадались крестьяне.

Генерал Пассек поехал с офицерами к самому берегу реки, где стояли десять пушек, что-то говорил, указывал.

После его отъезда к берегу пришел обоз и солдаты начали расчищать место и ставить палатки: здесь комиссар Пассек будет принимать своего и турецкого послов.

А на реке сделали пристань и приготовили паром и лодки для перевоза.

Но самое интересное настало в воскресенье 4 июня.

С утра ребятам — хоть разорвись: у реки было на что поглазеть, а у дома обер-провиантмейстера Зимина — и подавно.

В ставке генерала Пассека лакеи накрывали парадные столы для завтрака, убирали ветками палатки.

Турецкий и русский паромы для перевозки экипажей, повозок и воинских команд были наготове.

Посреди Днестра виднелся турецкий плот, на котором условились встретиться послы.

Турки покрыли его дорогами коврами, и он чуть покачивался на реке, словно какой-то необычайно яркий цветок.

На ковре стояли друг против друга два кресла, а за ними несколько скамеек, закрытых парчой.

Турецкие челноки сновали взад и вперед по реке, приставали к левому берегу, турки говорили с русскими солдатами-лодочниками.

Переводчик-татарин спрашивал у русских солдат:

— Правда ли, что у вас даже бабы пьют вино?

— А почему бы им не пить? — улыбался мушктер.

— Только поднеси, осман, увидишь, как хлещут!

— Говорят, пьют оттого, что ваша сторона сильно холодная. У вас самый край земли. Туда и солнце мало достает. Если б народ не пил, так вымерз бы с корнем!

Мушктер подмигнул товарищам и сказал:

— У нас холодно, это верно: вот борода у человека как обмерзнет зимой, так и до лета не оттает. Оттого у нас и бороды светлее ваших...

Турки смотрели исподлобья, молча курили, а русские солдаты весело пересмеивались.

Ребятишкам интересно потолкаться на берегу.

Всю дорогу на добрые полверсты заняли конные и пешие солдаты и разные посольские служащие в парадных кафтанах и париках.

Какой-то подполковник, сидя на лошади, устанавливал порядок шествия к берегу посольской свиты:

— Фурыеры, становись сюда, перед кирасирами! Господа переводчики, вы за пехотой. Антон, подавай карету! Так. За каретой господин шталмейстер. Лакеи, официанты, метрдотель, вот ваше место!

Ребята смотрели и не понимали, кого так мудрено называет подполковник. За красивой — вся в стеклах — каретой становились не то бабы, не то мужики: в красных, расшитых шелковых кафтанах, на голове шляпа, а из-под шляпы торчит косичка.

Их тотчас же заслонили всадники.

Захотелось побежать и посмотреть, а что делается теперь на турецком берегу.

И вдруг ударила пушка.

Ей тотчас же ответили с турецкой стороны.

Все конные и пешие, растянувшиеся по дороге от дома Зимина, зашевелились.

Мальчишки побежали по обочине дороги, крича:

— Пойихалы! Едут!

Вдоль дороги стояли толпы народа. Мужики, бабы, разряженные, перешептывающиеся между собою девчата.

Впереди всех ехал, важно упершись одной рукой в бок, молодой офицер. За ним — два солдата

со значками, а потом, как белая каменная стена, кирасиры.

— Бач, бач, гарный!

— Который?

— О, той, что поглядае...

— Він до нас заходил напиться.

— Та шо ты!

Загремели трубы, ударили барабаны. За кирасирами шла музыка и пехота: ать-два, ать-два! Как одна нога!

Ребята бежали рядом с оркестром. А за пехотой медленно ползла карета, окруженная гусарами. В карете сидели какие-то важные господа. Один — видать, не русский — смотрел по сторонам с такой миной, будто у него живот схватило и он только выбирает место, где бы выскочить...

Деды и бабы кланялись карете в пояс:

— Мабудь, сам посол! Туз!

А за каретой ни с того ни с сего, как за телегой цыгана, табун коней. Сытые, вычищенные — так и лоснятся.

— Кони. Як на ярмарке!

— А воны куды ж?

— Туркам.

— У турка кони краще.

— Вот нам бы таких по одному!

За лошадьми — пешие и конные. Кто из них военный, кто — так, не разберешь.

И опять карета, но уже запряженная шестериком. На запятках пажы, а гайдуки по бокам. И кругом нее — гусары.

Деды и бабы опять кланялись до земли.

Ребята бежали, старались рассмотреть посла, но в карете сидели двое: оба толстые, оба в треуголках, у обоих лента через плечо и на груди как жар — ордена.

Вот уже и река.

На турецком берегу тоже двигалась к реке пестрая, цветистая толпа.

Слышалась дикая турецкая музыка. Все заглушали барабаны.

И вдруг над русским берегом блеснул огонь и разом ударило десять пушек.

Бабы и девки шарахнулись в сторону. Кто присел, кто стоял, зажав пальцами уши.

Торжественная процессия подошла к комиссаровой ставке.

Генералы вылезли из кареты.

Офицеры слезли с лошадей. Все пошли к палаткам.

А войска и кареты стали съезжать на паром. Турецкая свита и повозки тоже собрались на своем пароме отчалить от берега.

Пока на пароме перевозили свиту Кутузова, слуг и команды на турецкий берег, комиссар Пассек угощал посла завтраком.

На русский берег стала выгружаться свита турецкого Рашик-Мустафы-паши в смешных высоких шапках и цветистых чалмах.

— Повозки у них поганые, а кони — гарные! — оценивали дубоссарцы, глядя без особого удовольствия на гостей.

Но вот паромы перевезли всю свиту: турки табунились на русском берегу, русские стояли на турецком.

Тогда снова прогремела пушка. Турки ответили тем же.

Из ставки вышел высокий комиссар Пассек.

Рядом с ним шел среднего роста полный генерал. А за ними человек десять офицеров.

— Посол! Посол!

Они не спеша спустились к пристани, где ждали лодки, и поехали к плоту.

Турки на своей стороне делали в точности то же.

— Везут, как жениха к невесте!

Русские и турецкие лодки одновременно пристали к плоту.

Послы в одно время взошли на плот, сели в кресла друг против друга.

Комиссары послов сели чуть сзади, свита за ними.

С берега смотрели, что будет дальше:

— Говорят.

— По-каковски?

— И понимают?

— А переводчики на что?

Послы беседовали недолго. Разом встали. Каждый комиссар взял своего посла за руку и подвел к другому.

— Знакомятся.

— Пошли к лодкам. Садятся.

— Едут!

И снова с обоих берегов грохнули пушки и загремела музыка, встречая именитого посла.

Через несколько минут послы одновременно ступили на чужую землю.

Русскому посольству наскучило тащиться по скверным турецким дорогам в Константинополь.

Ехали чрезвычайно медленно: всюду подолгу ждали, пока турки соберут подводы. Немало задерживали пышные встречи, которые устраивались везде русскому послу.

Эти парадные встречи надоели всем до смерти. Толмачи и повара, швейцары и актуариусы¹, пажы и скороходы давным-давно заучили, после кого им положено следовать в шествии. Надоело наряжаться во все парадное, а затем через час снова чиститься: стояла жара, было очень пыльно.

Михаил Илларионович в менее важных пунктах частенько прикидывался больным, и вместо него в этих церемониях отдувался маршал или первый секретарь посольства.

Вообще же в свите было много по-настоящему больных.

Скверные продукты, доставляемые турками, обилие фруктов, на которые набросились северяне, — все это вызывало поносы. А чем ближе подвигались к Дунаю, тем больше становилось больных лихорадкой.

Хорошо, что нигде по дороге не встречали чумы.

У Михаила Илларионовича уже хватало работы: в его руках сосредоточивалась вся русская политика на Босфоре. Он держал непрерывную связь с Петербургом и поверенным в делах в Константинополе полковником Хвостовым.

Главная задача Кутузова в Турции была на первый взгляд проста.

В секретной инструкции, данной Кутузову Екатериной II, было о Турции сказано:

«Иного от нее не требуем, как точного исполнения постановленных между нами соседственных и торговых условий, при чистосердечном с ее стороны попечении отвращать все, что тишину и безопасность границ наших колебать может».

Кутузову предписывалось устранять во взаимоотношениях России и Турции все то, что «остуду родить может».

В Турции царствовал умный Селим III, который начал реформировать армию и флот. Его считали неспособным

для того, чтобы возвеличить Турецкую империю. Так якобы предсказал придворный астролог.

Но в коллегии министерства иностранных дел России верили больше в «астрологов» из английского и французского посольства и потому предупредили Кутузова, чтобы он установил, не являются ли эти реформы результатом «подушений министров других держав, нам завистующих».

Вот уже вынырнул старый знакомец Михаила Илларионовича — Анжели: Кутузову донесли, что Анжели собирается приехать в Таврию.

Михаилу Илларионовичу было указано внимательно следить за военными приготовлениями Порты и извещать обо всем Суворова и вице-адмирала Мордвинова, командующих сухопутными и морскими силами на Черном море.

Кутузов в пути тщательно собирал сведения. Особых приготовлений нигде не было заметно. Правда, к Измаилу из Молдавии везли лес, понемногу обновляли внешние и внутренние палисады, а в Бендерах работало триста человек, но во всех этих крепостях и гарнизон и артиллерия были весьма малочисленны.

Только 12 августа Кутузов, при пушечной пальбе, переправился на двух галерах через Дунай.

Дальше шли собственно турецкие города. Они все были похожи друг на друга. Те же извилистые, грязные улочки, те же дома, напоминающие ящики (на улицу выходили только стены без окон), те же минареты, стоящие среди нагромождения домов, как неусыпные часовые, те же фонтаны, осененные плакучими ивами. Улицы чередовались с кладбищами, утопавшими в зелени кипарисов.

И по турецкой земле поехали не быстрее, чем ехали по Молдавии и Валахии.

Только в начале сентября проехали Адрианополь, а в воскресенье 25 сентября увидели минареты Стамбула, как турки называли свою столицу.

На последней станции у Константинополя Кутузов хотел немного отдохнуть и осмотреться перед въездом в столицу, но сопровождавший русское посольство двухбунчукный паша стал просить Кутузова обязательно въехать в Стамбул в понедельник 26 сентября.

— Что он, так соскучился по своим женам, что не может обождать одного дня? — спросил у переводчика Михаил Илларионович.

¹ Актуариус — чиновник, ведавший актами.

— Ваше превосходительство, он говорит, что у них вторник считается несчастливym днем.

— А у нас как раз понедельник тяжелый день,— заметил бывший при разговоре секунд-майор Резвой.

— Пусть турки боятся своих несчастливых дней, а нам не пристало. Хотят, чтобы мы въехали в понедельник,— извольте, въедем,— ответил Михаил Илларионович.

И русское посольство торжественно въехало в Стамбул в понедельник 26 сентября.

Вместо положенных шестидесяти дней пути русское посольство ехало от границы до Константинополя сто четырнадцать дней.

IV

Константинополь встретил Кутузова не только со всеми почестями, какие были обусловлены князем Репниным, но даже еще пышнее.

«Наружная вежливость министерства оттоманского противу меня и свиты моей превзошла некоторым образом мое чаяние»,— писал Кутузов императрице.

Прусский и неаполитанский послы, благожелательно относившиеся к России, встретили Кутузова на последней станции перед Константинополем, а остальные только присутствовали при въезде русского посольства в столицу Турции.

На следующий день с утра к Кутузову явился чиновник великого визиря узнать о здоровье почетного гостя и передать ему подарки.

Затем стали приезжать с визитом послы.

И только после обеда Кутузов смог уединиться с поверенным в делах, полковником Александром Семеновичем Хвостовым.

Хвостов познакомил чрезвычайного посла с людьми, с которыми ему предстояло иметь дело, и обрисовал всю обстановку.

Кутузов знал, что положение простого народа в Турции ужасное: деревня разорена непосильными налогами и взяточничеством алчных чиновников.

Нищую турецкую деревню Михаил Илларионович видел собственными глазами во время трехмесячного пути из Дубоссар в Константинополь.

Но Хвостов дополнил эту картину. Он рассказал, что всего у турок насчитывается девяносто семь разных налогов, что существуют такие нелепые налоги, как «за воздух» или «за зубы»— вознаграждение чиновникам за то, что они во время командировок в деревни изнашивают свои зубы.

Крестьяне день и ночь изнывают в работе, чтобы только рассчитаться с податями. Многие бегут, бросая все.

— А что же султан? В чем же его реформы? Ведь от него ждут, что он вознесет Порту?— спросил Михаил Илларионович.

— Селим Третий не Гарун-аль-Рашид: он не интересуется, как живет народ. Его больше тревожат военные неудачи и пустая казна. Он реформирует армию и флот.

— Вероятно, он обыкновенный восточный деспот, жестокий и грубый?

— Нет, наоборот: Селим — образованный человек, любит музыку и поэзию, пишет стихи. А характер у него мягкий, безвольный.

— Выходит, как в поговорке: «От добрых людей мир погибает»?— улыбнулся Михаил Илларионович.— А кто же пользуется у него влиянием? Наш друг — великий визирь, кажется, не очень в фаворе?

— Да, султан не больно жалуется этого Рашид-эфенди,— ответил Хвостов.— Первый друг его — сверстник и шурин капудан-паша Гуссейн, прозванный «Кючук».

— Что это значит «кючук»?

— «Маленький». Гуссейн — коротышка. Он мало участвует в делах, живет в свое удовольствие, кутит. Говорят, он уже промотал три миллиона пиастров. Его не любят два главных лица в правительстве — министр иностранных дел Рашид-эфенди и Юсуф-ага.

— А Юсуф-ага кто?— спрашивал Кутузов.

— Юсуф-ага это «кяхья», гофмаршал султанши-матери, которая по-турецки называется «валиде». Валиде — большая сила.

— У турок испокон веков все дворцовые козни и интриги выходят из недр гарема. И конечно, эта валиде, как мать султана, первое лицо в гареме? Какая она, очень старая?

— Совсем нет,— сказал Хвостов.— Султану ведь всего тридцать два года, стало быть, матери лет пятьдесят. Видно, была когда-то красивая женщина. Она родом из Грузии. Валиде имеет большой вес, но первое лицо

в гареме не она, а кызлар-агасы, то есть «начальник девушек», а попросту начальник черных евнухов, стерегущих гарем. В его ведении весь гарем и личная казна султана. Предшественник нынешнего кызлар-агасы, Бешир, фактически правил государством. Его купили в Эфиопии за тридцать пиастров, а когда Бешир умер, то состояние покойного кызлар-агасы оценивалось в тридцать миллионов пиастров. Вот что значит «начальник девушек».

Кутузов внимательно слушал Хвостова и думал:

«Надо постараться не ссориться с этим черным евнухом. И хорошо, что я догадался еще из Ясс отправить царице просьбу прислать для валиде дорогой эгрет!¹»

Спросил у Хвостова:

— А как же драгоман Порты, господин Мурузи, такой же прохвост, как и его братец, князь Волошский? Тот все норовит учинить нам какую-либо пакость.

— Коварен и подл. Не зря же он родом из Фанары, квартала в Константинополе, где живут греки. Прусский посланник Гаффон метко сказал: «Фанара — университет подлости».

— А как турки относятся к тому, что во Франции республика?— спросил Михаил Илларионович немного погодя.

— Турецкие риджалы² расценивают французскую революцию как благоприятный факт: устранена опасность франко-русско-австрийского союза. Великий визирь сказал: «Хорошо, что во Франции республика: ведь республика не сможет жениться на австрийской эрцгерцогине!» А французские агенты постарались уверить турецкое духовенство, что раз во Франции покончено с христианской религией, то, значит, французы стали ближе к магометанам.

— Недурно придумано,— усмехнулся Михаил Илларионович...

Кутузов беседовал с полковником Хвостовым до ночи.

Когда Хвостов ушел, Михаил Илларионович вышел на балкон.

Над Константинополем и проливом плыла полная луна. С балкона открывался великолепный вид.

Внизу, у ног, лежали Пера и Галата, где живут

«франки». За Галатой тихо плескались воды залива Золотой Рог.

Теперь, в свете луны, он был сверкающим, серебряным.

А за ним простерся сам Истамбул: плоские турецкие крыши, высокие минареты, разнообразные купола, блестящие позолотой, и купы деревьев.

Вот голубоватая в лунном сиянии громада сераля — дворца султана. Здесь живут его жены, наложницы, евнухи и бесчисленные слуги — все эти нелепо-странные хранители парадной султанской шубы, обрезыватели султанских ногтей, сторожа султанского попугая. А вот купол Айя-Софии, обставленный с четырех сторон стройными, как свечи, минаретами.

Но над всем Константинополем на холме возвышаются громоздящиеся друг на друга купола грандиозной мечети Сулеймание. Они кажутся выточенными из слоновой кости.

А там, за мысом Сарай-бурну¹, раскинулось Мраморное море и за ним смутно темнеют очертания гор азиатского берега. Как из сказки «Тысяча и одна ночь».

Приятно посидеть в такую мягкую лунную ночь, но еще ждут дела — надо написать письма.

Михаил Илларионович вернулся к себе в кабинет.

Взглянул на подарки великого визиря, лежащие на столе, и подумал о жене.

«Табакерка с алмазами ее, пожалуй, не заинтересует. И мыло адрианопольское, хотя считается лучшим. Катенька моет лицо хлебным мякишем, говорит — лучшего мыла. А вот девять кусков шелка из Алепо разных цветов на девять платьев — это доставит удовольствие!.. Модница! Кокетка!»— снисходительно улыбнулся Кутузов и стал писать письмо жене.

V

Осмотревшись в Константинополе, Кутузов начал устанавливать непосредственные взаимоотношения с турецкими сановниками. Он делал это по восточному обычаю: рассылал им подарки.

¹ Эгрет — страусовое перо, украшенное драгоценными камнями.

² Риджалы — сановники.

¹ Сарай-бурну — дворцовый мыс.

Еще в пути приходилось обмениваться подарками с местными властями, но там попадалась одна чиновничья мелкота, и дары поэтому были незначительные: серебряная табакерка или мех лисицы-сиводушки.

Правда, в Яссах секунд-майору Резвому пришлось вынуть из заветных посольских сундуков золотые вещицы: господарь Молдавский, относившийся неприязненно к русским, хотел теперь подольститься к посольству и не покупился на подарки. Кутузов приказал отдарить господаря, «дабы не дать ему превозмочь нас в щедрости и великолепии» — как написал царице в своем отчете Кутузов.

Михаил Илларионович очень беспокоился об одном — не задержали бы присылку эгрета для валиде, — он хотел поскорее послать подарки матери султана.

Эгрет доставили быстро, и Кутузов отправил к валиде первого секретаря посольства, секретаря ориентальных языков Занети и секунд-майора Резвого в сопровождении нескольких офицеров, или, как они официально именовались, дворян посольства.

Троюродный племянник Михаила Илларионовича Федор Кутузов попросил дядюшку назначить и его в число офицеров, сопровождавших подарки султанше.

— Надеешься увидеть султанских жен? — улыбнулся Кутузов. — Поезжай. Только пусть Николай Антонович Пизани научит, как держать себя у турок за столом. Ты же с турками никогда дела не имел.

Пизани отвел Федю Кутузова в сторону и стал поучать восточному этикету:

— Сидят у турок на том, на чем стоят, но не всегда одинаково. Запомните: равный перед равным сидит, скрестив ноги. Колени у него далеко впереди: захочет — обопрется о них. Младший же перед старшим сидит на пятках. Вот сначала станьте на колени, а потом сядьте. Тут колени должны быть обязательно чем-либо закрыты, полами одежды, что ли. За столом старшему гостю подадут подушку, чтоб удобнее было сидеть. А ежели вы чином ниже майора, то садитесь прямо на ковер!

— А как же садиться со шпорами? — спросил Федя Кутузов.

— Ложитесь на бок, а ноги отбросьте подальше за фронт. Пусть не ведают ноги, что творят зубы! Потом запомните: если станут угощать вареньем с холодной водой — это у них первое угощение, — то возьмите одну

ложечку варенья, а не накладывайте его, как кладут у нас в чай — ложку за ложкой.

Федя Кутузов внимательно выслушал наставления советника посольства, посланцы оделись в парадные мундиры, Резвой взял подарки, и они отправились.

Посланные к султанше пробыли в гостях несколько часов. Валиде осталась чрезвычайно довольна подарками и приняла русских с большим почетом.

Михаил Илларионович подробно расспросил своих о приеме:

— Ну что, видали мать султана?

— Видали, — ответил первый секретарь. — Представительная женщина. Должно быть, когда-то была писаная красавица.

— Лет восемьдесят тому назад, — вставил Федя Кутузов.

Он был недоволен, что, кроме Михр-и-Шах, не видал ни одной женщины.

— Что, Федя, — спросил Михаил Илларионович у племянника, — султанских жен видел?

— Как же, увидишь! Они за семью замками!

— А угощали вас хорошо?

— Неплохо. Арапы то и дело носили на головах золотые блюда. Я со счету сбился. И все вперемешку: суп после варенья, жаркое после пирожного. И ни ножей, ни вилок — всё берут пальцами.

— А суп как же?

— Ложку дали. И ложка какая-то странная: стебель у нее длинный, а сама неглубокая, плоская. Кашу есть этойкой удобно, а суп — рука заболит носить от чашки ко рту.

— Зато красивая — вся украшена драгоценными камнями, — прибавил Резвой.

— А когда подали фрукты, этот турок, что угощал нас, откусил персик и протянул огрызок Павлу Андреевичу. Я бы ни за что не взял. Точно кусок с барского стола! Он, видно, никогда не читал «Правил учтивости».

— Нет, — улыбнулся Пизани. — Правила учтивости у них иные! Это у турок особое уважение к гостю. Не взять нельзя: обидишь хозяина.

— Да пропади он пропадом, чтоб я ел его огрызок!

— Ничего не поделаешь — обычай!

— Ну, и чем же все-таки угощали вас?— продолжал расспрашивать Кутузов.

— Сыр вроде с какими-то нитками, рыба соленая-пресоленая, зелень наподобие бурьяна, фрукты вареные. Потом поставили эту... как ее... каурму. До чего противная, приторная! Вот только каша рисовая с изюмом и была хороша: белая как снег.

— Это называется — пилав,— объяснил Пизани.— Он у турка за обедом так же необходим, как имя аллаха, как трубка в беседе.

— По-турецки, может, пилав, а по-нашему — кутья, ее на поминках едят,— сказал Федя Кутузов.

— Знаете, ваше высокопревосходительство,— обратился к Кутузову Пизани,— как подали каурму, наши господа-дворяне и нос заворотили, а чуть увидали пилав — и ну грабастать его по полной чашке. Им и невдомек, что каурма приготовлена во вкусе шаха персидского и что пилав перед ней как холоп перед боярином!

— А что же пили, Федя?— спросил Михаил Илларионович, зная, что Федя может неплохо выпить.

— Э, дядюшка, ерунду. Поили, как детей, холодным кваском. Квасок такой, квасок этакой...

— Не квасок, а шербет. Подавали разные шербеты. Шербет малиновый, шербет ананасовый, шербет вишневый,— поправил Пизани.

— Ну пусть шербет. Он вкусен, да отдает этой розовой водой. Она у них всюду: и руки после еды моют розовой водой и в соус прибавляют розовую воду. Особенно противна она с мясом,— сморщился Федя Кутузов.

— Все-таки попробовали турецкого угощения, будете теперь знать и хвастаться дома,— сказал Михаил Илларионович, оканчивая легкий разговор.

Один из самых важных визитов, значит, прошел хорошо.

Надо было готовиться к церемониальной встрече с великим визирем и к аудиенции у султана.

До сих пор все церемонии проходили без споров, а тут вдруг возникли затруднения из-за шубы.

По установленному этикету великий визирь должен был передать от султана русскому послу в подарок соболю шубу.

Дорогая шуба и оседланный конь считались самыми почетными наградами султана. Чингис-хан награждал когда-то тулупами.

Турки настаивали, чтобы Кутузов принимал эту шубу стоя, а Михаил Илларионович отвечал, что в таком случае пусть одновременно с ним встанет с места и сам великий визирь.

Юсуф-паша не соглашался.

Было похоже на детскую размолвку в игре, но Кутузов понимал, что, если он проявит даже в такой мелочи уступчивость, турки сочтут это за слабость и постепенно начнут оспаривать пункты самого «вечного» мира.

И он твердо стоял на своем.

Спор тянулся десять дней.

Турки доказывали, что князь Репнин вставал, когда на него надевали шубу, что сидя надеть шубу невозможно, но Кутузов не уступал.

Наконец султан велел оставить все на усмотрение русского посла.

Великий визирь так и передал Кутузову через драгомана, что «убежище мира (то есть султан) хочет поскорее запереть дверь раздоров».

Аудиенцию у великого визиря назначили на 29 октября.

VI

Утром 29 октября к дому русского посольства в Пере собралась целая толпа турецких придворных чиновников, рота янычар и музыканты.

Мекмандарь¹ и чорбаджи² явились к послу доложить, что все готово.

Из посольства высыпала парадно одетая свита Кутузова — вплоть до лекарей, официантов и метрдотеля.

Обер-квартирмейстер и переводчик вместе с турецким драгоманом забегали по рядам, устанавливая процессию.

Когда все заняли свои места, из посольства вышел в парадном генеральском мундире, с лентой через плечо и орденами, Михаил Илларионович Кутузов.

Мекмандарь усадил посла в султанский портшез, и процессия двинулась к Золотому Рогу.

Впереди ехал верхом капиджи-баши³, за ним шла

¹ Мекмандарь — сопровождающий.

² Чорбаджи — полковник.

³ Капиджи-баши — глава дворцовых привратников.

рота янычар в длинных шелковых халатах и тюрбанах, похожих на тыкву.

А дальше двигалась вперемешку пестрая свита из русских и турецких чиновников и слуг.

Русские треуголки перемешивались с высокими смешными шапками османов. Здесь были шапки, похожие на луковицу и на громадный стручок перца. Одни из них напоминали кувшин, опрокинутый горлом вниз, другие — ведро.

Яркие конские чепраки, золотая и серебряная сбруя, разноцветные мундиры военных и ливреи лакеев создавали живую картину.

Жители Перы и Галаты, привлеченные заунывной турецкой музыкой и треском барабанов, высыпали из домов посмотреть на торжественное шествие. Процессия дошла до пристани. Там ждала целая стая лодок.

Кутузова посадили в парадный, убранный коврами, четырнадцативесельный каик, а свита разместилась в семидесяти шести простых кайках.

Флотилия при пушечном залпе с кораблей быстро пересекла Золотой Рог.

На стамбульском берегу ожидали сто двадцать оседланных лошадей для свиты и роскошно убранный арабский жеребец для посла.

Русское посольство направилось к великому визирю, который всегда принимал послов в специальном доме.

Кутузов обменялся с визирем приветствиями и вручил ему грамоту царицы, а великий визирь подал русскому послу подарок султана — дорогую соболью шубу. С шубой Михаил Илларионович поступил так, что вполне удовлетворил глупое честолюбие турок. Он сидя надел в рукава шубу, а потом поднялся, чтобы оправить ее длинные полы. Он как будто бы и не вставал, но в то же время встал...

Великий визирь угощал русское посольство восточными сластями, турецким кофе и шербетом.

Кутузов предупредил всех своих, чтобы они не вздумали пить розовую воду, подававшуюся для полоскания рта. Гостей обкуривали благовониями. Это был знак: визит окончен.

— Ну, слава богу, одна скучная церемония уже позади! — с облегчением вздохнул Кутузов, вернувшись в посольский дом.

Через день состоялся прием у султана.

Начало происходило так же, как при визите к великому визирю: утром за Кутузовым приехал со всей парадно убранной, многочисленной свитой мекмандарь. Кутузова в султанском портшезе принесли к пристани, потом доставили на кайке в Константинополь, и он поехал на прекрасном вороном арабском скакуне в сераль.

За ним следовал первый секретарь посольства с грамотой царицы в руках.

У стены сераля все иноземные послы должны были ожидать, пока в высокие резные ворота не проедет великий визирь, но русскому послу не пришлось ждать ни минуты: Юсуф-ага на белом коне нарочно подъехал в одно время с Кутузовым к первым воротам.

У вторых ворот Кутузов слез. Здесь его ждал драгоман Порты — грек Мурузи.

Посла торжественно повели в диван¹.

Перед Кутузовым шел, косолопо ступая носками внутрь, как принято ходить у турок, седой чауш-баши² и стучал о мостовую серебряной тростью.

В диван Кутузов снова вошел одновременно с великим визирем — из двух разных дверей.

Они обменялись приветствиями и сели друг против друга.

Великий визирь отправил к султану рейс-эфенди³ с письменным запросом: примет ли султан русского посла?

Михаил Илларионович сидел и невольно вспоминал, что рассказывал ему Пизани об этой смешной церемонии.

По обычаю, у рейс-эфенди с султаном в это время происходит такой разговор. Рейс-эфенди является к султану с письмом визиря и говорит: «Тень пророка на земле, гяур молит тебя о милости: он голоден, как собака». — «Накормить его!» — «Средоточие разума, гяур страдает от жажды, как ишак». — «Напоить его!» — «Прибежище справедливости, гяур замерзает от стужи, как муха». — «Одеть его!»

¹ Д и в а н — правительственный совет турецкого султана.

² Ч а у ш - б а ш и — главный церемониймейстер.

³ Р е й с - э ф е н д и — министр иностранных дел.

Что бы они там ни говорили, а рейс-эфенди вернулся с султанским фирманом, разрешающим принять русского посла.

И тотчас же поставили столы.

Кутузов обедал только с великим визирем. Остальные — за другими столами.

Во время обеда царскую грамоту держали в руках попеременно дворяне посольства.

После парадного обеда двинулись в сераль.

На полдороге посол должен был облачиться в шубу. Для этого ставилась простая скамья, которую турки насмешливо прозвали «скамья поварят». Но, подойдя к скамье, Михаил Илларионович увидел, что рядом с ней стоит табурет, покрытый богатой золотой парчой.

Хитрый Мурузи со сладенькой улыбкой сказал его высокопревосходительству, что этот табурет поставлен по приказу самого султана из особого уважения к Кутузову.

На русского посла надели соболью, крытую золотой парчой шубу, на советника, маршала, секретаря посольства и полковника Барония — горностаевые. Остальным чинам посольства дали парчовые кафтаны.

Турки надевали на послов и свиту шубы с длинными рукавами и, вводя к султану, держали послов под руки, чтобы гяуры не смогли напасть на султана.

Сопровождавшие русских кипиджи-баши не поддерживали никого под руки, а только шли, чуть дотрагиваясь до их рукавов.

В дверях аудиенц-залы бостанджи¹ держали в руках великолепные дары царицы султану. Сияло золото и бриллианты.

Кутузов вошел вслед за драгоманом Порты в большую залу. Она была вся увешана дорогими малиновыми, шитыми золотом коврами. В центре ее у стены стоял великолепный, весь усыпанный драгоценными камнями трон. На нем сидел плотный человек с длинной черной бородой и живыми карими глазами. Он выделялся среди своих разряженных сановников не только простотой одежды, но и умным лицом.

Кутузов поклонился Селиму III и, встав на свое место, начал говорить.

Султан внимательно слушал его, кивая головой.

Когда русский посол окончил, Селим III что-то громко сказал великому визирю.

Драгоман перевел его краткое ответное слово.

Кутузов выслушал, поклонился и вышел из залы.

Так делал князь Репнин, так повторили и в этот раз.

Аудиенция была окончена.

Кутузов остался доволен приемом: Селим III принял его с таким почетом, с каким не принимал ни одного иноземного посла.

Султан не позволил русскому послу ждать перед сералем великого визиря, он не посадил Кутузова на унижительную «скамью поварят».

Вот-то надуются сэр Энсли и его приспешники!

В этот же вечер Михаил Илларионович написал письмо домой, в котором так изобразил свой визит к султану:

«На аудиенции велел делать мне учтивости, каких ни один посол не видел.

Дворец его, двор его, наряд придворных, строение и убранство покоев мудрено, странно, церемонии иногда смешны, но все велико, огромно, пышно и почетно. Это трагедия Шакеспера, поэма Мильтона или Одиссея Гомера.

А вот какое впечатление сделало мне, как я вступил в аудиенц-залу: комната немножко темная, трон, при первом взгляде, оценишь в миллиона в три; на троне сидит прекрасный человек, лучше всего его двора, одет в сукне, просто, но на чалме огромный солитер с пером и на шубе петлицы бриллиантовые. Обратился несколько ко мне, сделал поклон глазами и показал, кажется, все, что он мне приказывал комплиментов прежде; или я худой физиономист, или он добрый и умный человек. Во время речи моей слушал он со вниманием, часто наклонял голову и, где в конце речи адресуется ему комплимент от меня собственно, наклонился с таким видом, что, кажется, сказал: «Мне очень это приятно, я тебя очень полюбил; мне очень жаль, что не могу с тобой говорить». Вот в каком виде мне представился султан».

VIII

Прием, оказанный Селимом III русскому послу, произвел большое волнение среди европейских дипломатов Стамбула.

¹ Бостанджи — солдаты дворцовой охраны.

Но вскоре после него произошло событие, совершенно неслыханное в летописях константинопольских посольств: к Кутузову прибыл от султанши-матери Мехр-и-Шах валиде кефая колфосы¹ с переводчиком.

Султанша велела справиться о здоровье полномочного посла и прислала ему подарки: три шали, и три платка, и отрезы турецкой и ост-индийской парчи, и непременною кофейную чашечку, украшенную дорогими камнями.

Кутузов подарил кефая серебряные часы, а переводчику отрез сукна и велел секретарю посольства угостить их.

— Вот Екатерина Ильинишна будет довольна, — сказал Павел Андреевич Резвой, рассматривая вместе с Кутузовым подарки.

— Да, особенно шальями и платками, — согласился Михаил Илларионович. — А кофейные чашки у них такой же обычный и обязательный подарок, как у нас табакерка.

— И все это стоит не менее десяти тысяч пиастров, — оценил Резвой.

Осмотрев подарки, Михаил Илларионович вышел в посольский сад погулять для моциона. Он ходил по тенистым аллеям и думал, как бы завязать добрые отношения с султанскими женами. Ведь не только мать, но и они имеют влияние на Селима III. И хорошо бы подружиться с их черномазым евнухом — с кызлар-агасы.

«Но как найти для этого предлог и как это сделать? В гарем к ним не попадешь никак. Может, одалисок можно встретить где-либо вне гарема?»

Кутузов вызвал к себе Пизани.

— Николай Антонович, ходят ли куда-либо султанские жены за пределы гарема?

— Ходят: в баню.

Кутузов невольно улыбнулся и подумал: «Это не годится». Спросил:

— А еще куда?

— Гулять в дворцовый сад.

— Когда?

— Утром.

«Вот к ним в сад и нагряться, — подумал он. — Там увидишь всех: и султанских жен и их начальника — кызлар-агасы. С турками чем смелее, тем лучше!»

Михаил Илларионович знал, что проникнуть в этот сад, где гуляют султанские жены, нельзя. За вход в него карают смертью.

«Но нам — сойдет! Не станет же Селим ссориться из-за таких пустяков. Он умен. И он побоится России!»

Еще с вечера Михаил Илларионович приказал приготовить на константинопольском берегу лошадей, а Резвому отобрать штук тридцать золотых колец с бриллиантами, алмазами, яхонтами, браслетов и сережек для султанских жен и особый дорогой подарок «начальнику девушек» — золотые часы, табакерку, унизанную бриллиантами, и кольцо с громадным сапфиром.

На следующее утро Кутузов взял секунд-майора Резвого, переводчика Пизани и без всякой свиты, только в сопровождении бин-баши поехал осматривать Константинополь.

«Вот если бы наш Федя знал, куда мы поехали! — подумал Михаил Илларионович. — Но Федю брать нельзя: тут нужна осторожность, а он, как увидит гарем, все на свете забудет!»

Они на каике перебрались через Золотой Рог. На стамбульской стороне их ждали верховые лошади.

Михаил Илларионович велел Пизани везти его к султанскому саду.

Кутузов с сопровождающими медленно ехал по кривым, узким и грязным улицам Константинополя.

Стаи голубей то и дело вспархивали из-под ног лошадей. Голубей в Стамбуле водилось много: мусульмане любят и почитают их.

Михаил Илларионович издалека, по одним разноцветным папушам, распознавал прохожих: греки должны были носить только черные туфли, евреи — только синие, армяне — только красные. В желтых ходили одни турки.

Навстречу попадались турчанки, закутанные от глаз до самых пяток в безобразно широкие, словно мешки, фередже¹. Они шли по-утиному, вперевалку.

Встречались мулы, навьюченные огромными корзинами с овощами, буйволы, медленно тащившие арбу с мешками. Арба пронзительно, немилосердно скрипела.

Но в общем турецкая часть города была менее оживлена, чем кварталы Пера и Галата, где жили европейцы.

Турок предпочитает сидеть, поджав ноги, на балконе

¹ Валиде кефая колфосы — помощник дворцового султанши-матери.

¹ Фередже — длинное покрывало.

дома, в бане, кофейне или просто на площади с неизменной трубкой в зубах. Он не терпит суеты, не кричит, не поет, не смеется. У турецких лавок не слышно галдежа и зазываний, как в Галате: турок торгует без запроса. Он горд, ленив и потому важен.

— Однако как долго тянутся переулки! Когда же выедем на главную улицу?— спросил у Пизани Кутузов.

— А мы уж давно едем по ней,— ответил советник посольства.

Стамбул вблизи оказался хуже, нежели можно было предполагать, глядя на него издали.

Михаил Илларионович терпеливо ехал, раздумывая о турках. Присматриваясь к ним, он находил в их характере много противоречий.

Турок три раза в день совершает омовения, у него на каждом шагу прекрасные мраморные фонтаны с обязательной надписью из корана: «Вода все оживляет», и в то же время он — неопрятен. Вот у этого щеголеватого бин-баши из-под нарядного мундира выглядывают рукава грязной сорочки.

Турок как будто воздержан в еде, но в то же время у него за обедом подадут десятки блюд...

Кутузов ехал, с интересом глядя по сторонам.

Наконец впереди показалась высокая белоснежная стена,— видимо, начинался султанский сад.

Пока тянулись улицы, бин-баши, молодой, красивый турок, сохранял полное спокойствие. Он гордо ехал впереди всех, с удовольствием посматривая по сторонам и не предчувствуя, какой рискованный шаг замышляет этот степенный, важный русский посол.

Вот и широкая калитка с красивой резной мавританской решеткой. Возле нее, скрестив ноги, сидел в дремотной позе черный евнух с ятаганом за широким красным кушаком.

Бин-баши уже миновал евнуха, когда посол, ехавший сзади, вдруг повернул к запретной калитке.

Бин-баши быстро поворотил коня и, подскакав к послу, стал торопливо объяснять ему, что в этот сад въезжать никому не дозволено.

— Скажите ему, Николай Антонович, что я это и сам прекрасно знаю!— спокойно ответил Кутузов, продолжая ехать к калитке.

Евнух очнулся от своей дремоты, с неожиданной легкостью вскочил на ноги и кинулся в калитку.

Кутузов уже подъехал к решетчатым дверям, когда перед ним вырос второй черный евнух,— видимо, какой-то старший: у него на голове вместо тюрбана торчала шапка, похожая на бутылку.

— Кто едет?— свирепо вращая белками, закричал евнух, загораживая собою дверь.

— Посол императрицы Российской, принесшей оттомам мир!— невозмутимо ответил Кутузов.

Бин-баши, которому, вероятно, было приказано вообще ни в чем не перечить послу и который видел, с какими почестями встречал русского генерала сам султан, закричал что-то.

Евнух продолжал стоять на месте.

— Если ты въедешь в сад, солнце падишаха перестанет освещать мою голову!— в отчаянии завопил он, видя, что Кутузов не намерен отступать.

— Что он говорит?— обернулся к Пизани Михаил Илларионович.

— Султан казнит его, если мы въедем в сад!

— Скажи ему: не казнит, а наградит. Он впускает в сад посла монархии, перед которой ничто не вянет, а все цветет!

Кутузов вынул из кармана горсть рублей и щедро сыпнул их на землю.

Евнух кинулся собирать рублевiki. Кутузов, Резвой и Пизани въехали через широкую калитку в этот запретный сад.

Бин-баши не посмел следовать за ними.

Они ехали по прекрасной аллее из кипарисов.

Сад был великолепен, но Кутузова он не интересовал: Михаил Илларионович смотрел, где же гуляют султанские жены, одалиски.

Он в нетерпении прищипорил коня.

Впереди на широкой лужайке серебрился большой фонтан, обсаженный розами и миртом. У фонтана сидели и стояли женщины.

Услышав топот коней, женщины не испугались, не стали убегать, а с любопытством, во все глаза, смотрели на скачущих к ним всадников.

Одалиски не успели или не очень старались закрыть ясмаком лица.

Тут были худенькие и полные, голубоглазые и чернookie, с волосами светлыми, как лен, и черными, как смола.

Одна из одалисок в желтом платье — любимый цвет турчанок — сидела в центре группы. Толстые черные косы падали на ее высокую грудь. Как гранат, горели губы.

По ее манере держаться, по тому, как к ней жались остальные, можно было предположить, что эта — первая, любимейшая из всех.

— Николай Антонович! — крикнул Кутузов. — Скажите им — пусть не боятся!

Но одалиски и не думали бояться. Не было глаз, которые бы не улыбались кокетливо или лукаво, глядя на незнакомых «франков».

И видимо, никого из женщин не оскорбило это неожиданное, незаконное, дерзкое вторжение.

— Скажите им, что они прелестны, как розы, как гурии пророка! — обратился к Пизани Михаил Илларионович, подъехав к фонтану. — И что императрица Екатерина Вторая, которая царствует в России, прислала подарки им, самым прелестным девушкам земли. Не жалейте слов. Разукрасьте по-восточному: еще не родилась женщина, которая не любила бы комплиментов!

Пизани говорил. Одалиски улыбались, перешептывались между собою: в их монотонную, скучную жизнь ворвалось что-то необычайное, сказочное.

— А вы, Павел Андреевич, дарите. Получше дайте вон той полной красавице. Да не робейте вы, как красная девица! — сказал он Резвому, который слез с коня и не смело шел, под пристальным взглядом нескольких десятков женских глаз, к фонтану.

Резвой вынул из мешочка кольцо с бриллиантами и протянул его одалиске в желтом.

Она, не колеблясь, взяла колечко и вспыхнула от удовольствия.

— Приложите руки к груди. Кланяйтесь, Павел Андреевич! — говорил, смеясь, Кутузов и кланялся султанским женам сам. — Да проворнее дарите других, пока нас отсюда не попросили как следует!

Резвой стал вынимать золотые колечки, брошки, сережки и дарил их одалискам.

Девушки, не робея, принимали подарки.

Резвой понемногу освоился со своим деликатным поручением; краска постепенно отливала от шеи и щек.

— Михаил Илларионович, еще остается один браслет, — сказал Резвой, одарив всех одалисок, которые уже

что-то щебетали между собою, показывая друг другу подарки.

— Отдай главной! — приказал Кутузов.

Резвой уже совсем спокойно — даже с улыбкой — вручил браслет одалиске в желтом и сел на коня.

Кутузов снял треуголку и, махая ею, прощаясь с девушками, повернул от фонтана.

Сзади за ними журчал откровенный смех, раздавались какие-то радостные восклицания.

Кутузов ехал и думал: одно сделано. Теперь сюда должны примчаться сам кызлар-агасы.

И действительно, не успели они доехать до калитки, как навстречу им показалась торопливо идущая фигура в красном халате, отороченном мехом, в смешной высокой шапке, похожей на кувшин, опрокинутый вверх дном. Это был немолодой негр. Он недовольно смотрел на непрощенных гостей.

— Николай Антонович, скажите ему, что посол Российской царицы рад приветствовать человека, вырастившего такой прекрасный цветник! А вы, Павел Андреевич, сразу же передайте этому черному разбойнику подарки!

Кызлар-агасы хотел что-то сказать, но его предупредили: Пизани стал хвалить его мудрое, отеческое попечение о девушках, а Резвой уже безо всякого смущения передал кызлар-агасы богатые дары.

У негра заблестели от жадности глаза, когда он увидел, что дарит ему русский посол. Лицо евнуха стало ласковее. Он взял сверток, прижал его к груди и поклонился.

— Поехали! — сказал Кутузов и с достоинством, медленно выехал из калитки.

Стража смотрела на них с удивлением и восторгом.

Первый караульный теперь услужливо распахнул перед ними красивую резную дверь: он тоже ожидал награды и не ошибся — Кутузов бросил ему горсть серебра.

Бин-баши с нетерпением, волнением и страхом ждал их за оградой султанского сада.

— А эта, в желтом, в самом деле недурна, — сказал Михаил Илларионович, когда они ехали к пристани.

— Турки говорят о таких: она — настоящая луна! Если б она была невольницей, то стояла бы по меньшей мере тысячу кошелеков! — ответил, улыбаясь, Пизани. — Вообще у турок вся красота в дородности. Одна турчанка извинялась, что у ее дочери незаметен живот: «Но он

скоро появится у нее. Теперь же просто беда: она прямо и тонка, словно тростинка!»

— Николай Антонович, скажите,— любопытствовал Резвой,— а труден у турок развод?

— Нет. Не надо никаких формальностей — одно желание мужа. Он только скажет жене: «Я смотрю на тебя, как на спину моей сестры!» — и довольно!

— Действительно без волокиты! — усмехнулся Кутузов.

Вернувшись в посольство, Михаил Илларионович тотчас же послал с секретарем письмо великому визирю. Кутузов просил простить его за то, что он нанес визит в гарем.

«Моя царица поручила мне передать прелестным обитательницам гарема, этому благоуханному цветнику, приветствие».

Кутузов хвалил ум, верность и бдительность стражи гарема и просил именем Екатерины II «наградить столь достойных подданных, жертвовавших собою для поддержания дружбы обоих дворов».

— Отрубят этим несчастным неграм головы за то, что они пропустили нас? — спросил Резвой.

— Не отрубят. Султанша-мать и кызлар-агасы за нас. Впрочем, посмотрим; если отрубят, значит, наши враги восторжествовали.

К вечеру Кутузов узнал: караульные черные евнухи получили подарки — так повелел султан, которого не возмутило это вторжение русского посла в запретный сад и который лишь смеялся над всем происшедшим в гареме.

IX

Кутузов ждал, как откликнется на подарки всемогущий начальник черных евнухов.

Через день после прогулки Михаила Илларионовича в султанский сад приехал в Перу черный евнух, посланный кызлар-агасы.

По его сморщенному, в мелких морщинах, лицу нельзя было определить, сколько ему лет: тридцать или шестьдесят. И, глядя на это безусое, жирное лицо, не сразу скажешь, кто это: мужчина или женщина.

Кутузов сам принял его.

Кызлар-агасы благодарил «высокородного» посла за подарки и прислал от себя массивный золотой ковш и шаль из Анкары, такую тонкую, что вся она проходила сквозь узенькое колечко.

А одалиски прислали русскому послу большой букет роз и один гранат.

Всех удивил последний подарок: обыкновенный гранат.

Евнух приехал без драгомана, и Михаил Илларионович велел своему переводчику спросить, что это значит.

Услышав вопрос, евнух сморщил в отвратительную улыбку свое и без того сморщенное лицо и сказал:

— Это — язык любви. У нас если девушка хочет что-либо сказать, чтобы не слышали другие, то дает цветок или плод.

— А что же значит на таком языке — гранат?

— «Мое сердце горит по тебе!»

— «Веселитесь, мой возлюбленный».

— А что же посылают, когда хотят сказать обратное?

— Грушу. Груша значит: «Оставь надежду!»

Михаил Илларионович рассмеялся:

— Это очень похоже на украинскую «дулю»... Ну, угощайте дорогого гостя.

Кутузов остался в зале: ему хотелось поговорить с евнухом.

Михаил Илларионович смотрел, как евнух с довольно равнодушным видом пьет привычный кофе.

— Что ему этот кофе? Он пьет кофе несколько раз в день. И кофе у них наверняка лучше нашего. Тут посторонних нет, угостим-ка мы его по-русски, — сказал Кутузов. — Пусть принесут штоф водки, да боровичков маринованных, да неевского копченого сига. Говорят, османы не пьют вина и не уважают рыбу. Проверим!

Сам посольский метрдотель в ливрее и белых перчатках принес на серебряном подносе большой графин водки и закуски.

Евнуху налили в кофейную чашку водки, и переводчик сказал:

— Вот что пьют у нас вместо кофе. Только пить надо сразу.

Евнух выпил чашку. Его бабье лицо расплылось от удовольствия.

Гостю подвинули мисочку с янтарно-желтенькими, словно фарфоровыми, боровичками, положили вилку.

Евнух не обратил внимания на вилку, а прямо полез

своими коричневыми толстыми пальцами в миску, взял грибок и захрустел.

— Чох якши! — зажмурился он.

— Ну-ка, Федюша, налей гостю еще! — сказал племяннику Кутузов. — Да скажите ему, что грибки надо есть с хлебом.

Посмотреть на стража султанских жен собралось чуть ли не все посольство. Офицерская молодежь просила Михаила Илларионовича, чтобы он позволил спросить у евнуха, хорошо ли ему жить среди стольких прекрасных девушек.

— Это непристойно: вы же знаете, у кого спрашиваете! — возразил Михаил Илларионович.

— Да ведь он пьян! — убеждал дядю Федя Кутузов.

— Ну спрашивайте! — махнул рукой Михаил Илларионович.

Евнух рвал руками копченого сига, исправно закусывая после очередной чашки, когда ему перевели нескромный, каверзный вопрос молодежи. Он секунду помолчал, обвел осоловелыми глазами улыбающихся офицеров и дипломатично ответил:

— Десять повинующихся женщин доставляют меньше хлопот, чем одна повелевающая!

Михаил Илларионович улыбался:

— Остроумно ушел от неприятного ответа, молодец!

— Пусть скажет, — обратился Федя Кутузов к переводчику, — почему у них заведено многоженство. Разве одной мало?

Турок, услышав вопрос, вынул из хрустальной вазы, в которой стояли розы, белую.

— Эта роза прекрасна? — спросил он.

— Прекрасна.

Евнух вынул вторую, алую:

— А эта?

— Прекрасна.

Турок вынул третью, черную:

— А эта?

— Прекрасна!

Евнух сложил все три розы в букетик и сказал с важностью:

— А все вместе они еще прекраснее!

— Да он совсем дипломат! — похвалил, улыбаясь, Михаил Илларионович.

— Дядюшка, а можно спросить: какие ему больше

нравятся — худые или полные? — пристал Федя Кутузов.

— Ваше высокопревосходительство, пусть он ответит на это, — хором подхватили просьбу товарища молодые офицеры.

— Ну, валяйте!

Евнух уже осушил штоф. Теперь он долго вылавливал из миски скользкие белые грибки, глаза его блестели: посланец кызлар-агасы был навеселе.

— Он говорит, что вместо ответа расскажет вам, как один паша устроил в своем гареме спор, кто из одалисок красивее — белая или черная, тонкая или толстая, — сказал переводчик.

Все приготовились слушать. Евнух вытер ладонью рот и начал. Он говорил, а переводчик вслед за ним переводил на русский язык. Турок сидел, точно в кофейне, где любят рассказчиков и где охотно слушают.

— И вот паша обратился к белой: «Говори о своей красоте ты». Одалиска сказала: «Цвет мой — царь всех цветов. Белый цвет — цвет чистоты и непорочности. Цвет розы, цвет снега, падающего с неба. Цвет молока, дающего жизнь животным. Цвет кисеи, которую правоверные употребляют для чалмы. И разве может сравниться с белым цветом черный? Разве ночь может быть ярче светлого дня?»

Когда она кончила, встала ее соперница — черная одалиска — и сказала в свою защиту: «Чернила, которыми передан людям коран, разве не черного цвета? Черен мускус, проливающий драгоценные благоухания. Черен зрачок, о котором так много заботятся, в то время как мало думают о белке. Когда пролетят прекрасные дни жизни, появляется седина. Белый цвет — цвет проказы, бельма, смерти».

«Ну а теперь говори ты», — обратился паша к тонкой. И тонкая сказала: «Я стройна, как кипарис. Я легка и воздушна, как ветерок, как благоухание цветов. Я легче скворца, живее воробья. Встаю ли, сажусь ли — прелесть отпечатывается во всех моих телодвижениях. Мои ласки быстры. Я легко могу исполнить все желания моего возлюбленного. Склоняется ли он ко мне, я обвиняюсь вокруг него, как виноградная лоза. Он только хочет заключить меня в свои объятия, а я уж — в них. Как можешь сравниться со мной, ты, тучная? Малейшее движение доставляет тебе усталость. Твой возлюбленный вздыхает, а ты

едва можешь перевести дыхание. Сон и пища, пища и сон — вот твои наслаждения, толстая». «Что ты скажешь на это?» — обратился к полной паша. И та ответила: «Сыщется ли мужчина, который не получил бы удовольствия, глядя на округлые очертания моего пышного тела? Сам коран восхищается толщиной. Взгляни на плоды, при виде которых у всех текут слюнки, — на яблоко, персик, арбуз: не одна ли у них форма с моими щеками, грудью, животом? Я сияю, как полная луна. Я как чаша, налитая до краев. Слыхано ли было, чтобы кто-либо просил у мясника сухую кость, а не жирную и сочную мякоть! Ты, худая, остра, как гвоздь. Твои локти и колени словно колючие, засохшие ветки, от твоей тощей груди нет радости ни младенцу, ни возлюбленному. Твой скелет напоминает о смерти, а не о радостях жизни! Хвала и благодарение аллаху, что он явил на мне свою благодать, создав полную!»

Вот как спорили о своей красоте четыре невольницы, — окончил евнух.

— Красивый спор! Хорошо рассказывает евнух. Ну, довольно, господа! — поднялся Кутузов.

Он подарил посланцу кызлар-агасы серебряные часы и отрез парчи, а офицеры набросали ему серебряных рублей за рассказ.

Евнух кланялся и благодарил, прижимая руки к груди: видимо, был чрезвычайно доволен приемом, угощением и подарками.

Он ушел, слегка покачиваясь.

Когда Михаил Илларионович остался один, он подошел к букету роз, стоявшему в вазе на столе, и наклонился над ним.

От цветов шел тонкий аромат.

— Эти нежные цветы — лучший залог мира. Мы получили надежных союзников. Вы, сэр Энсли, напрасно пренебрегли ими! — улыбнулся Кутузов.

Х

За два месяца пребывания в Константинополе Кутузов установил хорошие взаимоотношения со всеми турецкими сановниками и постарался доказать им, что Россия действительно хочет мира.

— Мы и теперь, после столь блистательной победы, стоим за мир! — убеждал он.

— Мир наш с вами прочен. Если будет угодно аллаху, причин к ссоре не случится до конца наших дней! — отвечали ему риджалы.

Русского посла всюду принимали очень любезно. Особенно учтив был зять султана — капудан-паша. Он устроил в честь Кутузова роскошный праздник: дал обед, после которого был жирит¹, и подарил Михаилу Илларионовичу пять прекрасных лошадей из своей замечательной конюшни.

Присутствовать на торжественных обедах приходилось Кутузову так часто, что он писал в Варшаву русскому послу Сиверсу:

«Теперь, мой дорогой и уважаемый коллега, я рискую каждую неделю получить расстройство желудка от ста и более турецких блюд, которые мне подносят все те, с кем я вел переговоры. Но я сейчас буду присутствовать на шестом и последнем обеде, который должен мне дать Рашид-рейс-эфенди».

На обеде у министра иностранных дел Михаила Илларионовича рассмешило то, что хозяин, подымая бокал, вдруг сказал по-русски:

— Хватим!

Кто-то же научил его этому!

Министр не переставал быть внимательным и любезным с Кутузовым. Его речь была пересыпана такими цветами турецкого красноречия:

— Времена ваши да будут благополучны!

— Слава аллаху, носом моего сердца я беспрестанно нюхаю почку розы благовонного ума вашего!

— Двери искренней дружбы всегда пребудут открытыми между нами!

— Веления ваши на голове вашего раба!..

На словах у турок все было хорошо, но на деле происходило иначе. Турки все так же запрещали перегружать товары с русских судов на турецкие для вывоза в Средиземное море, чем наносили большой вред русской торговле. Купцы вынуждены были продавать хлеб в Константинополе, теряя при этом на каждой четверти по три рубля.

За 1793 год убыток составил более полумиллиона рублей.

И самое главное — турки хотели повысить тариф на ввоз и вывоз товаров.

¹ Жирит — скáчки.

По торговому договору Турции и России 1783 года, подтвержденному в 1791 году, на товары, вывозимые из Турции и ввозимые русскими подданными, были установлены таможенные пошлины в три процента.

Англии и Франции не нравилось, что Россия находится в более благоприятном, привилегированном положении, чем они.

Английский посол в Константинополе Энсли подбил турок требовать пересмотра 21-й статьи торгового договора.

Кроме пронырливого Энсли, плел интриги против России драгоман Порты — коварный, мелочный Мурузи.

Михаил Илларионович приметил его «недоброхотство». Он знал, что Мурузи будет стараться укусьть исподтишка.

Это было в его характере — недаром он родился в константинопольском квартале Фанара, где, как говорили, сын готов убить своего отца из-за нескольких пиастров — и сделает это так ловко, что его не смогут наказать по закону.

Братец драгомана господарь Волошский Александр Мурузи также старался хоть по мелочам пакостить России: всячески препятствовал русской торговле, создавал разные затруднения тем, кто хотел переселиться в Россию. Кутузов понимал, что Турция ведет разговоры о повышении тарифа только на всякий случай: авось удастся, авось Россия пойдет на уступки. К войне Порты не была готова.

Он велел передать великому визирю, что Россия не потерпит нарушения договоров, что если турки предпочитают войну, то Россия готова отстаивать свои интересы с оружием в руках и туркам от этого будет не легче, что «коварство и худая верность» Порты могут наконец вывести Россию из терпения.

Поверенный в делах Хвостов передал Юсуф-аге и о кознях Мурузи.

Мурузи струсил, юлил, изворачивался, как змея, прикидывался невиноватым, хотя в это же время у него в доме скрывался приехавший в Константинополь шпион Анжели.

Курьер привез из Петербурга рескрипт Екатерины II — решительный отказ пересмотреть тариф.

Михаил Илларионович передал через Хвостова отказ России и ждал, что на это ответят турки.

Но прошла неделя, другая, а турки молчали.

— Молчание есть признание, — решил Михаил Илларионович.

Он знал, что момент для разрыва отношений с Россией — весьма неподходящий. Пограничные крепости Турции не приведены в должное состояние, казна пуста, флот слаб, в ряде провинций продолжаются мятежи.

А штыки Суворова и пушки Ушакова, готовые к делу, заставляли турок все больше думать о мире.

Учтя все это, Кутузов стал категорически настаивать, чтобы турки разрешили перегружать товары с русских судов на турецкие.

Султан разрешил, но сказал, чтобы это не получило широкой огласки, чтобы не узнали другие послы.

Таким образом Кутузов и здесь добился полной победы: русская торговля в Архипелаге была в безопасности от всяких посягательств французов.

Все задачи, поставленные перед Кутузовым, были им успешно выполнены: мир, насколько возможно, упрочен, Россия занимала в Константинополе все такое же привилегированное положение, тариф остался по-прежнему низким, свобода русской торговли в Средиземном море — обеспечена.

Михаил Илларионович ждал вызова на родину: дипломатическая работа надоела.

«...Хлопот здесь множество: нету в свете министерского посту такого хлопотливого, как здесь, особенно в нынешних обстоятельствах, только все не так мудрено, как я думал; и так нахожу я, что человек того только не сделает, чего не заставят. Дипломатическая карьера столь ни плутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать, как надобно...» — писал он жене.

И вот наконец Кутузов получил от коллегии иностранных дел указ, подписанный 9 декабря 1793 года Остерманом, Безбородко и Морковым. Он начинался обычными фразами: «Высоко- и благоурожденный, нам любезноверный...»

В указе говорилось о том, что Кутузов может возвращаться домой и что чрезвычайным посланником и полномочным министром при Порте Османской назначен камер-юнкер Виктор Павлович Кочубей.

«Ну вот — «ныне отпускаеши раба твоего, владыко!» — с облегчением подумал Кутузов. Оставалось лишь дожидаться приезда Кочубея.

Виктор Павлович Кочубей приехал в Константинополь в начале февраля 1794 года.

Это был молодой, двадцатилетний человек. Он получил образование в Париже, учился в Женеве у Лагарпа. Но назначен он был на такой ответственный пост не из-за своего заграничного образования, а потому, что Александр Андреевич Безбородко приходился ему родным дядей.

От петербургских знакомых Михаил Илларионович узнал, что Кочубей, получив назначение в Турцию, ездил в Гатчину к наследнику Павлу Петровичу разведать, угодно ли это ему. Кочубей пробыл в Гатчине два дня, стало быть, понравился наследнику.

— А-а, предусмотрителен и хитер! Из него дипломат получится! — оценил действия Кочубея Михаил Илларионович.

В первый же вечер Кутузов ввел Кочубея в курс всех константинопольских дел.

Кутузов сказал, что в Турции всем управляет диван. Это очень выгодно министру иностранных дел Рашид-эфенди: он вместе с Юсуф-агой управляет всем, слагая ответственность на диван.

Юсуф-ага ничего не значит. Больше значит драгоман, грек Мурузи. Турки так и говорят: у нас правит семья Мурузи. Трудно найти коварнее, лукавее человека, чем этот фанариот¹.

Рейс-эфенди, при всех затейливых поступках, — против войны. Если война начнется, ему придется уступить свою власть кому-то.

Народ недоволен: налоги непомерно велики, оттого повсюду мятежи. Чиновники тоже недовольны: прежде они сами грабили народ, а теперь их доходы забрали Рашид и Юсуф.

Капудан-паша — мот. Его больше интересуют развлечения и лошади, чем политика.

Итак, в ближайшее время войны не будет.

Михаил Илларионович охарактеризовал своему преемнику и европейских послов при турецком дворе.

Английский посол — Энсли — интриган, беспокойный человек. Он вечно против кого-то строит козни.

Австрийский — Герберт — не любит России. Он чрезвычайно самолюбив и скрытен, но, если польстить его самолюбию, он может разоткровенничаться.

Прусский — Кнобельсдорф — незначительная тень Герберта. Пруссак хочет все знать, но для этого у него не хватает денег и умения. Испанский — Булини — пустое место. Датский — барон Гибш — и неаполетанский — Лудольф — оба за Россию. Лудольф по-бабьи болтлив. Поэтому хитрый рейс-эфенди старается почаще с ним беседовать.

Кочубей внимательно слушал старого посла, записывая кое-что для памяти.

— Живя здесь, я внимательно следил за турками. При всем своем лукавом расположении к России, у Порты еще нет твердого намерения разрывать с нами. Они ждут, какой оборот примет союз против Франции. Да и крепости в Бессарабии у турок будут готовы не раньше осени. Вот и все, пожалуй, — закончил Михаил Илларионович. — Рейс-эфенди спрашивал меня, не из турок ли вы, Виктор Павлович, — улыбнулся Кутузов.

— А это почему же?

— Он произносит вашу фамилию на турецкий лад: «Кочи-бей».

— А наши солдаты окрестили меня по-своему, я сам слышал: «Хуч-убей!» — рассмеялся Кочубей.

— Что ж, и так похоже!

Когда Кочубей ушел, Михаил Илларионович с удовлетворением подумал: «Ну, я свое дело сделал, а теперь — домой. К лету бы благополучно доставиться в Петербург! Вот-то было бы чудесно!»

Глава восьмая

ОТЕЦ И СЫН

I

Вскоре после возвращения Кутузова из Турции в Петербург императрица назначила его главным директором сухопутного кадетского корпуса. Это было тоже немаловажное дело: кадетский корпус готовил офицеров для всей русской армии.

¹ Фанариот — житель Фанары.

Екатерина Ильинишна обрадовалась новому назначению мужа.

— Хоть поживешь дома, — говорила она. — А то как соловей залетный: прилетишь к нам на недельку, а потом год обретаешься в походах!

В этот раз Михаил Илларионович пожил дома основательно — не успел оглянуться, как пролетело два года.

В жизни семьи Кутузовых не произошло никаких особенных событий: старое — старилось, молодое — росло.

Так было кругом.

Постарела, начала чаще жаловаться на головные боли, на слабость в ногах императрица Екатерина. Она с трудом всходила по лестнице. Безбородко устроил в своем доме вместо лестницы пологий скат, на тот случай, если императрица соизволит пожаловать к нему.

Облысел, похудел и пожелтел наследник Павел Петрович. От худобы у него стали заметнее выдаваться скулы и большой рот.

И повзрослел, вытянулся великий князь Александр Павлович. Он уже третий год был женат на принцессе Луизе, которая при крещении по православному обряду получила имя Елизаветы Алексеевны.

Женившись, Александр стал считать себя взрослым человеком; хотя в день свадьбы ему было всего лишь шестнадцать лет.

Он окончательно прекратил все учебные занятия. И даже те незначительные, поверхностные знания, которые урывками давали ему учителя, так и остались незаконченными.

Бабушка императрица образовала для Александра и Елизаветы особый двор с гофмаршалом и гофмейстериней. Штат двора по количеству превышал двор Павла Петровича: Екатерина II оказывала внуку больше внимания, чем сыну.

Александр свел дружбу кое с кем из придворных распутников и вертопрахов, шептался с ними по углам.

Более опытные в амурных делах камер-юнкеры учили Александра уму-разуму.

Много стараний развратить молодую пару приложила гофмейстерина Елизаветы Алексеевны графиня Шувалова, легкомысленная шеголиха, сплетница и кокетка. Она твердила им, что надо пользоваться жизнью, что вечной любви не существует.

Сластолюбивый Александр так предался утехам медового месяца, что заболел. Он стал туг на одно ухо и ходил некрасиво вытянув голову вперед.

Кроме того, Александр оказался близоруким.

Преждевременная ранняя женитьба из-за прихоти бабушки не пошла великому князю на пользу.

Еще до женитьбы Александр и его брат Константин ездили каждую неделю в Гатчину к отцу. Они с удовольствием принимали участие во всех странных и смешных павловских учениях и вахтпарадах.

Павел Петрович все время исподволь увеличивал свои войска. К 1796 году у него уже было шесть батальонов пехоты, рота егерей, четыре полка кавалерии, пешая и конная артиллерия с двенадцатью пушками. Общая численность войск достигала двух тысяч четырехсот человек, со ста двадцатью восемью офицерами в том числе.

Молодые князья заразились от отца марсоманией.

Александр предпочитал часами делать ружейные приемы, нежели читать какую-либо книгу. Он полюбил бессмысленную прусскую шагистику и бездушный фрунт. Капральские обязанности в Гатчине у отца были обоим мальчикам больше по душе, чем скучные уроки важных преподавателей и роскошные балы бабушки.

Им нравилось, что они в Гатчине занимают какое-то положение. Им полюбилась всамделишная игра в солдатики. Так приятно было возвращаться из Гатчины усталыми после целодневной маршировки.

Нравилось, что надо было таиться от бабушки, чтобы она не увидела их в этих нелепых, по ее мнению, но для них — таких красивых прусских мундирах.

С 1795 года Александр уже ездил в Гатчину не один раз в неделю, а четыре.

Все пышные наставники во главе со швейцарцем Лагарпом не смогли увлечь, занять великих князей больше, чем отец.

Александр и Константин считали себя капрами не русской, а гатчинской армии. Александр любил говорить (но так, чтобы не слыхала бабушка): «Это по-нашему, по-гатчински».

Императрица Екатерина всеми мерами старалась оградить внуков от влияния отца, но из этого не получилось ничего.

Александр и Константин на всю жизнь впитали в себя гатчинский, прусский дух.

В памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

В. Ключевский (о Екатерине II)

В этот тусклый ноябрьский день у Михаила Илларионовича скопилось в корпусе много различных дел.

С утра он вел у выпускного пятого возраста урок тактики, а потом должен был заняться срочными вопросами. Главный казначей корпуса давно ждал директора с отчетами и требованиями. Инспектор классов майор Клингер принес списки неуспевающих кадет. И Михаил Илларионович вызвал к себе своего помощника, полковника Ридингера, — хотел обсудить с ним, не лучше ли разделить кадет не по возрастам, а по ротам, как практиковалось раньше.

Михаил Илларионович беседовал с Ридингером, когда полицеймейстер корпуса подполковник Андреевский попросил разрешения войти в кабинет.

Андреевский сегодня был чем-то озабочен, расстроен. Михаил Илларионович приготовился слушать рапорт полицеймейстера о том, что вновь какой-либо каптенармус запил или проворовался.

— Что случилось? — не очень ласково спросил Кутузов, недовольный тем, что Андреевский лезет с ерундой.

— И-императрица умирает! — заикнулся никогда не заикавшийся подполковник.

— Как умирает? Кто сказал? — изумился Кутузов.

— Все говорят. Я только что проезжал мимо Зимнего. У дворца полно экипажей.

— Как же так? — все не верил Кутузов. — Вчера был малый эрмитаж¹. Я видал императрицу. Она шутила над Львом Александровичем Нарышкиным, что он боится смерти. Получили известие, что скончался сардинский король, а Нарышкин высчитал, будто король его ровесник, и скис.

— А сама императрица разве не боялась смерти? — спросил Ридингер.

— Нарышкин так и спросил у нее, а ее величество говорит: «Не боюсь. И хочу, чтоб при моем последнем вздохе были бы улыбающиеся особы, а не такие слабонервные, как вы, Лев Александрович!»

— Вот храбрилась, а сегодня умирает, — вздохнул Андреевский.

— А что же с ней случилось? — не мог примириться с такой новостью Михаил Илларионович.

— Кондрашка. Утром была здорова, занималась делами, а потом вышла, простите, в уборную и там упала...

Все сидели ошеломленные случившимся.

— Храповицкий мне рассказывал, — прервал молчание Кутузов, — когда императрице исполнилось шестьдесят лет, он пожелал ей прожить еще столько же, но Екатерина возразила: «Еще шестьдесят лет не надо — буду без ума и памяти, а лет двадцать проживу!» И хоть чувствовала себя хорошо, но не угадала: прожила не двадцать, а только восемь...

— Человек предполагает, а бог располагает, — вздохнул Андреевский.

— Да, Сумароков верно сказал:

Время проходит,
Время летит!
Время проводит
Все, что ни льстит,
Счастье, забавы,
Светлость корон,
Пышность и славы —
Все только сон...

продекламировал Михаил Илларионович.

Кутузову было жаль Екатерины: она всегда так хорошо относилась к нему, ценила его, называла «мой Кутузов».

Оба раза после его тяжелого ранения императрица Екатерина принимала в Михаиле Илларионовиче большое участие.

Остаток дня был омрачен этим печальным известием, которое не выходило из головы. Чтобы хоть немного рассеяться, Михаил Илларионович пошел осмотреть корпусное хозяйство — манеж, экономию, типографию, лаварет.

Проходя по двору мимо манежа, он невольно подслушал разговор двух конюхов.

— Жаль матушку-царицу, — говорил один. — Хорошая была...

— Хорошая была матушка, да не для нашего брата! — ответил другой.

— Тебе разве плохо живется?

¹ Малый эрмитаж — неофициальный прием у императрицы.

— Мне, может, и не так уж худо, а каково в деревне?

— А что?

— Босоты да наготы изнавешены шесты; а холоду да голоду амбары стоят. Вот что! Новый рекрутский набор ждут, — продолжал конюх, но, увидав директора корпуса, осекся.

Михаил Илларионович прошел, сделав вид, что не слышал разговора.

Когда Кутузов вечером ехал домой, он заметил, что на улицах, несмотря на плохую погоду, было много оживленнее, чем обычно.

Дома Михаил Илларионович застал слезы. Все девочки, дочери Кутузова, ходили заплаканными — жалели императрицу.

Екатерина Ильинишна держалась спокойно. Хотя она до сих пор сама не прочь была бы пококетничать, любила мужское общество, поклонников, но всегда осуждала Екатерину за ее личную жизнь и противопоставляла ей добродетельную жену Павла, Марию Федоровну.

Кутузов пообедал, надел парадный мундир и поехал во дворец.

Площадь перед Зимним дворцом представляла бивак: она была сплошь уставлена каретами, а посредине ее горел большой костер, у которого грелись лакеи, форейторы, кучера.

В самом Зимнем стояла невообразимая толча, как во время большого эрмитажа. Но сегодня в этом собрании сановников, генералитета, придворных кавалеров и дам царили печаль и растерянность.

По залам бродил в отчаянии, в ужасе, с взъерошенными волосами, не похожий на себя Платон Зубов. Еще сутки назад он был всеильным, разговаривать с ним почел бы за большое счастье любой сановник, а сегодня на фаворита никто не обращал внимания. Наоборот, все сторонились его, как зачумленного. Хотя Платон Зубов догадался первым сообщить Павлу о смертельной болезни императрицы — послал в Гатчину с этим известием своего брата Николая Зубова, он не считал себя в безопасности. Платон Зубов ждал если не смерти, то неминуемой ссылки в Сибирь.

Не лучше чувствовали себя остальные екатерининские вельможи. Они знали нелюбовь Павла ко всему, что было связано с прежним царствованием, и готовились к самому худшему.

Все с надеждой взирали на массивную дверь красного дерева: авось матушка Екатерина поправится, авось все останется по-прежнему.

Но за этой знакомой дверью, где умирала царица, уже сидел «гатчинский капрал», Павел Петрович. И оттуда появлялись вестники, но не те, которых так нетерпеливо все ждали.

Без стеснения стуча толстыми подошвами грубых армейских сапог, гремя шпорами и палашами, выходили из-за двери гатчинские сержанты. Они быстро устремлялись к выходу сквозь услужливо расступавшуюся нарядную толпу сановников и дам, которые смотрели на этих военных с ненавистью и презрением.

Разговор ни у кого не клеился: никто не знал, с кем и как следует сейчас говорить.

Более болтливые, опасливо оглядываясь, шептались по углам.

Михаил Илларионович встретил в толпе совершенно растерянного и перепуганного князя Барятинского. От него Кутузов узнал, что крепкий организм императрицы Екатерины еще продолжает бороться со смертью, хотя она после удара не приходила в сознание.

Он решил уехать домой.

Еще целый день 6 ноября императрица Екатерина была жива, оставаясь без сознания. Только к вечеру развязка стала очевидной: врачи сказали, что надежды на спасение нет.

Павел Петрович удалил обер-гофмаршала Барятинского, назначил вместо него графа Шереметева.

Без четверти десять вечера Екатерина II умерла.

Павел Петрович хорошо запомнил совет Фридриха II — поскорее приводить подданных к присяге. Он велел митрополиту Гавриилу приготовить все для присяги.

В начале двенадцатого часа ночи в дворцовой церкви собрались все вельможи, генералитет и высшие сановники. К ним вышел Павел Петрович с семьей.

Генерал-прокурор граф Самойлов прочел манифест о смерти Екатерины и о вступлении на престол Павла I. Наследником был объявлен Александр Павлович.

Все стали принимать присягу.

Было два часа ночи, когда Кутузов вышел из Зимнего дворца.

Площадь опустела. У средних ворот виднелось несколько солдат и офицеров в гатчинских мундирах. Видно

было, что они устанавливают вокруг дворца прусские черно-красно-белые будки.

Михаил Илларионович тихо спросил у кучера:

— Кто там?

— Сам наследник Александр Павлович и Аракчеев.

«Преобразователи армии!» — иронически, с огорчением подумал Кутузов, уезжая.

Гатчинский прусский дух распространялся все шире. Он уже простерся над всей Россией.

III

Все царствование Павла, вероятно, излишне очернено. Довольно и того, что было.

П. Вяземский

В третьем часу ночи кончилась присяга, а уже в девять часов 7 ноября император Павел I в сопровождении наследника Александра Павловича выехал из Зимнего, чтобы показаться столице.

Он медленно ехал по Большой Проспективной улице, пристально глядя по сторонам.

Вид Петербурга возмущал Павла: здесь все было по-старому, по-екатеринински — ни полосатых будок, ни шлагбаумов. Попадались прохожие с яковинскими отложными воротниками, в сапогах с отворотами, которых не терпел Павел, потому что видел в этом вольнодумство.

Вон, издали заметив императора, поскорее шмыгнул в калитку франт в круглой французской шляпе.

Навстречу Павлу медленно тащилась карета, в которой восседала какая-то разряженная в диковинный чепец из лент и кружев дура-барыня: Она, конечно, спешила к своей подруге посплетничать, пожалеть о кончине «матушки» Екатерины. Лакей догадался-таки стянуть шляпу с головы, а кучер не додумался остановить лошадей, и царский жеребец Фрипон даже чуть посторонился, уступая дорогу неуклюжей карете.

Только у деревянной, выкрашенной в желтую краску церкви Рождества Богородицы Павла ждало приятное: группа крестьян с котомками за плечами. Увидав роскошных всадников-генералов, мужички бухнулись перед ними на колени в грязь.

Да порадовало то, что у моста через Фонтанку уже

пестрел новенький шлагбаум, блестящий черно-красно-белой краской.

Когда в одиннадцатом часу Павел возвращался назад, на площади у Зимнего дворца выстроились войска, готовые к разводу. В толпе народа, собравшегося посмотреть на первый вахтпарад, стоял и Михаил Илларионович Кутузов.

Павел заметил Кутузова и приветливо кивнул ему.

Уже на вахтпараде новый император показал себя.

В первые же часы своего царствования он велел перестроить всю русскую армию на прусский лад.

Екатерининские войска еще не знали новой команды. Когда гвардейцам скомандовали: «Марш» вместо привычного «Ступай», они не двинулись с места.

Павел взбеленился.

— Что же вы, ракалии, не маршируете? — закричал он, кидаясь с тростью к гвардейским шеренгам. — Вперед, марш!

Военные, стоявшие в публике, только переглянулись: такое начало не сулило ничего хорошего.

Вахтпарад кое-как, с грехом пополам, был закончен по прусскому образцу. Не только с несчастных гвардейцев, участвовавших в разводе, но и с самого императора лил пот.

После вахтпарада император отдал при пароле наследнику приказ. В нем Павел I принимал на себя звание шефа всех полков гвардии. Александр назначался полковником Семеновского полка. Константин — Измайловского, а Аракчеев — комендантом Петербурга.

С этого утра каждый день стал приносить новости одна другой неожиданнее и нелепее.

8 ноября Петербург узнал, что император приказал всем при встрече на улице с кем-либо из императорской семьи обязательно останавливаться, а едущим — выходить из карет и экипажей для поклона.

В воскресенье 9 ноября, когда на улицах Петербурга появилось больше гуляющих, полиция безжалостно расправилась с круглыми шляпами и отложными воротниками. Шляпы у франтов срывали, а пышные воротники — и смех и горе! — обрезавали. И вдруг обнаружились тонкие худые шеи и выдающиеся челюсти, которые раньше скрывала французская мода.

А в понедельник в Петербург, точно в завоеванный город, вступили гатчинские войска. Сам император с сы-

новьями и свитой выехал им навстречу к Обуховскому мосту. Во главе гатчинцев Павел торжественно проехал к Зимнему дворцу. Знамена внесли в царские покои, а арачье-ские пушки поставили у ворот — Зимний дворец стал еще больше напоминать крепость.

Гатчинцы прошли мимо императора церемониальным маршем и выстроились в линию.

Павел вышел к фронту и сказал:

— Благодарю вас, мои друзья, за верную ко мне вашу службу!

Его голос, хриплый на низких нотах, был визглив на высоких.

— В награду за оную службу вы поступаете в гвардию! А господа офицеры — чин в чин!

По площади громом прокатилось радостное «ура!».

Громом среди ясного неба оказались для всей гвардии слова императора.

До этого дня гвардейские чины считались выше армейских. Если какому-либо счастливцу офицеру удавалось перевестись из армии в гвардию, он знал, что в гвардии он будет служить в меньшем чине, чем тот, в котором он служил в армии.

А теперь произошло что-то невероятное: армейщину уравнили с гвардией!

Особенно ошеломило всех то, что эта царская милость распространялась и на полковников.

До сих пор полковником в гвардии была только императрица, а подполковниками и майорами — заслуженные, известные генералы.

А теперь полковниками гвардии становились никому не ведомые, без роду и племени люди.

Все знали, что в гатчинскую армию Павла никто из порядочных офицеров не шел. В Гатчине служили захудалые мелкопоместные дворяне. И вот теперь они оказались на одной ноге со старой гвардейской знатью.

Это был прямой вызов всему родовитому дворянству, отцы и сыновья которых служили под знаменами Екатерины.

Равнять с ними каких-то голодранцев (гатчинцы были бедно одеты), неучей и пьяниц? Все возмущались, с ужасом и негодованием рассказывали, как гатчинские офицеры бражничают в кабаках и дебоширят, забыв о том, что гвардейцы Екатерины пьянствовали и безобразничали ничуть не хуже гатчинцев.

В одном претензии знати были справедливы: гатчинские офицеры не могли похвастаться изысканными манерами и внешним лоском. Кроме фрунта, они не знали ничего.

Чтобы показать, что гвардия и армия равны, Павел ввел в гвардию вместо прежних светло-зеленых мундиров темно-зеленые, какие носила вся русская армия.

Раньше гвардейские офицеры были больше придворными, чем военными. Они ходили во фраках и думали только о театре да балах. А теперь им вменили в обязанность целый день проводить на полковом дворе: их учили новой службе, как рекрутов.

Павел хотел ввести военный распорядок и при дворе. Он установил, как должны подходить к нему и императрице, сколько раз и каким образом кланяться.

Весь блеск екатерининского двора сразу померк. Галантный, непринужденный Зимний дворец в одну неделю превратился в суровую, неуютную казарму.

За шелковыми портьерами покоев вдруг на каждом шагу возникали штыки внутренних караулов.

Тишину роскошных зал грубо разрывали неуважительные, торопливые шаги фельдъегерей.

Гром прусских барабанов и резкие выкрики команды заменили бальную музыку и веселое щебетание дам.

Недавно в Зимнем дворце проводились оживленные приемы — большие, средние и малые эрмитажные собрания. На них после театра играли в веселые игры, танцевали, пели хором.

Теперь придворные вечера стали походить на обязательные утренние разводы караулов. Приглашенные молча сидели вдоль стен, а в центре восседал окруженный семьей император Павел.

Говорил только он один. На шлейфе Марии Федоровны лежал, выпучив коричневые глазки, тонконогий фокс-терьер Султан.

— Не слышалось ни остроумных шуток, ни смеха.

У Екатерины в эрмитаже строго соблюдались правила, написанные ею самой. Среди других правил было следующее: «Не иметь пасмурного вида».

Пасмурный вид теперь господствовал во всех собраниях — больших и малых. Павел с первых дней вооружил против себя всю петербургскую знать, избалованную Екатериной.

Павел считал военное дело главной деятельностью монарха. В Гатчине он занимался только своими войсками. И теперь, став императором, всецело отдался любимой маршмании.

Он ввел в русской армии прусские уставы и нелепую форму, которые его отец, Петр III, позаимствовал когда-то у Фридриха II.

Екатерина называла прусское обмундирование «неудобноносимым». Потемкин справедливо замечал: «Полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами».

А Павел убежденно говорил офицерам:

— Эта одежда и богу угодна и вам хороша!

Думая только о вахтпарадной красоте, Павел ввел для офицеров эспонтон, а для унтер-офицеров алебарды, совершенно бесполезные в бою.

Такое средневековое вооружение унтер-офицера сразу уменьшало силу каждого пехотного полка на сто штыков.

Нововведения Павла поражали своей несообразностью. Все возмущались, негодовали, но не смели говорить об этом открыто.

И лишь один Суворов не побоялся сказать: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак!»

Эти слова дошли до Павла, и он немедленно уволил Суворова из армии.

Отставка знаменитого фельдмаршала произвела на всех тягостное впечатление.

Не больше здравого смысла заключалось и в других распоряжениях нового императора.

Павел приказал вынуть из склепа гроб своего отца Петра III, поставить его на один катафалк с гробом Екатерины и похоронить их рядом. Он хотел соединить после смерти то, что не соединялось при жизни.

Вообще Павел всеми мерами старался уничтожить, переделать или хотя бы опорочить то, что было сделано его матерью. Он не мог простить матери того, что она отстранила от престола его отца.

Павел освободил из Шлиссельбургской крепости писателя Новикова и возвратил из ссылки Радищева, но сделал это не потому, что разделял их вольнолюбивые

убеждений, а только чтобы поступить вопреки воле покойной Екатерины.

К удивлению всех, он никак не расправился с последним любовником матери Платоном Zubовым. Даже оставил его в прежней должности генерал-фельдцейхмейстера, несмотря на то, что Zubов ничего не смыслил в артиллерии.

Кроме того, Павел подарил Платону Zubову роскошно обставленный дом вместо его комнат в Зимнем дворце, которые тотчас же занял Аракчеев.

25 апреля 1797 года Павел короновался в Москве.

По случаю коронации он осыпал милостями угодных ему сановников.

Хитрый Безбородко, который сумел угодить и сыну, как угождал матери, получил титул князя, Аракчеев — барона. Три генерала — Эльмпт, Мусин-Пушкин и Каменский — были произведены в фельдмаршалы, а их жены пожалованы в статс-дамы. Граф Николай Zubов получил орден Андрея Первозванного.

Михаил Илларионович Кутузов не получил ничего. Только Екатерина Ильинишна была награждена дамским орденом Екатерины, и то младшей степеню.

— Вот видишь, я получила орден, а ты не награжден ничем, — шутила над мужем Екатерина Ильинишна.

— Я, Катенька, все-таки был очень отличен покойной императрицей. Да, вероятно, хорошо постарался барон Аракчеев: он меня не любит.

В день коронации Павел роздал вельможам восемьдесят две тысячи душ крестьян. Он считал, что «помещики лучше заботятся о своих крестьянах, у них своя, отеческая полиция».

Первые дни царствования Павла обнадежили крестьян. Царь велел привести к присяге и их, чего никогда не бывало. Кроме того, Павел разрешил крестьянам подавать жалобы на своих помещиков.

Крестьяне ждали, что после всего этого они «впредь не будут за помещиками».

Но шли недели и месяцы, а положение крепостных не менялось.

Тогда стали говорить, что воля вышла, но указ задерживают господа.

В ряде губерний — Орловской, Тульской, Калужской — начались волнения.

Павел, помнивший Пугачева, послал против восстав-

ших крестьян войска под командой Репнина. Восстание быстро подавили.

Был издан специальный манифест, в котором император говорил не очень кратко, но очень ясно:

«Повелеваем, чтоб все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и, словом, всякого рода крестьянских повинностях, под опасением за преслушание и своеволие неизбежного по строгости законной наказания».

После таких слов крестьянам нечего было и думать о какой-то милости со стороны Павла — он был не лучше «матушки» Екатерины.

И в народе Павла звали «курносый», «царишка», «гузноблюд».

С каждым месяцем в распоряжениях императора стала все больше обнаруживаться какая-то суетливость. Павел словно боялся, что у него вдруг отнимут престол, что он не успеет свершить задуманное, и торопился перекроить все по-своему. Чрезмерная нетерпеливость наблюдалась у него уже в детстве. Он и ребенком жил в состоянии непрерывной гонки: поскорее встать с постели, чтобы пойти завтракать, а чуть сел за стол — скорее-скорее поесть и бежать смотреть эстампы. Развернув папку с эстампами — побыстрее перелистать их, чтобы заняться ружейными приемами.

И так — целый день.

Его нервозность, поспешность отражались на всей жизни государства.

Екатерина II приучила дворянство к уравновешенной, спокойной и веселой жизни, а теперь вместо широкой масленицы настал великий пост. Ни о каком спокойствии не было и речи. Ни один сановник, ни один генерал не знал, что будет с ним через час.

Павел без причины увольнял со службы, высылал в деревню.

Передавались слова Карамзина, что «награда утратила прелесть, а наказание — сопряженный с ним стыд».

Всюду царили растерянность и страх.

Новое царствование называли громогласно, на людях, «возрождением», а с глазу на глаз — «царством насилия и ужаса».

Кутузову как будто бояться не приходилось: Павел всегда был внимателен к нему и его семье. И конечно, не

забыл того, как Михаил Илларионович оказывал ему внимание тогда, когда с Павлом Петровичем не хотел считаться никто.

Осенью 1797 года царь впервые проводил большие маневры в Гатчине. Это не были прежние маневры шести гатчинских батальонов. Теперь в них участвовала вся гвардия.

Директор сухопутного кадетского корпуса Михаил Кутузов получил приглашение императора прибыть в Гатчину на маневры.

Этот знак императорского благоволения заметили все.

Не прошло и трех месяцев, как последовала новая милость. Павел отправил генерал-лейтенанта Кутузова в Берлин приветствовать нового прусского короля.

Не успел Кутузов доехать до Берлина, как был назначен инспектором Финляндской дивизии вместо фельдмаршала Каменского. А еще через десять дней — произведен в генералы от инфантерии.

Недоброжелатели и враги Михаила Илларионовича говорили себе в утешение:

— «Курносый» так всегда: сегодня вознесет, а завтра уничтожит!

За примерами ходить было недалеко.

В феврале 1798 года Павел уволил в отпуск «для излечения» своего любимца — всесильного Аракчеева. «Лечение» продолжалось только полтора месяца. 18 марта Аракчеев был вовсе отставлен от службы.

Немного раньше Павел уволил второго наперсника — «сумасшедшего Федьку», как прозвала Ростопчина Екатерина II.

Вместо них пошел в гору рижский губернатор генерал Пален.

Кутузов пробыл в Берлине два месяца. Он имел большой успех при прусском дворе. В этом помогли ему ум, чрезвычайный такт и прекрасное знание немецкого языка. Панин, русский посол при прусском дворе, хотел, чтобы Кутузов подольше пробыл в Берлине. Но Павел не оставил Кутузова: Фридрих-Вильгельм III не Фридрих II — слишком будет много чести для теперешнего короля.

А кроме того, для Кутузова нашлись большие дела дома.

Михаил Илларионович вернулся в Петербург. После приема у царя он тотчас же выехал в Выборг к месту новой службы.

Павел опасался, что под влиянием Франции Швеция объявит России войну, и хотел приготовиться к ней.

Работы у Кутузова в Финляндии поэтому хватало. Он инспектировал полки, приводил их в боевую, а не в плац-парадную готовность, заботился о провианте и фураже, укреплял русско-шведскую границу и составил операционный план на случай войны.

Михаил Илларионович поехал в Финляндию один. Екатерина Ильинишна осталась с девочками в Петербурге. Она любила жить весело, на широкую ногу, а в Выборге — тоска: ни театров, ни балов, ни порядочного общества. Одни чухонцы да солдаты. К тому же она знала, что Михаил Илларионович будет по целым неделям в разъезде.

Екатерина Ильинишна аккуратно писала мужу о детях, о театре, о петербургских новостях. Например, о благодарности, отданной Павлом в приказе великому князю Александру за то, что при его дворе такая хорошенькая фрейлина Наталья Шаховская. А если говорить по совести, то в этой Наташе только и есть, что пухлые щеки.

Присылала мужу книги для чтения.

21 декабря государь пожаловал старших дочерей Кутузова, Прасковью и Анну, фрейлинами.

Михаил Илларионович писал жене:

«Я доволен этим больше потому, что им весело, им действительно приятнее будет при великих княжнах, даром что без шифра¹».

После целого дня смотров, рапортов царю, разных режаний и прочей переписки Михаил Илларионович с удовольствием ложился в постель почитать русские и немецкие газеты.

Он внимательно следил за победами Александра Васильевича Суворова в Италии, радовался успехам русских войск, которые сражались не по прусским, а по суворовским канонам. Но немецкие газеты сообщали об этом очень кратко: зачем им было прославлять Россию.

Не больше писали о Суворове и «Санкт-Петербургские ведомости». В них целые страницы занимали павловские мелочные приказы вроде:

«Поручику Калмыкову, просившему о высочайшем повелении опубликовать в газетах, что он безвинно содер-

жался в доме сумасшедших, отказывается, потому что в просьбе его нет здравого рассудка».

«Скульптору Эстейрейху, просившему о заплате ему шести тысяч рублей за поднесенные его величеству мраморные его работы, объявляется, что высочайшее дано повеление возвратить ему оные барельефы».

«Вдове титулярного советника Федоровой, просящей о пожаловании дочери ее на приданое, объявляется, чтоб она тогда спрашивала, когда будет жених».

И бесконечные объявления:

«Продается повар и кучер да попугай».

«Некоторый слепой желает определиться в господский дом для рассказывания разных историй».

«За сто восемьдесят рублей продается тридцатилетняя девка и там же малодержанная карета».

«У токаря Валстера продается машина для вспомоществования утопающим».

Это все — обычное, всегдашнее. И только в конце номера глаза иногда натыкались на такое забавное объявление:

«Продается недавно изданная книга «Любовь книжка золотая». Люби меня, хотя слегка, но долго.

В сей книге находятся домашние средства от разных неприятностей в любви и браке, как-то: от скуки, противу ревности, в случае уменьшения любви и опасных утомлений; произвести гармонию сердец, воспятить вход вора в святилище брака, налагать узду Ксантипам; когда случатся в браке опечатки, то что тогда делать, дабы избежать неприятных попреков».

Зимние месяцы 1798 года пролетели быстро.

В начале 1799 года Михаил Илларионович получил от Павла выговор за то, что без его разрешения командировал в столицу квартирмейстера. Кутузову был смешон такой мелочный павловский формализм.

Но это не повлияло на отношения императора к Кутузову: осенью того же года он был назначен литовским военным губернатором и инспектором Литовской и Смоленской инспекции.

¹ Ш и ф р — почетный знак, вензель императрицы.

Кутузов не без удовольствия покинул Финляндию.
— Ну, как живете, мои дорогие? Что тут у вас нового?— спросил он у жены, приехав домой.

— Живем хорошо. А ты историю с младшим Чичаговым слышал?— сразу же хотела ввести мужа в круг петербургских великосветских новостей Екатерина Ильишна.

— Это с Павлом Васильевичем? Нет.

— Чичагов просил разрешения выехать в Англию жениться. У него там осталась невеста, дочь командира над портом. Император не разрешил. Говорит: в России довольно девушек, нечего ездить за невестами в Англию.

— Что ж, в этом есть резон,— улыбнулся Михаил Илларионович, глядя на своих пятерых дочерей.

V

Живописная, уютная Вильна не походила на унылый, захолустный Выборг. Здесь была иная — шумная, светская жизнь, балы, театры. Женщины щеголяли в парижских нарядах.

Если в Выборге надоедали бесконечные смотры и воинские учения, то в Вильне была утомительная салонная жизнь. Военному губернатору приходилось появляться всюду: на больших общественных собраниях, в домах местной знати и даже на воскресных танцевальных вечерах, которые назывались в Польше как-то на военный лад — «редутами».

«Мне бы весело в маленькой компании, в шесть часов выйти и в десять спать лечь, а здесь должен сидеть за ужином, без того обижаются, и ежели я куда не пойду, то никто не пойдет. Мне это не здорово и не весело», — писал он домой.

Но бумаг, на которые нужно отвечать, было предостаточно. Михаил Илларионович частенько сидел за ними до вечера и прямо из канцелярии ехал в театр.

«Я, слава богу, здоров, только глазам работы так много, что не знаю, что будет с ними», — жаловался он в письмах жене.

В марте через Вильну проехал в Кобрин племянник Суворова — Андрей Горчаков. После победного Итало-Швейцарского похода Суворов вернулся на родину тяжело

больным. По пути в Петербург он остановился в своем кобринском имении.

Кутузов надеялся, что крепкий организм Суворова поборет болезнь, но вышло по-иному. Из Кобрина Суворов переехал в Петербург, где и умер 6 мая 1800 года.

Михаил Илларионович не видал своего учителя и друга: Суворов, едучи в Петербург, миновал Вильну.

В действиях императора все так же было мало последовательности и логики, как и раньше.

Он дал Суворову звание генералиссимуса, а потом вдруг, неизвестно почему, резко переменял свое отношение к нему. И когда Суворов скончался, то Павел велел хоронить его не как генералиссимуса, а как фельд-маршала.

Павел I объявил в приказе строгий выговор, «для примера другим», генералу Врангелю, несмотря на то, что Врангель уже умер.

С этим приказом мог соперничать только приказ, отданный его отцом, Петром III, который однажды предписал, чтобы все больные матросы выздоровели.

Обозленный на своих недавних вероломных союзников Австрию и Англию, Павел стал готовиться к войне. Он сформировал две армии — в Литве и на Волыни — и назначил командовать первой графа Палена, а второй — Михаила Кутузова. Желая испытать полководцев в действии, Павел назначил на 1 сентября 1800 года осенние маневры в Гатчине. Здесь Пален должен был выступить против Кутузова.

Маневры прошли великолепно. Кутузов внутренне потешался над всеми эволюциями войск, которые следовали не петровским и суворовским, а прусским канонам, но не перечил им, понимая, что это лишь маневры. Благополучному окончанию их много способствовал генерал Дибич, которого Павел ценил только потому, что он был адъютантом Фридриха II.

Во время маневров Дибич на каждом шагу хвалил русскую армию: «О великий Фридрих! Если б ты мог видеть армию Павла! Она выше твоей!»

Лесть, которую так любила императрица Екатерина II, не была противна и ее сыну.

Павел остался весьма доволен маневрами. Он отдал в приказе благодарность генералам Кутузову, Палену и офицерам, а нижним чинам пожаловал по рублю, по чарке водки и фунту говядины на человека.

«Весьма утешно для его императорского величества видеть достижения войска такого совершенства, в каком оно себя показало во всех частях под начальством таковых генералов, которых качество и таланты, действуя таковыми войсками и такой нации, какова российская, не могут не утвердить и не обеспечить безопасности и целости государства».

Кроме благодарности, Кутузов получил орден Андрея Первозванного. Расположение Павла к Кутузову оставалось неизменным.

В декабре Павлу пришла на ум оригинальная мысль.

Так как европейские государства не могли прийти к соглашению, то он предложил организовать между главами государств поединок.

— Пусть по примеру древних рыцарей государи решают споры на поле! — говорил Павел.

Своими секундантами в этой дуэли он выбрал генералов Кутузова и Палена.

Из рыцарского поединка царей не получилось ничего, но Михаил Илларионович еще раз убедился, что император Павел ценит его.

VI

1 февраля 1801 года Павел переехал из Зимнего дворца в Михайловский замок, который по его приказу был спешно построен на месте обветшалого Летнего дворца.

Едва вступив на престол, Павел уже собирался покинуть Зимний дворец, где он чувствовал себя не очень уютно. Во-первых, здесь все напоминало ему о матери, во-вторых, в этой анфиладе проходных зал негде было обособиться, укрыться от всех. Прожив сорок два года под негласным надзором царственной матери, которая считала сына своим соперником, чувствуя, что он нелюбим придворной знатью, Павел всюду и во всем видел измену, недоброжелательство и козни.

Он решил построить на месте старого елизаветинского Летнего дворца, в котором родился, новый дворец — Михайловский. Закладка его была произведена немедленно, 26 февраля 1797 года, через четыре месяца после вступления на престол.

Нетерпеливый во всем, Павел торопил с постройкой Михайловского дворца. Шесть тысяч рабочих трудились не

только днем, но и ночью, при свете факелов. Павел приказал использовать мрамор, который Екатерина II заготовила для верхней части Исаакиевского собора. Чтобы не возбуждать народ, мрамор из Исаакиевского собора перевозили к строящемуся дворцу ночью.

Новую резиденцию Павел построил по своему желанию и вкусу. Это был не обычный дворец, а средневековый замок со рвами и подъемными мостами. Здесь, за толстыми гранитными, словно крепостными, стенами, за двенадцатифунтовыми пушками, стоявшими у брустверов, Павел надеялся чувствовать себя безопаснее, нежели в открытом со всех сторон роскошном Зимнем дворце.

Еще не успели просохнуть стены, еще всюду в новом дворце проступала сырость, а император Павел уже въехал с семьей в Михайловский замок.

Этот новый дворец, выкрашенный в нелепую, до странности резкую красную краску, с непонятной надписью на фронте: «Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дней», был столь же странным и неприятным внутри, как и снаружи.

Залы были обставлены с подобающей роскошью, но не всегда с подобающим вкусом. Обилие золота, бронзы, драгоценных ваз и столов уживалось с бездарными картинами и статуями посредственных мастеров и скверными зеркалами петербургской работы.

Добираться до этих зал приходилось по утомительному лабиринту бесконечных лестниц и мрачных коридоров, в которых без посторонней помощи было трудно ориентироваться.

Но нашлось предостаточно придворных льстецов и подхалимов, которые превозносили красоту и удобства нового дворца и даже красили свои дома в такой же дикий цвет; восхищались тяжелыми лестницами и бесконечными коридорами, в которых всегда разгуливал сквозняк, и становились на колени перед уродливыми статуями, аллегорически изображавшими Силу, Победу и прочее.

С первого же дня жизни в новом дворце Павел ежедневно приглашал Кутузова к обеду, а частенько и к ужину.

Михаил Илларионович продолжал быть одним из тех сановников, к которым благоволил Павел. Иногда такую честь он оказывал и двум дочерям Михаила Илларионовича — фрейлинам Прасковье и Анне.

Кутузову надоели эти скучные, тягостные царские обеды и ужины, во время которых по преимуществу говорил только сам Павел. Когда же император бывал особенно мрачен, обед проходил в томительном молчании.

В последнее время подозрительность императора особенно возросла. Помня трагическую судьбу своего отца, Петра III, он с недоверием смотрел даже на императрицу и старших сыновей Александра и Константина.

Павлу всюду мерещились заговоры и покушения на его жизнь.

Действительно, в придворных кругах совершенно открыто выражали недовольство царем и его противоречиями, необычными распоряжениями.

Глубокое возмущение вызывало то, что Павел совершенно не считался с общественным мнением.

По меткому выражению Карамзина, «он казнил без вины, награждал без заслуг».

Павел вмешивался во все: сам обучал солдат, сам разбирал прошения, два раза в день появлялся на петербургских улицах, требуя поклонов, назойливо входил в житейские мелочи своих подданных, так что даже простой народ, для которого Павел был не хуже, но и не лучше других царей, иронизировал над ним, говоря:

— Наш батюшка-царь стал до самой малости доходить!

VII

В понедельник 11 марта 1801 года Михаилу Илларионовичу пришлось дважды приезжать в Михайловский замок — к обеду и ужину.

На ужин получила приглашение и фрейлина Прасковья Кутузова, старшая дочь Михаила Илларионовича.

К восьми часам вечера Михаил Илларионович и Прасковья были уже во дворце.

Приглашенные к царскому столу ждали императора в соседней зале. Несмотря на то, что в большом камине жарко пылали дубовые плахи, в зале от непросохших сырых стен стоял туман. Свечи в большой бронзовой люстре горели тускло.

Приглашенные стояли на середине залы — от стен тянуло холодом. В углах сверху донизу белели полосы льда — сырость выступала наружу.

Ждали выхода императорской фамилии. Разговаривали вполголоса. Всех беспокоило одно: в каком настроении выйдет к вечернему столу император.

Уже второй день он гневался, был раздражен и подозрителен.

Вчера вечером во дворце был праздничный концерт. Пела известная французская певица, любовница императора, Шевалье. Но Павел не слушал ее пения. Он ходил чем-то расстроенный и косо поглядывал на всех своих — императрицу Марию Федоровну и сыновей — Александра и Константина.

И сегодня в первой половине дня настроение его не улучшилось. На разводе император кричал, но как-то никого не разжаловал и не сослал.

К удивлению всех, на разводе почему-то не присутствовали великие князья Александр и Константин. Все понимали, что так приказал Павел, что он, видимо, ими недоволен, что царский гнев растет.

К обеду император пригласил только шестерых сановников — в том числе генерала от инфантерии Кутузова. Никаких статс-дам и фрейлин не было. Обед прошел в гробовом молчании — никто не смел начать разговор, а сам хозяин только отдувался и пыхтел. Хорошо, что Павел всегда мало ел и больше часа не засиживался за столом.

И в этот вечер всех тревожила одна мысль: что-то будет сейчас, за ужином?

Собравшиеся с беспокойством поглядывали на дверь. Их фигуры тускло, призрачно отражались в больших, запотевших дворцовых зеркалах.

Черноглазая и чернобровая — вся в мать — Прасковья Кутузова старалась издали рассмотреть себя в зеркале — в порядке ли ее туалет.

— Не забудь снять перчатки, — шепнул ей отец. — А то еще выйдет как с Кашкиной.

— Что вы, папенька! — ответила Прасковья и невольно ужаснулась, вспомнив эту неприятную сцену, которая произошла в ее присутствии на прошлой неделе.

Во время ужина фрейлина Кашкина села за стол, забыв по рассеянности снять перчатки. Император, всегда подозрительно осматривавший всех за столом, сразу заметил это. У него даже камер-пажи должны были прислуживать за столом без перчаток. Он обернулся к камер-пажу и громко спросил: «Спроси у фрейлины, почему она сидит

в перчатках? Не чесотка ли у нее?» От незаслуженной обиды и стыда у Кашкиной посыпались из глаз слезы. Но быть недовольной не полагалось. Она собрала все свое самообладание и с принужденной улыбкой кое-как высидела этот тягостный ужасный час.

Михаил Илларионович невольно обратил внимание на то, что сегодня к вечернему столу приглашено вдвое больше гостей, чем к обеду.

Ровно в половине девятого двери распахнулись и в залу вошел под руку с Марией Федоровной император. Он уже не пыхтел и не отдувался, как во время обеда, значит, был хорошо настроен.

У всех свалилась гора с плеч.

За Павлом шли сыновья Александр и Константин с женами и великая княгиня Мария Павловна.

Гости двинулись за императорской фамилией в столовую залу.

Павел порывистым движением протянул камер-пажу шляпу и перчатки. Сел на всегдашнее место — посредине стола. Справа от императора сели великий князь Александр, его жена Елизавета Алексеевна и сестра Мария Павловна. Слева — императрица, великий князь Константин и его жена Анна Федоровна. Вместе с императорской фамилией по одну сторону стола сидели только три статс-дамы — Пален, Ливен и Ренне.

Места остальных девяти приглашенных расположились на противоположной стороне стола.

Михаил Илларионович в этот раз сидел против Елизаветы Алексеевны, а Прасковья — против княгини Марии Павловны.

Сели. Камер-пажи, стоявшие у стола впереди лакеев, привычным движением, ловко, в меру, придвинули стулья.

Близорукая Мария Федоровна, не поворачивая своей красивой головы, протянула назад через плечо руку. Камер-паж ждал этого момента: проворно вложил в пальцы императрицы золотую булавку. Мария Федоровна приколла булавкой к своей пышной груди салфетку.

Камер-пажи стали подавать блюда.

Ужин начался.

Павел уже пришел к ужину в хорошем настроении, а здесь оно еще больше поднялось: к столу впервые подали новый фарфоровый сервиз с видами Михайловского замка. Император восторгался им. Еще бы — его детище, его любимый дворец как красив!

На фарфоре не было видно ни сырости, проступавшей всюду, ни безалаберных коридоров.

Разумеется, все наперебой восхищались и сервизом и дворцом, которого за глаза никто и не думал хвалить.

Хорошее царское настроение отражалось на подобию лиц присутствующих.

Лишь один Александр сидел насупившись. Был мрачнее тучи.

«Странно,— подумал Михаил Илларионович, глядя на этого «кроткого упряма», как когда-то назвала внука Екатерина II.— Никогда не показывал вида, что обижается на отца, а сегодня изменил своему притворству. Обиделся, что отец не допустил его к утреннему разводу. Любит шагистику и муштру, как папаша. А обидчив и злопамятен хуже его».

— Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?— обратился к Александру император.

— Да, немного простужен.

— Надо полечиться. Нельзя запускать болезнь,— заметил отец.

И затем, обращаясь ко всем, сказал:

— А я сегодня видел сон, будто на меня натягивали узкий парчовый кафтан. Он был так тесен, что я проснулся. Что это значит — видеть во сне кафтан?— спросил он, глядя на сидевших перед ним.

Его глаза встретились с черными глазами фрейлины Кутузовой.

— Это к прибыли, ваше императорское величество,— смело ответила Прасковья.

— А вы откуда знаете?

— Мне бабушка говорила...

— Ну, как сказано: «Бабушка надвое говорила!»— улыбнулся Павел и принялся за еду.

Несколько минут длилось молчание. Потом император спросил у своего любимца, известного остряка, обер-гофмаршала Нарышкина, сидевшего напротив:

— Александр Львович, так как же ты сегодня ответил девяностолетнему князю Хилкову?

— Видите ли,— объяснил присутствующим император,— князь Хилков боится, что умрет от каменной болезни, и всем твердит об этом, а Александр Львович возьми и отрежь князю на это. Что ты там сказал?— весело смотрел на Нарышкина Павел.

— Ничего особенного, ваше императорское величество. Я сказал только: вам, князь, бояться нечего — деревянное строение на каменном фундаменте долго живет!

Все заулыбались, а император смеялся, обнажая свои длинные, словно у зайца, некрасивые зубы.

Час ужина пролетел незаметно. Император был необычайно весел, внимателен к императрице и сыновьям, приветлив и прост с гостями.

В девять часов тридцать минут встали из-за стола.

Проходя мимо Кутузова, император остановился и попросил Михаила Илларионовича передать от него привет Екатерине Ильинишне. Потом глянул в зеркало, висевшее на стене, и сказал Кутузову:

— Как не умеют делать зеркала! Смотрите, Михайло Ларионович, я в нем кажусь со свернутой набок шеей! И, напевая любимое:

Ельник, мой ельник,
Частый березник...—

быстро ушел к себе.

VIII

На следующий день, 12 марта, Кутузова подняли с постели чем свет. В седьмом часу утра к нему приехал офицер от петербургского генерал-губернатора графа Палена с извещением о том, что в десять часов утра надо явиться в Зимний дворец для присяги императору Александру Первому.

— А где же император Павел? Что с ним?— удивленно спросил Кутузов.

— Скончался апоплексическим ударом!— весело ответил офицер и заторопился к выходу: ему нужно было успеть оповестить еще стольких сановников!

Михаил Илларионович понял все: с императором Павлом случился такой же «апоплексический удар», как и с его папашей Петром III.

Услыхав ответ офицера, из спальни в халате выбежала к мужу Екатерина Ильинишна:

— Что случилось?

— Императора убили,— ответил Михаил Илларионович, в раздумье расхаживая по кабинету.

— О боже!— всплеснула руками Екатерина Ильинишна.— Когда?

— Сегодня ночью.

— Кто убил?

— А вот скоро узнаем. Должно быть, гвардейцы, кто же больше?

Екатерина Ильинишна опустила на стул. Сидела как в оцепенении. Не могла освоиться с такой новостью. Михаил Илларионович продолжал ходить по комнате.

Заговор против императора Павла как-то прошел мимо Михаила Илларионовича. Два последних года он почти не бывал в Петербурге — служил в Финляндии и Литве. И только с прошлых годов гатчинских маневров, с августа 1800 года, Кутузов восьмой месяц жил дома.

Он, как и все, видел недовольство придворной аристократии и дворянства Павлом, не раз слышал, как в салонах и в кругу гвардейской молодежи высмеивались, порицались его странные нововведения и порядки.

Говорили, что в императоре средневековый рыцарь уживается с прусским капралом.

Смеялись меткому выражению Чичагова, который прозвал Павла «курносый чухонец с движениями автомата».

В последние месяцы недовольство императором заметно усилилось, но никто не посвятил Михаила Илларионовича в готовящийся заговор. Произошло это, вероятно, потому, что все знали, как Павел благоволит к Бибиковым и из всех генералов особенно выделяет Кутузова.

— Кто же мог задумать заговор?— спросила мужа Екатерина Ильинишна.— Мне кажется, это дело рук братьев Зубовых: как волка ни корми, он в лес глядит!

— Да, вероятия много, что Зубовы принимали участие в убийстве. Но вообще, Катенька, все дело значительно глубже и тоньше, чем личные счеты. Видишь ли, Павел Петрович был человек с рыцарскими замашками. Австрия и Англия вероломно поступили с Россией, Павел и порвал с ними. Наложил эмбарго на английские суда, а это стоит денег. Затем он стал сближаться с первым консулом Бонапартом, с Францией. Вот Англия и расправилась с ним. Убийство императора Павла — дело Англии. Это — меч на английской веревке. И тут, пожалуй, твое предположение насчет Зубовых имеет резон. Ведь английский посол Витворт до высылки его из России пребывал в нежной-ших отношениях с их сестрицей Ольгой Александровной. Он подыскивал исполнителей, тех, кто будет непосредст-

венно убивать. В этом деле братья Зубовы могли пригодиться...

— Как это Пален недоглядел?— спросила Екатерина Ильинишна.

Михаил Илларионович только хихикнул.

— Палена голыми руками не возьмешь: хитер. Еще неизвестно: то ли недоглядел заговора, то ли сам участвовал в нем. Павел Петрович зря уволил Аракчеева: тот был бы при нем как цепная собака!

— Бедный Павел Петрович!— вытирая слезы, сказала Екатерина Ильинишна.— Еще вчера передал мне привет... Еще и полсуток не прошло, как он был здоров и весел, а теперь — все кончено! Несчастный император!

— Родная мать была ему мачехой, а судьба оказалась злей мачехи!— согласился Михаил Илларионович.

Екатерина Ильинишна встала:

— И как в жизни бывает, подумать только! Мы спим спокойно, а в двух шагах от нас, только через Фонтанку, творится бог знает какой ужас!

Екатерина Ильинишна махнула рукой и вышла из комнаты. А Михаил Илларионович продолжал ходить из угла в угол, думая о случившемся.

IX

Еще не было девяти часов, а Михаил Илларионович, позавтракав и надев парадный мундир, направился в Зимний дворец. Он ехал заранее, чтобы разузнать подробности «апоплексического удара».

Выехав с набережной Невы на Царицын луг, Михаил Илларионович невольно взглянул на видневшуюся вдали кроваво-красную громаду Михайловского замка.

«Не помогли тебе, Павел Петрович, ни двенадцатифунтовые пушки, ни толстые стены, ни подъемные мосты, ни фридриховская муштра...»— подумал Кутузов.

К Зимнему дворцу со всех сторон спешили приглашенные и неприглашенные, в экипажах и пешком. Ехавшие уже не боялись, что встретят на улице «курного».

Площадь перед Зимним дворцом была сегодня похожа на вагенбург¹. На ней столпились кареты, экипажи, ко-

ляски, кибитки курьеров, верховые лошади полицейских и ординарцев. К главному подъезду тянулась длинная вереница карет. Пришлось ждать очереди, медленно продвигаться в толпе.

Над площадью висел немолчный гул голосов, слышались веселые возгласы, смех.

У полосатого черно-красно-белого фонарного столба, на котором желтел свежий листок манифеста, толпился простой народ.

Между каретами, на размешанном в грязь снегу, весело боролись чьи-то форейторы. Глядя на них, Михаил Илларионович вспомнил, как в день смерти Екатерины II здесь же, на площади, точно так же смеялись и шутили лакеи, а когда старик кучер пытался усовестить их, говоря: «Перестаньте, как не стыдно: царица померла!», то один из лакеев со смешком ответил: «И пора ей умереть! Столь поцарствовала. Хватит!»

Смерть царя никогда не печалила народ.

Мимо кареты Кутузова, громко разговаривая, медленно ехали ко дворцу гусар и конногвардеец,— должно быть, ординарцы.

— А ты сам видел, что умер?— спрашивал конногвардеец.

— Видал. Нас водили, показывали. Накрепко умер!— ответил гусар.

— И тогда вы присягнули?

— Да. Полковник спрашивает у меня: «Ну что, Иванов, теперь присягнешь императору Александру?» А я ему: «Не знаю, ваше высокоблагородие, лучше ли будет Александр, чем Павел, но делать нечего. Присягнем! Кто ни поп, тот и батька!»

«Правильно!»— подумал Михаил Илларионович.— Умница гусар: еще посмотрим, какой-то получится император из этого балованного бабушкина «ангела».

Раздеваясь внизу, Михаил Илларионович встретил своего дальнего родственника — кавалергардского полковника Павла Кутузова. Он принимал участие в заговоре, был ночью вместе со всеми заговорщиками в Михайловском замке и теперь рассказал Михаилу Илларионовичу, как все происходило.

Катенька оказалась права: большое участие в заговоре приняла вся семья Зубовых — три брата и сестра, Ольга Александровна Жеребцова. У красавицы Ольги Александровны заговорщики собирались.

¹ Вагенбург — построение военного обоза.

— Шампанское каждый день лилось рекой, — рассказывал Павел Кутузов.

(«Еще бы ему не литься — на английские. деньги!» — подумал Михаил Илларионович.)

Из братьев Зубовых особенно отличился старший, Николай. Когда заговорщики, найдя императора Павла спрятавшимся за ширмой, на секунду растерялись, Николай Зубов ударил императора.

Когда-то он первый принес Павлу императорскую корону, а теперь первым нес смерть.

За Николаем Зубовым на царя кинулся полковник Яшвилъ. Он мстил за то, что Павел огрел его на вахтпараде палкой.

— А потом бросились все. И пошло! — сказал, улыбаясь, полковник.

— А что делал Платон Зубов?

— Платон Александрович стоял в стороне и возмущался императором: «Как он кричит! Это несносно!»

— Однако!

По рассказам Павла Кутузова, заговор возглавлял Пален.

(«Я чувствовал: без «ливонского визиря» не обойдется!» — подумал Михаил Илларионович.)

А ночью в Михайловском замке всем распоряжался хладнокровный генерал Беннигсен.

— Участие ганноверского кондотьера понятно: Павел не уважал его, и Беннигсен сводил с ним счеты, — сказал Михаил Илларионович. — А как же наследник, Александр Павлович, знал о готовящемся заговоре? — спросил он.

— Конечно! Ведь он же сам назначил в караул вне очереди своих надежных семеновцев. На измайловцев, например, положиться было нельзя.

Картина переворота стала для Михаила Илларионовича совершенно ясна.

Так вот почему вчера за ужином Александр Павлович чувствовал себя так скверно, был невесел, не поднимал глаз от тарелки!

Оба Кутузова пошли наверх в залы, но уже на лестнице разошлись: Павла отозвали в сторону офицеры-однополчане, а Михаил Илларионович стал медленно подыматься по широким ступеням.

Роскошный, уютный Зимний дворец опять ожил.

Александр тотчас же переехал назад, в Зимний.

В мрачном Михайловском замке остался лишь мертвый Павел и неутешная Мария Федоровна.

На широкой парадной лестнице Зимнего дворца царило оживление. Военные и гражданские радостно поздравляли друг друга, целовались, хотя до пасхи оставалось еще полторы недели.

Михаил Илларионович шел не спеша, раскланиваясь со знакомыми. Нельзя сказать, чтобы его сторонились, но как-то никто не задерживался возле него, — очевидно, хорошо помнили, что Павел благоволил к Кутузову.

Михаил Илларионович внутренне потешался над этим: «Не знают, как будет со мной новый император».

А на лестнице стояли группами, переговаривались, громко обсуждали последние события:

— Довольно нам повторять зады Ивана Грозного!

— Я каждый день ждал ссылки!

— Избили императора так, что теперь художники красят, чтобы можно было показать народу!

— И врачи там, с англичанином Гривом.

— Манифест-то, манифест какой! «Управлять богом нам врученный народ по законам и по сердцу августейшей бабки нашей».

— Золотые слова!

— Кто же это так красиво написал? Карамзин?

— Нет. Дмитрий Прокофьевич Трошинский, екатерининский секретарь.

— Это не Трошинский, а сам Александр Павлович сказал. Я был в Михайловском замке, когда император вышел к войскам. Он так и сказал: «При мне будет все, как при бабушке».

— Генерал-прокурора Оболянина арестовали.

— Довольно ему арестовывать других.

— У, подлец, изверг!

Обгоняя Кутузова, шла гвардейская молодежь. Эти говорили о другом:

— Командира измайловцев, генерала Малютина, споили, чтоб не помешал...

— А генерала Кологривова Пален нарочно арестовал — гусары были ненадежны.

— Митька Ступин приехал уже в круглой шляпе.

— Да что ты?

— Ей-богу!

— Будем по-прежнему носить фрак и круглые шляпы!

Михаилу Илларионовичу было смешно: кому что. Для гвардейских вертопрахов отмена запрещения носить круглые французские шляпы была важнее отмены арестов и ссылки.

Кутузов вошел в залу.

Первое, что бросилось ему в глаза, была живописная группа у камина. Важно развалился в кресле, сидел несуразно длинный, с лошадиным лицом Николай Зубов. Перед ним стоял, гордо поглядывая по сторонам бараньими глазами, маленький, перетянутый в талии грузин князь Яшвиль.

Их почтительно окружала, на них смотрела как на героев, с завистью и восхищением, толпа молодых офицеров.

Зубов громко, видимо кончая беседу, сказал:

— Да, жаркое было дело!

Михаил Илларионович наслушался разных рассказов о вчерашней ночи. Даже те, кто ничего не знал о готовящемся заговоре, теперь старались уверить, что они были в курсе всех приготовлений и помогали заговорщикам. А те из заговорщиков, которые были с войсками ночью у Михайловского замка, но не попали в царские покои, рассказывали о своих подвигах, выставляя себя чуть не главными участниками убийства тирана. Если послушать таких, то можно было подумать, что, не будь их, Павел остался бы жив.

И все, конечно, рассказывали, как кричали вороны и галки в Михайловском саду, когда заговорщики шли к замку.

В десять часов пошли в дворцовую церковь присягать императору Александру I.

После присяги никто не уходил из Зимнего дворца — ждали, что выйдет император.

Через некоторое время Александр вышел к собравшимся. Он прошел гостиную, угловую комнату и мраморную залу, принимая поздравления.

Император был невесел. Сегодня он как-то еще больше вытягивал вперед шею, чем обычно.

Когда Александр проходил мимо группы сановников, где стоял Михаил Илларионович, он только мельком скользнул глазами по их лицам и прошел дальше. Он словно совестился прямо глянуть в глаза, зная, что всем известно его участие в убийстве отца.

«Остатки совести у Александра еще сохранились, но

с годами он избавится и от этого непосильного груза», — подумал Михаил Илларионович, склонив голову перед новым, двадцатитрехлетним императором.

Х

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Пушкин

Мелочность — несомненный знак не только узкого ума, но еще и низкой души...

Кардинал Ретц

В радужных надеждах и неумеренном восторге пролетел в Петербурге первый день нового царствования.

Придворная знать, дворянство и гвардия — ликовали.

Не было особняка, в котором не веселились бы до поздней ночи.

Пили и пели:

После бури, бури преужасной,
Днесь настал нам день прекрасной...

Даже кое-кто из ремесленников и чиновничьей мелкоты тоже загулял; но мелкота гуляла не потому, что ждала каких-либо улучшений в своей серенькой жизни, а просто из привычки пить по любому поводу.

Простой народ не веселился: он не предвидел для себя никаких благоприятных перемен.

Петербург стал неузнаваем.

Еще два дня тому назад никто без особой нужды не выезжал из дому, боясь встречи с «курносым». С девяти часов вечера жизнь в столице вообще замирала: у шлагбаумов пропускали только повивальных бабок да фельдгегерей.

А сегодня весь день до глубокой ночи по петербургским улицам сновали кареты, коляски, мчались всадники. Днем какой-то шалый гусар въехал на тротуар Невской набережной на коне, радостно крича:

— Теперь все позволено!

В петербургских салонах, в гостиных — всюду главной

темой разговоров оставалась одна: будет так, как при матушке Екатерине!

Михаил Илларионович только улыбнулся, когда впервые услышал эти слова. Он по житейскому опыту знал, что никогда не бывает так, как было, никогда не возвращается то, что прошло. Нельзя войти дважды в одну и ту же текущую воду!

И уже утро следующего дня показало, что кое-что уцелеет и от Павла.

12 марта, разумеется, было не до вахтпарада, но 13 марта он состоялся на площади у Зимнего дворца, как прежде: Александр и его брат Константин на всю жизнь оказались отравленными прусской мушкетерской. Но все, кто смотрел на Александра как на приемника Екатерины II, постарались сделать вид, что не заметили этого возрождения павловского детища. Тем более, что александровский вахтпарад не грозил никакой опасностью для дворянства. А что взбалмошный князь Константин Павлович во время вахтпарада издевался над солдатами, это никого из офицеров и знати не беспокоило.

Все ждали дальнейших шагов нового императора.

И дворянство не обманулось: следующие дни доставили ему полное удовлетворение.

Александр снял запрещение на ввоз в Россию товаров и на вывоз за границу русского хлеба. Ржи и пшеницы у помещиков было предостаточно, они не думали о хлебе насущном, а мечтали о ланкаширском сукне, о голландском полотне, о фарфоре и бронзе, которые можно было получить из Англии за русский хлеб.

Затем Александр разрешил ввоз книг и нот из-за границы. Это распоряжение было очень живо принято в столичных гостиных...

Подумать только: четыре года не знать о новых парижских песенках, не прочесть нового романа госпожи Радклиф!

2 апреля Александр уничтожил страшную Тайную экспедицию. Из Петропавловской крепости было освобождено сто пятьдесят три человека, но, кроме них, по всей России томились в крепостях и монастырских тюрьмах, бедствовало в ссылке в Сибири и разных городах и деревнях около семисот человек невинно арестованных.

В указах первых месяцев чаще всего повторялось «отменить» и «простить».

В мае Александр снял эмбарго с английских судов. Россия снова восстанавливала хорошие отношения с Англией.

Пока что все шло, как и надеялись заговорщики, в духе Екатерины II.

Однако в июне молодой император поразил столицу одним своим необычным шагом. По неожиданности, внезапности это в первый момент очень напоминало указы его отца.

Но как ни были нелепы, дики распоряжения Павла, в них никто не мог бы найти вероломства. При всей своей неуравновешенности Павел все-таки оставался порядочным человеком.

А здесь налицо было самое неприкрытое вероломство: Александр не только уволил от службы, но и выслал навсегда из столицы своего благодетеля графа Палена. «Ливонский визирь», который расчистил Александру путь к трону, был в одно мгновение уничтожен.

На его удалении настояла Мария Федоровна. Она не могла примириться с тем, что убийца ее мужа не только занимает столь важный пост, но и стремится быть правой рукой императора.

— Покуда Пален в Петербурге, моей ноги там не будет!— заявила она в Гатчине сыну.

Тщеславная Мария Федоровна сама хотела управлять всем, не зная, с кем имеет дело.

С виду ласковый и кроткий, ее любимый сынок не был податлив. Александр не собирался делиться властью ни с кем.

Он сам уже тяготился Паленом. Пален сделал свое дело и больше был не нужен Александру; Пален служил немым укором, тяжелым напоминанием об 11 марта.

Александр сделал вид, что исполняет волю матери, и разделался с Паленом.

В этом сказалась вся двуличная натура Александра I.

Когда-то Екатерина II постаралась привлечь для воспитания внука, Александра, лучших педагогов, но дворцовые интриги, разврат, лицемерие и обман оказали на Александра большее влияние, чем знаменитые Паллас и Лагарп.

Бабушка хотела воспитать внука в духе образцов Тацита и Плутарха; Александр же твердо и до конца жизни усвоил себе один принцип — Макиавелли. Макиавелли был ему больше всего сродни.

Екатерина II, кажется, предчувствовала это, когда говорила об Александре: «Этот мальчик соткан из противоречий».

В деле с Паленом Александр I обнаружил свое подлинное лицо.

Накануне отставки и высылки Палена Александр I поздно вечером принял, по обыкновению, рапорт военного губернатора Петербурга. Он был чрезвычайно любезен и мил с Паленом, и даже этот прожженный интриган и хитрец не почувствовал, что его песенка спета,— так хорошо сыграл свою роль Александр.

Когда на следующее утро граф Пален подкатил к Зимнему дворцу, его встретил флигель-адъютант императора с приказанием немедленно покинуть Петербург и жить в своем курляндском имении.

17 июня 1801 года последовал указ Александра I, в котором говорилось, что «снисходя» на прошение графа фон дер Палена, он увольняется «за болезнями от всех дел».

18 июня Александр назначил вместо Палена военным губернатором Петербурга генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Кутузова.

Михаил Илларионович чувствовал, что этим назначением он обязан Марии Федоровне, а не Александру.

Мария Федоровна, как и Павел, всегда благожелательно относилась к Кутузову и его семье, и, очевидно, Мария Федоровна вспомнила о Михаиле Илларионовиче.

Отношения между Александром Павловичем и Кутузовым были всегда натянутыми, принужденными. С генералом, которого уважал отец и которого бабушка называла не иначе, как «мой Кутузов», Александр Павлович был вежлив, даже почтителен, но сух.

Михаил Илларионович принял этот знак «благоволения» императора с недоверием.

Не прошло и недели, как последовал указ об образовании воинской комиссии под председательством наследника, Константина Павловича.

В эту комиссию был назначен и Кутузов.

С большинством мероприятий отца Александр I был не согласен, но в военном деле остался его верным и последовательным учеником.

Император Александр проводил дни в манеже. Он стоял в углу и, качаясь с ноги на ногу, как маятник,

командовал марширующими до изнеможения солдатами:

— Ать-два! Р-раз, р-раз!

Он целыми часами занимался тем, что чертил мелом на мундирах живых манекенов-солдат, одетых в разную форму,— придумывал, какие лучше сделать «клапанца», с зубчатыми вырезками или прямыми, и сколько поместить пуговиц.

В его кабинете в Зимнем дворце, как в лавчонке, лежали на этажерках из красного дерева образцы различных щеток для усов и сапог, дощечки для чистки пуговиц, солдатские ремни и пряжки.

Когда Александр стал императором, некоторые черты его характера, прежде чуть обозначавшиеся, обнаружились с полной ясностью.

Привитая отцом любовь к шагистике и фрунту, к мелочным формальностям военной службы превратилась у него в страсть.

Армия стала его самым больным местом.

Он унаследовал от Павла пристрастие к формализму, доходившее до смешного.

Если лист бумаги, на котором был написан доклад, казался Александру на одну восьмую дюйма больше или меньше положенного, Александр смотрел на это как на важное злоупотребление и выходил из себя.

Его подпись, витиеватая до крайности, тоже доставляла Александру мучения. Если первым взмахом пера «А» не получалось в вершине тонким, как волос, а внизу широким, как след кисти, Александр в сердцах бросал перо и не подписывал указ.

Назначенная военная комиссия должна была рассмотреть численность войск, штаты полков, продовольствие, обмундирование, вооружение.

Выбирая головной убор для армии, комиссия остановилась на круглой шляпе, потому что она прикрывает глаза от дождя и солнца, а треугольная «делает помешательства в разных строевых оборотах».

Этого мнения придерживалась вся комиссия, только ее председатель цесаревич Константин и президент военной коллегии генерал Ламб высказались против:

«Шляпы приличнее оставить треугольные, а не круглые, и волосы у солдат не обрезать, но завязывать или заплетать для того, чтоб не оставить их в виде, мужикам свойственном».

Император Александр, конечно, поддержал мнение брата, который не считался с тем, удобно это солдату или нет. Лишь бы было так, как ему нравится.

Круглые шляпы и здесь все-таки оказались опасными, какими их считал Павел.

Александр I не восстановил прежнюю, бывшую при Екатерине II, национальную, русскую форму, выработанную Румянцовым, Потемкиным и Суворовым.

Пудра и коса все-таки уцелели. Только у офицеров косы стали поменьше — в полворотника; букли уничтожили, на лоб спускались волосы — «эсперансы».

Вместо широких и длинных мундиров стали узкие и чересчур короткие, чуть прикрывавшие грудь.

Молодым офицерам было неплохо, но старые, располневшие генералы выглядели в таких мундирах некрасиво: брюхо уродливо выпирало вперед.

Низкие отложные воротники павловских мундиров заменились стоячими, очень высокими, доходившими до ушей. В таком воротнике голова была словно в ящике. Плотный, жесткий воротник больно резал шею и уши. Из-за воротника невозможно было повернуть голову в сторону — приходилось поворачиваться всем корпусом.

Вместо очень низких шляп стали носить огромные высокие, с черными султанами в пехоте и белыми в кавалерии. А записные гвардейские щеголи и франты невольно утрировали все эти размеры.

Новая форма по-своему была не менее уродлива и неудобна, чем павловская, но такую же носили в Пруссии, Австрии и других странах, она была модной, и потому ее находили красивой.

Александр так же старался изменить все, что было установлено его отцом, как Павел переделывал все екатерининское.

С каждым днем все больше обнаруживалось сходство в характерах отца и сына.

Оба стремились вникать во все сами лично, у обоих было пристрастие к формализму и мелочам. Оба не верили никому и легко раздражались, но у Павла это выплескивалось наружу, а Александр научился скрывать все под личиной прекраснодушия и ангельской доброты, которую так неосторожно приписывала ему бабушка Екатерина II.

Для вдумчивых, наблюдательных людей, которые ви-

дели в Александре не то, что хотелось видеть его неумеренным обожателям, а то, что было на самом деле, постепенно выявлялась скрытая сущность молодого императора.

12 марта умиленные дворяне поверили словам манифеста, в котором Александр обещал, что будет управлять «по законам и по сердцу» бабушки.

Пален, Зубовы, Трошинский и прочие заговорщики хотели этого, и Александр ничего другого обещать в манифесте не мог.

В сущности, эти слова говорил не Александр, а Дмитрий Прокофьевич Трошинский, бывший секретарь Екатерины II, написавший текст манифеста.

Александр же одинаково не любил вспоминать не только сумбурное царствование своего страшного отца, но и правление любимой бабушки, несмотря на то, что в том же манифесте говорилось о Екатерине II так: «...когда память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна».

«Вечная» не выдержала испытания даже одного года!

Обнаружилось, что Александр не терпит сравнений и сопоставлений своего царствования ни с какими предшествующими, и не только с павловским, осужденным всеми, но и с екатерининским. Правление бабушки тоже подвергалось Александром суровому осуждению.

Александр оказался очень самолюбивым, он хотел быть всегда и во всем первым.

XI

Что же касается личности Александра Павловича как человека и простого смертного, то вряд ли облик его, так сильно очаровавший современников, через сто лет беспристрастный исследователь признает столь же обаятельным.

Князь Николай Михайлович

Уже год прослужил Михаил Илларионович в должности военного губернатора Петербурга и инспектора войск в Финляндии. Кроме этого, Александр подчинил ему всю гражданскую часть Санкт-Петербургской и Выборгской губерний.

Конечно, было лучше жить и работать у себя дома, чем даже в веселой, приятной Вильне. Но это смещение военных и гражданских дел доставляло Михаилу Илларионовичу много хлопот.

Тут и инспекция войск, и караулы, и вся столичная хозяйственная жизнь: продовольствие и фураж для Петербурга, питейные сборы, больницы, постройка провиантского магазина у Калинкина моста,— всегдашние неурожайи во вверенных губерниях и ежедневные, обычные происшествия: грабежи, уличные драки, дуэли и картежная игра, которую так не переносил Александр I.

Приятно было одно: в ведение Кутузова, к удовольствию Екатерины Ильинишны и девочек, поступали итальянская и немецкие оперные труппы. Теперь в салоне петербургской губернаторши прибавилось слуг и служителей Мельпомены.

Михаил Илларионович не находил ничего приятного в ежедневном общении с царем во время утренних и вечерних докладов.

Александр I, как и Павел, очень интересовался мелкими городскими происшествиями: лакей умер в бане, мешанка родила двойню.

Кутузова поражало и невольно задевало то, как русский император откровенно высказывал свою нелюбовь к России и русскому народу. Александр не хотел и не старался понять дух русского человека. Он не следовал в этом примеру Екатерины, которая старалась понять русскую жизнь, войти в нее. Его отец, Павел I, еще будучи мальчиком, подчеркивал свое благожелательное отношение ко всему русскому: когда ему ставили на обеденный стол испанскую соль, маленький Павел возмущался и просил, чтобы вместо испанской дали илецкую, русскую. Отношение отца и сына к простому народу, к крестьянам, было совершенно различным. Павел роздал за четыре года своего царствования больше крестьян, нежели Екатерина II за тридцать четыре: четыреста тысяч душ. Он продолжал крепостную политику матери, но Павел как-то помнил о народе, не считал его, как Александр I, совершенно не стоящим внимания. Недаром Павел велел привести к присяге даже крепостных.

Император же Александр откровенно презирал «подлый» народ. Он говорил о крестьянах так: «Каждый из них — либо дурак, либо подлец!»

Князь Репнин как-то сказал ему, что вынужден освободить своих крепостных от дорожной повинности из-за неурожая: крестьяне, мол, грызут вместо хлеба одни коренья.

Император Александр ответил на это: «Что грызут дома, то могли бы грызть и на дороге!»

Когда Тормасов рассказал о своем лакее, который мечтал о воле, и Тормасов легко наказал лакея за это, Александр I прямо возмущился:

«За столь буйственный и дерзновенный поступок следовало бы наказать наистрожайше и публично!»

Насколько Александр не любил русских, настолько питал пристрастие к иностранцам. Кутузову было неприятно слышать, как Александр притворно жаловался иностранцам, что он окружен одними русскими бездарностями и мерзавцами. Михаилу Илларионовичу казалось, что при болезненном самолюбии Александра и его желании всех и во всем затмевать бездарности вообще должны были бы больше устраивать его.

Особенно старался понравиться Александр I дамам, к которым питал большое влечение с отроческих лет.

В семье, среди своих, Александр вечно брюзжал, был малоразговорчив и неласков. Но стоило ему очутиться среди дам, как он мгновенно преображался.

Он очаровывал дам мягкой, вкрадчивой, многообещающей улыбкой, изысканным обращением и внимательностью. Дамам Александр мог нравиться потому, что лицом он напоминал свою миловидную мать Марию Федоровну.

Все, начиная с бабушки, льстили ему, твердили с детства, что он красавец. Александр возомнил о себе, считал себя неотразимым и не переставал любоваться собой, как Нарцисс.

У его отца был очень плохой вкус. Павел уродливо одевался, не умел обставить свою жизнь. Александр в эстетическом отношении превосходил отца. Он понимал, что могло быть ему к лицу, следил за своей внешностью, щегольски одевался. Александра сильно удручали глухота и близорукость, а особенно то, что он стал рано лысеть. Лев Нарышкин смеялся, что Александр лысеет так рано из-за цитерных утех.

Личное отношение Александра к Кутузову было далеко от простого и сердечного отношения к нему Павла. Александр никогда не смотрел Михаилу Илларионовичу в

глаза, отводил их в сторону, словно боялся прочесть в этом единственном, но далеко видевшем глазе Кутузова укор отцеубийце. Кутузову казалось, что в холодных голубых глазах двадцатитрехлетнего императора часто вспыхивали недружелюбные, злые огоньки.

Михаил Илларионович говорил в кругу своей семьи:

— Я — калиф на час. Император не любит меня. Он очень злопамятен и мелочен. Не может мне простить, что я был за стрижку солдат, за круглые шляпы. Для него армия, прусские воинские порядки — самое дорогое.

— Ты придиричив, Миша, — говорила Екатерина Ильинишна, которой миловидный женский обожатель Александр Павлович был симпатичен.

— Нет, я прав, — не соглашался Кутузов. — Александр — чистейший византиец: предал отца, теперь понемногу предаст бабушку. Так что я ему? В один прекрасный день явлюсь поутру во дворец, а меня и на порог не пустят, как Палена. И отправят, как его, на постоянное жительство в поместье. Надо поскорее самому убираться в Горошки!

Особенно почувствовал себя непрочно на губернаторском посту Кутузов весной 1802 года.

В Петербурге участились грабежи и драки на улицах. Ямская карета, мчавшаяся с Васильевского острова, сшибла на Исаакиевской площади англичанина-негоцианта.

Когда Кутузов на утреннем докладе доложил об этом Александру, император только иронически улыбнулся. На его холеных щеках выступил румянец.

Михаил Илларионович увидел: его императорскому величеству это сообщение не по вкусу. Оно и понятно: карета сшибла ведь не лишь бы кого, а иностранца, англичанина. Если бы это оказался свой, российский купчик, у императора так не испортилось бы настроение.

Михаил Илларионович рассказал обо всем дома.

— Миша, а в самом деле, почему стало так беспокойно у нас на улицах? Вон у Михайловского замка позавчера ограбили и избили какого-то помещика...

— Ничего нет мудреного, Катенька, — ответил Кутузов. — Некому смотреть за порядком — будочников мало.

— А почему их мало?

— Сами обыватели не хотят торчать в будке — кому приятно возиться с пьяницами да буянами. Вместо этой повинности обыватели платят в казну по девять рублей в

месяц. А за такую плату стоять день-деньской на часах, да еще зимой, много ли съестся желающих?

И все эти мелкие неприятности завершила более крупная — побег крепостного парикмахера графа Николая Салтыкова.

Графине Салтыковой, жене бывшего воспитателя Александра Павловича, давно минуло шестьдесят лет, но она все не хотела стариться. У Салтыковой очень рано начала плешиветь голова, и графиня носила парик. Чтобы никто не узнал об этом конфузном изъяне, Салтыкова держала своего дворового куафера, восемнадцатилетнего паренька, в клетке под замком. Клетка стояла в графининой спальне. Парикмахер выпускался из клетки только тогда, когда графине надо было делать прическу. Куда бы ни уезжала Салтыкова, она обязательно брала с собой парикмахера в клетке. Несчастный парень сидел в заточении уже несколько лет. И вот теперь ему наконец как-то удалось бежать.

— Знаешь, Катенька, вчера бежал парикмахер Натальи Владимировны Салтыковой, которого она держала в клетке, — рассказывал жене Михаил Илларионович, приехав со службы домой.

— И что же, его поймали?

— Нет еще.

— Слава богу! А ты, Мишенька, не усердствуй в поимке. Пусть эта старая дура побесится! — горячо сказала Екатерина Ильинишна.

— А зачем мне усердствовать? — усмехнулся Кутузов. — И не подумаю.

Обозленная тем, что парикмахер не найден, а ее позорная тайна открыта (хотя все давно знали о том, что графиня — плешива), Салтыкова пожаловалась на нерасторопность петербургской полиции самому императору. Александр I, привязанный с детства к Салтыковым и сам лысевший основательно, конечно, встал на сторону графини. То, что петербургская полиция не нашла крепостного человека, особенно возмутило императора. Александр никогда не сочувствовал «подлому» народу и считал его всегда и во всем виноватым. На этот раз, говоря с Кутузовым, он не улыбался иронически, а прямо выразил ему свое недовольство.

Кутузов понял: его губернаторская песенка окончательно спета.

На следующий день он заранее прикинулся больным,

чтобы дать царю благовидный повод к отставке петербургского военного губернатора.

Михаил Илларионович правильно предугадал дальнейший ход событий. Александр I тотчас же назначил вместо Кутузова военным губернатором Петербурга фельдмаршала Каменского и уехал к войскам в Красное Село: царю было стыдно после этого смотреть в глаза почтенному, заслуженному человеку, которого он обидел ни за что.

Вместе с императором, разумеется, отправился и Каменский. Сдавать дела пришлось заместителю Каменского, генерал-адъютанту графу Евграфу Федоровичу Комаровскому, которого остроумный Лев Нарышкин называл «полтора графа». Михаил Илларионович хорошо знал графа Комаровского. Ловкий, обходительный и красивый граф бывал желанным гостем в салоне Екатерины Ильинишны Кутузовой. Он с милыми шуточками, легко и просто принял от Михаила Илларионовича дела.

Вечером того же дня Кутузов засел у себя в кабинете и написал своим корявым, малоразборчивым почерком прошение царю:

«Всемиловитейший государь!

Бывши отягчен непритворною болезнью, не мог я чрез некоторое время отправлять должности; ныне же, получа облегчение, дерзаю испрашивать Вашего императорского величества о себе воли. Сколь ни тяжко мне видеть над собою гнев кроткого государя и сколь ни чувствительно, имев пред сим непосредственной доступ, относиться через другого, но, будучи удостоверен, что бытие мое и силы принадлежат не мне, но государю, повинуюсь без роптания во ожидании его священной воли. Но ежели бы Вашему императорскому величеству не угодна была вовсе служба моя, в таком случае всеподданнейше прошу при милостивом увольнении воззреть оком, человеколюбивому Александру свойственному, на службу мою, больше как сорокалетнюю, в должностях военных и других, долга с честью отправляемых; на понесенные мною раны; на многочисленное мое семейство; на приближающуюся старость и на довольно расстроенное мое состояние от прехождения по службе из одного в другое место; и на беспредельную приверженность к особе Вашей, государь, которую, может быть, застенчивость моя или образ моего обращения перед Вашим императорским величеством затмевает».

Александр не задержался с ответом. Через четыре дня последовал указ сената, в котором Михаил Илларионович Кутузов освобождался на год «от всех должностей по приключившейся ему болезни для поправления здоровья».

Александр, верный себе, принял половинчатое решение: он не увольнял в отставку Кутузова, но и не предоставлял ему никакой иной службы.

Михаил Илларионович оказался в тяжелом материальном положении.

Позади было столько лет прекрасной боевой и дипломатической деятельности на пользу отечества, тяжелые раны, а впереди — необеспеченная старость.

Катюша, милая, легкомысленная Катюша, всю жизнь жила не по средствам, широко, не заботясь о завтрашнем дне. Семья была большая — пять дочерей-невест. Всем нужны наряды и приданое, а денег взять неоткуда.

Екатерина Ильинишна, не задумываясь, занимала деньги, закладывала драгоценности в ломбард.

И теперь у Михаила Илларионовича оставался один выход — ехать в свое волынское имение Горошки и заниматься хозяйством, в ведении которого у Кутузова не было ни опыта, ни знаний.

— Пока поеду в Горошки один. Поправлю дела, а потом выпишу тебя, — сказал Михаил Илларионович жене, хотя Екатерина Ильинишна сама не выражала особого желания уезжать из Петербурга — от театров, балов, светского общества и поклонников, к вниманию которых она, несмотря на возраст, была еще столь равнодушна.

Глава девятая

«ВЛАСТИТЕЛЬ СЛАБЫЙ И ЛУКАВЫЙ»

I

Михаил Илларионович ехал в Горошки, надеясь все-таки на то, что его хозяйственная деятельность продлится недолго, а пришлось пробыть в Волынской глуши почти три года.

Имение Горошки лежало в живописном месте — на возвышенности, крутыми обрывами спускавшейся к не-

большой реке Ирша. Когда-то здесь было военное укрепление — об этом ясно говорили валы и рвы, напоминавшие измаильские. На возвышенности росли громадные столетние дубы. Дубы встречались здесь часто; и помещичий дом и церковь были сделаны из массивных дубовых бревен.

Хозяйство в Горошках оказалось неплохое, но сильно запущенное. Эконом, видимо, знал свое дело, но заботился больше о себе, а не о помещике.

«Он — профессор, но дай бог, чтобы у него было хотя наполовину честности против его ума», — писал жене об управляющем Михаил Илларионович.

Урожаи снимали неплохие, земля была плодородная, но получалось как-то так, что собирали меньше, чем рассчитывали собрать.

Живя в Горошках, Михаил Илларионович понемногу начинал постигать сельское хозяйство, построил селитренный завод, выгонял поташ, продавал лен и пеньку, старался уплатить проценты в банк по ссудам и в ломбард на выкуп вещей, заложенных женой.

Нужда и заботы не оставляли его.

Кутузов жил в Горошках уединенно и невесело. Единственным развлечением была охота с собаками. В «полевое время» он травил волков, лисиц и зайцев.

Здоровье Михаила Илларионовича держалось. Только по-прежнему слезились и болели глаза, и временами он как-то становился туговат на левое ухо.

Екатерина Ильинишна приезжать в Горошки не собиралась. Она часто писала мужу — в большинстве случаев это были напоминания о необходимости выслать деньги — и сердилась на мужа за то, что он редко пишет, а он понимал, что речь идет не о том, что он мало пишет, а о том, что мало высылает денег.

Михаил Илларионович меланхолично отвечал:

«Письма твои, мой друг, получил. Напрасно, мой друг, меня бранишь: и когда в хлопотах, в досаде — не так мысли расположены, чтобы хорошо было писать к близким, и когда занеможется так, что не сможешь писать; а что касается до денег, то пересылаю и пересылать буду...»

Из писем жены и из газет Михаил Илларионович знал о петербургских новостях и следил за тем, что делается в Европе.

Французский генерал Бонапарт забирал силу. Сначала взаимоотношения России и Франции были сносными, но после того, как Бонапарт сначала объявил себя пожизненным консулом, а потом — императором, отношения стали натянутыми. Особенно почувствовалось это весной 1804 года, после убийства Наполеоном герцога Энгиенского.

Опытный глаз старого полководца и дипломата Кутузова сразу увидел: война стоит у порога.

Александр I сколачивал европейскую коалицию против Наполеона. Он вздумал выразить Франции через своего посла негодование по поводу убийства герцога Энгиенского.

Наполеон прислал ответную ноту. В ней он рекомендовал Александру смотреть за своими, а не чужими делами. В ноте Наполеон язвительно напоминал Александру, что убийство императора Павла, совершенное по проискам Англии, осталось безнаказанным: ведь никто из заговорщиков не понес заслуженной кары.

Александр I никогда и никому не прощал обиды, а тем более такой.

Война близилась. И потому еще нелепей было сидеть Михаилу Илларионовичу в Горошках и заниматься ничемными, скучными поместными делами.

И он жаловался жене:

«Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей-богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю божию. Видя же себя уже в таких летах и здоровье, что другого имения не наживу, боюсь проводить дни старости в бедности и нужде, а все труды и опасности молодых лет и раны видеть потерянными».

Назначение в действующую армию было бы для него прекрасным выходом из тяжелого морального и материального положения.

Михаил Илларионович ждал, что в Петербурге наконец вспомнят о нем, о его заслугах.

Так и случилось: 4 июля 1805 года император назначил Кутузова командующим Подольской армией, которая направлялась в Моравию в помощь австрийской, идущей против Наполеона.

Михаил Илларионович с удовольствием уезжал из Горошек.

За три года, проведенные в имении, Кутузову надоело непривычные нудные хлопоты по хозяйству, надоело возиться с поташом, селитрой и льном, с факторами-евреями и ворами-приказчиками. Михаил Илларионович охотно ехал на театр военных действий, несмотря на то что за последние годы он очень отяжелел, пополнел, что все чаще стала болеть рука: сказывались давние ночевки в придунайских степях.

Не хотелось сознаваться себе, что наступала такая же нудная, как эти мелочи хозяйственной жизни, неумолимая, неотвратимая старость. Хотя на киевских «контрактах», на шумной ярмарке Михаил Илларионович все еще по-прежнему примечал молоденьких хохлушек.

Кутузов выехал из Горошек в Петербург получить подробные инструкции императора.

1-я Подольская армия, назначенная в помощь австрийской для войны с Наполеоном Бонапартом, выступила в поход 13 августа.

Кутузов же не смог выехать из Петербурга раньше 14 августа: его задержал обширный рескрипт Александра I, в котором содержалась подробнейшая инструкция, как следует вести войну с Францией.

Хотя в рескрипте говорилось, что инструкция не входит «в начертание подробных наставлений», но в ней, в двадцати трех пунктах, была охвачена вся деятельность командующего, вплоть до того, как он должен поступить в том случае, если на сторону союзников перейдет какой-либо французский генерал или офицер.

Одним из первых пунктов указывалось, что Кутузов поступает «под главную команду императора римского».

Когда шесть лет назад император Павел отправлял Суворова в Италию против французов, он не давал Суворову никаких инструкций. Император просто сказал: «Веди войну по-своему, как умеешь!» Было сразу же договорено, что Суворов назначается главнокомандующим соединенными русско-австрийскими войсками, что австрийский фельдмаршал Мелас подчиняется Суворову.

Теперь же бездарный, но заносчивый австрийский гофкригсрат оказался более хитрым: Австрия добила того, что Александр I согласился на подчинение Кутузова австрийскому командованию. Александру сделать это не составляло ничего: он и сам не верил в русских генералов.

Александр хотел поручить свою армию французскому генералу Моро, которого Наполеон Бонапарт заставил бежать в Америку. Александр послал за Моро камергера графа Палена, а пока — до его приезда — был вынужден мириться с кандидатурой генерала Кутузова.

Конечно, в послужном списке Кутузова еще не числилось столь блистательных побед, как Кинбурн, Фокшаны, Рымник, как Измаил и Прага. Генерал Кутузов был в Европе более известен своими дипломатическими успехами и двумя необычайными ранениями, чем победами. Он представлялся боевым, заслуженным генералом, но не выдающимся полководцем, каким в 1799 году являлся Суворов.

Суворов бил в Италии и Швейцарии лучших французских генералов — Жубера, Макдональда, Моро, но ему не пришлось встретиться с Наполеоном.

Это теперь предстояло Кутузову.

Михаила Илларионовича огорчало его подчиненное положение австрийским «немогузнайкам».

Екатерину Ильинишну же беспокоило иное: то, что император отпустил генералу Кутузову только десять тысяч подъемных и сто рублей в месяц столовых.

— Мишенька, почему так мало?— удивлялась Екатерина Ильинишна.— А сколько же получал в девяносто девятом году Суворов?

— Так то — Суворов...— попытался уйти от ответа Михаил Илларионович.

— Нет, а все-таки, сколько?

— Суворов получил тридцать тысяч подъемных и тысячу столовых в месяц.

— Вот видишь!..

— Дело еще, Катенька, в том, кто дает: император Павел был щедрее, чем его милый сынок...

Перед отъездом Михаил Илларионович встретился во дворце со старым знакомым, генералом Иваном Андреевичем Заборовским. Заборовский участвовал в Семилетней и обеих турецких войнах и отличился при Козлуджи: преследуя разбитого сераскира, он пошел на Балканы и очистил путь к Адрианополю. Екатерина II хвалила «твердый нрав» Заборовского и говорила, что «он ближе всех подходил к Константинополю». Заборовскому было семьдесят лет, но держался он еще чрезвычайно бодро.

— Михаил Ларионович, вас можно поздравить с новым высоким назначением?— сказал, здороваясь, Заборовский.

— Благодарствую, Иван Александрович. Придется помериться силами с этим неугомонным корсиканцем.

— Противник у вас отменный. Бесспорно, Бонапарте один из лучших французских генералов.

— Я тоже так думаю,— ответил Кутузов.— Недаром же он стал императором.

— А знаете, Михаил Ларионович, что этот самый господин Бонапарте просился к нам на русскую службу? И что он лично мне подавал об этом прошение?— спросил, улыбаясь, старый генерал.

— Неужели?— удивился Кутузов.— Когда же это было?

— В тысяча семьсот восемьдесят девятом году, в Ливорно, когда матушка Екатерина послала меня в средиземноморские края набирать добровольцев-христиан для войны с турками. Я завербовал вместе с греками, албанцами и прочими около семидесяти корсиканцев. И вот однажды, в числе прочих корсиканцев, ко мне явился двадцатилетний артиллерийский офицер Бонапарте. Видимо, ему туго жилось дома: он был бледен и худ. Бонапарте хотел, чтобы я принял его на русскую службу тем же чином, а я не имел права сделать это: иностранцев приказано было принимать с понижением в чине. И мы с ним не столковались.

— Как же Бонапарте встретил ваш отказ?

— Был явно оскорблен, вспылал. «Не хотите?— говорит.— Тогда я пойду к туркам. Они сразу дадут мне полковника!»— «Воля ваша,— отвечаю.— Ступайте к кому хотите!»— «Вы обо мне еще услышите!»— закричал и убежал.

— Да, Бонапарте оказался прав,— раздумчиво сказал Кутузов.— Мы о нем услышали. А любопытно, что было бы, если бы Бонапарте поступил к нам на службу?

— Матушка Екатерина оценила бы его, а вот с Павлом Петровичем они не ужились бы. Этот невзрачный корсиканский офицерик показался мне не очень податливым,— вспоминал Заборовский.

II

13 августа Кутузов написал своему старому сослуживцу, министру внутренних дел Виктору Павловичу Кочубею, чтобы он отдал распоряжение приготовить ему на всех

станциях по двадцать обывательских лошадей. И на следующий день поехал догонять Подольскую армию, которая уже выступила из пределов России и должна была двигаться, как того хотел австрийский император Франц, через Галицию и Моравию к границам Баварии. Главные австрийские силы — восьмидесятитысячная армия — стояли уже в Баварии возле Ульма. Считалось, что армией командует двадцатичетырехлетний эрцгерцог Фердинанд, на самом же деле всем распоряжался его генерал-квартирмейстер Макк. Ехать приходилось медленно: в этом году необычайно рано зарядили осенние дожди, дорога раскисла и стала тяжела. Михаил Илларионович так торопился к армии, что даже был вынужден не каждую ночь останавливаться на ночлег; он не смог вернуть и к себе в Горошки, хотя проезжал неподалеку от имения.

Кутузов жалел, что вместе с ним не едет его любимый зять и адъютант Фердинанд Тизенгаузен,— зять ехал к армии из Крыма, с Лизочкой.

31 августа Кутузов насилу добрался до границы. В Бродах командующего русской армией встретил австрийский генерал Штраух. Он должен был сопровождать русские войска по Австрии и снабжать их всем необходимым.

3 сентября приехали во Львов, чем-то напоминавший Михаилу Илларионовичу Вильну: те же узкие улочки, те же костелы, те же лапсердаки евреев и самодовольные лица чванливой польской шляхты.

За Львовом почувствовалась близость шедшей впереди русской армии. Экипажи Михаила Илларионовича и его штаба обгоняли медленно тащившиеся больничные фуры и австрийские форшпаны с провиантом.

Наконец 9 сентября догнали хвост шестой колонны Подольской армии.

Солдаты, увидев командующего, заговорили:

— Глянь-кось: Ларивоныч!

— Кутузов приехал, Кутуз!

— Он опять поведет нас на турку!

— На какого турку! Не знаешь, с кем воевать собрался!

— Как не знаю: у нашего царя размолвка вышла с цесарем...

— Что у тебя, глаза повылезли? Аль не видишь, как цесарцы круг нас увиваются? Какая тут размолвка!

— Француз задирает Расаю, вот кто. Некой Бонапартий у них выискался. Долбит всех без разбору — и немца, и цесарцев. Вот и послали за нами...

До Тешена русская армия шла по условленному маршруту не спеша.

10 сентября австрийцы попросили Кутузова поторопиться: их сильно встревожило сообщение о том, что Наполеон из лагеря при Булони необычайно быстро двинулся к Рейну.

Для того чтобы ускорить марш русской армии, австрийцы аккуратно выставляли необходимое количество подвод. Русскую пехоту везли на перекладных устроеными переходами до шестидесяти верст в день.

На каждый фургон садилось по двадцать человек с полной выкладкой, да с других двенадцати человек в этот же фургон складывали ранцы и шинели, а сами солдаты шли пешком. Через десять верст менялись: шедшие садились на подводы, а ехавшие шли налегке с одним ружьем и патронными сумами.

Офицеры не чередовались — их везли на особых форшпанах.

Кавалерии прибавили фуража и везли на подводах мундштуки и вьюки.

Привалов не делали.

Ночевали обычно в селениях. Каждый хозяин ожидал гостей у калитки. Пропустив во двор столько солдат, сколько ему было назначено на постой, хозяин закрывал калитку на запор.

Солдат ждал сытный ужин, винная порция и мягкая, чистая постель.

По дороге было много фруктов, особенно винограда.

Расчетливых немцев очень удивляло то, что командир второй колонны генерал Милорадович закупал для солдат целые рынки и угощал апшеронцев, смоленцев и малороссиян.

Мушкеры и гренадеры были горды своим щедрым командиром.

Как ни быстро продвигалась русская армия, но австрийцам и это казалось медленным. Вена просила Кутузова, чтобы он давал роздых армии не на третий, а на пятый день. Кутузов не согласился. Несмотря на то, что пехоту подвозили, поспешность движения все-таки давала себя знать: солдаты сильно уставали в переходах. А от ходьбы по каменистым шоссе-ным дорогам быстро рвалась обувь.

Двойной фураж, который австрийцы отпускали для артиллерийских лошадей, не мог прибавить им силы, чтобы переносить утроенные марши.

21 сентября дошли до красивого Брюнна. Из Брюнна Кутузов поехал в Вену. В погожий осенний день 24 сентября Михаил Илларионович приехал в союзную столицу.

Армия не шла вслед за ним, он явился в Вену неожиданно, и его карету и коляски сопровождающих лиц не встречали так торжественно — с духовенством и музыкой, как шесть лет назад встретили Суворова.

Но для Вены и сегодня командующий русскими войсками был символом победы.

Прохожие быстро распознали его и бежали за неспешно катившейся по улицам каретой. И когда Кутузов доехал до русского посольства, то у дома образовалась шумно приветствовавшая толпа венцев.

Русский посол в Вене Разумовский предоставил в распоряжение Михаила Илларионовича целый этаж посольского дома.

Кутузов с удовольствием оставил надоевшую за бесконечный, утомительный марш карету. Наконец он мог как следует привести себя в порядок и выспаться на хорошей постели.

Но долго отдыхать не пришлось: уже на следующий день Кутузов поехал с Разумовским представляться императору Францу I, который жил в своем загородном охотничьем замке Хетцендорф.

Франц любезно принял русского командующего. Он благодарил Кутузова за быстрый марш, расспрашивал, в чем нуждаются русские войска, сказал, что поможет во всем, и тут же подарил шестьдесят тысяч серебряных гульденов русским офицерам на дорожные расходы.

Австрийский император пригласил Кутузова к обеду. За обедом он рассыпался в похвалах своему союзнику Александру. Он сказал:

— Приятно иметь дело с императором Александром — он ничего не делает наполовину!

«Да, для Австрии, но не для России», — подумал Кутузов, глядя на лошадиное лицо Франца.

26 сентября Михаил Илларионович встретился с вице-канцлером графом Людвигом Кобенцелем, которого знал еще по Петербургу. Кобенцель много лет прослужил послом при русском дворе. Он был завзятой театрал — вечно участвовал в каких-либо домашних спектаклях петербург-

ской знати. Несмотря на свой почтенный возраст и малопривлекательную внешность (Кобенцель был косоглаз и плешив), он ухаживал за красавицей женой генерала князя Долгорукова (Крымского), обворожительной, умной и веселой княгиней Екатериной Федоровной, и вечно пропадал у нее на даче. Если княгиня затевала спектакль, то влюбленный Кобенцель готов был исполнять любую роль, какую поручала ему княгиня. Однажды курьер из Вены привез графу срочные депеши. Он разыскал посла на даче у Долгоруковой, за кулисами ее театра. Шел спектакль, в котором Кобенцель играл роль садовника. Граф вышел к курьеру с граблями и лейкой в руках. Курьер не хотел вручать депеши этому накрашенному, насурмленному человеку. Екатерина II потешалась над неумеренными страстями австрийского посланника. Кобенцеля и отозвали из Петербурга только за то, что он больше уделял внимания Долгоруковой и театру, чем своим обязанностям дипломата.

И теперь — не успел Кобенцель поздороваться с Михаилом Илларионовичем, как сразу же забросал его вопросами о Петербурге и общих знакомых.

Когда Кобенцель удовлетворил свое любопытство, перешли к делам.

Вице-канцлер представил Кутузову членов гофкригсрата.

Помня о строптивом, своенравном Суворове, члены военного совета с опаской смотрели на Кутузова. Но осторожный и тактичный Кутузов действовал как старый дипломат. Деликатностью и обходительностью он добился тех же результатов, каких запальчивый Суворов достигал бравадой и скандалом. Кутузов договорился о доставке русской армии продовольствия и снарядов.

Члены гофкригсрата были довольны тем, что русский командующий обещал совещаться с австрийскими генералами, назначенными к его штабу, и особенно с генерал-квартирмейстером Шмитом. Кутузов не мог не согласиться на это: Александр I с самого начала показал ему, что не даст самостоятельно вести войну.

Кутузова беспокоила разобщенность русско-австрийской армии, в Вене же все были настроены весьма радужно. В гофкригсрате царил уверенность в благополучном исходе кампании, — может быть, только потому, что план войны разработал австрийский штаб.

Кобенцель показал Кутузову письмо генерала Макка из армии эрцгерцога. Макк писал из Ульма:

«Никогда никакая армия не находилась в столь выгодном положении, как наша для одержания поверхности над неприятелем. Сожалею об одном, что нет здесь императора и его величество не может быть личным свидетелем торжества своих войск».

— Ну, дай-то господи! — сказал Кутузов.

Как ни уговаривал его Кобенцель остаться еще на денек в столице, чтобы побывать в театре, Михаил Илларионович не согласился. На следующий же день, 27 сентября, он выехал из Вены в Браунау, сборное место его Подольской армии.

Несмотря на твердую уверенность австрийцев в том, что все обстоит благополучно, положение союзников очень беспокоило Кутузова.

Гофкригсрат, стремившийся из Вены заранее начертать весь план будущей кампании, уже допустил непростительную ошибку.

В своих бумажных расчетах он не хотел принимать во внимание противника. Эрцгерцог Фердинанд, не дождавшись кутузовской армии, двинулся к Ульму. По плану гофкригсрата австрийская и русская армии должны были преспокойно соединиться возле Ульма. Гофкригсрат наивно предполагал, что Наполеон, стоявший в Булони (он думал высадиться в Англии), будет невозмутимо смотреть на это. Когда же выяснилось, что Наполеон быстро двинулся к Рейну, австрийцы всполошились. Их план, прекрасный на бумаге, начинал трещать. Они потребовали, чтобы кутузовская армия продвигалась быстрее, чем могла.

И вот теперь Наполеон стоял в двух шагах от эрцгерцога, а Подольская армия Кутузова еще тянулась к Браунау.

Легкомысленный просчет гофкригсрата был налицо.

III.

Пока Кутузов ехал из Вены, русские войска устраивались в окрестных деревнях у Браунау.

Здесь, за Дунаем, многое показалось русскому солдату необычным: бритые подбородки жителей, черепичные крыши их домов, дороги, обсаженные фруктовыми деревьями, которых никто не ломает.

Поражала повсеместная чистота и порядок: нигде не увидишь ни грязной лужи среди двора, ни окна, заткнутого тряпьем или подушкой.

А солдаты-украинцы удивлялись, глядя на запряжку волов: немцы укрепляли ярмо не на шее, а на рогах.

— Хитер, немчура: понял, что у вола вся сила в башке!

— Да, брудеры народ смекалистый!

Пришелся по вкусу русскому солдату немецкий завтрак — кофе, которым хозяева потчевали своих постояльцев по утрам. Хозяйка наливала каждому солдату по кружке.

Но русские привыкли есть не в одиночку, а артелью. Потому они сливали все в один котелок и просили, чтоб хозяйшка, наливая, не жалела бы кофейной гущи. В этот взвар солдаты крошили ситник, прибавляли лучку и солцы и, перекрестившись, хлебали кофе ложками, как свою привычную тюрю.

— А скусная эта кава! — хвалили солдаты.

— Вроде нашего сбитня.

Очень удивительно было русским, что в немецких лавчонках не найти чая. Он продавался в аптеке, как лекарство.

Полюбилось им баварское пиво. Но немец и пил-то не так, как надо: мог целый день сидеть за «гальбой» в трактире без песен и куражу. Он просто разговаривал с приятелем — водил пальцем по столу пивные дорожки, показывал, как лихо воюет Бонапарт.

А слухи о войне шли неважные: француз наседа.

— Срам: брудеры уже по первости не устояли, — осуждали австрийцев русские солдаты.

Не успел Кутузов приехать в Браунау, как к нему явился русский посланник в Баварию барон Бюлер. Барон был чрезвычайно расстроен: он бежал из Мюнхена, так как французы уже подходили к городу.

Как будто бы начинали оправдываться опасения Кутузова.

До Мюнхена от Браунау было сто верст. Мюнхен лежал на полпути между Браунау и Ульмом. Было похоже на то, что Наполеон уже перерезал дорогу Браунау — Ульм.

Михаил Илларионович приказал выставить посты на реке Инн, назначил Багратиона командовать авангардом армии и разослал во все стороны лазутчиков, чтобы собрать точные сведения о неприятеле.

На третий день после приезда из Вены Кутузов получил письмо от эрцгерцога Фердинанда. Эрцгерцог сообщал, что Бонапарт, видимо, боится атаковать австрийцев с фронта, а старается обойти их, чтобы стать между ними и русскими. Письмо было уверенное и бодрое.

«Моя армия одушевлена мужеством», — похвалялся Фердинанд.

Но что эрцгерцог предпримет дальше, из письма было неясно.

Больше писем от Фердинанда или Макка Кутузов не получал.

Каждый новый день приносил самые разноречивые сведения и слухи. По одним — эрцгерцог отступал в Тироль, по другим — перешел на левый берег Дуная.

Австрийские конные разъезды, которые Кутузов отправлял в Баварию, не могли достать «языка».

Двигаться вперед на соединение с эрцгерцогом Кутузов пока не мог: задние русские колонны еще подходили к Браунау. Солдаты были изнурены усиленным маршем. Многие шли босиком — совершенно изорвалась обувь.

И тут в один ненастный день положение окончательно прояснилось.

11 октября 1805 года у дома, где жил русский командующий, остановилась австрийская почтовая карета. Стекла в ней были разбиты, одно крыло и подножка исковерканы, и вся карета залеплена грязью.

Из нее вышел, прихрамывая и держась за повязанную белым платком голову, какой-то австрийский генерал.

Ординарцы, сидевшие в коридоре, видели, как полковник Резвой сразу провел приехавшего генерала к командующему. И тотчас же Кутузов послал за австрийским генералом Мерфельдом, который состоял при его штабе.

Началось совещание.

А штабные, со слов полковника Резвого, присутствовавшего при встрече Кутузова с Макком, уже передавали шепотком друг другу невероятную, неприятную новость: вся семидесятитысячная армия эрцгерцога с артиллерией и обозами сдалась под Ульмом Бонапарту.

Бонапарт переправился через Рейн и быстро очутился со ставосемидесятитысячной армией в Баварии. Он окружил австрийцев и 8 октября заставил Макка сдаться. Эрцгерцог как-то успел улизнуть с несколькими эскадронами в Богемию, а Макка Наполеон отпустил, взяв с него слово

не воевать против французов. И посрамленный Макк мчался в Вену к императору.

— Вот вояки!— возмущались все.

— Что, они даже не попытались вступить в бой?

— Нет, вероятно, дрались. Видишь: сам Макк-то хромает, и голова у него повязана. Должно быть, ранило.

— Какое там ранило!— смеялся Резвой.— Просто почтовая карета опрокинулась ночью в дороге, и Макк набил себе на лбу шишку.

— Стало быть, свой ямщик для генерала Макка оказался опаснее француза!

— Вот те и Макк!

— У нас на Украине говорится: «Сел маком!»

— Ну и дал ему Бонапарт жару! Вишь, как смазал салом пятки — до нас еще об Ульме и слухи не дошли, а Макк уже тут как тут!

Как бы то ни было, а Кутузов пригласил Макка к обеду.

За обедом Макк рассказал еще несколько подробностей, хорошо рисовавших Наполеона.

Когда французы окружали австрийскую армию, эрцгерцог настаивал на том, чтобы пробиться сквозь корпус Нея и уйти в Богемию. Макк не согласился на это. Один из его верных лазутчиков уверял, что в Париже вспыхнул бунт и Наполеон должен будет спешить в столицу. А потом оказалось: верный лазутчик был подкуплен Наполеоном и нарочно вводил Макка в заблуждение.

Затем Наполеон отпустил на честное слово не только фельдмаршала Макка, но и всех австрийских офицеров. И распустил слух, что хотел даже отпустить по домам всех женатых солдат, но якобы этому воспротивились его министры.

— Тонко придумано, нечего сказать,— заметил Михаил Илларионович.

Конечно, обо всем этом сразу же узнали все австрийские солдаты.

Лисья уловка: смотрите, мол, какой я добрый...

Не только австрийские офицеры, но и все жители Браунау удивлялись хладнокровию и выдержке русского командующего: после приезда Макка он оставался в Браунау еще два дня.

Ульмская катастрофа сделала положение русской армии очень опасным: Наполеон располагал втрое большими силами.

Кутузов знал, что надо отходить, но выжидал: хотел выяснить, как развернет свои силы Наполеон.

Но уже тогда же, 11 октября, Кутузов послал предупредить все русские колонны, которые еще были в пути к Браунау, чтобы они остановились там, где их застанет это распоряжение. Кутузов приказал ломать мосты на реке Инн и вывезти больных, артиллерию и парки.

Вечером 16 октября Михаил Илларионович узнал от лазутчиков, что Наполеон двинулся от Мюнхена к Инну, чтобы покончить с русскими. Командующий велел немедленно собрать в зале всех ординарцев и вестовых от полков.

Кутузов вышел к ним в теплом вигоневом сюртуке зеленого цвета, с табакеркой в руке. Он был хмур. Лицо выражало недовольство.

Вертя в пальцах табакерку, Кутузов сказал:

— Цесарцы не сумели подождать нас — сунулись вперед, не спросясь броду. Их и разбили. Немногие из храбрых бегут к нам, а трусы положили оружие к ногам неприятеля. Наш долг — защитить несчастные остатки разбитой австрийской армии. Передайте это вашим товарищам в полках. Ступайте. Завтра с вестовой пушкой выступаем!

Но никто не знал, куда поведет Кутузов — вперед или назад.

Полки расположились у Браунау каждый на своем, назначенном месте.

17 октября еще до рассвета ударила пушка, стоявшая на площади перед домом, где жил командующий.

К удивлению всех — и солдат и вышедших их провожать горожан — русская армия двинулась назад.

— Ба, ба! Кажись, по старой дорожке пойдем, ребята, тушки?

— Не иначе.

— И без проводников.

— А к чему они? Дорога-то, чай, знакомая...

— Уж не зашел ли француз с тылу?

— А вот мы к следующей каше узнаем!

IV

В хмурый сентябрьский день, когда в Петербурге уже совсем запахло осенью, Александр собрался на театр военных действий.

С детства слышавший похвалы любвеобильной бабушки и лстивых придворных своей ангельской красоте и необычайному уму, Александр был весьма высокого мнения о себе. Прусскую муштру он постиг на гатчинских вахт-парадах в совершенстве и потому считал себя прирожденным полководцем и сравнивал себя с воинственным прапрадедом: Петр Великий в двадцать восемь лет объявил войну Карлу XII, он же, Александр, в двадцать восемь лет собирался сразиться с Наполеоном.

Кроме армии Кутузова на западной границе стояло девяносто тысяч русских войск под командой генерала Михельсона. Михельсон сосредоточился у Гродны и Брест-Литовска, чтобы побудить колебавшуюся Пруссию выступить на стороне союзников. Если же Пруссия согласится пропустить через Силезию русские войска, то Михельсон должен идти на соединение с Кутузовым.

9 сентября 1805 года Александр выехал из столицы. Хотя он не был религиозен, но терпеливо выстоял получасовой молебн в Казанском соборе: Александр прикидывался простым, а любил театральность.

Гвардия под командой Константина выступила в поход на неделю раньше. Александр провожал ее на Царицыном лугу.

Братец Константин, гордо подбоченясь, ехал героем впереди 1-й роты преображенцев, таких же курносых, как сам. За ним с музыкой и барабанным боем шла гвардия. Шла так, что дрожала земля и в Летнем саду заволновались, закаркали вороны.

Александр нагнал гвардию, подъезжая к Витебску.

Константин Павлович проехал верхом только до Гатчины, а потом пересел в коляску. Время от времени он садился на коня и пропускал мимо себя полки. Он придиричиво, зорко смотрел, как идут солдаты, держат ли равнение и дистанцию, не разбрелись ли по тракту, как стадо.

Александр с удовольствием увидел, что гвардия марширует как полагается: солдаты старательно держат ногу, офицеры все на своих местах. Они словно маршировали на Царицыном лугу, а не шли по выбитому белорусскому тракту. Пожалуй, даже отец не придрался бы ни к чему. Александр не замечал измученных солдатских лиц и санитарных повозок, которые были битком набиты изнемогшими в немыслимом походе людьми.

Он смотрел на бравую гвардию и уже видел свои победные лавры и всеобщее восхищение женщин, к кото-

рым Александр был равнодушен с пятнадцати лет. Немного портит настроение то, что два его друга — князь Адам Чарторийский и князь Петр Долгоруков, ехавшие с ним в одной коляске, сидели надувшись, они не ладили между собой.

Год назад, когда государственный канцлер граф Воронцов ушел по болезни в отставку, Александру пришла в голову диковинная мысль: назначить на его место своего друга — поляка Адама Чарторийского.

Чарторийский, как умный человек, не очень хотел занимать в чужом государстве ответственный пост министра иностранных дел. Он понимал, что такое назначение на одну из важнейших должностей в России его, поляка, неизбежно вызовет недовольство в придворных кругах. Любой русский вельможа скажет: «Неужели у нас не хватает своих?»

Чарторийский знал упрямство Александра. Если какая-либо фантазия приходила императору в голову, то Александр не пытался разобраться, хороша она или плоха. Он хотел одного: поставить на своем. Достигнув же успеха, Александр очень скоро охладевал, а иногда становился даже враждебным тому, чего так страстно добивался.

Чарторийский убеждал Александра, что чужестранцу неудобно быть министром иностранных дел в России, но Александр возражал ему: «При Петре Великом министром иностранных дел был же еврей Шафиров!»

Князю Адаму пришлось нехотя согласиться.

Как он и ожидал, придворное общество встретило его назначение холодно. При дворе у Чарторийского оказалось много противников.

И самым влиятельным из них был генерал-адъютант царя и его друг князь Петр Долгоруков.

Став министром иностранных дел, Чарторийский, как горячий патриот, задался целью восстановить родную Польшу в ее прежних границах.

Чарторийский играл на чувствительных струнах очень мнившего о себе Александра. Он говорил, что Александру надо возглавить европейскую коалицию против Наполеона. Политике завоевания надо противопоставить принципы справедливости и законности. По его словам, Александр должен был явиться избавителем Европы от тирана. Чарторийский доказывал, что первым шагом должна быть восстановленная Польша. А так как это противоречило инте-

ресам Пруссии, то, начиная борьбу с Наполеоном, надо прежде всего разбить Пруссию.

Долгоруков не был сторонником ни восстановления Польши, ни войны с Пруссией. В этом они с Чарторийским расходились. Но он тоже стоял за войну с Наполеоном.

В пути, когда выяснилось, что император Александр собирается заехать к родителям Чарторийского в их имение Пулавы, отношения между Долгоруковым и Чарторийским обострились. В представлении Долгорукова такой шаг со стороны Александра был унижительным: русский император едет точно на поклон к польскому вельможе, как будто извиняться за то, что его бабушка выгнала из Пулав молодых Чарторийских. Долгорукова задевало то, что Александр всегда оказывал предпочтение иностранцам.

Так, почти не разговаривая друг с другом, они доехали до Брест-Литовска. Здесь их пути разошлись: Чарторийский ускорил вперед, в Пулавы, чтобы подготовиться к приему такого необычного гостя, а Долгорукова Александр послал в Берлин.

Александр остался верен себе: сам ехал в Пулавы, собираясь поднять поляков против Пруссии, а Долгорукову поручил сговариваться с королем Фридрихом-Вильгельмом III о союзе против Наполеона.

V

Глубокой осенью к чугунной решетке ворот дворца Чарторийских в Пулавах подошли два человека. Один из них, державший в руках зажженный фонарь, стал стучать в ворота. В глубине двора тотчас же залились собаки. Человек без фонаря в испуге шарахнулся от калитки, хотя она была заперта, но второй сказал ему:

— Не бойтесь, ясновельможный пане, то — гончие. Я их знаю. И они меня знают.

И стал приговаривать:

— Галус! Галус! Зельма! Зельма!

Но сам все-таки отошел немного назад.

Во дворе не светилося ни одно окно. В Пулавах все давно спали. Собаки яростно лаяли, прыгая у ворот. Так продолжалось несколько минут. Наконец где-то хлопнула

дверь, послышались шаги — кто-то шел с фонарем к воротам.

— Кто тут? Что надо? — сердито спросил по-польски заспанный глухой голос.

— Это я, пане Миколай. Я — Ицек.

— Что ты бродишь среди ночи и будишь людей? Кнута захотел? Вот спущу на тебя свору собак!

— Тут к князю Адаму важный гость из Петербурга. Чи министр, чи генерал. Они заблудились в лесу у крыницы. Карета сломалась. Я привел его светлость по тропинке...

Сторож поднял вверх фонарь и осветил стоявшего рядом молодого, высокого человека в шляпе и забрызганном грязью плаще.

Сторож знал, что во дворце ждали приезда русского императора.

«Это, верно, кто-либо из его свиты», — подумал сторож и, отогнав собак, раскрыл калитку.

Молодой человек протянул проводнику-еврею золотой и, опасливо косясь на лаявших собак, пошел за сторожем ко дворцу.

Спустя несколько минут в одном дворцовом окне зажегся свет, потом он появился во втором, в третьем.

Забрызганный грязью молодой человек оказался русским императором Александром. Он ехал в Пулавы в сопровождении австрийских чиновников, которые сбились в лесу с дороги. Кучер наскочил в темноте на пень и сломал каретную ось. Незадачливых путешественников вывел из беды еврей-корчмарь, который вез бочку с водкой. Он согласился провести Александра I в Пулавы. Освещая путь фонарем, корчмарь провел царя по лесной тропке напрямки к Пулавам.

Александр запретил лакеям будить хозяев и прошел в приготовленные для него покои. Измученный непривычным вояжем, он повалился, не раздеваясь, на кровать.

К утру императорскую карету кое-как доставили в Пулавы. Александр надел новый мундир, привел себя в порядок и ласково принял хозяев дома.

Чарторийские просили прощения за то, что так нехорошо получилось, что все спали, когда его величество изволил «прибыть», сокрушались, почему его величество не разбудил их, благодарили за высокую честь, оказанную им.

Александр I слушал хозяев, как всех, немного выставив вперед голову, и изображал на своем лице сладенькую улыбку. Александр I знал и никогда не забывал, что за этой его улыбкой упрочилась слава «обворожительной». Он ответил Чарторийским, что обязан им еще большей благодарностью — ведь они дали ему «лучшего друга в жизни».

Присутствовавший при разговоре Адам Чарторийский сиял от счастья.

Александр пустил в ход все свое притворство. Он лебезил перед хозяйкой и ее родственницами. Он был из тех людей, которые всегда вежливее, предупредительнее с чужими, чем со своими. Александр выражал желание познакомиться с возможно большим числом поляков, и в Пулавы стали стекаться из Варшавы целые толпы гостей.

Утром император Александр ехал верхом в лагерь и производил смотр своим войскам, занимался любимой шажстикой. В лагере он отбрасывал всякую любезность и простоту и опять становился придирчивым и жестким. Вернувшись во дворец, Александр сменил мундир на фрак и играл роль «милого человека» и простака. Он подавал руку каждому приезжавшему в Пулавы шляхтичу, дамам галантно целовал ручки. Паны были восхищены государем, а дамы сразу же превращались в ярых поклонниц двадцативосьмилетнего императора, который был скорее галантным кавалером, чем венценосцем. Александр заискивал у поляков, не скупился на комплименты и окончательно вскружил польской знати голову.

Обедать Александр соблаговолил за общим столом, в большой зале дворца, что дало возможность многим панам, любившим прихвастнуть, рассказывать потом:

— А я обедал за одним столом с русским императором!

Александр отбросил весь придворный этикет и держал себя как «друг семьи» Чарторийских. Но стоило только явиться к нему с докладом русскому генералу или русскому дипломатическому чиновнику, как Александр из простого и любезного человека становился неласковым и надменным.

Еще минуту назад он мог подавать стул незнатной польской даме, а теперь свысока говорил с заслуженным русским сановником.

Поляки, и особенно польки, были в восторге от молодого императора. Они, казалось, не замечали его неболь-

шой глухоты, рано начинающейся лысины и того, что Александр был хром.

Для них он был «ангел».

Все поляки невольно сравнивали русского императора с новоиспеченным французским. По рассказам, Наполеон был груб не только с мужчинами, но и с женщинами. Он на приеме мог подойти к даме и громко сказать: «А я думал, что вы хорошенькая!» (Александр I говорил каждой, что она — лучше всех!); или сказать: «Я знаю, вы любовница графа N» (Александр держался с многодетными матронами так, словно они еще были девушками).

Русский император обворожил польскую знать. Она была готова восстать против Пруссии и идти за Александром.

Варшавские торговки уже говорили прусским полицейским: «Ваше царство скоро кончится — вот придут русские, и мы вас прогоним!»

Александр I делал вид, что готов порвать с Пруссией.

Горячий патриот Адам Чарторийский, бывший на седьмом небе от такого поворота дел, написал в депеше русскому послу в Вене графу Разумовскому:

«Его величество твердо решил начать войну против Пруссии».

Но прошло еще несколько дней, и все резко изменилось.

«На смену пулавской идиллии приближалась потсдамская мелодрама», — как написал впоследствии историк.

Князь Долгоруков, посланный из Бреста в Берлин для того, чтобы уговорить прусского короля вступить в коалицию против Наполеона, сначала не имел успеха.

Но король неожиданно получил известие, что французские войска перешли через прусскую границу в Анспахе.

После этого нарушения прусского нейтралитета король Фридрих-Вильгельм III согласился пропустить через прусскую территорию и русские войска.

Александр I гостил в Пулавах уже две недели. Он сидел здесь так долго не потому, что его в самом деле увлекли кокетливые польки всех возрастов, а потому, что ждал результата переговоров Долгорукова с прусским королем.

24 октября Александр объявил Адаму Чарторийскому, что едет в Козеницу (где находилась главная квартира

генерала Михельсона, назначенного для действий против Пруссии), а оттуда — в Берлин. Прежние намерения идти с войсками в Варшаву и прогнать из Польши пруссаков, в чем еще вчера клялся Чарторийскому Александр, уже были забыты.

Александр предписал генералам Михельсону и Кутзову немедленно сжечь все бумаги, в которых содержалось что-либо враждебное Пруссии.

Это решение Александра было для всех поляков (а тем более для его друга Адама Чарторийского) страшным ударом. «Ангел» показал свои коготки.

Поляки были до крайности возмущены таким неслыханным вероломством. Они не знали, что вероломство являлось одной из основных черт характера Александра I.

VI

Когда кокетничают немецкие женщины,
они кокетничают с энтузиазмом.

Ж. де Сталь

15 октября 1805 года, расточая направо и налево свои «ангельские» улыбки, Александр I торжественно, при пушечной пальбе, въехал в Берлин. На всем пути его следования ко дворцу стояли с ружьями на караул прусские войска. Толпы берлинцев восторженно приветствовали русского императора, который и по происхождению, и по духу был ближе Пруссии, чем России.

Он ехал в Берлин с одной целью — окончательно привлечь на свою сторону нерешительного и тупого короля Фридриха-Вильгельма III.

При королевском дворе у Александра I был верный пособник и друг — прусская королева Луиза, по справедливости считавшаяся первой европейской красавицей.

Некрасивый, недалекий, угрюмый Фридрих-Вильгельм женился на умной, общительной и кокетливой семнадцатилетней принцессе Луизе Мекленбургской. Луиза была красива и обаятельна. В этом мнении одинаково сходились все: сановники и слуги, мужчины и женщины. Пожилой Гёте, чувствительный к женской молодости и красоте, называл ее «небесным видением».

Более сдержанный Жан-Поль Рихтер превозносил не только ее красоту, но и грацию. Даже холодные, скептические сердца дипломатов таяли под взглядом синих глаз Луизы, в которых было столько восторженной жизнерадостности.

На фоне до крайности распущенного берлинского придворного общества, где, по словам современника, «проститутки казались скромными весталками по сравнению с многими знатными дамами», молоденькая королева Луиза была добродетельной женой. Она каждый год рожала своему скучному, малоразговорчивому мужу принцев и принцесс, которые все походили на уродливого отца, но в то же время не пропускала ни одного бала, хотя бы он был накануне родов — так любила повеселиться. В первые годы замужества королева Луиза не вмешивалась в политику. Но потом, увидев, что Фридрих-Вильгельм малодушен, труслив и недалек, решила воспользоваться своей красотой и обаянием, чтобы возвысить Пруссию: Луиза была пламенная патриотка.

Первым шагом она наметила союз с Россией.

В июне 1802 года прусская королева встретила впервые с русским императором в Мемеле, где они прожили вместе шесть дней: Александр заехал к прусскому королю из Риги.

Днем Александр и Фридрих-Вильгельм занимались смотрами и парадами (они оба увлекались шагистикой и муштрой), устраивали приемы, а теплые июньские вечера проводили в домашнем кругу.

Фридрих-Вильгельм молча сидел на балконе, глядя на залив Куришгаф. Король курил трубку за трубкой и меланхолично плевал, как фельдфебель, через перила в кусты сирени, а потом, часам к десяти, уходил спать: он не ревновал жену к своему кузену, русскому императору.

А Луиза весь вечер ворковала где-нибудь в укромном, идиллическом уголке с Александром. Они много времени проводили наедине. И между ними, как метко выразился Адам Чарторийский, началось «платоническое кокетничанье», которое было Александру более по вкусу, чем что-либо иное. Хотя он готов был увиваться за любой юбкой, но в его флирте всегда было больше мужского тщеславия, нежели темперамента.

Еще за вечерним чаем, который разливала своими очаровательными ручками королева Луиза, Александр сидел

с гамлетовским раздумьем на челе, хотя никогда не читал Шекспира. Оставшись же вдвоем с Луизой, Александр пел дифирамбы ее неземной красоте и доброте, говорил о родстве их душ, о своей старой мечте — как он хотел бы оставить трон и жить среди благодатной природы в каком-либо живописном, уединенном уголке у моря или в тиши сельских полей с милым сердцу другом. Когда-то, мальчиком, он мечтал об этом искренне, а теперь говорил как актер заученную роль.

Александр говорил все это с единственной целью — увлечь собою молодую хорошенькую женщину: он любил такие платонические «победы».

Его меланхолия, его душевные излияния были насквозь фальшивы, а искренняя, порывистая Луиза принимала все это за чистую монету. Муж никогда не говорил ей ничего подобного. Он был по-солдатски однообразен и прост во всем: в желаниях, в чувствах, в любви.

Готовясь к встрече с Александром, Луиза рассчитывала покорить его. Она знала, что ее называют «феей, подчиняющей все силе своего очарования», а вышло наоборот: Александр уезжал таким же, каким приехал, а Луиза страдала и мучилась, предвидя разлуку. Она поверила Александру и полюбила его, человека, о котором один посол сказал: «Он фальшив, как пена морская».

Александр искусно играл свою роль. Глядя со стороны, можно было серьезно подумать, что он влюблен в королеву. Обер-гофмейстерина Луизы, графиня Фосс, записала в своем дневнике об Александре: «Бедный, он совсем увлечен и очарован королевой!»

Они прощались чрезвычайно трогательно: Луиза была в слезах, а Александр как-то еще более стал хромать.

Луиза не знала, что для Александра это всего лишь политический флирт. Союз с Францией, к которому шел его отец, император Павел, был опасен: он вызывал недовольство дворян. Александр решил приобрести иных союзников, и в частности Пруссию: ей принадлежала значительная часть Польши. Географическое положение Пруссии оказалось таково, что обе стороны — и Франция и Россия — старались привлечь ее к себе.

Флирт с королевой помогал намерениям Александра.

И вот теперь, три года спустя, Луизе и Александру предстояло встретиться вновь.

Луиза ждала свидания с волнением и радостью, а он — с опаской и неохотой.

Письма Луизы к нему дышали неподдельной, неудовлетворенной любовью. Александр же в каждом флирте любил только начало, был способен лишь к нему и потому боялся, что при этой встрече пылкая королева пойдет дальше, чем в Мемеле.

Адам Чарторийский не сплетничал, когда говорил, что император был в Потсдаме «серьезно встревожен расположением комнат, смежных с его опочевальней, и что на ночь он запирает дверь на два замка, боясь, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он хотел избежать».

Холодный, расчетливый Александр играл в Потсдаме роль Иосифа Прекрасного.

Тугодум Фридрих-Вильгельм III, по настоянию жены, подписал 22 октября с Александром конвенцию. Пруссия присоединялась к антинаполеоновской коалиции условно, если Наполеон отвергнет посредничество прусского короля для заключения всеобщего мира. Фридрих-Вильгельм был менее решителен в делах, чем его жена.

В это же время Наполеон нанес коалиции страшный удар: заставил капитулировать австрийскую армию Макка. Александру пришлось торопиться к своим войскам в Моравии.

Во время последнего ужина во дворце Александр, любивший театральные эффекты, выразил притворное сожаление о том, что покидает Потсдам, не отдав дани уважения праху «Великого Фридриха».

— На это еще хватит времени, — просто ответил Фридрих-Вильгельм III, не отличавшийся особыми сентиментами.

В самую полночь они — влюбленная и потому готовая идти с возлюбленным куда угодно Луиза, холодный позер Александр и не понимающий смысла этого посещения гробницы прозаический Фридрих-Вильгельм III — спустились при свечах в сырое и мрачное подземелье гарнизонной церкви. Александр подошел к гробнице Фридриха II, сдерживая отвращение, приложился губами к холодному гробу и, протянув руку прусскому королю и королеве, поклялся им в вечной дружбе.

Прекрасные синие глаза Луизы блестели от счастья, рыбы глаза ее супруга откровенно хотели спать: Фридриху-Вильгельму была чужда вся эта лубочная инсценировка.

Год спустя Наполеон выпустил из зайтого его войсками того же Потсдама свой семнадцатый бюллетень. Этот бюллетень был едва ли не самым достоверным и наиболее близким к истине из всех многочисленных бюллетеней Наполеона, наполненных всегда безудержным, непомерным хвастовством и наглой, беспорядочной ложью. В нем говорилось о клятве у гроба Фридриха II:

«Через два дня после свидания оно было изображено на картинке, которую можно видеть во всех лавках и которая заставляет смеяться даже мужиков. На ней изображены: русский император, очень красивый, с ним рядом королева, а с другой стороны король, который поднимает руку над гробницей Фридриха Великого. Сама королева, закутанная в шаль, подобно тому как лондонские картинки изображают леди Гамильтон, прижимает руку к сердцу и смотрит при этом на императора».

В бюллетене все изображалось верно: и мрачное подземеелье, и позы дающих клятву (Луиза, действительно, стояла рядом с Александром и смотрела на него, а не на супруга), но Наполеон, желая унизить своего ярого, непримиримого врага, королеву Луизу, напрасно сравнил ее с леди Гамильтон: роль Луизы была совершенно иная, чем у леди Гамильтон, а у императора Александра не было ни талантов Нельсона, ни его благородства, которое английский адмирал выказал в истории с леди Гамильтон.

VII

После того как австрийская армия Макка сдалась Наполеону, положение Кутузова стало тяжелым: у Наполеона было двести тысяч человек, а у Кутузова лишь пятьдесят. Волынская армия Буксгевдена находилась в двадцати переходах, а австрийские войска стояли в Северной Италии, и у Вены оставались лишь мелкие отряды союзников.

Кутузов решил отступать, уничтожив мосты на реке Инн. Он чувствовал, что австрийцы воюют нехотя. Кутузов переправился через Дунай раньше французов, разбив

их у Кремса. Но после того как австрийцы сдали без боя мост у Вены, а с ним и самую столицу, Мюрат настиг Кутузова. Захватив обманным путем венский мост, Мюрат наивно думал, что обманет и Кутузова, но попался в ловушку сам — предложил русским заключить перемирие. Мюрат хотел дожидаться подхода своих главных сил, чтобы обрушиться на Кутузова.

Кутузов охотно согласился на перемирие: это давало ему возможность оторваться от французов. Он оставил заслон в шесть тысяч человек под командой Багратиона, а сам скорыми маршами пошел к Ольмюцу.

Наполеон, узнав о перемирии Мюрата, обозлился до крайности: его шурин попался в свои собственные сети. Наполеон велел немедленно же начать военные действия. Французы погнались за Кутузовым.

Багратион с честью выдержал неравный бой против тридцати тысяч французов и не дал окончательно уничтожить свой корпус, чего боялся Кутузов.

У Ольмюца сошлись обе русские армии — Подольская Кутузова и Волынская Буксгевдена. У союзников оказалось всего восемьдесят шесть тысяч человек, из них пятнадцать тысяч австрийцев. Теперь соотношение сил воюющих резко изменилось. Кроме того, в Северной Италии стояли две армии под командой австрийских эрцгерцогов.

План Кутузова был естествен и несложен: оттянуть Наполеона за Карпаты и там разбить.

VIII

Александр слепо верил в себя и в свою счастливую звезду.

В самом деле, как хорошо получалось: с помощью Луизы Фридрих-Вильгельм III вступил в коалицию.

Александр I восторгался собою, как тонким дипломатом, а его приближенные — генерал Фуль, полковник Вейротер, который приехал к императору в Берлин, и свои — Аракчеев, князь Долгоруков, Волконский — предвещали Александру славу великого полководца. Вейротер неустанно твердил: Наполеон пассивен, и стоит Александру фланговым маршем отрезать французов от Вены, как песенка Наполеона будет спета. У Наполеона меньше

сил, чем у союзников. Он оставил две трети для охраны коммуникаций.

И Александр готов был наступать.

Наполеон предугадывал замыслы врагов. Пленные в один голос говорили о том, что союзники собираются наступать. Наполеон приказал Даву и Бернадоту отходить, притворяясь слабыми и нерешительными, а аррьергарду не вступать в бой с русским авангардом и послал генерала Савари с письмом к Александру: Наполеон поздравлял императора с благополучным прибытием к армии.

Савари должен был высмотреть положение союзных армий и познакомиться с настроением в русской главной квартире.

Из разговоров с Александром Савари убедился в слепой самоуверенности русского императора и его окружения. С другой стороны, Савари удалось вселить в Александра убеждение в том, что Наполеон не готов к сражению.

Русский император ликовал. Он уже видел лавры победы и себя Александром Македонским.

15 ноября союзники начали наступать. Они шли как на парад.

Несмотря на грязь, на изорванную обувь, Александр приказал полкам идти в ногу.

На следующий день у Вишау произошло небольшое дело: пятьдесят шесть эскадронов союзников прогнали восемь французских.

Александр I впервые участвовал в деле. Правда, он ни в кого не стрелял и никого не колол, а только ехал за наступающими колоннами, но все-таки услышал свист пуль.

Когда стычка окончилась, он шагом объехал поле сражения, рассматривая в лорнет трупы убитых, как барыни нищих на паперти.

Самоуверенные военные педанты и глупцы из императорской свиты возомнили о себе еще больше, непомерно раздув незначительный успех у Вишау.

Чтобы окончательно убедить союзников в своей кажущейся слабости, Наполеон еще раз послал Савари к Александру. Он предлагал перемирие и просил свидания с Александром.

Хитрый расчет Наполеона оказался верным: Александр с каждым днем все больше заносился — он не пожелал ви-

деться с Наполеоном, а послал вместо себя князя Долгорукова.

Долгорукова во французскую главную квартиру не пустили — Наполеон был не так прост, как Александр. Посланца русского императора продержали на линии передовых постов, куда, любопытства ради, приехал сам Наполеон. Он говорил с Долгоруковым на большой дорожке.

Узнав у Долгорукова о здоровье Александра, Наполеон спросил:

— Чего хочет Александр? За что воюет?.. России надо следовать иной политике и думать о собственных интересах! — резонно, справедливо заметил Наполеон.

Самонадеянный Долгоруков держал себя с Наполеоном напыщенно, вызывая и ни разу не назвал его «ваше величество».

Наполеон с презрением смотрел на этого заносчивого фанфарона.

Когда Долгоруков уехал, французский император с возмущением рассказывал своим маршалам, что посланник русского императора держал себя с Наполеоном так, словно Наполеон был «боярином, которого собираются сослать в Сибирь».

Из-за желания показать свое пренебрежение «корсиканцу» Долгоруков не увидел во французском лагере ничего, кроме «робости и уныния».

— Наш успех несомненен. Стоит только идти вперед, и Бонапарт отступит, так же как от Вишау, — захлебываясь от удовольствия, рассказывал Долгоруков улыбающемуся Александру.

Чарторийский и Новосильцев, наоборот, уговаривали Александра не давать боя.

— Если мы отступим, Бонапарт примет нас за трусов! — горячо возражал Долгоруков.

— Лучше умереть, чем прослыть трусом, — согласился с ним император. И на все доводы Чарторийского и Новосильцева отвечал: — Это дело генералов, а не гражданских сановников!

Предусмотрительный, опытный и осторожный Кутузов просил отделить австрийские войска от русских, говоря, что австрийцы подавлены неудачным началом действий их войск и только внесут неуверенность и беспорядок в русские ряды, советовал отходить к Карпатам.

— Вы говорите вздор! — нагло бросил в лицо старому полководцу вспыльчивый и глупый князь Константин Павлович.

Сам Александр I не пожелал даже ответить Кутузову на это.

Русский император твердо решил наступать и поручил австрийскому полковнику, генерал-квартирмейстеру Вейротеру составить диспозицию к бою.

Оба императора — Александр I и Франц I, еще менее понимавший в военном деле, чем Александр, — утвердили диспозицию Вейротера, которая массой названий селений, озер и рек больше напоминала перечень к географической карте, чем план будущего сражения.

Молодые советники императора Александра ликовали — их мнение восторжествовало.

Судьба Наполеона, казалось, была уже предрешена.

IX

В эту ночь Александру не спалось: хотелось поскорее насладиться победой.

И он и его главный советчик Долгоруков боялись одного: как бы Наполеон не удрал, пользуясь темнотой зимней ночи.

С вечера Долгоруков сам объезжал посты, приказал наблюдать за французами, и если они начнут отступать, то следить, по какой дороге пойдут, чтобы нагнать и уничтожить врага.

Второй ярый сторонник наступления — генерал Аракчеев начал нервничать: чем ближе становилась роковая минута боя, тем он чувствовал себя беспокойнее. Александр I желал предоставить своему любимцу возможность разделить с ним славу победы, хотел поручить ему одну из колонн.

Но Аракчеев отказался, он сказал, что не выносит вида крови. Он забыл о том, как в Гатчине и Петергофе прогонял сквозь строй солдат и в злости сам вырывал у них усы. Та кровь не производила на Аракчеева никакого впечатления.

Александр I проснулся до света. Все окутывал густой туман.

Выбритый, одетый в парадный мундир, он казался себе безмерно красивым и уже осененным лавровым венком

победителя. В сопровождении нарядной, напыщенной свиты Александр I поехал к Кутузову. Его злил этот упрямый старик.

Вот и теперь на Праценских высотах, где при колонне Коловрата должен был находиться Кутузов, его еще не было.

«И чего он там спит?» — раздраженно думал Александр, не желая считаться с тем, что Кутузову не двадцать восемь лет, а шестьдесят, и не зная, что командующий только два часа тому назад лег спать.

Император послал разбудить Кутузова.

Михаил Илларионович тотчас же явился по приказу императора.

Александр I захотел проехать с командующим вдоль расположения русских войск. Они подъехали к ближайшей бригаде генерала Берга.

Берг со своим штабом грелся у костра.

— Твои ружья заряжены? — спросил император у Берга.

— Никак нет, ваше величество.

— Зарядить! — приказал император.

Он внутренне любовался собой: смотрите, вот какой полководец!

А старый Кутузов, ссутулясь, сидел на маленьком неавантажном коне и смотрел как-то не очень уверенно и не очень весело.

— Ну, как полагаете, Михаил Илларионович, дело пойдет хорошо? — бодро спросил император.

— Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества, — ответил Михаил Илларионович. Он прекрасно понимал состояние духа Александра и ответил, как старый дипломат, привычной придворной льстивой фразой, в которой, однако, заключалась тонкая ирония.

Александр не переносил, когда кто-нибудь угадывал его слабость. И в нем сказался хитрый и двуличный человек — он на всякий случай поспешил обеспечить себе отступление.

— Нет, нет, командуете вы. Я здесь простой зритель! — театрально замахал обеими руками император и поспешил дальше.

Кутузову оставалось только вежливо поклониться.

— Хорошенькое дело — я должен командовать боем, которого, видит бог, не хотел предпринимать, — сказал

Бергу с горькой улыбкой Михаил Илларионович. И последовал за императором.

Он заранее знал: хотя император затеял это сражение против желания Кутузова, но, в случае неудачи, свалит, как всегда, всю вину на него.

Х

Под Австрийцем он бежал...

Пушкин

Союзники приняли план сражения против армии, которой не видели, предполагая ее на позиции, которой она не занимала, и, сверх того, рассчитывали на то, что французы останутся настолько же неподвижными, как пограничные столбы.

Ф. Бюлов

Русскими войсками распоряжались: император Франц, полковник Вейротер, Гогенлоэ, Лихтенштейн, Вимпфен и Буксгевден, изменив своей стране француз Ланжерон и т. д. Потеря сражения и бесчестие армии не были страшны для этих людей, они не боялись поражения.

Лев Толстой

Александр I и император Франц, окруженные свитой, стояли верхами на Працене среди войск четвертой колонны Коловрата, ожидая, когда рассеется туман.

Император Франц зевал, не выражая особого нетерпения. Он вообще был меланхоличен и вял. Дома его любимым развлечением было бить мух или, стоя у окна, считать проезжавшие мимо дворца кареты. Здесь император Франц смотрел равнодушными глазами на все. Победной славы он не ждал.

А самолюбивый Александр I горел от нетерпения: ему хотелось, чтобы поскорее начался бой.

Снизу из тумана доносился глухой шум — топот тысяч людских и конских ног, лязг оружия. Колонны, выполняя нелепую диспозицию Вейротера, спускались с высот, которые господствовали над местностью.

По замыслу Вейротера союзники намеревались выйти сквозь дефиле у селения Сокольницы и Тельницы в обход правого фланга французов.

Александр I томился в ожидании начала сражения. Вейротер, проводивший с русским императором несколько

дней в Пулавах, сумел убедить его в своих непрекращаемых военных познаниях. Александр уверовал в этого сухого рыжеватого австрийца, как верил в таланты и ум всех иностранцев вообще.

Вейротер, Винцингероде и задававший тон нахальный Долгоруков убедили Александра в том, что Наполеон боится союзников, что стоит только наступать, и корсиканец будет побежден.

Тщеславный Александр ждал сражения, которое принесет ему славу великого полководца, и теперь ему казалось, что все совершается сегодня крайне медленно.

Император Александр не предполагал, что никто из русских командиров не мог толком разобраться в этой путаной кабинетной диспозиции австрийского педанта. К тому же, хотя в союзной армии насчитывалось всего лишь пятнадцать тысяч австрийцев, а русских семьдесят пять тысяч, диспозиция была написана на немецком языке. Только к утру ее успели перевести на русский язык и дали прочесть старшим командирам. И потому при движении войск к намеченным пунктам происходила путаница и неразбериха, усугублявшаяся туманом.

Александр I с неудовольствием видел, что 4-й корпус Коловрата все еще стоит на высотах, хотя, по мысли Вейротера, союзники должны были очистить Працен.

Несмотря на то, что четвертая колонна состояла из четырех русских обстрелянных пехотных полков Милорадовича, а австрийские батальоны были составлены из рекрутов, Александр I вверил колонны не опытному суворовскому ученику генералу Милорадовичу, а австрийскому Коловрату.

Граф Коловрат, конечно, давно выполнил бы предназначения диспозиции — ушел бы с Праценских высот, — но при четвертой колонне находился сам командующий союзными войсками генерал Кутузов. И эта задержка в движении, очевидно, результат его происков.

Как ни старался Кутузов под маской полного повиновения императору Александру скрыть свое недовольство, но Александр видел: Кутузов не согласен с прекрасной диспозицией Вейротера.

Александр расценивал это как зависть Кутузова.

Терпеть дальше стало невозможно. Александр подъехал к Кутузову и принудил его очистить Праценские высоты.

Старый дипломат Кутузов на этот раз не удержался — позволил себе даже возражать императору. Никто не заметил, как порозовели щеки у Александра от сдерживаемого гнева.

И все-таки стало так, как хотел Александр: последние союзные войска двинулись с Праценских высот.

Оба императора начали спускаться вниз.

В свите Александра I открыто возмущались поведением Кутузова, не желавшего оставлять высоты:

— До чего упрямый старик!

— Заважничался.

— Выжил из ума!

И вот наконец снизу, из тумана, послышались выстрелы. Но ружейная стрельба и крики сражающихся слышались где-то вот тут, поблизости. Союзники думали, что Наполеон стоит за Шлапаницем, готовый в любую минуту дать тягу, что до него не менее десяти верст, а на деле вышло иное: французы скрытно подошли и оказались в двух шагах от союзников по эту сторону прудов перед Кобельницей.

Случилось то, чего никак не ждал Вейротер: Наполеон не стал дожидаться, когда союзники обойдут его с фланга, а сам перешел в наступление.

Плотные массы французской пехоты ударили по неосторожно, преступно ослабленному центру союзников. Австрийцы и русские смешались, дрогнули и побежали.

Вся хитроумная диспозиция Вейротера рухнула, словно карточный домик.

Когда при обсуждении диспозиции у Вейротера спросили, что он предпримет в том случае, если Наполеон атакует Праценские высоты, австрийский генерал-квартирмейстер самоуверенно, категорически заявил: «Эта возможность исключена!»

Вейротер наивно, слепо верил в то, что Наполеон будет спокойно стоять на месте, пока враги пойдут в обход его правого фланга.

И вот теперь союзники жестоко платились за грубейший просчет позорной австрийской диспозиции: французы легко прорвали центр союзников и били с фронта и фланга.

Каждая воинская часть была принуждена защищаться самостоятельно, а каждый солдат — думать лишь о своем спасении.

В суматохе жаркого штыкового боя все смешалось.

Александр I очень скоро растерял всех: меланхолического императора Франца, свою блестящую свиту, состоявшую из генералов и министров, и свою непреклонную уверенность в победе. Войнственный пыл Александра сразу же исчез. Он уже не воображал себя Александром Македонским, а торопился назад к Аустерлицу, как самый обыкновенный беглец.

Мимо него, что-то крича, промчался без шляпы, с растрепанными буклями и потерянным, бледным лицом Вейротер.

В эти минуты Александр I охотнее увидел бы не сухопарого австрийского генерал-квартирмейстера, а грузного, неспешного, хотя и нелюбимого им, русского полководца Кутузова. Но и Кутузов где-то затерялся в жестоком побоище.

Русские солдаты, заведенные в ловушку австрийскими «немогузнайками», дрались мужественно и стойко. Впоследствии, на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал доблесть и упорство русских солдат.

Александр I, увлекаемый бегущими толпами, ехал к Аустерлицу. Он был ошеломлен случившимся. Он видел, что ни победы, ни славы нет, а есть ужас и позор поражения.

Кроме берейтора Ене, рядом с императором оказался только лейб-медик барон Вилие. И это было как нельзя более кстати: от всех тягостных волнений у Александра открылась «медвежья болезнь». Он вынужден был ежеминутно слезать с коня.

Императорская коляска, теплые вещи, кухня — все исчезло. Приходилось ехать верхом.

Отступающие, как всегда, ничего и никого не видели, старались лишь унести ноги. Беглецы распространяли слухи один ужаснее другого.

Александр I улышал, что генерал Кутузов убит, что он сам, «Александра Павлович», тоже убит.

Ссутулившись, стараясь не смотреть никому в глаза, трясся в седле Александр I.

К вечеру, измученный переживаниями и желудком, император Александр кое-как дотащился до деревни Годьежицы.

Вся деревня была забита обозами, фурами, ранеными и бежавшими с поля боя. Александр решил ехать дальше: гул орудий затихал, но он боялся все-таки, в довершение всего, попасть в плен.

Накрапывал дождь, дорога превратилась в грязное месиво.

Александр смог проташиться еще только семь верст — понос усилился, и он уже чуть сидел в седле.

Император принужден был остановиться в деревне Уржица, где ему с трудом нашли крестьянскую избу.

Забрызганный грязью, бледный, сидел за крестьянским столом у огарка свечи император Александр, держась за живот. Вилие дал ему тридцать капель опия и настой ромашки. Александру стало немного легче.

Вилие узнал, что тут же, в доме пастора, остановился император Франц, и пошел к обер-гофмаршалу Ламберти попросить у него для императора Александра вина, чтобы больной мог согреться. Но австрийский обер-гофмаршал отказал наотрез, сославшись на то, что у них самих вина очень мало.

Союзники показывали свое настоящее лицо.

XI

Поражение при Аустерлице больно отозвалось в столицах — Петербург и Москва были избалованы победами Румянцева, Суворова и других русских орлов.

Все обвиняли молодых министров, что они довели Россию до такого унижения. Народ ругал «немцев». Петербургские сапожники и портные в трактирах и полпивных лезли в драку с такими же ремесленниками-иностранцами с Васильевского острова за то, что они предали русских в бою.

Бонапарт, которого еще вчера называли не иначе как «корсиканский выскочка», теперь, явившись победителем, нашел себе поклонников и особенно поклонниц — дамы стали носить шляпы «наполеон».

Чтобы как-нибудь сгладить горечь поражения, Александр щедро роздал участникам Аустерлица ордена и медали. Старые армейские служаки, чью грудь украшали очаковские, измаильские кресты и ордена за Итало-Швейцарский поход, называли вновь награжденных «кавалерами аустерлицкого поражения».

Георгиевская дума постановила поднести орден Георгия первой степени самому главному виновнику «торжества», императору Александру, — «будучи преиспол-

нены благоговения к великим подвигам, которыми монарх лично подавал пример войску своему против неприятеля».

Но даже Александр I понял всю несуразность такой награды. Совершенно отказаться от ордена и тем признать свои ошибки у него не хватило воли и такта. Александр согласился принять Георгиевский крест, но самой последней, четвертой степени. Этим шагом Александр вновь попытался сложить с себя ответственность за аустерлицкое поражение, заявив, что орден Георгия первой степени дается только за «распоряжения начальственные», а что он-де «не командовал, а храброе войско свое привел на помощь своему союзнику».

Меньше других был, конечно, награжден Михаил Илларионович Кутузов.

Когда оба императора вместе со всеми своими вейротерами бежали без оглядки, Кутузов оставался на поле боя и принял командование. Он постарался спасти от окончательного уничтожения расстроенные полки, и сам был при этом ранен в левую бровь.

Александр всегда не любил Михаила Илларионовича, а теперь окончательно возненавидел его и всю вину за аустерлицкое поражение свалил на ни в чем не повинного главнокомандующего.

Александр назначил Кутузова на новый пост — генерал-губернатором в Киев.

Это снова была плохо замаскированная опала.

Глава десятая

РУЩУКСКАЯ ВИКТОРИЯ

I

В Киеве Кутузова ждала полная своих каждодневных хлопот и забот мирная жизнь большого города, ждали скучные гражданские дела.

Михаилу Илларионовичу пришлось заниматься борьбой с воровством — очень уж много оказалось в Киеве взломов и краж; уличным освещением — в других губернских городах употребляли для фонарей масло, здесь почему-то ставили свечи, которые быстро сго-

рали; наводил порядок на ежегодной контрактной ярмарке, следил за ценами на поставку продовольствия и фуража.

Были и свои, личные заботы о деньгах, о том, что бы такое продать из горошкинских запасов, как бы вывернуться и послать в Петербург Кате хотя бы тыщонку рублей. Она жила, как и раньше, не по средствам: устраивала у себя приемы, легко тратила деньги и еще легче подписывала векселя. И долги росли год от году.

Среди этих нудных своих и чужих мелких дел, неизбежной бумажной переписки, от которой болели слабые глаза, среди генерал-губернаторских приемов и визитов Михаил Илларионович все-таки не забывал о более высоком. Привычным, опытным глазом старого дипломата он внимательно следил за тем, что происходит в Европе.

Русской армии вновь представлялась работа: на западной границе опять вспыхнула война с Наполеоном.

Пруссский король все время пытался усидеть между двумя стульями: заключил союз с Александром против Наполеона, а с Наполеоном — против Александра. Но в конце концов не избежал войны с Францией.

Наполеон в одну неделю разгромил прусскую армию и занял Берлин. Королевская семья бежала в Кенигсберг.

Наполеон поселился в королевском дворце в Берлине и ежедневно принимал ключи от позорно, без боя, сдававшихся прусских крепостей.

Александр I вспомнил синие прекрасные глаза королевы Луизы, их платонические беседы наедине — на большее он был не способен, свои клятвы в дружбе королю и решил прийти на помощь Пруссии, хотя России следовало бы думать не о благополучии Пруссии, а о защите и целостности своих границ. Это не только понимал, но об этом даже беспокоился умный поляк Адам Чарторыйский, когда предостерегал Александра: «Доверяясь Пруссии и слепо подчиняясь ее внушениям, Россия готовит себе неминуемую гибель».

Но «кроткого упряма» было невозможно переубедить. Он написал прусскому королю: «Будучи вдвойне связан с Вашим величеством в качестве союзника и узами нежнейшей дружбы, для меня нет ни жертв, ни усилий, которых я не совершил бы, чтобы доказать Вам всю мою преданность дорогим обязанностям, налагаемым на меня этими двумя наименованиями».

Александр было легко жертвовать русскими людьми — он к ним не питал таких нежных чувств, как к пленительной королеве Луизе!

Началась новая война против «общего врага тишины в Европе» Наполеона.

Встал вопрос о главнокомандующем армии.

Сам Александр I на этот раз благоразумно не выражал желания руководить войсками лично.

Сановные доморощенные полководцы, никогда не нюхавшие пороху, и придворные дамы, обожавшие своего «ангела», Александра I, и тоже принимавшие деятельное участие в выборе командующего, не хотели и слышать о Михаиле Илларионовиче Кутузове. По их мнению, Кутузов нарочно дал возможность этим мальчишкам, генерал-адъютантам царя, проиграть Аустерлицкое сражение, чтоб сконфузить Александра I.

— Вот нет Суворова! — жалели все. — Он бы!..

И тут все вдруг вспомнили о фельдмаршале Михаиле Федотовиче Каменском. Каменский всю жизнь старался быть таким оригинальным, как великий Суворов, но только старался, а не был им. Каменский жил на покое у себя в орловском поместье. Ему было около семидесяти лет.

Но ведь и Суворову было не меньше, когда он отправился в Итало-Швейцарский поход!

Александр I назначил Михаила Федотовича Каменского главнокомандующим русской армией, предназначенной действовать против Наполеона...

Встреченный в Петербурге как спаситель отечества, Каменский еще бодрился. Восторженный прием во дворце временно придал старому фельдмаршалу силы. Но, отправившись к армии, он понял все-таки, что взялся не за свое дело, и стал слать царю с курьерами такие письма:

«Я лишился почти последнего зрения: ни одного города на карте сам отыскать не могу... Боль в глазах и голове; не способен я долго верхом ездить, пожалуйста мне, если можно, наставника, друга верного, сына отечества, чтобы сдать ему команду и жить при нем в армии. Истинно чувствую себя не способным к командованию столь обширным войском».

И в молодости отличавшийся странностями, Каменский повел себя в действующей армии так, что его вполне можно было считать сумасшедшим.

Мало доверяя собственным силам и вовсе не доверяя никому другому вообще, он в неделю запутал в армии все до невероятия. Каменский сам лично писал маршруты, сам отправлял курьеров, ездил от одной дивизии к другой, отдавал противоречивые приказания и кончил тем, что бросил армию и самовольно уехал в Россию, написав с дороги в свое оправдание царю:

«Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, которому был избран... таковых, как я, в России тысячи».

Генерал Беннигсен, оставшийся вместо него, принял бой под Пултуском, и русские войска неожиданно для генерала Беннигсена одержали победу.

Пришлось опять думать о главнокомандующем.

Александр всегда относился презрительно к русским генералам. По его мнению, в России вообще не существовало никого, кто мог бы возглавить армию, кроме него самого, конечно.

«Где у нас тот человек, пользующийся общим доверием, который объединил бы военные дарования с необходимою строгостию в деле командования?» — писал он своему любимцу, дежурному генералу армии Петру Толстому.

Когда Александр пытался наметить кандидатуру на этот ответственный пост, ему приходили на ум разные, малопопулярные и столь же малодаровитые, но нерусские по происхождению генералы вроде Кнорринга, Мейендорфа или Сухтелена.

В конце концов Александр остановился на ганноверском ландскнехте бароне Беннигсене, который командовал под Пултуском. Беннигсен был больше других «тот человек», о котором думал Александр. «Необходимая строгость» у него присутствовала. Александр не забывал ее: в ночь на 11 марта Беннигсен один оказался в Михайловском замке на высоте положения.

Война с Наполеоном продолжалась девять месяцев. Русские еще раз одержали победу при Прейсиш-Эйлау, но потерпели поражение под Фридландом.

После Фридланда Александр, долго не раздумывая, покинул свою союзницу Пруссию и подписал перемирие с Наполеоном.

Он давно ждал такого же вероломства со стороны Пруссии, а на деле сам первый встал на такой скользкий путь.

Для чувствительной Луизы Прусской это было двойным страшным ударом: с одной стороны — измена возлюбленного, с другой — предательство союзника. Подавленная случившимся, Луиза так писала своей подруге об Александре:

«Он не заслуживает больше писем от меня, так как он мог забыть обо мне в момент, когда все соединялось, чтобы сделать меня так беспощадно несчастной, когда не оставалось страданий, с которыми бы я не познакомилась. Нет, правда, мир — не лучший из миров, и люди в нем не лучшие из людей. Не нужно Лагарпов для моих сыновей».

Летом 1807 года в Тильзите, на Немане, Александр встретился с Наполеоном, и здесь в годовщину Полтавской битвы был заключен мир.

Наполеон ратовал за двойственное соглашение между Францией и Россией. Он не хотел никаких третьих лиц, вроде Австрии.

— Я часто спал вдвоем, но никогда втроем, — сказал он по этому поводу Александру.

Александр назвал это выражение «прелестным».

Если бы он пожелал говорить так же откровенно, как Наполеон, то вынужден был бы сказать, что всегда предпочитал обратное: спать в одиночку, делая вид, будто спит вдвоем.

Такого приема Александр придерживался и в политике, и в жизни.

Еще накануне тильзитского свидания Наполеон в русской официальной переписке неуважительно именовался «Буонапарте», в воззваниях синода — «антихристом» и «супостатом», в просторечии же — «авантюристом», а после тильзитского свидания стал Александру «другом» и «братом».

— Как же наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с эти окаянным нехристом? — недоумевал какой-либо мужичок, узнав о том, что Александр встретился с Наполеоном на плоту среди Немана.

— Эх, братец, ты не понимаешь дела! — урезонивал его более смекалистый. — Разве не знаешь: встретились на реке. Наш батюшка Ляксандра Павлыч и повелел приготовить плот, чтоб сперва окстить Бонапартия, а потом уж допустить перед свои светлые очи!..

Еще в начале войны, в 1806 году, Наполеон натравил на Россию турок, чтобы ослабить силы русских.

Последние сто лет Турция была тесно связана с Францией. Французские инженеры строили туркам крепости и корабли, заводили артиллерию и старались, чтобы турки вели войны, служившие интересам Франции.

Кутузов, будучи в Константинополе, метко охарактеризовал турок в письме к русскому послу в Польше Сиверсу:

«Верный градусник дел здешней страны — дела самой Франции. Кажется, Оттоманская империя предназначена только служить флюгером Франции».

Наполеон убедил султана Селима III, что теперь Турция сможет вернуть себе Крым и Причерноморье. Французский посол в Константинополе генерал Себастиани пообещал туркам военную помощь. И турки, забыв, что еще так недавно, семь лет тому назад, в союзе с русскими были под командой адмирала Ушакова французов на Ионических островах, безо всяких поводов со стороны России объявили ей войну.

Борьба с турками продолжалась шесть лет.

Главная русская армия была занята на западном фронте. Против турок на Дунае могли действовать лишь сравнительно небольшие силы.

За пять лет войны в Молдавской армии сменилось пять командующих. Тут были талантливые Багратион и Каменский-сын и малодаровитые: Михельсон, все воинские доблести которого заключались в поимке Пугачева, вероломно выданного своими друзьями; Ланжерон, французский эмигрант, завистник и интриган, и семидесятилетний князь Прозоровский, прозванный «Сиречь» за пристрастие к этому слову, которое он употреблял без меры.

Прозоровский был глух и так дряхл, что напоминал мумию. С утра его приводили в чувство мадерой и затыгивали в корсет. В течение дня он кое-как еще мог держаться прямо и даже, посаженный в седло, ездил на смиренной лошади верхом.

Прозоровский был мелочен и придиричив. Будучи московским генерал-губернатором, он прославился как гонитель Новикова. По приказу Прозоровского сожгли карамзинский перевод «Юлия Цезаря» Шекспира. Прозоровский был круглый невежда, но считал себя поэтом и, уезжая на Дунай, сочинил вирши:

Побью — похвалите,

Побьют — потужите,

Убьют — помяните.

Ни хвалить, ни тужить не пришлось. И его не убили: он умер у себя в лагере под Мачином от дряхлости и ожорства.

За пять лет войны русские овладели рядом турецких крепостей, но достичь настоящего успеха на театре военных действий не могли. Происходило это потому, что ярый пруссофил Прозоровский, благоговевший перед Фридрихом II, придерживался его тактики и стратегии: хотел овладеть турецкими крепостями, не стараясь разгромить живую силу противника. Прозоровский умер, а его система ведения войны на Дунае как-то сама собою перешла к его преемникам.

Крепости были разбросаны по обеим сторонам Дуная, они отвлекали, распыляли и без того слабые силы русских. И из года в год получалось так, как впоследствии верно сказал один историк: «Половину года мы повторяли старые ошибки, а вторую употребляли на их исправление».

Война, достаточно надоевшая и Турции и России, стоившая немало людей и средств, тянулась безрезультатно шесть лет. Обе стороны были бы не прочь помириться, но не сходились в условиях: Александр настаивал, чтобы граница шла по Дунаю, а турки не соглашались. Их воинственный пыл по-прежнему разжигала Франция, которой русско-турецкая война была на руку.

Несмотря на встречи Наполеона с Александром в Тильзите и в 1808 году в Эрфурте, отношения России и Франции год от году становились напряженнее.

К 1811 году стало ясно, что военное столкновение — дело ближайших дней. От Пиренеев до Одера, от Зунда до Мессинского залива — была Франция. Стремясь к мировому господству, Наполеон захватил всю Европу. Его гарнизоны стояли на всех границах с Россией, готовые к походу.

При таком положении турецкий фронт приобретал сугубое значение. Всем было понятно, что, в случае войны с французами, Турция будет представлять правый фланг Наполеона, угрожая Украине и Крыму. Затянувшуюся, надоевшую и малопопулярную войну надо было кончать, и как можно скорее. Всякое промедление теперь было поистине смерти подобно.

Кутузов с лета 1809 года жил в своей давно знакомой и любимой Вильне: царь назначил его литовским военным губернатором. Александр продолжал держаться в отношении Кутузова старой линии — неприязни. Перевод из Киева в Вильну Михаил Илларионович понял как понижение: в Вильне в то время было мало войск и это назначение походило на замаскированную ссылку. Но, с усилением угрозы Наполеона, Вильна стала постепенно приобретать все большее значение.

В феврале 1811 года военный министр Барклай де Толли написал Михаилу Илларионовичу, что, ввиду болезни Николая Михайловича Каменского, царь предполагает назначить вместо него в Дунайскую армию Кутузова. Барклай кончал письмо так:

«По всем соображениям, кажется, слава заключить мир предназначена Вашему высокопревосходительству. Мне же позвольте заранее поздравить Вас с сим знаменитым назначением».

Прочтя письмо, Михаил Илларионович усмехнулся: это был очередной лисий ход императора Александра. Из писем жены Михаил Илларионович знал уже, что царь собирается назначить Николая Михайловича Каменского-сына командующим 2-й армией, которая будет действовать против Наполеона. Друзья из Петербурга прислали Кутузову даже копию рескрипта Александра молодому Каменскому. В рескрипте были поставлены все точки над «и»:

«Перемена в образе войны противу турок и убавление Молдавской армии соделывают в моих предположениях необходимым употребить блистательные способности Ваши к важнейшему начальству. Болезнь Ваша доставила мне случай исполнить оное без обращения лишнего внимания на сие перемещение.

Я дал повеление генералу Кутузову поспешить приездом в Букарест и принять командование Молдавскою армиею. Вам же предписываю, сдав оную под видом слабости здоровья Вашего после столь тяжелой болезни преемнику Вашему и известя его подробно о всех моих намерениях, отправиться, сколь скоро возможно будет, в Житомир, где получите Вы от меня повеление принять главное начальство над 2-ю армиею...»

Стало быть, Александр только поэтому и вспомнил о Кутузове!

А фраза Барклая о славе и мире теперь, когда положение русской армии на Дунае стало тяжелее, чем когда-либо за все шесть лет, казалась просто иронической. И само преждевременное поздравление военного министра выглядело не лучше.

«Нечего сказать, «знаменитое» назначение! — думал Михаил Илларионович. — Пять дивизий сняли для западного фронта, на Дунае осталось всего четыре, и вот извольте с ними добиться победы и мира! За пять лет с большими силами не сделали ничего, а тут хотят, чтобы я с горстью людей победил в одну минуту!»

Делать было нечего, приходилось благодарить министра за поздравление. Но в письме к Барклаю Михаил Илларионович все-таки вскользь заметил: «Случай дали мне познания той земли и неприятеля». Этим он как бы говорил: «Я столько лет имел дело с турками, так хорошо знаю их, а вы только теперь удосужились предложить мне пост командующего!»

7 марта 1811 года последовал рескрипт царя о назначении Кутузова на Дунай.

Михаил Илларионович не возрадовался рескрипту: он попадал в невыгодную историю. Задачи, как военная, так и дипломатическая, предстояли труднейшие. Кутузову, с его вдвое меньшими силами, в напряженнейший политический момент требовалось совершить то, чего не сделали исподволь за шесть лет все его предшественники.

Положение осложнялось еще тем, что турки, ободренные шестью годами войны, не принесшей России победы, готовились сами к активным действиям. От султана, конечно, не скрылось то, что из Дунайской армии русские оттянули к своим границам пять дивизий из бывших девяти. Знали турки и о том, что Наполеон готовит войну против России.

II

15 марта 1811 года Кутузов безо всякого удовольствия оставлял милую, живописную Вильну и отправлялся в Бухарест, где была главная квартира командующего Молдавской армией.

Вот уже позади остался роскошный генерал-губернаторский дворец. Замковая гора с башней Гедимина и еще черными, голыми деревьями, узкие средневековые улочки и Острая Брама, перед которой во всякую погоду стоят коленопреклоненные молящиеся.

Дальше, на многие сотни верст, протянулся давно знакомый путь через Минск — Ровно — Житомир. Он шел широким большаком, обсаженным с каждой стороны двумя рядами берез «екатерининским трактом» мимо серых, бедных белорусских деревень и грязных еврейских местечек. А потом вырывался на степной простор, где на встречу путнику выбегали белые, веселые украинские хатки и стройные тополя.

В последние годы Михаил Илларионович несколько раз проделывал этот путь. Еще два месяца назад он ехал так же из Вильны к себе в Горошки в отпуск, а затем возвращался этим же путем обратно. Правда, тогда в санях было покойнее, а теперь в коляске, несмотря на рессоры, порядком трясло.

От Вильны до Бухареста Михаил Илларионович ехал две недели.

Дни стояли здесь по-настоящему весенние — солнечные и теплые, а к ночи становилось холодно и сыро. Проезжая вечером через небольшое молдаванское село, где, видимо, располагался батальон какого-то мушкетерского полка, Михаил Илларионович увидел из коляски, как ежась на резком ветру в истертых шинелишках, а главное — в парусиновых брюках (уже поспешили выдать взамен зимних, суконных!) часовые.

«Это не дело! Ишь как беднягу кашель бьет! Так в госпитале окажется больше людей, чем в строю!» — озабоченно подумал Михаил Илларионович.

Кутузов очень хорошо помнил, что в Молдавской армии осталось всего четыре пехотные и две кавалерийские дивизии и что поэтому дорог буквально каждый солдат.

А на следующее утро Михаил Илларионович в другом лагере увидел иную картину, еще более возмущившую его. На площади маленького городка усатый унтер-офицер, тараща глаза, обучал молодых солдат самой пустой и ненужной прусской муштре.

Император Александр мог бы порадоваться такой гатчинской сценке: палочная пруссомания еще цвела в Молдавской армии пышным цветом! Положим, в том не было ничего мудреного: и Прозоровский, и Каменский-сын, и Ланжерон — все командующие были яркими поклонниками Фридриха II.

— Вот учат, как вытягивать носок, а стрелять в цель поди не догадаются обучить! — высказал вслух свое негодование Кутузов.

31 марта Михаил Илларионович приехал в Бухарест. Николай Михайлович Каменский не делал вида, что тяжело болен, а на самом деле лежал при смерти. Командующим Дунайской армией как-то не везло: здесь умерли старики Михельсон и Прозоровский, теперь умирал от лихорадки тридцатитрехлетний Каменский.

Кутузову было искренне жаль Николая Михайловича, но невольно подумалось о царском рескрипте и намерениях Александра I: «Человек предполагает, а бог располагает!»

Еще не приступая к приему дел по армии, Михаил Илларионович прежде всего отдал одно весьма тактичное и дальновидное распоряжение. По дороге в Бухарест он услышал от жителей жалобы на то, что они за пять лет войны не могут спокойно ни посеять, ни убрать свой хлеб.

Кутузов запретил войскам брать подводы у крестьян.

Этот приказ произвел огромное впечатление на жителей. В первое же воскресенье молдаво-валахский митрополит Игнатий сказал по этому поводу в Бухарестском соборе слово. Рассказав о подвигах Кутузова как полководца и дипломата, митрополит отметил большую человечность русского командующего.

— Он дает возможность землепашцу спокойно сеять.

Он предотвращает голод, от которого так ужасно страдала наша страна,— сказал митрополит.

С первого дня своего вступления в командование Кутузов засуча рукава энергично принялся за дело. Прежде всего он уточнил свое положение и силы. По спискам в Молдавской армии осталось всего сорок шесть тысяч человек, но это было лишь на бумаге. Как и предвидел Кутузов, в каждом полку много людей болело. Легко одетые солдаты мерзли по ночам и простуживались. Всею виною были эти парусиновые «парталоны», как обычно писали штабные писаря.

— В Дунайской армии полезно было бы и летом носить зимние,— говорил Кутузов.

Он знал, что пока переменить это нельзя, и думал, чем бы помочь делу.

Русская армия занимала тысячеверстное расстояние. Часть войск составляла гарнизоны крепостей Рущук, Никополь и Силистрия — на правом берегу Дуная. Крепости Кутузову были не нужны: он решил действовать иначе, нежели все бывшие до него командующие Молдавской армией.

Кордонная система расположения войск, применявшаяся его предшественниками, не соответствовала планам Кутузова. Он хотел разгромить живую силу врага, а не заниматься турецкими крепостями и не сидеть сиднем в своих. Кутузов стал стягивать силы к трем пунктам — Бухаресту, Журже и Рущуку, зорко наблюдая за тем, что предпринимает неприятель. Турки собирали отовсюду войска к Шумле и Софии, готовясь к наступлению. Намереваясь вести эту трудную кампанию по-своему, осторожный Кутузов, как обычно, старался тщательно подготовиться к ней и все предусмотреть. Он всегда помнил, как делал в таких случаях Суворов. Ярче других суворовских примеров выступала в памяти подготовка Суворова к штурму Измаила.

Кутузов составил план предстоящей войны. План являлся итогом многолетних наблюдений над противником, обобщением всего опыта последних войн русских с турками.

В плане, между прочим, говорилось:

«Против турок не должно действовать, как против европейских войск, всею массою совокупно.

Разделить всю армию на два или три корпуса отдельные, которые не должны озабочиваться иметь сношения

между собою, но всякой должен действиями своими располагать по обстоятельствам к преодолению всех могущих представиться препон.

Против турок безопасно можно с таковыми сильными корпусами вдаваться в отважные предприятия, не имея между собою никакого сообщения. Всякое неожиданное или новое действие приводит их всегда в такое смятение, что не можно предположить, в какие вдадутся они ошибки и сколь велик будет наш успех.

Сверх того, против турок успех зависит не от многолюдства, но от расторопности и бдительности командующего генерала. Фельдмаршал граф Румянцов всегда говорил, ежели б туркам удалось разбить наш корпус, состоящий из двадцати пяти тысяч человек, то и пятьдесят имели бы ту же участь».

Кутузов твердо знал, что не предоставит туркам этой возможности.

III

Михаил Илларионович начинал день в Бухаресте с прогулки по саду — командующий Молдавской армией жил в особняке богатого валашского боярина.

Он старался побольше двигаться, чтобы не толстеть, — склонность к полноте у Кутузова была смолоду, а в последние годы тучность стала особенно одолевать Михаила Илларионовича: кафтаны, шитые год назад, не сходились.

Пешие утренние прогулки Михаил Илларионович завел еще в Киеве, где при генерал-губернаторском дворце был расположен громадный сад, гулять в котором было тем более приятно, что в нем пели соловьи.

Особых результатов от прогулок Кутузов не видел, но оставить их все-таки не решался.

Обычно во время прогулки его сопровождал полковник Резвой или правитель канцелярии капитан Кайсаров.

Сегодня Михаил Илларионович ходил один. Сад стоял, как невеста, весь в нежном цвету. Кутузов шел не торопясь, заложив руки назад. Пальцы едва сходились за спиной. В последние полгода он, кажется, снова пополнился: в Вильне Михаил Илларионович гулял меньше, нежели в Киеве и у себя, в Горошках. Это раздражало

его. Он невольно вспомнил, как две недели назад приехал сюда.

Бухарест встретил его торжественно и радушно. Коляску нового командующего ждала — кроме официальных лиц — пышная толпа валашских бояр и их ярко и порой безвкусно одетых жен и дочерей.

Валашки, наслышанные об европейской учтивости, галантности генерала Кутузова, о том, что он, несмотря на занятость, любит уделять время светскому обществу, театрам и балам и неизменно оказывает внимание дамам, встретили Кутузова цветами и улыбками. Яркая, шумливая толпа окружила карету командующего. Цветник живописно нарядных дам возглавляла жена знатного валашского негоцианта, красавица Смарагдецкая. И — о конфуз! — Смарагдецкая протянула Михаилу Илларионовичу руку, помогая вылезть из коляски.

«Проклятая тучность!» — досадливо вспомнил эту сцену Кутузов, снимая фуражку и вытирая вспотевший лоб платком. Дожил до того, что молодая женщина протягивает ему руку помощи! До сих пор он всегда помогал дамам выходить из кареты, а теперь... Правда, госпожа Смарагдецкая очень порывиста и немного более восторженна, чем следует, но все-таки женщина, и притом хорошенькая!

Никак не хотелось мириться с тем, что ему уже шестьдесят шесть лет, что, в сущности, как ни верти, а — старость...

Он не спеша зашагал по дорожке. Мысли о старости невольно вызвали мысли о смерти. И Михаил Илларионович вспомнил о трагической гибели командира 9-й дивизии генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, сына прославленного полководца. Все последние дни Михаил Илларионович жил под впечатлением этого ужасного события.

Кутузов знал и любил Аркадия Суворова с детства, и его преждевременная нелепая смерть потрясла Михаила Илларионовича.

Ни лицом, ни фигурой Аркадий Суворов не напоминал отца. Высокий, белокурый, он был красив, но красотой не отцовской, суворовской, а материнской — Прозоровских. Не получив систематического образования, Аркадий Суворов дослужился до чина генерал-лейтенанта. Он ничего не читал, не был так жаден к знанию, как его великий отец, и увлекался только охотой и картами. И лишь характером немного походил на отца: имел ясный ум, был добр, общителен, прост и храбр. Офицеры и сол-

даты его дивизии обожали своего двадцатилетнего начальника.

И вот 13 апреля 1811 года, возвращаясь из Бухареста в Яссы, где располагалась 9-я дивизия, Аркадий Суворов должен был переезжать через дрянную речонку Рымна, которая когда-то прославила его отца и название которой было присоединено к их фамилии.

Аркадий Александрович до этого неоднократно переезжал ее вброд без всяких приключений. Рымна была неширока и неглубока, и в первый раз, когда Аркадий Суворов увидел ее, он даже пошутил: «Я вижу, что мой батюшка иногда любил преувеличить: он рассказывал, что в этой речонке потонули во время сражения тысячи турок. Да через Рымну курица пройдет, не замочив ног!»

Но перед 13 апреля прошли сильные дожди. Маленькая, тихая Рымна вздулась и превратилась в широкую, бурную реку.

Стоявшие на берегу молдаване и суруджи предупреждали генерала Суворова: «Не ездите, ваше превосходительство!»

Но горячий Аркадий Александрович (в этом он был вылитый отец) возмутился и крикнул своему ямщику: «Чего боишься? Поезжай!»

Не успела коляска въехать в реку, как ее опрокинуло. Ямщик, плохо плававший, стал тонуть. Генерал Суворов, успевший сбросить шинель, кинулся ему на помощь. Ямщик кое-как уцепился за коляску, и его, порядком избитого о камни, выбросило на берег, в полуверсте от места переправы. А генерал-лейтенант Аркадий Суворов утонул.

И вот это печальное происшествие не выходило из головы у Михаила Илларионовича. Точно он чего-то недосмотрел, точно он был виноват в смерти сына своего учителя и друга — Суворова.

И теперь Кутузов шел, с грустью думая о молодом Аркадии, так рано окончившем все расчеты с жизнью.

Сзади по дорожке послышались шаги. Михаил Илларионович обернулся и увидел шедшего к нему от дома генерал-лейтенанта Александра Федоровича Ланжерона.

Большим носом, наглым, чуть навывкате, коричневыми глазами, в которых было не столько ума, сколько высокомерия, хохолком по моде взъерошенных волос граф Лан-

жерон напоминал забяку-петуха. Узкие губы его были всегда сжаты. Вот и теперь он, меньший летами, опытом и чином, шел к старому Кутузову с таким видом, словно учитель к ученику.

Граф Ланжерон, французский эмигрант, был не бог весть какой вояка. Он участвовал в штурме Измаила, в прошлом году отнял у турок Силистрию и поэтому считал себя непревзойденным полководцем. Интриган, сплетник и завистник, он никого не уважал и не ценил, кроме самого себя.

До приезда Михаила Илларионовича в Молдавскую армию Ланжерон временно командовал ею вместо больного Каменского и теперь безо всяких оснований считал себя обиженным: почему Молдавскую армию вверили не ему, а Кутузову?

За плечами Кутузова Ланжерон судил о его действиях и приказах вкривь и вкось, нагло уверял, что Кутузов ничего не предпринимает без его совета.

— Михаил Илларионович, — сказал Ланжерон, здороваясь с Кутузовым, — посланный в Шумлу вернулся. Я прав: визьре новый!

Несколько дней тому назад в болгарских деревнях правого берега Дуная распространился слух о том, что султан назначил вместо престарелого, нерешительного Юсуф-паши нового. Кутузов послал в Шумлу разведчика под предлогом пересылки в Турцию писем турецких пленных, находящихся в России.

Почему Ланжерон считал правым себя? Ведь Михаил Илларионович не оспаривал слуха, Ланжерон же передавал слышанное от других. Кутузов не стал допытываться у Александра Федоровича об этом — фраза Ланжерона была во всегдашней манере надменного и наглого француза.

— И кто же назначен вместо Юсуфа? — обернулся к Ланжерону Кутузов.

— Ахмед-паша. Знаете, он был начальником Браиловского гарнизона. В прошлом году он прекрасно отбил приступ князя Прозоровского, — не без удовольствия рассказывал Ланжерон. — Ахмед-паша — деятельный и дельный азиат. С ним придется считаться!

— А я с Ахмед-пашой посчитался уже двадцать лет назад, — спокойно ответил Михаил Илларионович, — летом тысяча семьсот девяносто первого года разбил его при Бабадаге... А потом встречался с ним в мирной об-

становке — вместе пили прекрасный кофе и курили чудесный табак в Константинополе. Ахмед часто сопровождал меня в поездках по Константинополю... Мы — старые друзья, — с легкой улыбкой закончил Михаил Илларионович.

Высокий Ланжерон искоса, сверху глянул на небольшого Кутузова, но ничего не сказал — превосходства не получилось!

— Так, может быть, нам можно воспользоваться этой старой дружбой? — минуту помолчав, предложил Ланжерон.

«Яйца курицу не учат!» — язвительно подумал Михаил Илларионович, но сказал:

— Такая глубокая мысль делает вам честь, граф. Я об этом сразу же подумал и сам.

И, как мог ускорив шаги, направился к дому.

Граф Ланжерон, звеня шпорами, шествовал сзади надменным петухом. Михаил Илларионович прошел прямо к себе в кабинет. Проходя через приемную, он молча кивнул головой Кайсарову, который что-то диктовал писарю. Капитан бросился вслед за командующим.

Михаил Илларионович повесил фуражку на вешалку и устало опустился в кресло.

«Ходишь-ходишь, а вот ноги не держат», — подумал он.

— Будем писать письмо моему другу, новому vizрю Ахмед-паше. — И стал диктовать:

«Благороднейший и прославленный друг!

Мне было весьма приятно по моем прибытии в армию узнать о почти одновременном возвышении Вашей светлости в ранг первых особ Османской империи. Я спешу в связи с этим принести Вам мои искренние поздравления и пожелания. К этому побуждает меня давность нашего знакомства, начавшегося около девятнадцати лет тому назад. Я вспоминаю то время с истинным удовольствием и радуюсь счастливому обстоятельству, которое ставит меня теперь в непосредственные отношения с Вашей светлостью и позволит мне иногда выражать чувства, которые я сохранил к Вашей светлости с того времени, ибо я осмеливаюсь считать, что несчастные обстоятельства, разделяющие обе наши империи, ни в коей мере не повлияли на нашу старинную дружбу. Она не находится

в противоречии с тем усердием и той верностью, которые мы оба должны испытывать к нашим августейшим монархам».

IV

В войне, как и в дипломатических переговорах со всякою державою, а с Турцией особенно, не должно забывать двух главных союзников — терпение и время.

Кутузов

Через несколько дней после отправки письма визирю приехал из Петербурга к Кутузову старый известный дипломат Андрей Яковлевич Италинский. Это был очень образованный человек. Окончив Киевскую духовную академию, Италинский изучал медицину в Петербурге, Париже и Лондоне и в Лондоне же получил звание доктора медицинских наук. Италинский служил послом в Неаполе и Константинополе. Ему-то канцлер Румянцов и поручил вести с турками переговоры о мире.

Италинский представил Кутузову своих сотрудников (один был лет сорока пяти, другой — помоложе):

— Надворный советник Петр Антонович Фонтон, секретарь нашей миссии в Константинополе. А это его брат, Антон Антонович, третий драгоман посольства.

— Очень приятно. Стало быть, целое семейство Фонтонов, — улыбнулся Кутузов.

— Ваше высокопревосходительство, Фонтоны вообще фамилия драгоманская, — ответил с такой же улыбкой надворный советник.

— Как же, знаю. У меня в Константинополе был знакомый Фонтон — Иосиф Петрович.

— Это наш двоюродный брат, — сказал младший Фонтон.

Италинский хотел тотчас же отправить Петра Фонтоната в Шумлу к визирю, но Михаил Илларионович отсоветовал: пусть визирь раньше ответит на кутузовское письмо, а то еще, чего доброго, загордится!

Кутузов напомнил Италинскому азбучную дипломатическую истину: в переговорах с турками никогда не следует делать первого шага — они обязательно сочтут это за слабость.

Италинский согласился с доводами Кутузова. Стали ждать.

Визирь ответил быстро. Он писал:

«Поспешность, с которой Ваше превосходительство известили меня о своем назначении, поздравления, которыми Вы почтили меня по случаю моего вступления в верховный визириат и желание возобновить наши частные, старинные, дружеские отношения, все это мне чрезвычайно приятно и побуждает вознести мольбы к всевышнему, чтобы несогласия и вражда, продолжающиеся до настоящего времени между двумя империями, которые некогда были соединены узами дружбы, были бы как можно скорее устранены и чтобы нам суждено было сделаться орудиями мира».

Ахмед предлагал прислать своего уполномоченного для переговоров, — видимо, война и туркам была в тягость.

Кутузов потирал руки от удовольствия: враг сам предлагает мириться, хотя положение турок во всех отношениях предпочтительнее.

— Теперь можно отправить старшего Фонтоната, — сказал он и спокойно уехал проверять пехотную дивизию.

Михаил Илларионович вернулся из дивизии, успел побывать в двух других, а Фонтон все еще не возвращался из Шумлы. Старик Италинский явно беспокоился. Тревожился, не подавая вида, и Кутузов.

Наконец Фонтон прислал командующему рапорт. Он писал, что визирь оттягивает назначение уполномоченного для переговоров. Турция считает, писал он, что ее военнополитическое положение стало лучше, чем в прежние годы, а Россия, наоборот, находится в затруднительных обстоятельствах и ей нужен мир.

Сразу подул каким-то другим ветром.

Кутузов не мог догадаться, в чем секрет внезапной перемены настроения визиря.

Письмо, которое он дал Фонтону для передачи визирю, было очень осмотрительное и осторожное. В нем Кутузов сообщал лишь, что шлет в Шумлу Фонтоната, исходя из настойчивого желания самого визиря.

— Андрей Яковлевич, что вы написали визирю, отправляя Фонтон? — спросил Италинского Кутузов.

— Я написал, что по велению его императорского величества назначен для ведения мирных переговоров, — ответил Италинский.

Кутузову сразу все стало ясно.

Он не сказал ничего: не хотел огорчать старого дипломата.

Когда же Италинский ушел, Михаил Илларионович не мог успокоиться целый вечер. Он ходил по кабинету и изливался перед старым другом, полковником Резвым:

— Все испортила эта киевская кутья, эта колокольня Ивана Великого!

— И на старуху бывает проруха, Михаил Илларионович, — попытался оправдать Италинского Резвой.

— Понимаешь, Павел Андреевич, я ни разу не проговорился визирю, что бегаю за миром. Но когда визирь прочел в письме Италинского, что государь назначил его вести мирные переговоры, турку все стало ясно. Он понял, что я водил его за нос. И Ахмед сразу же начал жеманиться, как богатая невеста. Раньше он готов был на руках нести к нам своего уполномоченного, а теперь, вишь, как кобенится! Отправляет его через силу, словно еще вчера не набивался отправлять сам! Так хорошо было налажено, и вдруг, одним ударом, все полетело к черту! Всю жизнь дипломат, зубы на этом съел, дослужился до тайного советника, это по-нашему, по-военному, чин генерал-лейтенанта, и так не понимать! — возмущался Кутузов Италинским.

— И у нас случается: генерал, а командовать батальоном не может!

— А тот же надворный советник Фонтон! Если бы он в первую минуту, как визирь стал артачиться, попросил бы отослать его назад, то визирю пришлось бы менять тон. Но, к сожалению, надворный советник соответствует тайному. Два сапога — пара. Теперь надежда только на меч. Не хотят мириться добром, иначе поставим!

Через день приехал из Шумлы Фонтон с турецким уполномоченным Абдул-Гамид-эфенди и его свитой.

Уполномоченный оказался молодым рыжебородым человеком. Он сразу же заявил, что если русские будут настаивать на границе по Дунаю, а не по Днестру, то он не имеет права вести переговоры.

Дело принимало еще более плохой оборот.

Упрямый и недальновидный Александр I настаивал на границе только по Дунаю.

«Мир же заключать, довольствуясь иною границей, не жели Дунай, я не нахожу ни нужды, ни приличия», — еще в январе 1811 года писал он Каменскому. Этот рескрипт оставался в силе и для Кутузова.

Писать царю о том, что лучше пойти туркам на уступки, чем иметь их на своем левом фланге в предстоящей войне с Наполеоном, Кутузов не хотел. Он слишком хорошо знал упрямый нрав царя, который не признавал ничьих советов, особенно в делах военных.

Предшественники Кутузова пытались давать подобные советы, но безуспешно: Александр I не хотел и слышать об иной границе.

Приходилось выжидать: авось царь сам поймет несвоевременность своего упрямства в сравнительно мелком вопросе.

Италинский был растерян и сконфужен: он понял свой промах, но делать было нечего.

— Надо постараться удержать подольше в Бухаресте Абдул-Гамида, — раздумывал вслух у себя в кабинете Михаил Илларионович. — Но кто бы занялся этим рыжебородым? Кто сможет сделать так, чтобы турецкому уполномоченному не очень хотелось покидать Бухарест? Андрей Яковлевич в товарищи не годится: ему шестьдесят восемь, а Абдулу — тридцать восемь. Италинского интересуют древности — вазы, черепа, кости...

— Абдулу еще рано думать о костях, он ищет мяса, — пошутил Резвой.

— Да, вполне естественно. И потом мы не знаем, кем он был до того, как стал янычарским секретарем: лоточником или водовозом.

— Если бы это был не турок, а русский, тогда сразу можно было бы сказать, чем его задержать в Бухаресте: водкой, — съязвил присутствовавший при разговоре генерал Ланжерон.

— А если бы был француз, то — женщиной, не так ли? — не остался в долгу Михаил Илларионович.

— Пусть молодой Фонтон узнает вкусы и привычки турка, — посоветовал Резвой.

Кутузов согласился с этим резонным предложением.

На следующий день Антон Фонтон доложил командующему свои наблюдения над турецким гостем:

— Абдул-Гамид любит поест, покейфовать, не прочь выпить, и не видно, чтоб избегал женщин.

— Стало быть, как говорится, серединка на половинку? — заметил сидевший у командующего Резвой.

— Вот, Павел Андреевич, тебе и придется услаждать гостя, — сказал Кутузов. — Будешь, как они говорят, «разгонять облако скуки облаками дыма», потягивать молдавское вино и прочее...

— Михаил Илларионович, так я ведь не курю.

— Для пользы отечества придется.

— Вы не затягивайтесь, только пускайте дым, — посоветовал Фонтон.

— И пить я не могу...

— Самому пить как раз не надо, лишь бы гость не забывал!

— А к прочему я совсем... — смущенно махнул рукой Павел Андреевич.

— Прочее поручим Антону Антоновичу, — сказал командующий.

Шустрый Фонтон только улыбнулся, ничуть не возражая.

— Ни денежного, ни какого иного трактамента гостю не жалеть.

— А сколько положено ему пиастров в сутки? — поинтересовался Резвой.

— Двести пятьдесят. А ты делай вид, что ошибся, давай ему триста. Не обидится, не вернет!

Через несколько дней Михаил Илларионович справился у Резвого: как гость — не тяготится бездельем, не рвется ли домой?

— Нет, как будто ничего. Говорит, что ж, будем ждать: цветок алоэ ждет двадцать пять лет, чтоб улыбнуться солнцу!

— Ишь как красиво сказал! Они на это мастера!

— Гуляет, отдыхает. Вчера мой повар окрошку сделал. Понравилось. И графинчик перцовки выхлестал!

— Вот, вот, хорошо, так и держите этого ястреба!

Канцлер Румянцов, узнав о затруднениях в переговорах, предложил Михаилу Илларионовичу свой вариант: просить Молдавию по реку Серет, а взамен Валахии двадцать миллионов пиастров.

Кутузов понимал, что все дело не в турках, а в корысти тех чиновников, которые хозяйничают в дунайских княжествах, то есть в фанарских греках. Греки ежегодно делали

всем сановникам Порты богатые подношения, а сами грабили Молдавию и Валахию как хотели. Они уже несколько веков грабят дунайские княжества и не хотят выпускать добычу из рук.

Фанариоты не очень дорожили Молдавией. Драгомены Порты князя Мурузи всегда называли ее «бесполезною». О Молдавии, вероятно, можно было бы как-либо договориться, но дать взамен Валахии двадцать миллионов пиастров Порта никогда не согласится: турок скорее расстанется с землей, чем с готовыми деньгами.

Немного уладив дело с турецким уполномоченным, Кутузов снова обратил внимание на своего старого друга, великого визиря. Михаил Илларионович решил послать ему какой-нибудь подарок. Каждый раз только справляться о его здоровье — неловко. И затем — сухая ложка рот дерет.

Однажды, сидя с Резвым, Кутузов спросил его:

— Не помнишь ли, Павел Андреевич, чем мы потчевали Ахмеда в Константинополе?

— Не помню, Михаил Илларионович. Помню, что роздали мехов и золотых вещей на двадцать тысяч рублей, а чем угощали Ахмеда — ей-богу, забыл. И его самого не представляю себе. Для меня эти османы все как-то на одно лицо.

— Нет, лицо у Ахмёда, наоборот, не как у всех: малость осповато.

— А-а, припомнил! Не очень высокий, такой волосатый. И физиономия зверская...

— Ну и что же?

— Этот осповатый разбойник хорошо дул у нас чаек!

— Верно! Вот мы ему и пошлем чайку. Пусть потешится в жару.

— И пастилы московской.

— Нашел чем потчевать турка — пастилой. У него пастила лучшей нашей!

— Тогда коврижки медовой.

— Это можно!

И Кутузов послал через молодого Фонтон визирю гостинец.

Визирь не остался в долгу — прислал лимонов и сушеных фруктов. А время шло.

Кутузов продолжал деятельно готовиться к схватке с врагом в поле.

Принимая Молдавскую армию, Михаил Илларионович сразу же обратил внимание на ее снабжение. Снабжение продовольствием и фуражом вызывало у Кутузова большие опасения: оказалось, что в валашских магазинах и в крепостях на Дунае не существовало хлебных запасов, полки имели у себя только десятидневный запас сухарей. Кутузов приказал держать его в неприкосновенности. Без твердого наличия хлеба нечего было и думать начинать летнюю кампанию.

Кутузов насадил на обер-провиантмейстера армии генерал-лейтенанта Эртеля, чтобы он обеспечил доставку хлеба и фуража армии. Хлеб должен был заготавливаться в Подольской и Херсонской губерниях. Кутузов взял заготовку хлеба под строжайший контроль и добился бесперебойного снабжения армии продовольствием и фуражом.

Одновременно с этим Кутузов всеми мерами старался улучшить боевую подготовку войск. Он приказал командирам частей не заниматься ненужной плац-парадной муштрой, которая только в тягость солдатам, а лучше обучать стрельбе в цель. Все обучение и воспитание солдат строились не на прусской жестокости, а на суворовском отношении к солдату. Кутузов так и говорил в своем предписании командирам:

«Субординация и дисциплина, будучи душою службы воинской, уверен я, не ускользнут от внимания Вашего в настоящем их виде, а не в том фальшивом понятии, будто бы сии важные идеи единственно жестокостью поддерживаются».

Просьба Кутузова разрешить солдатам Молдавской армии ввиду холодных ночей носить и летом суконные штаны увенчалась успехом. Император пошел на это: вопросы обмундирования были Александру I более близки и понятны, чем вопросы тактики и стратегии. Кроме того, Михаил Илларионович придумал сделать для солдат суконную шнуровку. Она должна была предохранять живот солдата от простуды.

Все эти заботы о быте и здоровье солдата сделали то, что в полках стало налицо вдвое больше строевых, чем числилось до приезда Кутузова.

И солдатам полюбился этот командующий: генерал Кутузов заботился о них. При Кутузове солдатам жилось

лучше: с хлебушком всегда хорошо, обмундированием довольны и муштрой не замучены.

Кутузов целые дни был занят.

«Извини меня перед любезными детками моими, что редко пишу. Подумай, какая в мои лета забота и какая работа. С полтора часа ввечеру только стараюсь не допустить до себя дел, но и тут иногда заставит визирь писать», — говорил он в письме жене.

Свободные вечера он проводил в тесном кругу офицеров своей свиты и нескольких бухарестских знакомых.

Михаил Илларионович с детства был живым и общительным человеком.

Проведя большую часть жизни в армии, он, однако, не стал «рубакой», знающим только саблю да штык. Он любил встречаться с людьми, посидеть и поговорить не только у солдатского костра, но и в гостиной, в кругу молодых, хорошеньких женщин, за легкой, непринужденной беседой. Недаром Екатерина II когда-то назначила его, боевого генерала, на трудный пост дипломата. Кутузов очаровывал дам своей внимательностью, предупредительностью к ним, своим веселым остроумием. Он был редким собеседником, потому что много знал, хорошо и интересно говорил и при нужде мог терпеливо слушать.

Среди знакомых бухарестских дам, «понимающих кое-что в светском обращении», как писал о них любимой дочери Елизавете Михаил Илларионович, его очень забавляла своей детской непосредственностью четырнадцатилетняя жена валашского боярина Гуниани, жившего по соседству.

Когда генерал Александр Федорович Ланжерон приходил к Кутузову посидеть вечером и встречал у него эту чету, он щурил глаза и иронически раздувал свои французские ноздри.

Михаил Илларионович все видел. И не без основания думал, что Александр Федорович, по-бабьи любивший сплетни и пересуды, завтра же станет рассказывать по всему штабу разные небылицы о шестидесятишестилетнем командующем.

Кутузова это ничуть не тревожило. Он продолжал вести знакомство с теми, с кем ему было приятно встречаться.

Очень часто такие беседы за чайным столом вдруг пре-

рывались приехавшим из Константинополя или Шумлы лазутчиком, который привозил Кутузову последние новости о враге.

Разведка у Кутузова была поставлена прекрасно. Он своевременно знал, что делается в Турции вообще и в армии его друга, великого визиря, в частности. Кутузов знал, что у Ахмеда уже не менее восьмидесяти тысяч человек, но что в Константинополе тяготеют войной.

У Кутузова сил было мало. Оставалось только ждать какой-нибудь оплошности со стороны турок. Надо заставить великого визиря выйти из Шумлы. В поле Кутузов твердо надеялся разбить турецкую армию.

Кутузов хотел, чтобы турки продолжали думать по-прежнему, что русские боятся атаковать и будут только обороняться.

Он велел скрыть крепости Никополь и Силистрию и перевез все орудия и припасы на левый берег Дуная.

На правом берегу оставался один Рушук. Рушук был приманкой. Как червяк, на который должен клонуть «достум»¹ Ахмед.

V

Пока турецкий уполномоченный развлекался в Бухаресте, а великий визирь деятельно собирал со всех концов — из Константинополя, Морен, Македонии, Салоник, Адрианополя, Анатолии — войска, Кутузов продолжал терпеливо ждать действий своего друга Ахмед-паши. Визирь со дня на день должен был пойти в наступление: силы его росли и росла уверенность в победе. Лазутчики передавали, что турецкие военачальники так и говорят: «Покуда не двинемся сами, проку не будет. У высокой Порты, подобно золотым, серебряным, медным рудникам, — бездна людей. У высокой Порты звезда высока, мужи храбры, сабли остры. Мы в три месяца сходим за Дунай и вернемся с победой и добычей!»

К концу мая Кутузов знал, что в составе армии великого визиря уже находятся войска Вели-паши, Мухтар-паши, Бошняк-аги, Асан-Яура, корпус янычар и лучшая азиатская конница Чабан-оглы. Армия визиря насчитывала шестьдесят тысяч человек при семидесяти

восьми орудиях. Да в Софии сосредоточивался двадцатипятитысячный корпус Измаил-бея, сераскира македонского.

По всей видимости, визирь намеревался действовать в двух пунктах — Рушук и Видине, но где будет произведен главный удар, а где только отвлекающий — еще было неясно.

В первых числах июня положение окончательно прояснилось: Ахмед-паша решил ударить на Рушук — он наконец выступил с армией из Шумлы к Разграду. От Разграда до Рушука — рукой подать: какие-либо полсотни верст. Затем, не встречая сопротивления русских, Ахмед-паша двинулся дальше и стал лагерем у деревни Писанцы, уже всего в двадцати верстах от Рушука.

Следуя правилам турецкой тактики, Ахмед не делал ни одного шага не окапываясь. Турки сгоняли из деревень болгар и заставляли их рыть полуторасаженные траншеи.

Визирь укрепил Разград и все возвышенности между ним и Писанцами.

Кутузов подвинул корпус Ланжерона к Дунаю и 5 июня выехал сам к Журже, которая была расположена против самого Рушука на левом берегу реки.

Ни облачка, ни ветерка. Все застыло, все замерло в томительном зное июньского полудня. От духоты нет спасения...

Михаил Илларионович в туфлях и без кафтана, с широко распахнутым воротом сорочки сидел у дома в тени деревьев. Рядом на скамейке лежали карта и зрительная труба, а с другой стороны стояли кружка и глиняный кувшин с холодным грушевым взваром.

Михаил Илларионович вытирал лицо платком, обмахивался им, изредка пил из кувшинчика, но все не помогло: как в бане!

— Вот если бы разряженные, кокетливые бухарестские куконы¹ узрели бы русского командующего в этом виде, — улынулся он.

После спокойной оседлой жизни — снова привычный с юных лет бивак: Кутузов две недели как приехал из Бухареста в Журжу.

— Запахло порохом — надо поближе к войскам!

¹ Достум — мой друг.

¹ Куконы — дамы.

Михаил Илларионович глянул на реку. В версте от города простирался широкий Дунай. За ним, на противоположном крутом берегу, пестрел Рушук. Домики, минареты, сады, виноградники, рощицы. Рушук — в ложбине, а вокруг него — холмы, обрывы, овраги, скаты.

Михаил Илларионович смотрел на блестящую под солнцем полосу Дуная и с вожделением думал: «Искупаться бы!..»

И так ярко вспомнилось, как много лет назад, в первую турецкую, он купался в Дунае.

Из дома слышались голоса: полковник Резвой говорил о чем-то с капитаном Кайсаровым.

Михаил Илларионович взял со скамейки карту, развернул ее на своих тучных коленях и — в который раз — стал прикидывать в уме: «Займем позицию впереди Рушука, вот здесь, где открытая возвышенность. Признаться, позиция у нас незавидная. Эти сады и виноградники, справа, хорошо укроют наступающих янычар. А слева равнина, как дыра в боку: по ней удобно обойти наш фланг — и в тыл... Но выхода нет: иной позиции по дороге в Разград не придумать. Придется драться здесь. У визиря шестьдесят, а у меня пятнадцать тысяч солдат. И сзади — река. Нет, сзади сперва Рушук, а потом река. Пусть себе будем стоять спиной к Дунаю, пусть мой дружок Ахмед-паша и его французские советчики тешатся! На правом фланге поставлю Эссена, на левом — этого галльского пехоту Ланжерона. Сам — в центре. Сто четырнадцать пушек генерала Новака. На них надежда. У турок главное — кавалерия. Они налетят со всех сторон, как саранча, а мы — картечью... Их артиллерия — пустяки. Сколько французы ни обучают топчи¹, но пушки — не турецкое дело. Это не шашка и не ятаган. Топчи палят в белый свет, как в копейку...»

Кутузов положил карту на скамейку.

Из-за дома донесся чистый тенорок кутузовского денщика Ничипора. Михаил Илларионович привез его из Горошек, он любил украинцев. Ничипор пел:

Як прихав мій миденький у ночі, у ночі,
А я лежу с прудивусом на печі, на печі,
Щур тоб., прудивусе,
Як в тебе руді вуса.

Сама соб дивуюся:
С прудивусом цлююся.

¹ Топчи — артиллерист.

«Вот поет, а сам — первейший «прудивус»: перемигивается с хозяйкой болгаркой... Дородная женщина!» — подумал Кутузов.

Он потянулся к кружке и кувшину.

В это время где-то за садом и домом дробно зацокали копыта. Потом послышались чьи-то быстрые шаги, голоса в доме — Кутайсова, Резвого и еще кого-то.

Михаил Илларионович чуть повернул голову — совсем оборачиваться не хотелось. «Верно, с аванпостов. Опять захватили «языка».

Кавалеристы Воинова каждый день брали в плен по нескольку турок. В последний раз они захватили известного любимца визиря, Дервиш-агу. Из дома в сад вышел полковник Резвой:

— Михаил Илларионович, гонец от генерала Воинова.

— Что нового?

— Авангард визиря уже в деревне Кадыкиой. Две тысячи сабель.

— Так, так. Значит, турки уже закончили свои окопчики?

— Видимо.

Кутузов невольно взял в руки зрительную трубу, словно сквозь нее можно было увидеть Кадыкиой.

— Стало быть, визирь в скольких же верстах от Рушука?

— В восемнадцати.

— Пора на тот берег! — поднялся Михаил Илларионович. — Приказ Александру Федоровичу: переправляться немедленно. Стать скрытно от турок на равнине, слева от Рушука, где сохранились прошлогодние траншеи. Ланжерон знает, я предупреждал его. А мы по холодку — следом за ним, в Рушук!

VI

В сем бою, несмотря на чрезвычайное неравенство, кавалерия наша не упустила ни шагу.

Кутузов

К ночи корпус Ланжерона был уже на правом берегу Дуная. Переправа прошла благополучно: ни один турецкий кирджали не видал, как русские располагались в ста-

рых траншеях на низине. Кутузов хотел устроить своему другу Ахмед-паше маленький сюрприз.

Эту ночь Михаил Илларионович спал на поле перед Рущуком в палатке. Войска стояли в четырех верстах от крепости. В первые две линии Кутузов поставил пехотные каре, а в третью — всю кавалерию.

Чтобы турки не смогли прорваться между армией и Рущуком, Кутузов оставил для прикрытия восемь батальонов пехоты.

Командующий расположился в центре. Его палатка стояла среди милых кутузовскому сердцу егерей 29-го полка.

Днем была нестерпимая жара, а к ночи стало холодно. На холодке, на свежем воздухе спать было чудесно. Ничипор укрыл своего барина поверх одеяла шинелью, и Михаил Илларионович уснул быстрее обычного. Его сладкий сон прервали выстрелы, крики «алла» и какой-то шум, доносившийся со стороны аванпостов.

Михаил Илларионович открыл глаза. В палатке было темно. Он отбросил одеяло и шинель и сел на постели.

Звуки не смолкали, а росли. Ясно: турецкие спаги напали на передовые отряды конницы Воинова, идет кавалерийская сшибка.

По старой боевой привычке Михаил Илларионович спал не раздеваясь.

Он сунул ноги в туфли и вышел из палатки. Весь лагерь, все кругом тонуло в тумане. Туман стоял плотной, непроницаемой стеной. В двух шагах ничего не было видно.

— Давно началось? — спросил Кутузов у часовых, застывших возле палатки командующего.

— Только что...

— Минут пяток, ваше высокопревосходительство, — ответили егеря.

Кутузов прислушался. Крики не умолкали, но выстрелы были редки.

— Рубятся! — Он поежился. — Проклятый климат. Такая холодина! А ведь через несколько часов снова не найдешь себе места от жары!.. Паисий Сергееч! — позвал он.

В соседней штабной палатке, которая чуть вырисовывалась в тумане, зашевелились.

Кутузов, не дожидаясь Кайсарова, вернулся к себе, надел мундир и сел на постели.

— Ничипор, зажги свечу!

— Зараз, вашество, зараз! — сонным голосом ответил из передней части палатки денщик и немного погодя вышел, почесываясь и зевая. Он зажег стоявшую у постели на складном стуле свечу и выглянул из палатки.

— Ой, який туман! — сказал Ничипор и вернулся на свое место, где сразу же умолк — заснул.

В палатку вошел наспех одетый адъютант Кайсаров:

— Доброе утро, Михаил Илларионович!

— Здравствуй, дружок. Неизвестно, какое еще оно будет... Пошли кого-нибудь к генералу Воинову на аванпосты. Что там у них происходит?

— Слушаюсь! — ответил Кайсаров и быстро вышел из палатки.

Михаил Илларионович сидел, барабанил пальцами по колену, думал: началось вправду или нет?

Через минуту послышался топот копыт. Всадник с места взял в галоп.

За палаткой, в лагере, началось движение.

Посидев некоторое время, Кутузов снова вышел наружу.

Туман и не думал уменьшаться, а на аванпостах не утихали шум и крики.

Кутузов стоял, ожидая возвращения ординарца.

Он примчался быстро.

— Ну что?

— Турки наступают, ваше превосходительство! — выпалил ординарец. — Кавалерии — без числа. За туманом не видно, когда кончатся. Генерал Воинов послал чугуевских улан и ольвиопольских гусар, но их теснят — турка много!

«Стало быть, визирь наступает по-настоящему», — подумал Кутузов и сказал ординарцу:

— Лети, братец, к генералу Ланжерону — пусть выходит на поле!

Постепенно весь русский лагерь пришел в движение. Полки становились в каре, готовясь к бою.

Михаил Илларионович умылся, оделся.

Туман нехотя таял. Из-за Дуная блеснул луч солнца. Все осветилось. Шум на аванпостах утихал.

Кутузов сел на коня и поехал мимо каре к первой линии.

— Что такое? — спросил он, подъезжая к группе генералов, стоявших перед фронтом первой линии.

— Отступают, ваше высокопревосходительство: испугались нашей матушки-пехоты,— весело сказал генерал-майор Энгельгардт.— Это пока что была только разведка.

— Налетело пять тысяч всадников, а у меня — около полутора тысяч,— говорил, словно оправдываясь, генерал-лейтенант Воинов.

— Посмотрите, Михаил Илларионович,— указал Энгельгардт,— сколько их осталось на поле!

Кутузов недовольно молчал. Непредвиденная, глупая случайность погубила весь его хитроумный план. Туман сыграл на руку туркам, а не русским. Он не позволил русским видеть, что это не общее наступление, а только разведка, а когда растаял, турки увидели все русские войска, и в том числе скрытно стоявший корпус Ланжерона.

VII

На следующий день обе стороны ограничились обычной разведкой.

«Надо узнать, как чувствует себя мой друг Ахмед,— подумал Михаил Илларионович.— Пошлю-ка ему снова чайку. Может, Фонтон что-либо пронюхает у турок».

Кутузов вызвал к себе младшего Фонтон и вручил ему целый сверток с чаем:

— Передайте визирю с моими всегдашними приветами шесть фунтов чаю.

— Так много! — невольно вырвалось у Фонтон.

— Пусть побалуется. Может, больше слать не придется. Будет спрашивать о моем здоровье, скажите, что изнываю от жары.

— Я скажу, что ваше высокопревосходительство еще в Журже.

— Можете говорить что угодно, но Ахмед не поверит: старого воробья на мякине не поймаешь! Постарайтесь узнать, что у них на уме.

Фонтон вернулся к вечеру. Рассказал, что посмотреть ничего не удалось: его провели через лагерь к визирю с завязанными глазами. Но, судя по отдельным фразам, которые он слышал, турки готовятся к бою. Визирь очень благодарил за чай, жаловался также на жару, но сказал, что у реки все же прохладнее, чем в Кадыкой, и вскользь

заметил, что с таким войском, как у него, Ахмеда, можно завоевать восток и запад.

— Похвалается! Это хорошо, что он так уверен; значит, надо ждать атаки! — обрадовался Кутузов.

22 июня утром русские войска только пропели утреннюю молитву и стали завтракать, как вдруг ударили турецкие пушки. Они били по всей линии русских каре.

— Эх, осман, и позавтракать спокойно не дает!

— Сегодня будет дело, коли с артиллерии начал.

— Хватит тебе всего: и артиллерии и кавалерии! — говорили солдаты, разбирая ружья из козел.

Ядра долетали и до второй линии, где в середине каре егерей разместился со штабом командующий. Необстрелянная молодежь из свиты Кутузова чувствовала себя под турецкими ядрами возбужденно. Сам же Михаил Илларионович относился к обстрелу совершенно спокойно.

— Это мой старый дружок оказывает мне любезность,— говорил он, продолжая разглядывать в зрительную трубу турецкое расположение.

Из-за порохового дыма, окутавшего турецкие укрепления, виднелись большие пестрые массы турецкой конницы. Конечно, визирь сейчас бросит их на русские каре. Только на какой фланг? «Скорее всего на открытый левый», — думал Кутузов, не обращая внимания на то, что через его голову с противным воем несутся ядра.

Одно вдруг шлепнулось перед самым носом кутузовского коня, подняв облачко пыли. Конь чуть присел на задние ноги, вздернув голову.

— Ишь как мой старик удивился,— усмехнулся Кутузов, похлопывая коня по шее.

— Ваше высокопревосходительство, здесь опасно. Вы бы поехали в третью линию к кавалерии,— сказал адъютант Кайсаров.

Капитана Кайсарова поддержали остальные офицеры штаба. Только Резвой молчал. Он знал, что Михаил Илларионович не двинется с места.

— Куда я поеду? Что скажет молодежь? Нет, я не удалюсь отсюда, пока мой друг не исчерпает своей любезности. А потом, голубчик, еще неизвестно, где опаснее!

И через несколько минут слова Кутузова получили прекрасное подтверждение. Из дымных пороховых завес, оку-

тывавших турецкую позицию, вдруг на равнину ринулись тысячи всадников. Точно кто-то взмахнул разноцветным платком. На русские каре стремительно катилась бушующая волна спагов. От топота сотен тысяч копыт тяжело застонала земля.

Глядя на этот грозный вал, невольно думалось, что нет силы, которая смогла бы остановить его. Опытные, бывалые солдаты хорошо знали: страшен первый удар. Выдержать его было самое главное. Потом натиск ослабевал.

Дружным артиллерийским и ружейным огнем атака была отбита по всей линии. Бешеная волна всадников откатилась назад.

Не успели русские отдышаться, перезарядить ружья и убрать в середину каре раненых и убитых, как турецкая кавалерия понеслась на правый фланг.

Первый налет был как бы разведкой — где русские слабее.

Но все кутузовские каре стояли одинаково твердо. И вот теперь визирь кинулся на правый фланг. Он был неудобен для атак конницы: каре упирались в холмы и виноградники. Но турки яростно старались пробиться. Их упрямые атаки следовали одна за другой.

Кутузову пришлось послать из второй линии в подкрепление правому флангу 37-й егерский.

Егеря рассыпались по виноградникам. Их не было видно, но меткий прицельный огонь остановил янычар, появившихся вместе с конницей у правого фланга.

Архангелогородцы бросились в штыки, выбивая турок из лощины в лощину. В конце концов турки бежали к Кадыккой.

В кутузовском штабе ликовали: дело идет! Но Михаил Илларионович думал иначе и предупреждал:

— Погодите радоваться. Это еще ягодки. Не может быть, чтобы визирь не ударил на левый фланг — ведь он совсем открыт. Его можно обойти. Мой дружок фокусничает. Он сегодня командует совсем не как турок!

— Должно быть, французские советники помогают, — заметил Резвой.

— И то может статься.

Слова Михаила Илларионовича сбылись в точности. Турецкие атаки правого фланга были только демонстрацией.

В девять часов утра отборная анатолийская конница бросилась на левый фланг. Визирь собрал в кулак десять тысяч самых лучших всадников. Несмотря на сильный пушечный и ружейный огонь, турки прорвались между первой и второй линиями и наскочили на малочисленную кавалерию Кутузова. Белорусские гусары и кинбурнские драгуны, стоявшие на краю левого фланга, в одну минуту оказались смятыми во много раз превосходящим противником.

Положение осложнилось. Визирь хотел отрезать русские войска от Рушука и окружить их. Но все спасла дальновидность опытного полководца: Кутузов недаром оставил у Рушука заслон в восемь батальонов, они-то и встретили непрошенных гостей. А сзади на турок ударили повернувшие по команде «По три направо кругом» чугуевские уланы, петербургские драгуны, ольвинопольские гусары. И, вместо того чтобы окружить русских, турки сами попали в мешок.

Анатолийской коннице, пыл которой уже был хорошо остужен, оставалось только ретироваться.

Если турецкая кавалерия возвращалась в свое расположение после демонстрации, хотя бы и отбитой русскими, это было одно, но, когда с поля боя бежала знаменитая анатолийская конница, тут впечатление создавалось иное.

В сражении наступил явный перелом. И Кутузов не замедлил воспользоваться им: он отдал приказ всем каре идти вперед. С распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой двинулись на орты¹ турецких янычар и бесчисленные толпы спагов русские каре.

Это был не стремительный вихрь кавалерийского удара, а неотвратимое, грозное движение сомкнутых, ошетилившихся штыками масс пехоты.

Турки бежали, кидая все.

Малочисленность русской кавалерии не позволила Кутузову бросить ее вперед для преследования врага. Турки успели увезти всю артиллерию. Русские преследовали турок десять верст до ретраншемента и заняли его. Кутузов велел войскам остановиться. Полуденное солнце стояло над головой. Люди изнывали от жары и жажды, устали, хотели есть. Бой длился уже восемь часов.

¹ Орта — подразделение янычар, среднее между полком и батальоном.

С Михаила Илларионовича градом катился пот: целый день на коне, в непрестанном напряжении и волнении; десять верст ехать верхом по жаре и в облаках пыли. Кутузов с трудом, но и с наслаждением слез с коня. Оглянулся — нигде ни кустика, ни деревца.

Кайсаров и ординарцы составили для главнокомандующего из отбитых разноцветных турецких санджаков, байраков и прочих знамен некое подобие шалаша. Михаил Илларионович сел на складной стульчик, который возил за ним Ничипор, распахнул мундир, вытер пот платком, попил из фляги тепловатой водицы и сказал генералам Ланжерону, Эссену, Воинову и Новаку, которые собрались у необычного шалаша:

— Поздравляю с победой, господа!

— Ваше высокопревосходительство, победа — там, — театрально протянул руку Ланжерон, указывая в ту сторону, где стояли клубы пыли от уходивших турок.

— Нет, Александр Федорович, мы больше сегодня никуда не пойдем. Отдохнем до вечера и по холодку — назад, к Рушуку.

— Но враг бежит. До Шумлы не так уже далеко, — поддержал Ланжерона Эссен.

— До Шумлы у визиря несколько укрепленных лагерей и вся артиллерия — семьдесят восемь орудий, — сказал генерал Новак, командовавший артиллерийской бригадой.

Михаил Илларионович молчал, вытирая платком лицо. Думал: «Какие Георгии Победоносцы! У Ахмеда еще в четыре раза больше сил, чем у нас, а они — наступать!»

— Ну, допустим, что мы дойдем до Шумлы, а дальше что? — спросил он вслух и сам же ответил: — Придется возвращаться назад. Лучше ободрить визиря. Он снова явится к нам.

— Отдыхайте, господа! — обратился он к генералам, давая знать, что разговор о ненужном наступлении окончен. — Александр Львович, пошлите казачков вперед! — сказал он командующему кавалерией генералу Воинову.

Генералы разохотились воевать, рвались на турок, а солдаты с удовольствием услышали, что командующий сказал:

— Отдохнем здесь до вечера, а по холодку — назад, на старое место.

— Конечно: в эту жару — куда идти?

— Михаил Ларивонович правильно говорит: турка сам к нам припожалует! — говорили солдаты, не выпуская из рук оружия, но все-таки сидя и лежа, а не стоя плечом к плечу в душном каре.

VIII

Чтобы показать визирю, что победа осталась за русскими, Кутузов простоял на старом месте у Рушука четыре дня.

24 июня он получил от разведчиков последние сведения о неприятеле. У великого визиря особых новостей не было. Он продолжал укреплять лагерь при Кадыкиой, еще ожидая наступления Кутузова.

Тревожные известия шли из Софии. Измаил-паша, стоявший там с двадцатью тысячами войск, двинулся к Виддину, очевидно желая переправиться через Дунай и вторгнуться в Малую Валахию. Если бы это удалось ему, то создалась бы угроза Бухаресту. Армия Кутузова оказалась бы в критическом положении: турки взяли бы ее в клещи.

Лазутчик из лагеря Измаил-паши приехал к Кутузову вечером, когда Михаил Илларионович с Ланжероном и Резвым сидел в садике маленького рушукского домишки, где командующий жил после сражения.

Лазутчик ушел, а Михаил Илларионович продолжал сидеть, обдумывая известие. Оно было малопривлекательно, хотя Кутузов давно ждал агрессивных действий со стороны Измаил-паши.

— Выход один: все-таки придется оставить Рушук! — высказал вслух свое решение Кутузов.

— Да ведь Рушук — наш последний плацдарм на правом берегу! — горячо возразил Ланжерон.

— Местоположение этого проклятого укрепления таково, что его нельзя предоставить собственным силам. Вы же видите, — обвел Кутузов рукою вокруг, показывая на холмы и виноградники, подступившие к самому ретраншементу. — Я всегда смотрел на Рушук как на нечто стесняющее меня, ослабляющее мои силы.

— Михаил Илларионович, да мы отстоим Рушук! — поддержал Ланжерона Резвой.

— Как будто я здесь только из-за Рушука! Черт с ним! — сказал Кутузов. — Важно заманить визиря на левый берег. Он увидит, что мы отступаем, и не выдержит, побежит следом.

— Оставление Рушука сочтут в Константинополе за турецкую победу, — убеждал заносчивый Ланжерон.

— А я этого и хочу! — упрямо твердил Кутузов.

— Михаил Илларионович, а что скажут в Петербурге? Вот привезут трофейные турецкие знамена, получают донесение о победе. В Казанском соборе отслужат благодарственный молебен, а через день-другой — хлоп: мы без боя оставили Рушук. Скажут: Кутузов трус, Кутузов такой да этакий!

— Пусть говорят, что угодно. Конечно, мои враги обрадуются, воспользуются этим, но дело же не во мне. Важно не мое благополучие, не моя слава, а благополучие и слава России. Важен мир!

— Теперь нам не видать мира как своих ушей! — горячился Ланжерон.

— Поживем — увидим, — спокойно сказал Михаил Илларионович и, кликнув Кайсарова, стал диктовать ему приказ: завтра же приступить к уничтожению Рушукской крепости.

Этот приказ Кутузова ошеломил всю армию и вызвал разноречивые толки. Офицеры увидали в нем некий скрытый смысл:

— Хитрит Михаил Илларионович!

Солдаты недоумевали:

— Зачем было тогда огород городить? Третьеводни защищали Рушук, а нонче сами отдаем.

— Вот у тебя не спросили, как быть. Командующему виднее!

Сам Михаил Илларионович внешне сохранял спокойствие: был непреклонен в своем, казалось, мало оправданном решении, но волновался, — он брал на себя большую ответственность.

Что подумает подозрительный, не любящий Кутузова и не весьма сведущий в военном деле Александр I? И что скажет Наполеон? Конечно, обрадуется: турки бьют! Все это ерунда. Очень хорошо, что можно изменить условия борьбы в лучшую для себя сторону, сделать так, чтобы главные силы турок оказались бы на правом берегу.

25 июня солдаты генерала Эссена стали срывать ста-

рые земляные валы Рушука, которые от времени сделались точно каменные, вывозили из крепости на правый берег орудия и припасы. Жители Рушука спешили перевезти имущество: Кутузов дал им для выезда два дня.

Суэта, крики, плач детей — обычная тягостная картина отступления. Солдату что? Он как улитка — у него дом на себе. Снял палатку, ранец за плечи — и был таков. А жителям приходилось бросать все нажитое.

27 июня у понтонного моста через Дунай встали казаки Грекова — не пускали никого в Рушук: минеры готовились взрывать цитадель, поджигать дома, чтобы ничего не досталось басурманам.

Через мост потянулись последние войска. Кутузов переехал в Журжу накануне.

Вечером, когда над Дунаем стала полная луна, в городе раздались взрывы и в разных концах Рушука вспыхнуло пламя.

Рушук горел жарко. Лунный пояс на реке постепенно наливался огнем. Зарево затмевало лунный свет.

Михаил Илларионович сидел в Журже у дома и, глядя на зловещие отблески пожара, думал: «На османов это должно произвести ошеломляющее впечатление!»

IX

Армии приблизились друг к другу еще больше: Кутузов стоял в Журже, а Ахмед-паша в Рушуке. Их разделяла только река.

Великолепные, шитые золотом шатры великого визиря расположились на равнине у Рушука, где так недавно белели полотняные палатки русской армии. Тут же разместились шатры министров и купцов, имевших в лагере склады разных товаров.

Друзья по-прежнему обменивались любезностями и подарками, словно между их войсками не было сражения.

В один из дней Ахмед-паша предупредил Кутузова, что в турецком лагере будет пальба по случаю рождения сына у султана.

— Не военная кампания, а сплошной Версаль! — улыбнулся Кутузов.

Через несколько дней Ахмед снова прислал такое же предупреждение. Солдаты, узнав о нем, живо обсуждали происшествие:

— Что султанша — рождает каждую неделю?

— Турок издевается над нами!

— А может, у нее — двойня?

— Что ж, один пашенок родился сегодня, а другой дозрел через неделю, так, что ли?

— Эх, вы! Да разве не знаете, что у салтана не одна женка, как у тебя, а целая сотня!

— У него, брат, на все святцы ребят хватит!

А когда через несколько дней с правого берега приехал к Кутузову новый турецкий курьер Мустафа-ага, солдаты, глядя на турка, заржали:

— Братцы, никак, у третьей султанской женки крестины!

— Молодец салтан: не зевает, старается!

Но на этот раз дело было посерьезнее. Мустафа-ага передал Кутузову, что великий визирь не может вести никаких переговоров, если не будет обеспечена целостность и независимость владений Порты. И что потому дальнейшее пребывание Абдул-Гамида в Бухаресте не нужно.

Мустафа-ага сказал все это важно, с самым решительным видом и смотрел, как примет такое сообщение русский сераскир Кутузов, которого турки называли бир-гиглю¹. Но русский командующий встретил известие как будто совершенно спокойно. Мустафа-ага был бы очень удивлен, если бы знал, что Кутузов даже остался доволен им: Ахмед, стало быть, уверен в том, что русские слабы!

Понемногу начинало сказываться оставление русскими Рушука. Кутузов знал, что в Константинополе ликовали по случаю этой «победы» и что султан наградил великого визиря. Наполеон тоже обрадовался отходу русских за Дунай. На приеме в Тюильри он подошел к русскому представителю, генералу Чернышеву, к которому благоволил, и с ехидной усмешкой спросил: «У вас, кажется, была резня с турками в Рушук?»

Кутузов поручил Италинскому немедленно отпустить Гамида из Бухареста, сказав:

— Молдавию и Валахию мы занимаем, и пусть Порта попытается отнять их у нас!

— Зря кормили рыжего! Сколько денег на него извели! — пожалел Резвой.

— На свете, Павел Андреевич, ничто не пропадает, — ответил Кутузов.

Он тотчас же послал к Ахмед-паше Антона Фонтон с очередными подарками, дружескими приветами и ответным словом. Михаил Илларионович велел передать великому визирю, что турецкие условия не могут быть приняты за основу переговоров и что, хотя из Петербурга еще нет ответа, он исполнит просьбу Ахмед-паши и не станет больше задерживать Абдул-Гамида в Бухаресте.

«Продолжительность пребывания высокочтимого Га-мид-эфенди в Бухаресте ни в коем случае не вызывается стремлением выиграть время, а должна служить для Вашего высокопревосходительства новым доказательством моего постоянного желания видеть восстановление дружбы и доброго согласия между обеими империями», — написал Кутузов в письме к великому визирю.

Фонтон явился назад с большой корзиной фруктов и передал о своей беседе с Ахмед-пашой. Великий визирь сказал: «Передайте генералу Кутузову, что я уже давно чувствую, насколько сильно я уважаю и люблю его. Он, так же как и я, честный человек!»

— Нечего сказать — похвала! — поморщился Кутузов.

— «Мы оба хотим блага нашей родине. Давно пора закончить с этой разорительной войной! Она только радует нашего общего врага Наполеона», — передавал Фонтон слова Ахмед-паши.

— Вот это он верно сказал. Молодец! — похвалил Михаил Илларионович.

— «Да вот я покажу депешу французского поверенного Латур-Мобура. Он советует нам не заключать с вами мир и уверяет, что правый берег Днестра и Крым будут нашей границей».

— И что же, визирь показал вам депешу? — удивился Кутузов.

— Визирь обратился к своему заместителю Гамид-эфенди, чтобы он дал депешу, — ответил Фонтон.

¹ Бир-г и ё г л ю — одноглазый.

— И тот, конечно, не дал? — улыбнулся Михаил Илларионович.

— Да, он сказал, что депеша отправлена в Константинополь.

— Разумеется: у Гамид-эфенди больше выдержки, чем у него! Что же говорил дальше наш дружок?

— Он сказал: «Передайте генералу Кутузову, что я перейду Дунай».

— Вот, вот! Это чудесно! Пусть переходят! Давно ждем не дождемся!

— Говорит: «Опустошу Валахию, хотя мне жаль ее несчастных жителей...»

— Жалел волк кобылу — оставил хвост да гриву, — усмехнулся Кутузов.

— «Длинными переходами, — говорит, — и недостатком продовольствия изнурю и погублю русскую армию».

— Как это у него все быстро получается!..

— И напоследок визирь посоветовал: «Удовлетворитесь малым. Все равно Дунай никогда не станет вашим. Мы будем воевать десять лет, но не уступим!»

— Черт возьми, где этот неграмотный лазский пират научился всей гамме дипломатических песен? — вырвалось у Михаила Илларионовича.

После такого перелома в настроении турок следовало ожидать их активных действий.

Так как силы турок оказались больше, чем предполагалось раньше, то Кутузов отдал распоряжение возвратить в Молдавскую армию 9-ю и 15-ю дивизии, располагавшиеся в Яссах и Хотине.

Кутузов ждал, когда же турки начнут переправляться через Дунай. Знал, что они будут пробовать с двух сторон — у Рушука и Виддина.

Наконец 22 июля, через месяц после боя у Рушука, Измаил-паша высадился у Виддина на узкую полосу, окруженную болотами. Генерал Засс запер высадившихся турок в районе болот, не дав им прорваться на просторы Малой Валахии.

План великого визиря — одновременное наступление на двух направлениях — сорвался.

Ахмед-паша продолжал готовиться к переправе. В этих приготовлениях прошел август месяц.

Кутузов узнал через лазутчиков, что из Константинополя все время торопят визиря. Время для переправы было

самое подходящее: Дунай сильно обмелел за жаркие летние месяцы.

И вот наконец в теплую, но по-осеннему темную ночь, с 27 на 28 августа, турки начали переправляться через Дунай.

В четырех верстах выше Журжи казацкие посты обнаружили несколько сотен кирджали, переплывших на лодках на русскую сторону. К месту их высадки тотчас же направился генерал Сабанеев с батальоном архангелогородцев. Кирджали были смяты и опрокинуты в реку. Спаслись удалось немногим.

Все казацкие посты до самого Туртукая были подняты на ноги.

А в это время, в восьми верстах ниже Журжи, спокойно переправлялись на пароме и лодках главные силы Ахмед-паши.

Недаром великий визирь стоял два месяца у Рушука, — он выбрал чрезвычайно удобное место для переправы: по берегам рос высокий камыш, а прибрежная полоса была покрыта кустарником. Кроме того, с крутых высот правого берега хорошо обстреливался изгиб Дуная. Ахмед-паша поставил на своих высотах двадцать пять орудий крупного калибра.

Русские аванпосты проморгали переправу.

У турок на русском берегу скопилось уже более двух тысяч человек с четырьмя пушками, когда казаки наконец подняли тревогу.

Х

После того как Ахмед-паша рискнул-таки переправиться через широкий, хотя и порядком обмелевший Дунай, в Молдавской армии перестали понимать действия своего командующего.

Солдаты судили-рядили за артельным котлом, пока на них не прикрикнет старый фельдфебель, офицеры говорили за спиной высшего начальства, а генералы не стеснялись высказывать свое недоумение самому Михаилу Илларионовичу, но результат был один и тот же: все шло так, как хотел Кутузов.

Турки, едва ступив на правый берег Дуная, сразу, в ту же ночь, стали окапываться. Эта была их всегдашняя излюбленная тактика. Турки придерживались ее всегда, если

даже, как здесь, на пустынном берегу, некого было заставить рыть окопы и приходилось работать не только самим янычарам, но и спагам.

Никто не мог бы сказать, что турки поступают неверно. Пока что на правом берегу их собралось мало и они были вынуждены прежде всего подумать об обороне.

И турки усердно окапывались.

Генерал Булатов, поспешивший с пятью батальонами к месту переправы, хотел было сбросить басурман в реку. Он настойчиво три раза ходил в атаку, но ему не удалось окончательно опрокинуть врага: мешал сильный огонь удачно поставленной на высотах правого берега турецкой артиллерии. («Не иначе как хранцуз им поставил, сами не догадались бы!» — говорили, осердясь, солдаты.) Турки пристрелялись, и их огонь преграждал дорогу русским.

Уже утром Булатов намеревался в четвертый раз попытаться счастья («Неужто не выкурим его, бусурмана окаянного?»), но в эту минуту как раз приехал на своем белом тихом мекленбуржце Михаил Илларионович. К удивлению всех, он отменил атаку.

— Пусть их переправляются! Побольше бы перешло на наш берег! — спокойно сказал Кутузов.

Это было всем понятно — Кутузов жалеет народ, а с другой стороны, он, пожалуй, прав: пусть басурман переправится побольше, чтобы покончить с ними одним ударом!

Но прошел день, и другой, и третий, а Кутузов не шел в атаку.

Турок на русском берегу уже собралось много — целая армия с десятком пушек. Османы настойчиво окапывались — только блестели на солнце лопаты и кирки.

А Кутузов не предпринимал ничего. Правда, он привел сюда из Журжи свою, не бог весть какую большую — тысяч в десять — армию. Но пушек все-таки насчитывалось до сотни, солдаты были те же, что два месяца назад прогнали от Рушука всю турецкую армию, превышавшую русских по численности в четыре раза.

А здесь турок было вдвое меньше, чем у Рушука, так чего же медлить?

Но командующий вместо наступления приказал... рыть редуты.

Турки роют и днем и ночью, и русские не отстают от них.

Конечно, любой мушкатер или егерь мог сказать, что русский редут строился с большей смекалкой и расчетом, чем турецкий окоп: редуты поддерживали, защищали друг друга фланкирующим огнем. Редуты охватывали полукольцом весь турецкий лагерь, спускаясь к самому Дунаю, в тростники, так что турецкая кавалерия не смогла бы выбраться из них и заехать в тыл русским.

Цепь редутов тянулась на восемь с половиной верст, так говорили инженеры.

Но зачем все это?

Не проще ли сразу разделаться с турками, ударив на них, прижатых к широкой реке?

От пленных русские знали, что турки терпят лишения и недовольны своей жизнью на левом берегу. Ведь здесь турки как ворона на колу: ни продовольствия, ни магазинов, ни фуража — все надо доставлять из Рушука по Дунаю. Лошади стояли на подножном корму. Холеные арабские кони анатолийской конницы худели от бескормицы, а русские — московские, киевские, тамбовские, могилевские — лошаденки ели сена вволю.

В четырех верстах от русского правого фланга, у деревни Малка, егеря, вспомнив прежнюю крестьянскую жизнь, складывали в стога сено. Дни еще стояли ясные, но приходилось уже думать об осенней непогоде.

Деревня располагалась на возвышенности и была хорошо видна туркам. И вот спаги не выдержали искушения. Большие толпы их на полном карьере пронеслись между еще недоконченными русскими редутами и устремились к Малке. Егеря, вооруженные только граблями и вилами, кинулись в деревню. Но из-за пригорка выскочила лава стоявших наготове казаков. Они с гиканьем и криком ударили во фланг спагам.

Не удалось арабским скакунам поестъ душистого сенца!

Вот тут бы и воспользоваться замешательством и страхом, которые внесли с собой в турецкий лагерь уцелевшие от казачьих сабель и пик спаги, — и ударить по туркам. Но все кончилось только кавалерийской сшибкой.

Каждый день у русских с турками, как у добрых соседей, происходили размолвки. И всякий раз командование не позволяло разойтись как следует штыку и сабле: командующий запретил превращать стычку в настоящий бой.

А так хотелось!

И было непонятно: почему нельзя?

Турки укреплялись, Кутузов не мешал.

Через неделю после высадки турки надумали строить в версте от своих ретраншементов большой сомкнутый окоп. Они, видимо, хотели, чтобы в этом отрезке можно было пасти лошадей.

Генерал Ланжерон приказал открыть по туркам, рывшим окоп, огонь из двадцати четырех орудий.

Артиллеристы оживились. Пехота тоже повеселела.

Но прошло не более часа, на батарее приехал сам Михаил Илларионович и громко и не весьма ласково — все слышали — сказал Ланжерону:

— Не тратьте попусту снарядов, генерал! Отставить!

И даже нетерпеливо замахал на канониров нагайкой. Потом, уезжая, Кутузов еще о чем-то говорил с Ланжероном.

Приказание главнокомандующего в одну минуту облетело и ошеломило всех:

— Не мешать туркам! А самим, не медля, в ночь построить против их окопа два редута!

Вот те на!

Ланжерон в недоумении развел руками.

— Нет ничего неприятнее, как иметь начальника боязливого! Уж лучше поменьше таланта, да побольше энергии! — запальчиво сказал он Булатову.

— Каменский не ждал бы, — поддержал его Булатов, — хотя, вечная ему память, Николай Михайлович был менее талантлив, чем Кутузов!

За последнее время командующий как-то изменился. Это видели все: денщик Ничипор, адъютант Кайсаров, племянник Паша Бибилов и все генералы, бывшие у Кутузова.

Михаил Илларионович все дни сидел у себя в палатке, не наведываясь, как бывало раньше, в полки.

Он вставал поздно, часу в десятом, не спеша завтракал, затем выслушивал рапорт дежурного генерала, подписывал бумаги, которые приносил Кайсаров. Так проходило до обеда. Обедал Михаил Илларионович долго, часа два, словно сидел у себя на набережной Невы в Петербурге, а не в двух шагах от неприятеля. После обеда отдыхал, чтобы, как он говорил, дать отдых больным глазам. И за обедом и на отдыхе все время молчал, думая о чем-то.

Резвой, лучше других знавший Михаила Илларионовича, понимал все это, но ни с кем не делился своими соображениями. Кутузов, видимо, старается протянуть время, к нему лучше не лезть с расспросами.

Но быстрый генерал Марков и наглый Ланжерон все-таки однажды не выдержали: пришли к Кутузову и стали убеждать его, что у турок, по сведениям лазутчиков, на этом берегу только тридцать шесть тысяч человек с пятьюдесятью пушками, а русских все-таки около двадцати и орудий больше ста. Они убеждали Михаила Илларионовича наступать, ручаясь за полный успех.

Кутузов сидел, по-стариковски сложив на животе руки, молчал, не перебивая генералов. А потом, когда они выговорились и стали уже повторяться, сказал по-украински:

— Не спіши трусьть яблук, поки зелені: поспіють, самі опадуть!

Генералы ушли недовольные.

— Почему он говорит, что мы трусим? — не понял француз. — Он сам трусит, а не мы!

— Э, нет, — недовольно скривился Марков. — «Трусить» — это по-украински значит «трясти». Кутузов говорит, что мы слишком спешим!

— Мы спешим, а он уж очень не торопиться! Ну и пусть! Увидим, чего он дождется! — со злостью говорил Ланжерон, который считал себя умнее и талантливее этого старого кунктатора.

XI

Кутузов дождался-таки своего.

Михаил Илларионович давно задумал этот оригинальный план разгрома турецкой армии и никому не говорил о нем.

План заключался в следующем: когда большая часть турецкой армии окажется на левом берегу, перебросить небольшой корпус своих войск на правый и захватить с тылу турецкий лагерь у Рущука. Тогда турки на русском берегу окажутся в мешке.

Визирь выжидал, когда Измаил-бей выйдет в Малую Валахию, а сам, боясь дезертирства, постарался перевезти на русскую сторону побольше войск. Этим он ослабил свои силы у Рущука.

Кутузов, все время тщательно следивший за неприятелем, решил, что настала пора приводить свой план в исполнение.

Главнокомандующий вызвал генерала Маркова и, посвятив его во все, сказал:

— Возглавьте, Евгений Иванович, эту важную экспедицию. Ваша задача — занять высоты позади лагеря у Рушука. От успеха экспедиции зависит победное окончание всей кампании.

Вечером 29 сентября семитысячный корпус Маркова с тридцатью восемью орудиями двинулся из лагеря к переправе, которая была выбрана в восемнадцати верстах выше Слободзеи. Чтобы обмануть турок, Марков оставил палатки на месте.

Казак, посланный на разведку, донес, что на турецком берегу неприятельских разъездов вовсе нет. Турки не очень следили за своим берегом. Они никак не ждали, что русские снова станут переправляться на правый берег, который они сами оставили.

К вечеру 1 октября весь корпус Маркова, не замеченный турками, благополучно переправился через Дунай и стал на ночевку в пяти верстах от рушукского лагеря турок.

В ночь с 1 на 2 октября Кутузову не спалось. Хотя вечером к нему прискакал от генерала Маркова казак с известием, что все идет благополучно, но Михаил Илларионович все-таки тревожился: а вдруг Ахмед заметил переправу и послал гонца к Измаил-бею, чтобы он двинулся по правому берегу Дуная в тыл Маркову?

Чуть рассвело, а Михаил Илларионович был уже на ногах.

«Вот кажут: «Одно око, а спать хоче», а тут одно тое не спит!» — недовольно думал денщик Ничипор, которого генерал поднял ни свет ни заря.

Палатка командующего стояла на возвышенности, с которой был хорошо виден турецкий лагерь у Рушука.

Михаил Илларионович сел на складной стул и сразу же прильнул к зрительной трубе. Он боялся, не возвели бы турки за ночь укрепления в рушукском лагере. Не может быть, чтобы они так начисто прозевали переправу корпуса Маркова!

Но в турецком лагере все было по-прежнему: палатки, шатры, наметы, кони, верблюды, мулы, телеги, арбы, экипажи.

Лагерь еще спал.

Только часовые и старики торговцы, которым по-стариковски не спалось, уже совершали утреннюю молитву, не предчувствуя близкой опасности.

Томительно тянулось время. Кутузов сидел один, то и дело поднося трубу к глазу: волновался.

Понемногу на обоих берегах начали просыпаться, но в рушукском лагере все было спокойно. По Дунаю от Рушука к турецкому лагерю на русском берегу, как всегда, сновали лодки, тянулись паромы, перевозившие провиант и фураж. Шла обычная жизнь.

«Любопытно, где-то сегодня визирь: в Рушук или здесь, на нашем берегу!» — подумал Кутузов.

Возле командующего уже собрался его штаб. Офицеры сидели, стояли, ходили. Командующий молчал, и все молчали. Только Ланжерон, пришедший позже других, беседовал в сторонке с генералом Сабаневым, маленьким, точно полковой барабан. Говорил он как будто вполголоса, но некоторые слова произносил так, что их слышали все:

— Я полагаю... Я предупреждал Маркова... Я советовал Михаилу Илларионовичу...

И вот дождались: с противоположного берега донеслись отдаленные выстрелы. Все сразу встрепенулись. Кто имел зрительную трубу, прильнул к ней. Остальные нетерпеливо расспрашивали: «Ну, что там? Что видно?» Денщик Ничипор, со щеткой в одной руке и генеральским парадным мундиром в другой, тоже вышел из палатки. Он стоял с ординарцем и, щурясь, силился рассмотреть, что происходит у турок.

Вот по дороге к лагерю закружилась пыль. Вдоль Дуная мчались во весь опор всадники: должно быть, турецкие разъезды наконец натолкнулись на Маркова и спешили предупредить своих.

Немного спустя в рушукском лагере поднялся переполох. Было видно, как с поля вели верблюдов, лошадей, как запрягали повозки и арбы, а кое-кто уже бежал пешком в Рушук.

Все пристально смотрели на дорогу:

— Когда же, когда покажутся наши?

И вот показались каре генерала Маркова. Издали они представлялись такими маленькими!

Не встречая сопротивления и видя улетающих, перепуганных спагов, пехота Маркова шла бодро, строй-

но, быстро. Через реку доносилась живая барабанная дробь.

— Как идут! Словно на параде!

— Молодцы!

— Вон впереди на коне сам Евгений Иванович!

— Суворовский герой! — говорили штабные.

Турок в лагере было еще втрое больше, чем наступающих русских, но тех, кто мог бы оказать сопротивление, нашлось не много. Все эти константинопольские риджалы, приехавшие насладиться победой над гяурами, купцы и маркитанты, ждавшие хорошей торговли, муллы, слуги пашей, обозники — все они не думали обороняться. Они бросали все и спешили поскорее унести ноги. Беспорядочный поток беглецов разлился по дорогам в Шумлу и Рушук.

Горсть храбрецов встретила русских у лагеря, но не могла устоять против грозной силы пяти каре Маркова: она гибла от ружейного огня и ядер полевой артиллерии, падала под ударами штыков и сабель.

Артиллеристы у орудий, стоявших на возвышенности, не знали, что и делать. Повернуть тяжелые пушки в сторону наступающих с тыла «неверных» не хватало времени. А долго защищаться ятаганами топчи не могли. Еще минута-другая — и турецкие пушки в руках марковских артиллеристов.

Кутузов приказал Маркову, захватив неприятельские орудия, тотчас же стрелять из них по лагерю турок на левом берегу.

Так и было исполнено. Блеснул огонь, другой, третий — прокатился пушечный гром. Марков бил по врагу из его же пушек.

— Ура! — крикнул Кутузов, размахивая шапкой.

Его радостный крик подхватили штабные, и он покатился от одного фланга русских редутов до другого.

ХII

Кутузов был весел: все шло, как он задумал. Марков хозяйничал в визирском лагере, его артиллерия не переставая била из захваченных пушек по туркам, сидевшим на левом берегу. Туркам оставалось только прятаться от ядер в норы и ямы. Их небольшая артиллерия была быстро подавлена.

— Попал осман как кур во щи!

— А не спросясь броду, не суйся в воду! — говорили солдаты.

Кутузов приказал Маркову не трогать Рушука, а только захватить все перевозочные средства на Дунае. Окруженные на левом берегу турки не могли бежать: у их пристани болтались лишь две-три небольшие лодочки.

К вечеру генерал Марков прислал командующему трофеи: двадцать два знамени, булаву янычарского аги и первую партию пленных.

— Что, припасов в лагере много нашли? — спросил Кутузов у офицера, привезшего трофеи.

— Много, ваше высокопревосходительство. Кладовых пятьдесят с амуницией и порохом, склады с мукой и зерном, кофе. Экипажи, повозки, лошади, верблюды — все ихнее хозяйство. Всего полно!

— Потери у турок большие?

— Тысячи полторы.

— А наши?

— С десятка убитых и полсотни раненых. Майора Бибикова взяли в плен...

— Ах, Павлушка! — хлопнул себя руками по коленям сидевший перед палаткой Кутузов. — Как же это его угодило?

— Слишком вырвался вперед, анатолийцы сшибли с коня и увезли в Рушук.

— Да, нехорошо! — забеспокоился о племяннике Михаил Илларионович. — Но — жив?

— Жив, жив, ваше превосходительство!

— Тогда ничего. Авось выменяем: вон у нас сколько добычи! — посмотрел Кутузов на разношерстную толпу турок, сгрудившихся в стороне.

Среди пленных особенно выделялся пожилой, круглый как шар, турок. Он смотрел исподлобья и не мог унять дрожь коротеньких рук, сложенных на животе: так, очевидно, он трусил.

— Кто вон тот, как арбуз? — спросил командующий.

— Это, ваше высокопревосходительство, заведующий всей их продовольственной частью.

— Недаром он такой тучный. Что же вы его не уважили? Подзови, братец, ишь как его трясет.

Антон Фонтон, стоявший за стулом командующего, сказал толстяку, что с ним хочет говорить русский генерал.

Толстяк с неожиданной проворностью юркнул в толпу пленных.

— Чего он так испугался?

— Вероятно, думает, что ему отрубят голову,— усмехнулся Фонтон и пошел к пленным.

— Ничипор,— сказал Кутузов денщику, глазевшему вместе со всеми на трофеи и пленных,— живо принеси варенье и стакан воды. Угостим визирского интенданта: он ведь присылал нам лимоны и апельсины!

Ничипор кинулся в палатку.

Переводчик кое-как убедил турецкого интенданта, что ему не угрожает опасность. Прикладывая руки к голове и груди, кругленький турок несмело подкатился к Михаилу Илларионовичу.

— Пусть сядет на свой барабан,— предложил Кутузов, указывая на турецкий барабан, который привезли вместе с другими трофеями.

Турок поспешно сел.

— Подай ему варенье и воду,— обернулся к денщику Кутузов.

Ничипор протянул гостю угощение. Турок взял блюдце с вареньем и чашку с водой, съел две ложечки варенья, охотно выпил воду и, вернув все это Ничипору, благодарно закивал головой. Потом, отдышавшись, похлопал себя короткими, толстыми ручками по животу и вдруг захохотал. Он хохотал, чуть не падая с барабана.

Глядя на его заразительный смех, засмеялся Ничипор, Фонтон и все штабные.

— Что с ним такое? Эк его разбирает!— улыбался Кутузов, глядя на толстяка.

— Смейся смішку, дам тобі кишку! — говорил Ничипор, смеясь сам до слез.

— Он смеется над своим недавним страхом, что был так глуп,— объяснил Фонтон, спросивший у турка о причине его неожиданного смеха.

Вслед за пленными приехал к Кутузову из Рущука poslanec от пашей Вели, Мухтара и прочих константинопольских сановников, бежавших туда. Паши просили, чтобы русский комендант Рущука склонил великого визиря к миру или хотя бы к перемирию.

— Значит, мой дружок попался в ловушку, сидит на нашем берегу в лагере,— сказал Михаил Илларионович.— Я стоял под его ядрами, теперь ему приходится стоять под моими.

Кутузов ответил, что может только передать письма визирю. Он помнил турецкое правило: если великий визирь окружен неприятелем, он не имеет права договариваться о мире.

Кутузов уже ложился спать, когда великий визирь прислал письмо, прося о перемирии. Кутузов обещал дать ответ на следующий день.

«Неужели мой дружок не догадается бежать из лагеря? Ночь-то сегодня ведь очень подходящая»,— думал Михаил Илларионович, слушая, как по палатке стучит осенний дождь.

XIII

Михаил Илларионович одевался и слышал, как у его палатки вполголоса о чем-то оживленно говорят генералы и штабные офицеры. Раз они собрались все так спозаранку, стало быть, за ночь что-то произошло.

— Что случилось? О чем они так? — спросил у денщика Кутузов.

— Павел Гаврилович возвратились. Трошки ранетый. Вот скуды, в руку,— ответил Ничипор, помогая генералу надеть мундир.

— Что, его визирь отпустил?

— Эге ж.

Михаил Илларионович прислушался, о чем они так горячо беседуют. Услыхал голос племянника, Павлуши Бибикова:

— Весь лагерь, все наши солдаты пропахли розовым маслом... Какие экипажи, какие палатки министров, шитые шелками! Целый ящик золотых и серебряных значков, которые визирь выдавал за отличие!

Это Павлуша рассказывает о трофеях.

Но тенорок Бибикова покрывался возмущенным баритоном генерала Ланжерона:

— Это — позор! Мы имели прекрасную возможность взять в плен визиря. Такого не было никогда! Мы прославились бы на весь мир. Это затмило бы славу Аустерлица!

— Да, упустили соколика. Теперь ищи-свищи! — вздохнул Булатов.

«Стало быть, мой дружок убежал-таки,— понял Михаил Илларионович.— Вот-то хорошо». — И он вышел из палатки.

Павлуша, немного побледневший и осунувшийся, с рукою на перевязи, все же глядел именником, а генералы стояли как в воду опущенные, с нахмуренными, озабоченными лицами. И даже полковник Резвой смотрел сентябрем.

— Здравствуйте, господа! — весело приветствовал всех Кутузов. — Здорóво, герой! — кивнул он племяннику. — Впредь будешь осторожнее, голубчик! Как же тебя отпустили?

— Меня в Рушуке увидел Мустафа-ага и взял к себе, а сегодня утром великий визирь, узнав, что я ваш племянник, отпустил.

— А где же великий визирь?

— В Рушуке, он ночью бежал из здешнего лагеря, переплыл Дунай в лодчонке, сам-третей.

— Ночь сегодня туманная, дождливая, — желая смягчить удар, сказал Кайсаров.

— Ваше высокопревосходительство, надо примерно наказать начальника флотилии на Дунае... Прозевать побег великого визиря — это позор, — начал возмущенно генерал Ланжерон.

— Простите, Александр Федорович, я не понимаю, чем вы так возмущены? — удивился Кутузов.

— Как же не возмущаться? Ведь мы могли бы взять в плен не только всю турецкую армию, но и самого визиря. Какая была бы слава!

— Пленив визиря, нам не с кем было бы заключать мир. По турецкому обычаю визирь, окруженный врагом, лишается права договариваться о мире. России нужен мир, а не победная реляция! — сухо ответил Кутузов.

Его злило то, что Ланжерон, до сих пор не уразумевший смысла всего кутузовского плана кампании, вечно лезет со своими вздорными предложениями.

— Пойдем, Павлуша, ты расскажешь мне о своих заключениях, — кивнул племяннику Михаил Илларионович.

XIV

Турецкая армия, переправившаяся на левый берег Дуная, оказалась в мешке. Ее положение становилось день ото дня ужаснее. Русская артиллерия ежедневно была по

лагерю с обоих берегов. Турецкие пушки быстро замолчали, и туркам оставалось лишь зарываться в землю, спасаясь от ядер. Они сняли все палатки, чтобы для русской артиллерии не было мишеней.

К этому прибавились неизбежные спутники осады — голод и холод. До сих пор турки ежедневно получали провизию, фураж и дрова с правого берега, а теперь, когда на обоих берегах укрепились русские, турецкий лагерь оказался лишенным пищи и топлива. Единственное, в чем турки не нуждались, была вода — широкий Дунай.

Вся трава на пространстве, отделявшем турецкие окопы от передовой цепи русских, была начисто выщипана голодными турками. Они вырывали и ели корни, ели трупы павших от бескормицы лошадей. Ежедневно десятки лошадей спаги прирезывали сами и ели без соли сырое лошадиное мясо — сжарить или сварить его было не на чем: все деревянное — пики, палаточные колья — сразу же было сожжено.

К голоду прибавился холод. Ночи стали холодные, ударили заморозки, выпал снег. Люди коченели на холодном осеннем ветру без теплой одежды и крова, мокли под дождем, не имея возможности обсушиться.

В лагере свирепствовали желудочные болезни, а врачей не было. Каждый день умирало до полусотни человек. Хоронили неглубоко, и от лагеря шел страшный смрад гниющих трупов. Когда ветер дул с юга, в русских окопах невозможно было сидеть от нестерпимой вони. Более сметливые и смелые сдавались в плен русским.

От пленных Кутузов узнал, что войсками в осажденном лагере командует двадцатилетний паша, энергичный, мужественный и гордый Чапан-оглы, сын анатолийского вельможи и богача. Его фамилия считалась одной из самых древних и знатных в Турции. Султан уважал его.

Великий визирь убедил Чапан-оглы, что соберет новое войско, отбросит Маркова и снимет осаду. Это были пустые слова. Во-первых, собрать новую армию в Турции было уже невозможно: лучшие силы находились в окружении. Во-вторых, Марков сильно укрепился на занятой возвышенности, построив пять редутов. Чтобы отбросить его семитысячный корпус, туркам надо было иметь тысяч не менее пятидесяти.

Гордый Чапан-оглы не хотел сдаваться. Паши и янычарский ага убедили янычар, что если они сдадутся, то рус-

ские отрежут им головы или, в лучшем случае, отнимут у них оружие, которое составляло все богатство янычар.

Добравшись до Рущука, великий визирь написал Кутузову письмо:

«Я на вас напал врасплох 28 августа. Вы сделали со мной то же самое. Теперь, перейдя Дунай, мне ничего не остается, как предложить мир. Заключим же его. Будьте великодушны и не злоупотребляйте вашими успехами».

— То, да не то! — смеялся Кутузов. — Посмотрим, на каких же условиях мой дружок согласится мириться!

Через два дня визирь прислал новое письмо, в котором соглашался уступить Хотин.

— Нет, этого мало! — говорил Кутузов.

Через четыре дня турки отдавали уже все земли до реки Прут.

Кутузов отклонил и это.

Еще через день великий визирь предложил границу по реке Серет и просил на время перемирия прекратить военные действия и помочь осажденным.

Визирь, как бы невзначай, упомянул, что если Кутузов будет продолжать войну, то он, визирь, уйдет за Балканы и не оставит никого для переговоров. Он тоже понимал, что русским важнее всего мир: войска Наполеона уже продвигались к границам России.

Кутузов согласился начать переговоры.

Ему важно было во что бы то ни стало сохранить окруженную турецкую армию. Истребление ее от голода, холода и артиллерийских обстрелов сделало бы то, что великий визирь не имел бы причин торопиться с заключением мира.

С другой стороны, Кутузов знал: великий визирь хочет спасти свои лучшие войска от полного уничтожения и поспешает поскорее заключить мир.

Кутузов согласился отпустить для осажденного лагеря провизию.

Турки ежедневно получали от русских десять тысяч полуторафунтовых белых хлебов, мешок соли и семь пудов мяса. Этого хватало бы всем, но паши и янычары захватывали себе все, а простые солдаты оставались голодными. Паши продавали им хлеб по баснословным ценам.

Для переговоров Кутузов назначил Италинского, генерала Сабанеева и старшего Фонтоня, который прекрасно знал нравы и обычаи турок и свободно говорил по-турецки.

С турецкой стороны в делегацию вошли: кая-бей¹ Галиб-эфенди, урду-кадиси² Селим-эфенди, Гамид-эфенди, янычар-эфенди и первый драгоман Мурузи. Переводчиками были с русской стороны Антон Фонтон, а у турок — грек Апостолаки.

Переговоры открылись в Журже 19 октября 1811 года.

XV

Нужно было большое дипломатическое искусство, чтобы внушить Порте недоверие к Наполеону.

Н. Петров

Мирные переговоры тянулись в Журже уже второй месяц, а дело не двигалось.

Кутузов по личному опыту знал, что, начиная договариваться с турками, надо запастись большим терпением: флегматичные и недоверчивые османы не любят в таких случаях торопиться. Чтобы не показать своей заинтересованности в обсуждаемом вопросе, они на каждом заседании сначала будут говорить о разных пустяках и только потом постепенно перейдут к делу. Им обязательно надо собраться с мыслями, то есть выкурить трубок десять табаку и выпить столько же чашек кофе. Ко всему этому турки так придиричивы и мелочны, что готовы проспорить целый день из-за какого-либо незначительного слова.

Впрочем, торопиться турецким делегатам было просто невыгодно: живя спокойно в Журже, каждый из них получал от России по двадцать пять рублей в сутки столовых, не считая подарков, на которые главнокомандующий не скупился.

Кутузову же эта затяжка переговоров была нестерпима.

Он знал, что Наполеон взбешен его победой над турками и всеми силами старается помешать России заключить мир с Турцией. «Поймите этих собак, этих болванов турок, — возмущался Наполеон. — Они сумели дать себя разбить таким постыдным образом! Кто бы мог это предвидеть!»

¹ К а я - б е й — заместитель великого визиря.

² У р д у - к а д и с и — главный судья.

Наполеон слал в Константинополь гонца за гонцом, убеждая турок не мириться с русскими. Но Кутузов тоже не сидел сложа руки. Он пользовался всяким случаем, чтобы напомнить великому визирю, что Франция — плохой друг и ненадежный союзник для Турции, о чем умный Ахмед прекрасно знал и не раз сам говорил Кутузову.

Отовсюду поступали сведения о том, что войска Наполеона готовятся к походу в Россию. Сицилийский посланник в Константинополе, расположенный к России, писал старому другу Италинскому:

«России нельзя терять ни минуты, ей готовят страшный удар. Наполеон имеет веские причины желать, чтобы война затягивалась».

В Петербурге, где не понимали всех дипломатических трудностей Кутузова, смотрели на него как на кунштатора, а турки в лагере мерли по несколько сотен человек в день.

Несмотря на помощь, которую русские оказывали окруженным туркам, их армия медленно, но верно погибала. Из тридцати шести тысяч человек, переправившихся на левый берег, уже уцелело лишь немногим больше одной трети. Если от истощения, холода и болезней, свирепствовавших в лагере, вымрут и эти остальные, то турки вовсе прекратят переговоры — не останется никакой побудительной причины для заключения мира.

Визирь прекрасно учитывал, что воевать зимой невыносимо: от Дуная до самых Балкан тянутся безлюдные степи вместо селений и непролазная грязь вместо дорог.

Погода с каждым днем становилась холоднее. Наступала зима, а русские солдаты вынуждены были сидеть в сырых окопах на придунайском низком берегу. Количество больных в полках по сравнению с осенью сильно возросло.

Затяжка переговоров с турками выводила Кутузова из терпения.

— Кормим-поим, не жалею подарков, а они не торопятся! — возмущался он в кругу своих генералов.

— А чего им торопиться: над ними не каплет! — заметил Резвой.

— Первый член делегации, эта коротышка Галиб-эфенди, не очень заинтересован в мире: он не любит верховного визиря. Ему бы хотелось, чтобы султан отрубил

Ахмеду голову за поражение. Второй делегат, толстяк и обжора Селим-эфенди, знает дремлет на заседании — ему бы только хорошо поесть и покойфовать. А рыжебородый Гамид-эфенди перемигивается через окошко с валашками, — рассказывал генерал Сабанев. — Не худо бы вообще, Михаил Илларионович, перенести наши заседания в какое-нибудь другое помещение.

— Это почему же? — спросил Кутузов.

— Да ведь там, где мы заседаем, был кабачок с веселыми девушками...

— Я бы посадил конгресс в палатку, а палатку поставил бы в поле, между турецкими и русскими окопами. Там турки не засиделись бы! — предложил Ланжерон.

«Хоть раз француз говорит дело», — подумал Кутузов и сказал:

— Пора нашу армию отвести на зимние квартиры. А конгресс переведем в Бухарест.

Командующего беспокоила большая смертность в турецком лагере. Хорошо еще, что чумы не слыхать! Для него было важно сохранить хоть то, что осталось от турецкой армии, чтобы при заключении мира можно было сказать туркам: «Вот видите, мы отдаем вам вашу армию!»

Если бы паши распределяли хлеб, который получали от русских, турок уцелело бы значительно больше, но они продавали хлеб по страшно дорогой цене своим голодным солдатам, и смертность среди них росла.

Кутузов видел, что если так продолжать и дальше, то турки в осажденном лагере перемерут.

Он придумал небывалый в военной истории выход: предложил принять турецкую армию «на сохранение». На первый взгляд это казалось нелепостью: вместо того, чтобы просто взять турецкую армию в плен и отослать ее в глубь России, русский командующий больше турок беспокоит о ее существовании. Но этот кажущийся несообразным ход был, в сущности, остроумнейшим, единственно правильным выходом.

Кутузов договорился с Галиб-эфенди, что до заключения мира русские возьмут остатки турецкой армии «на сохранение». Зная гордость турок, и в частности этого мальчишки Чапан-оглы, который скорее умрет в дунайских камышах, чем пойдет в плен, Кутузов подчеркивал, что турки поступают к русским не как ясырь¹, а идут по доброй воле,

¹ Ясырь — пленник.

как музафир¹. Их разместят по деревням под охраной русских. Во избежание драк Кутузов предложил туркам оставить все оружие в лагере под охраной турецких и русских часовых; тяжелобольных, стариков и неспособных к военной службе перевезти в Рушук, но в общем количестве не более двух тысяч.

Фактически турецкая армия оказалась бы безоружной и в плену, но сохраняла бы видимость армии.

Галиб-эфенди согласился на это предложение Кутузова. Но в самом осажденном лагере турки совещались восемь дней: паши и прочее начальство, боясь капитуляции, так напугали раньше солдат, что они теперь боялись оставить свой ужасный лагерь. Анатолийцы и янычары были просто уверены, что русские задушат их всех.

Наконец турки рискнули согласиться покинуть злосчастный лагерь смерти.

Две тысячи тяжелобольных и стариков перевезли в Рушук, и только двенадцать тысяч человек, оставшихся в живых, двинулись из лагеря к деревне Малка, откуда их должны были распределить по окрестным деревням.

Оборванные, грязные, исхудалые, одна кожа да кости, с лихорадочно горящими голодными глазами, в которых еще сквозил страх и недоверие, шли понуро когда-то нарядные и гордые анатолийские спаги и высокомерные, жестокие янычары — цвет турецкого войска.

Страшное кладбище — смердящий лагерь с восемью тысячами конских костяков и двумя тысячами закоченевших, непогребенных трупов людей — осталось позади. Поземка заматала кости разбитой, поверженной армии великого визири.

XVI

Бухарест торжественно и пышно встретил победителя турок. Несмотря на зимнее время, на улицах стояли толпы народа. Два дня город был иллюминирован. На площадях и главных улицах Бухареста висели десятки красиво написанных транспарантов, на разных языках восхвалявших Кутузова. Русского генерала сравнивали со львом, орлом, барсом, но еще чаще называли знаменитым греческим полководцем и дипломатом Фемистоклом.

¹ Музафир — гость.

На второй день в честь Кутузова был дан большой обед и вечером роскошный бал. Кроме высших гражданских чиновников, приветствовать полководца явились знатные бухарестские жители и их жены. Куконы кокетничали с русским главнокомандующим, восхищались тем, как он посвежел за лето на Дунае. Михаил Илларионович благодарил, улыбался, а думал иное. При ярком свете люстр и канделябров в этих чистых, прекрасных зеркалах дворца он отлично видел, что, наоборот, постарел за лето: победа над турками не давалась даром.

Вместе с другими приветствовал Кутузова французский консул в Бухаресте Шарль Леду.

— Я всегда с большой живостью следил за вашими успехами на Дунае, генерал, — с почтительной, милой улыбочкой сказал он, очевидно, заранее приготовленную, полную едкой иронии (Аустерлиц тоже на Дунае!) фразу, которую Михаил Илларионович сразу же понял.

— Я не знал, господин консул, что вы еще не забыли об Измаиле! — отпарировал Кутузов и подумал: «Да, ты не только следил за мной, но и передавал все султану в Константинополь!»

Главнокомандующий поселился в том же особняке, в котором жил везной. Наконец-то можно было пожить в нормальных условиях: спать на всамделишной кровати, на которую не попадает дождь, обедать за просторным, хорошо сервированным столом, за которым всем хватает места, а не то что в лагере, где если приезжал из Виддинского корпуса кто-либо или курьер из Петербурга, то Ничипору приходилось подставлять к столу ящик, бочку или барабан. И, разумеется, приятнее сидеть в мягком кресле, нежели на жестком складном стуле.

Все шло как будто бы прекрасно — Михаил Илларионович добился того, чего хотел: победа была, и мир казался уже не за горами.

Портило настроение старое, закоренелое недоброжелательство к нему царя.

29 октября Александр I пожаловал Кутузову за победу над турками графский титул, словно это могло что-нибудь значить. Стать графом можно было и не побеждая никого. Например, тот же французский эмигрант Ланжерон получил графский титул, не одержав еще никакой победы. Единственным его подвигом оказалось то, что Ланжерон изменил своей родине и принял русское подданство.

Вся Дунайская армия, все генералы-друзья, как Сабанеев, Марков, Булатов, и недруги — Ланжерон, Засс — все были поражены и возмущены. И солдаты и офицеры — все единодушно считали, что за уничтожение лучшей турецкой армии Кутузову полагался фельдмаршальский жезл. В глубине души и сам Кутузов ждал этого. Теперь же, когда в часы ночной бессонницы он думал обо всем, он невольно вспоминал печальный пример своего учителя — Александра Васильевича Суворова. Того здесь же оскорбили, дав за славную Рымникскую победу не фельдмаршальский жезл, как полагалось бы, а ничего не стоящий этот самый графский титул. Затем уже хотелось к своим, домой. Надоело болтаться по бивакам и лагерям, все-таки сказывались шестьдесят шесть лет.

Михаил Илларионович так и написал из Бухареста любимой дочери Лизе:

«Ты не можешь представить себе, дорогой друг, как я начинаю скучать вдали от вас, без дорогих мне людей, которые единственно привязывают меня к жизни. Чем дольше я живу, тем больше вижу, что слава — это только дым. Я всегда был философом, но теперь стал им в высшей степени. Говорят, что каждому возрасту свойственна своя страсть. Моя в настоящее время — это страстная любовь к моим близким, в то время как общество женщин, которого я ищу, — только развлечение. Мне смешно на самого себя, когда я размышляю о том, как я расцениваю и свое положение, и власть, и те почести, которыми я окружен. Я всегда вспоминаю Катеньку, сравнившую меня с Агамемноном: а был ли Агамемнон счастлив? Моя беседа с тобой не весела, как видишь, но я заговорил в таком тоне оттого, что уже восемь месяцев не видел никого из своих».

А турки в Бухаресте не стали торопиться с подписанием мира.

Не только французы, но и австрийцы и англичане — каждый в своих интересах — прилагали усилия к тому, чтобы Турция не заключила мира. Султан не знал истинного положения вещей.

В Константинополе не хотели верить, что их армия разбита. Знали, что турецкие силы окружены, но не представляли себе ужасного состояния окруженных. Великий визирь был на свободе, у Виддина и Рушука оставались какие-то войска, — значит, как будто бы не все еще потеряно. Непосредственной угрозы Константинополю не су-

ществовало: война велась где-то за Балканами, за три-девять земель.

Сам факт окружения турецкой армии произвел на членов дивана страшное впечатление, но, вероятно, больше потому, что среди окруженных оказалось много военной знати: трехбунчукный паша Чапан-оглы, четыре двухбунчуковых, три татарских султана, агалал-аги, командиры янычар.

Медлительность турок и затяжка ими мирных переговоров стоили Кутузову много крови.

В Петербурге тоже понимали немногим больше, чем в Константинополе, положение вещей на Дунайском театре. Александр I наивно полагал, что раз турецкая армия окружена, то турки обязаны мириться.

Когда Ланжерон замещал заболевшего генерала Каменского, Александр I советовал ему таким путем добиться мира с турками: «Вы должны иметь целью быстрым движением распространить ужас за Балканы».

Ланжерон резонно ответил на это: чтобы устроить Константинополь, нужно пробиться по крайней мере хотя к Адрианополю.

Предлагать-то было куда легче, чем выполнять. Угроза с запада становилась с каждым днем все явственнее и ближе: обозы Наполеона уже перешли через Рейн.

По письмам родных и петербургских приятелей, по рассказам приезжавших из столицы Михаил Илларионович знал, что в Петербурге очень недовольны медлительностью ведения переговоров. Всю вину, конечно, возлагали на Кутузова.

В Зимнем дворце, в придворных гостиных и салонах казалось: так легко заставить битых турок мириться. Не знали, сколько тонких, остроумных ходов нужно было сделать, чтобы добиться поставленной цели. В Константинополе ведь не все стояли за мир. Многолетнее следование французской политике сказывалось очень сильно, и переломить это влияние было не так-то просто.

Кутузов как будто бы отдыхал в Бухаресте. Он позволял себе даже немного развлечься: бывал в театре, на балах и приемах.

Главкомандующий не чуждался женского общества. Дамы знали и ценили его как галантного и остроумного собеседника. Михаил Илларионович мог поговорить не только о маркитантах, турецких ортах или набрюшниках для солдат, но и о многом ином.

Кутузов тщательно следил за переговорами и почти ежедневно совещался с Италинским и Сабанеевым.

А время летело.

В ожидании мира незаметно — день за днем — промелькнула зима... Переговоры продолжались уже пятый месяц. 9 апреля 1812 года Александр I выехал в Вильну, где была расположена главная квартира 1-й Западной армии под командой военного министра Барклая де Толли. А недели через две до Михаила Илларионовича дошли слухи: царь недоволен Кутузовым. («А когда же он был мною доволен?») Александр I решил отправить в Бухарест адмирала Чичагова, считая, что адмирал скорее заключит мир.

Услышав о Чичагове, Михаил Илларионович улыбнулся: «Нашел дипломата!»

Чичагов был вспыльчив, невыдержан и крут.

Но приходилось нажать на турок, а то, чего доброго, все плоды боевых и дипломатических успехов целого года пожнет этот напыщенный адмирал.

5 мая были подписаны предварительные мирные условия. А утром 6 мая перед особняком, в котором жил главнокомандующий, остановилась изрядно забрызганная весенней грязью карета. Из нее вышел, самодовольно поджимая губы, адмирал Павел Васильевич Чичагов.

«Оскудела русская армия — генералов уже не хватает!» — иронически подумал Михаил Илларионович, тяжело идучи навстречу гостю, который, с портфелем в руке, стремительно входил в кабинет главнокомандующего Дунайской армией.

Поздоровавшись с Кутузовым, он сразу же спросил:

— Как дела, Михаил Илларионович?

(«Вид и тон начальнический, а ведь мальчишка: сорок пять лет!»)

— Слава богу, Павел Васильевич.

— Император очень недоволен вашей мягкостью с турками... («Вот тебе бы поучиться выдержке и такту хотя бы у Ахмед-паши!») Недоволен вашими военными действиями, и вам уготовлено иное поприще.

Чичагов стал открывать ключиком запертый на замок портфель.

— А мне уж придется заняться мирным договором!

— Простите, Павел Васильевич, но — мир уже заключен, — спокойно сказал Кутузов.

Пальцы Чичагова застыли в раскрытом портфеле.

— Когда?

— Вчера.

Чичагов наморщил лоб, раздумывая. Потом стал рыться в портфеле и извлек оттуда плотный лист бумаги:

— Вот высочайший рескрипт.

Кутузов взял лист и прочел:

«Михаил Ларионович!

Заключение мира с Оттоманскою Портою прерывает действия Молдавской армии; нахожу приличным, чтобы Вы прибыли в Петербург, где ожидают вас награждения за все знаменитые заслуги, кои Вы оказали мне и отечеству. Армию, Вам вверенную, сдайте адмиралу Чичагову. Пребываю Вам навсегда благосклонным.

Александр».

Смех давил Кутузова: не мог же император, отправляя Чичагова из Петербурга, знать заранее, что договор подписан, если это случилось только вчера, меньше суток назад. Значит, царь слал Чичагова заменить Кутузова вообще — заключен мир или нет. И, конечно, в портфеле у адмирала лежит второй, менее милостивый рескрипт на случай, если мирный договор еще не заключен.

Но смысл этих обоих рескриптов одинаков: Кутузов на Дунае уже больше не нужен!

Все ясно!

Прочтя, Михаил Илларионович слегка поклонился, как бы благодаря Чичагова за то, что он привез царскую милость, и сказал:

— До ратификации договора я, Павел Васильевич, вынужден буду еще обождать здесь!

— Пожалуйста! — снисходительно ответил Чичагов.

16 мая турки ратифицировали договор. Михаил Илларионович попрощался с войсками и отправился к себе в Горошки.

Он уезжал из Дунайской армии домой с гордым чувством хорошо исполненного долга.

Как пойдут дела у 1-й Западной армии — кто знает, а Кутузов уже выиграл у Наполеона это сражение на Дунае!

Часть вторая

«СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ
1812 ГОД»



Настал 1812 год, памятный каждому русскому, тяжкий потерями, знаменитый славою в роды родов.

А. Ермолов

Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении.

И. Якушкин

Глава первая

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

I

На этот раз Кутузов не задерживался у себя в имении, хотя любил свои живописные Горошки, особенно очаровательные весной, когда буйно, молодо зеленели дубы и липы и нежно цвели яблони. Но сидеть одному, даже среди прекрасного, цветущего сада, было тоскливо. Тянуло к своим — жене, дочерям, внукам, тянуло в Петербург. Если бы еще он приехал в Горошки осенью, когда собирают урожай, тогда стоило бы ненадолго остаться, чтобы продать часть зерна и привезти хоть немного денег домой: Екатерина Ильинишна, конечно, опять задолжала кругом. Она никогда не умела жить экономно, по средствам.

Михаил Илларионович спешил в столицу еще по одной, не менее уважительной причине: над головой висела война, как эта сверкающая, зловещая комета, невиданная звезда, которая уже не один месяц приводила в трепет всех суверенных людей. Хвост кометы был блестящий и широкий. Казалось, если раскинуть его по земле, то он будет сажени в две длиной. К концу хвост расширялся. Потому народ и называл комету «метлой». Говорили: «Война идет, все сметет!»

Война стучалась прямо в дом с близкого запада, а не откуда-либо с далеких от Петербурга и Москвы турецких границ.

Сидеть в захолустье, за тридевять земель от столицы, в такое тревожное время, когда каждый день мог принести самые невероятные новости, было тягостно, невозможно.

Михаил Илларионович отдохнул в Горошках только два дня. Он посмотрел, как взошли озимые и посеяны яровые, отдал распоряжения управляющему и потихоньку на перекладных двинулся дальше.

По дороге он уже услышал пересуды обывателей о только что заключенном мире с турками:

— Турки покорились и дали нашему государству подписку, что будут платить дань: каждый год по двадцать тысяч голов французам!

В этой нелепой фразе сказывались предчувствие и боязнь войны, которую готовил французский император Наполеон.

На почтовой станции под Витебском Михаил Илларионович увидел в комнате для проезжающих приклеенную к стене хлебным мякишем гравюру — портрет Бонапарта. Он изображался еще молодым генералом — худошавое лицо с длинными, словно у женщины, волосами, падающими на плечи.

— Это кого же повесили тут под образами? — спросил у хозяев Михаил Илларионович, будто не узнавая, кто это.

— А-а, это батюшка-барин, сама Бонапартиха, царица французская, которая идет на нас войной, — живо ответила старуха, жена станционного смотрителя, вероятно еще помнившая императрицу Екатерину и привыкшая к женщинам на троне.

— Не извольте, ваше высокопревосходительство, слушать, что плетет старая дура! — подскочил станционный смотритель, отталкивая локтем жену. — Это Бонапартий... Антихрист...

— Зачем же ты его держишь в красном углу, коли он — антихрист?

— А вот зачем, ваше высокопревосходительство: ежели Бонапарт как-либо под чужим именем или с фальшивой подорожной заявится ко мне, я его, голубчика, враз признаю, схвачу, свяжу да к городничему.

Михаил Илларионович только улыбался.

Видимо, Бонапарт и война не выходили ни у кого из головы!

В Петербурге чуть установилась после холодного мая летняя погода. Ладожский лед прошел, сделалось тепло. По Неве плыли баржи с дровами и углем, лодки с глиняной и деревянной посудой, со свежими вениками и метлами. Будочники стояли в белых штанах, горожанки уже щеголяли в шляпах из желтой соломки с загнутыми «по-английски» полями, какие были в моде у аристократок лет десять назад.

Кутузов возвращался в Петербург не торжествующим победителем, а опальным полководцем. Несмотря на то, что он добился немыслимого, невозможного — с незначительными силами уничтожил турецкую армию и своевременно заключил выгодный, почетный и, главное, такой нужный мир, — царь все-таки отозвал его, заменив напыщенным болтуном адмиралом Чичаговым. Стало быть, снова оставался недоволен Кутузовым.

Александр I любил трескучую деятельность молодого Каменского и англomана Чичагова, который в морское министерство, как и в армию, не внес ничего, кроме сутолоки.

Приезд Кутузова произвел дома радостный переполох. В залу, где сидел в кресле Михаил Илларионович, тотчас же сбегалась вся дворня. Челядь припадала к ручке и плечу любимого барина, поздравляла Михаила Илларионовича с знатной викторией над басурманами, с титулом «графа», с благополучным прибытием. Потом все ушли. Михаил Илларионович остался вдвоем с женой. Он пересел к ней на диван, и тут начался задушевный разговор. Когда переговорили все о своих девочках, их мужьях, о внуках и внучках, стали говорить о разном.

Михаил Илларионович рассказал, как Чичагов разлетелся, — думал, что он, а не Кутузов, заключит долгожданный мир.

— Хотел загребать жар чужими руками, ан не вышло! На чужой каравай рта не разевай!

— Молодец, Мишенька! Утер нос и царю и Чичагову! — ласково потрепала мужа по щеке Катенька. — А над его назначением смеются. Александр Львович Нарышкин называет Чичагова — «адмирал Бонниве», которого король Франц Первый назначил командовать армией. Многие шутя спрашивают: «Если адмирал Чичагов командует армией, то Михаил Илларионович, вероятно, будет командовать флотом?»

— Флота Александр Павлович мне не пожалеет: он флот не любит, считает, что России флот вообще не нужен.

— А за мир тебя все так превозносят! И поражаются предвзятому, странному отношению к тебе императора.

— Ничего странного в этом нет. Пора бы уж знать, что Александр терпеть не может русских. Презирать русских он считает «хорошим тоном». Любой иностранец для него дороже!

— Да, верно, в Вильну Александр Павлович поехал окруженный одними иностранцами, как будто своих нет.

— Ну, господь с ним... Что, Катенька, в столице уже мало кого осталось? Поди, все разъехались по имениям? — спросил Михаил Илларионович, хотя по тому, как была одета и причесана жена, можно было предполагать обратное.

— Нет, нынче никто не уезжает далеко — боятся войны. Все сидят в Петербурге. Вот завтра сам увидишь — поедет со мной в театр. Французская труппа дает «Дмитрия Донского» Озерова. Жорж играет Ксению.

— А где же французы играют? Большой театр сгорел еще в прошлом году?

— Да, сгорел как раз под Новый год.

— И ничего не осталось?

— Ничего. Деньги и документы спасли — контора помещалась в первом этаже, а загорелось где-то наверху. Успели вытащить несколько декораций для «Андромахи». Император сам приезжал на пожар. Пожаловал по целковому пожарным служителям за усердие.

— А как себя чувствовал директор, Александр Львович Нарышкин?

— Как всегда — не выдержал, чтобы не сострить. Говорит государю: «Вот, ваше величество, нет больше ничего — ни сцены, ни лож, ни райка, остался один партер!»

— И откуда у него берется? — улыбнулся Михаил Илларионович. — Где же сейчас играет французская труппа?

— Дирекция сняла дом Молчанова на Дворцовой площади. Бывший Кулешева, такой синий, знаешь?

— Знаю.

— Вот теперь в нем театр. Называется — «Новый».

— Как помещение?

— Ничего. Главная зала имеет два яруса лож и галерею. Конечно, той роскоши, какая была в Большом у Коломны, здесь нет и в помине — ни золоченой лепки, ни бронзы, ни тех люстр, ни зеркал, но все-таки зала очень мило драпирована голубым бархатом. У меня веселенькая ложа в первом ярусе, почти в самом центре, через две ложи от Марии Антоновны Нарышкиной.

«Да, ты денег на ложу не пожалеешь. Представляю, сколько она стóит!» — подумал Кутузов.

На следующий день Михаил Илларионович поехал с женой в «Новый» театр.

На спектакле он действительно увидел весь петербургский высший свет — тут были князья и графы, сановники и министры, генералы и их разряженные в парижские туалеты жены и дочери. Слышалась только французская речь.

Всюду были знакомые лица. Михаил Илларионович раскланивался направо и налево. В первом ряду, не в ложе, а в своих директорских креслах, между петербургским главнокомандующим тихим Вязмитиновым и глуховатым стариком Строгановым сидел веселый Александр Львович Нарышкин.

Катенька показала Михаилу Илларионовичу жену Барклая Елену Ивановну — она сидела во втором ряду с Кочубеем. Кутузов увидел сутулую, жирную спину и рыжую голову в какой-то безвкусной прическе. Необразованная лифляндка Бекгоф сумела когда-то поймать в свои сети скромного, безвольного егерского поручика Барклая де Толли и теперь держала себя надменно, с напускной важностью. Салонные острословы язвили, что мадам Барклай выбирает в прислуги самых безобразных девушек, чтобы казаться в доме самой красивой, а муж берет в адъютанты самых глупых офицеров, чтобы казаться самым умным.

Центральную ложу первого яруса занимала возлюбленная императора, известная красавица Мария Антоновна Нарышкина. У нее собиралось изысканное общество. Все, кто были приняты у Марии Антоновны, имели доступ во все дома столицы. Ее наряды служили образцом (и бы-

ли предметом зависти) для всех дам петербургской знати. И сегодня Мария Антоновна обращала на себя внимание всех скромным, но изящным вечерним платьем. Нарышкина была вся в голубом, которое так шло к ее черным глазам, — голубой короткий лиф с короткими же рукавчиками, обнажавшими красивые руки, и такая же юбка, вышитая васильками. Плотную, но хороших линий шею украшало кольцо из двух рядов крупного жемчуга. Из волос кокетливо выглядывал букетик свежих фиалок. Плечи и низко открытую крепкую грудь прикрывала длинная — до пят — дорогая кашемировая шаль.

Увидав Нарышкину, Михаил Илларионович сразу же пошел приветствовать очаровательную и милую Марию Антоновну, целовал ее ручку и говорил комплименты.

Нарышкина относилась к жене Кутузова холодно, как обычно относятся друг к другу две красивые женщины, но галантному, остроумному Михаилу Илларионовичу она симпатизировала.

К Кутузову в ложу приходили многие, чтобы поздравить Михаила Илларионовича с приездом и царской милостью.

Долго сидела с ними и тараторила некрасивая Елизавета Петровна Дивова. В ее доме на Миллионной всегда вертелись иностранцы и актеры. Знаменитый тенор Мандини не без основания прозвал ее *sempre pazzo*¹. Дивова утверждала, что для полного счастья «надо много денег и немного легкомыслия». Сама она в пятьдесят лет была больше легкомысленна, чем богата. Михаила Илларионовича удивляло: как Катенька терпит эту вздорную, взбалмошную интриганку. Но их соединяло пристрастие к актерскому миру и, как всех стареющих женщин, к обществу молодых щеголей.

Дивова и Катенька горячо обсуждали новый наряд Нарышкиной, сходились во мнении, что лучше было бы не два ряда жемчугов, а один.

— Как купчиха какая! — поджимала губы Дивова.

Удивлялись, почему такой куций канзу².

— Как у девчонки! Я бы своей внучке не решилась сделать! — говорила Екатерина Ильинишна.

И строили догадки, сколько тысяч франков стóит эта бесспорно чудесная кашемировая шаль.

¹ Всегда сумасшедшая.

² Канзу — лиф.

Пришел поздравить Михаила Илларионовича старик Дмитревский. Он говорил по-русски.

— Катерина Ильинишна, как это вы допускаете, что Михайло Ларионович так долго любезничает с Марией Антоновной? — спросил, шутливо подмигивая, Дмитревский.

— У мужчин считается хорошим тоном быть обязательно влюбленным в Марию Антоновну, — наклонившись к Дмитревскому, вполголоса ответила Кутузова, но, поймав недовольный взгляд мужа, прибавила в тон Дмитревскому: — Впрочем, это старая привязанность Миши. Пусть он сам скажет.

— Да, я всегда говорю: Мария Антоновна — ангел. Я боготворю женщин только потому, что Мария Антоновна — женщина, — повторил Кутузов по-русски ту же фразу, которую несколько минут тому назад сказал по-французски Нарышкиной.

Кутузов держался с достоинством, не имел вида «опального» полковнца, не приbedнялся, не жаловался никому на свою незаслуженную обиду. И от этого еще резче подчеркивалась вся мелочность предвзятого отношения императора Александра к уважаемому, заслуженному полководцу.

Все поздравляли Михаила Илларионовича со славною победой, с возвращением к родным пенатам, как водится, притворно уверяли, что Михаил Илларионович прекрасно, молодо выглядит.

И Кутузов был хоть отчасти удовлетворен. Получалось так: хотя никто не говорил прямо, но в каждой фразе сквозило: «Император бестактен и глуп, он зря обидел тебя, но ты, Михайло Ларионович, держись так умно, что от этого только возвышаешься в наших глазах!»

II

Каждый день Михаил Илларионович просыпался с одной и той же мыслью: начал уже войну Наполеон или нет?

Но прошла неделя со дня приезда Кутузова домой, а все еще было тихо, мирно.

Михаил Илларионович пробуждался под певучие крики разносчиков, доносившиеся с набережной: «Ра-аки, ра-аки!» или «Ла-андышóв, ла-андышóв!» Он оборачивался

к жениной постели. Екатерина Ильинишна — ранняя пташка — уже упорхнула в туалетную, взяв с собою книгу в желтом, как желудь, телячьем переплете, которая всегда лежала на ее ночном столике.

Книга называлась «Дамской врачъ», перевел с французского М. И. У. медицинского факультета студент Кодрат Муковников.

«Дамской врачъ» говорил не только о болезнях «различных возрастов», но и о многих других полезных вещах, например: «о благоприятных минутах исполнять должность брака», «о способнейшем возрасте выдавать девиц замуж».

Екатерину Ильинишну особенно интересовал раздел, называвшийся «Венерин туалет». В нем содержались такие советы: «способ предохранить линяние волосов», «способ выравнивать морщины на лице», «как сделать здоровым и пригожим тело», «как сделать старое лицо наподобие двадцатилетнего».

Вот Катя каждое утро брала эту книгу и уходила в туалетную делать разные «удивительные для лица» белила и мази. И не оттого ли она выглядела моложе своих пятидесяти шести лет?

Михаил Илларионович вставал с постели и открывал настежь окно.

На Неве рыбаки закидывали сети. Низко летали белые чайки. Все дышало безмятежным покоем.

Но на преддиванном столе белело полотнище разложенной географической карты...

Михаил Илларионович звонил в колокольчик. Входил Ничипор помогать барину одеваться: дома, как и на войне, он один прислуживал Михаилу Илларионовичу, хотя в кутузовском доме лакеев хватало.

— Добрый день, ваше сиятельство!

— Здорóво, Ничипор! Ну, как ночевал? Не хуже, чем под Рущуком?

— Спаты — не воеваты! — весело отвечал денщик.

— Что слыхать в городе?

— Та ничего. Всэ, як було.

— Курьера ждут?

— А що им робыты — ждуть!..

У дома военного министерства с утра толпился народ — ожидали курьера из Вильны к князю Горчакову, который замещал Барклая де Толли: Это была единственная возможность узнать последние новости.

От курьеров весь Петербург знал, что Александр занят в Вильне двумя своими любимыми пристрастиями — дамами и муштрой.

В Петербурге Александр оставил обеих жен — законную и фактическую: красивую, но надоевшую голубоглазую Елизавету Алексеевну и красивую, но любимую Марию Антоновну Нарышкину, которую свет называл «черноокой Аспазией». Кроме них, император оставил прелестных актрис — Шевалье, Филлис и, как ее продолжали нелепо величать в печати, «девицу Жорж».

Но Александру все было мало.

Ему с детства внушали, что он «ангел», что он красив. Это он помнил, но забывал, что немного хромает и туговат на одно ухо. Он вообще считал себя неотразимым и любовался собою, как Нарцисс. Он с юных лет всюду волочил за самыми прекрасными женщинами и хотел и в Вильне пленять сердца польских дам. Правда, это имело здесь и другую подоплеку: Александр стремился привлечь на свою сторону поляков. Император легко жаловал польских дам во фрейлины, а мужчин в камер-юнкеры.

Он был чувствителен к женскому вниманию и лести и потому рассыпался перед любой польской графиней. Впрочем, это откровенное ухаживание такого именитого донжуана не угрожало ни спокойствию их мужей, ни чести самих жен.

«Мне хорошо известно, что в большинстве случаев добродетель дам, пользовавшихся благоволением Александра, весьма редко находилась в опасности», — писал об Александре его друг Адам Чарторийский, знавший его прекрасно.

А лейб-медики сплетничали по этому поводу об императоре:

— Он воображает о себе, как и во многом другом, больше, чем может!

Император Александр I уделял в Вильне приемам и балам много времени, чего не следовало бы делать накануне войны с таким грозным противником.

Глядя на него, и офицерство вело себя по пословице: игуменья — за чарку, сестры — за ковши. Офицеры волочили за кокетливыми польками, пили и играли в карты.

Император Александр I только изредка занимался армией.

Его не интересовало, хорошо ли стреляют, умеют ли колоть штыком и окапываться солдаты, достаточно ли в

магазинах хлеба и фуража, хватит ли сапог и снарядов. Он беспокоился об одном: по правилам ли «тянут носок», как маршируют. И солдат и командиров Александр оценивал не по делам, а по форме, не по их подготовленности к войне, а лишь по выправке. Лучшей дивизией в армии Александр считал 3-ю Коновницына, потому что на смотре она маршировала исправнее всех.

Александр верил в прусскую догму — фрунтomanия батюшки, Павла Петровича, не умирала!

Михаил Илларионович живо представлял себе любимую Вильну, роскошный генерал-губернаторский дворец, где он жил и где теперь живет император. Представлял себе незавидное положение командующего 1-й Западной армией Барклая де Толли: как он связан в своих действиях присутствием государя и всем его нелепым, пестрым окружением.

Свита государя была составлена не из известных всем своими общепризнанными заслугами в военном деле генералов, а из случайных иностранных выходцев, к которым почему-то благоволил Александр I, всю свою жизнь заискивавший перед Западом. Это были: никому не ведомый шведский генерал Армфельд и два прусских барона — Фуль и Вольцоген. После разгрома пруссаков Наполеоном в 1806 году Фуль и Вольцоген перешли на русскую службу.

Тридцатитрехлетний, не по-прусски курносый Вольцоген служил в Пруссии простым лейтенантом. В России этот пронырливый и речистый пруссак сразу попал в генеральный штаб, а потом был пожалован во флигель-адъютанты императора.

А пятидесятилетнего кабинетного генерала Фуля Александр сделал своим наставником в военных вопросах.

Александр I, кокетничая, любил уверять, что окружен тупицами и подлецами. Говоря это, он, разумеется, имел в виду только русских, но так как при нем русских было всегда мало, то он, сам того не желая, определял положение вещей совершенно точно.

Кроме этих трех горе-воjak, все достоинство которых заключалось лишь в том, что они были иностранцами, в свите Александра I числился еще генерал Беннигсен, единственный по-настоящему боевой человек.

Главным авторитетом в военном деле у императора Александра стал с 1807 года барон Карл фон Фуль.

Малоначитанный вообще и совершенно несведущий в древней военной истории, Александр I благоговел перед

обширными теоретическими знаниями Фуля. Буквоед и начетчик, Фуль был типичным схоластическим теоретиком. дальше «Записок о галльской войне» и однажды данной схеме не видевший ничего.

Александр I никогда не любил читать, а барон фон Фуль, нечесаный и лохматый, все дни проводил за любимыми латинскими авторами. Из него получился бы неплохой преподаватель римской филологии. Он был влюблен в латынь и серьезно утверждал, что настоящему полководцу нужнее знать латынь, чем название реки, на которой расположена его столица. Это пристрастие к латыни объяснялось тем, что Фуль признавал великими полководцами только Юлия Цезаря и Фридриха II. Все, что было после «скоропостижного» прусского короля, Фуль считал не стоящей внимания порчей святого военного искусства.

Он не имел и не хотел иметь ни малейшего понятия о полководческой деятельности Наполеона. Единственной меркой у Фуля была Семилетняя война Фридриха II.

Нелюдимый, замкнутый, угрюмый, вечно сидевший за книгами и картами, с неизменной табакеркой в руках, барон нигде не бывал и ни с кем не заводил знакомства.

Фуль прожил пять лет в России и даже не научился ни одной русской фразе, в то время как его малограмотный денщик украинец Федор Владыка свободно говорил по-немецки.

Предвидя неизбежную войну с Наполеоном, многие русские генералы представили императору Александру планы ведения будущей войны. Одни были оборонительные, другие — наступательные. Предложил свой план и барон фон Фуль. Его план резко отличался от всех остальных. Это было пустое измышление человека, жившего в мире абстрактных схем и предвзятых понятий. Он сводился к следующему. Все русские силы делились на две армии. Главная из них, бо́льшая по численности, располагалась в укрепленном лагере у местечка Дрисса на реке Западная Двина, а вторая должна была действовать во фланг и тыл противника, который, по мнению Фуля, обязательно должен был атаковать Дрисский лагерь.

Болезненно недоверчивый Александр остался верен себе: не принял целиком ни одного плана, но в то же время продолжал пополнять продовольственные магазины западнее Двины и Днепра и приказал строить Дрисский лагерь. Позорно нелепый схоластический план кабинетно-

го генерала Фуля, никогда не нюхавшего порошу, все-таки привлекал внимание Александра.

А в общем, даже в Вильне у Александра, который продолжал считать себя великим полководцем, не было никакого определенного плана ведения войны.

Императора, видимо, это обстоятельство никак не волновало.

На что он надеялся — не знал никто.

Но Михаила Илларионовича, как всякого русского гражданина и профессионального военного, отсутствие плана беспокоило.

Зная упрямство Александра и его полную бездарность в полководческом деле, Кутузов боялся, как бы Александр в последний момент не последовал гибельному совету Фуля.

Так, в ожидании событий, прошло десять дней после приезда Кутузова домой.

В понедельник 17 июня Михаил Илларионович сидел в халате у раскрытого окна. После обеда клонило ко сну, но он крепился, не хотел спать: будешь полнеть, а и так уж не худенький! Можно было бы читать, отвлечься, но он щадил глаза, вернее — последний, левый глаз. И вдруг из дальних комнат донеслись какие-то возбужденные голоса. Михаил Илларионович прислушался. О чем-то по-всегдашнему быстро-быстро тараторила Марина, горничная Катеньки. Она такая же маленькая, щуплая и быстрая, как ее барыня, только лет на десять помоложе Екатерины Ильинишны, и так же, как барыня, любит наряжаться и так же не дает никому спуску. Марина занимала в доме особое, привилегированное положение. Она была чем-то вроде «барской барыни»¹.

— Что у них там?

И вот — поспешные шаги и в кабинет вошли они обе.

— Мишенька, война! — округляя и без того большие черные глаза, сказала жена.

— Откуда вы узнали? — живо обернулся к ним Михаил Илларионович. Дремота в один миг исчезла.

— Кульер прискакал, ваше сиятельство, — ответила Марина.

Марине очень нравилось, что ее господа стали графами, а то через дом жила графиня Гурьева, и ее горничная Стеша все чванилась. А теперь и Марина могла говорить

¹ Барская барыня — ключница.

всюду: «Ее сиятельство были в киятре» или: «А его сиятельство изволили сказывать...»

— Бонапартый перешел через энту, как ее, через Нёман. И с ним двенадцать языков; все, все: и сами французы, и немцы, и австрияки, и поляки, и цыгане, и тальяне... Идут — земля стонет. Говорят, ежели выдти за город к «Красному кабачку», то слышать.

— Мишенька, поезжай, дружок, к князю Алексею Ивановичу, узнай подробно, что привез курьер, — попросила Катенька.

Михаил Илларионович и сам сразу же подумал об этом. Он оделся и поехал в военное министерство к Горчакову.

Карета медленно тащилась по набережной Невы. На лицах встречных была написана тревога, — видимо, в Адмиралтейской части города уже все проведали об ужасной новости.

У подъезда военного министерства стояло с десяток карет, несколько курьерских троек, готовых к отъезду, и толпился народ: чиновник с книгой под мышкой, подгулявшие мастеровые, трубочист с лестницей, разносчик саек, чьи-то лакеи в потертых ливреях, салопница, смазливая горничная с моськой, грузная купчиха в цветном повойнике и ковровой шали на плечах, дворовые девушки.

Женщины охали и ахали, мужчины тяжело обдумывали случившееся, глубокомысленно изрекали:

— Н-да...

— Это, брат, не шутка...

И все не спускали глаз с подъезда министерства.

— Мальчишки только и знали одну игру — солдатики да солдатики. Вот и накликали напасть! — протодьяконским басом гудела салопница.

Тут же ходил полицейский с сизым носом. Это был офицер Петров, по прозвищу Шкалик. Михаил Илларионович знал его еще со времен своего генерал-губернаторства. Увидя подъезжавшего Кутузова, Шкалик подскочил к карете.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — сказал он, помогая Михаилу Илларионовичу вылезть из кареты.

Полицейский отворачивал голову в сторону, чтобы не дышать на графа. Но Михаил Илларионович все равно почувствовал: от Шкалика несло водочным перегаром и чесноком.

— Здорóво, Петров! (Михаил Илларионович чуть не сказал: «Здорóво, Шкалик!») Ну, что тут?

— Война, ваше сиятельство. Эй, расступись! Посторонись! — кинулся он к толпе.

Народ послушно раздался в стороны. Несколько человек сняло шапки. Михаил Илларионович, глядя под ноги, медленно шел по неровной булыжной мостовой к министерству.

Сзади за ним слышался шепот:

— Кутузов! Кутузов!

— Михайло Ларивонович!

В вестибюлях и комнатах министерства стоял дым коромыслом. Бегали писаря и ординарцы, толпились военные.

Кутузов не пошел к самому Горчакову: он узнал все тут же, в приемной. Толпа генералов и штаб-офицеров окружила одного из адъютантов Горчакова, корнета Прахова, — он был в курсе новостей.

Оказалось, что пять дней назад, в среду 12 июня, Наполеон без объявления войны, по-воровски, перешел через Неман у Ковны. А в это время император Александр собирался на бал к Беннигсену в его дворец в Закрете.

— А где это такое — Закрет? — спросил кто-то.

— Закрет — загородный дворец на берегу реки Вилия в очень живописном месте. В нем раньше жили иезуиты, — объяснил Кутузов.

— Свято место пусто не бывает, — вполголоса сказал стоявший рядом с Кутузовым иронический, горячий генерал Бегичев.

— Император еще до бала получил известие о переправе, но бала не отменил.

— Ему балы да бабы — превыше всего! — продолжал Бегичев.

— И что же, где наша Первая армия? — спросил генерал Меллер-Закомельский.

— Отступает к Свенциям.

При этих словах корнета все невольно глянули на большую карту Российской империи, висевшую на стене.

— Почему же отступают? — вырвалось у кого-то возмущенно.

— А что же делать? Ведь наши армии разобщены, — ответил Кутузов. — Вторая армия Багратиона — где?

— У Волковыска, — показал корнет.

— А левый фланг Барклая?

— Шестой корпус Дохтурова — у Лиды, — не задумался корнет Прахов.

— Ну вот, стало быть, между ними верст сто будет, — подходя к карте, сказал Кутузов. — Пока что делать нечего, надо отходить...

— Неужели же император пойдет в эту мышеловку — в Дрисский лагерь? — спросил кто-то с отчаянием.

Михаил Илларионович не ответил, а пошел к выходу. Все было ясно: жребий брошен!

III

Теперь каждый день приносил новости. Новости были невеселые: 1-я армия отступала, а от 2-й не имели никаких известий.

Теперь курьеров из армии ждал весь город. С утра до позднего вечера у здания военного министерства толпился встревоженный народ. Тут стояли не только какие-либо праздные, жившие по соседству, случайно проходившие мимо: нянька с ребенком, мальчишка, посланный за чем-то хозяином в лавку, старуха, бредущая в Казанский собор. Сюда шли специально, нарочно, шли с Коломны и Охты, с Мещанских, Литейного и Васильевского. Шли все: купцы, ремесленники, дворовые, чиновники, военные, духовные. Больше всего околачивалось в толпе лакеев и горничных — господа отправляли их сюда каждый день с единственной и определенной задачей: узнать, что сегодня привез из армии курьер.

Много времени проводили здесь кутузовские Марина и Ничипор.

Марина, конечно, узнавала новости быстрее флегматичного тугодума Ничипора, но Марине было все равно: что «дивизия», что «дирекция», что Двина, что Днепр. Ничипор же тоньше разбирался в этих делах и не принимал слышанного на веру так, как делала легкомысленная Марина, а относился к сказанному критически. Одним словом, Марина олицетворяла собою чувство, а Ничипор — разум.

Теперь Михаил Илларионович чаще подходил к карте, чем раньше, подолгу сидел, наклонившись над ней с циркулем в руке, думал. Он переносил карту с собой из спальни в столовую, из столовой в кабинет.

Его беспокоило прежде всего отсутствие у русских четкого, единого плана ведения войны. Александр I всегда и во всем любил неопределенность. Он предпочитал не выражать точно и ясно своего отношения к предмету или вопросу, чтобы потом, при нужде, можно было бы отпираться и свалить всю вину на другого.

Александр так хотел быть всегда чистым! Александр не забывал, что ведь он — «ангел»!

Но план Наполеона был ясен любому ученику кадетского корпуса: вбить клин между 1-й и 2-й русскими армиями, разбить Барклая де Толли и Багратиона поодиночке. Тем более, что Наполеон располагал значительным перевесом в силах.

И оборонительные рубежи были только Западная Двина и Днепр. Это значит: Рига — Полоцк — Витебск — Орша — Могилев — Смоленск.

Затем Михаила Илларионовича очень беспокоило положение Багратиона. Где находилась 2-я армия, какие Багратион получил указания от Александра I, когда план-то вообще не было, Кутузов не знал. Не вызывало сомнений одно: если Барклай отступает, то это же приходится делать и Багратиону. И чем дальше шел на восток Барклай, тем все больше увеличивался разрыв между 1-й и 2-й армиями и тяжелее становилось положение Багратиона.

Но Кутузов хорошо знал напористого, энергичного князя Петра Ивановича. Он не забыл его замечательной ретирады в войне 1805 года и не терял надежды на любимого суворовского «Петрушу».

С того дня, как Марина и Ничипор принесли известия, что наша армия идет на Дриссу, Михаил Илларионович стал просыпаться раньше Катеньки. Она еще сладко, чуть всхрапывая, спала в своем голубом французском чепчике, который назывался «утраченная невинность». Михаил Илларионович осторожно, чтобы не разбудить жену, вставал, надевал туфли, набрасывал на плечи турецкий парчовый халат и, взяв карту, тихонько уходил в кабинет.

Дрисский лагерь — этот мешок, эта ловушка — беспокоил Кутузова больше всего. Он был так похож на лагерь великого визиря на левом берегу Дуная, где Михаил Илларионович уничтожил все отборное войско султана.

Михаил Илларионович смотрел на карту.

Прежде всего — Дрисский лагерь не на главном направлении. Он не защищает ни Петербурга, ни Москвы.

Наполеон может вообще оставить против него заслон и спокойно идти куда угодно. «А вы сидите тут, прижатые к реке, как турки на Дунае!»

В случае отступления из Дрисского лагеря мостов, конечно, не хватит.

Хуже и придумать нельзя.

Если бы Наполеон хотел устроить западню для русской армии, он не смог бы придумать лучше, чем выдумал выживший из ума прусский барон фон Фуль.

Было противно смотреть на карту! Михаил Илларионович не выдерживал, бросал циркуль на стол и, заложив руки за спину, начинал ходить из угла в угол.

Злил этот высокомерный неуч, избалованный бабушкин внук, упрямый, как ишак, Александр! Неужели он запрет свою армию в Дрисский лагерь? Это будет разгром хуже аустерлицкого!

Неужели не найдется никого, кто бы объяснил, разжевал Александру всю гибельность, преступность Дрисской ловушки?

Кутузов отлично понимал, что Александр совершенно нетерпимо относится к чьим бы то ни было указаниям и советам, особенно в военном деле, которое считает своим природным и давно изученным.

Михаил Илларионович невольно перебирал в уме свиту царя. Вольцоген — друг и единомышленник Фуля. Аракчеев — холоп и трус, не скажет ни слова. Армфельд и Беннигсен — типичные ландскнехты: сегодня служат одному государю, завтра будут так же служить другому.

Но неужели не видит опасности, не думает о ней умный и честный Барклай? Он же — настоящий полководец!

Багратион сказал бы: он по-грузински пылок и горяч, но Багратион далеко...

А настроение в столице стало мрачным. В салонах — ни шуток, ни смеха, и даже у питейных домов — ни песен, ни балалайки.

Вместо разговоров о том, что капотики из крепа цвета трубочиста уже считаются вульгарными и какой пленительный и притом чисто русский голос у Менвель-Фодор («Вы ведь знаете, душенька, она же родилась в России!»), вместо разговоров о том, что барыня вчера высекла повара Василия за пересоленные «каклеты» и что, вишь, как время-то бежит — уже июль, как сказано: «Плясала бы баба, да макушка лета настала», — всюду — в гостиных и у ворот — велись одни невеселые, непривычные разговоры.

Судили-рядили, конечно, о нем, о Бонапарте, будь он неладен. Вверху говорили:

— Напрасно тогда император не отдал за Бонапарта своей сестры Екатерины Павловны.

А внизу — о том же, но несколько иначе:

— Бонапартий идет скрозь нашу землю в гости к своему тестюшке, папе Римскому. Жена у него — колдунья: заговаривает огнестрельное оружие. Потому-то французы и побеждают. А сам Бонапартий — волшебник: знает все, что о нем думают.

Говорили разными словами, но, в сущности, сходились на одном: поносили Бонапарта. И во всем винили Тильзит. В гостиных сетовали, зачем Александр пошел тогда на поклон к Наполеону: все равно не помогло, а в людских — сожалели: крестил царь в Неман-реке Бонапартия, да мало — нехристом так и остался!

Всех тревожило одно: идет война, а куда от нее побежишь? У господ не хватало денег, а у челяди — воли.

Уныние и страх усугубляли бежавшие из Риги. Ежедневно к городским шлагбаумам подъезжали десятки карет, колясок, повозок и телег с семьями дворян и их челядью, с сундуками, корзинами, с мамками, горничными, лакеями, спасавшимися от войны из Риги в Петербург.

А время хоть и томительно, но шло. Смешно было читать в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Его императорское величество в присутствии своем в городе Вильне соизволил отдать следующие приказы...» — когда в Вильне давно сидел Наполеон.

1 июля курьер прискакал в Петербург уже из Дриссы: император Александр все-таки привел 1-ю Западную армию в эту западню.

Михаил Илларионович окончательно помрачнел и перестал разговаривать; ходил по кабинету, стоял в раздумье у окна, барабанил пальцами по стеклу, или лежал на диване, закрыв глаза. Ворочался, молчал, но не спал. И ночью спал мало. Екатерина Ильинишна, проснувшись от какого-нибудь стука, видела: Миша сидит на постели или у раскрытого окна — любуется прозрачной и призрачной белой ночью. Он даже как-то осунулся. Екатерина Ильинишна не трогала мужа, понимая его состояние, и не старалась разговорами отвлечь Мишу — знала по опыту многолетней совместной жизни, что в таком настроении.

какое было у него сейчас, ничего не добьешься: человек окончательно замкнулся в себе.

В следующие дни, когда армия стояла у Дриссы, от курьеров и ямщиков слышали одно: Наполеон перед войной отправил в Россию сотни шпионов — не даром во многих городах прошлым летом возникали пожары. Шпионов достаточно развелось всюду, и первый из них — Барклай де Толли.

Рассказывали, что с каким-то полком все время шла женщина. Один солдат вздумал на привале приударить за ней, хотел обнять, женщина стала вырываться, платок съехал с головы, и солдаты увидели, что у женщины голова-то стриженная. Ее схватили и обнаружили: это мужчина...

— Русский народ — добрый, доверчивый, Аким-простота, — рассудили слушавшие.

Вскоре выяснилось, что главные силы Наполеона подходят уже к местечку Глубокому, а Багратион — в Несвиже.

После того как 1-я Западная армия очутилась в Дриссе, Михаил Илларионович с досады не прикасался к карте. А теперь глянул: Дрисса — Несвиж — около трехсот верст. Разрыв между 1-й и 2-й армиями с первоначальных ста верст уже достигал трехсот!

Вспомнилось (рассказывал Алексей Иванович Горчаков, узнавший это от пленного французского офицера), как хвалился Наполеон: «Барклай и Багратион больше не увидят друг друга!»

«Удастся ли Петру Ивановичу прийти раньше французов в Минск?» — думал Кутузов.

IV

Ничипор вошел в кабинет и остановился: барин спал на диване. Теперь по ночам он спал скверно — мало и как-то тревожно, сон не приносил ему отдыха, и Михаил Илларионович, махнув на все рукой, ложился после обеда соснуть часок-другой.

Ничипор не знал, что делать — и будить жалко, и новость-то уж больно интересна: русская армия оставила укрепленный Дрисский лагерь.

Ничипор каждый день слышал, как барин сокрушался, что 1-я армия засела в этой ловушке. Он тоже вспоминал,

как в таком же лагере на Дунае погибла отборная армия великого визиря. И вот теперь Ничипор принес барину долгожданную, приятную новость, а он — спит.

Денщик на всякий случай кашлянул.

Михаил Илларионович тотчас же проснулся и сел.

— Ну что? — с тревогой спросил он, глядя на Ничипора и Марину, которая выглядывала из-за денщика.

— Мабуть, позавчера наши оставили эту, как ее, Дрысю...

— Оставили Дриссу? — оживился Кутузов. — Как, с боем? Сражение было?

— Нет, ваше сиятельство, стражения не было, наши сами ушли без боя. Не пондравилось. А боя не было — французы еще далече, за Полоцком, — затараторила Марина.

— И куда же наша армия движется?

— Идет в энтот... — начал Ничипор.

— Идет в Витьбеск, в Витьбеск движется, — сказала Марина.

— Эге ж, я и кажу: в Витебск!

— Вот это здорово! — обрадовался Михаил Илларионович. — Ну-ка, расскажите подробнее, как дело было?

— Ты, Марина, не лезь поперед батька в пекло, не перебивай мене. Я сам их сиятельству как следует доложу! — обернулся к горничной денщик.

Марина обиженно поджала тонкие губы и стала обдергивать платье, делая вид, что эти слова к ней не относятся.

— Шо ж, стоимо мы, звесно, я, потим — она, — пренебрежительно кивнул на Марину Ничипор. — Семен, денщик того генерала, как его...

— Денщик генерала Сукина, что в Новой Голландии, в красном доме живут, и жена у них такая светлая блондинка, Елена Ивановна, — не выдержала, вмешалась Марина.

Ничипор не сказал ничего, только сердито глянул на нее.

— И я кажу: Сукина! И до нас подошел лакей Козодавлева, Спиридон. Вот стоимо, разговариваем час и другой, а кульера все нема.

— Да что ты тянешь, рассказываешь от потопы! Говори про курьера! — возмутился Кутузов.

— Та я ж, ваше сиятельство, за кульера и кажу.

— Нет, лучше пусть она рассказывает! — показал на Марину Михаил Илларионович.

— Хорошо, ваше сиятельство, я сейчас все вам как надо быть представлю! — выступила вперед Марина, а Ничипор смущенно чесал затылок и смотрел на горничную так, как смотрит собака на жужжащую перед ее носом надоедливую муху.

— Вот стоим мы, ваше сиятельство, и час, и второй, и третий...

— Не бреши: трех часов не стоялы!

— Нет, стояли! Мы пришли, только полуденная пушка в крепости ударила. А когда закричали в толпе: «Едет, едет!» — я глянула: на миралтейских часах было десять минут четвертого! Кульер, ваше сиятельство, такой молодецкий, с усиками, такой великатный, нарядный, как картинка: курточка у него в талию, малиновая, грудь расшита шнурами, исподние, простите, красные. Козодавлевский Спиридон говорил: лейб-гвардии улан!

— И не улан, а гусар. Знает твой Спиридон. Стильки у него в словах правды, як у козы хвоста! — буркнул Ничипор.

— Да перестанете ли вы наконец спорить! — прикрикнул Кутузов.

— Вот выскочил энтот улан из повозки, а на нем, бедненьком, пыли, не приведи господи! И на курточке, и на сапожках, и на шапке. А шапка у него с хвостом! Стал, бедненький, встряхиваться! — засмеялась Марина, манерно поджимая губы, точь-в-точь как барыня Екатерина Ильинишна.

— На кой черт мне знать, сколько на курьере было пыли? Рассказывай, что он говорил!

— Как выскочил кульер, все к нему так и бросились: да что, да как? Господин улан, ваше благородие, расскажите на милость, где наша армия, где французы? Он встряхивается и кричит: «Наша армия, кричит, ушла из лагеря, из энтот»... простите, ваше сиятельство, — стыдливо улыбаясь, сказала Марина. — Право, я не могу сказать...

— А еще берешься рассказывать! — укоризненно посмотрел на нее Ничипор. — Из Дрыси...

— Ну и что ж дальше? — торопил Кутузов.

— И вот он отвечает: ушла, отвечает, отсюда, как Ничипор сказал. Тогда у офицера спрашивают: а куда, спрашивают, ваше благородие, идет наша армия?

Так он уже в дверях министерства крикнул: «В Вильню!»

— То есть как это в Вильню? — удивился Михаил Илларионович.

— Эх ты, ворона! Не в Вильню, а в Вытебск! — поправил Ничипор.

— И это все, что вы узнали?

— Все, все, ваше сиятельство!

— А чего ж бильш треба?

— Э, от вас толку не добьешься! Поеду сам. Беги, Марина, скажи, пусть запрягут лошадей, а ты, Ничипор, давай одеваться! — с необычайной легкостью засуетился Кутузов.

— Ваше сиятельство, кареты нет, — вернулась через минуту Марина.

— А где же она?

— Барыня уехала.

— Куда?

— К девице Жорж.

— Ах, черт ее, эту девицу! — вспылil Михаил Илларионович. — Пусть запрягут кого угодно и во что угодно! Беги, да поскорее!

Марина побежала распоряжаться насчет лошадей, а Ничипор стал помогать барину одеваться. Михаил Илларионович уже ни о чем не расспрашивал, а весело напевал:

Скучно было б расставаться и любезных покидать,
Если б мы не шли сражаться и злодеев побеждать...

Сенатор, генерал от инфантерии, граф Кутузов вынужден был ехать в военное министерство в дребезжащей от старости, скособоченной коляске, запряженной парой плохоньких, разномастных лошадей, на которых возили из Невы воду.

На этот раз Кутузов пошел к самому Алексею Ивановичу Горчакову и узнал от него все подробности об оставлении укрепленного лагеря у «Дризы», как в последнее время печатали «Санкт-Петербургские ведомости».

Прибыв с армией в Дриссу, Александр I продолжал наивно верить, что лагерь очень крепок; царь считал себя полководцем, но не видел вещей, которые увидел бы толковый унтер-офицер.

Все генералы свиты, кроме Фуля и его единомышленника Вольцогена, понимали гибельность этой затеи. Понимали, что в Дрисском лагере русская армия будет отрезана

от хлебных южных губерний и прижата к бесплодному северу и морю. Все возмущались, негодовали, но никто не решался сказать о никчемности плана Фуля самому императору. Русским генералам говорить это Александру было совершенно невозможно: царя почему-то всегда больше задевало, если о каком-либо недочете в армии говорил русский человек.

Сказать царю всю правду о Дрисском лагере решился служивший на русской службе сардинский инженерный полковник Мишо. Он через генерал-адъютанта князя Волконского попросил у императора аудиенции.

Александр выслушал Мишо и поехал с ним посмотреть все недостатки на месте.

Замечания Мишо были основательны и верны. Укрепления оказались очень слабыми, к левому флангу вплотную подступал лес, за которым мог свободно укрыться неприятель, внутри лагерь прерывался оврагами, спуски к четырем мостам через Двину были так круты, что не только орудия, но даже повозки приходилось спускать на руках.

Александр, приехав в лагерь, не видел в нем недостатков, но теперь, после того как умный и добросовестный Мишо на месте указал на них, разъяснил все, до императора наконец дошло. Вернувшись с осмотра, Александр созвал всю свиту и устроил нечто вроде совещания. Мишо должен был повторить при всех свой разбор недостатков Дрисского лагеря.

Никто из свиты не возражал ему. А резкий и прямой генерал-адъютант маркиз Паулуччи так и заявил в лицо Фулю, что Дрисский лагерь мог выдумать либо сумасшедший, либо изменник.

Фуль сидел взлохмаченный и красный. Он с упрямством тупого человека продолжал отстаивать свою правоту. Вольцоген поддержал его.

Александр, с юности привыкший скрывать свои чувства, не показал виду, что все это ему весьма неприятно. Но лагерь все-таки пришлось бросить и принять разумное предложение Барклая: идти на соединение с Багратионом.

Тут же были произведены перемены: начальником штаба 1-й Западной армии Александр назначил генерала Ермолова, а генерал-квартирмейстером полковника Толя.

Карл Толь учился у Михаила Илларионовича в кадетском корпусе.

«Что ж, Карлуша был способный мальчик!» — думал Кутузов, едучи в хорошем настроении домой от Горчакова.

Главная опасность, которой Михаил Илларионович боялся больше всего, миновала.

V

Огромное значение ухода 1-й армии из Дрисского лагеря понимали только военные, широким же кругам Петербурга было безразлично, стоит ли армия в Дриссе или идет к Витебску.

На них ошеломляющее, тяжелое впечатление произвело другое. После того как на правой стороне Двины остался один слабый корпус под командой второстепенного генерала Витгенштейна, а где-то там, за Двиной, таились грозные, несметные полчища Наполеона, петербуржцы почувствовали себя тревожно.

Москву могут защищать обе армии — Барклая и Багратиона, а Петербург — только Витгенштейн. Положение северной столицы казалось очень ненадежным. Страх усугубило распоряжение императора председателю государственного совета Николаю Салтыкову, которое Александр дал, уходя из Дриссы. Александр приказал Салтыкову вывезти в глубь страны из Петербурга следующее: святыни Александро-Невской лавры, государственный совет, сенат, синод, министерские департаменты, архивы, учебные заведения, банки, Монетный двор, Эрмитаж с его коллекциями, лучшие статуи из Таврического дворца, Сестрорецкий оружейный завод, статую Суворова и оба памятника Петру — у Инженерного замка и на Сенатской площади. Александр писал, что памятники Петру нужно вывезти, так как Наполеон, «в предположении вступить в Петербург», собирается увезти их во Францию, как увез из Венеции четырех бронзовых коней с площади св. Марка и коней с Бранденбургских ворот в Берлине.

Эта страшная новость в один день облетела весь город. О ней заговорили всюду:

— Уж если сам государь допускает, что Наполеон может прийти в Петербург, то дело дрянно!

Знать, дворяне, купечество стали собираться в дорогу, на восток, а «простой» народ мог только сетовать.

— Господь черт не возьмет: они унесут от Бонапартия ноги, а мы останемся тут на растерзание! — говорили на улицах, рынках, папертях, в банях.

Уныние охватило всю столицу.

В присутственных местах царили сутолока и неразбериха. Все дела сразу остановились. В канцеляриях и коридорах стояли настежь раскрытые шкафы, на столах и на полу громоздились горы связок и папок, по лестницам, неуважительно громко переговариваясь, экзекуторы и сторожа волокли ящики и сундуки. Пахло пылью, мышами и сургучом. Слышался визг пилы и стук молотков. Учреждения спешили отослать куда-нибудь подальше на восток архивы, а кое-кто из начальства отправлял заодно и свое имущество — картины, фарфор, бронзу.

На Неве, у пристани против здания сената и синода, стояло несколько больших барж: готовились увозить памятник Петру Фальконета.

Но памятник остался на месте.

К сенатору Голицыну, которому была поручена отправка памятника, пришел почт-директор Булгаков и рассказал свой необычный сон. Будто он шел мимо памятника, и бронзовый конь вдруг сорвался с камня и, звонко цокая копытами, понес своего всадника на Каменный остров, где жил император. Увидев Александра, бронзовый Петр сказал: «Не бойся за Петербург — я охраняю его. Доколе я здесь, Петербург вне опасности!»

Голицын решил не вывозить памятника.

О чудесном сне почт-директора Булгакова тотчас же узнала вся столица. Не проходило дня, чтобы на церковной паперти или на рынке не возникал бы вдруг тревожный слух:

— Бабоньки, памятник-то Петру Великому увезли вчера!

— Что ж это, как в каноне: «Коня и всадника в море Чермное»?..

— Не может быть!

— Ей богу! Селедочница Дарья своими глазами видела — увезли родимого! Один камень оставши!

— Окаянные!

— Охти мне!

— Пропали мы!

— Спаси, царица небесная!

И на следующий день к Сенатской площади потянулись откуда-то с Тринадцатой линии Васильевского остро-

ва или от Аларчина моста бабы. Подходя к Исаакиевскому собору, они уже издали с тревогой всматривались, вытягивая шею, приставив козырьком ко лбу ладонь.

Убеждались, что и конь, и всадник, и змея, и камень — все на месте.

— Стоит, целехонек, слава тебе господи! — крестились бабы и, успокоенные, уходили домой.

А для Кутузова, для всех, разбирающихся в общей военной обстановке, пришла из ставки еще одна приятная новость: император оставил армию.

Александр всюду и везде хотел быть первым. Когда он в апреле уезжал из Петербурга в армию, в Вильне льстецы говорили ему, что он, как Петр Великий, станет сам во главе русских войск. А теперь волей-неволей приходилось сознаться, что никакого Петра из него не получилось. Александр только мешал своим присутствием, связывал по рукам и ногам командующего 1-й армией Барклая де Толли и отнюдь не облегчал положения Багратиона.

Своим обыкновением во всех делах стоять как бы в стороне, наблюдателем («моя хата с краю...»), но все-таки стоять «над душой» каждого из командующих армиями император делал невозможным проведение единого плана войны. Это давно понимала вся ставка, но этого упрямо не хотел понять сам царь.

Еще в Вильне государственный секретарь адмирал Шишков составил письмо к царю, в котором убеждал его уехать из армии, однако не решался вручить написанное Александру. В ставке все шептались об этом, судили и редили о том, что император не командует сам всеми армиями и в то же время не назначает единого главнокомандующего. Но никто не хотел взять на себя такую рискованную миссию. Каждый знал, что этот улыбающийся, по виду такой кроткий и ласковый человек в одно мгновение может выпустить страшные когти.

Дальновидный, осмотрительный Шишков вспомнил, что государь как-то сказал ему, Аракчееву и Балашову по-всегдашнему неопределенно и уклончиво: «Вы бы трое иногда собирались бы и о чем-нибудь между собою рассуждали».

Шишков воспользовался этим и предложил Балашову и Аракчееву подписаться под письмом к царю. Балашов сразу согласился, а Аракчеев сразу же заупрямился. На все доводы Шишкова и Балашова Аракчеев отвечал:

— Что мне до отечества? Мне дороже всего — жизнь государя. Скажите: будет ли в опасности государь, если и дальше останется при армии?

— Конечно, конечно,— поспешил уверить льстеца и подхалима хитрый министр полиции.— Наполеон атакует и разобьет нас, и что будет с государем, кто знает. Ведь при Аустерлице его величество чуть не погиб!

Объяснять Аракчееву опасность пребывания на войне не приходилось. Аракчеев был храбр только на вахтпараде, где мог спокойно вырывать усы у провинившихся солдат, а под пулями и ядрами стоять не любил. Последний довод Балашова показался недалекому Аракчееву убедительным. Он не только подписал письмо, но вечером сам положил его на письменный стол императора.

В письме, между прочим, говорилось:

«...нет государю славы, ни государству пользы, чтобы глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы и части государственного управления другим».

Опытный литератор, хорошо владевший выпренным церковнославянским языком, Шишков воспользовался ораторским искусством Феофана Прокоповича, написав в письме:

«Феофан о Петре I, вдавшемся опасности наряду с прочими, сказал: «Вострепетала Россия единою смертию вся умереть боящаяся. Ежели прямой долг царей есть жить для благоденствия вверенных им народов, то едва ли похвально допускать в одном своем лице убить целое царство».

Одним словом, опять сыграли на сравнении с Петром Великим, сыграли на грубой лести.

Хотя прошло всего лишь два месяца, как сановные льстецы говорили, что Александр, отправляясь к армии, поступает, как Петр Великий, но теперь все сделали вид, будто забыли это, и с такою же настойчивостью утверждали обратное: если Александр покинет армию, он упо-

добится Петру Великому. Они сравнивали Александра с Петром перед Нарвским сражением, когда Карл XII угрожал нашествием на Россию и Петр уехал из армии в Москву.

Александр был не настолько глуп, чтоб не понять создавшегося положения. От него ждали точного решения: или — или. Подавив в себе обиду, он согласился уехать из армии, он «жертвовал» своим самолюбием. Уезжая, Александр I снова в который раз применил свой излюбленный ход: не назначил главнокомандующего всеми армиями.

1-й армией командовал военный министр Барклай де Толли, но он был младше в чине командующего 2-й армией генерала Багратиона.

Неопределенность, путаница и неразбериха остались в неприкосновенности.

Из ставки у Полоцка Александр написал воззвание не к Петербургу, а к «первопрестольной столице нашей Москве».

В Петербурге народ толпами стоял у желтых листов, расклеенных повсюду, слушал, как священники читают воззвание в церквях. Тяжелые обороты старой славянской речи были понятны немногим. «Простой» народ отлично уразумел только первые грозные, не затемненные никакими словесными красотами, фразы:

«Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество».

Это народ понимал и уходил возмущенный и готовый к отпору и мщению.

Кроме воззвания к Москве, Александр дал большой манифест об организации народного ополчения. Текст манифеста, как и всех других, был написан литератором, статс-секретарем Александром Шишковым. Ему удалось найти сильные, воодушевляющие народ слова, которые тотчас же заучили наизусть и стали повторять все:

«Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина».

Александр взял с собою в Москву Аракчеева, Балашова, Шишкова и флигель-адъютанта Чернышева. Все осиное гнездо иностранцев, интриговавших друг против друга во главе с развенчанным Фулем, среди которых не было недостатка в наполеоновских шпионах, осталось при армии.

Перед отъездом император пришел проститься с Барклаем. Он застал военного министра осматривающим конюшю кавалерии. Прощаясь с Барклаем, Александр сказал:

— Поручаю вам свою армию. Не забудьте, что другой у меня нет; эта мысль не должна покидать вас!

Царские слова звучали как предостережение, как угроза.

Александр ехал в Москву, чтобы, по его словам, «поджечь тамошний дух».

Может быть, он ждал, что в «первопрестольной» народ попросит его стать во главе всей русской военной силы? Ведь в конце манифеста говорилось о том, что в Москве «избран будет Главный над всеми Предводитель».

VI

И в имени твоём звук чуждый
невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый
тобою,
Ругался над твоей священной
сединою.
Пушкин «Полководец»

Михаил Илларионович снова не расставался с картой — его волновало трагическое положение 2-й армии: удастся ли Багратиону уйти от наседавших со всех сторон французских войск и соединиться с Барклаем?

Соединение обеих армий было в данный момент самым важным и острым вопросом.

Сведения, получаемые в Петербурге о 2-й армии, были скудны и отрывочны, но все-таки позволяли следить за тем, как Багратион самоотверженно, настойчиво и ловко пробивается на восток.

Даву раньше Багратиона занял Минск, и Петру Ивановичу пришлось круто повернуть на юг, на Бобруйск. «Ох, и достается же бедному князю!» — думал Кутузов, глядя на карту.

1-я армия спешила от Полоцка к Витебску навстречу Багратиону.

До Петербурга докатились рассказы о героическом бое 7-го корпуса генерала Раевского с превосходящими силами врага у деревни Салтановка, когда Багратион пытался пробиться на Могилев.

Все с восхищением передавали рассказ о том, как на плотину у Салтановки Раевский вывел двух своих сыновей, шестнадцатилетнего Александра и одиннадцатилетнего Николая, и вместе с ними повел войска в атаку; как Александр попросил у такого же шестнадцатилетнего подпрапорщика-знаменосца: «Дайте я понесу знамя» — и услышал в ответ гордое: «Я и сам умею умирать!»; как потом корпус Раевского, прикрывая переправу Багратиона через Днепр у Старого Быхова, отражал атаки корпусов Даву и Мортье, и офицеры и солдаты, получившие по две раны, возвращались после перевязки в бой, «как на пир».

Багратионовым солдатам не уступали в самоотверженности и храбрости солдаты Барклая.

Через день Петербург только и говорил о бое в Островне под Витебском. Здесь покрыли себя славой дивизии Коновницына и Остермана. Здесь Коновницын на вопрос одного генерала, терпевшего урон в людях: «Что делать?» — ответил: «Не пускать врага». А Остерман в подобном же случае сказал: «Стоять и умирать!» Русские армии мужественно отбивались от наседавшего, численно превосходящего врага.

Храбрость и самоотверженность русских солдат и офицеров не удивляли никого — так было всегда. Но в этой войне на помощь армии поднялся весь народ — в городах и селах, оставляемых врагу, тотчас же появлялись партизаны. Русская деревня встречала непрощенных гостей так же, как и белорусская: вилами, косами, топорами.

Тысячи безвестных героев делали в тылу врага то, что делала на поле боя армия: отстаивали свою независимость.

Русские солдаты были готовы стоять грудью за каждую пядь родной земли, но им приказывали отступать. За месяц войны Россия отдала врагу территорию больше Пруссии.

Отступления не понимал никто — ни солдаты, ни офицеры. В русской армии еще жил дух Суворова, многие солдаты носили измаильские кресты. И отступать армии было тяжело, непривычно и странно.

Сам собою напрашивался вывод: в командовании завелся предатель, он нарочно пускает врага разорять русскую землю. И первое подозрение, конечно, падало на командующего 1-й Западной армией Барклая де Толли. Прежде всего потому, что он был «немец». Русский народ исстари не любил разбираться в национальных тонкостях и всякого нерусского считал просто «немцем».

В штабе Барклая было много офицеров с нерусскими фамилиями. Достаточно назвать одних его адъютантов: Рейц, Клиnger, Келлер, Бок. Острый на язык Ермолов, недолюбливавший Барклая, шутил, что когда он приехал в главную квартиру, то нашел у Барклая только одного чужестранца и то Безродного.

Никто не знал, за какие заслуги Барклай де Толли так быстро пошел в гору из совершенно неизвестных генералов: сначала был назначен военным министром, а потом командующим 1-й армией. С его именем не соединялось ни одно крупное блестящее сражение, которое сверкнуло бы победным фейерверком, как Полтава, Ларга-Кагул, Рымник или вчерашний кутузовский Рушук. До назначения на пост военного министра широкие круги народа вообще не слыхали имени Барклая де Толли.

То, что Барклай де Толли честно служил в штаб-офицерских чинах, что участвовал во взятии Очакова, командовал егерским полком и бригадой, знали только военные. В Петербурге его еще более или менее помнили по войне со шведами, когда Барклай де Толли перешел с пушками по льду пролива Кваркен и занял шведский город Умео, но и только.

И чертами лица и характером он резко отличался от русских. Он был по-немецки-педантичен и сух, не допускал непринужденного обхождения с подчиненными, всегда держался строго официально. Это не Румянцов и Суворов, не Кутузов, Багратион и Милорадович. С теми любой поручик иной раз чувствовал себя на равной ноге. Они могли по-товарищески есть с солдатом из одного котелка походную кашу и курить из одного кисета табачок.

Не то было с Барклаем де Толли. Он был так же скромный и неприхотлив в личной жизни, как и те генералы. В походе спал под открытым небом и мог обедать на бара-

бане, но вместе с тем держал себя с младшими на определенной дистанции. Барклай де Толли не любил говорить, был холоден в обращении и чопорен и, как очень верно подметил Ермолов, «лишен дара объяснения».

Его честность, прямота, строгое отношение к себе и справедливое к другим, неутомимость в походе, необычайная храбрость и такое же самообладание в бою, стратегическая талантливость — все эти отменные, бесспорные качества не делали его любимцем армии. Он не был тем полководцем, который может зажечь и увлечь солдат на немыслимую атаку, невероятный штурм. К тому же он плохо говорил по-русски.

Александр уехал из армии. Остролов Нарышкин шутил по этому поводу:

— Один ум — хорошо, два — лучше, но одна неопытность и одно неискусство гораздо лучше двух!

Александр уехал из армии, но императорская главная квартира осталась. Она кишела врагами Барклая де Толли. Первым из них был генерал Беннигсен, обиженный тем, что царь не поставил его во главе армии. Дальше шли все те же Фуль, Вольцоген, Армфельд, Римский-Корсаков и прочие завистники и интриганы.

Они критиковали каждый шаг Барклая и наушничали на него брату царя Константину Павловичу, который почему-то не любил державшегося с достоинством, не шедшего ни у кого на поводу Барклая де Толли.

За всегдашнюю сосредоточенность и серьезность, за прямую, степенную, величественную поступь, за аккуратность, за требовательность ко всему и всем безалаберный Константин Павлович прозвал Барклая де Толли «тетя Барклай» и зло говорил, что господин военный министр больше похож на вдову министра, чем на самого министра.

Генералы из императорской главной квартиры восхищались этим солдафонским остроумием и, не стесняясь присутствия самого Барклая, отпускали разные колкости по его адресу. Барклай слышал их пересуды. Он спокойно слал к сплетникам своего адъютанта, прося их быть поскромнее.

Глупая кличка «изменник», пущенная из императорской главной квартиры, сразу же распространилась по армии. Какой-то штабной каламбурист неумно прозвал Барклая де Толли «Болтай да и только», воспользовавшись тем, что длинная, необычная для русского слуха фамилия получала при этом видимость какого-то осмысления. Этот

каламбур быстро подхватили все, хотя он был в полном противоречии со здравым смыслом: Барклая де Толли никак нельзя было назвать «болтуном». Он говорил мало и никогда не говорил попусту.

Но армия, в течение двух месяцев уходившая без боя на восток, окончательно изнервничалась в неведении. Армия нуждалась в простом и ясном объяснении того, что происходит, почему русские отступают. А вместо этого Александр «воодушевлял» войска витиеватыми приказами, которые для солдат были совсем невразумительными. Вот к императору вполне подходила бы такая кличка: «Болтай да и только».

Барклай понимал, что полководец должен говорить с солдатами. Раз он попытался сделать это — подъехал на привале к одному полку и спросил у обедавших солдат:

— Хороша ли каша? (Барклай долго думал, как и что сказать солдатам.)

— Хороша, ваше высокопревосходительство, да кормить-то нас не за что: не защищаем родную землю!

Барклай не нашелся что ответить и с тем уехал. Дружеской беседы с солдатами не получилось.

Положение Барклая де Толли с каждым днем, с каждой верстой отступления на восток становилось невыносимее: он всюду видел недоверчивые, озлобленные лица и за спиной все чаще слышал не заслуженное им, страшное слово «изменник».

Глава вторая

НАПОЛЕОН ТОРОПИЛСЯ

Император, который так желал сражения, пускал в ход всю свою энергию и весь свой гений, чтобы ускорить движение.

Арман де Коленкур о Наполеоне

Было бы счастьем для него, если бы он не принял впоследствии порывов своего нетерпения за вдохновения своего гения.

Ф. Сегюр

I

Наполеон торопился.

Он всегда был безудержно стремителен и нетерпелив, а в эту кампанию, как говорил Коленкур, «хотел, чтобы все летели на крыльях».

Его лихорадочная поспешность сказалась с первых шагов похода.

Выбирая место для переправы через Неман, Наполеон пустил коня в галоп. Императорский кровный «араб» испугался выскочившего из-под ног простого белорусского зайца, бросился в сторону, и Наполеон упал с коня на землю.

В Вильне он вынужден был задержаться на восемнадцать дней. Он не столько был занят устройством Литвы, сколько ждал подходившие новые полки. Восемнадцать дней показались ему как восемнадцать месяцев.

Наконец он смог двинуться дальше. Путь шел через местечко Глубокое, через которое когда-то проходили полки Петра Великого и Карла XII.

В Глубоком, устраивая склады припасов, снарядов и оружия, Наполеон прожил пять дней. Местечко Глубокое очень понравилось Наполеону и его штабу. Наполеон жил в большом кармелитском монастыре. Окна его двух комнат выходили на маленькое озеро у холма и на цепочку живописных прудов, вырытых руками крепостных монастыря.

В Глубоком Наполеон узнал о том, что русские оставили Дриссу.

Он поспешил к Витебску.

Наполеон продвигался с армией день и ночь. Шел через оставленные жителями, сожженные, а иногда только еще горящие белорусские деревни, местечки и уездные городки, шел в тучах пылающей пыли, задыхаясь в томительном июльском зное, напоминавшем нестерпимой жарой, безводьем и песками трудные египетские переходы. Его даже не очень беспокоило, успеет ли Багратион соединиться с Барклаем или нет. Пусть соединяются, лишь бы не избегали решительного сражения! Отступление русских было Наполеону горше всего.

И вот 14 июля вечером он настиг Барклая у Витебска.

Наконец он мог видеть собственными глазами 1-ю русскую армию, так много дней ускользавшую от него.

Войска Барклая стояли вот тут, у этого белорусского города, название которого Наполеон путал с Висбаденом. (У Наполеона была изумительная память на факты и местность, но он очень плохо запоминал собственные имена.)

Не успел Наполеон увидеть огни города и многочисленные бивачные костры русской армии, располагавшейся у Витебска, как закричал из кареты:

— Д Альба ко мне!

Наполеон не нуждался в просвещенном сотруднике, в начальнике штаба, который помогал бы ему разрабатывать оперативные планы. Он все задумывал и решал сам. Он не терпел советчиков.

«Я один знаю, что мне делать!» — говорил он.

Всегда смеющийся, маленький, толстый маршал Бертье, обер-егермейстер, военный министр и начальник штаба, был нужен Наполеону только затем, чтобы иметь под рукой необходимые сведения и рассылать распоряжения. Но без директора топографического бюро инженер-географа Луи д'Альба не проходила ни одна самая мелкая военная операция. На обязанности д'Альба лежала подготовка всех картографических материалов. Он наносил на карту направления маршей и операционных линий. Иногда глубокой ночью, получив интересную депешу, Наполеон приказывал: «Позвать д'Альба!» На основании новых сведений д'Альб делал доклад Наполеону. Они понимали друг друга с полуслова.

И сейчас, когда Наполеон увидел так близко неприятельскую армию, первый, кто понадобился императору, был не начальник штаба, вечно грызущий ногти Бертье, не какой-либо из маршалов, а скромный инженер-географ Луи д'Альб.

Пока ставили полосатые императорские палатки из бело-синего тика, пока носили в них из фургонов мебель и походную библиотеку Наполеона в трех ящиках красного дерева, Наполеон тут же, в карете, рассматривал с д'Альбом при бледном свете угасавшей вечерней зари карту Витебска и окрестностей. Потом, когда походный кабинет Наполеона был готов, д'Альб перенес карту туда, на большой стол, на котором уже ярко горели в тяжелых золоченых канделябрах свечи.

Наполеон, маленький и толстый, навалился грудью на карту: он не доставал до нужного места, а длинноногий д'Альб стоял, наклонившись над столом, как журавль.

Они смотрели на этот город, название которого так не давалось Наполеону, на реку Западную Двину и маленькую, чуть протянувшуюся на карте тонким волоском, дрянную и, вероятно, порядком пересохшую за эти жар-

кие июльские дни речонку Лучесу. Потом Наполеон ушел ужинать и спать: он спал в сутки не более шести часов. А д'Альб остался поднимать красками на карте реки, возвышенности и дороги, чтобы к утру карта с обозначениями частей своих и вражеских сил, наколотыми разноцветными булабочками, была готова.

Ночь Наполеон спал тревожно. Он просыпался каждый час и каждый раз звал Бертье, чтобы спросить:

— Русские не ушли?

Когда перед светом Бертье в седьмой раз уходил от императора. Наполеон, накинув на плечи халат, проводил принца Невшательского до выхода: он хотел удостовериться лично, что русские стоят на месте. Огни в русском лагере не горели уже так ярко, как с вечера, но костров было по-прежнему много. Наполеон спокойно лег заснуть еще на часок.

Чуть рассвело. Французский и русский лагеря еще спали, на аванпостах не слышалось ни шума, ни одиночных выстрелов. Над Двиной и Лучесой стлался густой туман, предвещавший и на сегодня такой же, как вчера, безоблачный, знойный день, а Наполеон был уже на ногах.

— Лошадь! — приказал он.

Лакеи и пажы кинулись из палатки.

Служить при Наполеоне было нелегко. В императорской главной квартире — ни в Париже, ни на театре военных действий — не придерживались правильного режима. Ни для чего не существовало определенного времени. Все делалось неожиданно, непредвиденно. Все должны были находиться на чеку. Среди сотен депеш, которые приходили во всякое время суток, император мог получить глубокой ночью депешу, в связи с которой у него вдруг возникало какое-нибудь решение. И он подымал среди ночи всю свою громадную квартиру — сотни людей. Ночью ему работалось легче, чем днем, и он называл эту способность «присутствием духа после полуночи».

Уже вчера все знали, что раз неприятель стоит в двух шагах, то император завтра чем свет поедет сам на рекогносцировку. И обер-шталмейстер Коленкур с вечера отдал распоряжение, чтобы все было готово. Берейторы Фогальд и Амодрю с двух часов ночи держали оседланным, только с ослабленными подпругами, белого арабского жеребца Евфрата, подарок шаха персидского. Невыспавшие-

сы Коленкур, Дюрок, д'Альб, генерал-адъютант Рапп и вся положенная свита, ежась от утреннего холодка и зевая, сидели наготове.

И потому Наполеону не пришлось ждать ни минуты. По первому его слову Евфрат и весь почетный эскорт стояли у палатки.

Наполеон, поддерживаемый Коленкуром и мамелюком Рустаном, сел в седло. За последние годы он отяжелел и садился, по выражению берейтора, жилистого и упругого Фагальда, «как мясник». Император имел такой вид, будто висит на седле. Поводья он держал в правой руке, а левая оставалась свободной. Наполеон всегда был посредственным наездником, чтобы не сказать больше. На галопе он болтался в седле, как мешок, часто терял стремя, но притом ездил отчаянно: по скатам обязательно спускался в галоп, рискуя сломать себе шею.

Впереди императора ехали два офицера-ординарца, сзади — Коленкур, Дюрок, д'Альб с картой, сложенной так, чтобы по первому требованию было удобно подать ее императору. За ними ехали мамелюк Рустан и паж, который вез зрительную трубу и сумку с походным письменным прибором и компасом. Все замыкали двадцать четыре конногренадера в голубых мундирах и медвежьих шапках.

Взошло солнце, проснулись оба лагеря — французский и русский, задымились потухшие за ночь костры: обе армии готовили завтрак. Позавтракав, занялись обычным соседским разговором — перестрелкой. Сначала это были одиночные ружейные выстрелы, потом понемногу к ним присоединила свой голос и артиллерия.

Но Наполеон приказал немедленно прекратить эту дуэль — сегодня он не хотел начинать сражения: еще не подошли некоторые колонны. И пусть войска отдохнут — завтра хватит всего: и пуль, и ядер!

Он тщательно обследовал местность, осмотрел подходы войска и только после полудня вернулся в лагерь — потный, запыленный, но сияющий и довольный: Барклай твердо стоял на месте, не обнаруживая желаний уходить из-под Витебска.

— Видимо, собирает силы. Пусть! Завтра они будут наши! — сказал Наполеон, слезая с седла на руки берейторов.

Во французском лагере все были такого же мнения:

завтра — бой, завтра — второй Аустерлиц, конец войне, иначе нечего и думать!

У полосатых императорских палаток, окруженных караулом из двадцати гренадер с офицером и барабанщиком, весь день царил оживление. Сюда мчались с разных сторон ординарцы и курьеры с депешами, приезжали маршалы и генералы, отсюда с места в карьер скакали адъютанты императора.

Наполеон несколько раз за день выходил из палатки. Положив зрительную трубу на плечо гренадера, изнывавшего у императорской палатки на солнцепеке, он смотрел на Витебск и русский лагерь. За городом на обширной равнине располагались русская пехота, кавалерия, артиллерия. Там все было, как вчера.

Откуда-то с аванпостов прошел слух, что в Витебске находится сам император Александр I.

Вечером в каждом полку прочли воззвание Наполеона:

«Солдаты! Настал наконец желанный день. Завтра дадим сражение, которого давно ждали. Надобно покончить этот поход одним громовым ударом! Вспомните, солдаты, ваши победы при Аустерлице и Фридланде. Завтра неприятель узнает, что мы не выродились».

Армия встретила воззвание с восторгом: всех утомил изнурительный, надоедливый безрезультатный поход, в котором главными врагами были пока что жара да нехватка продовольствия. Все надеялись, что завтра война будет окончена, и ликовали. А ужин еще больше поднял общее настроение: император приказал выдать к ужину каждому солдату по стакану русской водки, хотя полагалось бы французам повиноваться только духу чести. И лагерь долго не мог утихнуть — всюду слышались песни, шутки, смех.

Вечером егеря разложили у палатки императора громадный костер: Наполеон любил огонь. Император ходил возле костра, сам подбрасывал в огонь ветки и смотрел, как сотнями огненных пчел летят в ночное небо золотые искорки. Наполеон с удовольствием думал, что Барклаю этот радостный, буйный огонь, вероятно, кажется злоеющим — русская армия отступала, озаряемая отблесками

горевших сел и деревень. А Наполеону эта яркая, неукротимая стихия была по душе.

В десять часов вечера император пошел спать. Прощаясь с Мюратом, приехавшим с аванпостов, он сказал:

— Завтра взойдет солнце Аустерлица!

Наполеон еще раз глянул из палатки на русский лагерь, огней в нем было так же много, как и вчера.

II

Наполеон проснулся от какого-то шепота в переднем отделении палатки. Уже серело, близился рассвет. Император сел на постели, потирая жирную волосатую грудь.

— Рустан, кто там? — неторопливо окликнул он.

— Ваше величество, это я...

Полотняный полог палатки откинулся, и в спальню вошел, мягко звякнув золочеными шпорами, длинноногий Мюрат. На нем был гусарский доломан зеленого бархата, перевитый золотыми жгутами, малиновые рейтузы, расшитые золотом, и сапоги из желтой кожи.

— Что такое?

— Барклай ушел... — виновато сказал Мюрат. Он до сих пор боялся своего могущественного шурина и держался с ним почтительно и подобострастно.

В первую секунду Наполеон не понял — так ошеломило его это невероятное сообщение.

Он машинально всунул ноги в отороченные мехом сафьяновые туфли и так, в одном белье, маленький и взъерошенный, подскочил к длинному, нарядно одетому Мюрату.

— Куда ушел? Кто ушел? Повтори! — в ярости потряс кулаками император. Он жестикулировал как истый корсиканец.

Мюрат чуть откинул назад курчавую голову, как бы спасаясь от маленьких властных рук императора.

— Ваше величество, русские ушли из-под Витебска. Их лагерь пуст! — сказал он чуть дрогнувшими, пухлыми, как у негра, губами. Его простодушное бурсацкое лицо выражало растерянность, будто он на уроке богословия спутал святого Оригена с блаженным Августином.

— Не может быть!

Император забегал по палатке. Потом крикнул: «Трубу!» — и бросился мимо ошеломленного Мюрата к выходу. Быстрый мамелюк Рустан сунул ему в руку зрительную трубу. Наполеон, в одном белье, с растрепанными волосами, обнажавшими начинающуюся лысину, выбежал из палатки. Часовые едва успели взять ружья на караул.

Лагерь только просыпался. Вчера было приказано всем надеть парадную форму. Люди чистились и по-разному готовились к бою. Мнительные, скептики и пессимисты прощались с этим, пусть чужим, но все же голубым небом, с росистым утром, а весельчаки и оптимисты ждали славы и не указанных в воинском уставе победных витебских удовольствий.

Наполеон в туфлях, без лосин и сюртука казался более коротким и толстым. В его фигуре не было ничего воинственного: таким мог быть с виду купец, фермер или не успевший облачиться аббат. Но все-таки это был Наполеон.

Он не положил трубу на плечо ближайшего из grenадер, которые стояли вокруг палатки императора на карауле, а держал ее сам. Пухлая рука дрожала.

Наполеон видел дым потухших костров и больше ничего. На равнине у города, где вчера стояли люди, кони, пушки, теперь было совершенно пусто...

Наполеон кинулся назад в палатку мимо испуганных придворных и штабных. Он был страшен: брови сжаты, лоб избородили морщины, глаза метали молнии, ноздри раздувались.

Наполеон швырнул на стол трубу:

— Одеваться!

При одевании Наполеон был всегда особенно нетерпелив и привередлив. Его нужно было одеть быстро и ловко, так, чтобы в одежде ничто и нигде не стесняло, не давило, не беспокоило. Император с трудом переносил, как на него надевают сорочку из лионского полотна, застегивают на нем белые суконные рейтузы, натягивают на ноги сафьяновые сапоги. Сам он не делал ничего, не застегивал ни одной пуговицы, ни одного крючка. Он только подставлял Рустану или камердинеру то голову, то руку, то ногу, позволяя слугам делать с собой что угодно.

Но если — о di immortales!¹ — сорочка вдруг на какую-то долю секунды стопорчилась на спине, в од-

¹ О, бессмертные боги! (итал.).

но мгновение не облекла его, император рвал сорочку обеими руками, швыряя ошметки на пол или в лицо слугам.

Он не переносил, если ему вдруг казалось, что где-то что-то давит, стесняет, жмет. Особенно трудно было одевать императора в дни торжеств и парадов. Рустан заранее сговаривался с главным камердинером Констаном, как и кому действовать, с какой стороны лучше стоять с той или иной частью императорского туалета, как бы угадать каждое движение Наполеона, чтобы скорей надеть на него сорочку, рейтузы, вицмундир, сюртук. Надеть, но не задерживать, не побеспокоить, не разгневать.

А сегодня император вспомнил молодые лейтенантские годы. Он делал больше, чем Рустан. И Рустан сегодня делал все как-то медленно и неловко.

Наполеон, пытая от напряжения, сам схватил с полу сафьяновый сапог, натянул его кое-как на ногу. Рустан, стоя на коленях, пытался помочь, поправить косо надетый сапог. Наполеону казалось, что мамелюк только мешает. Он толкнул Рустана в грудь ногой. Рустан шлепнулся на ковер, а император уже нетерпеливо стучал каблуком в землю, чтобы нога вошла в сапог. Наконец он был готов умываться.

За палаткой шептались, суетились. Уже вся свита была в сборе — Коленкур, Дюрок, Бертье, Меневаль. Смущенный Мюрат все еще стоял, ожидая приказаний разгневанного императора.

— Это обман! — кричал, причесываясь перед венецианским зеркалом, император. — Они не могли так уйти! Восемьдесят тысяч — не иголка! Это же скифы! Они подстерегают нас. Идти с предосторожностями. Чего же вы стоите, Иоахим? Летите!

Это было Мюрату по сердцу — лететь вихрем на врага легче, нежели выслушивать нотации великого шурина!

Он взмахнул своей огромной, украшенной камнями шляпой, на которой развевался пучок белых страусовых перьев, вскочил в седло и умчался, зеленый, малиновый, золотой. Только пыль завилась столбом.

Спустя несколько минут после отъезда неаполитанского короля к аванпостам помчался сам император — он все-таки не хотел поверить, что Барклай ушел.

Сегодня Наполеон влез на коня много проворнее, чем вчера. Он так стремительно садился в седло, что чуть не

перевалился на противоположную сторону, как было уже однажды с ним, если бы тогда берейтор Амодрю не удержал его.

Наполеон горел от нетерпения и злости.

Берейторы едва успели вставить носки императорских сапог в золоченые стремяна. Наполеон галопом поскакал к Лучесе мимо палаток гвардии и итальянских полков вице-короля Евгения Богарне.

Коленкур, Дюрок, Бертье и свита с конвоем поспевали за ним.

Туман над Лучесой рассеивался.

Кавалерия Мюрата переходила вброд. Наверху уже мелькали синие мундиры польских улан и маячили беломалиновые флюгера их пик.

За ними колыхались зеленые мундиры вестфальских улан с бело-голубыми флюгерами.

Наполеон поднялся на правый берег Лучесы, где вчера располагался лагерь Барклая. Сегодня здесь было совершенно пусто. Русские не оставили ничего.

Наполеон внимательно и не спеша осматривал все места расположения русских: где были коновязи кавалерии, где стояла артиллерия, где размещалась пехота. Свита зажимала носы платками, а император ехал шагом, присматриваясь ко всему, что оставили русские, — хотел по этим следам представить себе численность и состояние армии Барклая.

Русские ушли, отдав без боя еще один город. Но куда направились их главные силы, по какой дороге двигалась их артиллерия, никто не знал. Отставших и пленных у русских не было, а о шпионах, которые могли бы спокойно жить в Витебске, французы своевременно не позаботились.

Солнце еще не поднялось, а императору уже стало душно. Он почувствовал, как вспотел под треуголкой лоб.

Наполеон потребовал карту. От Витебска шло пять дорог: одна на Петербург и четыре на Москву.

— Послать в город! Найти жителей! — обернулся Наполеон к Мюрату.

Эскадрон польских улан на рысях пошел к Витебску, подымая пыль.

Наполеон несколько минут ездил по оставленному лагерю, потом слез с лошади. Четыре конноегеря конвою тотчас же спешились и образовали квадрат, в котором, не

глядя ни на кого, короткими шагами ходил мрачный император.

Конноегеря все время старались сделать так, чтобы, куда ни вздумал повернуть император, он находился бы в центре их квадрата. Эти причудливые перемещения четырех конноегерей напоминали фигуру какого-то танца вроде кадрили. Свита давно привыкла к нему и смотрела с полным безразличием.

Маршалы, последовав примеру императора, слезли с коней и стояли, ожидая приказаний.

Наполеон был зол.

Город лежал перед ним, но где же делегация? Где магистрат, где знатные жители этого дрянного белорусского городишки?

Конечно, это не Москва. Это только... как его? Он опять забыл название: Висбаден, Висбаден. Нет! Витебск! Город, каких он много перевидал на своем веку полководца, которые сдавались вот так, без боя, на его милость!

Наполеон остановился, глядя на Витебск.

Плохой, небольшой, невзрачный городишко. Только река немного красит его. Это не германские — Дрезден, Лейпциг. Каменных домов в нем совершенно мало. Вон несколько высоких церквей. Да на окраине какие-то кирпичные казармы и снова церковь. Наполеон уже угадывал: это, по всей вероятности, монастырь.

А в остальном — все сплошь черные, деревянные дома, которые так ярко и быстро горят!..

И вдруг из-за города, из-за мрачных, тяжелых лесов, которые опоясали горизонт, показалось солнце. Слепительное, безжалостное, яркое солнце.

Ах, оно было сегодня не похоже на солнце Аустерлица!

— Ну да скоро ли они там, эти польские уланы?

Император в нетерпении подошел к спокойно стоявшему белому Евфрату. Рустан и берейтор Фагольд помогли Наполеону сесть в седло.

В свите произошло движение, маршалы и генералы зашептались. Взоры всех устремились на дорогу к городу: польские уланы скакали назад, только развеивались флаги на пиках.

Уланы возвращались не одни: у нескольких из них на луке седла сидели какие-то черные фигуры.

Через минуту-другую перед Наполеоном и его блестящей, раззолоченной свитой предстали шестеро перепуган-

ных насмерть, дрожащих, старых, заросших до ушей бородами, евреев. Это не были «отцы города», члены магистрата, знатные богачи. Это были обыкновенные витебские жители, очевидно мелкие торговцы и ремесленники, каких Наполеон уже привык видеть в Польше, в Литве и Белоруссии.

Испуганные и пораженные таким невиданным зрелищем, такой массой сверкающих мундиров, лентами и орденами генералов, евреи упали перед Евфратом на колени. Умный конь косил на них своими большими карими глазами.

Несчастных евреев, вероятно, схватили в синагоге: они были в черно-белых полосатых накидках поверх длинных люстриновых лапсердаков и в туфлях на босу ногу.

Конечно, никаких ключей у них не было и в помине.

Евреи что-то быстро говорили, о чем-то умоляли.

— Что они говорят? — спросил Наполеон.

— Они просят о помиловании, ваше величество, — сняв шляпу, почтительно ответил польский капитан Вонсович, прикомандированный к главному штабу в качестве переводчика.

Когда евреи подошли к императору, он оставил свое положенное место в эскorte и поместился поближе, хотя и не впереди Коленкура, Бертье и Дюрока, но все-таки впереди начальника конвоя генерала Гюно.

— Они просят помиловать город? А где же ключи? Где ключи, черт возьми!

Евреи только с удивлением переглянулись. Поднимая плечи и брови и выражая на лице полное недоумение, они заговорили все сразу. Они показывали рукой на город.

— Ваше величество, они говорят, что в Витебске нет городских ключей. Витебск не закрывается. В него можно просто въехать.

— Болван! — вырвалось у императора.

Он посмотрел в зрительную трубу на город.

«Вот приказать Сорбье ударить по этим лачугам из его тридцати семи гвардейских гаубиц, тогда и ключи нашлись бы!» — подумал он, но сказал:

— Может ли Витебск прокормить мою армию?

— Они говорят, город бедный, немногочисленный, — перевел Вонсович.

— Ну, мы сами поищем! Пусть говорят, куда ушли русские.

Услышав вопрос императора, переведенный им польски капитаном Вонсовичем, евреи изобразили на своих бородатых лицах еще большее изумление и еще сильнее зажестичулировали.

По одним жестам безо всякого перевода было ясно, что евреи не знают или делают вид, будто не знают, куда скрылась восьмидесятитысячная русская армия.

Наполеон уже не смотрел на евреев.

— Немедля послать по всем дорогам разъезды! — обернулся он к Мюрату, стоявшему чуть позади. — На Петербург, на Саламанку!..

— На Смоленск, — тихо поправил-подсказал Бертье.

Император все продолжал смешивать Смоленск с Саламанкой.

— Немедленно, Иоахим! Поживее!

И, ударив Евфрата шпорами, помчался галопом вниз к Витебску, точно хотел в этот неудачный день свернуть себе шею.

III

Не понимаю, как такой храбрец мог иногда трусить.

Наполеон о Мюрате

Небрежно бросив свою дорожную шляпу на траву и растегнув душный доломан, Мюрат сидел на опушке леса и не спускал глаз с дороги — уже прошло три часа, как он послал по всем направлениям кавалерийские разъезды, а еще никто не вернулся.

Рядом с ним полулежал на траве его начальник штаба, маленький генерал Бельяр. Поодаль пестрой кучкой расположились адъютанты неаполитанского короля и ординарцы от разных кавалерийских полков. Большинство адъютантов Мюрата представляли несовершенную, но точную по замыслу копию своего любимого начальника: те же кудри до плеч, то же пестрое роскошество в обмундировании, насколько может позволить скудное офицерское жалованье, и та же кавалерийская удаль и безмерное легкомыслие во взоре.

Неаполитанский король со скучающим видом смотрел на Витебск: разве это город? Если бы дело происходило где-нибудь в Европе, у Мюрата уже к вечеру было бы не-

сколько хорошеньких женщин. Недаром на клинке его дамасской сабли выгравировано: «Честь и дамы». И недаром император шутит, что у Мюрата, как и у влюбчивого Бертье, «полны карманы любовниц». Еще в Вильне были очаровательные польки, а здесь Мюрат проехал по всему городу и не встретил ни одних любопытных женских глаз, ни одной лукавой, манящей улыбки.

В Литве и Белоруссии попадаются красивые еврейки, но у евреев глупый обычай: все замужние женщины должны брить голову и носить парик...

Маркитантки и те отстали в этой немыслимой дороге, а маркитантки у неаполитанского короля — все как на подбор.

Неизвестно, что будет, что прикажет император: идти дальше, или придется скучать в этом тоскливом белорусском городке? Все должны решить разъезды, а их нет как нет.

Но вот наконец на дороге показались всадники. По желтым доломанам и красным киверам сразу узнали: французские гусары из бригады Жакино. Мюрат послал их на Петербургскую дорогу, которая проходила вдоль реки Двины. Гусары и их кони выглядели свежими — они только что выкупались в реке.

— Ну как, молодцы? — вскочил на ноги Мюрат.

— Нигде никого, ваше величество. Проскакали чуть ли не десять лье, и хоть бы след.

— Конечно, Барклай отступил не к Петербургу, а к Москве.

Мюрат сделал два-три шага и стоял, глядя вдаль своими безмятежно-голубыми глазами и посвистывая.

Вот едут еще. Синие мундиры без ментика. Это прусские гусары. «Послушаем, что скажут они».

Пруссак были не такие свежие, как французы, — их путь лежал далеко от воды.

— Какие вести?

— Никаких.

— Почему?

— Не встретили и не видели ни одной души.

— Ах, черт возьми!

Мюрат порывисто схватил с земли свою шляпу и стал обмахиваться ею, как веером.

— Еще кто-то скачет, — сказал, подымаясь с земли, Бельяр.

Издалека можно было различить красные мундиры и

красные вальтрапы¹. Это саксонские легкоконные принца Альбрехта.

— Ну, где настигли? Далеко? — спросил неаполитанский король.

— Не настигли, ваше величество.

— Не может быть!

— Извольте проверить.

— Бельяр, вы видели что-нибудь подобное? — возмущенно спросил Мюрат.

Он вновь швырнул шляпу на траву и заходил широкими шагами в тени берез, то и дело поглядывая на дорогу.

Вдали за клубилась пыль. Вырисовывались пики, веселые флюгера и синие мундиры. Польские уланы. Они были посланы по дороге в Поречье.

— Где русские?

— Русские как сквозь землю провалились! Они пошли другими дорогами.

— Вы что-нибудь понимаете, Бельяр? — спросил Мюрат.

— Понимаю: русские провели нас.

— Что я скажу императору?

— Это и скажете.

Мюрат ничего не ответил, только взглянул на начальника штаба, как бы говоря: «Попробуй скажи!»

— Еще не все потеряно. Я послал итальянских конноегерей по самой короткой дороге к Москве — на Рудню, — вспомнил он, надевая шляпу.

Мюрат стал кусать ногти, как Бертье. Ему казалось: если бы он сам помчался по какой-либо из этих пяти дорог, то до сих пор уже обязательно увидел бы, нашел бы, настиг бы русских!

Наконец на дороге показался последний разъезд.

— Скорее, друзья, скорее! — прищелкивал от нетерпения пальцами неаполитанский король. — Ну говорите же, что? — издали кричал он егерям.

— Дорога свободна, ваше величество. Русских нигде не видно.

— А следы? Кто шел: кавалерия, пушки? Сколько?

— Какие могут быть следы на песке? Шли. Много шло, но мы не видели никого...

— О черт! Коня! — крикнул Мюрат.

Он вскочил в седло, словно бросался в холодную

воду, — он помчался с докладом к императору. Он мчался, стараясь не думать, что будет, — разговор предстоял не из приятных. Неаполитанский король, страшный в атаке, был трус в императорском кабинете. Мюрат не боялся вражеского клинка, но боялся своей жены Каролины Бонапарт и ее брата — императора Наполеона.

IV

Когда смущенный Мюрат доложил императору, что кавалерийские разъезды нигде не обнаружили следы русских, Наполеон не поверил:

— Не видали на дороге ни одной павшей лошади?

— Нет, ваше величество.

— Не нашли ни одного поломанного колеса?

— Нет, ваше величество.

— Не захватили ни одного отставшего солдата?

— Нет, ваше величество.

— Черт возьми! Да это какая-то армия привидений! — вырвалось у Наполеона. — Кто у них командует арьергардом?

— Генерал Пален.

— Молодец! За такой блестящий отход я дал бы ему орден Почетного Легиона, — говорил Наполеон, быстро шагая по палатке. Шпага била его по ноге.

Наполеону невольно вспомнилось то, что сегодня сказал Коленкур: «Мы, как корабль без компаса, застряли среди безбрежного океана».

«Да, — подумал Наполеон. — Это верно. Мы не знаем, что происходит вокруг: нет ни пленных, ни перебежчиков, ни шпионов. И нет населения: крестьяне уходят в леса».

Наполеон в раздражении бросил треуголку на стол, где широкой скатертью лежала карта, подошел к пологу, отделявшему кабинет от помещения дежурных адъютантов, и приказал:

— Вице-короля и принца Невшательского!

Он продолжал ходить по палатке, не обращая внимания на Мюрата, который стоял, переминаясь с ноги на ногу.

Ни в одной кампании Наполеон не совещался ни с кем. Он всегда все решал сам. И теперь не собирался поступать иначе, тем более что знал: ни Мюрат, ни Бертье никогда

¹ В а л ь т р а п — попона, которую кладут под седло.

не станут оспаривать его решений. Бертье боготворил императора, а Мюрат — боялся.

Бертье прибежал тотчас же, вице-король приехал через несколько минут.

Вице-король неаполитанский Евгений Богарне, талантливый полководец, советовал остановиться, дать отдохнуть войскам, подтянуть обозы. Он передал императору, что солдаты жалуются на быстроту и трудность похода, говорят: «Все, что мы вытерпели во время переходов по солончаковым степям Аравии, на спаленных солнцем возвышенностях Арагонии, в песках Ливийской пустыни, все это мы нашли здесь».

Наполеон знал и видел сам, что армия терпит в трудном походе большие лишения, что надо очень много лошадей и из-за этого приходится бросать зарядные ящики и обозные фуры, но смотрел на все сквозь пальцы — на войне не без потерь.

— Русский арьергард отошел так, что не оставил после себя никаких следов, но тем не менее ясно: Барклай отступает к Смоленску. Надо подумать, почему он это сделал? Если отступил только потому, чтобы поскорее соединиться с Багратионом, одно дело. Но если русские станут отступать все дальше и дальше, как скифы, которые заманивали в свои безводные, пустынные степи? Не унаследовали ли русские вместе с территорией тактику и стратегию скифов? Ведь надо помнить основное правило войны: не делать того, что хочет противник. Надо организовать завоеванную Литву и Белоруссию и пополнить армию. — Он подошел к карте. — Две реки определяют нашу позицию: Двина и Днестр.

— Днепр, ваше величество, — поправил Бертье.

— Днепр, — повторил за ним Наполеон. — Наш правый фланг будет в... в Бобруйске, — прочел он, — а левый — в Риге. — Ригу он почему-то запомнил. — На всей линии устроим блокаузы, провиантские магазины, преобразуем этот...

— Витебск, — подсказал Бертье.

— Витебск. Пригласим из Варшавы и Вильны польскую знать. Построим театр, вызовем, как в Дрездене, Тальма и Марс...

Он уже видел себя с очаровательной Валевской...

— Решено: первая кампания в России окончена. Воздвигнем здесь наши орлы! В тысяча восемьсот тринадцатом году нас увидят в Москве, а в тысяча восемьсот четыр-

надцатом году — в Петербурге. Война с Россией — трехлетняя война!

Он вынул шпагу из ножен и бросил ее на карту.

Маршалы расходились довольные: в императоре говорили разум, логика, говорил гений.

V

Неожиданный отдых у Витебска пришелся солдатам Наполеона по душе. Спокойнее и удобнее было размещаться в обывательских домах, чем где-либо в поле. Не приходилось мучиться с топливом для костров: заборы, сараны, полы, а иногда и окна и двери горели быстро и жарко. Проще обстояло дело с едой и питьем: в походе шагали без воды и без надежды на какую-нибудь еду, а здесь все оказалось на месте.

Артишоков и спаржи на витебских огородах, конечно, не водилось, но зато в изобилии произрастали картофель, редька, лук и огурцы. А в обывательских чуланах, каморках и погребах находили муку, крупу, масло, яйца, мед. Чтобы добыть корову, овцу или свинью, не надо было отряжать вооруженный отряд под командой полковника, с этим легко справлялся один простой grenadier.

Куры беспечно бегали под ногами у старой гвардии, а петух наивно пытался петь на зарядном ящике.

Куриный бульон возбуждал в велите, фузилере и вольтижере¹ большой аппетит, чем вареная репа или каша из немолотой ржи, которой питались на походе.

В первые дни французы и португальцы, итальянцы и вестфальцы, пруссаки и поляки — все были довольны покоем в Витебске.

В первую неделю не скучал в генерал-губернаторском дворце и сам император. Его захватила работа: он ежедневно отправлял в разные концы Европы около сотни писем.

В белом шелковом китайском халате, с пестрым мадрасским платком, обмотанным вокруг головы в виде чалмы, Наполеон медленно ходил из угла в угол по кабинету. Он диктовал выразительно, но чрезвычайно быстро одно письмо за другим, без всякого перерыва. Секретарь, скромный, тихий Меневаль, и адъютанты старались записать

¹ Велиты, фузилеры, вольтижеры — пехотинцы.

все, что диктовал император. Переспрашивать не полагалось.

Иной раз Наполеон сам набрасывал черновики писем. Рустан приносил ему черный кофе, он высылал всех из кабинета и садился за письменный стол. Писал Наполеон своими неразборчивыми, не поспевающими за полетом его лихорадочной мысли закорючками, которые мало походили на слова: у них не хватало половины букв. Сам император не всегда мог прочесть то, что написал минуту назад.

Написав, Наполеон стучал серебряным молоточком по столу: адъютанты должны были немедленно уносить черновики для переписки начисто. Разобраться в этом наборе малопонятных, наспех начертанных значков было очень трудно, но приходилось торопиться: из императорского кабинета вновь доносился настойчивый призывный стук молоточка — уже готов еще один черновик!

Император уделял много времени снабжению армии продовольствием. До сих пор никак не удавалось наладить правильную, регулярную выдачу пайков. Солдаты не получали водки, которая, по словам одного из главных врачей армии Наполеона, «так же полезна для французского солдата, как и для всякого другого». Солдаты, даже гвардия, питались кое-как.

Готовясь к походу в Россию, Наполеон рассчитывал на то, что можно будет воспользоваться неприятельскими запасами, как бывало всюду, но в России редко удавалось захватить провиантские магазины: отступая, русские сжигали их. А жители деревень уходили в леса, унося с собою или спрятав запасы.

Весь транспорт «великой армии» был приспособлен для хороших, шоссированных европейских трактов и сравнительно небольших расстояний. Здесь же от самой Вильны шла тяжелая песчаная дорога с плохими мостами. Тысячи повозок так разбили ее, что фуры, нагруженные сверх меры, зарывались в песок выше втулки колеса, лошади рвали упряжь, выбивались из сил и наконец падали за смертью. С каждой верстой обоз катастрофически уменьшался. В придорожных канавах и на обочине дорог лежали с поломанными колесами фургоны, телеги, зарядные ящики.

Такого быстрого, форсированного марша не выдерживали ни повозки, ни лошади, ни упряжные волы. К тому же не хватало фуража. Придорожные луга и поля были

покрыты пылью, стоявшей над ними целыми днями. Лошадей не подковывали: походные кузницы остались где-то позади, не было ни гвоздей, ни железа, чтобы сделать подкову. Лошади гибли тысячами.

Запасных подставных лошадей не было. Наполеон рассчитывал, что можно будет реквизировать их на месте, как делали всюду в Европе, но в Белоруссии крестьяне угоняли весь скот в лес.

В походе Наполеон не хотел замечать этого, не любил слушать, когда ему говорили о недостатках. Он надеялся — обозы нагонят, подойдут! Он знал, что его солдаты выдержат все, но не подумал о лошадях. Прекрасный кавалерийский генерал Нансути, в походе и в бою щадивший свои эскадроны, очень метко сказал по этому поводу: «Кони не имеют патриотизма, поэтому их нельзя заставить голодать!»

Наполеон увидел сам, до какого предела дошел развал в войсках. И он со всегдашним своим пылом взялся за реорганизацию армии. В Витебске Наполеон чувствовал себя свежим, был работоспособен, деятелен и неутомим.

Прежде чем принять какое-либо решение, император всегда хотел видеть все сам. Поэтому он ездил осматривать мельницы, где мололи зерно, хлебопекарни, кухни, делал смотр прибывающим частям, а в шесть часов утра ежедневно на площади перед генерал-губернаторским дворцом устраивал большой парад.

Перед дворцом высилась недостроенная церковь, а с разных сторон к площади подходили невзрачные деревянные домишки жителей. Наполеон велел снести церковь и лачуги, чтобы площадь стала больше. Молодая гвардия в один день управилась с ними.

Наполеон жил в Витебске уже больше недели. Как будто все шло должным образом: войска отдыхали, приво-дили себя в порядок, тридцать шесть городских пекарен ежедневно выпекали двадцать девять тысяч фунтов хлеба, постепенно налаживалась выдача рационов, во всех церк-вах и магазинах работали госпитали, понемногу прибывали в Витебск отставшие обозы и артиллерийские парки, подходили свежие батальоны.

Император ежедневно ездил по окрестностям Витебска, где стояли его войска, и неоднократно заезжал на бывшее место расположения русской армии. Наполеон каждый раз подсчитывал, прикидывал в уме, сколько может быть войск у Барклая. Неизменно получалось, что русская армия со-

стоит лишь из кадровых частей. К тому же Наполеон знал: в русской армии очень много нестроевых, так как русский офицер — помещик. Он привык пользоваться дарами услугами своих крепостных и держит при себе в полку и в обозе десяток солдат в качестве слуг.

Думая о том, что русская армия невелика, Наполеон невольно приходил в раздражение: какого дьявола сидит он здесь, в этой дыре? Почему приостановил, закончил кампанию, когда еще лето?

В душе он ругал себя за то, что не пошел дальше, как предлагал тогда же Мюрат. Наполеона день и ночь преследовала одна назойливая, навязчивая мысль. Им владело одно страстное желание: окончить войну во что бы то ни стало в этом году.

Он никогда не вел оборонительной войны. Да и французский солдат не способен сидеть в окопе осень и зиму: у него не хватает для этого ни терпения, ни энтузиазма.

Наполеон приказал доставить сведения о русской зиме, расспрашивал о ней у Коленкура, бывшего послом в России. В результате всех собранных данных Наполеон пришел к выводу, что русские холода такие же, как и французские, и что разница между ними заключается только в одном: те холода, которые в Париже держатся две недели, здесь продолжаются двенадцать недель.

И все-таки — зачем ждать зимы? Лучше всего окончить войну немедленно, одним ударом разгромив русских!

Были дни, когда он ясно видел, что кавалерийские полки сократились почти вдвое, что в результате форсированных маршей до Немана до Витебска он понес столько потерь в людях, как если бы проиграл два сражения.

Но стоило самоуверенному, хвастливому Мюрату прислать напыщенное донесение о разгроме русских в незначительной кавалерийской стычке; стоило прийти из Вильны от министра иностранных дел Маре депеше, из которой явствовало, что вся Европа по-прежнему лежит у ног Наполеона; стоило на утреннем параде отоспавшимся и наевшимся солдатам особенно дружно прокричать «Да здравствует император», как Наполеон возвращался к себе во дворец с определенным решением: «Завтра же идти на врага! Сидеть здесь — преступление и позор!»

В такие минуты его раздражало все: и беспрекословный исполнитель его приказаний Бертье, и заботливый, точный, аккуратный Коленкур, и любимец Дюрок, и слабохарактерный красавец, нравившийся Наполеону своими манера-

ми, Рапп, и возвышенный Сегюр, и генерал-адъютанты, и многочисленные слуги. Император придирался ко всем и всему. И сразу становился «*pes affabilis, pes amabilis, pes adibilis*»¹, как сказал о нем старый польский магнат, которому Наполеон не понравился своими дурными манерами и резкостью.

Однажды на утреннем параде Наполеон вызвал лейб-хирурга барона Ларрея. Главного хирурга армии не оказалось на месте — он уехал осматривать лагерь войск маршала Жюно. Вместо Ларрея перед императором предстал начальник походного госпиталя толстенный очкастый доктор Паулет.

— На сколько раненых изготовлены перевязки? — спросил император.

— На десять тысяч человек, ваше величество.

— Сколько примерно необходимо дней, чтобы раненый вернулся в строй?

— Тридцать, ваше величество.

— Где находятся госпитальные припасы и аптека?

— Остались в Вильне.

— Почему? — ноздри Наполеона раздулись: он уже начинал злиться.

— За недостатком перевозочных средств.

— Следовательно, — закричал на всю площадь Наполеон, — армия лишена медикаментов? И если бы мне вдруг понадобилось лекарство, я не смог бы получить его?

— В распоряжении вашего величества собственная аптека, — с поклоном, робко сказал испуганный Паулет.

— Я — первый солдат армии! Я имею право на лечение в ней! Где главный аптекарь Сюре?

— В Вильне...

— Как? Один из старших медицинских чинов армии не с ней? Я приказываю отправить его в Париж! Пусть отпускает слабительное гулящим девкам с улицы Сент-Оноре! Назначить на его место другого! Чтоб вся госпитальная часть немедленно примкнула к армии! — уже фи-стулой кричал разгневанный император.

Все понимали, что ученый парижский химик Сюре был меньше всего виноват в усиленных переходах армии и в том, что ему, главному аптекарю армии, не хватило лошадей.

¹ Нелюбезен, неприветлив, неласков (лат.).

В Витебске Наполеон получил неприятное известие: Турция все-таки заключила мир с Россией.

Наполеон выходил из себя:

— Турки дорого заплатят за свою ошибку. Она так велика, что я не мог даже это предвидеть!

В Наполеоне с каждым днем крепло убеждение, что, остановившись в Витебске, он допустил оплошность. Особенно подействовал на него один мелкий случай. В стычке взяли в плен русского офицера. Пленный на допросе уверял, что Барклай собирался дать под Витебском бой, но его остановило письмо Багратиона, который обещал соединиться с Барклаем в Смоленске.

Это было под вечер в воскресенье.

В шесть часов вечера Наполеон, как обычно, сел обедать. Застольных гостей он не любил, да их и не было. Император обедал только с Бертье. За вторым столом сидели Коленкур, Дюрок, Рапп, генерал-адъютанты.

Император ел умеренно, но жадно и быстро. Обед всегда продолжался не более пятнадцати минут. Десерта не полагалось. Император только пил свой любимый шамбертен.

За столом он почти не говорил, но сегодня сказал Бертье, что приехал сюда не для того, чтобы завоевывать эти еврейские лачуги.

— Я пойду в Смоленск! — сказал император, швыряя салфетку на стол. Он встал и отрывистыми шагами — что всегда было признаком раздражения — заходил по комнате. Генералы стояли у стола, с изумлением глядя на императора.

— Зачем нам оставаться здесь на восемь месяцев, когда мы можем кончить войну в двадцать дней? Через месяц мы должны быть в Москве. Иначе никогда в ней не будем! Мой план кампании — сражение. Моя политика — успех, — убежденно говорил он.

Наполеон не уходил, следовательно, он хотел знать, как свита примет его решение. Император пытливо смотрел на генералов. Генералы заговорили. Почтительно, но прямо и твердо все стали приводить доводы за то, чтобы остаться на месте.

Дюрок сказал, что русские заманивают в глубь страны и готовят гибель.

Бертье, всегда и во всем соглашавшийся с Наполеоном, поддержал Дюрока. Генерал-адъютант Лобо указал на страшный падеж лошадей.

— Почему мне об этом не говорит неаполитанский король? — спросил Наполеон, хотя сам знал, что Лобо прав.

— Надежда на завтрашний успех мешает неаполитанскому королю учитывать сегодняшние потери, ваше величество, — ответил Коленкур.

— Я прекрасно отдаю себе отчет во всех сложностях, но кончу поход в Смоленске! — не уступал император.

— И в Смоленске русские не попросят мира, ваше величество, — сказал Коленкур.

Наполеон свирепо глянул на Коленкура. Император полусуто, полусерьезно всегда говорил, что Коленкур, будучи послом в России, обрусел. Генерал-адъютант Дюма напомнил о ненадежности «союзников» — Австрии и Пруссии.

— Если Пруссия изменит мне, я прерву войну с Россией и обращусь на запад. И тогда Пруссия заплатит за все! — стукнул ладонью по столу Наполеон.

Генералы никак не соглашались с опрометчивым решением императора. Даже Бертье, который говорил меньше других, всем своим видом показывал, что он не поддерживает Наполеона.

Наполеона взорвало такое единодушное мнение генералов.

— А-а, я понимаю! — закричал он, бегая по столовой. — Вы хотите поскорее вернуться в Париж к своим любовницам!

Бертье и Коленкур вправе были отнести эти слова к себе: Бертье тратил громадные средства на Жозефину Висконти, которая обманывала принца Невшательского как хотела, а Коленкур рвался в Париж к Адриенне де Каниз, с которой должен был обвенчаться.

— Я слишком обогатил моих генералов! Они думают об удовольствиях, об охоте, о катании по Парижу в своих великолепных экипажах! Бертье предпочел бы охотиться в своем Гро-буа, а Рапп — жить в великолепном отеле в Париже. Война им уже опротивела! Будьте же покойны, господа! Я продержу вас в строю до тех пор, пока вам не стукнет восемьдесят лет! Вы рождены на биваке, на нем и умрете!

Генералы стояли удрученные. Не перспективой своей долголетней боевой деятельности и жизни, а тем, что император снова овладело лихорадочное нетерпение и он упрямо не хочет внимать голосу рассудка!

После обеда император обычно ложился спать, а в час ночи вставал, чтобы отдать приказ на завтра. Сегодня Наполеону было не до сна. Он вызвал к себе главного интенданта, графа Дарю. В руках Дарю сосредоточивалось все: финансы, запасы продовольствия, снаряжение, вооружение. Дарю лучше всех знал состояние армии. Наполеон хотел послушать, что скажет главный интендант.

Это не увлекающийся Коленкур, не впечатлительный Дюрок, не мягкотелый Рапп или поэтический Сегюр: Дарю — трезвый, холодный, здравомыслящий человек.

Император оставил при разговоре с Дарю одного поручного, беспрекословного Бертье, хотя сегодня и он пытался возражать Наполеону. Бертье мог пригодиться в предстоящей беседе: у начальника штаба была поразительная память. Наполеон называл Бертье — «ходячий справочник».

Наполеон сказал Дарю о своем решении не оставаться на зимние квартиры в Витебске, а идти дальше.

— Моя армия составлена так, что одно движение поддерживает ее. Во главе ее можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать. Это армия нападения, а не защиты! Что вы скажете, Дарю? — спросил он, пытливо глядя серыми глазами на главного интенданта.

Дарю не заставил себя ждать. Он совершенно откровенно заявил императору, что от дезертирства и болезней армия уже уменьшилась на одну треть; что из двадцати двух тысяч лошадей пало в походе восемь; что войска снабжаются скверно: муки и мяса хватает лишь гвардии, остальные живут впроголодь, питаются овощами и овсянкой, и потому ропщут; что громадные обозы с разными припасами, походные госпитали и гурты быков не могут поспеть за быстрыми движениями армии; что вокруг Витебска все съедено и на фуражировку приходится посылать за десять — пятнадцать лье. Отряды, которые посылаются за припасами, либо возвращаются ни с чем, либо вовсе не возвращаются: население старается уничтожить их.

— Продуктов не хватает здесь, а что же будет дальше? Дальше идти нельзя. Мое мнение: нужно зимовать в Витебске! — твердо сказал Дарю.

Наполеон покраснел — ему было неприятно слышать это от Дарю. Он встал из-за стола, за которым они сидели втроем, и заходил короткими, быстрыми шагами по каби-

нету. Наполеон придерживался такого мнения: «Война должна кормить войну». Он привык во всех кампаниях содержать армию за счет побежденных, широко грабя население. На завоеванные, захваченные местности налагалась огромная контрибуция, которую с беспощадным спокойствием методически взимал хозяйственный, лишенный всякой мягкотелости Дарю. После Тильзита в военной кассе Наполеона оказалось триста пятьдесят миллионов франков. Наполеон хвастался, что сможет вести войну пять лет, не прибегая ни к займам, ни к новым налогам. А здесь шли по опустошенным, оставленным жителями городам и сожженным селам.

Стада быков тащились где-то по литовским пескам. Наполеон взял их на всякий случай, про запас. Он был уверен, что и в России, как везде в Европе, он все достанет на месте и сможет написать интендантам, как приказал в Испании, отослать быков назад, потому что продовольствия для армии хватает от реквизиций.

Так было везде, но в России оказалось иное: в России Наполеон нуждался во всем.

Наполеону очень не понравилось, что Дарю тоже советует не идти дальше. Он ходил в раздумье.

А упрямый Дарю, рассказав о положении в армии, предложил императору вопрос, который был на уме у всех, но с которым никто не решался обратиться к императору:

— Простите, государь, я хочу спросить вас: из-за чего, собственно, ведется эта тяжелая война? Не только солдаты, но и мы не понимаем ее цели и необходимости. Воспрепятствовать Англии ввозить в Россию товары? Создать Польское государство? Эти мотивы недостаточны. Война непопулярна ни в армии, ни во Франции.

Наполеону нечем было парировать этот удар. Он старался хоть как-нибудь отговориться:

— Я помирился бы с Александром, но, чтобы помириться, надо быть вдвоем, а не одному. А император Александр молчит. Значит, нам нужна победа! Нужно сражение. В поисках сражения я готов идти до их святого города — Москвы. Я выиграю это сражение! Если же и тогда Александр будет упорствовать, я начну переговоры с боярами. Москва ненавидит Петербург. Я воспользуюсь этим. У московских ворот меня ожидает мир!

Наполеон горячился, возражал, но возражал не столько Дарю, сколько самому себе. В нем самом боролись два

желания, два решения: оставаться в Витебске или идти вперед.

Трезвый расчет боролся с азартным риском.

Никакие красноречивые доводы главного интенданта Дарю и гримасы нервничающего принца Невшательского, который безжалостно грыз ногти и в волнении больше чем всегда ковырял в носу, не могли переубедить Наполеона.

— Я прекрасно вижу: вы все думаете о Карле XII,— запальчиво говорил император, хотя в последние дни он сам чаще других вспоминал о Карле XII.— Это пример ничего не доказывает. Шведскому королю было не по плечу такое предприятие. И нельзя из одного случая выводить общее правило. Не правило создает успех, а успех создает правило!..

— Император считает, что все уроки истории писаны не для него,— сказал Дарю удрученному Бертье, когда они глубокой ночью вышли из кабинета императора.

В приказе на следующий день все-таки не было ничего об уходе из Витебска. Наполеон колебался, раздумывал.

Наутро он говорил поодиночке с некоторыми генералами, но все уже знали, что император хочет наступать, и потому угодливо поддакивали ему. Кроме того, генералам жилось в Витебске скучно и не очень сытно. Генералы тоже были не прочь рискнуть: они еще верили в счастливую звезду Наполеона.

Наполеон только ждал какого-либо внешнего толчка.

Вечером 28 июля Наполеон собрался поехать посмотреть, как укрепили мост на Двине. Свита и конвой ждали его у крыльца. Император задержался в кабинете на минуту — он давал инструкции своему ординарцу, лейтенанту д'Опуль, которого отправлял в Островно и Бешенковичи.

Наполеон с трудом запоминал собственные имена, часто путал их, но в остальном у него была поразительная память. Он запоминал такие мелочи, которые, казалось, легче всего забыть, например: сколько пушек находится в каком-нибудь захудалом городишке и чей батальон несет в нем гарнизонную службу. И это он твердо помнил, независимо от того, шла ли речь о гарнизоне, стоящем в городке Испании, Пруссии или России.

Наполеон ходил по кабинету, диктуя одному из секретарей инструкцию для ординарца, а шеголеватый лейте-

нант Марий-Констанций д'Опуль стоял у порога в лазоревом, расшитом серебром ординарском мундире, с черной шляпой в руке.

Наполеон выбирал в ординарцы офицеров из лучших фамилий, хорошо воспитанных, с изящными светскими манерами и недурным лицом.

Д'Опуль внимательно слушал: получив инструкцию на руки, он должен был тут же повторить ее содержание императору.

Наполеон ходил, щелкая пухлыми пальцами по золотой табакерке, и говорил. Иногда он вскидывал голову и смотрел на портрет Александра I, оставшийся висеть в кабинете русского военного губернатора. Александр I был изображен молодым, милым человеком. На портрете он казался искренним, простодушным, а не таким хитрым византийцем, каким был на самом деле.

— Ординарец д'Опуль отправится в Островно, а оттуда в Бешенковичи. В Островне он должен осмотреть, восстановлена ли деревня и есть ли комендант крепости. В Бешенковичах он должен проверить, наведены ли мосты, заменен ли мост на козлах мостом на плотах, потому что первый не вынесет сильного напора воды. Ординарец д'Опуль должен осмотреть больницу, хлебопекарню, магазины. Он должен отметить встречающиеся на пути войска, будь то пехота, кавалерия, артиллерия или обозы. Он должен повидать в Бешенковичах Четвертый гвардейский стрелковый полк и Гессен-Дармштадтский батальон, которым я приказал остаться на своей позиции до моих распоряжений. Там должны находиться три орудия. Лейтенант д'Опуль соберет сведения о казаках и о тех деревнях, в которых население расправляется с нашими фуражирами...— диктовал император.

Лейтенант д'Опуль старался не пропустить ни одного слова императора. При каждом императорском «должен» д'Опуль незаметно загибал один палец. О казаках и враждебности населения было шестым «должен».

— Если понадобится, то д'Опуль может остаться лишний день в Бешенковичах, чтобы все узнать и отправить донесение. Все! — сказал Наполеон.

Секретарь окончил писать и, встав, подал с поклоном бумагу императору. Наполеон взял перо, не читая, подписал инструкцию и передал ее д'Опулю.

— Запомнили? Повторите приказ! — сказал он своим отрывистым, резким голосом.

Д'Опуль только начал повторять инструкцию, как в кабинет вошел Бертье:

— Простите, ваше величество, срочное донесение от генерала Себастиани.

— Довольно! — прервал ординарца Наполеон. — Позжайте! — Затем обернулся к Бертье: — Что случилось?

— Казаки напали на кавалерийскую дивизию Себастиани и потеснили ее, — доложил несколько обескураженный Бертье. (У Бертье не хватило решимости прямо сказать, что Платов опрокинул кавалерию Себастиани и преследовал ее восемь верст.)

— Если русские смогли потеснить целую дивизию, значит, это был их авангард!

— Да, ваше величество, авангард под командой Платова. У нас есть небольшие потери в людях...

(Бертье не хотел говорить императору, что казаки взяли в плен триста солдат и десять офицеров и даже захватили всю канцелярию генерала Себастиани.)

Но, к удивлению начальника штаба, упоминание о потерях не разгневало и не огорчило императора: он улыбался.

В улыбку у Наполеона обычно складывался рот и щеки, а глаза оставались такими же строгими.

Наполеону было приятно услышать, что русские напали на Себастиани. Значит, Барклай соединился с Багратионом. Они оба стоят на правом берегу Днепра и хотят померяться силами с французами?

Что ж, это хорошо!

Наполеон кинулся к карте, лежавшей на столе, и наклонился над ней.

— Себастиани стоит у Инкова? — спросил он у Бертье, хотя сам прекрасно помнил об этом.

— Да, государь.

Наполеон перенес булавки с зелеными головками, обозначавшие русские войска, к Инкову, а свои — красные, желтые, синие — отнес чуть на запад, к Рудне.

Он пододвинул кресло, сел к столу и углубился в карту, забыв обо всем: о мосте через Двину, о вечерней прогулке, об ужине.

Начальник штаба постоял несколько минут у стола, потом на цыпочках вышел из кабинета.

Во дворце все затихло.

Свита разошлась по своим комнатам, конвой процокал копытами по плацу к конюшням.

Стемнело. Мамелюк Рустан в мягких войлочных туфлях неслышно внес в кабинет и осторожно поставил по краям стола зажженные канделябры.

Император сидел над картой, подперев голову руками. Он изредка нюхал табак или, откинувшись на спинку кресла, в раздумье барабанил пальцами по этим Бабиновичам — Рудне — Расасне; на минуту выскакивал из-за стола, быстро ходил по комнате, смотрел в окно на густое, уже по-августовски темное небо, на котором зажглись звезды, и снова спешил к столу, словно боясь, что, пока он стоит у окна, карта вдруг исчезнет, а с ней исчезнет и то, что он задумал.

Так он просидел над картой до зари.

Наполеон придумал простой, но гениальный в своей простоте план.

Если напасть на русских с фронта, они могут еще продолжить свое «скифское» отступление. Надо сделать так, чтобы заставить их принять бой.

Саламанка осталась незащищенной. (Наполеон упорно называл Смоленск «Саламанкой»: он никак не мог запомнить, привыкнуть к странно звучащим для него русским названиям — Минск, Пинск, Слуцк, Смоленск. Он говорил: у этих русских более чем варварские названия местностей.) Надо скрытно — благо здесь много лесов — подтянуть войска к Расасне. У Расасны перейти на левый берег Днепра и быстрыми маршами (люди и лошади ведь хорошо отдохнули за две недели в Витебске!) через Ляды и Красный выйти к Смоленску.

(Сейчас он просто читал все эти чуждые названия по карте.)

Надо отрезать русские армии от Смоленска, и тогда русским волей-неволей придется принять бой.

Он снова был весел, бодр и полон надежд — опять в поход!

Всегдашнее нетерпение, страстное желание побед и славы безудержно, безрассудно гнали Наполеона вперед.

VII

Наполеон тщательно готовился к походу в Россию. Недаром он писал в 1811 году маршалу Даву: «Никогда еще до сих пор не делал я столь обширные приготовления».

Он подготавливал свою армию и разузнавал все о русской.

Он изучал топографию будущего театра боевых действий и внимательно читал книги по истории России: изучал войны Ивана Грозного и Петра Великого. Официальные дипломаты и бродячие комедианты, иезуиты и торговцы доставляли ему свежие сведения о России. Он знал количество русских пушек лучше фельдцейхмейстера Аракчеева и характеристики русских генералов лучше императора Александра.

Но ни Коленкур, пробывший послом в Петербурге четыре года, ни данцигский комендант Рапп, к которому стекались первоначальные сведения, ни польский генерал Сокольниковский, руководивший разведывательным бюро при штабе Наполеона, не предупредили его о твердости русских. Наполеон старался учесть все: интриги иноземных проходимцев в свите Александра, ошибки Карла XII в войне с Петром, климат России, но так и не подумал о русском человеке.

Сначала все шло, как планировал Наполеон. Армия, скрытно переправившаяся у Рясань через древний Борисфен. Днепр, неудержимо, нескончаемым мощным потоком, покатила к Смоленску. Вся дорога, обсаженная березами, была запружена артиллерией, обозами и пехотой. Ее центральную часть занимали тяжело громяхющие пушки, зарядные ящики, фургоны, повозки, коляски. По бокам, на тесных интервалах, густыми колоннами уверенно и бодро шагала пехота. С обеих сторон дороги, на одной высоте с пехотой, цветистыми волнами колыхались бесконечные эскадроны лихой кавалерии.

В такие часы Наполеону было тесно и душно в покойной, уютной карете. Хотелось почувствовать себя не императором, а полководцем. Он сидел на белом, лоснившемся от жира Евфрата и пропускал мимо себя свои победоносные войска. Но у никому до сих пор не известного плохонького деревянного городка Красный (Наполеон, конечно же, называл его по-своему — «Креси») французскую армию ждала большая неприятность: русский человек в темно-зеленом мундире, пропахшем порохом, пылью и потом многих походных и боевых дней, дал о себе знать.

Одна пехотная дивизия под командой генерала Неверовского, о котором не слышал не только Наполеон, но даже генерал Сокольниковский, задержал все движение «великой армии» больше чем на сутки.

В авангарде шел быстрый Мюрат с тремя корпусами резервной кавалерии.

— О, мы живо разделаем их под белый соус! — самоуверенно заявил маршал, увидев, как генерал Неверовский уходит из Красного.

Русские построились в каре и отступали по этой широкой дороге, с двух сторон обсаженной березами и огражденной рвами.

Мюрат бросал в атаку одну кавалерийскую дивизию за другой. Гусары, уланы, карабинеры, драгуны, конноегеря налетали на русских со всех сторон, как неистовый шквал. Они старались врубиться в каре, но каждый раз были вынуждены откатываться назад: русские отбивали их ружейным огнем.

Мюрат свирепел. Мюрат не мог себе представить, что он с пятнадцатью тысячами всадников не сможет сломить вдвое меньшую численностью русскую пехоту. Ведь при Иене он расстроил, разметал каре прусской пехоты. Ведь его кавалерийский генерал Лассаль взял крепость Штеттин, и Наполеон тогда шутил: «Вы берете крепости кавалерией. Мне придется уволить инженеров и перелить пушки!» Ведь Монбрюн при Сома-Сьерре с одним уланским полком захватил пятнадцатишестичную батарею, укрытую за крутым горным хребтом, к которой вела узкая тропинка, где могло встать лишь три коня в ряд. А здесь? Что здесь?

На равнине жмутся несколько полков жалкой пехоты без единой пушки. Это стадо овец! Чепуха!

— Вперед! Сметем этих каналий! — размахивая саблей, кричал он перед фронтом очередной дивизии, которую бросал в атаку на пехоту Неверовского.

Мюрат был чертовски упрям. Он не хотел ждать конную артиллерию, отставшую в пути. Он хотел пробить каре пехоты одной конницей. Он за день сорок раз упрямо атаковал неустрашимого Неверовского и сорок раз не имел успеха. Мюрат охрип от крика, потемнел от пыли и возмущения.

Русские же теряли людей, но не поддавались и не сдавались. Они отступали в полном порядке и не пропускали французов в Смоленск. И только ночь прекратила безумные атаки неаполитанского короля.

В штабе Наполеона отдавали должное стойкости и мужеству русской дивизии.

— Вот пример превосходства хорошо выученной и ис-

кусно предводимой пехоты над конницей,— говорил Шамбре. (Он не знал еще, что пехоту Неверовского в основном составляли молодые, необстрелянные полки.)

— Блистательная храбрость нашей кавалерии не дает результата: она рубит врага, но не может его сломить,— сказал Фэн.

А поэтический Сегюр воскликнул:

— Неверовский отступает как лев!

Наполеон сделал вид, что не слышит этих слов,— он был недоволен.

— Я ждал, что захватят в плен всю дивизию русских, а не семь пушек! — сказал он, когда ему доложили, что взяли часть русских орудий, которые Неверовский не смог увести из Красного.

«Болван: не дождал конных артиллерийских рот!» — подумал о Мюрате раздосадованный император.

Но его орлы все-таки летели вперед.

Росистым, по-осеннему ясным и свежим августовским утром французская армия подошла к Смоленску.

Замысел Наполеона — прийти к Смоленску раньше русских — сорвался: остатки храбрецов Неверовского уже заняли оборону города. Их поддержал корпус Раевского, знакомый французским маршалам своей отвагой и мужеством.

Несмотря на задержку, Наполеон был полон бодрости и надежды: с холма, на котором стояла его палатка, Наполеон видел в трубу, как к Петербургскому предместью Смоленска спешат массы войск,— это шел Барклай.

Значит, русские не хотят отступить! Значит, не уступят без боя древний Смоленск!

— Наконец они в наших руках! — хлопал от радости в ладоши Наполеон.

Его войска все плотнее окружали город.

Император ждал подхода всех корпусов, чтобы завтра, 5 августа, штурмовать Смоленск.

Десятки пушек били по нему и сейчас, и войска маршалов Нея, Даву и Понятовского не прекращали атак.

Наполеон не спускал глаз с моста через Днепр, который соединял центр города, лежащий на южном берегу, с Петербургским предместьем.

К вечеру картина изменилась: почему-то одни войска входили в Смоленск, а другие оставляли его. Предчувствие чего-то недоброго кольнуло Наполеона: неужели придется

идти еще дальше на восток за генеральным сражением и победой?

Император подозвал Коленкура: Наполеон считал герцога Виченского искренним и прямым человеком. Император спросил у Коленкура, что думает он об этих передвижениях русских.

Коленкур понял переживания Наполеона: он не хочет верить в отход русских армий от Смоленска и нетерпеливо ищет в Коленкуре поддержку своей ускользающей надежде.

Можно было бы дипломатически покривить душой и поддакнуть Наполеону, но Коленкур остался верен себе: он сказал, что, видимо, русские и на этот раз отступают.

В серых глазах Наполеона сверкнула злость.

— Если это так, то, отдавая мне один из своих священных городов, русские генералы покрывают себя бесчестьем! — запальчиво выкрикнул он, быстро шагая по холму.

Император с таким негодованием бросил эту фразу, словно верный себе Арман Коленкур был тем самым русским генералом, который решил отдать Смоленск Наполеону.

— Заняв Смоленск (Наполеон столько раз за последние дни упоминал о нем, что в конце концов запомнил это название), я получу выгодное положение. Опираясь на Смоленск, мы отдохнем, организуем завоеванную страну и тогда посмотрим, каково будет господину Александру. Моя позиция станет более грозной для России, чем если бы я выиграл не одно, а два сражения! Я поставлю под ружье всю Польшу, а потом решу, куда идти раньше — на Москву или Петербург! — сказал Наполеон и, увидев подъезжавшего маршала Даву, обернулся к нему.

А Коленкур поспешил к Бертье, чтобы поделиться с ним приятным известием.

Коленкур нашел принца Невшательского у второй палатки, где размещался штаб.

Бертье так обожал Наполеона, что старался во всем подражать ему, и прежде всего — в одежде: носил такой же простой, серый сюртук и небольшую шляпу с черным шнуром и кокардой. Ростом и комплекцией он походил на Наполеона, только у Бертье была непомерно большая для его туловища голова. И волосы у принца Невшательского курчавились, как у барашка. В карете, издавек, его ино-

гда в самом деле принимали за императора, и Бертье этим очень гордился.

Маленький толстый Бертье стоял перед палаткой в своей любимой позе: заложив короткие руки в карманы рейтуз и гордо откинув назад курчавую голову. Он диктовал секретарям приказы.

Несколько штаб-офицеров, пристроившись прямо на земле у походного стола, заваленного бумагами и картами, строчили приказы командирам отдельных частей, следовавших к Смоленску, — император стягивал к городу все силы. Наполеон всегда придерживался одного правила: «Врозь двигаться, вместе драться».

Бертье, обладавший изумительной памятью, диктовал точь-в-точь, как делал это император. Только голос у него был гнусавый. При разговоре Бертье бормотал и гримасничал так, что для непривычного собеседника, не знавшего прекрасных деловых качеств начальника штаба, это могло показаться весьма неуважительным и странным.

Известие Коленкура о решении Наполеона остановиться в Смоленске не вызвало радости у Бертье: он слишком хорошо знал упрямство императора и не мог поверить, что Наполеон, раз приняв решение, может поступить как-либо иначе.

VIII

Призрак победы, так манившей его, и, казалось, бывшей уже в его руках, снова ускользнул от него. Но он все-таки решил гнаться за ним.

Ф. Сегюр

На следующий день, 4 августа, русские были вынуждены оставить все позиции перед городом. Они укрылись за древними смоленскими стенами. Было ясно, что Барклай и на этот раз не собирается принимать генерального боя, а только хочет задерживать врага, чтобы дать возможность соединенным русским армиям отойти в порядке.

Наполеон приказал подвести осадные орудия. Сотни пушек били по Смоленску и его стенам целый день. Французская пехота неоднократно бросалась на штурм, но истекавшие кровью полки Дохтурова мужественно отбивали все атаки, а французские ядра не могли пробить брешь в толстых каменных стенах Смоленска.

К вечеру весь форштадт Смоленска был в дыму и пламени. Пожары начались и в других частях города. Французские гранаты поджигали деревянные дома, которые преобладали в Смоленске.

Наступил вечер. Над Смоленском стоял густой дым, сквозь который пробивались яркие языки огня. Дым громадными столбами подымался к небесам, окрашивая их в багровый цвет.

И из этого моря огня, сквозь немолчный гром пушек, сквозь кипение ружейной трескотни, криков «ура» и грохота барабанов донесся колокольный звон. Он не был набатным, тревожным. Он был идиллическим, спокойным и необычным.

— Что такое? Почему они звонят? — удивился Наполеон.

Капитан Вонсович поторопился объяснить императору: в смоленских церквях звонят потому, что завтра у русских большой праздник.

Наполеон поморщился. Он считал, что завтра будет большой праздник, но у него, а не у русских.

Пушки продолжали греметь, а колокола звонить.

Бой постепенно затихал, но не утихали пожары. В ночном небе они казались еще более зловещими, страшными и нелепыми. Огонь безжалостно пожирал Смоленск.

Император прогуливался возле костров, разложенных у его палаток, — ночи стали холодны. Оставаться хоть минутку без дела Наполеон не мог. Он по-мальчишески подбрасывал носком сапога в огонь валявшиеся на земле сосновые шишки, потом пошел спать.

За ним последовала свита.

Только Коленкуру не спалось. Он ходил по лагерю, посматривая на Смоленск, думал о том, что ждет их, если император не остановится в Смоленске, а пойдет на Москву.

Становилось свежо. Коленкур присел у костра на деревянный обрубок, смотрел на огонь, вспоминал далекую Францию и любимую Адриенну де Канизи, с которой его невольно разлучил этот безумный поход в Россию. И задремал, опершись руками о колени.

Он проснулся оттого, что император хлопнул его по плечу.

Близился рассвет. Костер горел уже менее жарко, но все так же ярко было пламя, подымавшееся над Смоленском.

— Не правда ли, красивое зрелище, господин обер-шталмейстер? — весело спросил Наполеон, указывая на Смоленск. — Как извержение Везувия.

— Ужасное зрелище, государь! — искренне признался Коленкур, подымаясь.

— Ба! Герцог Виченский! Вы забыли мудрое изречение Авла Вителлия: труп врага хорошо пахнет! — сказал, смеясь, Наполеон.

Коленкур невольно переглянулся с Бертье, стоявшим рядом с императором: стало быть, о мире с Россией уже нет и речи?

Наполеон был весел. Он шутил с гренадерами караула, говоря, что они хорошо прокопятся в этом смоленском дыму, как вдруг в Смоленске раздался оглушительный взрыв. Все поняли: русские, оставляя город, уничтожают пороховые склады.

Наполеон приказал подать коня и тотчас же поехал к Смоленску.

Вся французская армия, раскинутая на холмах и долинах у Днепра, пришла в движение.

У смоленских стен густо лежали трупы штурмовавших город французов и поляков.

— *Dulce et decorum est pro patria mori!*¹ — равнодушно глядя на павших солдат, говорил Наполеон.

С развернутыми знаменами, барабанным боем и музыкой входила в Смоленск французская армия. Она шла радостно и бодро — солдатам так много обещали в Смоленске всяких благ, говорили о нем, как о земле обетованной.

Наполеон въехал в Смоленск с таким торжеством, будто он взял город штурмом, а не занял после того, как его оставили русские.

Смоленск лежал в дымящихся развалинах. Нигде не было видно ни человека: жители ушли, а те немногие, кто не успел уйти, попрятались. На улицах валялись одни трупы.

Навстречу французам подымался лишь едкий дым пожаров.

— Спектакль без зрителей, — тихо заметил Коленкур, ехавший рядом с Сегюром. — Победа без славы...

— Дым — единственный свидетель победы. Не остался бы он ее эмблемой, — в тон Коленкуру мрачно, но поэтично прибавил Сегюр.

Наполеон проехал к днепровским воротам, вошел в церковь над ними и смотрел оттуда на противоположный берег, занятый русскими.

Русская пушка стреляла по французам, наводившим мост через Днепр. Император приказал втащить в церковь два орудия, с удовольствием сам навел их и несколькими выстрелами заставил русскую пушку замолчать.

Наполеон поехал в губернаторский дом на Блонье.

В березовой аллее у дома уже располагалась старая гвардия.

Гренадеры таскали из губернского архива бумаги, выстилая ими пол в своих палатках.

В комнатах губернаторского дома суетились придворные пажи, слышался повелительный голос Констана, готовившего императору постель. Тихий Меневаль уже поставил на большом письменном столе походный чернильный прибор императора, положил его портфель красного бархата, украшенный серебряным шитьем, изображавшим лавровый венок со звездами и пчелами.

Наполеон тотчас же сел за письма. Враг ускользал, победы еще не было, но приходилось делать хорошую мину при плохой игре, приходилось обманывать Европу.

Императрице он сам написал коротенькое письмо:

«Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них три тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Мои дела идут хорошо».

Министру иностранных дел герцогу Бассано он продиктовал:

«Жара крайняя, много пыли, и нас это несколько утомляет. У нас тут была вся неприятельская армия, она имела приказ дать здесь сражение и не посмела. Мы взяли Смоленск открытой силой. Это очень большой город, с солидными стенами и фортификацией. Мы перебили от трех до четырех тысяч человек у неприятеля, раненых у него втрое больше; мы нашли тут много пушек; несколько дивизионных генералов убито, как говорят. Русская армия уходит, очень недовольная и обескураженная, по направлению к Москве».

¹ Сладко и почетно умереть за родину!

— Допишите, я пойду отдохну,— сказал он Бертье и пошел в спальню.

Бертье послушно дописал:

«Продиктовав это письмо, его величество немедленно бросился в постель»,— чтобы герцог Бассано не встревожился, что письмо императора осталось недоконченным.

Наполеон спал не больше часа. Он мог спать один час, проснуться, вновь заснуть и вновь встать. Как мог он спать, если надо было готовиться идти дальше, к Москве? Наполеон не собирался оставаться в Смоленске. Он не терпел ни себя, ни маршалов, ни армию пустыми разговорами о том, что зазимуют здесь, на Днепре. Он упрямо твердил:

— Не пройдет и месяца, как мы войдем в Москву. Москва увидит нас в своих стенах, как видели Вена, Берлин, Рим, Мадрид! А через шесть недель у нас будет мир!

Никто не мог переубедить его в этом. Он верил в свою непобедимость и силу: ведь он вел за собой всю Европу!

Наполеон не хотел никого слушать.

Наполеон торопился.

Глава третья

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК

Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Пушкин

Еще, Кутузов, прибавляешь
Ко славе ты своей венец;
Еще, еще ты глас внимаешь
От душ усердных и сердец.
В Петровом граде силы новой
Будь устрашителем, вождем;
Беснует в злобе враг суровый;
С тобой против врага пойдем.

Стихи 1812 года

I

Второй день к петербургским заставам прибывали самые разнообразные старые и новые кареты, коляски, тарантасы, дрожки, брички, бегунки, в которых ехало в столицу уездное дворянство. Караульные на заставе сначала думали, что это псковские помещики бегут от не-

приятеля, но ехали они все налегке, без жен и детей, без дворни и пожитков. Оказывается, это съезжались на чрезвычайное собрание по поводу организации народного ополчения.

Утром 17 июля в доме Ильи Андреевича Безбородко на Фонтанке открылось собрание.

Михаил Илларионович сам не знал, как быть. С одной стороны, полагалось бы поехать, а с другой — как будто не следовало бы. Кутузов слышал, что многие дворяне хотят, чтобы он возглавил Петербургское ополчение. После того как Михаил Илларионович командовал Молдавской армией, этот пост, с точки зрения военной, мог казаться не столь значительным, но он являлся почетным и лестным, как выражение общественного внимания. Да и сидеть полководцу без дела в то время, как отечеству угрожает страшная опасность, было тяжело. Ехать же в собрание, — значит, лишний раз напоминать о себе. Ведь из отставных генералов, которые жили в Петербурге, не было никого, кто бы мог равняться Кутузову по боевым заслугам, военным знаниям и опыту.

Недрузи Михаила Илларионовича тотчас же воспользовались бы тем, что он приехал, чтобы расписать «хитрость» Кутузова — как он, вопреки царскому нерасположению, добивается почетного назначения. И злопамятный и мстительный Александр не простил бы Кутузову его действий.

— Лучше не езд, Мишенька, пусть решают без тебя, — советовала жена.

— Конечно, не поеду, я ведь не какой-нибудь отставной козы барабанщик. Я ведь еще числюсь на государственной службе! — шутил Михаил Илларионович.

И он остался дома.

Господа уездное дворянство, съехавшиеся в столицу, обрадовались случаю почесать языки, поговорить о военных делах, обменяться сплетнями, предположениями, опасениями и — в кои веки — посидеть в ресторации, хотя бы за бутылкой английского пива.

Главный разговор велся по одному поводу — о вооружении крестьян. Народное ополчение, Минин и Пожарский — все это хорошо, но что будет, если крепостным дать ружья и пики? Не обернется ли Минин — Стенькой Разиным, а Пожарский — Пугачевым?

Не слишком ли?

Раздумий было много, и каждый дворянин, нововладжский или гдовский, обязательно считал себя политиком, дипломатом и немножко полководцем.

Господа дворяне не изволили торопиться и совещались три дня.

По просьбе Кутузова полковник Резвой и капитан Кайсаров были откомандированы из Молдавской армии в Петербург. Оба они присутствовали на заседаниях и каждый день рассказывали Михаилу Илларионовичу, что происходило в доме Безбородко.

Когда 18 июля вечером приступили к выбору начальника Санкт-Петербургского ополчения, то со всех сторон залы послышались голоса: «Кутузова, Кутузова!»

К баллотировке, к белым и черным шарам прибегать не пришлось: мнение было единогласное — Кутузов.

19 июля в пятницу предполагалось объявить решение дворянства избраннику.

Екатерина Ильиншна с утра обдумывала, чем пристойнее заняться Мише, что делать в ту минуту, когда придут к нему делегаты.

— Пусть они застанут тебя за картой в кабинете.

— Так только на гравюрах изображают полководцев. Еще пушки по бокам... — усмехнулся Кутузов. — Я просто буду сидеть вот тут, в гостиной на диване, где сижу, и читать.

— А что же ты будешь читать?

— А вот лежит какая-то твоя книжка.

Михаил Илларионович развернул и прочел заглавие: «Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетании».

— Да что ты, Миша, эта не подходит...

— Почему именно? Книжка интересная?

— Забавная...

— Я забавное как раз и люблю.

И в таком положении застала его делегация губернских и уездных предводителей дворянства.

Михаила Илларионовича повезли в собрание.

Дворянство еще на лестнице восторженно встретило Кутузова. Михаил Илларионович шел, окруженный целой толпой. Знакомые поздравляли, жали руки. Хозяин дома, Илья Андреевич Безбородко, и братья Александр и Дмитрий Нарышкины, обер-камергер и егермейстер, обняли Михаила Илларионовича. Уездные дворяне в суконных, пахнущих нафталином фраках, со старомодными, вы-

кими, «золотушными» галстуками, душными в июльскую теплынь, не обращая внимания на шитые золотом камергерские мундиры и сюртуки военных, бесцеремонно противились вперед, чтобы поближе разглядеть знаменитого Кутузова. Смотрели на его седую, гордую голову, сквозь которую дважды прошла смертоносная неприятельская пуля.

Губернский предводитель дворянства Жеребцов и Безбородко подвели Михаила Илларионовича к большому столу, покрытому зеленым сукном, на котором белели разбросанные листки бумаги. Жеребцов позвонил в колокольчик. Шумный прибой голосов разом утих. Никто не сдвинулся. «Благородное» — санкт-петербургское — дворянство стоя ждало, что скажет генерал от инфантерии граф Кутузов.

— Господа, о многом мне хотелось бы вам сказать... — начал Михаил Илларионович.

Волнение сдавило ему горло. Он на секунду умолк.

— Вы украсили мои седины! Спасибо вам, господа!

И тут буйным ливнем ударили аплодисменты. Особенно не жалели ладоней, старались господа уездное дворянство. Аплодисменты дали возможность Михаилу Илларионовичу оправиться от волнения. И он уже почти спокойным голосом прибавил, что может принять столь лестное и почетное избрание, если государю не будет угодно призвать его к исполнению других обязанностей.

Кутузов поклонился и пошел к выходу.

По рвению уездных дворян Михаил Илларионович видел, что они готовы качать его, но губернское дворянство умирило пыл уездных. Сопровождаемый по-прежнему аплодисментами, пожатием рук, поклонами, улыбками и добрыми пожеланиями, растроганный Кутузов уехал с Резвым домой.

— Ты, Мишенька, как Эпаминонд, который не откасался служить простым воином под начальством неопытных полководцев, добившихся коварством высших ступеней, — говорила обрадованная Екатерина Ильиншна.

— Павел Андреевич, заметь: в последнее время меня все сравнивают с греками, — сказал Резвому Михаил Илларионович, — в Бухаресте заладили — Фемистокл, здесь — Эпаминонд.

— А вы, Михаил Илларионович, скажите: хоть горшком назовите, лишь бы в печь не ставили! — шутил Резвой.

Император утвердил избрание Кутузова начальником Петербургского народного ополчения, и Михаил Илларионович энергично принялся за дело. Он был занят с утра до ночи: сидел на приеме ратников, обсуждал детали обмундирования, вооружения и снаряжения, ездил смотреть, как на Измайловском плацу учили ополченцев. Учили спешно — чуть ли не от зари до зари, благо ночи стояли прозрачные, белые. Учили без «красот», даже не брать на караул, а только знать свое место в шеренге, шагать в ногу, правильно носить на плече ружье, заряжать, стрелять и колоть штыком.

— Придется походить с ружьем! Это не с тросточкой прогуливаться по проспекту, — говорили ополченцам-горожанам обучавшие их кадровые унтера.

Михаил Илларионович приободрился, ожил, повеселел. Снова почувствовал себя нужным для государства человеком.

— Знаешь, Мишенька, ты помолодел, — говорила жена.

— Ради бога, Катенька, только ты уж не превращайся в льстеца и подхалима: их и без тебя хватает, — отвечал Михаил Илларионович.

Через день в Петербурге узнали: московское дворянство тоже избрало Кутузова начальником ополчения.

Это была пощечина Александру — он не хотел признавать Кутузова, а народ признавал.

22 июля в Петербург вернулся император Александр. Вечером полицейские офицеры ходили по домам, приказывали вывесить флаги и устроить иллюминацию. Петербуржцы недоумевали:

— Что случилось?

— Неужто наконец — победа?

— Нет. Государь прибыл из армии.

— А-а-а... — вырывалось разочарованно.

Город расцвечен огнями, но от этого ни у кого на душе не сделалось светлее. Положение Петербурга оставалось очень ненадежным. Пруссак из корпуса маршала Макдональда заняли Митаву, маршал Удино шел из Полоцка на Псков.

Всех одолевала одна мысль: успеет ли хоть Петербургское ополчение обучиться, чтобы выйти навстречу врагу?

Город жил в тоске и тревоге.

Раньше в белые ночи по Неве и протокам между островами плавало много богато разукрашенных коврами и раз-

ноцветными бумажными фонариками лодок. За ними шли лодки с собственным крепостным духовым оркестром или хором.

Много шныряло по Неве и простых челноков с купеческими молодцами, мастеровыми и мелким чиновным людом. Здесь сами гребли, сами пели и сами тренькали на балалайке.

Катание на Неве продолжалось с вечера до самой зари.

А теперь все исчезло: ни песен, ни музыки, ни веселого смеха.

Вместо нарядно убранных лодок у пристаней толпились неуклюжие баржи: многие петербургские дворяне собрались уезжать из столицы по воде.

Императорская фамилия предполагала выехать в Казань, когда французы дойдут до Нарвы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна очень боялась оставаться в столице: она не любила Наполеона и знала, что ему это известно.

На улицах стало меньше красивых карет и колясок — театры и собрания редко кто посещал.

Зато много было телег, кибиток, повозок — некоторые московские семьи переехали в Петербург.

Прежде на каждом шагу попадались стройные, рослые гвардейцы в киверах, касках и блестящих мундирах.

Теперь вместо них всюду мелькали сермяги ополченцев и их серые деревенские шапки с крестами. Впервые петербургскими проспектами завладел их подлинный хозяин — народ, который до этого жался на задних дворах барских хором в тесных и неуютных «людских».

И в эти особенно тревожные для столицы дни пришла неожиданная и радостная весть: генерал Витгенштейн разбил у Клястиц войска маршала Удино и французы отошли к Полоцку.

— Вот те на: знаменитые генералы отступают, а неизвестный бьет французов!

— Да, все «буки» — Барклай, Багратион, Беннигсен ничего не могут поделать, а этот «веди» — Витгенштейн побил. Вождь. Спас Петрополь!

— И тоже не русский — Витгенштейн.

— Не всякая блоха плоха. Не всякий немец — враг.

— Да нет, он русский: у него мать урожденная княжна Долгорукова.

— Сказано: русак — не трусак!

— А сколько у Витгенштейна войск?
— Двадцать пять тысяч.
— Вот еще Михайла Ларивонович с ополчением по-
дымется!

Петербург повеселел.

В честь победы Витгенштейна 25 июля над Невой прогремел пушечный салют.

А 26-го пришла самая радостная весть: наконец 1-я и 2-я армии соединились в Смоленске.

«Насилу вырвался из ада. Дураки меня выпустили», — писал Багратион Ермолову.

— Как хотите, а соединение наших армий — первое поражение Наполеона: он не смог разбить их по частям, — говорил в комитете своим генералам Кутузов.

Но все-таки враг стоял уже под стенами Смоленска. И волна негодования против Барклая де Толли все росла и ширилась.

Народ говорил:

— Нет, братцы, дело нечисто, нам изменяют. У нас немец командир. У него душа об Расее не болит!

Михаил Илларионович усталый приезжал из комитета и садился с Екатериной Ильинишной ужинать.

Катенька делилась с мужем новостями вроде такой: адмирал Николай Семенович Мордвинов заявил, что, пока родина в опасности, он будет обедать не восемью блюдами, а лишь пятью, и разницу в расходах вносить в казначейство.

Марина, пользуясь своим особым положением барыниной наперсницы, присоединялась к Екатерине Ильинишне. Принимая от лакеев блюда, она сама подавала их на стол и рассказывала все то, что слышала на улице, в лавчонке, в Летнем саду, на набережных. Рассказывала как будто одной барыне и обращалась будто бы только к ней:

— Все, все говорят: разве, говорят, Кутузову питерскими мужланами командовать? Ему лейб-гвардией! Ему всей кавалерией и фантерией и артиллерией, всей армией! Чего он здесь, бедненькой, сидит? — прибавляла она, взглянув на барина, который совсем не чувствовал себя «бедненьким» и аппетитно ел простоквашу с черным хлебом.

— А даве у Нового арсенала мужики судили: лучше Михайлы Ларионовича полководца нет! Он во как побил турка!

— А ты, Марина, не сочиняешь ли? — улыбался Кутузов.

— Да что вы, ваше сиятельство, да разрази меня Параскева Пятница! Да вот и гагаринская Нюшка слыхала. Спросите у нее, ежели не верите! — горячо и обиженно отстаивала истину своих слов горничная. Она не лгала и очень мало приукрашивала, даже говорила не все то, что слышала. Марина из деликатности опускала, например, такой диалог: «А вишь, у Кутузова один глаз...» — «Хуш у Кутузова и один глаз, он видит больше, чем все твои немцы двумя!»

29 июля Михаил Илларионович был возведен за мир с Османской Портой в княжеское достоинство с титулом «светлости».

Но в этом опять была плохо скрытая издевка Александра. В указе сенату говорилось: «...возводим мы его с потомством».

А какое же потомство у Михаила Илларионовича Кутузова, когда у него пять дочерей и ни одного сына, а жене 57 лет? Был сын первенец, да сонная мамка приспала — навалилась на маленького пышной грудью, и ребенок задохся.

Екатерина Ильинишна не желала сама кормить: «Фи, молоко течет. Ни платье надеть, ни в театр!»

— Твои дела идут в гору, Мишенька, — говорила теперь Кутузову жена.

Михаил Илларионович молча улыбался, ждал, что же будет дальше.

31 июля царь назначил его командовать Нарвским корпусом, всеми сухопутными и морскими силами в Петербурге, Кронштадте и Финляндии.

— Вот видишь, Катенька, чем я не Чичагов: уже команду флотом, — смеялся Кутузов.

Но все это было еще не то. Александр все еще не хотел полностью признать большие заслуги Кутузова.

II

Не столько мрачные, сколько самонадеянные предсказания Наполеона о том, что Барклай и Багратион не увидятся больше, не оправдались: оба командующие армиями встретились в Смоленске.

Этой встречи ждали все: и войска и народ. Ей прида-

вали большое значение, понимая, что после соединения двух армий в действиях русских должна произойти существенная перемена.

Горячий, невыдержанный Багратион в письмах к Ростопчину честил Барклая за бесконечное отступление и прямо называл его трусом и изменником. Еще более невыдержанный, чем Багратион, московский военный губернатор Ростопчин, сплетник и болтун, конечно, во всех московских гостиных рассказывал и читал письма Багратиона. О них знала вся Россия.

Народ не вдавался в стратегические тонкости маневра 1-й армии, а видел одно: Барклай без боя отдает врагу русскую землю, а Багратион мужественно пробивается на соединение с 1-й армией и призывает к отпору врагу.

Всем хотелось героики, хотелось умереть за отчизну, но очень немногие понимали, что просто умереть за отечество легче, нежели выиграть войну и отстоять независимость родины.

Багратион был не великорус, а грузин. Народ знал и ценил его как верного и любимого ученика Суворова, и никто не сомневался в том, что Багратион — русский, что он — настоящий патриот России. А в патриотизм лифляндца Барклая де Толли почему-то не верили.

И вот теперь оба полководца должны были встретиться и руководить обороной России.

Несмотря на то, что Багратион был старше в чине, он первый поехал к Барклаю как к военному министру.

Армия оценила этот жест Багратиона: худой мир лучше доброй ссоры.

Окруженный большой свитой и пышным конвоем из ахтырских гусар и литовских улан, Багратион ехал в коляске к дому военного губернатора, где жил Барклай.

Барклай де Толли в полной парадной форме с тремя звездами на груди ждал его. Увидев из окна подъезжавшего к дому Багратиона, Барклай взял генеральскую шляпу с черным султаном и вышел навстречу гостю.

Всегда спокойное, чуть грустное, удлиненное лицо Барклая изображало любезность и расположение.

— Я только что узнал о вашем приезде и хотел тотчас же сам быть у вас, — как бы оправдываясь в том, что он не поехал к старшему в чине Багратиону, а Багратион приехал к нему, сказал Барклай де Толли.

Внешне встреча прошла дружелюбно, о недавних разговорах не было и помину. Оба командующие отправили

императору донесения, в которых сообщали, что все недоразумения между ними рассеяны.

А на деле этого, к сожалению, не получилось.

Генералы, недовольные отходом русских армий на восток, настояли, чтобы Барклай собрал военный совет.

Хотя осторожный Барклай де Толли предпочитал не двигаться с места, но совет решил наступать, потому что корпуса Наполеона были разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.

25 июля обе армии двинулись из Смоленска к Рудне, центру армии Наполеона. Впервые в этой войне русские наступали. Командиры ободрились, солдаты шли с песнями.

26 июля 1-я армия стала у Приказ-Выдры, а 2-я — у Катыни. 27 июля Барклай вдруг приказал остановиться. Он получил донесение, что французы заняли Поречье, и боялся очутиться в мешке, если Наполеон из Поречья зайдет ему в тыл.

Багратион продолжал настаивать на наступлении. Он считал, что Наполеон будет обходить не правый, а левый фланг русских и поведет наступление на Красный.

Совершенно противоположные по характеру и темпераменту, Барклай и Багратион не могли сговориться и действовать согласованно.

1-я армия стала на Поречской дороге, 2-й же Барклай приказал занять ее место у Приказ-Выдры. А на следующий день, 28 июля, военный министр велел Багратиону отойти к Смоленску.

Ежедневные передвижения — то наступление, то фланговый марш, то отступление, — совершавшиеся по невозможным дорогам, изнуряли людей и лошадей и были непонятны ни командирам, ни рядовым. Так как в приказе обязательно упоминалась лежащая у Смоленска деревня Шеломец, то солдаты остроумно окрестили эти бесконечные переходы «ошеломелыми».

Терпение всех истощилось.

Неразбериха в командовании издергала всех.

Багратион подчинялся приказам Барклая, но жаловался в письмах всем. Аракчееву он писал:

«Я никак вместе с министром не могу. Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная

квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и толку никакого нет».

Необходимость единого командования назрела окончательно, была всем очевидна.

Ермолов писал об этом императору. Генерал-адъютант граф Шувалов, по болезни вынужденный покинуть армию, послал Александру письмо, в котором умолял назначить главнокомандующего:

«Дела с каждым днем становятся все хуже и хуже. Войска недовольны до такой степени, что ропщут уже солдаты; они не имеют никакого доверия к их главному начальнику. Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями. Необходимо, чтобы ваше величество назначили его немедленно, иначе погибла Россия».

Выхода у Александра не было — не хотелось, а волей-неволей приходилось назначать главнокомандующего: народ ведь не просил царя стать во главе вооруженных сил.

Александр поручил избрание главнокомандующего специальному комитету из шести человек. В него вошли: бывший воспитатель Александра Павловича, председатель государственного совета граф Николай Иванович Салтыков, петербургский главнокомандующий Сергей Кузьмич Вязмитинов, генерал Алексей Андреевич Аракчеев, начальник полиции Александр Дмитриевич Балашов и действительные тайные советники Петр Васильевич Лопухин и Виктор Павлович Кочубей.

Александр снова попытался умыть руки — пусть решают другие, кому быть главнокомандующим, а он останется, как всегда, в стороне.

III

Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал.

Пушкин

В большом кабинете графа Салтыкова, выходявшем окнами на Неву, собрались члены комитета.

Сегодня здесь решалась судьба русской армии, судьба России.

Июльский вечер был тепел и тих, но окна в кабинете оставались закрытыми: хозяин, семидесятишестилетний граф Салтыков, боялся простуды. Он сидел с всегдашней кислой миной на худом, лисьем лице. Ни люстр, ни свеч не зажигали: скупой Салтыков считал, что и так еще достаточно светло.

За столом сидели: мрачный, надменный Аракчеев, сухощавый, спокойный Лопухин, добродушный Вязмитинов и двое молчаливых — себе на уме — красавец Кочубей и безобразный лицом Балашов.

Комитет выслушал рапорты командующих армиями и разные письма к государю и Аракчееву: Багратиона, его начальника штаба генерала Сен-При, Ермолова и других. Письма из армии говорили все о том же: о необходимости единого командования.

Их читал монотонным, дьячковским голосом Аракчеев.

После этого обсудили, каким требованиям должен отвечать избранный, и решили, что он обязан иметь «известные опыты в военном искусстве, отличные таланты, доверие общее и старшинство».

— Ну что ж, господа, а теперь прошу называть кандидатов, — сказал председатель комитета Салтыков.

Аракчеев тяжело думал, насупив брови. Лопухин, сложив пополам лист бумаги, обмахивался им, как веером, и думал только о том, что не худо бы открыть окно. Вязмитинов выражал полную готовность поддержать достойнейшего. Кочубей загадочно улыбался, легонько постукивая пальцами по столу. Балашов сосредоточенно рисовал на бумаге карандашом какие-то узоры.

— Ну кого же? Петра Ивановича Багратиона? — спросил Салтыков.

— Да, да, Багратиона! — восторженно воскликнул Аракчеев.

— А не лучше ли Беннигсена? — осторожно предложил Вязмитинов.

— Он же не русский.

— Ах да! — махнул досадливо рукой Вязмитинов. — Я и забыл!

— Ивана Васильевича Гудовича, — сказал Лопухин. Он остался в душе москвичом, хотя жил в Петербурге, и потому вспомнил своего старого московского главнокомандующего.

— Да ведь Гудович мне ровесник. Он стар, — ответил Салтыков. — А как все-таки насчет Багратиона?

— Багратион слишком горяч! — возразил Кочубей.

— А кого же вы предлагаете, Виктор Павлович?
— Я предложил бы Алексея Петровича Тормасова.
— Молод еще. И опытом и доверием,— отрезал Аракчеев.

Все затихли, думали.

— А если Палена? — прервал молчание Вязмитинов.

— Так ведь, что он, что Барклай, оба — лифляндцы. Эх, Каменский зря умер! Александр Дмитриевич, а вы что же молчите, сударь мой? — обратился к Балашову Салтыков.

— Я давно надумал, Николай Иванович, да жду, не назовет ли кто его.

— Кого это?

— Михайлу Ларионовича Кутузова,— ответил Балашов.

— Кутузова? — чуть ли не с ужасом переспросил удивленный Аракчеев. Он хорошо помнил, что император не жалуется Кутузова.

— Да, Кутузова!

— О Михайле Ларионовиче мы все позабыли,— улыбнулся Кочубей.— Что ж, Кутузов — хорошо! Он человек достойный!

— Да, да, вполне достойный! — поддержал Лопухин.

— Его императорское величество не будет доволен,— буркнул Аракчеев, кашляя в кулак.

— Погодите, Алексей Андреевич, однако же государь утвердил Михайлу Ларионовича начальником ополчения! — вспомнил Вязмитинов.

— То ополчение, а то вся армия! — развел руками Аракчеев.

— Недавно пожаловал титул князя.

— И назначил членом государственного совета,— прибавил Салтыков.

— Кутузову много лет, он стар,— уже не так твердо, но все еще пытался возражать Аракчеев.

— Нет, ему годов еще не много. Погодите-ка... — задумался Салтыков.

— Михайло Ларионович родился в сорок пятом, следовательно, ему шестьдесят шесть,— подсказал Кочубей.

— Да, человек в самом соку,— подтвердил Салтыков.— Шестьдесят шесть для главнокомандующего — это пустяки!

Сорокачетырехлетний Кочубей невольно улыбнулся.

— Вот кто будет наверняка недоволен нашим выбором, так это Наполеон,— сказал Балашов.— Он не может простить Кутузову его победы над турками у Рущука.

— Ну, значит, так и решили, господа? Избираем главнокомандующим всеми нашими армиями Михайлу Ларионовича Кутузова? — спросил Салтыков, обводя всех глазами.

— Избираем! Избираем! — поддержали Вязмитинов, Лопухин и Кочубей.

— Кутузова знают и войско и народ! Обе столицы выбрали его командующим ополчением,— прибавил Балашов, глядя на Аракчеева.

— А вы как, Алексей Андреевич? — обратился Салтыков к Аракчееву.

— Ну что ж, выберем Кутузова,— нехотя уступил Аракчеев.

Все облегченно вздохнули.

Русские вооруженные силы наконец-то получили единого командующего.

IV

На следующий день весь Петербург только и говорил о решении комитета избрать Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим.

Все знали, что имя Кутузова было названо последним, что один Балашов осмелился сказать то, о чем говорила вся страна: только Кутузов может спасти Россию! Знали и нисколько не удивлялись тому, что «без лести преданный» Аракчеев попытался возражать против имени Кутузова.

Друзья Михаила Илларионовича радовались его избранию и хвалили комитет, а враги обливали грязью их обоих. Недруги чернили Кутузова. В их устах кутузовская тучность превращалась в «дряхлость», его осмотрительность — в «лень», а ум — в «хитрость».

Сам Михаил Илларионович услышал новость об избрании, когда приехал утром в устроительный комитет Петербургского ополчения на очередное заседание по поводу снаряжения ратников.

Все члены комитета, генералы, бросились поздравлять Михаила Илларионовича.

— Благодарю вас, господа, за ваши добрые чувства ко мне, но поздравлять меня, право же, еще рано...— ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович.— Будем лучше заниматься делом... Вчера мы решили, что вместо поясных сум на восемьдесят патронов мы делаем сумку через плечо на сорок патронов, не так ли? — переменял разговор Кутузов, садясь за стол.

Он не подал и виду, что новость взволновала его и была чрезвычайно приятна ему. Если кто-либо пытался заговорить об этом, Кутузов уклонялся от разговора.

Когда он вернулся к обеду домой, его встретила сияющая, довольная Екатерина Ильинишна: жена уже все знала.

— Вот видишь, Мишенька, правда торжествует!— сказала она, целуя мужа.— Народ тебя ценит и любит!

— Катенька, еще до поздравлений так далеко — жалуется псарь, да не жалуется царь. Александр Павлович может не утвердить. Ты представляешь, как ему тяжело будет сделать это! Год назад он не хотел верить мне одну небольшую армию, а здесь речь идет о четырех!

Михаил Илларионович знал, что говорил: император два дня колебался. В это время как раз пришло письмо от московского главнокомандующего Ростопчина, который писал, что Москва хочет, чтобы командовал Кутузов.

8 августа Александр наконец дал указ сенату и рескрипт Кутузову о назначении его главнокомандующим над всеми армиями и вызвал Кутузова к себе на Каменный остров.

Михаил Илларионович ехал на Каменный остров с чувством большого удовлетворения. В многолетней глухой неравной борьбе с царем он наконец-то вышел победителем.

По тому, как проворно выбежали к кутузовской карете придворные лакеи помочь выйти из нее князю Кутузову, как засуетились стоявшие у колоннады, а потом, когда Кутузов проходил мимо них, как застыли, вытянувшись в струнку, ординарцы, как навстречу ему торопливо вышел генерал-адъютант Комаровский, Михаил Илларионович увидал, что его здесь очень ждали, хотя час был послеобеденный, неприемный.

Дежурным генерал-адъютантом в Каменноостровском дворце сегодня оказался преуспевающий красавец Комаровский, которого Екатерина Ильинишна считала самым элегантным из всех генерал-адъютантов императора. Ко-

маровский очень сердечно, но в то же время почтительно (он впервые называл Михаила Илларионовича «ваша светлость») поздравил с высоким назначением.

— Благодарствую, Евграф Федорович,— ответил Кутузов.— Мне предстоит весьма трудное поприще. Я противу Наполеона почти не воевал. Скажите же мне, голубчик, кто находится в штабе Барклая? Я ничего не знаю.

— Начальником штаба — Алексей Петрович Ермолов, обер-квартирмейстером — барон Толь.

— С Алексеем Петровичем я хорошо знаком. И Толлю рад. Он выпущен из Первого кадетского корпуса. Он учился у меня. Способный юноша.

Комаровский, извинившись, что оставляет Михаила Илларионовича одного, пошел доложить о нем императору.

Михаил Илларионович не стал садиться: сядешь на минутку, а потом трудно подняться.

Комаровский тотчас же вернулся.

— Государь ждет вас: пожалуйста, ваша светлость! — сказал он.

Кутузов со шляпой в левой руке прошел бочком в следуюшую комнату. Это была приемная перед кабинетом царя. Она вся утопала в цветах.

Лакей с поклоном открыл перед ним большую дверь красного дерева с медными перекрещенными римскими мечами на филенках.

Михаил Илларионович вошел в большой, залитый вечерним солнцем кабинет. Александр Павлович стоял в дальнем углу кабинета за письменным столом.

Кутузов подошел на три шага к столу, поклонился и стал ждать, что скажет царь.

Посмотреть на это красивое, женственно мягкое, пухлое лицо императора, можно подумать, что пред вами действительно ангел. Но как внешность не соответствовала внутренней сущности этого человека!

— Я нашел нужным поставить над всеми действующими армиями и ополчением единого главнокомандующего. Комитет, мною назначенный, избрал на этот пост вас, Михайло Ларионович. Я уже известил о моей воле всех командующих. Поезжайте немедленно к армии. Я бы хотел, чтобы вы использовали опыт и знания генерала Беннигсена.

Император говорил. Румянец покрывал его щеки — разговор был ему неприятен, — но Александр прекрасно

владел собой. Он как будто смотрел на Кутузова, однако Михаил Илларионович не мог не заметить: глаза царя не хотели встречаться с глазами Кутузова. Александр норовил смотреть только на правый, незрячий глаз Кутузова.

Император кончил и обернулся к окну, выставив вперед одно ухо,— собирался слушать ответные слова Кутузова.

Александр увильнул, прямо не сказал, что назначает Кутузова главнокомандующим. Он подчеркнул: комитет избрал Кутузова. А для конца, для завершения, Александр приберег все-таки горькую пилюлю: он приставил к Кутузову своего любимца Беннигсена. До сих пор Беннигсен интриговал против Барклая, а теперь, разумеется, будет строить козни против Кутузова.

«Погоди ж, я не останусь у тебя в долгу»,— подумал Михаил Илларионович и спокойно ответил:

— Ваше императорское величество, у меня нет слов всеподданнейше выразить вам глубочайшую благодарность за то высокое доверие, которое вы всегда оказывали и оказываете в настоящий момент мне. Я не пощажу своей жизни, чтобы доказать свою сыновью преданность Родине и вашему величеству, всемилостивейший государь.

Император молча наклонил голову: аудиенция окончена.

Это была только вынужденная, пустая формальность, а не разговор царя с главнокомандующим всеми вооруженными силами в грозную минуту.

Кутузов низко поклонился и пошел к выходу.

Александр медленно шел вслед за ним, делая вид, будто провожает гостя.

Кутузов уже подошел к двери, как вспомнил: «А на какие же средства я поеду? Дома одни долги...»

Он повернулся к императору. Александр стоял в двух шагах от него и уже смотрел во все глаза на Кутузова.

— Ваше императорское величество... От волнения, от беспредельного ко мне вашего благорасположения запмятовал... Осмелюсь просить ваше императорское величество о назначении мне денег на дорогу...

— Ах, денег? — переспросил император. Видно было, что у Александра гора свалилась с плеч — он ждал чего-то более неприятного. — Я жалую вам десять тысяч рублей.

— Премного благодарен, ваше императорское величество,— еще раз поклонился Кутузов и вышел из кабинета.

Улыбающийся Комаровский ждал его в дежурной комнате.

— Ну, все в порядке? — спросил он так, чтобы только спросить. Иначе быть уже не могло: через руки Комаровского еще утром прошли рескрипты царя всем командующим армиями о назначении Кутузова.

— Да, дело решено: я — главнокомандующий,— скромно ответил Михаил Илларионович и, простившись, уехал домой.

Император не мог никак примириться с назначением Кутузова главнокомандующим: он ненавидел Кутузова, не верил в его полководческие таланты. Александр хотел, чтобы все знали, что он назначил Кутузова против своего желания. Он решил сказать обо всем Комаровскому: уже завтра весь Петербург будет знать об этом, а дня через три узнает и Москва.

Александр вошел в дежурную комнату и сказал Комаровскому:

— Я назначил Кутузова потому, что публика хотела его. Что касается меня, то я уываю руки!

Эту же мысль он повторил в письме, которое час спустя написал своей любимой сестре Екатерине Павловне:

«Я нашел, что настроение здесь хуже, чем в Москве и провинции: сильное озлобление против военного министра, который, нужно сознаться, сам тому способствует своим нерешительным образом действий и беспорядочностью, с которой ведет свое дело. Ссора с Багратионом до того усилилась и разрослась, что я был вынужден, изложив все обстоятельства небольшому нарочно собранному мной для этой цели комитету, назначить главнокомандующего всеми армиями; взвесив все основательно, остановились на Кутузове, как на старейшем... Вообще Кутузов пользуется большой любовью у широких кругов населения здесь и в Москве».

Болезненно самолюбивый, дороживший именем полководца, каким он никогда не был, Александр постарался заранее предупредить всех: он не хотел, но вынужден назначить Кутузова, и во всем том, что произойдет вследствие этого назначения, он, император Александр, будет совершенно неповинен!

Михаил Илларионович решил за пятницу и субботу подготовиться к отъезду с тем, чтобы утром в воскресенье 11 августа тронуться в путь-дорогу.

В пятницу он сдавал дела по командованию Нарвским укрепленным районом и петербургскому ополчению. За этим занятием пролетел весь день. Михаил Илларионович освободился только в семь часов пополудни. Он еще не обедал, и можно было бы, кажется, ехать домой и отдыхать после трудов праведных, но с новым назначением, как бывало у Михаила Илларионовича всегда, проснулась энергия, которая так поразила на Дунае более молодых генералов, вроде Ланжерона.

Кутузов уже думал о русской армии вообще, об отпоре Наполеону.

Возвращаясь из Новой Голландии домой, он по дороге заехал в военное министерство расспросить Горчакова о резервах.

Михаил Илларионович не знал точной численности ни своей армии, ни армии Наполеона, но понимал, что силы Наполеона, собравшего войска из всей Европы, в несколько раз больше русских. Кутузов хотел знать, на какое прибавление он может в ближайшее время рассчитывать.

В России был проведен рекрутский набор, в шестнадцати губерниях собралось народное ополчение, какие-то регулярные части оставались внутри страны. Михаил Илларионович думал, что военное министерство располагает этими цифрами, знает, в каком состоянии находятся формирующиеся полки.

Приехав в министерство, Михаил Илларионович не застал Горчакова. Молодой князь больше щадил свой покой и здоровье, чем Кутузов: он два часа тому назад уехал домой.

Кутузов в той же приемной, где висела большая карта Европы, у которой в первые дни войны велись горячие споры, написал своим малоразборчивым почерком записку князю Горчакову, прося сообщить нужные данные.

С субботы 10 августа кабинет Кутузова превратился в штаб-квартиру. Михаил Илларионович взял себе в помощники своих милых полковников: Павла Андреевича Резвого, Паисия Сергеевича Кайсарова и мужа недавно вышедшей замуж дочери Кати князя Николая Дмитриевича

ча Кудашева. Они все служили у Кутузова в Петербургском ополчении.

Горчаков откомандировал в распоряжение главнокомандующего двух фельдъегерей.

Михаил Илларионович прежде всего отправил новгородскому, тверскому и смоленскому губернаторам предписание заготовить с 11 августа на станциях по сорок пять лошадей для него и свиты.

Затем занялся самым важным вопросом — резервами для армии.

Горчаков прислал сведения. Выяснилось, что само военное министерство не располагает проверенными и точными данными.

Генерал Милорадович формировал у Калуги из рекрутов последнего набора Особый корпус. Предполагалось, что это составит пятьдесят пять батальонов пехоты, двадцать шесть эскадронов кавалерии и четырнадцать артиллерийских рот. Князь Лобанов-Ростовский вел к Туле две дивизии, созданные на Украине. Ростопчин хвалился Московским ополчением.

Все это пышно именовалось «второй стеной» и должно было дать от ста до ста двадцати тысяч человек.

— Если бы хоть сто тысяч, тогда нам никакой антихрист не страшен! — сказал Резвой.

— Все это лишь на бумаге, — покривился Кутузов.

— И потом все это — рекруты, от матушки-сохи, не обученные, не привычные ни к ружью, ни к сабле, — заметил Кайсаров.

— А также слабо вооруженные, — прибавил Кудашев.

— Одним словом, пишите к Алексею Ивановичу, чтобы немедленно прислал еще трех фельдъегерей. Пошлем предписание Милорадовичу — пусть докладывает мне обо всем в Смоленск, а Ростопчин — чтоб усилил Милорадовича Московским ополчением, — приказал Кутузов.

Целый день пролетел в распоряжениях и сборах к отъезду в армию.

В воскресенье 11 августа, с самого раннего утра, у дома Кутузова стал собираться народ. Сюда, на Воскресенскую набережную, со всего города шли чиновники, купцы, ремесленники, крестьяне, мужчины и женщины. В толпе сновали любопытные, всезнающие мальчишки.

Весь Петербург прослышал о том, что сегодня отбывает на войну избранник народа, князь Михайло Илларионович Кутузов, кому вверено главное руководство всеми армия-

ми. Петербург шел провожать маститого полководца, которого он знал и любил.

На набережной уже дожидались, звеня бубенцами, десять лучших ямских троек для Кутузова, его свиты, канцелярии, фельдъегерей, кухни и прислуги. К дому то и дело подъезжали коляски и дрожки — родственники и друзья съезжались провожать Михаила Илларионовича.

Толпа на набережной все густела. Народ стоял уже от дома Кутузова до Летнего сада. Полицейский офицер с несколькими нижними чинами безуспешно пытался устроить порядок.

В доме у Кутузовых в эту ночь почти не спали. Далеко за полночь в кабинете Михаила Илларионовича полковники по его указаниям еще писали разные бумаги и рассылали во все концы России фельдъегерей. Потом, утомившись, прилегли тут же в кабинете по-походному — кто на диване, кто в креслах — отдохнуть до зари.

А утром в доме проснулись чем свет.

Раньше всех встала Екатерина Ильинишна — собирать мужа в путь-дорогу. Вчера целый день на кухне пекли и жарили. Нужно посмотреть, как все уложено, не забыли ли чего. Сколько раз за тридцать четыре года совместной жизни с Михаилом Илларионовичем приходилось ей заниматься этим малоприятным делом — провожать мужа на войну!

Екатерине Ильинишне помогала дочь Катя, которая впервые провожала в такую невеселую дорогу вместе с папенькой и своего молодого мужа.

По дому бегала, стуча каблучками, проворная Марина и топал уже одетый во все солдатское медлительный Ничипор.

Михаилу Илларионовичу сегодня тоже было не до сна. Он встал вскоре после жены.

Умылся, оделся и все или смотрел на карту, что-то прикидывая карандашиком, или ходил из угла в угол в тяжелом раздумье. Михаил Илларионович был скрытен. Он не любил никому говорить до поры до времени о своих замыслах, расчетах и планах. Только отдавал короткие приказания невыспавшимся полковникам.

Потом Ничипор усадил барина бриться. А после бритья обе Катеньки — жена и дочь — позвали всех в столовую завтракать. Еда не шла на ум, но пришлось сесть за стол.

В доме стоял дым коромыслом. В каждой комнате толпились люди — родственники и друзья провожали Михаила Илларионовича.

И вот раздался первый удар колокола: звонили к обедне.

Пора вставать из-за стола. Надо еще отслужить молебен в Казанском соборе и — в путь: дело не ждет, враг уже стучится в смоленские ворота.

Еще раз последние сборы, последняя проверка.

— Бумаги, карты, деньги взяли? — спросил Кутузов у озабоченных полковников.

— Взяли, Михаил Илларионович.

— Ну, тогда по русскому обычаю присядем-ка на дорожку!

Уезжающие, домашние и гости сели где попало. Ничипор сел на скамейку, которую всегда возил с собой для Михаила Илларионовича.

На минуту все в кабинете затихло. Только слышалось, как тихонько плакала, сморкаясь в платочек, бедная Катенька, впервые расстававшаяся с мужем.

Екатерина Ильинишна держалась молодцом.

— Ну, с богом! — поднялся Кутузов.

Все засуетились, затараторили, зашумели. Ничипор и лакеи понесли укладывать на тройки последнюю поклажу.

Толпа на набережной загудела, заволновалась:

— Уже! Идет!

Все взоры устремились на парадную дверь дома.

И вот из нее на крыльцо вышел в скромном мундирном сюртуке без погон, в белой бескозырке с красным околышем князь Михаил Илларионович Кутузов.

Все мужчины, стоявшие на набережной, обнажили головы перед прославленным, убеленным сединами русским полководцем.

Первая коляска, в которую сели Михаил Илларионович с женой и дочь Катя с мужем, полковником князем Кудашевым, медленно тронулась с места. За ней постепенно двинулись остальные.

Ехать приходилось только шагом: так было много народу на Дворцовой набережной.

Люди жались к самой коляске, старались подойти к ней поближе, чтобы увидеть знаменитого полководца, пожелать ему счастливой дороги, успеха в неравной борьбе с врагом. Мужчины махали шляпами, шапками, картузами, женщины — платочками и шарфами. В коляску совали и бросали букеты цветов, кричали:

— Спаси нас, Михайло Ларивонович!

— Счастливый путь!

- Храни тебя господи!
- Гони проклятых немцев из штаба!
- Батюшка, побей супостата!
- Ты одна наша надежда!
- Не допусти гибели России!
- Оборони нас!

Михаил Илларионович в ответ только махал бескозыркой — слов не было...

Царь еще два дня назад поторопился уехать в Швецию. Царь не хотел провожать Кутузова.

Кутузова провожал народ.

Глава четвертая

«ПРИЕХАЛ КУТУЗОВ БИТЬ ФРАНЦУЗОВ!»

I

Шумные многолюдные проводы взволновали Михаила Илларионовича. Его глубоко тронуло это искреннее выражение любви и доверия к нему народа.

Погруженный в свои мысли Кутузов сидел в коляске. Петербург давно остался позади. Вместе с Михаилом Илларионовичем ехал Павел Андреевич Резвой. Павел Андреевич, старый, всегдашний спутник Кутузова, хорошо изучивший его, умел, когда надо, посидеть молча, не докучал Михаилу Илларионовичу ненужными вопросами и разговорами.

А у Михаила Илларионовича не выходили из головы петербургские проводы...

Александр предостерегающе сказал Барклаю: «Помните — у меня одна армия!» Глупец! Он думает, что в ней все. А народ?

Александр, чужой России человек, не понимает, не хочет принимать в расчет самую главную силу, самое большое богатство — народ.

Армия отступала в глубь страны, отбиваясь от превосходящего врага, а народ боролся с ним по-своему: уходил в леса и болота, на каждом шагу подстерегая непрошенных гостей с топорами, вилами, косами. Об этом рассказывали курьеры, приезжавшие в Петербург из-под Полоцка, из корпуса Витгенштейна. Как ни тяжела была

крестьянская, подневольная жизнь, но иноземное рабство, которое нес Наполеон, было хуже.

На защиту Родины поднимался весь народ.

И это стоило принять в расчет.

Думал Кутузов и о самой армии. Его беспокоили людские резервы и продовольствие.

Многие магазины с зерном, мукой, крупой, фуражом достались врагу или сожжены самими русскими. Провиантские чиновники радовались отступлению: можно свалить все на французов и показать уничтоженными тысячи пудов продовольствия там, где в действительности стояли одни пустые амбары с мышиными объедками, а де-нежки положить себе в карман.

Надо прекратить это безобразие, надо прибрать всех этих провиантских жуликов к рукам. И позаботиться о провианте для дальнейшего — без хлеба воевать нельзя. Кутузов никогда не забывал мудрого Румянцева, который говорил: «Войну надо начинать с брюха!»

Вспомнилось, как на Дунае Михаил Илларионович организовал снабжение Молдавской армии.

Кутузов думал, а версты незаметно уходили одна за другой. Вот уже и первая станция — Ижоры. У станционного дома было похоже на конскую ярмарку: табунилось сорок пять лошадей, приготовленных для Кутузова. Возле крыльца стояла, видимо только что подкатившая, курьерская тройка, которую со всех сторон облепил народ.

— Курьер из армии. Какие-то новости он везет? — нарушил молчание Резвой.

— Ничего хорошего. Видишь, все хмурые, — ответил Кутузов.

На лицах мужиков и баб, окружавших поручика-курьера, была написана растерянность и тревога. Толпа даже как-то не очень оживилась, увидев подъезжавший длинный кутузовский поезд.

— Я выходить не буду. Пусть поскорее перепрягут лошадей. И пусть курьер даст сюда пакет, — сказал Михаил Илларионович, когда подъехали к станции.

Кайсаров и Кудашев, сидевшие во второй коляске, уже бежали к курьеру сказать, что князь Кутузов имеет право читать донесения командующих государю.

Пока полковники объяснялись с курьером, Михаил Илларионович прислушивался к разговору в толпе:

— На самый спасов день вошли!

— Там и река и стены, и не могли отстоять!
— Долго ли проклятуший немец будет отступать?
Сомнений не оставалось: Смоленск взят!

Кайсаров уже нес Кутузову пакет. Поручик-курьер шел за ним с раскрытой курьерской сумкой.

Михаил Илларионович вскрыл пакет, прочел донесение и помрачнел.

— Смоленск взят,— глухо сказал он.— Смоленск — это ключ к Москве. Дело стало еще сложнее!.. Запечатая, голубчик! И скорее в путь! — приказал он Кайсарову, возвращая ему нерадостный пакет.

— Ну-ка, братец, поди расскажи, как отдали Смоленск,— обратился он к поручику-курьеру, который почтительно стоял поодаль.

— Два дня дрались, ваша светлость,— воскресенье и понедельник. В воскресенье Смоленск защищали двадцать седьмая пехотная дивизия Неверовского и седьмой корпус Раевского, а в понедельник их сменили шестой корпус Дохтурова и третья пехотная дивизия Коновницына.

— Смоленск не укрепили, не подновляли старые валы?

— Никак нет.

— Армия отступила на какую дорогу?

— На Московскую, ваша светлость.

— Так, так,— машинально говорил Кутузов, доставая из трубки карту, а сам думал: «Зря поехал к Смоленску. Надо бы прямо на Москву!»

Он держал карту у самых глаз.

«Всего сто семьдесят верст от Москвы!»

Поручик-курьер стоял навтыжку, ожидая еще каких-нибудь вопросов. А ящики тем временем торопливо запрягали тройку.

— Стой, куда ты пятишься, Барклай треклятый!— со злостью кричал на пристяжную ящик. После того как Барклай отступил от Смоленска, его имя стало ненавистно всем.

Через несколько минут поезд Кутузова тронулся дальше.

II

Уже пятый день ехал к армии Кутузов. Он дорожил каждым часом и торопился, как мог, тем более что погода благоприятствовала: стояли ясные осенние дни.

Екатерина Ильинишна заботливо снарядила мужа и зятя в дорогу — приказала повару нажарить и напечь столько всякой вкусной снеди, что с этими припасами можно было отправляться не к Смоленску, а хоть в Севастополь. Поэтому завтраки и ужины отнимали немного времени, на обед Михаил Илларионович отпускал не более часа (повар ехал впереди и приготавливал заранее), а на ночлег останавливались через день.

Больше всех задерживали курьеры из армии и те, которых Кутузов рассылал в разные стороны сам. Он продолжал вести деятельную переписку со всеми командующими и Ростопчиным.

Офицеры, приезжавшие из армии, рассказывали подробности героических боев русских войск на подступах к Смоленску и при защите самого города.

Михаил Илларионович узнал о том, как у Красного генерал Неверовский с 27-й пехотной дивизией самоотверженно задерживал два французских корпуса. Это было тем более поразительно, что из шести полков его дивизии четыре состояли из необстрелянных рекрутов с молодыми, семнадцатилетними офицерами. Французы через своих польских улан предлагали русским сдаться, но солдаты Неверовского возмущенно отругивались и кричали: «Умрем, а не сдадимся!»

Не менее мужественно дрались русские полки Раевского, Дохтурова, Коновницына и Неверовского у стен Смоленска — этого «дорогого ожерелья России», как Смоленск назывался исстари.

Михаил Илларионович восхищался героическими солдатами и офицерами.

На каждой станции к кутузовскому поезду стекались толпы народа, а в Торжке его не встречал никто: еще не взошло солнце и Торжок спал.

Перепуганный зритель побежал собирать лошадей — он не ждал, что светлейший приедет в такую рань. Жена станционного смотрителя загремела в сенях самоваром, в доме забежали, засуетились.

Кутузов не пошел в горницу — там духота и мухи! — а стал умываться на воздухе. Потом сел на скамейку у дома, ел яблоки и диктовал Кайсарову письма.

Он отправил их с нарочным Барклаю. Михаил Илларионович извещал, что следует на Стариц-Зубцов, и просил слать к нему курьеров с донесениями по этой дороге.

Позавтракав, Кутузов тотчас же отправился дальше.

На следующую станцию, Новотроицкую, приехали в полдень. Здесь Михаила Илларионовича ждала непредвиденная встреча.

В Новотроицкой у него не было никаких дел — ни курьеров, ни отсылки срочных бумаг. Кутузов остался сидеть в коляске, ожидая, когда перепрягут лошадей, а его молодежь вылезла размять ноги.

Михаил Илларионович снял бескозырку, подставив осеннему нежаркому солнышку седую голову, смотрел вдаль и думал: «Какая тишина! Какая благодать!»

— Папенька, здесь Леонтий Леонтьевич Беннигсен, — сказал подошедший к нему Кудашев.

«Леонтий Леонтьевич!» — усмехнулся Кутузов. — И с какой стати окрестили этого ганноверца, лютеранина православным именем, ежели по-настоящему он никакой не «Леонтий», а Левин-Август-Теофил? Хорош Леонтий — по-русски говорить не умеет!»

Беннигсен ехал в Петербург. Его происки против Барклая как будто увенчались успехом, но не в пользу его самого, и Беннигсен решил удалиться из армии. В Новотроицкую он приехал вчера вечером, хорошо выспался и только к полудню взялся за утренний кофе.

Хотя Беннигсену было очень неприятно, но волею-неволей пришлось выйти из дома и приветствовать Кутузова, которого он любил так же, как и Барклая.

Высокий и сухощавый, с хищным, словно у коршуна, носом, он важно стоял у старой, вытертой в бесконечных походах коляски Михаила Илларионовича. Своим холодным, надменным видом Беннигсен старался показать, что назначение Кутузова главнокомандующим несколько его не волнует, что он — выше всего. Недаром Беннигсена называли — «ледяная глыба».

— Его величество велели вам, господин барон, сослужить при мне. Прошу не задерживаться, мы сейчас едем, — сказал Беннигсену Кутузов.

Беннигсен чуть поклонился и пошел к дому, негнущийся и деревянный.

Не успели проехать и трех верст от Новотроицкой, как им повстречался еще один любимчик императора Александра: любимчику стало неудобно в армии.

В простой телеге, запряженной парой неказистых лошадей, сидел на мешке с сеном небритый, взъерошенный генерал Фуль. Увидев Кутузова, Фуль с презрением отвернулся.

— Разлетается воронье! — сказал Резвому Михаил Илларионович.

Чем ближе подъезжали к столбовой Смоленской дороге, тем все чаще встречались бежавшие от войны жители Смоленска и смоленских сел и поместий, занятых неприятелем. Они ехали и шли на восток с женами и детьми, везли кое-какой скарб, вели домашний скот. Они, как цыгане, располагались со своими повозками и телегами у самой дороги. Увидев где-нибудь на живые или на лугу у речонки такой табор, Кутузов иногда останавливался на несколько минут, чтобы распросить смолян обо всем. Потрясенные свалившейся на них бедой, разорением, пожарами, измученные тревожными последними днями, они с ужасом и возмущением рассказывали о грабежах и насилиях армии Наполеона.

— Недаром баре держат французов-камердинеров: француз тебя быстро разденет и разует! — не без иронии заметил один смоленский ремесленник.

Кутузов видел слезы обездоленных, потерявших кров и имущество людей, и ему хотелось поскорее быть в армии, чтобы противостоять врагу.

И Михаил Илларионович торопил ямщика:

— Гони, братец!

III

Вдруг в одну ночь резко изменилась погода, откуда-то нахлынули хмурые, серые тучи. Они тянулись по небу без конца и края. Пошел дождь. Не буйный, полетному озорной и шумный, а тихий, монотонный, въедливый. В мелкой сетке дождя все предстало в ином виде: посерели деревни, грустью повеяло от сжатых полей, неуютным и черным казался лес. И сразу стали ощутимы все изъяны ухабистой проселочной дороги. Пришлось поднять в коляске верх и натянуть на колени кожаный, потрескавшийся и порывшийся от старости жесткий фартук.

Это сразу обкорнало, сузило обзор. Сидя в открытой коляске, Михаил Илларионович мог видеть далеко вперед и смотреть по сторонам. А теперь впереди все заслонили спины ямщика и Ничипора, словно они только сейчас сели на козлы, а сбоку оказалось для обозрения весьма небольшое пространство.

Оставалось смотреть, как по морщинистому фартуку катятся дождевые струйки.

Езда потеряла последнюю прелесть.

К тому же стало быстро темнеть, фонарей у коляски не было, и все чувствительнее отдавались толчки разбитой колеи.

В чернильной темноте осеннего вечера под проливным дождем приехали в Зубцов.

Пришлось заночевать, хотя армия была уже так близко — возле Гжатска, у Царева-Займища, где Барклай собирался дать решительное сражение Наполеону.

Кутузов со свитой остался в станционном доме, а Беннигсена повезли в дом какого-то купца.

Михаил Илларионович при свечах тотчас же продиктовал Кайсарову письмо к Барклаю о том, что из-за дождя он не сможет приехать в Царево-Займище к завтрашнему полудню. Курьер немедленно повез это письмо по назначению.

Михаил Илларионович ходил по комнате и все поглядывал то в одно, то в другое окно, не стихает ли дождь.

Дождь продолжал шуметь по-прежнему.

— Как думаешь, надолго ли зарядил дождик? — спросил светлейший у станционного смотрителя, принесшего самовар.

— Да ведь вчера, ваше сиятельство, успевье день был. Дело к осени. Старики так бают: ежели к полуночи не перестанет, то будет идти до полудня.

Сели ужинать.

Светлейший приказал, чтобы лошади были готовы для отъезда в любую минуту.

Легли спать. Молодые полковники, утомленные дорогой, быстро уснули. За ними скоро захрапел и Павел Андреевич. Один Кутузов не мог уснуть, хотя и намазался сегодня — старые рессоры плохо уберегали от рытвин.

Михаил Илларионович лежал и думал об армии, о том, как мало осталось Наполеону до Москвы. Думал о дочерях, Аннушке и Параше. Аннушка живет у Тарусы, между Калугой и Серпуховом. Не похоже на то, чтобы Наполеон добрался туда, но все-таки Таруса может оказаться в непосредственной близости к фронту. Надо осторожно предупредить об этом Аннушку — пусть заблаговременно уезжает с детьми на восток.

Еще больше беспокойства доставляла ему старшая дочь, Прасковья, бывшая замужем за Толстым. У Параше восемь детей, и живут они в Москве. Неужели не догадается уехать в свое рязанское имение?

Этот «сумасшедший Федька» Ростопчин только зря обнадеживает народ, пишет всякую ерунду в своих ернических афишках...

Проснулся Михаил Илларионович среди ночи. И первым делом прислушался, шелестит ли за окном дождь?

Как будто не слышать.

Он надел туфли и подошел к окну. Было еще темно. Михаил Илларионович открыл окно. Пахнуло сыростью.

По небу с прежней торопливостью, словно опаздывая куда-то, мчались тучи. Но уже не сплошной, непроницаемой стеной, как с вечера, а разорванными клочьями. Иногда среди них проглядывали светлые кусочки.

Дождь перестал. Только с крыши звучно падали на стол, стоявший под окном, дождевые капли.

Можно бы ехать, но еще все-таки темно. Придется обождать.

Михаил Илларионович снова лег в постель. Он долго ворочался с боку на бок.

Вот стали перекликаться петухи, и им охотно подтянул станционный. Потом робко начало светлеть за окном. Понемногу совершенно отчетливо вырисовался на столе самовар, и сквозь стекла окна обозначились кусты сирени, росшие у самого дома.

Пора в путь.

Через минуту весь станционный домик проснулся. Молодые полковники вскочили бодро, но, конечно, им бы еще спать и спать...

Невыспавшийся Ничипор говорил, зевая:

— Що за сон, як у головах шапка!

Ямщики быстро запрягли лошадей, и длинный кутузовский поезд снова тронулся в путь. Только одна коляска осталась на месте: генерал Беннигсен не изволил проснуться и сказал, что нагонит Кутузова в дороге. Михаил Илларионович не очень опечалился:

— Баба с возу...

Кутузов велел откинуть надоевший кожаный верх коляски.

Дорога была тяжела — грязная, разбитая. Ехать приходилось шагом.

С каждой верстой становилось светлее.

Когда подъезжали к Песочне, не только не было дождя, но даже показалось солнышко.

— В осінній час сім погод у нас: сие, вие, тумание, шумить, гуде, тай зверху йде! — смеялся Ничипор, слезая с козел.

В Песочне Кутузов завтракал. Здесь уже все с тревогой поглядывали на запад и подозрительно прислушивались ко всякому шуму. Жена станционного смотрителя божилась, что, выгоняя корову в поле, слышала, как грохочут пушки. Беспокойство усугубляли бежавшие из-под Вязьмы крестьяне, они целым табором расположились у самой станции. Горели костры. Пригорюнившиеся, измученные бабы варили еду, возились с грудными младенцами, пасли скот, который вели за собой. Мужики угрюмо ладили телеги и сбрую, поили коней. Старики рассказывали жителям Песочни о своей беде, о грабежах и насилиях «франца». Босоногие ребятишки носились по лужам, глазели на кутузовский поезд — до них горе еще не докатилось.

Позавтракав, Кутузов двинулся дальше. Еще до полудня подъехал к Гжатску.

У опушки леса и на дороге Кутузова ждала толпа народа. Увидев коляску главнокомандующего, толпа кинулась к ней, облепила со всех сторон:

— Батюшка, родимый, спаси!

— Оборони нас, Михайло Ларивонович!

— Вызволи из беды! — кричали мужики и бабы, протягивая к Кутузову руки.

Михаил Илларионович заморгал — встреча растрогала его. Но что можно было сказать гжатцам, чем утешить, ободрить их, если французы уже стоят под Царевым-Займищем?

Гжатские купчики и их молодцы-приказчики бросились к тройке и стали выпрягать из коляски лошадей.

— Что вы, ополоумели? Не замай, не трожь! — яростно замахнулся на них кнутом ничего не понимавший ямщик.

— Ты плохо вез! Слезай! Мы повезем! — втолковывали ему гжатцы.

Резвой соскочил с коляски и пересел к Кудашеву и Кайсарову. Ничипор тоже хотел последовать примеру Павла Андреевича, но его задержали гжатцы:

— Сиди, сиди!

— В тебе весу-то не больше, чем в мешке овса!

— Будь за кучера!

Ничипор, ухмыляясь, остался сидеть на козлах.

Молодежь мигом распрягла тройку, ухватилась за оглобли, за коляску.

«Не развалилась бы она от их усердия, ишь как уперся в крыло!» — думал Михаил Илларионович, глядя, с каким рвением народ потащил коляску в город.

Кутузов с триумфом въехал в Гжатск. К коляске отовсюду бежал народ. Главнокомандующего подвезли к двухэтажному дому купца Церевитинова. Церевитинов, седой, кражистый старик, встретил Кутузова у крыльца с поклоном, с хлебом-солью:

— Добро пожаловать, ваше сиятельство!

Михаила Илларионовича, словно архиерея, подхватили под руки и повели по устланной коврами лестнице наверх. Хотели сейчас же усадить за стол — откусать, но главнокомандующий отказался: дело прежде всего!

У дома его ждала толпа курьеров, прискакавших к нему с разных концов России, а в двадцати верстах от Гжатска — вся русская армия.

Кутузов слушал, как Кудашев и Кайсаров читали ему донесения, и тут же диктовал ответы.

По высокой лестнице, звеня шпорами, бегали ординарцы, курьеры, вестовые.

Главнокомандующий два часа занимался письмами, потом поехал в Царево-Займище.

Народ не расходился, стоял у дома, запрудив улицу. Сколько надежды светилось в глазах этих людей, которые встречали Кутузова!

«Ведь через день-другой им придется бросать все нажитое — дома, имущество», — с болью думал Михаил Илларионович, приветливо махая гжатцам из коляски своей бескозыркой.

IV

Приезд Кутузова вызвал в армии всеобщее ликование. Какой-то остряк удачно обмолвился:

Барклай де Толли
Не иужей боле —
Приехал Кутузов
Бить французов!

Эта фраза вмиг пронеслась по всему лагерю и стала повторяться на каждом шагу.

— Теперь держись, франц-Полиён!

— Михайло Ларивонич не будет с вами прохладать-ся, а раз-два — и пожалуйста бриться!

— Да, да, милости просим, дорогие гости, на честный пир!

— Он заставил турок на Дунае конину жрать!

— Он по-суворовски: канители тянуть не любит!

Во многих полках солдаты и офицеры знали Кутузова по старой совместной службе, по прежним походам и победам. Старослуживые рассказывали молодым, как турецкая пуля пролетела через оба виска насквозь и один глаз у Михайлы Ларивоновича чуть усадил на месте, а второй вылетел, как воробей из гнезда.

— А как же, дяденька, он теперь одним-то глазом видит?

— Видит лучше, чем ты двумя. Он все, брат, видит! Что у тебя подвертки сносивши и что хлебушка ешь не досыта, все!

Тысячеустая молва подхватила и разнесла по лагерю первые слова, сказанные Кутузовым в Цареве-Займище. Светлейший проходил с Барклаем по фронту выстроенного для встречи главнокомандующего почетного караула 1-й роты лейб-гвардии Преображенского полка. Глядя на рослых, ражих преображенцев, Кутузов как бы про себя сказал:

— С такими молодцами — и отступать!

В этой фразе могло быть все: и укор, и сожаление, и удивление.

Армия, два месяца отступавшая перед врагом, уже сама начала сомневаться в своих силах и возможностях. И одна эта фраза победоносного полководца, своего, родного, русского человека, вернула армии веру в себя:

— Право слово, что мы — не русские? Что мы — трусы?

— Что уж, так-таки мы ничегошеньки не стоим?

Затем вся армия говорила об орле, который парил над Кутузовым, когда он объезжал полки.

Оказалось, что орла видело больше народа, чем можно было предполагать. Спорили лишь о том, где это произошло: одни говорили, что когда главнокомандующий подъехал к 6-му пехотному корпусу генерала Дохтурова, а другие божились, что у 2-го пехотного корпуса толстя-

ка генерала Багговута. Солдаты подмечали все, по-своему расценивали каждый шаг Михаила Илларионовича.

Все генералы — Барклай, Багратион, Беннигсен, Ермолов, вся свита были в парадной форме, при орденах, а на Михайле Ларивоновиче сюртук без эполет, да еще нагайка через плечо, как у казака. У всех у них были форсистые черные шляпы с петушиными — то черными, то белыми хвостами, а на голове у Кутузова — какая-то простецкая бескозырка с красным околышем. И ехал он не на каком-нибудь кровном жеребце, а на гнедой, невзрачной, спокойной кобыленке, не как новый главнокомандующий, «новая метла», а как свой, давнишний родной человек. Будто он всегда был со всеми ими от самой границы, будто шагал он в зной и непогоду по белорусским пескам, с болью в сердце отдавал врагу свою землю и вместе со всеми клял этих сановных немцев-изменников, что наплодил в армии белобрысый царь.

Услыхав где-то в соседнем корпусе громкое, задорное «ура», солдаты без команды схватывались — чистились, осматривали обмундирование и амуницию, хотели предстать перед Михаилом Илларионовичем в лучшем виде.

— Дай-ка, братец, иголки с ниточкой.

— Зачем?

— В мундире фалада по шву расползлась, подлая.

— А у меня в тесачном ремне пряжка расхлябавши. Хорошо еще — увидел.

— Ах ты, подлая, не лезет! — сокрушался старик, вдевая нитку в иглу.

— Ты бы, дяденька, табачку понюхал: говорят, хорошо глаза прочищают!

— Ладно, молод еще учить. «Глаза прочищают!» Тебе бы вот спину шпигрутенем прочистить. Узнал бы!

Но солдаты так и не успевали навести в своем хозяйстве порядок: главнокомандующий уже въезжал в расположение их полка. И ничто не ускользало от его заботливого взгляда.

— Не тянитесь, ребяташки, не надо! Я приехал только посмотреть, здоровы ли дети мои. В походе солдату не о щегольстве думать. Отдыхайте, пока отдыхается! — по-отечески говорил Кутузов.

Солдаты были в восторге от нового главнокомандующего:

— Вот приехал наш батюшка. Он все солдатские нужды знает!

— Это не Барклаев. Тот ни словечка тебе не скажет, смотрит, как протопоп!

— А потому, что и говорить по-русски Барклаев не горазд.

— Верно. И энтот жилистый, деревянный Бениксон — не может. Я слышал в осьмом годе в Пруссии, как он командовал: «Полк впруд!»

— А это что ж значит такое — «впруд»?

— Вперед. Он вместо «вперед» говорит — «впруд». Немец ведь!

— Охо-хо! — хохотали солдаты.

Кутузов проехал по лагерю, осмотрел и одобрил позицию, выбранную для генерального сражения, принял рапорты начальников отдельных частей.

Ему показали карманный разговорник, который нашли у пленного французского офицера. Разговорник был четырехязычный — на французском, немецком, польском и русском языках. В нем на первой странице стояли такие фразы:

*Господин мужик дай меня кушат
Я лублу курица
масло,
яйко
вещина
Мужик я алкаю
я жажду
Стели меня постел*

Михаил Илларионович с возмущением качал головой:

— Навязались гости на нашу шею!

После осмотра позиции Барклай пригласил Кутузова к обеду. У Михаила Богдановича собрался весь цвет русской армии.

Садясь за скромно сервированный стол в доме, где поместился Барклай, Михаил Илларионович невольно вспомнил Павла Васильевича Чичагова.

Адмирал привез на турецкий фронт в Яссы пять подвод с дорогими сервизами и столовым прибором. Павел Васильевич, конечно, удивил бы гостей не только посудой, но и разнообразием и обилием блюд. А у скромного Михаила Богдановича ждать разносолов и роскоши не приходилось. Он зачастую обедал по-суворовски, из солдатского котла.

Барклай де Толли держался с большой выдержкой и достоинством. Он не показывал своей горькой обиды,

что вынужден уступить командование Кутузову. Продолговатое лицо Барклая было так же бледно, как всегда, только на высоком лбу, переходившем в лысину, выступал пот, да от волнения едва заметно дрожала раненая правая рука, которой Барклай владел не совсем свободно.

В роли гостеприимного хозяина он был не по-русски чопорен, немногословен и сух. Угощать и развлекать беседой Барклай не умел.

Зато был оживлен и превосходно чувствовал себя князь Багратион. Горячий, но отходчивый, он уже без неприязни смотрел на Барклая, который так возмущал его своим отступлением. Растягивая гласные («Па-анимаете, друг мой А-алексей Петрович!»), Багратион говорил с сидевшим рядом с ним, Ермоловым: они дружили.

Суровый красавец Ермолов слушал Багратиона со своей всегдашней неестественной улыбкой. Из-под густых кустистых бровей, которые были бы под стать какому-нибудь семидесятилетнему старику, а не тридцатипятилетнему молодому человеку, глядели пронизательные серые глаза. У этого могучего великана был звучный, настоящий командирский, но вместе с тем чрезвычайно приятный голос. Высокий, статный, Ермолов производил впечатление богатыря; солдаты так и звали его: Ермолай-богатырь. Они говорили: «Надень наш Алеша мужичий тулуп и замешайся в толпе на базаре, и то у тебя шапка запросится с головы, когда увидишь его!» Так величествен был Ермолов с мощной фигурой и львиной головой.

Рядом с ним сидел маленький, нездорово тучный Дмитрий Сергеевич Дохтуров.

В этом небольшом и слабом теле жила не доступная слабостям большая душа. Когда русская армия подходила к Смоленску, Дохтуров только что выздоровел после горячки. Барклай послал спросить у него, может ли Дохтуров принять на себя оборону Смоленска. «Лучше умереть на поле боя, чем на постели», — ответил Дохтуров и мужественно принял на себя это трудное, ответственное поручение.

Михаил Илларионович спросил у Дмитрия Сергеевича, как он теперь чувствует себя.

— Спасибо, Михаил Илларионович, окреп после смоленской баталии, — ответил, улыбаясь, Дохтуров.

Солдаты любили его за доброту, веселость и бесстрашие.

«Коли наш Дохтур где станет, туда надобно посылать команду с рычагами — иначе его не сдвинешь с места», — смеялись его солдаты.

За Дохтуровым шли такие же герои: бестрепетный (как называл его мало о ком отзывавшийся хорошо язвительный Ермолов) Николай Николаевич Раевский и два генерала-суворовца: скромный и тихий Неверовский, доставивший столько хлопот французам у Красного, и быстрый, распорядительный Коновницын. Всегдашнее спокойствие Коновницына вошло у солдат в поговорку.

«Наш генерал — что на смотру, что на полковом празднике, что в бою — всегда одинаков», — говорили они.

Рядом со спокойным Коновницыным сидел вспыльчивый, горячий Толь.

Ширококоптый, он казался квадратным. Толь беседовал со своим сослуживцем, генерал-квартирмейстером, худощавым, ничем не замечательным стариком Вистицким, походившим на Дон-Кихота, и красавцем французом, начальником штаба армии Багратиона, генералом Сен-При.

За Сен-При сидели два черных и курчавых кавалериста — крючконосый Орлов-Денисов и неумный Уваров, которого звали за глаза «жё, сир». Когда в Тильзите Наполеон спросил у Уварова, кто командовал русской кавалерией, то Уваров, плохо говоривший по-французски, ответил «жё, сир» вместо правильного «муа, сир». За Уваровым восседал важный, напыщенный Беннигсен, с провалившимся, как у старой бабы, узким ртом и птичьим, хищным носом. Беннигсен плохо понимал русский язык, и, когда за столом смеялись, он подозрительно косился — уж не над ним ли?

Возле насупленного худощавого Беннигсена поместился добродушный плотный Багговут.

За обедом говорили о разном.

Багратион потешался над тем, как Ростопчин написал ему, что «женщины, купцы и ученая тварь едут из Москвы, и в ней становится просторнее».

Ермолов рассказал о своем разговоре с пленным французским офицером, которого захватили накануне.

— Наполеон, узнав о вашем назначении, вспомнил о вас, ваше сиятельство, — сказал Кутузову не то с почтением, не то с иронической улыбкой Ермолов.

— Как же Наполеону не признать меня — чай, я старше его по службе! — отшутился Михаил Илларионович.

— И до чего нахальны французы, — продолжал Ермолов. — Я спрашиваю у офицера: «Вы давно из Франции?» — «Всего три дня». — «Как три дня?» — «А так, — отвечает, — три дня назад я был в Смоленске, а разве Смоленск не французский?»

— Ну и нахальство! — возмутились все, даже слегка покрасневший француз Сен-При.

— У турок тоже спеси было сначала хоть отбавляй, а потом запели лазаря, — заметил Кутузов.

— И армия так думает, ваше высокопревосходительство, — вставил Багговут. — Вот я вчера слышал в Минском полку какие вирши:

Летит гусь
На святую Русь.
Русь, не трусь —
Это не гусь,
А вор-воробей.
Русь, не робей,
Бей, колоти
Один по десяти!

V

После обеда Михаил Илларионович поехал в отведенный ему пустой дом. Все жители Царева-Займища еще позавчера выехали из деревни, которая стояла на той самой позиции, где предполагалось дать генеральное сражение. В доме остался один кот — он не видел опасности и не захотел покинуть насиженного угла.

Михаил Илларионович устал за этот бесконечный, полный самых разнообразных впечатлений, долгий день. Он отложил до завтра организацию своего штаба.

На людях Михаил Илларионович был весел и разговорчив, а тут помрачнел и замолчал. Сидел у стола при свечах перед разложенной картой, не спеша пил чай с вишневым вареньем Катеньки и думал.

Положение оказалось тяжелее, чем он предполагал. Ни царь, считавший себя великим полководцем, ни военное министерство не подготовились к войне. Занимались только ненужной муштрой. Военный министр Аракчеев помнил лишь один завет: «Двух забей, третьего выучи!»

А чему выучить? Тянуть на парадах носок...

Война стояла у порога, Наполеон усиленно, тщательно готовился к ней, об этом знали и император Александр и Аракчеев, а о резервах не подумал никто из них.

Трудолюбивый, заботливый Барклай только два последних года был военным министром. Он успел сделать очень немного.

И теперь оказалось вот что.

Обещанная фантазером, краснобаем и вруном Ростопчиным «вторая стена» была просто мифом. Позади Гжатска никакой «стены» не стояло. Ростопчин хвастался, что «московская военная сила» составляет семьдесят пять тысяч человек, по спискам же значилось лишь двадцать пять, а в наличии, готовых к отправке в армию, всего семь тысяч! И эти семь тысяч были без ружей и в лаптях.

Гора родила мышь.

Кутузов знал «сумасшедшего Федьку». Знал, что Ростопчин такой человек, о котором народ метко говорит: «У него на вербе груши растут!»

Михаил Илларионович сразу же не поверил в широковещательные ростопчинские обещания и потому еще в пути из Петербурга старался сам выяснить истинное положение вещей. И только здесь, в Царева-Займище, все окончательно прояснилось.

Единственным настоящим резервом были пятнадцать тысяч рекрутов Милорадовича, наспех собранных и наспех обученных. А в действующей армии оказалось налицо меньше: по спискам числилось в 1-й и 2-й армиях около ста тринадцати тысяч человек, а на самом деле было лишь девяносто шесть. Чуть ли не вдвое меньше, чем у Наполеона. Кроме того, приходилось считаться с тем, что армия, отступая, прошла без отдыха более восьмисот верст.

Уезжая из Петербурга, Кутузов полагал, что с потерей Москвы будет потеряна Россия. Поэтому о дальнейшем отступлении он не хотел и думать. Встретив в Гжатске офицеров, высланных Барклаем для осмотра оборонительных позиций, Кутузов велел им возвратиться в Царево-Займище. «Мы и без того слишком много отступали», — сказал им главнокомандующий.

А теперь выяснилось, что резервов нет, ружей, патронов, снарядов, шанцевого инструмента не хватает, хлеба — в обрез...

Придется отступать.

Надо хоть собрать все, что можно. Надо вернуть в строй солдат, которые взяты из полков командирами для разных поручений и услуг, собрать отставших, подтянуть дисциплину, навести порядок.

Надо отступить...

Приходится сохранять хорошую мину при плохой игре. Не показывать никому, что у самого на душе. Ни словом не обмолвиться о своих замыслах и планах.

Михаил Илларионович сидел у стола в тяжелом раздумье. Изредка отхлебывал из стакана остывший чай, ел яблоко.

Кудашев и Кайсаров вполголоса говорили в углу, просматривая списки армии, донесения. Ничипор с вестовым стлал барину постель. Резвой молча сидел у стола за стаканом чаю. На коленях у него примостился хозяйский кот, который подружился с Павлом Андреевичем, — дремал и мурлыкал, иногда на секунду широко открывая свои большие янтарные зрачки.

— Ложитесь-ка спать, мальчики. Утро вечера мудренее. Мы сегодня мало спали, — сказал Михаил Илларионович, тяжело вставая и начиная ходить по комнате от порога до темного красного угла, в котором остались только следы от икон да висела паутина.

Кудашев и Кайсаров послушались, улеглись на лавках и быстро, по-молодому, уснули.

Резвой продолжал сидеть, поглаживая кота рукой. Свечи оплывали.

Михаил Илларионович сам потушил одну из них, догоревшую до бумаги. Он все ходил из угла в угол. Одна половица скрипела, и Михаил Илларионович старался не ступать на нее.

Наконец он остановился у стола.

— Что ж, матушка-Россия не клином сошлась! Есть где расшагаться! — сказал как бы про себя Кутузов. Резвой понял: боя у Царева-Займища не будет.

VI

Не успел Кутузов на следующий день встать, как к нему пожаловал Беннигсен.

Увидев поддержку царя и поняв, что не все еще у него потеряно, Беннигсен стал снова назойливым и нахальным. Интриговав до сих пор против Барклая, и интри-

говав не без успеха, Беннигсен был готов начать борьбу против Кутузова: он не оставлял надежду стать первым лицом в армии. Беннигсен попросил главнокомандующего определить его положение.

— Его императорское величество приказал мне воспользоваться вашими знаниями, генерал. Сегодня я отдаю свой первый приказ по армии и не премину в нем сказать о вас, — ответил Михаил Илларионович.

Приказ был написан. Кутузов объявил о своем назначении главнокомандующим всеми русскими армиями. В приказе один абзац относился к Беннигсену:

«Г. генерал от кавалерии барон Беннигсен состоять будет относительно ко мне на таком же основании, как и стоят начальники главных штабов относительно к каждому из гг. главнокомандующих армиями».

Назначить Беннигсена начальником своего штаба Михаил Илларионович не собирался. Он только уточнил границы его прав.

Вчера, находясь полдня при армии, Кутузов был в ней еще как бы гостем, а сегодня становился хозяином. Еще с дороги Михаил Илларионович мог писать Барклаю:

«Мое замедление ни в чем не препятствует Вашему высокопревосходительству производить в действие принятой Вами план до прибытия моего».

Но сегодня, вступив в командование, Кутузов смотрел на все иными глазами. Он считал, что нельзя давать генерального боя до тех пор, пока не собраны все резервы, насколько мизерны они ни оказались бы в действительности.

Корпус Милорадовича только кончал сосредоточиваться у Гжатска, Московское ополчение спешно стягивалось к Можайску, Верее и Рузе.

Кроме того, сама позиция у Царева-Займища не удовлетворяла Кутузова: позади намеченной русской линии находилась обширная болотистая долина реки Сежа.

Барклай, доведенный до крайности обидными подозрениями и упреками в измене и трусости, вынужден был согласиться дать бой у Царева-Займища, хотя не мог не видеть слабости своей позиции.

Кутузову же торопиться во что бы то ни стало не приходилось. И он решил отступить, каким бы странным это ни показалось.

Вечером главнокомандующий отдал приказ отходить на восток.

Армия оставила Царево-Займище.

Приезд Кутузова так поднял дух армии, что некоторые солдаты, уходя из Царева-Займища, говорили:

— Ну вот — идем на француза!

— Да ты что, аль не видишь, куда ты ноги несут? — огрызнулся другой. — В Гжатск идем!

— А пушай и в Гжатск! Все равно французу от этого не поздоровится!

В темноте проходили смятенный отходом армии, взбужденный город. Михаил Илларионович с болью в сердце проезжал по улицам Гжатска, который так тепло его встречал. Он и раньше отлично понимал душевное состояние честного, преданного России Барклая, которому пришлось отступать восемьсот верст, а теперь сочувствовал ему еще более.

VII

Армия остановилась в десяти верстах от Гжатска, у деревни Иваново. Здесь Кутузов наконец организовал свой штаб.

Недоверчивый, видевший в жизни много подвохов и каверз, Кутузов составил свой штаб из преданных ему людей.

Новые назначения вызвали много толков среди штабных.

Генерал-квартирмейстером Кутузов назначил генерал-майора Вистицкого, высокого, худощавого старика, который занимал эту должность во 2-й армии Багратиона. Все знали, что Вистицкий звезд с неба не хватает, что он самый старый в квартирмейстерской части и что он будет только ширмой.

В следующей строке приказа после упоминания о Вистицком шла одна лаконичная фраза:

«Той же части полковнику Толю находиться при мне».

Полковник Карл Толь служил генерал-квартирмейстером в 1-й армии Барклая. Небольшой, плотный, Толь был энергичен, напорист и трудолюбив. Павел I, уволив-

ший из квартирмейстерской части ряд офицеров, оставил Толя за красивый почерк. Михаил Илларионович знал Толя еще по кадетскому корпусу, знал, что Карлуша не только красиво пишет, но и что он неглуп. Его портили вспыльчивость и самолюбие. В корпусе Толь запустил чернильницей в товарища за то, что тот посмеялся над его плебейским лицом. А кичился Толь тем, что сам великий Суворов произвел его в капитаны за удачную разведку во время Итальянского похода.

Никто не сомневался в том, что не старик генерал-майор Вистицкий, а тридцатипятилетний Толь станет фактически генерал-квартирмейстером армии.

Всех удивило и следующее назначение: своим дежурным генералом Кутузов назначил полковника Кайсарова.

В Иванове Михаил Илларионович впервые написал коротенькое письмо домой, Екатерине Ильинишне:

«Я, слава богу, здоров, мой друг, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайной, хороших генералов весьма много. Право, недосуг, мой друг. Боже, благослови детей».

И отослал более длинное письмо дочери Анне Хитрово, которая жила у Тарусы, между Калугой и Серпуховом:

«Друг мой Аннушка и с детьми, здравствуй! Это пишет Кудашев, так как у меня немного болят глаза и я хочу их поберечь. Какое несчастье, мой друг, находиться столь близко от вас и не иметь возможности вас расцеловать, но обстоятельства очень трудные.

Я твердо верю, что с помощью бога, который никогда меня не оставлял, поправлю дела к чести России. Но я должен сказать откровенно, что ваше пребывание возле Тарусы мне совсем не нравится. Вы легко можете подвергнуться опасности, ибо что может сделать женщина одна, да еще с детьми; поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от театра войны. Уезжай же, мой друг! Но я требую, чтобы все сказанное мною было сохранено в глубочайшей тайне, ибо, если это получит огласку, вы мне сильно навредите.

Если бы случилось так, что Николай не получил бы разрешения губернатора на выезд, то вы должны уехать одни. Тогда я сам улажу дело с губернатором, указав на то, что мужу надлежит сопровождать свою

жену и детей. Но вы, дети мои, уезжайте во что бы то ни стало.

Я чувствую себя довольно сносно и полон надежды. Не удивляйтесь, что я немного отступил без боя, это для того, чтобы укрепиться как можно больше».

Михаил Илларионович уже понимал, что война угрожает самой Москве.

Он твердо решил дать сражение Наполеону перед Москвой.

Главкомандующий отправил Толя и Беннигсена к Можайску отыскать более удобную позицию для боя. Кутузов доверил бы выбор одному Карлуше, но ему так надоел этот длинный, пронырливый ганноверец, что он с радостью поручил выбор позиции Беннигсену.

Глава пятая

«ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА»

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Лермонтов

I

Все полки 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского завидовали виленцам: им посчастливилось расположиться у самых деревенских огородов.

Когда вчера на рассвете армия пришла к реке Колоча и обер-квартирмейстер корпуса стал шагами отмеривать каждому полку его место, Виленский пехотный полк оказался возле изломанных заборов деревни Шевардино, которая лежала между двумя смоленскими трактами: Старым — узким, малоудобным проселком и Новым — широкой дорогой, обсаженной молодыми березками.

Правда, огородами пользовались не одни виленцы: само Шевардино заняло начальство — командующий войсками участка генерал-лейтенант Горчаков, доводившийся, как говорили, родным племянником великому Суворову, и командир 27-й дивизии Дмитрий Петрович Неверовский со своими штабными.

Пронырливые и прожорливые генеральские и штабные денщики и вестовые раньше виленцев хорошо обшарили каждую грядку, но все-таки кое-где еще удавалось найти морковку, репу или картофелину поменьше, которой генеральские денщики брезговали, да у забора рос дикий чеснок. Виленцам и это оказалось на руку, потому что с хлебушком в армии было не ахти как. 27-я дивизия, прошедшая столько верст в походах и боях, привыкла жить по-цыгански — на подножном корму. И потому солдаты оценили столь удачное размещение.

Хуже обстояло с водой. В полуверсте протекала речушка Каменка, но она пересохла за лето. Колодец в Шевардине был, но его быстро вычерпали, и генерал-лейтенант поставил к колодцу часового, чтоб воду из него не брал никто — ни пеший, ни конный. Драгуны, кирасиры и ахтырские гусары, стоявшие на флангах 27-й дивизии, рыскали за водой всюду. Лучше всех было егерям: их рассыпали по кустикам у правого берега Колочи. Воды в Колоче было тоже не бог весть сколько, но все ж напиться и постирать порты хватало. Многие купались, несмотря на то что не только давно прошел ильин день, но даже и яблочный спас.

У самой проселочной дороги, ведущей из Шевардина в Семеновское, расположилась 1-я рота 2-го батальона виленцев. Солдаты устраивались на новоселье: долго ли, коротко ли придется стоять здесь, а надо соорудить шалашик, благо кустов хватает; будет ли завтра бой, останешься ли в живых или нет, а не грех подумать о том, что оторвалась подметка и холщевые брюки из белых, как положено, превратились в черные. Хорошо, что португею не приказывали белить; она давно сделалась желто-бурой.

Некоторые отдыхали, покуривая. Накануне боя думали о своем, вспоминали:

— Так-то, брат, я и сказал жене: прощай, мол, Федосьюшка, да смотри ты у меня, а то, вот те крест...

— Ну что ж? И побьешь ее, коли что, отведешь душеньку: ведь законная, попом венчана!

— А что, братуха, у вас в селе солдаты стоят?

— Как же, сказывали земляки, всеё зиму стояли. Да еще гусары...

— Эх, гладыри...

Другие смотрели с высокого Шевардинского холма на извилистую Колочу, на зеленый купол бородинской

церкви, на березовые рощи и кусты, уже расцвеченные яркими осенними красками, на кое-где скошенные, а где и просто вытопанные людьми и лошадьми, использованные колесами пушек шевардинские, семеновские и алексинские поля. Перебрасывались фразами:

— Поля-то хороши, а их истролкли, изгадили...

— Не жаль — господское...

— Чудак, право: чьи бы ни были, а все наши, русские.

— Да, овсы знатные были.

— Урожай нонче всюду хороший.

— А место для жительства тут веселое: пригорки, речки, лес.

— Для пахоты не больно способное — вишь, на поле камней сколько!

— Будет здесь бой аль опять отойдем?

— Коли б еще нас разбили, тогда понятно б было, почему отступаем, а то отдаем Расею. И нас только мучат походами...

— Будет бой. Зачем же у нас вон батареи насыпают, а у Семеновской окопы роют?

— И в Цареве-Займище тоже рыли, а что толку-то?

— Пойдем дальше — Расея широкая. Какая тут позиция — холмы да речки.

— Много ты понимаешь! Раз холмы есть, стало быть, защищаться свободно.

— Братцы, гляньте, — сказал высокий носатый Левон Черепковский, — к нам какие-то гости жалуют.

Действительно, из Смоленской к Шевардину катила коляска, а за ней группа всадников.

Гостей увидели не только батальоны, расположенные у дороги, их заметило в Шевардине начальство. Из деревни, торопливо застегивая мундиры и повязывая шарфы, вышли генералы — высокий, сосредоточенно-серьезный Горчаков и небольшой, улыбчивый Неверовский.

Коляска остановилась у самой дороги. Из нее, тяжело ступая, вышел тучный старик. Ехавшие верхами за коляской генералы и штабные офицеры слезли и почтительно обступили старика.

— Сам! Сам!

— Кутозов!

— Где? Который?

— Да вона стоит в середине, показывает что-то вниз, в семеновскую ложину.

— А кто тот, горбоносый, быстрый?
— Эх ты, не знаешь! Это ж наш князь Багратион.
— Неужто? Горячий!
— Он грузин.
— Нет, он не грузин. Худошав.
— Да не то. Ты не понимаешь: грузин — это нация такая.

— Какая?
— Он с Капказу. С теплых вод.
— А мне сказывали — Багратион русский.
— Да, русский. Самый настоящий православный, но — грузин.

— Наш енарал Митрий Петрович встрял в беседу. Что-то говорит дельное, вишь, Багратион поддакивает.

— И Кутузов кивает головой, не спорит.
— Митрий Петрович может: башковат.
— Кутузов идет к коляске. Вона садится. Уезжает.
— Старый человек, а приходится ездить, трястись по этим горам да оврагам.

— Ничего не поделаешь — служба!

Сопровождавшие главнокомандующего генералы и офицеры снова вскочили на коней. Коляска поворотила назад. Кутузов, сидя в коляске, поднес к бескозырке руку — попрощался с Горчаковым, Неверовским и всеми.

После отъезда Кутузова на Шевардинских холмах пуще прежнего заработали кирки да лопаты: делали пятиугольный редут.

Передавали: главнокомандующий велел укрепляться — будет бой.

II

Должно постоянно обеспечивать свою операционную линию и добровольно не жертвовать ею.

Наполеон

Беннигсен и весь сонм квартирмейстеров выбрали позицию для генерального сражения с Наполеоном в двенадцати верстах от Можайска, у села Бородина между двумя смоленскими трактами — Старым и Новым. Кутузов осмотрел ее. Разумеется, позиций без недостатков не существует. Сказать, чтобы главнокомандующий остался очень доволен бородинской, было нельзя, хотя он и напи-

сал царю, что позиция «одна из лучших, какую только на плоских местах найти можно». Поле представляло холмистую равнину, покатую к западу. По ней протекала речка Колоча с притоками, имевшими такие многозначительные названия, как Война, Огник, Стонец. Видимо, эти поля уже не раз бывали свидетелями кровавых схваток. Все эти речонки, высохшие за лето, текли в глубоких и крутых оврагах, поросших мелким кустарником. Правый фланг, защищенный крутыми берегами Колочи, был неприступен: обрывы доходили до пяти сажен, а левый — ровный, упиравшийся в Утицкий лес, оказывался слабее — он не имел никаких местных преград.

Багратион, войска которого занимали левое крыло, сразу же забил тревогу: левый фланг нужно укрепить.

Кутузов считал, что укрепить надо всю позицию, но не хватало лопат, кирок, топоров. Уже по дороге к Бородину Михаил Илларионович несколько раз писал Ростопчину о том, чтобы он прислал полторы тысячи кирок и две тысячи лопат. Но Ростопчин легок только на обещания и посулы. На словах у него все спорится — ведь обещал же он создать «вторую стену», а много ли получилось из его обещания?

И даст ли Наполеон возможность укрепиться?

Михаил Илларионович поручил арьергард твердому, спокойному Коновницину. Петр Петрович сдерживает натиск французской армии, но приходится поторапливаться с укреплениями: выстрелы с каждым днем все слышнее и слышнее...

Михаил Илларионович, по обыкновению, никому не говорил, но боялся за свой правый фланг, стоявший у новой Смоленской дороги. Главные силы Наполеона двигались к Москве по ней, и от самого Смоленска Наполеон обходил русских справа.

Михаил Илларионович считал, что на всякий случай надо укрепить правый фланг. Пусть левый останется для Наполеона в виде приманки. Пусть Наполеон переведет на правый берег Колочи побольше своих войск, тогда и Кутузов может начать перебрасывать полки с правого на левый фланг. А пока надо укрепляться у Горок, Семеновской и Шевардина.

Главную квартиру Кутузов устроил в господском доме у деревни Татариновой, владелец которой уехал.

Михаил Илларионович занял кабинет хозяина, где еще уцелели стекла, а в маленьком зальце расположились

полковники Кайсаров, Кудашев, Резвой с канцелярией.

Работы было много. Приходилось заботиться не только о шанцевом инструменте, но и о хлебе, о снарядах, о подводах для раненых — ведь готовились к большому сражению.

Армия отдыхала на позиции только два дня. В субботу, 24 августа, в полдень, на большой почтовой дороге за Бородином показалась от Колоцкого монастыря наша кавалерия арьергарда. Она шла на рысях.

— Видно, порядком прижал франц дружков сердечных, — говорили солдаты.

Все приготовились увидеть французов.

Слева послышались выстрелы: это егеря, рассыпанные по Колоче, встречали французов у деревень Фомкина, Алексинки, Доронино. Вскоре к ним присоединились и орудия Шевардинского редута.

Французы отеснили нашу линию охранения и переправились через Колочу. Между Алексинками и Доронином все поля и взгорья были полны синих мундиров. Горячий бой шел уже у Шевардина.

Михаил Илларионович диктовал диспозицию к бою. Услышав выстрелы, он заторопился. Перестрелка разгоралась, принимая все большие размеры.

Главнокомандующий диктовал последние, заключительные абзацы диспозиции:

«Не в состоянии будучи находиться во время действия на всех пунктах, полагаюсь на известную опытность господ главнокомандующих армиями и потому предоставляю им делать соображения действий на поражение неприятеля. Возлагая все упование на помощь всесильного и на храбрость и неустрашимость русских воинов, при счастливым отпоре неприятельских сил дам собственные повеления на преследование его, для чего буду ожидать беспрестанных рапортов о действиях, находясь за 6-м корпусом.

При сем случае не излишним почитаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден».

— Надо поехать посмотреть! — сказал Кутузов, подымаясь.

— Запрягайте коляску! — крикнул в окно Кудашев.

— Нет, не коляску, а коня! — нетерпеливо махнул рукой Михаил Илларионович.

Проклятая тучность! И смешно и противно, что все думают, будто он так уж стар. Точно покойный князь Прозоровский. Ведут Михаила Илларионовича под руки, будто престарелого владыку-архиерея, а у него ясная голова и душа молодая, не шестидесятилетняя. Вон стоит молоденькая, курносенькая маркитантка. Из тех разбитных бабенок, что в Торжке на дороге продают бублики и приговаривают: «Купи, барин, на полтину, я тя на рубль поцелую!»

Михаил Илларионович все видит, все чувствует, только вот не ходят ноги и проклятуший живот не дает согнуться.

Главнокомандующий сел на коня и в сопровождении Кайсарова, адъютантов и ординарцев поехал к деревне Семеновской, избы которой в первый же день войска разобрали на топливо.

Наполеон все-таки напал на выдвинутый левый фланг. Эх, кабы это не только демонстрация! Посмотрим, как пойдет дело.

Наполеон наводил через Колочу мосты, теснил егерей. Они все жались поближе к Шевардину.

За Шевардиным спешно строилась 27-я дивизия Неверовского. Кавалерия становилась на флангах.

Князь Багратион и начальник его штаба генерал Сен-При были уже где-то там внизу, на шевардинских полях.

Кутузов слез с коня — как-никак на земле полегче. Вестовой подал ему скамеечку. Михаил Илларионович сел и стал следить за ходом боя вместе с генералами Раевским, Бороздиным, Лихачевым.

Штабные офицеры свиты стояли по сторонам, обменивались замечаниями. Вестовые и казаки сгрудились поодаль. Некоторые из ординарцев и молодых адъютантов сели в кружок под остатками забора и дулись в штосс — заняться-то нечем.

Ополченцы, рывшие окопы, то и дело оборачивались посмотреть на Шевардино — им все было в диковинку. При пушечных выстрелах многие вжимали голову в плечи, крестились: страшно! Солдаты полков, занимавших Семеновский курган, делали свое дело, не обращая внимания на то, что происходит внизу.

Массы французской пехоты двигались на Шевардино.

Пороховой дым затягивал сероватым облачком опушку Утицкого леса. Сквозь дым мелькали красные огоньки отдельных выстрелов. К грому пушек, шипению и свисту гранат присоединился непрерывный треск ружейной стрельбы. Казалось, будто кто-то громадный ломает лес, и щепки с визгом и воем взлетают на воздух.

Вечерело. Французские ядра зажгли деревню Шевардино. Вот над одной крышей показался серый дымок, сквозь него острыми ножами пробилось пламя.

— Навалились на Андрея Ивановича,— посочувствовал Горчакову Лихачев.

— И Неверовскому опять достанется,— вздохнул Равевский.

Михаил Илларионович мельком, одним глазом, смотрел, как принимают бой войска, стоящие у деревни Семеновская.

На лицах солдат и офицеров была написана решимость.

Кутузов сидел сложа руки. Конечно, веселее действовать — стрелять, рубить, колоть, чем сидеть вот так, в ожидании результатов боя. Точно нянька в саду, когда в стороне играют дети.

Французы усилили натиск и овладели Шевардинским редутом. Но Багратион кинул на помощь 2-ю гренадерскую дивизию. Сквозь гул орудий раздалось дружное «ура», и над редутом снова заколыхались русские знамена.

Французы откатились.

Михаил Илларионович написал записку Багратиону: «Князь Петр, очень не ввязывайтесь. Берегите людей!»

Через полчаса Кутузов получил ответ, нацарапанный карандашом:

«Держусь, Михайло Ларионович. Никто, как бог!»

Со всех сторон подступала густая осенняя темнота. Шевардино горело среди этой густой темноты жарким костром. Небо чертили огненно-яркие ядра.

Шевардинский редут уже несколько раз переходил из рук в руки.

Сомнений не оставалось: Наполеон ввел в бой крупные силы. У Горчакова, защищавшего Шевардино, всего одиннадцать тысяч человек, а у французов — в несколько раз больше. Пора отходить. Удерживать дальше ненужное Шевардино бесполезно: нечего зря лить кровь.

Левый фланг, оттянувшись к флешам у холмов, улучшил свое положение. Теперь французам обойти князя Петра будет труднее.

Михаил Илларионович подозвал Паисия Сергеевича Кайсарова и велел написать Багратиону приказ отступить от Шевардина к Семеновской.

Он послал казака за коляской — возвращаться в Татариново верхом в темноте по буеракам не хотелось: и так намаялся за день.

Бой затихал.

Коляска с Ничипором приехала быстро. Михаил Илларионович попрощался с генералами и поехал в Татариново.

— Ничего, мы подождем, а свое возьмем! — говорил про себя Ничипор, оглядываясь на горевшее Шевардино.

Небо затянули низкие тучи. Шевардинское зарево пылало зловеще. На лугу горели стога сена.

Редут в Шевардине так и не был взят французами: Кутузов сам приказал отвести войска.

III

Дух войска есть множитель на массу, дающий произведение силы.

Лев Толстой

Михаил Илларионович встал с постели. Крестьясь на иконку архистратига Михаила, которую по приказу Екатерины Ильинишны Ничипор всюду возил с собой и аккуратно вешал в изголовье постели барина, Кутузов подумал, что хорошо бы сегодня пронести по всему лагерю икону смоленской божьей матери, вывезенную из Смоленска.

Он позвал Резвого и передал ему приказ.

— Пусть перед каждой дивизией служат молебны,— сказал главнокомандующий.

— Для скольких этот молебен окажется панихидой! — вздохнул Резвой.

Михаил Илларионович взглянул в зальце, где сидели штабные офицеры. Паисий Сергеевич с писарями словно и не ложились со вчерашнего вечера спать — отбивались от бумажного потока, который сыпался на главнокомандующего отовсюду.

Утро было холодноватое, но ясное. Вчерашние ночные тучи куда-то уплыли.

С передовых линий не слышалось ни ружейной, ни пушечной стрельбы. Стояла тишина.

Умывшись, позавтракав и выслушав донесения, Михаил Илларионович велел заложить коляску и поехал на центральную батарею. Он хотел с ее высоты посмотреть, что сегодня делает Наполеон и как подвигаются земляные работы.

Еще всюду — у Семеновской и на центральном кургане — продолжали работать ополченцы.

Московское ополчение было вооружено только пиками. Когда армия впервые увидела ополченцев, солдаты шутили: «Что это, братцы, зимы еще не слышать, а вы уже собрались лед колоть?»

С лопатой и топором ополчение привыкло иметь дело, но вся беда была в том, что не хватало ни шанцевого инструмента, ни фашинов: Ростопчин легче писал «афишки», чем доставлял нужный материал.

Он не хотел считаться с просьбой Кутузова, который предупредил Ростопчина, что без шанцевого инструмента «отымаются многие силы от армии».

Михаил Илларионович озабоченно смотрел на недоконченные укрепления и думал:

«Не успеем. Профиль редутов получится недостаточный. И сами укрепления без одежд. Отец посмеялся бы над нашими фортификационными работами!»

На Центральном кургане к Раевскому съехался весь генералитет: Беннигсен, Барклай, Багратион с начальниками штабов, командиры ближайших корпусов. Все смотрели в зрительные трубы на французское расположение.

Видно было, как вольтижеры занимают лес у Шевардина, как разными тропами пробирается к холмам и пригоркам артиллерия.

— Да их много больше, чем нас, — сказал Ермолов.

— И на всех участках, — прибавил Беннигсен.

Давно всем было известно, что Наполеон превосходит русскую армию количеством войск. На бумаге это не казалось угрожающим, но сейчас, когда каждый из генералов видел собственными глазами, всем стало как-то не по себе. У Шевардина стояли полки Понятовского и Даву, против Бородина — войска итальянского вице-короля Евгения Богарне, в центре — император с гвардией.

Наступило тягостное молчание.

— Смотрите, смотрите, всадники! Сам Наполеон! — заговорило несколько голосов.

По дороге из Валуева показалась группа всадников. Впереди них на белом коне скакал человек в треуголке.

— Он. В сером сюртуке.

— Осматривает. Что-то говорит.

— А свита у него не очень велика.

— Это только во время рекогносцировки... — переговаривались русские генералы.

Из французского расположения донеслись приветственные крики.

— Да, сомнений нет: это Наполеон, — сказал Михаил Илларионович. «Надо и мне объехать войска», — подумал он и направился к коляске.

Кутузов ехал, прикидывая в уме, что он скажет солдатам накануне боя. Говорить речи Михаил Илларионович был не мастак.

— Вы защищаете родную землю... Послужите верой и правдой... Каждый полк будет употреблен в дело... Вас будут сменять, как часовых... Отечество надеется на вас...

Слева послышалось пение — это духовенство шло с иконой по линии фронта.

«Как на Куликовом поле», — подумал Кутузов.

IV

Уже в ночном небе пылали яркие сполохи от тысяч бивачных костров двух армий, стоявших на Колоче, а к господскому дому у деревни Татариново, где разместилась главная квартира Кутузова, все еще продолжали ехать генералы и из разных корпусов скакали ординарцы.

В трехкоконном зальце с выбитыми стеклами десяток штабных писарей работали при мигающих свечах. На ящиках, на опрокинутых вверх дном крестьянских кадках и бочках, пахнувших капустой и огурцами, писаря строчили бумаги. Исполнительный, дотошный Паисий Сергеевич Кайсаров, небритый, с пожелтевшим от постоянного недосыпания лицом, и зять Кутузова, быстрый князь Кудашев, диктовали писарям приказы и письма главнокомандующего.

Сам Михаил Илларионович расположился в хозяйском кабинете, служившем Кутузову всем — и кабинетом, и сто-

ловой, и спальней. Он сидел в кресле у окна. Окно выходило на запад. Посреди комнаты стоял каким-то чудом уцелевший ломберный стол, с которого содрали (конечно, на портянки) зеленое сукно. На столе лежали только вчера начерченные кроки¹: «план позиции при селе Бородине близ г. Можайска 1812 г. Августа 25».

Уже был двенадцатый час ночи, когда от главнокомандующего ушел последний посетитель — Карл Федорович Толь. Энергичный квартирмейстер объезжал всю линию русских войск, смотрел за сооружением укреплений и только теперь вернулся к Кутузову с докладом.

Толь всегда говорил: «Исправный квартирмейстерский офицер должен ежедневно делать сто верст верхом».

У него было три коня. Один из них, светло-серый маленький иноходец, был столь же неутомим, как и его хозяин. Карл Федорович, меняя лошадей, сделал за сегодня больше, чем полагалось по его правилу.

И теперь рассказывал обо всем Кутузову.

Он ругательно ругал болтуна и позера Ростопчина, который задержал присылку шанцевого инструмента; ругал «безруких» ополченцев, не знающих фортификации, не имеющих понятия, как делаются туры и фашины. Толь сказал, что земляные работы везде не смогли быть окончены и что на Центральном редуте едва часть люнета имеет амбразуры, одетые фашинами. А Наполеон, которому не так уж надо было усиливать позицию, укрепил свой левый фланг у Бородина и даже построил на всякий случай три моста через Колочу.

— Не горячись, Карлуша; может, мы и так не ударим завтра в грязь лицом. Вот Лихачев рассказывал: уговаривал своих солдат быть храбрыми, а они говорят: «Ваше высокопревосходительство, чего нас уговаривать? Стоит оглянуться на матушку Москву, так на самого черта полезешь!»

— Я это знаю, ваше сиятельство, но вы сами когда-то в корпусе частенько изволили напоминать нам мудрое изречение Вобана: «Командир должен быть щедр на солдатский пот, но скуп на солдатскую кровь», — ответил Толь.

— Это все верно, Карлуша, но разве мы с тобою виноваты в том, что в армии не хватает лопат? Ну, ступай отдыхать; завтра нам всем предстоит нелегкий день. А как у нас в лагере, как настроение?

— Настроение бодрое. Люди готовятся по-настоящему, осматривают вооружение. Настроение серьезное.

— А у французов — слышишь? — песни, музыка. И смотри, сколько огней, — показал на окно Кутузов.

— Что ж, им чужого леса и чужих дров не жалко! — ответил Толь. — Спокойной ночи, ваше сиятельство!

И квартирмейстер Толь ушел.

Михаил Илларионович постоял у окна, барабанил пальцами по подоконнику, потом подошел к ломберному столу, глянул на кроки, которые давно уже знал наизусть, и направился к кровати.

Михаил Илларионович лег, но повторилось обычное, стариковское: сон не шел. Уже разошлись писаря, ушли спать Кайсаров и Кудашев, улеглась и затихла вся главная квартира, а Кутузов все не спал. Завтра должно решиться многое, судьба многих тысяч людей.

Он ворочался на кровати, стоявшей у зеленых изразцов холодной печки, слушал, как за окном по-осеннему завывает ветер.

Наконец уснул.

Но спокойно отдохнуть не дали: перед светом его разбудил гонец от Ростопчина. Московский главнокомандующий, сочинявший глупые объявления для жителей Первопрестольной и охотившийся не столько за настоящими, сколько за мнимыми шпионами, наконец-то слал часть лопат, кирок и буравов, обещая прислать еще через день.

— На что же годны сегодня все эти лопаты? — усмехнулся Кутузов.

Спать он уже не мог. Михаил Илларионович лежал еще с полчаса, а потом решительно сбросил ноги с постели и громко позвал:

— Ничипор!

Через несколько минут весь старый господский дом ожил — в нем заговорили, заходили люди, поднялась суета. За ним проснулись и другие избы, где размещался штаб и свита. Главнокомандующий собирался ехать в Горки, поближе к войскам и неприятелю.

Михаил Илларионович на скорую руку позавтракал и, не надевая парадного мундира, как делали многие генералы и офицеры, а все в том же сюртуке и в той же бескозырке поехал к правому флангу.

Восток только розовел, как стыдливая красная девица.

¹ Кроки — набросок, наскоро сделанный план местности.

Коляска простучала колесами по мосту через ручей Стонец и выехала с проселка на новую Смоленскую дорогу.

Бот справа к самому тракту подбежал березняк, тронутый золотой осенней желтизной. Приятно пахло грибами и прелыми листьями. А слева из-за аллеи лип выглянул длинный барский дом Михайловского, стоявший над чуть струившейся речонкой Стонец. Весь двор и дорога к имению Князькова были забиты телегами и лазаретными фурами: здесь располагался главный полевой госпиталь. Скоро здесь, на речке Стонец, застонут раненные...

В Михайловском все еще спало. Кутузов высунулся из коляски и махнул рукой. Его любимый адъютант ротмистр Дзичканец, ехавший верхом у коляски, нагнулся с седла к Михаилу Илларионовичу.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — прикладывая руку к своей высокой черной уланской шапке, спросил он.

— Голубчик, забеги сюда, — кивнул главнокомандующий на Михайловское. — Разбуди медикусов, скажи — пора!

У самых Горок стояли 2-й кавалерийский корпус Корфа и 4-й пехотный Остермана. Тут уже дымились костры, люди ели кашу, готовясь к делу.

А вот, у молодой березки, полосатый верстовой столб с цифрами: 9—108—296.

До Смоленска уже 296, а до Москвы только 108... Горки.

Вернее, место, на котором еще четыре дня тому назад стояла богатая веселая деревня, а теперь только торчали трубы да уцелевшие кусты и деревья указывали, где были дворы. Солдаты разобрали Горки на дрова — все равно сгорят в бою, как сгорело Шевардино. И только с краю, у оврага, уцелел один двор — дом, сарай и амбар. Их оставили для нужд штаба.

Михаил Илларионович вылез из коляски и пошел на холм. Казак нес за ним скамейку.

Из колясок, дрожек вылезли штабные генералы. Штаб-офицеры, ехавшие верхом, слезли с коней.

Михаил Илларионович облюбовал одно место. Здесь, видимо, стоял большой дом: лежали камни фундамента да торчали изломанные кусты сирени.

Штабные офицеры, ежась и позевывая, ходили по холму. Ординарцы и вестовые устраивали коней.

Кутузов глянул в трубу на Шевардино. Там темнели плотные четырехугольники французской пехоты и десятки пушек.

Из французского расположения доносились крики, — вероятно, читали приказ императора перед боем: Наполеон любил слово и был не прочь пустить пыль в глаза.

Внизу, через овраг, стояли полки 6-го корпуса Дохтурова. В линиях русских войск царил тишина.

На нижней батарее у Горок Михаил Илларионович увидел командующего центром Барклая де Толли верхом на гнедом коне. Барклай был в парадном мундире, с лентой через плечо и тремя звездами, в черной шляпе с султаном.

«Зачем делать из себя такую заметную мишень?» — подумал Кутузов.

Он понимал самочувствие Барклая. Все кричат: «изменник», «изменник»; Барклай хочет показать себя истоящим патриотом.

Кутузов сел на скамейку, вспомнил Петербург, невольно подумал: «Катя небось еще спит... И не чувствует, какой сегодня предстоит нам день!»

Томительно тянулись последние минуты перед боем.

И вот на колокольне бородинской церкви блеснул первый солнечный луч.

«Солнце встало, сейчас начнется!»

И тотчас же на правом крыле ударила французская пушка: вице-король пошел в атаку на незащищенное Бородино.

Вслед за первой пушкой обрушился целый ливень огня на левый русский фланг. Сотни орудий, поставленные на Шевардинских высотах, ударили по войскам Багратиона.

Русская артиллерия стала отвечать.

Начался бой.

V

Ни бала, ни сражения описать невозможно.

Артур Веллингтон

От беспрестанного слитного гула сотен орудий дрожал воздух. Земля тряслась и словно стонала. Орудия били по всей шестиверстной линии.

Пороховой дым в один миг застал еще минуту назад ясно видимые пригорки и долины, усеянные войсками.

Все штабные офицеры смотрели на Бородино, до которого было рукой подать. Вице-король засыпал Бородино ядрами. Падали сшибленные деревья. Одно ядро пробило зеленый купол бородинской церкви.

— Егеря бегут!

— Бородино взяли! — с тревогой заговорили на Голицком кургане.

Михаил Илларионович не пошевелился: Бородино — это пустяки.

И разве мог один полк гвардейских егерей сдерживать натиск всей итальянской армии вице-короля Евгения Богарне?

Егеря, укрываясь за домами, за кустами, сыпались вниз к Колоче и уже бежали сюда, на правый берег реки.

Итальянцы так увлеклись преследованием, что их медвежьи шапки тотчас же очутились по эту сторону реки. Но итальянцев тут же смяли свежие русские батальоны.

У моста через Колочу засуетились темно-зеленые мундиры гвардейского экипажа: моряки-балтийцы подожгли мост.

На левом фланге орудийная перестрелка усиливалась. К ее нарастающим звукам прислушивался и Михаил Илларионович.

Хотя бой шел уже по всей линии, но командующему с каждой минутой становилось ясно: Наполеон обрушивал главный удар на Багратиона, как этого и хотел Кутузов.

Сквозь пушечный гром и перекаты ружейной стрельбы Михаил Илларионович слышал, как за его спиной Беннигсен, приехавший в Горки только что, попозже Кутузова, говорил по-немецки с Толем. Конечно, говорить нормальным голосом в таком невероятном шуме было невозможно, но Беннигсен кричал уж слишком громко, явно затем только, чтобы его слова услышал главнокомандующий. Беннигсен с жаром и важностью утверждал, что он слагает с себя всякую ответственность за левый фланг. Он-де вчера предупреждал главнокомандующего.

— И вот посмотрите, что будет уже через час! — каркал Беннигсен.

Михаил Илларионович чуть повернул голову к Кудашеву, стоявшему подле. Кудашев нагнулся.

— Поезжай, Коленька, к князю Петру, посмотри, как там.

И опять погрузился в свои мысли, не обращая внимания ни на пересуды генералов, стоявших сзади за ним, ни на ядра, которые с визгом проносились над его головой.

«Так, так! Будешь атаковать на узком участке! Я те не дам развернуться! — думал о Наполеоне. — Лишь бы наши стояли, как позавчера у Шевардина!»

Прошло еще полчаса.

Кутузов подозвал адъютанта, поручика Панкратьева, и послал его к Коновницину с приказом поддержать Воронцова.

Со стороны казалось, что главнокомандующий спокоен. Это не Аустерлиц, никто не мешает ему руководить боем так, как он хочет. Мешают только советчики: не видят, не знают, не понимают главной цели Кутузова, а лезут с предложениями. Зудят, звенят над ухом, как назойливые комары.

А все решают доблесть и мужество солдат и офицеров, стойко отражающих превосходящего, сильного врага.

VI

На левом фланге бой с каждым часом разгорался все больше и больше. Французские атаки следовали одна за другой. Под несмолкаемый страшный гром сотен орудий непрерывной чередой двигались на русских, как огромные морские валы, и, точно волны об утесистый берег, разбивались о мужественную защиту Багратионовых полков, стоявших насмерть.

Дым от орудийных выстрелов, пыль, поднятая тысячами людей и лошадей, иссиня-желтыми клубами повисли над полем боя, скрывая воюющих. Иногда порыв ветра на мгновение разрывал эту непроницаемую завесу. Тогда в зрительную трубу можно было рассмотреть синие колонны французской пехоты, сверкавшие на солнце сталью штыков, или желтые, белые, синие эскадроны кавалерии, блестящие касками, латами, саблями, палашиами.

Ни ружейных выстрелов, ни взрывающихся зарядных ящиков, ни топота тысяч людских и конских ног, ни

барабанного боя, ни криков и кликов сражающихся не было слышно: все покрывал один сплошной, не смолкавший ни на минуту пушечный гром. Даже здесь, в Горках, говорить нормально было нельзя — приходилось кричать: батареи, стоявшие ниже Горок, и пушки Центрального редута вели огонь.

Свита Кутузова с тревогой смотрела на левый фланг. Все зрительные трубы были обращены туда, хотя противник пытался атаковать и центр русского расположения.

Кутузов сидел на скамейке. Гранаты лопались в воздухе, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами.

А главнокомандующий сидел спокойно. Он почти не смотрел в трубу на поле боя: много ли рассмотришь в этих серо-дымных облаках, да еще одним глазом? Оставалось ждать донесений от ординарцев, которых главнокомандующий посылал время от времени к Багратиону.

Внешне спокойный, выдержанный, не привыкший делиться ни с кем своими мыслями, а тем более в бою, Михаил Илларионович молчал. Он переживал в одиночку то, что другие — пылкий Багратион, язвительный Ермолов или самовлюбленный и наглый Беннигсен — привыкли выплескивать наружу. Он не оглядывался и ни с кем не говорил, но чувствовал, что за его спиной вся пестрая штабная толпа, среди которой немало недругов и интриганов, осуждает его и сплетничает вовсю. И Беннигсен, и дядя царя принц Евгений Вюртембергский, и генерал Вистицкий, похожий на Дон-Кихота. И все они, конечно, встревожены яростными атаками Багратионовых флешей, подавлены величием полководческого имени Наполеона. Они с минуты на минуту ждут гибели Багратиона, а затем полного разгрома русской армии. Они не могут понять, почему Кутузов опасается за свой правый фланг.

— Ваше сиятельство, если мы не пошлем резерва князю Багратиону... — закричал, наклоняясь к уху светлейшего, длинноногий Беннигсен.

Михаил Илларионович не слушал ни его, ни подошедшего Ермолова, который тоже советовал двинуть резерв, словно Кутузов сам не разбирался в обстановке. Кутузов обождал, когда они оба наговорятся, а потом помахнул к себе пальцем адъютанта Дзичканца:

— Гвардию, Измайловский, Литовский, Фиилиндский — к Багратиону!

И снова принял прежнее положение.

А за спиной главнокомандующего, надрываясь от крика, штабные офицеры делились новостями:

— Французы уже взяли Багратионовы флеш!

— Да посмотрите, они бегут назад! — кричал другой, показывая на поле сражения.

В зрительную трубу было видно: от очередной яростной атаки французов не осталось ничего, кроме небольших групп синих фигур, бегущих к Утицкому лесу и Шевардину.

Михаил Илларионович по звукам боя на левом фланге оценивал положение. Ярость французов не уменьшалась.

«Наполеон хочет прошибить левый фланг и в восьмой раз бросает на него все новые и новые дивизии».

Кутузов приказал двинуть с правого фланга на левый 2-й пехотный корпус генерала Багговута и несколько батарей из резервов.

В это время французы попытались проникнуть за Колочу с центра. Это было совсем вот тут, внизу, у Семёновской.

Настала очередь Дохтурова. Он отбил атаку.

Кутузова все-таки больше беспокоил левый фланг. Адъютанты и ординарцы, мчавшиеся оттуда под непосредственным впечатлением очередной неукротимой атаки французов, не могли правильно, спокойно оценить положение. Кутузову же нужно было знать обстановку. Он попросил Ермолова поехать к Багратиону.

Не прошло и получаса после отъезда Ермолова, как прискакал Кудашев.

— Папенька, князь Петр тяжело ранен, — сказал он. — Коновницын принял команду.

Михаил Илларионович огорченно покачал головой: это была чрезвычайно горестная весть. Он поднялся и, минуя Беннигсена, который, конечно, ждал, что наконец наступит его час, подошел к принцу Александру Вюртембергскому и предложил ему принять командование 2-й армией.

Принц без всякого видимого удовольствия поехал к левому флангу. И еще с дороги прислал к главнокомандующему адъютанта, ротмистра Бока, просить подкрепления.

Михаил Илларионович досадливо махнул рукой и позвал:

— Паисий!

Кайсаров, стоявший с полковником Резвым сзади, за светлейшим, подбежал к Михаилу Илларионовичу.

— Дай бумагу и карандаш!

Кайсаров передал Михаилу Илларионовичу то, что он просил.

Кутузов написал:

«Господину генералу Дохтурову.

Хотя и поехал принц Вюртембергский на левой фланг, но, несмотря на то, имеете Вы командовать всем левым крылом нашей армии и принц Вюртембергский подчинен Вам.

Рекомендую Вам держаться до тех пор, пока от меня не последует повеление к отступлению.

Князь Г. Кутузов».

— Пошли немедленно!

Минуту спустя Михаил Илларионович подозвал Толя:

— Поезжай на левый фланг, посмотри, надо ли подкрепление.

Толь уехал. Кутузов смотрел ему вслед.

В свите главнокомандующего тревожно зашептались. У большинства было написано на лице: дело плохо! Беннигсен ходил по холму большими шагами, изображая на своем презрительно сморщенном лице покорность судьбе.

Кутузов кликнул Ничипора, который предусмотрительно хоронился в бывшем погребе дома:

— Дай поесть!

— Зараз! Зараз! — заторопился денщик. — Верно говорится: млын меле водою, а человек живе ядою!

Ничипор принес Михаилу Илларионовичу кусок телятины и флягу с вином.

«Пусть дураки знают, что не так страшен черт, как его малюют!» — думал Кутузов.

И, словно в доказательство того, что не все так плохо, как хотелось бы Беннигсену, откуда-то, не от адъютантов и ординарцев, а от вестовых, стоявших с лошадьми у пригорка, понеслась весть:

— Мюрата взяли в плен!

Михаил Илларионович чуть улыбнулся. Он знал, что в пылу боя легко берутся в плен на словах генералы и короли.

— Погодите радоваться!

На центральной батарее Раевского, не прекращаясь ни на минуту, кипел жестокий бой. Понять, что там, кто кого, было пока невозможно.

И вдруг раздалось «ура».

Кутузова радовало: войска стоят чудесно!

Он доел телятину и вытирал салфеткой губы, когда увидел входившего на холм квартирмейстера 6-го пехотного корпуса полковника Липранди со странным гостем. Липранди вел за повод коня, на котором сидел толстый французский генерал без треуголки, но почему-то в шинели, надетой в рукава, точно генерал замерз. Все лицо его было в крови.

На блестящего Мюрата этот тучный суслик не подходил.

Французу помогли слезть с коня. Он озирался кругом, с растерянным видом смотрел на генералов — Беннигсена, Милорадовича, Уварова, Платова, Вистицкого и других, стараясь угадать, кто из них Кутузов. И не обращал внимания на самого Кутузова, одетого проще остальных.

Михаил Илларионович подошел к нему и спросил по-французски:

— Как вы себя чувствуете?

Кутузов увидел: кровь была не только на лице; в крови вся синяя генеральская шинель. Француз стоит неуверенно — не то пьян, не то его сильно помяли русские.

Главнокомандующий крикнул:

— Лекаря скорей!

— Маршал! Я генерал Бонами, который брал ваш редут! — наконец догадавшись, кто здесь старший, сказал француз и начал вытирать грязным платком жирное лицо, еще больше размазывая по лбу и щекам кровь.

Кутузов обернулся к Ничипору, державшему флягу и большой серебряный стакан:

— Налей полный!

Взяв стакан, Кутузов подал его Бонами.

— Пожалуйста, несколько капель вина, — предложил Михаил Илларионович.

Бонами охотно взял стакан, выпил и, улыбнувшись, стал что-то быстро говорить. Он жестикулировал и ругался по-солдатски, повторяя:

— Казак... казак...

Заниматься этим «добрым другом» Кутузову было некогда: сообщили, что французы чуть было не захватили

Центральный курган Раевского, но Ермолов отбил штурм, причем начальник артиллерии генерал Кутайсов убит.

Михаил Илларионович только сжал губы: неприятно!

А Багратионовы флеша французы все-таки в конце концов взяли.

Перед флешами и на них громоздились горы трупов — поверженные кони и люди.

Дохтурову пришлось отойти за овраг.

Было по-настоящему жарко. Потери большие, но немалые потери и у Наполеона. Сегодня французам приходилось драться, а не маневрировать.

Бой не прекращался ни на минуту.

«Потеснив наш левый фланг, Наполеон, конечно, набросится на центр. И совершенно ясно: у Наполеона нет сил, чтобы одновременно ударить по правому флангу. Следовательно, можно еще передвинуть к центру войска с правого».

Кутузов приказал Милорадовичу, командовавшему правым флангом, отправить на подмогу центру 4-й пехотный корпус Остермана и 2-й кавалерийский Корфа.

Солнце стояло на полдне.

Французы скапливали силы для удара по центру.

«А вот мы вам поставим банки, оттянем немножко ваши силы», — подумал Кутузов и подозвал шеголеватого Уварова. Командующий приказал Уварову и Платову обойти левый фланг Наполеона и ударить по его тылам.

Михаил Илларионович снова сел на скамейку и, уронив руки на полные колени, стал ждать результатов.

Огонь не прекращался. Теперь французы перенесли его на центр русского расположения.

Кутузов сидел, поворотясь спиной к французам. Он смотрел не на Семеновскую, а на деревню Маслово.

«Ну скоро ли, скоро?»

Он волновался — то снимал бескозырку и сидел, подставив седую голову под осеннее солнце, то не спеша вынимал из кармана фуляровый платок и протирал слезящийся правый глаз.

«Да когда же они там?»

Время тянулось, как всегда в ожидании, черепахой.

Наконец справа донеслось далекое «ура».

Михаил Илларионович поднялся и стал смотреть в трубу туда, за Бородино.

В Бородине зашевелились. По дороге в Беззубово, где стояла кавалерия французского генерала Орнано, под-

нялась пыль. От Бородина торопливо шли, почти бежали, батальоны итальянской пехоты.

«Ага, забрало!» — весело подумал Кутузов.

Огонь в центре стал понемногу ослабевать.

Солнце уже шло к западу.

Наполеон потеснил левое крыло русских, но не разбил армию Кутузова: русские стояли так же твердо, как и раньше.

Кутузов продолжал время от времени смотреть в трубу на дорогу, ведущую из Бородина на север.

Вот уже от Беззубова потянулись назад французские колонны. Очевидно, Уваров унесся назад. Орудийного огня оттуда не слышалось: стало быть, Уваров не догадался воспользоваться своей конной артиллерией, а попытался атаковать одной конницей.

— Ах, бездарный «жё сир»: упустил момент!

Михаил Илларионович сидел, уронив руки на колени.

Прошло с полчаса. Сзади слышались торопливые шаги и звон шпор, и к главнокомандующему подошел потный, возбужденный генерал Уваров.

Федор Петрович рапортовал Кутузову о том, что он гнал итальянскую кавалерию до реки Война, но дальше продвинуться, к сожалению, не смог, так как плотину на реке заняла пехота.

— Я все знаю. Бог тебя простит! — только и сказал главнокомандующий.

Уваров отошел к свите красный и улыбающийся — он по простоте душевной все-таки считал себя героем.

Михаил Илларионович повеселел: все же как-никак, а Наполеон потерял два дорогих часа. Итальянской пехоте пришлось бежать на выручку кавалерии Орнано и своих обозов в тылу, а потом возвращаться назад к Бородину. Полки измучились, и им теперь не до атаки.

Нападение французов на русский центр сорвалось.

Наполеон, обозленный неудачей, усилил артиллерийский огонь. Он выставил из резервов еще сотни пушек и начал громить всю русскую линию.

— Не горячись, приятель, не горячись! — беззлобно приговаривал Кутузов.

Он считал, что главное сделано: французы не смогли сломить русскую доблесть, им не удалось пробить пехотой и кавалерией центр русских, а одной артиллерией многого не достигнешь!

И тут невольно вспомнился далекий героический Измаил. Вспомнилось Кутузову, как он только хотел послать к Суворову просить сикурсу¹, а Александр Васильевич назначил Кутузова комендантом Измаила, хотя до овладения неприступной крепостью было еще очень далеко.

Надо поднять дух войска, сказать: завтра пойдем вперед! Чтоб не думали, что француз берет поверхность!

Кутузов подозвал адъютанта Граббе:

— Поезжай, голубчик, по всей линии и поздравь всех с отражением неприятеля. Предупреди: завтра мы атакуем французов!

Михаил Илларионович снял бескозырку и провел ладонью по лицу, вытирая пот. И в первый раз за весь трудный, жаркий, но героический день улыбнулся:

— А вот же Наполеон ничего не добился! Молодцы! Устояли!

VII

Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.

Лев Толстой. «Война и мир»

День угасал, солнце заходило в тучу. Жестокая артиллерийская дуэль, которая сменила атаки пехоты и кавалерии, затихла.

Наполеон не смог ни разбить, ни обратить в бегство русскую армию. Она стояла на новой позиции за Горицким и Семеновским оврагами такая же решительная и непоколебимая, как и десять часов тому назад.

Кутузов с облегчением вздохнул: непрерывный пушечный гул наконец-таки прекратился. Он в последний раз глянул в трубу на ужасное поле боя. Долины, холмы и овраги были покрыты телами убитых и раненых. Особен-

но много людей и лошадей лежало у Центрального кургана. Здесь трупы громоздились друг на друга в несколько рядов. Там и сям валялись подбитые пушки и остовы зарядных ящиков, стадами бродили искалеченные, раненые кони.

Кутузов решил ехать в главную квартиру — в Горках оставался Барклай де Толли, один из героев сегодняшней битвы.

Барклай появлялся в самых опасных местах боя. Незаслуженно оскорбленный, он искал смерти. В полной генеральской форме, с тремя звездами на груди, он представлял прекрасную мишень. Под ним убили трех лошадей, почти все его адъютанты были ранены, а двое убиты. Вся армия, все, кто видели Барклая в этот день, превозносили его мужество и хладнокровие.

— Я никогда не сомневался ни в искренности его, ни в храбрости, — говорил Кутузов, когда ему указывали на беспримерное поведение в бою Барклая.

Кутузов сел в коляску и поехал в Татариново. Только теперь он почувствовал, насколько устал, а впереди предстояло так много работы: в эту ночь нужно было учесть оставшиеся силы и подготовиться к бою.

Проезжая мимо господского дома в Михайловском, Кутузов увидал, что в главном полевом госпитале еще кипит работа. Весь двор был заставлен телегами, на которых увозили раненых в Москву. В свете костра, горевшего посреди двора, маячили серые кафтаны ополченцев, доставлявших раненых с поля боя.

Кое-где у дороги уже виднелись свежие могильные холмики, на которых стояли связанные лозой кресты из веток.

Татариново снова оживало: возвращались генералы, штабные офицеры, ординарцы, денщики.

Ожидая, пока повар подогреет обед, Кутузов лежал на постели и слушал, как в зале писаря рассказывали разные эпизоды сегодняшнего сражения:

— Ну и жарня сегодня была! Ну и побоище! У самого черта борода тряслась!

— Какой молодец Барклай! Какая дивная храбрость: он не выходил из огня! Под ним убило пять лошадей!

— Не пять, а всего четыре!

— И перебило почти всех адъютантов!

— Ламсдорфа, рыжего длинного гусара, во время атаки застрелил из пистолета французский драгун.

¹ Сикурс — помощь.

— Барклай сам отбивался — он проколол шпагой трех драгун.

— Барклай фехтовальщик знатный!

— А слышали, что сделал Милорадович? Когда увидел, как Барклай хладнокровно стоит под пулями, он сказал: «Барклай хочет меня удивить?» Милорадович встал на самом перекрестном огне и приказывает ординарцу: «Давай завтракать!»

— Да у Милорадовича всегда ничего нет. Он добрая душа — все раздает. Мне рассказывал его ординарец. Приедет Михаил Андреевич к своей палатке, говорит денщику: «Давай ужинать!» — «Да у нас, ваше превосходительство, нечего: давеча вы за обедом угощали гусар». — «Ну так давай трубку!» — «Табак весь вышел!» — «Ну давай бурку!» Завернется — и спать.

— А Дохтуров, как заступил вместо князя Багратиона, слез с коня, сел под огнем на барабан и говорит: «Никуда отсюда не уйду!»

— Зато Михайло Ларивонович и обнимал его!

— Разная бывает храбрость. У Барклая во время сражения не заметишь никакой перемены ни в речи, ни в движении, ни в лице, а Коновницын делается под огнем веселее и командует громким голосом.

— А Багратион становится молчаливее.

— А Беннигсен, как попадет под пули, знай облизывает губы.

— Это у него они сохнут от трусости.

— Господа, слышали, как начальник шестого корпуса генерал Костенецкий лупил банником налетевших на батарею польских улан? Словно Алеша Попович: вправо махнет — улица, влево — переулочек...

— Костенецкий может, он силач — единорог¹ сам поворачивает.

— А каково попарились в Бородине наши гвардейские егеря?

— А что?

— В Бородине главнокомандующий оставил три батальона егерей, а там почти при каждом доме баня. Вот они и давай мыться, париться. Два батальона успели до зари, а третий только стал париться, а тут бой начался. Итальянцы и поддали егерям жару! Половина егерей и легла...

¹ Единорог — гаубица.

— Зато мытые, чистенькие...

После обеда Михаил Илларионович сел со своими полковниками готовить рапорт царю о сражении при Бородине и письмо Ростопчину. Он знал, что Москву особенно волнует исход сражения. Если немедленно не послать реляцию Ростопчину, то «сумасшедший Федька» разведет такое, что хоть святых вон неси!

Кутузова очень тревожило состояние левого фланга. Никто не знал, какие потери понесли армии, и особенно 2-я. Главнокомандующий послал Толя разузнать все на месте.

Толь вернулся из поездки в десятом часу вечера. Выяснилась неутешительная картина: убыль в полках была громадная — в некоторых уцелело меньше батальона.

— В Ширванском осталось девяносто шесть человек, в Сибирском драгунском сто двадцать пять, в Астраханском кирасирском девяносто пять, — докладывал Толь. — Полками командуют подпоручики. В Одесском пехотном старший офицер — поручик, Тарнопольским командует фельдфебель. Я подъехал к небольшой группе солдат и, зная уже, сколько может оставаться людей в полку, спросил: «Какой это полк?» А мне отвечают: «Это, говорят, не полк, а сводная графа Воронцова дивизия!» Вот те на! Ваше сиятельство, нечего и думать идти вперед! — махнул рукой Толь.

— Но и у французов, видно, не веселее, — вставил Кайсаров.

— Наполеон переломал о нас свои зубы, да жаль, что нам пока что нечем повышибить у него последние! — сказал Кутузов. — Куда же там наступать? Отойдем, подкрепимся, тогда уж. А теперь пиши, Паисий, приказ об отходе армий за Можайск. Арьергард поручаю Платову. Да пошлите кого-нибудь к генералу Барклаю де Толли предупредить об отходе!

Адъютант Граббе был послан в Горки к Барклаю де Толли с приказом Кутузова отводить войска за Можайск.

Холмы и долины, на которых еще так недавно кипела кровавая сеча, тонули в кромешной тьме осенней ночи. Лишь кое-где горели одинокие неяркие костры, к которым со всех сторон тянулись искалеченные люди. Мало огней светилось и за Колочей. Отовсюду доносились стоны и мольбы раненых.

Граббе не без труда нашел в Горках единственный уцелевший двор, в котором разместился штаб. У разломанного крыльца дремал часовой. Сквозь разбитые окна из дома доносился разноголосый храп.

Граббе насилу дозволялся барклаевского денщика. Солдат вышел к нему лишь тогда, когда услышал, что Граббе приехал от самого главнокомандующего. Денщик высек огонь, зажег огарок свечи. Граббе ступил за денщиком на порог избы. В неверном, колеблющемся свете огарка Граббе увидел странную картину: на полу, на соломе лежали вповалку люди в нелепых позах. Виднелось шитье штаб-офицерских мундиров, шарфы, торчали сапоги со шпорами. Стараясь не наступить на лежащих и смешно балансируя, денщик пробрался кое-как в самую середину тел и затормошил кого-то:

— Ваше высокопревосходительство, проснитесь! От его сиятельства прибыли!..

Из кучи тел выглянула знакомая лысина Барклая, и вот он встал, длинный, заспанный и какой-то домашний, в сорочке, без генеральского мундира, в котором был сегодня в сражении.

— Кто это? В чем дело?

— Приказ его сиятельства! — доложил Граббе и передал Барклаю бумагу.

Командующий 1-й армией нагнулся к свече денщика, прочел приказ и закричал:

— Что, отступать?!

Спокойный Барклай де Толли был взбешен донельзя. Он ругался по-русски и по-немецки, не стесняясь своих офицеров, которые проснулись от его крика и тоже были изумлены таким приказом: в русской армии все были убеждены в своей победе. Барклай ругал Беннигсена. Он считал Беннигсена единственным виновником отступления.

— Я поеду сам к князю!.. Я поговорю!.. — заторопился Барклай, сдергивая с гвоздя висевший на стене парадный мундир со звездами.

— Ваше превосходительство, вторая армия генерала Дохтурова уже двинулась к Можайску, — сказал Граббе.

Барклай от огорчения только развел руками. Приходилось подчиняться обстоятельствам и отходить.

Впервые за всю кампанию Барклай де Толли был возмущен отступлением русской армии.

Воины! Вот сражение, которого вы столько ждали!

*Из приказа Наполеона
к Бородинскому бою*

Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми.
Наполеон

Наконец свершилось то, о чем три месяца только и мечтал Наполеон, чего нетерпеливо, хотя и без особого удовольствия, ждала его армия: русские остановились и приняли генеральное сражение, навязанное им французским императором.

В течение десяти часов армия Наполеона беспрерывно атаковала позиции русских. Солдаты действовали так, как призывал их в своем воззвании, прочитанном перед боем, император: они сражались с такой же яростью, как при Аустерлице и Фридланде, но день проходил, а успеха не было.

Наполеон бросил на русские редуты тысячи ядер и гранат, слал на них в атаку одну дивизию за другой.

Но ни артиллерии, ни пехоте не удалось сломить русских. Удивленный, разгневанный, Наполеон решил:

— Победа не дается артиллерии и пехоте? Ее принесет мне кавалерия!

«Тяжелые латники Европы прорвут своей несокрушимой мощью линию войск Кутузова, разрежут ее пополам. Драгуны и уланы довершат удар, а гусары и шеволетеры дорубят бегущего, разбитого врага», — думал он.

И Наполеон кинул на русские редуты французские, прусские, польские, саксонские, вестфальские, баварские эскадроны Нансути, Монбрюнна, Латур-Мобура, Груши.

Конница усеяла трупами людей и лошадей бородинские поля, но не смогла добиться победы.

Мюрат и Ней клялись, что русские едва стоят, умоляли императора пустить в дело гвардию.

Наполеон не поверил этим горячим головам — Мюрату и Нею — и послал рассудительного маршала Бессьера посмотреть.

Бессьер увидал: русские в полном порядке стоят на хороших позициях и не обнаруживают никаких признаков расстройства.

— Ну что же русские? — запальчиво спросил у Бессьера Наполеон.

— Стоят, ваше величество, — ответил маршал.

Когда после боя у Шевардина Наполеон удивлялся стойкости русских, Коленкур сказал ему: «Русских мало убить, их надо еще повалить». Наполеон тогда хвастливо заметил: «Я их повалю! В день сражения у меня будет вся резервная артиллерия!»

Эти слова вспомнились ему теперь.

— Русские стоят? Им еще мало? Так дайте ж им еще огня! — в бешенстве, в бессильной злобе крикнул Наполеон.

Император приказал выдвинуть из резерва всю артиллерию и громить русскую линию от Горок до Утицы.

Артиллеристы старались как могли.

Ветер относил дым и огарки от пороховых картузов на людей и пушки. Орудия от самых дул до затравок закоптились и стали черно-сизыми. Артиллеристы походили на трубочистов.

Два часа била, не умолкая, французская артиллерия, но русские не поколебались — они не дрогнули и не бежали.

День прошел, пролетел, как один миг. Солнце закатилось. Надвинулся хмурый холодный вечер.

Поле боя еще дымилось и не хотело затихать. Гром сотен орудий умолк, но его сменили предсмертные стоны тысяч умирающих и вопли и крики раненых о помощи.

Пригорки, долины, пашни, перелески, овраги были полны трупов людей и лошадей, разбитых лафетов, зарядных ящиков и повозок, земля покрыта ядрами, осколками гранат и картечи, словно градом после неистовой бури. Лица солдат почернели от пороховой копоти, голода и изнеможения, их разноцветные мундиры покрылись пылью и кровью.

Все было как всегда после большого, кровопролитного сражения, но вместе с тем все было по-иному.

У ног Наполеона не складывали пестрых, шелковых клочков неприятельских знамен и штандартов. Мимо полосатых императорских палаток не тарахтели десятки захваченных орудий, не тянулось с поля боя потрясенное

многотысячное стадо пленных, с суеверным ужасом смотрящих на Наполеона.

Только по числу пленных всегда судили о победе, а сегодня за весь день — стыдно сказать! — их едва набралось семьсот человек!

Кроме гвардии, которая проскучала за спиной императора весь день и потому сохранилась в полном порядке, все дивизии и полки «великой армии» оказались перемешанными и расстроенными. Эскадроны кавалерии представляли странную смесь: медная каска кирасира очутилась в одном ряду с конфедераткой польского улана и меховой шапкой конноегеря. Адъютанты и ординарцы не могли отыскать своих генералов.

Когда артиллерийская дуэль окончилась, император спустился с Шевардинского холма к Семеновскому, чтобы самому посмотреть этот вспаханный снарядами кусочек поля боя.

Никогда оно не имело столь ужасного, мрачного вида.

Наполеон заставлял переворачивать трупы, чтобы посмотреть, чем убиты люди. И, как артиллерист, получал полное удовлетворение: многие из них были поражены картечью.

На одном редуте император застал человек восемьдесят пехотинцев с пятью офицерами.

— Почему вы не присоединились к своему полку? — спросил капитана Наполеон.

— Весь полк здесь, ваше величество, — ответил капитан.

— Как это? — раздраженно оглянулся, ничего не понимая, император.

— Вот они, ваше величество, — с достоинством ответил капитан, указывая на трупы, окружавшие взятый редут.

Необычным и странным был также сегодняшний молчаливый, угрюмый бивак: голодные, измученные, продрогшие на холодном ветру, войска были вынуждены располагаться без воды и хлеба среди трупов, на голой земле, пропитанной кровью.

Всюду царил уныние. Солдаты были подавлены пережитым. После стольких трудностей и лишений похода, после стойкости и отваги, оказанной в сегодняшнем бою, — в результате не победа, а побоище. И будущее, полное мрачных предчувствий.

Безмолвие заменило прирожденную французскую весе-

лость — не слышалось ни песен, ни шуток, ни острых солдатских словечек.

Не веселее было и в главной императорской квартире на Шевардинском холме.

Куда-то исчезли завязтые лыстецы, которые обычно спешили поздравить императора с блестящей победой, восхваляли его гений, талантливость маршалов и храбрость солдат. Никто не докладывал Наполеону о том, сколько неприятельских дивизий капитулировало, какие трофеи взяты. Придворные лакеи и пажы, весь бой представшие в укромных уголках, не изображали лихих рубаки и не вспоминали боевые эпизоды дня, о которых они узнавали от адъютантов и ординарцев, не хвастались случайно залетевшим на императорскую кухню ядром.

Маршалы сегодня держались отчужденно и несколько странно.

Самолюбивый Даву смотрел мрачнее, чем всегда. Преданный Бертье отводил глаза в сторону. Пасынок Евгений Богарне виновато улыбался. На лице прямодушного Нея было написано недовольство. Хвастуны и говоруны Мюрат и Себастиани не хохотали, крича: «Ах, как сегодня мы наложили этим канальям!»

Перед громадным костром, который был разведен у императорской палатки, грелись маршалы и штабные генералы.

Царило тягостное молчание.

Наполеон, в раздумье прохаживаясь у костра, услышал, как Мюрат сказал Нею:

— Я никогда не видел сражения, где бы так громила артиллерия. При Эйлау палили не меньше, но ядрами. А сегодня мы сошлись с русскими так близко, что все время били картечью.

— Увы, мы не разбили яйца! — недовольно заметил Ней.

Обычно после окончания генерального сражения император благодарил маршалов за победу, а маршалы в свою очередь превозносили его, но сегодня было иначе. Наполеон чувствовал, видел, знал, что его верные соратники недовольны им: почему он после взятия Центрального редута не пустил в дело гвардию, как умоляли маршалы? Они считали, что тогда бы русские были окончательно разбиты. Все они, разумеется, слишком хорошо помнили его предостерегающие, верные слова: «Генерал, приберегающий свой резерв к следующему дню за сражением, всегда будет бит». По их мнению, сегодня та-

ким нерасчетливым генералом оказался сам Наполеон.

Но сегодняшний случай был из ряда вон выходящим. Маршалы не могли правильно разобраться «на шахматной доске», как всегда говорил о бое Наполеон. Они забыли, что император любил повторять: «Я живу всегда на два года вперед».

Они не понимали его как императора и напрасно осуждали как полководца. И это мучило его.

Наполеон походил у костра и пошел ужинать: днем он почти ничего не ел, только выпил два стакана шамбертена и съел ломтик хлеба.

Окончив ужинать, император позвал к себе государственного секретаря Дарю и главного интенданта Дюма. Император не хотел объясняться с маршалами, он предпочитал растолковать все этим трезвым, практическим людям. Дарю и Дюма скорее поймут его, чем горячий Ней, который в запальчивости сказал, как донесли потом императору: «Что он делает там, позади? Если он перестал быть полководцем и корчит из себя императора, пусть передает дело нам, а сам убирается в Тюильри!»

Император посадил Дарю и Дюма по обе стороны от себя. Сперва он спросил, какие распоряжения сделаны для раненых. Это был не жест человеколюбия, а простой расчет — раненый солдат может еще пригодиться: может снова встать в строй!

Затем император начал говорить о блестящей победе. Наполеон хотел уверить Дарю и Дюма в том, в чем не был вполне уверен сам.

Он говорил и вдруг уронил голову на руки и задремал. Дарю и Дюма сидели за столом, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить императора.

Но минут через десять он проснулся сам.

— Вероятно, многие не понимают, почему я не пустил в дело гвардию? — проснувшись, заговорил он о том, что больше всего мучило его. — Мне нужно беречь моих «ворчунов» для последнего удара перед вступлением в Москву. Успех дня и так был ясен. Мне оставалось позаботиться о таком же успехе всей кампании.

Дарю и Дюма, кажется, поняли его — они не оспаривали и не возражали.

Император встал из-за стола.

Он приказал выдвинуться молодой гвардии и занять позиции против русских, чтобы дать отдых войскам, участвовавшим в бою.

— Сохраняйте за собой поле битвы. Больше я от вас ничего не требую,— сказал он командовавшему молодой гвардией маршалу Мортье.

Потом Наполеон занялся бумажными делами — письмами, депешами, приказами, списками.

Бертье, грызя ногти и гримасничая, вынужден был доложить императору о потерях «великой армии» за сегодня. Убито три дивизионных генерала: Монбрюнн, Коленкур и Шастель — и девять бригадных: Ромеф, Ланабер, Марион, Компер, Гюар, Плосонн, Дамас, Бессьер и Жерар; ранено четырнадцать генералов дивизионных и двадцать три бригадных. Среди раненых были Рапп, Нансути, Груши, Моран, Фриан, Дессе, Компан, Бельяр, Тарро, Пажоль.

Список был ужасный.

Наполеон, выслушав его, побледнел. О смерти или ранении многих из них он знал еще во время самого боя, но не подытоживал этих невозвратимых потерь, а теперь понял, какой урон понесла «великая армия».

Он тут же продиктовал очередной бюллетень. Бюллетень из-под Можайска был так же лжив, как и все предыдущие — из-под Витебска, Гжатска, Смоленска. В русской армии было убито три и ранено четырнадцать генералов, но Наполеон щедро увеличил эти цифры, диктуя:

«Сорок русских генералов было убито, ранено или взято в плен, генерал Багратион ранен».

Совершенно умолчать о своих потерях он не мог — курьеры все равно скажут в Париже, что убит Монбрюнн и ранен Рапп. Арман Коленкур, конечно, сообщит домой о геройской гибели своего брата Огюста. Поэтому Наполеон написал:

«Мы потеряли дивизионного генерала Монбрюнна, убитого пушечным ядром; генерал граф Коленкур, посланный занять его место, спустя час был убит таким же ядром».

Из двенадцати генералов он упомянул лишь о шести, а о тридцати семи раненых сказал в бюллетене так: «семь или восемь ранены». Даже эта цифра показалась Наполеону страшной, и он поспешил прибавить к слову «ранены»: «большою частью легко».

Бюллетеня ему было мало. Он знал, что в Париже

не поверят в такую победу, где нет разгромленных неприятельских армий, сдавшихся в плен дивизий и сотен взятых пушек. Наполеон хотел во что бы то ни стало представить дело так, будто при Бородине победил он. Уже под утро он написал письмо императрице Марии-Луизе: Наполеон знал, что это письмо получит не меньшую огласку в Европе, чем бюллетень.

В письме он сочинял по-иному:

«Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы. Я вчера разбил русских. Вся их армия в сто двадцать тысяч человек находилась тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и шестьдесят пушек. Их потеря может быть исчислена в тридцать тысяч человек. У меня много убитых и раненых».

Здесь тоже не обошлось без хвастовства и обмана,— Наполеон сильно преувеличил численность русской армии и количество пленных и трофеев, но и в письме, как и в бюллетене, все покрывало беззастенчивое, грубое вранье: ни в два часа пополудни, ни в два часа пополудни французы не могли похвалиться победой.

Командующий русской армией Кутузов тоже написал после Бородина письмо своей жене. Он писал кратко и скромно:

«Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием».

Написать так Кутузов имел больше оснований, чем Наполеон.

Глава шестая

НАРОД НА ВОЙНЕ

I

В воскресенье 25 августа виленцы, которые накануне ночью отошли со всей 27-й дивизией от Шевардина за лошину, приходили в себя после вчерашнего ожесточенного боя. Потери у виленцев были большие: полком уже

командовал майор, а 1-м батальоном, где служил Черепковский, — поручик. В капральстве Черепковского недовставало многих: Тарас Гринченко был ранен, Иоганн Фридрихсон — ранен, Осип Феклистов — ранен, Парамон Аржаных — убит, Ян Карельске — убит...

— Везет же нам — всегда в самое пекло попадаем!

— Ну и французы валило — аж черно! Столько вражьей силы собралось, что и плюнуть негде, если штыком места не очистишь!

— А все-таки редут остался за нами — сами ушли! — вспоминали виленцы вчерашний бой у Шевардина.

От деревни Шевардино не осталось ничего — одни головешки; но на огородах сегодня хозяйничали французы: дорывали последнюю картошку. Виленцы стояли в ольховом и березовом мелколесье, сливавшемся с опушкой большого леса.

Впереди 27-й дивизии располагалась сводная гренадерская Воронцова.

Утром 26 августа, когда забушевала артиллерийская канонада, виленцы оказались в лучшем положении, чем остальные полки: они были не на открытом месте. Но это продолжалось недолго. Французы наседали, и раздалась привычная команда: «На руку!» Полк пошел отбивать штыками французов.

Идти локоть к локтю было нельзя — мешали кусты. Левон Черепковский шел рядом с дружкой Савелием Табаковым. Держались вместе, чтобы помочь друг другу в схватке, но, как назло, у самой опушки на пути попались густые кусты, и приятели на минуту разлучились. Черепковский взял чуть влево, выскочил на прогалину и обомлел: прямо на него шла с ружьями наперевес целая рота французов. Черепковский сунулся было назад, но его нагнали, ударили прикладом по голове: отняли ружье, сняли перевязь, портупую и ранец.

Кровь текла по глазу и щеке. Черепковский уже читал про себя молитвы — он сразу же вспомнил, что говорили в армии: французы раненых убивают, а здоровых ставят в строй и принуждают идти против своих же. Два тощих черномазых стрелка погнались к Шевардину:

— Але! Але!

Не успели выйти из перелеска, как французский стрелок подвел к Черепковскому Савелия Табакова. Савку

не прибили, а только отняли у него оружие, но почему-то оставили ранец.

— Вот, брат, попались, — огорченно шепнул Черепковский товарищу.

Но ему стало все-таки как-то веселее: на миру и смерть красна!

Табаков молчал, сжав от злости зубы. Смотрел волком.

Французы лопотали непонятное и вели их к Шевардину. Русские ядра с воем проносились над головой. Все знакомое шевардинское поле было густо покрыто пехотой и кавалерией.

— Ишь сколько их, чертей, тут собравши! — буркнул Табаков.

— Гляди, гляди, кажись, сам Аполиён! — зашептал Черепковский, указывая вперед.

На высоком Шевардинском холме, с которого было прекрасно видно все — Горки, Семеновское, Татариново, — сидел на складном стуле, вытянув одну ногу на барабан, небольшой человек в простом сером сюртуке без эполет. Черная треуголка была низко надвинута на лоб. Сзади за ним стояла многочисленная нарядная свита — генералы в лентах и орденах. Блестели шитые золотом мундиры, ярко начищенные каски, кирасы. А за свитой выстроились солдаты — усатые, бородатые дяди в синих мундирах с красными эполетами, в белых жилетах и таких же белых (вот не замарали же, приберегли!) штанах. На головах у солдат торчала высокая, как доброе ведро, медвежья шапка.

— Я видал его патрет. На патрете Аполиён — худ и черен, а на самом деле вон каков гусь! Жирный да белый! — сказал Табаков. — Птичка невеличка, а ноготок востер!

— А это за ним, верно, гвардия. Ишь какие гладкие! Отъелись! — прибавил Черепковский.

Чуть впереди 1-й роты гвардейцев стояла их музыка и играла что-то веселое, отчего ноги сами шли.

Пленных поставили у холма. Заборов, у которых виленцы располагались вчера, не было уже и в помине.

От Шевардина не осталось ни дома — все сгорело. Недаром когда дрались, было светло как днем; не верилось, что кругом ночь, и, только отойдя за лошину, увидали: на дворе-то темным-темно.

Табаков стоял потупившийся, злой, не глядел ни на кого, а Черепковский смотрел, хоть одним правым глазом — левый затек, распух.

Вон колодец. У него торчит в такой же медвежьей шапке часовой. За колодцем красивые, большие бело-голубые палатки. Возле них какие-то люди в белых штанах до колен и расшитых кафтанах.

«Неужели такие молодые генералы? И без шпаги...» — рассматривал их Черепковский.

Один понес из палатки куда-то на подносе графин, другой шутя ударил его по загривку.

«Нет, это не генералы. Похоже — лакеи».

Вон высунулась из палатки что-то жующая толстая рожа в белом колпаке.

«Должно, повар. Все евонный, Аполиёнов».

Верховые — ординарцы и адъютанты — драгуны, гусары, уланы скакали к холму и от холма с донесениями и приказами.

Пленные стояли уже с час. К ним присоединили еще трех русских гренадер, когда на них обратили внимание. К пленным подскочил какой-то вертлявый человек в мундире, вышитом золотом, и на чистейшем русском языке спросил:

— Какой дивизии, братцы? Какого полка?

Пленные молчали.

Увидев, что у Черепковского разбита голова, он вроде посочувствовал:

— Никак ранен, любезный?

Черепковского разбирала злость: подлая твоя душа, продаешь родину за золоченый мундир!

— Что ты о нас печалишься? От смёртухны и сам не уйдешь. Вот как потянут черти твою душеньку через ребра, тогда познаешь, как изменять родине! — ответил Черепковский и отвернулся.

Противно смотреть на мерзавца!

— Не, братки, я не русский, я природный француз, а только долго жил в Москве. А отвечать каждый должен: такой заведен порядок во всех армиях. Наши к вам попадут — их станут допрашивать, они должны отвечать всю правду...

— Пусть они отвечают, а мы не станем! — сказал Табаков.

В это время к пленным подскочил рыжеусый поляк в уланском мундире.

— Якего ты ест пулку? Сколько в пулку жолнеров? Кто з ваших генералов забиты? — строго спросил он у Черепковского.

Черепковский даже улыбнулся: это известный, это знакомый, это «пан». Дома, в Витебской губернии, все помещики — поляки.

«Погоди, я ж тебе отвечу!» — подумал он.

— Паночек, а где бы тут сходить до ветру, чтоб не страмить генеральство? — прикидываясь дурачком, спросил поляка Черепковский.

Поляк рассвирепел. Он схватил Черепковского за грудки и, оглядываясь на холм, где сидел Наполеон, прошипел со злостью:

— Пся крев! Гицель! Лайдак! Твое счастье, что император близко, а то...

Он с силой отшвырнул от себя Черепковского и, ругаясь, отбежал вместе с французом к своим.

Через минуту к пленным подъехал молодой польский улан и скомандовал:

— Марш!

Подгоняя пленных тупым концом пики, улан погнал их к Доронину. Пленные шли и смотрели по сторонам. Их сердце радовалось: от линии боя в тыл несли и вели десятки раненых французских солдат и офицеров.

— Что, голубчики, аль, напоролись? — кивнул Табаков.

У Доронина Черепковский обернулся назад — посмотреть, как стоят наши, чья берет. Но за Шевардинскими высотами только подымался вверх густыми клубами сизый пороховой дым и воздух сотрясался от беспреывного тяжелого, многоголосого гула орудий.

II

Пленных целый день продержали в поле за сожженной деревней Фомкино. Их набралось человек до ста, в большинстве пехотинцев. Кавалеристы и артиллеристы попадали в плен меньше.

Пленные с тревогой поглядывали на восток, где кипел, не умолкая, бой. Земля дрожала от гула сотен орудий. Клубы порохового дыма, словно грозная, черная туча, застилали весь горизонт, не рассеиваясь ни на минуту.

Русские солдаты беспокоились, устоят ли наши.

Настроение у пленных было невеселое. Им казалось: если они попали в беду, то дело вообще плохо. Они видели все в мрачном свете:

— Где там устоять? Эдакая силища!

— Что сила? Ай не видишь, сколько они раненых волокут? И подкреплений нет — одни обозы, — возражали более спокойные.

По виду обозных нельзя было сказать, что французы побеждают. Да и раненые, которых несли и везли с поля боя, что-то не очень хвастались успехами.

День проходил. Обозы оставались на прежних местах: стало быть, французы не сбили русских с их позиции у Бородина.

Под вечер пленных, не покормив ни разу за день, погнали к Гжатску.

— Не успели умереть за отечество, натерпимся в неволе, — сокрушался курносый Табаков. Всегда веселый, даже он приуныл.

— Помереть за родину никогда не поздно, — ответил Черепковский, шедший с ним рядом.

— Что толку-то помереть лишь бы как! — бурчал Табаков.

— А я разве советую тебе вешаться вон на той березе?

— А что же делать?

— Разбить конвой и бежать. Нас тут человек около сотни, а уланы только десять.

— Надо подговорить людей! — оживился Табаков.

Черепковский и Табаков, незаметно переходя по рядам, стали подбивать товарищей, но соглашались не все.

— Не привел господь погибнуть в стражении, так, значит, нечего задаром и помирать: мы ведь без оружия, а у них вон и пики, и сабли, — сказал старик канонир.

С ним соглашались и высказывали примерно те же соображения многие.

— Лучше теперь пропасть, чем дожидаться, как заведут невесть куда и запишут в полк. Видал, кого меж ними нет — всякой нации. Думаете, все по доброй воле идут? И с нами тоже не больно станут разговаривать, — усовещивал малодушных Табаков.

Все-таки нашлось человек двадцать, решивших попытаться бежать из плена. Черепковский и Табаков собрали их возле себя.

— Теперь, Левон, ты будешь нам всем за командира, — сказал Табаков, — Делай как знаешь, а мы должны тебя слушать!

— Ладно, ребята. Примечайте только дорогу! — ответил Черепковский.

В сумерки пришли в какое-то еще не сожженное и не покинутое жителями село. Пленных поместили в большом сарае. У двери оставили двух спешенных улан — остальные разбрелись по селу покормиться и пограбить.

Черепковский решил воспользоваться слабостью караула. Он сказал нескольким товарищам, чтобы они затеяли притворную драку, а сам приготовился напасть на караул.

Услышав шум, уланы с проклятиями и руганью смело раскрыл дверь и вошел в полутемный сарай.

Черепковский ударил его по голове колом. Улан упал. Пленные, решившие бежать, кинулись в полураскрытую дверь, смяли второго улана, стоявшего у сарая, и бросились в разные стороны наутек.

III

Дружки — Черепковский и Табаков — бежали вместе. Они кинулись за сарай в кусты, а потом перемахнули через болотце в лес. На опушке леса приостановились, ожидая товарищей, но все бежавшие рассыпались в разные стороны.

Тем временем в селе поднялся переполох, послышались крики и выстрелы.

— Собирали-собирали дружину, а остались только вдвоем, — усмехнулся повеселевший на свободе Табаков.

— Надо уходить. Не стоять же нам тут! — сказал Черепковский.

И они пошли лесом на север, стараясь уйти подальше от Смоленского большака.

Небо затянулось тучами, окончательно стемнело. Они вышли на какой-то луг, уставленный стогами сена.

— Дальше не пойдем. Переночуем здесь, — предложил Черепковский.

— Вот тебе и ночлег: воздушным плетнем обнесу да небом накроюсь, — говорил Табаков.

— Зачем так? Мы в стогу переспим.

Дружки вырыли в стогу логово и улеглись, прижавшись спинами друг к другу.

Проснулись озябшие и голодные. Всходило солнце.

Покурили и тронулись дальше перелесками и полянами. Чувствовалось, что близко деревня.

И вот она показалась впереди. В деревне голосисто пели петухи.

— Если петух цел, значит, франц еще сюда не добрался,— говорил Черепковский, выходя из кустов на проселочную дорогу.— И собаки не брешут,— стало быть, никого чужого нет.

— А глянь, Левон, у крайней избы — караул. Вишь, бородач с трубочкой ходит? И вилы в руке. А поперек улицы бревна навалены. Застава.

— Ну так что ж, что застава? Мы же люди свои,— ответил Черепковский, продолжая идти к деревне.

Не успели они пройти и десятка шагов, как деревенский караульщик их заметил.

Собственно, заметили мальчишки, вертевшиеся вокруг караульного. Бородач, занятый своей трубочкой, может быть и не так скоро увидал бы непрошенных гостей, но мальчишки застрекотали как сороки и кинулись по домам.

Бородач свирепо выставил вперед вилы и закричал издалека:

— А ну стой! Не ходи!

— Не бойся, дяденька, мы — свои, русские. Мы убегли из плена,— предупредил Черепковский, не думая останавливаться.

— Да у нас и оружия нет,— прибавил Табаков, растопыривая руки.

— А за плечами-то у тебя что? — недоверчиво косился бородач.

— Пустой ранец! — Табаков шлепнул по ранцу ладонью.

Бородач опустил вилы.

Дружки подошли к бревнам.

В это время отовсюду сбежались мужики — кто с топором, кто с косой,— их привели осмелевшие ребята.

Мужики окружили Черепковского и Табакова, с любопытством разглядывая их, словно никогда не видели солдат.

— Откуда вы, служивые?— спросил один из мужиков. На нем был не кожух, а суконный кафтан, седая борода аккуратно расчесана — сразу видно: староста.

— Из плена,— ответил Табаков.— Вчерась за Можайском было большое стражение. Там нас и захватили.

— Слыхали. От пушечного грома и у нас небо разрывалось. Это за Колоцким монастырем,— степенно сказал староста.— А кто у нас командует? Всё немцы? — спросил он.

— Нет, генерал Кутузов,— ответил Черепковский.

— Не слыхать было такого...

— Заслуженный генерал — у самого Суворова помощником был. У Суворова плохих не бывало,— объяснил Табаков.

— Ну, хороший аль плохой — там видно будет, а главное — русский! — успокоился староста.

— И кто же вчерась побил? Наши аль ихние?

— Неужто Аполиён? — допытывались крестьяне.

— Мы не знаем. Вечером наши еще стояли на месте,— ответил Черепковский.

— Значит, француз скоро и к нам припожалует? — спросил бородач.

— Все может стать...

— И мы так думаем,— завладел разговором староста.— У нас в округе все мужики решили не сдаваться, встретить «гостей» по-русски, с топорами да вилами. Потому вот и караул поставили.

— Караул дело неплохое, да не так надо бы,— сказал Черепковский.

— А как же?

— Что же это вы держите караул у самой деревни? Вы бы выслали дозор подальше. Вон у вас березки растут,— обернулся Черепковский,— на них и посадите ребятшек, у кого глаза повострее. Как увидят, что с большака к вам кто-либо собирается, пусть бегут предупредить. А то под самой деревней караулите. Хорошо, что мы — свои, а если б это француз? Не успели бы поднять на ноги народ, как дядю,— кивнул он на бородача,— уколошили б и вас врасплох взяли бы.

— Слободно.

— Верно!

— Солдат правильно говорит.

— Знамо, ихнее, военное дело. Он больше нашего и ведаёт,— одобрительно загудела толпа.

— А что же вы, служивенькие, думаете дальше делать? — спросил староста.

— Пробиваться к армии, чего же нам делать-то? — ответил Табаков.

— А вы оставайтесь пока у нас. Будете за командиров.

— Верно, оставайтесь! — заговорили мужики.

— Кто из вас старший? — смотрел на дружков староста.

— Мы одного чина — рядовые. Но пусть Левон командует: он способнее и повыше, и нос у него как у начальника,— сказал любивший пошутить Табаков.— А я — курнос. А курносых и святых нет...

— У него и глаз подбитый,— в тон Табакову прибавил кто-то из толпы.

— Ну что, Левон-батюшка, согласен быть у нас за начальника? — спросил староста.— Я человек по этой части темный, в солдатах не был...

— Еще бы ты был,— насмешливо, но вполголоса заметил кто-то.

Черепковский улыбнулся:

— Мы согласны. Только сперва... поесть бы. Вторые сутки не евши.

— И правда, что же это мы держим людей у околицы? Пойдем ко мне,— предложил староста.

— Солдату и еда — служба,— оживился Табаков.— Горнист играет — ему отказаться невозможно: какой на него порцион отпускается, солдат завсегда обязан съесть!

И Табаков уже перелез через бревна, чтобы идти вслед за старостой.

Но Черепковский стоял на месте.

— Коли хотите, чтобы я командовал, так давайте уж сразу делать по-военному. А ну, ребятаж,— обернулся Черепковский к мальчишкам,— трое бегите вон к тем березам. Да погодите. Пусть один влезет повыше на дерево и смотрит, а двоим оставаться внизу. Как чуть увидишь, что с большака кто повернет к нам, кричи вниз. А нижние — во весь дух бегите ко мне. Только не вздумайте все трое влезать на дерево: пока слезете, конный француз раньше вас будет в деревне. Поняли?

— Поняли, дяденька Левон! — хором отвечали мальчишки.

И не трое, а добрый десяток их помчался к березам — только босые пятки замелькали.

IV

Староста повел гостей к себе.

Кое-где из-под ворот на них лаяли собаки.

— Цыц вы, проклятые! — топал ногой на злых шавок староста.

— Не беспокойтесь, дяденька, пушай себе лают! — весело говорил Табаков.— Одной ли только деревни облают солдата на его веку собаки? Пустое!

Они подошли к большому дому старосты.

Староста хорошо попотчевал дружков.

Мальчишки-дозорные не сообщали ничего тревожного, и Черепковский с Табаковым сидели, отдыхая.

Степанный Левон Черепковский остался в красном углу за столом. Он курил, разговаривая с мужичками. В избу набилось много народу послушать солдатские рассказы.

А курносый Табаков пристроился со своим выдавшим виды телячьим ранцем у окна, возле двери. Он приводил в порядок солдатское имущество.

Около него теснились женщины и девушки — невестки и дочери старосты.

У стола шел серьезный разговор — Черепковский рассказывал о французах:

— Ихний солдат, ничего не скажешь, храбер. Под пулями стоит смело, на картечь и ядра идет хоть бы что. И стреляет справно.

— Смотри ты,— покачал головой староста.

— А на штыки — слаб. Колет он не по-нашему, зря: торкает тебя в ногу или в руку, а то кинет ружье и схватит за грудки. И зубами рвет!

— Ах, паскуда!

— Волчья статья! — не выдержали слушавшие.

— Только храбер-храбер, да против нас не выстоит: нежен, душа хлипкая, известно — пан...

А Табаков в это время вел более веселый разговор.

— И что у тебя, служивый, тут? — спросила старостиха, наклоняясь над ранцем.

— В ранце, маменька, у солдата вся хозяйства, окромя сохи да жены, детей да бороны. Шильце-мыльце, белое белильце. Гребень да щетка да старая подметка. Воск да кресало, а денежек мало... — весело сказал обычную солдатскую приказку Табаков, вынимая из ранца полотенце с петухами. — Знаете, желанненькие, солдат, как придет куда на постой, допреж всего развешивает казенную амуницию. Вот попал солдат в ад. Набил в стену колышков, развесил свою сбрую, закурил трубочку, сидит, поплевывает и кричит на чертей: «Не подходи близко, аль не видите — казенная амуниция висит!» Нагнал на чертей страху. Не знают бесенята, что и делать, как от солдата отвязаться. И пришла их на́большему мысль забить в барабан. Солдат как услышал «В поход!», так в минуту собрал амуницию и ну бежать из пекла...

Бабы и девки смеялись.

Черепковский сидел без дела недолго — выкурил трубочку и встал:

— Спасибо, хозяин, за хлеб-соль. А теперь пойдем посмстрим, сколько у нас людей и какая у них оружия. Что у тебя, Савелий, так весело? — спросил он, проходя мимо Табакова.

— Да вот, брат, у нас с хозяйшкой торг идет: тетеньке больно солдатской ранец пондравился. Она дает за него дочку да квочку. А я прошу еще коровку в придачу! — скороговоркой ответил Табаков.

— Бросай свой ранец, пойдем посмотрим, сколько у нас воинов.

Табаков быстро складывал свое разложенное на лавке имущество в ранец, говоря:

— Да ладно, я не в него, — кивнул он на уходившего с мужиками из избы Черепковского. — Вот поношу ранец еще годочков тридцать — даром отдам!.. Надо идтить ваших мужиков учить!

— Велика ли солдатская наука? — лукаво усмехнулась старшая старостихина дочка.

— Говоришь, невелика? — встал Табаков. — А ну-ка, скажи, где свету конец?

Девушка молчала, улыбаясь.

— В темной горнице — там свету конец! — выпалил Табаков и, подмигнув девушке, вышел из избы.

— Веселый, ловкий солдат! — говорили девки.

— А тот, носатый, настоящий командер: строг, не улыбнется, — оценивали бабы.

Черепковский собрал на улице всех партизан, чтобы посмотреть, какой отряд будет под его началом.

Когда стали строиться в одну шеренгу молодые и старые, бабы украдкой начали утирать слезы, словно их мужья и сыновья уже собрались на ратный бой. А девушки прыскали в кулак: им было потешно смотреть, как их отцы и дяди выстраивались, точно солдаты.

— Груня, глянь, глянь — дядя Софрон бегит! — смеялись они, показывая на спешившего к строю хромого мужика.

— У нас всякой сгодится, — сказал стоявший в стороне среди баб Савелий Табаков. — В настоящую армию не берут не только лысых и косых, но даже разноглазых — у кого, скажем, один глаз серый, а другой карий. А мы не привередливы, всех возьмем.

— Это почему же не берут? — спросила с усмешкой молодая вдовушка.

— А из-за красоты, милушка. Солдат должен быть как картинка, как орел. Чтоб молодки любили. Недаром поется: «Солдатушки во поход, у молодки сердце мрет...»

— А ну тебя, — лукаво отмахнулась от Табакова вдовушка. — У тебя, как говорится, мыши жернов проели! Одно слово — бахары!

— Не веришь? Глянь-кось на меня аль хоть на мово дружка, — кивнул Табаков на высокого, носатого Черепковского, важно ходившего вдоль шеренги. — Чем не красавец?

Девчата еще больше зашлись от смеха.

А Черепковский, не подозревая, что говорят о нем, серьезно осматривал отряд и его вооружение.

Команда оказалась большая, да оружия — никакого: топоры, косы, вилы. Ружье нашлось одно — у кузнеца.

Черепковский велел убрать бревна, которыми была завалена улица: пока настоящего оружия не добыли, придется бороться при помощи хитрости. Днем мальчишки караулили на высоких березах, а ночью Черепковский высылал двух-трех парней в дозор к большаку. У старостиной избы висел колокол: сзывать народ на случай тревоги.

Обучать мужиков Черепковский мог только штыковому делу. Он поставил ржаной сноп и приказал каждому

колоть сноп вилами, как учили когда-то его самого работать штыком:

— Коли в грудь, как в репу!

На следующий день прошел слух, что наша армия отступила к Москве.

Мужики помрачнели.

— Неужто Аполийн все заберет? — спрашивали они у солдат.

— Подавится! — уверенно отвечал Левон.

Ближайшие деревни тоже готовились сопротивляться врагу, не допускать к себе фуражиров, бить врага поодиночке, где только можно.

В соседнем селе взялся командовать мужиками семидесятилетний отставной суворовский капитан.

Во всех деревнях зарывали в землю зерно, а скот держали в лесу.

Незваных гостей ждали каждую минуту.

И наконец дождались.

На третий день, около полудня, с дороги прибежали возбужденные мальчики и, перебивая друг друга, радостно, как будто сообщали приятную весть, сказали, что с большака едут верховые с подводами.

Ударили в колокол.

Деревня встревожилась. Бабы с плачем бежали к лесу, унося с собой малых ребят. Мужики со своим оружием быстро собрались у старостиной избы.

Как было заранее условлено, Черепковский уводил партизан в лес, а староста оставался со стариками в деревне — принимать непрошенных гостей, угощать, занимать их.

Левон отрядил Табакова на дорогу высмотреть по-за кустами, кто пожаловал и сколько.

Уже у околицы Табаков встретил запыхавшегося, красного Петьку, который караулил на березе. Шустрый Петька успел-таки скатиться с дерева и примчаться домой раньше французов.

— Девятеро... все в зеленом... на них шапки с хвостами... А один с высокой такой... в синем... и пика... и три телеги... — задыхаясь, выпалил Петька.

Стало все ясно: фуражиры драгуны и польский улан-переводчик.

«У драгун ружья и палаши, у улана пика и сабля... Эх, хорошо бы заполучить девять ружий и девять палашей, саблю да еще пику!» — подсчитывал в уме Табаков.

Он отправил Петьку проследить, что будут делать дальше драгуны, а сам пошел к Левону и партизанам, засевшим в кустах на опушке леса.

— Десять человек. На каждого из них у нас, почитай, по пяти человек. Да вот у них девять ружей, а у нас — одно! — зашептал дружку Табаков.

— Ничего, Савка, справимся! — ответил спокойный Левон.

Минут через пять прибежал Петька с новым известием. Драгуны, увидав на лугу стога сена, повернули к ним. Шестеро спешили, оставив оружие при телегах, стали накладывать сено: трое влезли на стога, а трое остались внизу. Один верховой ездит по лугу, сторожит. А двое драгун и улан направились в деревню.

— Угощаться! — сказал Черепковский. — Ну, мы их «угостим»!

Он поручил Табакову и трем партизанам идти в деревню и постараться захватить коней улана и драгун, а сам повел остальных к лугу.

— Как я свалю из ружья того верхового, бросайтесь с криками «ура» на троих, что внизу, — приказал он. — А трое на стогах никуда от нас не уйдут. Только бы ружье не подвело! Эх, если бы сюда мое, пристрелянное, привычное!.. — беспокоился Левон, устраиваясь поудобнее в кустах.

Драгуны, не чуя опасности, накладывали сено, весело переговаривались.

До верхового было шагов не более сорока.

Черепковский подождал, когда верховой остановился, прицелился в зеленый мундир и нажал собачку. Раздался сильный выстрел — кузнец не пожалел пороха, заряжал ружье пулей, как на волка. Драгун свалился замертво с коня. Мужики бросились со всех сторон на драгун, которые не успели схватиться за оружие.

В минуту все было кончено. Партизаны быстро разобрали оружие убитых врагов. Наконец у Черепковского оказалось в руках настоящее добротное ружье и целый патронташ с патронами. Теперь можно воевать!

Левон знал, что улан и драгуны услышат выстрел и шум на лугу, встревожатся и бросятся из деревни, поэтому Черепковский крикнул тем, у кого оказались ружья, бежать с ним к деревне, чтобы не выпустить живым ни одного врага.

Но в деревне справились с «гостями» без них.

Услышав выстрел и крики, мальчишки ловко угнали французских коней, а Табаков с парнями ворвался в избу.

Улан и два драгуна сидели за столом у старосты — угощались вовсю. Они беспечно оставили при себе только холодное оружие — драгунские ружья лежали на лавке, у порога. Табаков и партизаны накинулись на драгун и улана и прикончили их тут же, в избе.

Победа была полная.

Со стороны партизан потерь не оказалось. Только один из драгун успел схватить со стола медную кружку и разбил Табакову переносье. Глаз у Савелия сразу подпух.

— Вот, Левон, теперь не только у тебя глаз подбитый, — смеялся неунывающий Табаков. — А молодцы мужики, храбро работали!

— Мужик на все сгодится: и землю пахать и врага стрелять! — удовлетворенно говорил Черепковский.

Начиналась новая, партизанская жизнь.

Глава седьмая

ФИЛИ

Незавидна в подобные дни судьба главнокомандующего, к тому же обязанного скрывать под личиною бесстрастия все в душе его происходящее!

Кутузов между Бородином и Москвою должен был выстрадать века целые.

П. Габбе

Офицеру и солдату воспрещается говорить то, что может устрашить товарищей.

*Наставление пехотным офицерам
в день сражения*

I

Отступая от Бородина, Кутузов понимал, что ввиду больших потерь вряд ли можно будет дать еще одно сражение под Москвой и что, желая сохранить армию, придется, по всей вероятности, оставить столицу. Но в своих печальных выводах он не мог признаться никому — ни один русский человек не примирился бы с этим. Если бы

узнали, что Кутузов собирается отдать Первопрестольную, его сочли бы худшим предателем и изменником, чем считали Баркляя. Кутузов был вынужден скрывать до поры до времени свои мысли и делал вид, что намерен отстоять Москву. Поэтому он поручил Беннигсену найти подходящую позицию для сражения, а сам продолжал отходить на восток.

Генерал Милорадович, которого Кутузов назначил командовать арьергардом, сдерживал французов, рвавшихся к Москве.

Французам мерещились в ней все чудеса сказочного востока. В их представлении где-то там, за Москвой, в десятке — пусть тяжелых, но преодолимых для «великой армии» — переходов, лежит таинственная, утопающая в золоте Индия. Страна залитых солнцем, благоухающих невиданными цветами долин, страна красивых, стройных и знойных женщин, страна блаженства и сладостных утех.

Как ни задерживал Милорадович наседавшего врага, но оторваться от него не мог: французы шли следом.

На пятый день отхода русские войска увидели башни древнего Кремля и золотые маковки «сорока сороков» московских церквей. Армия подходила к Дорогомилевской заставе.

Беннигсен решил именно здесь дать последний бой. По его планам правый фланг армии должен был примыкать к изгибу реки Москва впереди Филей, центр — находиться между селами Волынское и Троицкое, а левый — стоять на Воробьевых горах. Опытный военачальник, Беннигсен не мог не видеть слабостей избранной позиции, но считал, что другого выхода нет.

В воскресенье 1 сентября Кутузов, опередив подходившую к Москве армию, подвехал со своим штабом и свитой к Поклонной горе.

Утро выдалось ясное. Москва, белокаменная, золотоверхая, пестрая, расцвеченная яркими осенними красками садов и бульваров, широко разбросалась внизу. В воздухе безмятежно летала тонкая паутинка бабьего лета и плыл колокольный звон: благовестили к утрне. Трудно было представить, что всей этой красоте и всему покою может угрожать что-либо.

Ополченцы, сняв серые кафтаны и шапки с крестами, усердно рыли на горе окопы. На виду Москвы они работали старательнее, да и шанцевого инструмента

здесь было, по-видимому, больше, чем под Бородином.

Первый, кого увидел Михаил Илларионович, когда вылез из коляски, был желтый, с ввалившимися глазами, похудевший Барклай — после Бородина его мучила лихорадка. Три дня Барклай лежал в коляске, укрытый шинелью, а сегодня, превозмогая слабость, сел на коня и проехал всю позицию, выбранную Беннигсеном. Когда Барклай осмотрел позицию, пот еще сильнее прошиб его: позиция не годилась никуда.

— Нужно немедленно предупредить Кутузова, — сказал адъютанту Барклай и прищипорил коня.

Он поскакал к правому флангу, зная, что туда должен был направиться из Мамоновой главкомандующий. У Троицкого Барклай неожиданно встретил ехавшего в дрожках сухопарого Беннигсена.

— Вы решили вырыть здесь могилу для всей армии? — спросил по-немецки Барклай.

Выдержанный, спокойный, он дрожал не столько от лихорадки, сколько от негодования.

— Почему вы так думаете? Эта позиция ничуть не хуже той, какую вы избрали в Цареве-Займище, — ответил задетый за живое Беннигсен.

— Разве вы не видите, что вся позиция пересечена оврагами? Левый фланг отрезан от центра рекой Сетунь, — возражал Барклай.

— Я посмотрю. Я сейчас еду на левый фланг! — сказал надменно Беннигсен и, дотронувшись до спины кучера пальцами в белой перчатке, сказал, как он думал, по-русски: — Пшелъ!

Коляска Беннигсена умчалась, но не к левому флангу, а к Москве.

И теперь, увидев на Поклонной горе Кутузова, Барклай с жаром заговорил:

— Ваше сиятельство, позиция, которую изволил выбрать генерал Беннигсен, не годится никуда. Это могила для армии!

Кутузов не глядя знал, что никакой позиции у самых стен Москвы быть не могло.

А Барклай нетерпеливо продолжал:

— Смотрите, пожалуйста!

И он вынул из-за обшлага мундира листок с набросанными карандашом кроками.

— Вот овраги и река. Центр разобщен от левого фланга. Позади — река. Мостов на реке восемь, но

спуски к ним так круты, что уйти сможет только пехота!

— Да, вы правы, Михаил Богданович: это гибель, — ответил Кутузов.

Он стоял, в задумчивости глядя вдаль на дорогу, по которой в пыли двигались к Москве полки.

Генералы, окружавшие главкомандующего, молчали.

— Карл, как ты думаешь? — спросил у Толя Кутузов.

— Я никогда не предложил бы такой позиции; ваше сиятельство!

— А как находите вы, Алексей Петрович? — посмотрел Кутузов на Ермолова.

— С первого взгляда трудно оценить местность, ваше сиятельство, если на ней надо располагать семьдесят тысяч человек. Русская армия не удержится на ней! — горячо ответил Ермолов, тряхнув своей львиной головой.

Кутузов взял Ермолова за руку, делая вид, что щупает пульс:

— А ты здоров ли, голубчик? Русская армия не удержится? Удержится! — Он сделал паузу и сказал: — Поезжайте-ка с Толем, еще раз хорошенько осмотрите! — И направился к скамейке, которую вестовой уже приготовил для него.

Но посидел Михаил Илларионович немного: он тотчас же поднялся и стал ходить по холму. Заметно было, что сегодня Кутузов волнуется больше, чем накануне Бородина.

Генералы и штаб-офицеры разговаривали вполголоса. Одни настаивали на том, что сражение надо дать во что бы то ни стало, другие указывали на полную непригодность позиции:

— В каком-нибудь ином месте вы бы даже не взглянули на эту позицию!

— А что же, сдавать Первопрестольную без боя?

— Никому и в голову не пришло бы, что на этих оврагах можно дать бой!

— А нет ли средства как-либо улучшить ее? У нас ведь много артиллерии!

— Эта позиция нам велика — мы на ней потеряемся. Не по Сеньке шапка!

Гремя бубенцами, к Поклонной горе подкатила щегольская тройка. Из коляски стремительно выскочил большеголовый, чем-то напоминавший Павла I Ростопчин. Пожимая одним генералам руки, другим только кивая

головой, «сумасшедший Федька» подбежал к Кутузову. И сразу же быстро-быстро заговорил, вращая своими беспокойными, с сумасшедшинкой глазами.

Кутузов молча слушал его и качал головой, — видимо, соглашался с доводами московского главнокомандующего. Потом, приложив руку к сердцу, что-то сказал сам. Ростопчин отскочил от Кутузова, вполне удовлетворенный беседой. Он присоединился к группе старших генералов — Багговуту, Коновницину, Вистицкому, Мишо, стоявших поодаль с принцем Евгением Вюртембергским.

Ростопчин тотчас же завладел разговором, сел на своего любимого конька: стал хвастать афишами, которые он выпускал для народа. Ростопчин всерьез считал себя писателем и весьма остроумным, оригинальным человеком.

Как всякий барин, знавший мужика только по лакейской, он был убежден, что, усвоив два-три просторечных слова, вполне постиг психологию и язык народа.

— Я вчера написал народу вот что. — И Ростопчин прочел на память две фразы, над которыми промучился целое утро:

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев, станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, отделаем, доделаем и злодеев отделаем!»

— Что, право, недурно? Особенно вот это:

Я приеду
назад к обеду... —

словно скандируя стихи, сказал он, —

И примемся
за дело,
отделаем,
доделаем
и злодеев отделаем!

Ростопчин смотрел на всех с победоносным видом: какой талант! Какое острословие!

Он был глубоко убежден, что это очень доходчиво, очень ловко написано. Поразив всех своей новой афишей, Ростопчин откланялся и побежал к тройке «доделывать».

— Когда я, будучи поручиком, служил в Днепровском пехотном полку, у нас командиром был Зуев. Он изложил в таких же стихах всю географию России. У него было: «Вот лежит город Псков, который славится множеством

снетков. И древний град Смоленск, в нем улицы узки, но делают сахарные закуски!» — колыхаясь от смеха, сказал толстый Багговут.

Генералы улыбались.

Толь и Ермолов, поехавшие к левому флангу напрямки по полям и оврагам, вернулись с разведки очень быстро.

Их мнение было все то же: позиция с очень большими недостатками.

— При отходе нельзя ли отступить на Калужскую дорогу? — спросил Кутузов.

— Неприятель, атакуя, сблизится с ней и не позволит нам идти по Калужской, — ответил Толь.

Кутузов в тяжелом раздумье сел на скамейку.

Московские колокола уже отзвонили, теперь слышны были иные звуки: пушечные выстрелы со стороны Мамоновой — враг приближался.

К сидевшему в глубокой задумчивости Кутузову подошел принц Евгений Вюртембергский. Наклонившись к главнокомандующему, он сказал по-французски:

— Пора, Михаил Илларионович, принимать какое-либо решение!

Кутузов внутренне улыбнулся: решение было принято давно, еще после Бородина. Надо было только умело, тонко и вовремя преподнести его.

— Да, положиться мне не на кого! Худо ли, хорошо ли, а придется решать самому! — сказал он, вставая.

Главнокомандующий подозвал Кайсарова и приказал известить всех корпусных командиров, что в четыре часа пополудни он приглашает их к себе на военный совет. Отдав приказание, Михаил Илларионович, не глядя ни на кого, пошел к своей коляске.

II

Военный совет продолжался долго. Неописанию было наше любопытство узнать об его решении.

А. Михайловский-Данилевский

Еще было только три часа пополудни, а уже к почерневшему от старости, скособоченному, с дырявой крышей домику вдовы, тети Фени Ивановой, собралось десятка полтора штабных офицеров. Напротив, через улицу, жел-

тела свежими бревнами новенькая, аккуратно, «под гребенку», крытая соломой изба Фроловых.

У тети Фени квартирьеры не поставили даже денщиков, а у Фроловых разместился сам светлейший князь Кутузов и у крыльца стояли двое часовых-преображенцев.

Только одни штабные знали о том, что в четыре часа у главнокомандующего будет военный совет, а то бы к этой избе, стоявшей шестой от Поклонной горы, пожалуй, потянулся бы весь офицерский корпус армии. На военном совете должна была решиться судьба Москвы: будет ли бой или отдадут Первопрестольную ни за понюшку табаку.

Офицеры терпеливо ждали. Кто сидел на завалинке, кто примостился на толстой дубовой колоде, валявшейся у изгороди, кто ходил по маленькому пустому вдовьему дворику и курил. Все завидовали князю Кудашеву и полковнику Резвому, которые оставались в сенях фроловской избы. Присутствовать на совете они, разумеется, не смогут, но слышать будут все. При светлейшем оставался лишь «мальчик-пай» — Паисий Кайсаров, считавшийся дежурным генералом.

Первым к главнокомандующему явился аккуратный Барклай де Толли. На нем была теплая шинель. И приехал Барклай не верхом, а в коляске, потому что лихорадка все еще не выпускала бедного генерала из своих когтей.

Почти одновременно с ним прикатили Дохтуров и Остерман-Толстой.

— Алеша плывет!

— Вот это детина!

— Ермолай-богатырь!

— Лев!

— Лев с хитрецей лисицы! — судачили офицеры, увидев идущего к дому Фроловых громадного, представительного Ермолова: он стоял здесь же, в Филях.

После Ермолова прискакал Коновницын.

— Как же это наш Петя расстался со своим колпаком? — шутили офицеры, глядя на парадно одетого Коновницына. Простецкий Коновницын при всяком удобном случае любил ходить без мундира и обязательно в колпаке.

С дрожek слез, улыбаясь офицерам, толстый, добродушный Багговут.

На прекрасном вороном жеребце лихо примчался Уваров.

Двор Фроловых наполнялся экипажами, верховыми лошадьми и вестовыми.

— Кого же еще нет?

— Беннигсена и Милорадовича.

— Милорадович вряд ли будет: он ведь в арьергарде.

— А Беннигсен любит, чтоб его поджидали!

— Беннигсен не торопится: он отдыхает после обеда.

— А вот еще Толь летит!

— Карлуша вечно торопится.

— Он, должно быть, не успел проделать за день сотую версту — нагоняет!

— А Раевский не приезжал?

— Не видно было.

— Раевский тоже на передовой.

Офицеры не спускали глаз с дома Фроловых. Сквозь его три окна, выходящих на улицу, была видна вся изба. Печь, возле которой стояла походная кровать главнокомандующего, толстые дубовые лавки вокруг стен и такой же добротный дубовый стол в красном углу. Он, как скатертью, был покрыт картой.

Главнокомандующий сидел на лавке под образами. Генералы рассаживались по обеим сторонам стола. Барклай протиснулся в самый угол и сидел сжавшись, кутаясь в накиннутую на плечи теплую шинель, — видимо, начинался приступ лихорадки, и он не мог согреться.

А время летело. Давно уже минуло четыре. После назначенного срока прошло полчаса, еще двадцать минут.

На улице нетерпение нарастало; трубки курились быстрее обычного. А каково же было ждать там, в избе?

Офицеры увидели, как главнокомандующий стал ходить из угла в угол — явно нервничал.

— Недоволен старик!

— Будешь недоволен!

— Семеро одного не ждут...

— А тут не семеро, а все десятеро ждут.

— Да нас еще вон сколько!

— Полнейшее хамство! Безобразие — заставлять ждать!

— Ну и Беннигсен, я вам доложу: скотина!

— Это как в виршах: «Тьфу, как счастлив тот, кто скот?»

— Именно!

— Первостатейный скот!

— Ты разве не знал?

— А ждать-то эту скотину придется!

— Светлейший посылает за ним!

Из дома выбежал бывший в ординарцах у Кутузова двадцатилетний штаб-ротмистр конногвардеец Саша Голицын.

— Сашенька, куда? — закричали ему товарищи, когда Голицын выводил со двора своего коня.

— За «колбасой»?

— Да, за Беннигсеном! — крикнул Саша и умчался. Томительно тянулось время.

Уже было половина шестого. Стало темнеть. В избе у главнокомандующего Ничипор зажег свечи.

Видно было, как трясется в ознобе лысина бедного Барклая.

Дохтуров, Остерман и Ермолов склонились над картой, что-то обсуждали, обращаясь к Кутузову, который стоял тут же.

Коновницын, заядлый курильщик, вышел на крыльцо выкурить трубочку. За ним вылез из-за стола курчавый Уваров. Он был неплохой рубака, но тактика и стратегия вгоняли его в сон.

Ждать во дворе стало очень неудобно. Офицеры проклинали Беннигсена, задерживавшего всех.

Наконец послышался дробный топот копыт: мчался назад Саша Голицын.

— Сашенька, Саша! — кричали ему товарищи. — Где нашел немца?

— Сидел у себя, попивал кофе! Едет! — придерживая коня, ответил Голицын и, соскочив с седла, побежал докладывать.

Видно было, как Михаил Илларионович пошел и сел в красном углу за стол.

И вот явился-таки долгожданный Беннигсен. Он приехал в новеньких щегольских дрожках. Беннигсен не торопясь, важно взошел на крыльцо. Еще мгновение — и его длинная фигура замелькала в окнах избы Фроловых. Беннигсен сел на лавку, на противоположном конце от Кутузова. Точно противостоял ему.

Все генералы обернулись к главнокомандующему. Кутузов открыл заседание. Что-то говорил.

Так хотелось бы подбежать к окнам и послушать, да нельзя. Придется обождать, когда кончится совет и выйдет Паисий. Он все расскажет.

Паисий Кайсаров не садился, стоял возле главно-

командующего, опираясь плечом о бревенчатую стену.

Уже около часа длился совет, когда послышался лошадиный топот, и к дому Фроловых прискакали два всадника. Это был Раевский с ординарцем.

— Николай Николаевич!

— Опоздал!..

Раевский быстро вошел в избу. Вот он подошел к столу и сел с краю, возле Кутузова.

Поговорили еще несколько минут, потом, все видели, главнокомандующий, опираясь о столешницу, встал, что-то коротко сказал и даже хлопнул ладонью по столу, как припечатал.

Генералы поднялись со своих мест и начали расходиться.

— Кончилось!

— Кончилось!

— Что-то решили?

Первым на крыльцо выскочил Беннигсен. Он так торопился, что на ходу набрасывал шинель.

— Спешит. Видно, недоволен!

— Не по его вышло!

— Не по барину говядина! — шептались офицеры.

Один за другим разъезжались генералы. Все были как-то сдержанно молчаливы.

А в избе главнокомандующий один сидел над картой, подперев обеими руками седую голову.

— Неужели не будет боя?

— Неужели отдадим Москву? — тревожились во дворе.

Все ждали, когда выйдет Кайсаров.

И вот Паисий вышел. Он столько времени терпел без трубки!

— Паша, Пашенька, поди сюда! — закричали офицеры.

Кайсаров спустился с крыльца. Офицеры окружили его плотным кольцом.

— Ну что? Что решили? — спросили сразу несколько человек.

— Решено отступить! — ответил Кайсаров, с удовольствием затягиваясь табаком.

Офицеры были поражены страшной вестью. Хотя все видели, знали, что позиция плоха, но как-то не верилось в отступление, не хотелось сдавать любимую столицу без боя. Разговор на мгновение оборвался.

— Как же так! Отдавать Москву без единого выстрела?

— Даже в Смоленске дрались, а здесь не станем! Почему? — возмущались многие.

— А потому, что на такой позиции можно только быть битым,— ответил кто-то.

— Твое мнение мне неинтересно!

— Не спорьте, пусть Паисий Сергеевич расскажет, как было!

— Ну что рассказывать? Михаил Илларионович открыл совет. «Нам нужно решить,— сказал он,— принять ли сражение под Москвой или отступить?» Михаил Илларионович объяснил всю слабость выбранной позиции: что ее пересекают овраги...

— Знаем, знаем! — перебили Кайсарова офицеры.

— Потом светлейший высказал главную свою мысль: пока будет существовать армия, до тех пор есть надежда успешно окончить войну. Потеряв же армию, мы потеряем все, не только Москву, но и Россию.

— Верно!

— Все спасение в армии! — раздались голоса.

— Вы так говорите потому, что сами из Петербурга! — горячо возражали москвичи.

— Чудак! Да у меня половина родни в Москве!

— Никто не спорит: Москву, разумеется, жалко. Москва — столица, но ведь остается еще Петербург.

— А ну вас с вашим Петербургом!

— Нашли чем тешиться — болото!

— Господа, погодите! Дайте же послушать. Паисий Сергеевич, что было дальше? Кто говорил первым?

— Барклай,— ответил Кайсаров.— Он горячо и убедительно говорил, что наша армия понесла большие потери при Бородине, что мы будем разбиты, что надо отступить. Говорил, как всегда, искренне и правдиво.

— Михаил Богданович без хитрости и лести.

— После Барклая говорил Толь. Он соглашался с Барклаем, что позиция слаба. Предложил занять другую — встать правым крылом к деревне Воробьевой, а левым — к Калужской дороге, где эта деревня, забыл ее название, тоже вроде какая-то птичья... Толь убеждал, что опасно отступать через Москву, когда следом идет такая вражеская армия. Светлейший возразил ему: «Вы боитесь отступить через Москву, а я смотрю на это как на счастье, потому что оно спасет армию. Наполеон —

как быстрый поток, который мы не можем остановить. Москва — это губка: она всосет в себя всю армию Наполеона!» Затем встал Ермолов. Он — за сражение! Светлейший, услышав это, даже поморщился и сказал: «Вы, Алексей Петрович, говорите так потому, что не на вас лежит ответственность!»

— Не выдержал старик!

— Ермолов Кутузова не любит. Только делает вид, что хорош с ним,— вставили сбоку.

— А затем вступил в разговор Беннигсен. Он увидел, что «то сей, то оный набок гнется», и пошел: «Мол, стыдно, уступать столицу без выстрела! И что скажет Европа!» И пошел, и пошел. Я не понимаю, говорит, почему мы должны быть разбиты? Мы ведь те же самые русские! И будем драться так же храбро, как прежде!

— Это он-то русский?

— До чего противна его игра в патриотизм!

— Нашелся русский из Ганновера! — не удержались, снова перебили Кайсарова офицеры.

— Беннигсен предлагал оставить один корпус на Можайской дороге,— продолжал рассказывать Кайсаров,— а все остальные войска перевести на левое крыло. Тогда Остерман спросил у Беннигсена: «А вы ручаетесь за успех сражения?» Беннигсен только облизнул губы, это у него привычка: если чем-нибудь недоволен, обязательно облизывается. «Слишком большие требования предъявляете, генерал Остерман,— ответил он.— Ручательством в победе должны служить храбрость и искусство генералов!» Тут не выдержал Барклай. Трясется в лихорадке, а говорит Беннигсену: «Ежели вы намеревались действовать наступательно, то следовало бы распорядиться заблаговременно! Утром, когда я говорил с вами, еще было для этого время, а теперь, говорит, уже поздно! Наши войска храбро бьются на месте, но не умеют маневрировать на поле боя!»

— Ох, не любят же они друг друга!

— Еще бы — Беннигсен столько делал пакостей этому порядочному человеку! Вспомни, как он науськивал на Барклая всех этих подленьких вольцогенов!

— Старая хлеб-соль не забывается!

— Пойдите, господа, довольно вам! Пусть полковник Кайсаров продолжает!

— Беннигсена тонко поддел Михаил Илларионович. Он, поддержав мнение Барклая, как бы вскользь сказал:

«У нас, говорит, есть прекрасный пример несвоевременного наступления — сражение при Фридланде». То есть напомнил Беннигсену: «Ты же сам тогда за такие действия был жестоко побит Наполеоном!»

— Ловко он его, вежливо поддел — не был бы прирожденным дипломатом.

— Михаил Илларионович как пчела: в нем и мед и жало!

— Поделом Беннигсену!

— А что говорил Раевский?

— Раевский был за отступление. Он сказал: «Сохранить армию, оставить столицу без боя. Я говорю как солдат, а не дипломат: надо отступать!» И привел какой-то красивый стих: как-то «Россия не в Москве, а среди своих сыновей...»

— Это Озеров:

Россия не в Москве, среди сынов она,
Которых верна грудь любовью к ней полна!—

вспомнил какой-то офицер, любитель русской словесности.

— Вот, вот, этот стих, верно! — виновато улыбнулся Кайсаров.

— Паисий Сергеевич, а кто же кроме Беннигсена был за то, чтобы драться? — спросили из толпы.

— Дохтуров.

— Дмитрий Сергеевич такой!

— Коновницын, — перечислял Кайсаров.

— Петру Петровичу бой — разлюбезное дело!

— И Уваров.

— Уваров? Это он по всегдашней глупости. Же сир в военном деле ничего не смыслит, — смеялись в толпе.

— А толстяк Багговут?

— Карл Федорович — за отступление.

— И как же Михаил Илларионович свел все споры и мнения воедино?

— Михаил Илларионович терпеливо выслушал всех, а потом встал и сказал: «Господа, я вижу, что мне придется платить за все. Я жертвую собой для блага Отечества. Как главнокомандующий приказываю: отступать!» — закончил рассказ Кайсаров.

Толпа на мгновение затихла: снова все почувствовали весь трагизм положения.

— Да, нелегко Михаилу Илларионовичу было решиться на такой шаг! — вырвалось у кого-то.

И все невольно глянули на окна дома Фроловых: Кутузов сидел у стола, все так же обхватив руками свою седую голову.

III

Голова моя была разрозненная библиотека, в которой никто не мог добиться толку.

Ф. Ростопчин о себе

Московский генерал-губернатор, или, как он официально именовался, «главнокомандующий», самоуверенный хвастун и беззастенчивый враль Ростопчин, считал себя неотразимо остроумным человеком и оригинальным писателем. С первых дней войны он стал писать для народа специальные «афишки»: хотел объяснить происходящие события. Этот великосветский барин, дома говоривший только по-французски, писал «афишки» мнимонародным, ерническим языком раешника с плоскими каламбурами и дешевыми рифмами. Не знавший народа, Ростопчин наивно думал, что своими балаганными зазываниями привлечет к себе внимание москвичей. Дворянство коровило эти просторечные, глупые выверты «афишек», этот «низкий штиль»; кроме того, дворянство хорошо знало цену словам своего взбалмошного главнокомандующего. Простой же народ по малой грамотности вообще не очень читал «афишки», а читавшие их сразу раскусили неискреннюю и неумную затею. И как все время ни старался Ростопчин убедить москвичей в том, что Первопрестольной не угрожает никакая опасность (он писал так, обращаясь к Наполеону: «Не токмо што Ивана Великого, да и Поклонной во сне не увидишь»), но каждый день из Москвы уезжали в разные стороны сотни семейств. Разрешение на выезд Ростопчин давал только господам — дворянству и купечеству. Простой народ негодовал.

В Москве стало очень туго с транспортом. Когда увозили в Казань женские учебные заведения, находившиеся под ведомством вдовствующей императрицы Марии Федоровны, то для «благородных девиц» не оказалось карет; пришлось перевозить институток в простых телегах. Огорченная Мария Федоровна писала почетному опекуну института поэту Нелединскому-Мелецкому:

«...я уверяю вас, мой добрый Нелединский, что я плакала горячими слезами. Какое зрелище для столицы империи: цвет дворянства вывозится на телегах».

Несмотря на то что даже после Бородинского сражения Ростопчин клялся в «афишке»: «Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет», московские заставы были забиты уезжающими.

Вести о кровопролитном сражении у Бородина, тысячи раненых, привезенных в Москву с поля боя, отход русской армии за Можайск говорили красноречивее, чем все хвастливые разглагольствования самовлюбленного Ростопчина.

А с тех пор как в Москве стала слышна далекая оружейная канонада, волнение и суматоха в городе увеличивались с каждым часом.

К заставам тянулись дормезы, берлины, колымаги, коляски, брички, дрожки, возки, кибитки, телеги, повозки. Модные щегольские кареты катили вместе с дедовскими рыдванами, тощие рабочие клячи тащились впереди прекрасных выездных лошадей.

Глядя на все это, один из старых полицейских чинов сказал:

— Вот оказия! Сколько лет я служу в этой должности, всяко бывало, но такого бегства египетского еще не видывал!

Тревожной была для москвичей эта по-осеннему темным-темная ночь с 1 на 2 сентября.

Полнеба освещали сполохи бивачных костров, а на западе зловеще колыхались зарева горевших сел и деревень.

Во многих домах и дворах горел свет: москвичи прятали свое добро всякими способами — зарывали в землю, замуровывали в стены. Теперь собирались уезжать все те наивные люди, которые сначала поверили лживым словам хвастуна и фразера Ростопчина.

По улицам тархтели подводы, слышались голоса: это увозили раненых, уезжали различные учреждения — полиция, пожарные; вечером Ростопчин получил от Кутузова письмо, в котором сообщалось, что армия оставляет Москву и отходит на Рязанскую дорогу.

Сегодня заставы были открыты для всех.

В третьем часу утра через Дорогомиловскую заставу вступили в Москву первые полки уходящей армии.

Солдаты тоже не хотели верить в отступление. Казалось невероятным, что можно без боя отдать древнюю столицу.

— Идем в обход!

— Вот сейчас обойдем Аполиёна! — слышалось кое-где в шеренгах.

— Разуй глаза — аль не видишь, что весь народ, вся Москва с места тронулась? Отдаем Бонапарту святыни русские! — возвращал к действительности чей-нибудь трезвый голос.

А кругом творилось невообразимое. Улицы, переулки, площади — все было забито едущими и идущими москвичами. Сегодня больше уходил из Москвы простой народ: крестьяне, мещане, ремесленники, мелкие торговцы, чиновники последних классов, рядовое духовенство. Гнали овец, свиней, коров. Многие везли на ручных тележках или тащили на себе детей и скарб.

Вот купчиха в парчовом, еще бабушкином шушуне, вон попик, надевший на себя все свое богатство — несколько риз, начиная от черной, заупокойной, и до светлой, радостной, пасхальной. В руках у него узелок, из которого выглядывает кропило.

И москвичи не верили в то, что идет враг, надвигаются французы. Хотелось иного, и потому кто-то пустил слух:

— Это шведы, это шведский король идет к нам на помощь.

— Не шведы, а англичане, — поправлял другой.

— Братцы, а в какую сторону двинуться, чтоб не встретить француза? — спрашивали некоторые у солдат. — Куды вы идете?

— Про то ведают командиры, — отвечали нехотя солдаты.

Солдаты шли понурые, не смели поднять глаз на потерянных, потрясенных свалившейся на них бедой москвичей.

Лавки и магазины были закрыты. В иных купцы с подручными спешно укладывались, заколачивали товар в ящики.

— Разбирай, служивые! Пускай лучше свои попользуются, чем достанется французу! — говорил торговец посудой, видя, что ему не увезти свое добро.

Сложив на телегу пожитки, стоял у дома гробовщик. На его товар охотников не находилось.

— Бери, матушка Москва, мое изделие. Дай бог, чтоб твоим гостям оно пригодилось!— говорил гробовщик, снимая картуз и кланяясь на все стороны.

— Не быть добру — недаром сегодня понедельник,— говорили солдаты.

— И — дурак! Понедельник понедельником, это точно, да не мы ведь входим в Москву, а он. Стало быть, ему понедельник боком выйдет!

В переулке слышался шум и гам. Выпущенные из тюрем колодники разбивали трактир, кричали, горланили. Им — море по колено.

Солдаты с завистью посматривали на растерзанный кабак, на валяющиеся бочки — вот выпить бы с горя, да нельзя: дисциплина, приказ! Сказано: выйдешь из рядов — «наденут белую рубаху»¹.

Солдаты шли по улицам Москвы пригорюнившись, опустив головы, точно провожали покойника.

IV

В восьмом часу утра Кутузов, не заснувший в эту ночь ни на секунду, помрачневший и особенно молчаливый, подъехал к Дорогомиловской заставе. Сегодня он был верхом, а не в коляске.

— А день-то, день какой, словно летом! — восхищался Кудашев.

День начинался ясный, отменный.

Улицы были загромождены войсками, обозами, пушками. Армия шла в одной колонне, потому что через Москву-реку был один старый деревянный мост. Он в первый же час не выдержал тяжести и подломился. Его спешно чинили. А часть кавалерии и Московское ополчение пошли вброд. Кутузов остановился: проехать было невозможно. Уезжавшие и уходившие москвичи сразу узнали светлейшего.

— Батюшка, ваше сиятельство, как же так? Неужто погибла Расея?— протягивала к нему руки какая-то женщина.

— Ежели Москва не устояла, то и Расея не устоять! — мрачно сказал рыжебородый мещанин.

— Седой головой своей ручаюсь: неприятель погибнет в Москве! — убежденно ответил Кутузов.

Народ молчал, думая свое. Один главнокомандующий уже ручался вот так же головой, что не допустит в Москву врага, а теперь другой обещает, клянется...

— Кто из вас хорошо знает Москву?— обернулся Михаил Илларионович к свите.

— Я, ваше сиятельство,— ответил Сашка Голицын.

— Проведи меня, голубчик, да так, чтобы побыстрее и где бы поменьше народу!— попросил главнокомандующий.

Как он ни был убежден, что поступает совершенно правильно, но все-таки чувствовал себя неловко. Было стыдно смотреть в глаза не только жителям Москвы, но и солдатам. Полки сегодня встречали главнокомандующего без воодушевления, молча — не так, как всегда. Солдаты не могли понять всего положения, а видели, что Кутузов отдает Белокаменную врагу.

Голицын проехал с Михаилом Илларионовичем от Арбатских ворот вдоль бульваров к Яузскому мосту. Здесь встречные попадались редко.

У Яузского моста была свалка. Бегущие из столицы запрудили улицу, войска не могли из-за них взойти на мост.

У моста Михаил Илларионович увидел знакомую фигуру Ростопчина в треуголке и парадном сюртуке с эполетами. Он колотил нагайкой ремесленников, «рядчиков», крепостных, запрудивших улицу и въезд на мост, колотил тех, кому писал свои «афишки».

«Обещал вести народ на «Три горы» сражаться за Москву, а сам улепetyвает»,— подумал Кутузов.

Увидев Кутузова, Ростопчин подъехал к нему. Лицо «сумасшедшего Федьки» исказилось злобой и презрительной гримасой.

— Вот плоды ваших тактических и стратегических успехов!— истерически выкрикнул он по-французски.

— Прикажите очистить мост для прохода войск!— по-русски, спокойно, но твердо, по-начальнически, сказал Кутузов и глянул на Ростопчина одним зрячим глазом.

Ростопчин, мешая французские и русские проклятия, кинулся к мосту. Нагайка Ростопчина заходила по спинам спасавшихся от врага москвичей пуще прежнего.

¹ Надеть белую рубаху — расстрелять.

Белый спокойный «мекленбуржец» Кутузова ступил на Яузский мост.

За главнокомандующим двинулись полки.

V

Кто хочет быть с Вами, тому нужно иметь две жизни: одну — свою, другую — в запасе.

Ермолов — Милорадовичу

Командующий арьергардом генерал Милорадович стоял с адъютантами у Поклонной горы, где был его правый фланг. Левый примыкал к Воробьевым горам.

Милорадовичу предстояла труднейшая задача: подольше задержать армию Наполеона, чтобы дать возможность войскам и обозам выйти из Москвы.

Был полдень. Сентябрьское солнце грело совсем полетнему.

Ординарец, посланный в Москву узнать, как проходят через столицу войска, сказал, что за Дорогомиловской заставой улицы еще забиты артиллерией и обозами.

— Придется завязать дело, или, как написал вчера Ермолов: «Почтить видом сражения древние стены Москвы». Фокусник Алексей Петрович! Ишь какие красоты подпустил. Чистый Макиавелли!

Вчера это ермоловское выражение взорвало Милорадовича. В первую минуту он готов был ехать к Михаилу Илларионовичу и отказаться от командования арьергардом, но потом лег спать, а наутро раздражение улеглось.

— Французы обходят нас, ваше высокопревосходительство. Пока мы будем сражаться, Поняковский раньше нас придет в Москву, — говорил его штабной полковник Потемкин.

— А что будет с нашей артиллерией и обозами? — спросил кто-то из штабных.

Милорадович молчал, щурился, что-то обдумывая.

— Ну, бог мой! (Это было любимое присловье Милорадовича, вроде как у Суворова — «помилуй бог!») Дайте мне офицера, свободно говорящего по-французски, — обратился он к своему штабу. — И не рохлю, а бойкого! Кого-нибудь из лейб-гусаров, чтоб понаряднее!

Через минуту к нему лихо подскакал безусый, светлоглазый штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка в

своем нарядном красном доломане и ментике с желтыми шнурами. Он имел вид лихого рубаки. Черный кивер был надет набекрень, молодое лицо смотрело с задором.

— Ваше высокопревосходительство, штаб-ротмистр Акинфов по вашему приказанию явился! — доложил он.

— Говорите по-французски? — спросил Милорадович, оглядывая Акинфова.

— С детства, ваше высокопревосходительство!

— Вот вам письмо его сиятельства к маршалу Бертье, — сказал Милорадович, подавая Акинфovu большую конверт. — Письмо подписано дежурным генералом Кайсаровым. Мы поручаем великодушному попечению французов девять тысяч раненых и больных, оставшихся в Москве. Передайте это письмо лично неаполитанскому королю. Приветствуйте его величество от моего имени и скажите: если французы хотят занять Москву в неприкосновенном виде, то пусть дадут нам время спокойно пройти через город. В противном случае генерал Милорадович будет драться в Москве за каждый дом, за каждый переулок и оставит вам, скажите, одни развалины! — Милорадович махнул рукой, точно рубил по воздуху.

— Ваше высокопревосходительство, так говорить с французами не годилось бы, — негромко заметил полковник Потемкин.

Милорадович вспыхнул.

— Это мое дело! Ваше дело — умирать, мое — приказывать, как нахожу нужным! — отрезал он и продолжал говорить Акинфovu: — Не торопитесь, ротмистр, старайтесь, ну, бог мой, погостить у французов подольше. Не забудьте взять трубача, а то вас подстрелят их ведеты¹. Вон возьмите трубача у драгун, — оглянулся Милорадович. — Эй, трубач, ко мне!

Трубач Черниговского драгунского полка, усатый унтер, подскочил к командующему.

— Поедешь с их благородием.

— Слушаюсь!

— Так помните, ротмистр: туда — стрелой, оттуда — че-репахой.

Акинфов поднял коня в галоп и помчался.

Трубач не отставал от штаб-ротмистра.

— Ваше благородие, мы куда? — спросил трубач, видя, что Акинфов направился на запад.

¹ Ведеты — артиллерийские посты охранения.

— К французам!— весело ответил Акинфов.

— А куда поедem, ваше благородие?

— К авангарду, конечно.

— К какому — переднему аль заднему?

(Акинфов знал, что солдаты всегда спрашивают так.)

— Разумеется, к переднему! Эй, станичники, не стреляй! Погоди!— крикнул Акинфов казакам, которые лениво перестреливались с французскими постами.

Казаки прекратили перестрелку. К Акинфову подъехал сотник:

— Как далеко собрались?

— Мы едем для переговоров с французами. Прикажете, сотник, своим ребятам не стрелять.

— Хорошо, поезжайте. Час добрый!

Акинфов и трубач поскакали вперед. Французские пули тонко пели вокруг.

Впереди показались зеленые доломаны конных егерей. Часть из них перестреливалась с казаками, а часть занималась более приятным делом: копала на поле картошку.

Звонко запела драгунская труба. Акинфов и трубач стояли и ждали. Конноегеря передавали друг другу о том, что приехали парламентары.

Через некоторое время к Акинфову подъехал усатый полковник.

— С какими вестями, мой молодой друг? — приветливо спросил француз.

— С письмом от его сиятельства графа Кутузова к неаполитанскому королю.

Услышав слово «Кутузов», полковник просиял:

— Что, мир?

— Все может быть, господин полковник.

— Ну, что же, поедem. Его величество вон там, в том зámке,— сказал полковник, указывая на группу деревьев, за которыми стоял загородный дом.

«Чей же это загородный дом? — соображал Акинфов.— Свечиных или Тутолминых?»

Они поскакали к «замку». На полях виднелись группы войск. Пять кавалерийских полков стояли «эн-а-ш и кь е»¹.

¹ Э-н-а-ш и кь е — расположение войск для движения в шахматном порядке.

Акинфов подметил: посадка людей хороша, обмундирование сносное, но кони плохи — худы.

Перед строем кавалерийских полков разъезжал остроносый генерал в темно-коричневом не первой свежести мундире, с непомерно длинными волосами, выбивавшимися из-под выцветшей треуголки. Увидев Акинфова и полковника, генерал поехал им навстречу. Полковник конноегерей снял шляпу, доложил остроносому генералу.

Генерал махнул головой:

— Поезжайте к королю.

— Это генерал Себастиани,— объяснил полковник. Они поскакали дальше.

На поле располагалась пехота.

— Смотрите, господа, русский!

— Предлагают мир?

— Пусть поест нашего супу! — кричали солдаты.

Акинфов еще издали увидел цветистого, яркого Мюрата. Он ехал из «замка» в окружении многочисленной блестящей свиты штабных офицеров, молодых адъютантов, ординарцев. Увидев Акинфова и полковника, Мюрат и его приближенные оживились.

Акинфов, полковник и трубач подскакали к Мюрату и остановились. Акинфов, козыряя, подал неаполитанскому королю пакет.

Мюрат приподнял свою вышитую золотом и украшенную дорогими страусовыми перьями шляпу, коротко приказал свите остаться на месте, а сам отъехал с Акинфовым на несколько шагов в сторону.

Он положил руку, всю унизанную дорогими перстнями, на шею гнедого Акинфова — Баяна.

— Что скажете, милый капитан? — улыбаясь белыми зубами, спросил неаполитанский король.

Акинфов передал просьбу Кутузова и слова Милорадовича.

Мюрат вскрыл конверт, прочел.

— Напрасно, мой капитан, поручать раненых нашему великодушию: пленный для француза уже не враг!

— И для русских тоже, ваше величество.

— Вне битвы француз не любит иметь врагов!

ЗаклЮчить перемирие Мюрат сначала отказался: он вспомнил, как Наполеон корил его за перемирие в 1805 году.

— Не в моей власти остановить движение великой

армии. Я должен спросить разрешения у императора,— ответил Мюрат.

— Я готов ждать, ваше величество, когда вы получите ответ,— сказал Акинфов.

Мюрат колебался. С одной стороны, было заманчиво получить такой город неповрежденным, а с другой — немного рискованно: как этот шаг примет Наполеон? Но всегдашняя самонадеянность, заносчивая самоуверенность и наглость одолели.

— Верьте, мой капитан, я так хочу сохранить древний город! Пожалуй, я рискну на следующее: я пойду так медленно, как это угодно генералу Милорадовичу, но с одним условием: Москва будет занята сегодня же,— сказал Мюрат.

— Генерал Милорадович, конечно, будет согласен,— уверил Акинфов.

Мюрат послал адъютанта в передовую цепь сказать, чтоб не шли дальше и прекратили перестрелку.

— Вы хорошо знаете Москву? — спросил у Акинфова Мюрат.

— Я природный москвич.

— Прошу уговорить жителей оставаться спокойно. Мы не только не сделаем им вреда, но не возьмем малейшей контрибуции. Будем заботиться о безопасности. Скажите, где граф Ростопчин?

— Я был постоянно в арьергарде и потому не знаю...

— А где император Александр и великий князь Константин?

«Если я скажу, что они в Петербурге, то вдруг Наполеон пошлет туда Особый корпус?» — подумал Акинфов и сказал:

— Ваше величество, я слишком мал для того, чтобы знать.

— Я уважаю императора Александра и очень дружен с великим князем Константином. Жалею, что вынужден воевать с ними. Скажите, много ли у вас потерь в полку?

— Мы каждый день в деле, ваше величество. Сами знаете: без потерь не обойтись!

Мюрат смотрел вдаль и думал. Он прикидывал в уме: а может быть, шурин-император и не станет сердиться на него, что он задержит движение армии? Ведь так прекрасно было бы войти в совершенно нетронутую Москву!

Всегдашняя непреодолимая жажда риска овладела его пылким гасконским сердцем. Он перестал колебаться.

— Передайте генералу Милорадовичу, что я согласен с его предложением. И только потому, что очень уважаю его! — решительно сказал Мюрат. — Пора, пора мириться! Мы будем заботиться о сохранении мира! — горячо говорил он, думая о своем.

И неаполитанский король, милостиво помахав на прощание штаб-ротмистру рукой, уехал к своим.

Акинфов с французским полковником и трубачом, ожидавшими его поодаль, поехал к аванпостам. Акинфов помнил наказ Милорадовича не торопиться и попросил у полковника разрешения полюбоваться по пути двумя гусарскими полками, выстроенными на лугу.

Полковник, видя, как милостиво говорил с русским офицером король, охотно согласился.

— Это самые любимые полки неаполитанского короля — седьмой и восьмой гусарские,— сказал полковник.

Они поехали шагом мимо пестрых эскадронов. Один полк смахивал на русских изюмцев: доломаны имел красные, ментики — синие, а рейтузы — желтые. Только вальтрап был не синий, а малиновый. Второй напоминал мариупольцев: доломан синий с желтыми шнурами, рейтузы красные, а вальтрап канареечного цвета.

Акинфов похвалил гусар.

Не торопясь, разговаривая о том о сем, они проехали к передовой.

Пули уже не жужжали. Стояла тишина. Конноегеря раскладывали костры и варили картошку, забыв о неприятеле.

Акинфов попрощался с любезным полковником и поехал к своим.

Казаки тоже занимались домашними делами. Они быстро переключились от войны к миру: связывали по четыре пики, подвешивали на них котелок и что-то в нем готовили.

Акинфов поехал к сотнику. Сотник лежал на бурке под кустом, покуривал.

— Ну как, договорились? — спросил он, приподнимаясь.

— Все в порядке, сотник. Французы не станут теснить нас. Пойдут так, как пойдем мы! — ответил Акинфов и поскакал к Милорадовичу.

Милорадовича у Поклонной горы он не застал: артиллерия и пехота арьергарда уже вступили в Москву, и туда же уехал Михаил Андреевич.

Акинфов ехал по взбудораженным, переполненным повозками, телегами и каретами московским улицам.

Настоящее столпотворение вавилонское!

Акинфов догнал Милорадовича у самого Кремля.

Он докладывал генералу об успешном выполнении такой деликатной миссии, когда впереди, среди этих проклятий, стенаний и полного уныния, они слышали веселую музыку.

— Какой подлец вздумал в такую минуту играть марш? — вскипел Милорадович и прищипорил коня.

Из Кремлевских ворот выходил с музыкой гарнизонный полк. Впереди него ехал верхом, с важным и совершенно печальным видом генерал.

— Какая каналья приказала вам оставлять столицу с музыкой? — закричал Милорадович, подлетая к генералу.

— Ваше высокопревосходительство, в регламенте Петра Великого сказано: если по сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой, — ответил педантичный и не очень умный командующий гарнизоном.

— А в регламенте Петра Великого сказано, что надо сдавать Москву? — кричал вне себя от ярости Милорадович. — Замолчать! — замахнулся он на музыкантов нагайкой.

Музыка оборвалась на полутакте. Незадачливый законник-генерал был сконфужен, а музыканты повеселели: им было противно играть веселые мотивы, когда кругом такое горе.

Отдышавшись, Милорадович обернулся к Акинфову:

— Видно, французам очень хочется получить Москву. И если Мюрат сам заговорил о мире, то он, я думаю, пойдет на это... Поезжайте снова к неаполитанскому королю и предложите ему заключить перемирие до утра, часов так до семи, чтобы дать время выйти из города всем обозам и отсталым. Пригрозите: иначе будем обороняться в городе!

Акинфов застал казаков с тем же сотником у Дорогомиловской заставы.

Мюрат уже вертелся среди них, как свой брат. Казаки лгательно называли его «гетман», а он, польщенный, раз-

даривал им не только свои часы, но и часы адъютантов и выменял у сотника за золотую табакерку его серую казачью бурку, которую уже и накинул на свой попугайский наряд.

Мюрат был горд, он цвел от казачьего почтения, принимая все всерьез. Увидев Акинфова, неаполитанский король улыбнулся ему как старому приятелю.

— Ну что еще, мой молодой друг? — спросил он.

Акинфов передал новое предложение Милорадовича о перемирии.

— Хорошо, хорошо! — сразу же согласился Мюрат.

Он с воодушевлением смотрел на блестевшие на солнце вдали купола и башни Москвы — у Дорогомиловской заставы любоваться было нечем.

— Но только с таким условием, чтобы обозы, не принадлежащие армии, были оставлены в Москве! — сказал Мюрат.

Акинфов поспешил согласиться.

Был шестой час пополудни. Из Москвы уже успела выйти большая часть арьергарда. В версте от Коломенской заставы на левом фланге Милорадовича появились два полка улан — польский и прусский. Они двигались наперерез Рязанской дороге, по которой отходила русская армия и двигались толпы москвичей.

Милорадович послал Акинфова разыскать Мюрата, чтобы он приостановил движение улан, но на этот раз штаб-ротмистр что-то замешкался. Если бы арьергард и успел уйти, то не успели бы выехать обозы, еще двигавшиеся по запруженным тесным улицам.

Тогда нетерпеливый Милорадович поскакал сам к польским уланам. Те с удивлением смотрели на отчаянного русского генерала.

— Кто командует вами? — строго спросил Милорадович, подлетая к полякам.

— Генерал Себастиани, — ответил польский полковник.

— Где он?

— В той стороне, — показал нагайкой поляк.

Милорадович помчался туда.

— Почему не взять этого пана генерала в плен? — спросил у полковника майор.

— Возьмешь его, а потом, пане Касперский, не воз-

радуешься,— ответил полковник.— Это генерал Милорадович. Он запанибрата с Мюратом.

— Два сапога — пара,— прибавил, усмехаясь, майор.

— Вот то-то. А конь у него ладный.

Себастиани стоял у дома: пил воду, которую ему давала какая-то старушка. Он издали узнал Милорадовича — Себастиани встречался с ним в Бухаресте.

— Добрый день, дорогой Милорадович,— приветствовал Себастиани.

— В Бухаресте было лучшее утро, генерал! — весело ответил Милорадович, пожимая руку Себастиани.— И пили мы не воду, а вино... Но вы, мой милый генерал, поступаете вопреки праву: я условился с неаполитанским королем о том, что мой арьергард будет свободно выходить из города, а ваши уланы уже перерезали дорогу.

— Простите, генерал Милорадович, но я не получил никаких указаний от короля! — пожал плечами Себастиани.

— Вы не верите слову русского генерала? — возмущился Милорадович, вытаращив свои голубые глаза.

— Нет, я верю, верю! Тысячу раз верю вам, мой милый Милорадович! — ответил Себастиани и приказал уланам расположиться параллельно Рязанской дороге.

Неряшливый Себастиани и нарядный Милорадович поехали к дороге. Они стояли рядом и смотрели на то, как из Москвы проходят обозы.

Мимо них, нахлестывая лошадей, с испугом оглядываясь на врагов, улепетывали ни живы ни мертвы москвичи. На одной телеге среди вороха узлов сидела миловидная девушка. Она без особого страха и смущения смотрела на польских улан, горделиво подкручивавших усы, посылавших по ее адресу кокетливые улыбки и циничные замечания (которых девушка, к счастью, не понимала).

— Признайтесь, генерал, что мы, французы, предобрые люди,— сказал, улыбаясь, Себастиани.— Ведь это не относится к армии. Все это могло бы быть наше!

— Ошибаетесь! — гордо ответил Милорадович, выпячивая грудь.— Вы не взяли бы этого иначе как перешагнув через мой труп! А сто тысяч, которые там,— указал он куда-то на восток,— жестоко отомстили бы за мою смерть!

Себастиани улыбался — он не возражал: перед ним лежала Москва с дворцами и несметными богатствами,

по сравнению с которыми этот нищенский обоз с милостивой мешаночкой был ничто.

VI

У Коломенской заставы, близ старообрядческого кладбища, Кутузов слез с коня и сел на скамейку.

Подперев голову рукой, Михаил Илларионович в тяжелом раздумье смотрел на оставляемую и уходящую Москву.

Уходившие москвичи шли по полям: дорогу заняла отступающая армия.

Над дорогой, над полями висели густые облака пыли, в которых померкло близившееся к закату, ставшее каким-то красным шаром, прежде яркое, радостное солнце.

Войска, выйдя из столицы, становились тут же на привал. Сегодня в полках не было слышно ни песен, ни шуток.

Полки шли молчаливые, понурые.

Зато в непрерывном людском потоке, в разношерстной толпе москвичей, бросивших насиженные московские углы, говорили больше, чем следовало бы.

Плакали дети, причитали бабы, сокрушались мужики:

— И что с нами будет?

— Куда идем?

Выбираясь из Москвы среди войск и жителей, сбившихся в тесных улочках в одно стадо, Михаил Илларионович слушал, как доставалось и ему:

— Куда он нас завел?

— У, кривой черт!

— Что он, в полном ли уме? — честили Кутузова.

Если бы главнокомандующий был не русским человеком, ему бы, конечно, не сносить головы.

О Барклае и его отступлениях уже как-то забыли. Барклай верхом на коне стоял у Яузской заставы, сам командуя отходившими полками 1-й армии, наводил порядок.

Он говорил, как умел, по-русски:

— Бистрей, бистрей!

И никто уже не ругал его: москвичи не знали в лицо Барклая. А что коверкает русский язык — так мало ли у нас в армии немцев?! А войска, после того как увидели

Барклай в Бородинском бою, когда он бросался в самые жаркие места боя и под ним убило пять лошадей (слухи о его геройстве уже шли разные: говорили, что не пять лошадей, а семь, что Барклай сам отбил от четырех французских драгун), — увидели его бесстрашие и самопожертвование и забыли старые подозрения.

Михаила Илларионовича не очень беспокоило то, что москвичи поругивают его: милые бранятся — только тешатся.

Главнокомандующий тревожился за авангард Милорадовича: город большой, французы могли входить с разных застав, и не захватили бы они обозы и артиллерию арьергарда, который двигался от Дорогомиловской заставы.

Слать гонца к Милорадовичу Кутузов не мог: из Москвы через все заставы, как весенний поток, хлынул народ, и попасть в Москву было трудно.

Наконец показался адъютант Милорадовича, гусарский ротмистр.

— Ну что, голубчик? — поднял голову Кутузов.

— Арьергард будет драться, ваше сиятельство!

— Так, так! — одобрительно кивал головой главнокомандующий, хотя думал обратное: некстати вступать в бой, еще не вышли все обозы и войска.

Но не успел гусарский ротмистр замешаться в людскую лавину, катившуюся из Москвы, как к главнокомандующему подскочил второй адъютант Милорадовича, черниговский драгун, с более приятной вестью: Милорадович послал к Мюрату парламентаря, предлагает заключить перемирие. В противном случае грозит, что будет драться за каждый дом в Москве.

— Ай да Михаил Андреевич! Вот это молодец! — искренне похвалил главнокомандующий.

Он понимал, что угроза Милорадовича смешна, но, на первый взгляд, таит в себе неприятные возможности для французов. Поддастся ли на эту удочку легкомысленный Мюрат?

Фанфарон!

В войне с французами, где авангардом командует Мюрат, нужен именно такой командир арьергарда, как Милорадович, а не Платов. Милорадович подходит Мюрату: оба — рыцари, оба — актеры.

Михаил Илларионович представил себе Милорадовича: небось одет в новенький генеральский мундир, золо-

тые эполеты, лента через плечо. Конечно, чисто выбрит, надушен, как на бал, и, может быть, еще, для пущей важности, на горле какой-либо дорогой шарф — это Милорадович любит, и это тоже в духе щеголеватого, любящего наряды Мюрата.

Жаль вот только, что Михаил Андреевич не научился правильно изъясняться по-французски — говорит чуть получше Уварова, «же сира». И то сказать: Мюрат и так по-русски не знает, как Милорадович по-французски. Говорят, неаполитанский король научился у казаков хлесткому русскому бранному слову да еще знает «пасибо».

Прошел еще час в ожидании.

Выстрелов со стороны Дорогомиловской заставы не слышалось.

Поток войск из Москвы прекратился. Уже выходили пехота и артиллерия арьергарда.

Михаил Илларионович волновался: ну что же, как там разговоры о перемирии?

Наконец примчался адъютант Милорадовича. Привез необыкновенно радостную весть:

— Милорадович выговорил перемирие до семи часов утра. Улестил, пустил французам пыль в глаза, обвел вокруг пальца.

У Кутузова отлегло от сердца: «Ай да Михаил Андреевич!»

Недаром Кутузов любил его и звал Милорадовича «моя возлюбленная».

Армия, расположившаяся на биваке у Москвы, поела каши, немного отдохнула и могла двигаться дальше.

Главнокомандующий велел армии идти к Панкову — до Панкова пятнадцать верст, к ночи дойдут.

Войска снялись с места, а коляска главнокомандующего все еще стояла у кладбища.

Михаил Илларионович ждал, когда же французы войдут в Москву.

Уже вечерело, в какой-то церкви ударили ко всеношной, и тут к Кутузову подъехал на усталом, измученном коне Карлуша Толь. Он наклонился к Кутузову и тихо сказал:

— Французы вошли в Москву.

— Это их последнее торжество! — уверенно ответил задрожавшим от слез голосом старый главнокомандующий и, поднявшись, пошел к коляске.

МОСКВА В ОГНЕ

Вот башни полудикие Москвы
 Перед тобой в венцах из золота
 Горят на солнце... но — увы!
 То солнце твоего заката!

Байрон

Никогда победитель не вступал с меньшим
 торжеством, которое сопровождалось бы бо-
 лее зловещими признаками.

Генерал Пюбюк

I

Наконец то, к чему все эти месяцы так стремился Наполеон, свершилось: «великая армия» подходила к Москве.

Император был равно готов ко всему: к кровопролитной битве под стенами древней столицы и к переговорам с упрямым Кутузовым о мире.

Но, как указывали карты д'Альба, до Москвы остались последние версты.

— Вон с тех холмов Москва должна быть видна,— говорили все.

К скольким столицам мира за пятнадцать лет войн подходили победоносные войска Наполеона! Сколько больших, красивых, богатых городов отдавалось на его волю, на волю его «орлов»: Милан, Венеция, Александрия, Каир, Яффа, Вена, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Рим, Амстердам, Антверпен, Варшава!

Уже даже трудно вспомнить подробности каждой капитуляции.

В Милане армия назвала Наполеона «маленький капрал», а в Москве должна назвать «божественным императором».

Хотелось спешить туда, к этим холмам, но осторожность заставляла не торопиться и каждую минуту ждать коварного удара из-за угла, какой-либо непредвиденной скифской хитрости. Император велел двигаться осмотрительно: все равно теперь уже Москва никуда не уйдет!

Наполеон был весел: и болезнь, и Бородино с тысячами ртупов и неудовольствием на него маршалов мино-

вали. Пусть дуются они, эти глупцы, что император, вопреки их желаниям, не пустил в дело старую гвардию. Вот теперь она идет — человек к человеку, могучая, несокрушимая, идут его «ворчуны», его оплот и сила.

Кавалеристы уже на Поклонной горе. Машут киверами, касками, радостно кричат:

— Москва! Да здравствует император!

Вот оно, настало!

Наполеон невольно коснулся шпорами белых боков Евфрата. «Араб» поскакал в галоп.

Наполеон вскочил на Поклонную гору. За ним, ломая строй, теснились усачи гвардейцы. Каждому хотелось поскорее, раньше товарищей, увидеть Москву.

— Москва! Москва!

— Да здравствует император!

Солдаты кричали, подпрыгивали, бросали вверх медвежьи шапки, блестящие каски, кивера, потрясали ружьями и саблями, обнимали друг друга, смеялись как обезумевшие, воздевали руки: конец мучениям! Конец усталости, конец странствованиям, скитаниям по лесам, пескам и болотам, конец боям!

— Москва! — восторженно повторяла свита, хлопая в ладоши.

Наполеон тоже рукоплескал, радовался, как ребенок:

— Наконец вот он, этот знаменитый город! Давно пора! Жаждались!

— Это как в третьей песне у Тассо в «Освобожденном Иерусалиме», когда армия Готфрида Бульонского увидела башни Иерусалима! — кричал сзади Коленкуру Сегюр. — «У каждого как бы выросли крылья на сердце и на ногах! Как легко стало! Да, это Иерусалим!» — скандировал Сегюр.

«Дурак! Сравнивает меня с каким-то Готфридом Бульонским. Гастрономический полководец! Я бы не доверил ему одно капральство, не то что армию!» — подумал Наполеон, глядя вниз.

Перед ним расстился громадный, необычный город, в существование которого как-то уже не верилось, — казалось, он живет лишь в воображении восточных поэтов.

Сотни церквей с золотыми, яркими причудливыми куполообразными главами, дворцы всевозможных стилей,

дома, выкрашенные в разнообразные краски, сады, бульвары, извилистая Москва-река, текущая по светлым лугам.

Над всей панорамой господствовали башни древнего Кремля с высокой колокольней Ивана Великого, на вершине которой сверкал в ярком солнце большой золотой крест.

Мечта. Восточная сказка. Неизведанная Азия!

Вся армия, сотни тысяч глаз с волнением смотрели на Москву. Каждый старался высказать свое впечатление, находя все новые и новые красоты: одни указывали на прекрасный дворец в восточном стиле, другие — на великолепный храм.

Старая гвардия восторгалась:

— Бесподобно! Это — Калькутта!

— А ты был в Калькутте?

— Не был... Это — Пекин!

— А ты был в Пекине?

— Не был, но буду. Маленький капрал меня доведет! — кивал гвардеец на императора.

А «маленький капрал» слез с коня и смотрел на город в трубу и те же самые части города разыскивал на громадной карте, разостланной у его ног на земле.

«Молодчина д'Альб, постарался!»

Один из императорских секретарей, Лелорнь, знавший Москву, называл Наполеону части города, давал объяснения. Наполеон повторял за ним, стараясь запомнить дикие названия:

— Пасмани. Семльяни вал. Куснески мост. Мясниски ворот. Взвз-взвиженька...

И как всегда, плохо запоминал и путал названия, но зато быстро схватывал и запоминал накрепко, навсегда топографию. И постепенно осваивался в этой азиатской концентрической планировке города.

На Поклонной горе стояли уже больше часа. Хотелось не только смотреть издали, но быть там, среди всего этого великолепия, если оно само дается в руки.

Еще не верилось, что русские отдадут без боя такое сокровище.

Наполеон ждал депутатов. Поклонная гора, на которой все кланяются городу, для него — не поклонная. Наоборот: здесь московский мэр, московский магистрат должны поклониться Наполеону, но они почему-то медлят сделать это, а терпения уже не хватает ни у кого.

Армия Наполеона стоит у Москвы, готовая схватить город. Мюрат — у Дорогомиловской заставы, Понятовский — у Калужской, вице-король — у Тверской.

Может быть, депутация ждет у городской заставы, название которой Наполеону не выговорить — такое оно несуразно длинное:

— До-ро-го-ми-ловска-я...

Это не парижское, легкое и короткое: Сен-Жермен.

Терпение истощилось. Наполеон сел на коня и махнул белой перчаткой генералу Сорбье. Раздался условный сигнальный выстрел гвардейской пушки. Он обозначал одно великолепное слово: «Вперед!»

Кавалерия бросилась в галоп; артиллерия, забыв о своих неповоротливых пушках, пыталась не отстать от кавалерии; пехота кинулась бегом, словно не прошла с боями столько сотен лье.

Топот, грохот, лязг, скрип, крики! Веселый ураган! Бескровная атака! Можно бежать, зная, что не страшно, если только не споткнешься и не упадешь под свой же громыхающий зарядный ящик, под тяжелые колеса пушек, если не собьют и не затопчут копыта взбешенных коней.

Опять всколыхнулись, поднялись густые тучи пыли и затмили радостное солнце. И в этих облаках пыли, как в облаках славы, скакал к Дорогомиловской заставе Москвы Наполеон.

II

Уже более получаса Наполеон с повеселевшей, оживленной свитой ожидал у Дорогомиловской заставы депутацию с ключами от Москвы. Он, удовлетворенный и счастливый, ходил не спеша по улице и предвкушал: вот сейчас появятся, как бывало не раз, смущенные, заискивающие вельможи в орденах и лентах. Будут молить о пощаде и снисхождении. Подадут на бархатной подушке городские ключи. Интересно, какие-то они в Москве? Должно быть, особенные.

Французы удивлялись, такой великолепный город — и без стен!

Гвардия чистилась, надевала парадные мундиры, готовясь церемониальным маршем вступить в Москву:

— Смотри, как наш Жак подкручивает усы!

— Хочет понравиться москвичкам.
— Ах, я вчера плохо побрился!
— Не беспокойся — у тебя седина не только на щеках.
Московские красотки всюду найдут!
— Седина в бороду, бес в ребро.
— И что это не видно жителей?
— Испугались!
— Боятся нас!
— А может быть, все ушли? — высказал кто-то смелое предположение.

Гвардейцы подняли товарища на смех:
— Смотрите, что выдумал Жером: москвичи бросили город и ушли!
— Оставили тебе все богатство, все дворцы. Ой, умо-
ри! — хохотала старая гвардия.

Сконфуженный скептик не сдавался:
— Ни одного дымка над домами. Это плохой знак!
— Поздно ты спохватился смотреть за дымом!
Москвичи давно сготовили для нас обед!

Наполеон стоял на левой стороне дороги, ждал де-
путацию: «Если она не успела к Поклонной горе, то должна
же явиться сюда».

Он уже заранее все приготовил: назначил губернато-
ром Москвы маршала Мортье (какая честь для гвар-
дии!), комендантом — генерала Дюронеля, интендантом,
правителем Московской губернии — бывшего консула в
России Лессеппа, составил прокламацию жителям —
а жителей что-то не видно.

— Поезжайте, поторопите! Эти скифы, вероятно, не
знают, как проходят подобные церемонии. Почему так
медлят? Могли бы одеться заранее. Со страху растеря-
ли штаны! А может, спешно делают ключи, если у них
нет городских стен и ворот. Могли бы взять хотя бы
от Кремля. Какое это имеет значение?

Наполеон послал польских улан. Задержка вызвала
разные толки.

Первыми зашептались шассеры, ближе всех стояв-
шие к Наполеону:

— Что за дьявольщина?

Солдаты, которые недавно высмеивали товарищей,
предполагавших, что Москва пуста, теперь только
пожимали плечами.

— Таким образом больших городов не покидают. Эти
каналы попрятались, как кролики. Мы их разыщем! Они

еще будут стоять перед нами на коленях! — обнадеживал
«ворчунов» капитан 1-й роты Лефрансо.

И все-таки гвардия первая услышала недобрые вести:

— Москва пуста.

— Все уехали.

— Пусть их дворяне уехали — не жалко. Лишь бы
оставили нам свои запасы и погреба.

— И горничных, — шутили гвардейцы.

К Наполеону вернулись посланные польские офицеры.
Они доложили:

— Ни русского губернатора, ни коменданта в Москве
нет: уехали.

Наполеон покраснел.

— Не может быть! Надо удостовериться. Поляки —
трусы: они боятся отъехать в сторону на два лье. Да-
рю! — сердито окликнул император. — Поезжайте и при-
ведите мне... — он щелкал пальцами, — опять забыл, как
в России называется высший класс... Приведите мне
этих... бояр! — вспомнил он наконец.

Дарю уехал.

Император помрачнел. От недавнего восторженного
настроения не осталось и следа. Недобрые предчувствия
охватили свиту. Генералы молчали, уже не восхищаясь
Москвой.

Наполеон стал быстро ходить по пыльной улице.
Он заметно волновался: то снимал, то надевал перчатку,
мял носовой платок, машинально вытирал им вспотев-
шую короткую шею, потом пытался засунуть платок в кар-
манчик мундира, где лежала табакерка.

Ему вспоминались пышные, торжественные встречи
в Милане, Вене, Берлине. Как тогда он был весел и как
теперь зол!

— Идут! Идут! — зашептали сзади.

Наполеон остановился и глянул.

Дарю возвращался действительно не один. Перед взво-
дом конных гренадер шло около десятка каких-то го-
рожан. Уже издали было видно, что это не депутаты, не
магистрат. По скромной одежде это были в лучшем случае
мелкие чиновники. Среди них выделялся костюмом не-
большой толстенький человек. На нем был темно-ко-
ричневый суконный фрак с необычайно узким ворот-
ником и круглыми металлическими пуговицами, какой
был модным в Париже лет десять тому назад, и широ-
кие сапоги à la Суворов с отворотами из желтой ко-

жи. Они подошли к Наполеону и, сняв почтительно шляпы, стали перед ним.

- Кто вы? — неласково спросил Наполеон у толстяка.
- Француз, поселившийся в Москве.
- Стало быть, мой подданный. Вы что, негоциант?
- У меня был книжный магазин.
- Где сенат?
- Уехал.
- Где губернатор?
- Уехал.
- Где народ? — топнул ногой император.
- Уехал.
- Кто же в Москве?
- Никого.
- Вы лжете!
- Клянусь честью, ваше величество!
- Молчите о чести! Болван!.. Коня! — крикнул, обращаясь к свите, Наполеон.

Рустан быстро подвел коня. Наполеон сам вскочил в седло.

Он помчался в этот загадочный, молчаливый, не покоренный, не сдавшийся город.

III

Шумел, горел пожар
московский,
Дым расстился по реке.
А на стенах высот
кремлевских
Стоял он в сером сюртуке. *Песня*

Француз Москву разоряет,
С того конца зажигает!

Народная песня

Первую ночь в Москве Наполеон провел в каком-то кабаке у заставы, поместив по всем переулкам Дорогомиловской слободы патрули и пушки.

Наполеон не хотел разбивать свои палатки. Он считывал завтра ночевать в роскошных кремлевских покоях, где жили русские цари. Император лег в кровать, поставленную среди большой залы. Стены залы были в зеркалах, и вся она пропахла запахом водки и кухни.

Но спать Наполеону не пришлось: к императору примчался адъютант Мюрата с известием, что в Москве в нескольких местах возникли пожары.

Вначале это не особенно беспокоило Наполеона. Понятно: пришли в чужой, к тому же безлюдный город и стали раскладывать костры поближе к домам, не заботясь о том, что дома большею частью деревянные — вот вам и пожар. Наполеон прекрасно знал психологию солдата: после нас — хоть потоп! Сам был таким.

Москва для них — не то, что для Наполеона. Адъютант Мюрата без удовольствия собирался ехать назад, в этот пусть и великолепный, но странный и страшный город. Не верилось, чтоб хитрые азиаты просто оставили богатейшую столицу. Французам на каждом шагу мерещилась опасность. Было дико идти мимо бесчисленных, безжизненных домов, мимо окон и дверей, за которыми не видно ни одного живого человека.

Адъютант делился переживаниями первых французских солдат, вступивших в опустевший город:

— Лучше идти под пулями, чем так. Это как тяжелый, кошмарный сон. Ни одной живой души. Город словно вымер от чумы. Цепенеешь от ужаса в этом царстве молчания. Идешь и все время оглядываешься назад. Нервы взвинчены. Малейший шум в переулке — и уже чудятся крики врагов и лязг оружия. Улицы длинны — не разобрать, кто на другом конце, друг или враг.

И адъютант нехотя поехал в лабиринт кривых московских улиц, переулков, тупиков.

Не прошло и часа, как следом за ним прискакал второй с той же новостью о начавшемся пожаре.

Наполеон вызвал губернатора Москвы маршала Мортье.

— Вы отвечаете головой за Москву! — сказал он маршалу.

В шесть часов утра Наполеон поднял главную квартиру на ноги и поехал в Кремль.

Гвардия все-таки шла в парадных мундирах, с музыкой.

Так как на улицах валялось много всякого добра, Наполеон отдал приказ: кавалеристам под страхом смерти не слезать с лошадей, пехотинцам не выходить из рядов.

Улицы были пусты. Слышался лишь размеренный то-

пот ног да барабанный рокот, отдававшийся от стен глухим эхом.

— Какое жуткое молчание!

— Такой богатый город — и пустой!

— Столько красок, а впечатление угрюмое!

— Ни одной женщины. Некому слушать нашу музыку!

— Некому оценить, какими молодцами мы выступаем! — сокрушались солдаты.

Молчание, сдержанность не в характере веселого, легкомысленного француза. Француз думает, что все обязательно такие же, как он сам.

Москва — с домами и дворцами разнообразной архитектуры, с башнями и башенками, с пестрыми куполами храмов, с высокими колокольнями, напоминающими минареты, — поразила Наполеона не менее, чем с Поклонной горы. Она и вблизи была необычайна, эта восточная красавица! Видя ее вблизи, ни глаз, ни сердце не разочаровывались. Удивляло и восхищало то, что дома оказались кирпичными и самой изящной архитектуры, а не просто деревянными, как ожидали встретить многие. Особняки частных лиц не уступали дворцам в богатстве и величии.

Наполеон смотрел с восхищением. Он старался не обращать внимания на то, что откуда-то еще попахивает дымком пожаров.

Подъехали к Кремлю.

— Вот они, гордые стены! — с довольной улыбкой сказал император. — Наконец-то я в Москве, в древнем дворце русских царей!

«Какую гримасу скорчат английские акулы, когда узнают, что я — в Москве! Вот я запроу английские гавани, что тогда будут делать эти пираты морей? Переварит ли их желудок жесткие гиней и залежалые товары?» — удовлетворенно думал он.

Вчера здесь, в Кремле, Мюрата встретили выстрелами какие-то бродяги, которых разогнали пушками. Хорошо же. На них можно свалить всю вину за московские пожары. Надо будет упомянуть о них в бюллетене.

Наполеон осмотрел Кремль — соборы, колокольню Ивана Великого, — посмеялся над «царь-пушкой».

— Возьмите себе этого «царя», Сорбье, — сказал он начальнику гвардейской артиллерии.

Наполеон занял во дворце комнаты, обращенные окнами на реку.

В Кремле разместились старая гвардия. Площади заняли пушки и зарядные ящики. Кремль стал похож на крепость.

Император располагался с уютом. Он с удовольствием смотрел, как Констан, Рустан и придворные лакеи носят из фургонов его мебель, устраивают кабинет, столовую, спальню. Места здесь было предостаточно для всех: для Бертье, для канцелярии, для топографов, для свиты, для дежурных адъютантов.

Император пообедал и занялся письмами, распоряжениями, делами.

Днем загорелся Гостинный двор и Каретный ряд. Наполеон встревожился и послал Мортье с молодой гвардией тушить, хотя ему донесли, что Ростопчин увез из Москвы все пожарные трубы.

В прошлую ночь император не выспался и потому рано лег спать. Он лежал на постели и думал о том, как по этим покоям ходили бородатые русские цари из династии... Он хотел вспомнить название династии, но так и не вспомнил.

Была глухая ночь. Один император спокойно спал, а все в Кремле бодрствовало.

С вечера поднялся сильнейший ураган. Он налетал то с севера, то с запада, словно примеривался, с какой стороны удобнее погнать на Кремль огонь пожаров, начавшихся еще днем в разных частях Москвы.

К полуночи все улицы вокруг Кремля оказались в огне.

С треском рушились стены домов, ветер с лязгом и грохотом срывал с крыш листы железа. Снопы искр огненной метели сыпались на кровли дворцов, соборов, арсенала и других построек Кремля.

Огненная пыль засыпала кремлевские площади, где расположился артиллерийский парк гвардии и артиллерии.

Лефер поставил старую гвардию «в ружье». Грозные, стоявшие как стена шеренги гвардии сегодня были неузнаваемы: «старые ворчуны» кашляли и сморкались от едкого дыма и гари, тянувшейся отовсюду с громадных пожаров. Гренадеры, как лошади от назойливых оводов, отбивались от туч огненных искр, сыпавшихся со зловеще багрового неба.

Сон никому не мог идти на ум: положение французских войск было похоже на положение крепости, которую штурмует грозный враг.

В Кремль залетали горящие головни. В нескольких местах уже начинались пожары, но гвардия тушила их.

Наконец в четвертом часу ночи император вдруг проснулся: яркий огонь, освещавший со двора комнату, разбудил его. В первое мгновение мелькнула мысль: «Торжественная иллюминация!» В Неаполе, Вене, Берлине — всюду бывала она. Но огненные отблески как-то странно плясали по потолку.

Наполеон позвал Рустана.

— Почему так светло? — спросил он.

— Пожар, ваше величество. Горит центр Москвы, — ответил мамелюк.

Наполеон оттолкнул от себя Рустана, подававшего рейтузы, и кинулся к большому окну. Он стоял у окна и чувствовал, что бледнеет: перед глазами полыхало бушующее неистовое море огня. И земля и небо — все было в огне. В этом вихре пламени и дыма исчезали все его надежды на мир.

Наполеон стал торопливо одеваться, приговаривая:

— Это непостижимо! Это превосходит всякое вероятие!

Он еще не говорил вслух, но уже думал: «Все пропало...»

Он вспомнил о пушках гвардейской артиллерии, которая разместилась в Кремле, и крикнул:

— Гвардию в ружье!

— Она давно уже бодрствует, ваше величество, — ответил, входя в спальню, Коленкур.

«Моя старая гвардия не имеет покоя даже в Кремле!» — возмущенно подумал Наполеон.

В волнении он заходил большими шагами по комнате. Наполеон то садился, то вновь подбегал к какому-нибудь окну в тщетной надежде увидеть стихающий пожар. Но пожар, наоборот, разрастался. Ветер гнал волны огня прямо на Кремль, точно хотел, чтобы огонь истребил чужеземцев, забравшихся в русскую святыню. Наполеон попробовал выйти на балкон, но до чугунных перил нельзя было дотронуться — так они накалились, несмотря на то, что пожар был довольно далеко от дворца.

— Какое ужасное зрелище! Москва погибла. Я поте-

рял средства наградить моих храбрых солдат! — сокрушался император.

К Наполеону вошли вице-король Евгений Богарне, маршалы Бертье, Лефевр и Бесьер. Они умоляли императора немедленно покинуть Кремль.

Оставить дворец русских царей? Наполеон не хотел и слышать об этом. Выезд из Кремля походил бы на бегство. Это хуже, чем отступление в бою.

Он снова и снова подбегал к окнам, но ветер ревел с прежней силой и за окнами была все та же страшная огненная бездна.

Даже стекла в окнах уже становились горячими.

— Кремль горит! — вдруг раздался чей-то испуганный крик.

Маршалы, адъютанты, лакеи, забыв о всякой субординации, толкая друг друга, кинулись из дворца посмотреть, где горит. Оказалось, что от летящих головней и искр загорелась башня арсенала, в котором еще осталось много русского пороха.

Старая гвардия с полчаса тушила пожар.

— Ваше величество, медлить нельзя. Надо выезжать отсюда, — подошел к Наполеону Евгений Богарне.

Наполеон подозревал Бертье:

— С балкона плохо видно. Влезьте на кремлевскую стену и посмотрите!

Поручение было не из легких, но Бертье с адъютантом побежал выполнять приказ императора.

Бертье вернулся довольно быстро. Он весь пропах дымом, его сюртук, сшитый так же, как и у императора, был прожжен в нескольких местах.

— Ну как? — спросил Наполеон.

Бертье только развел свои коротенькие ручки.

— Меня чуть не смело порывом ветра! — говорил он, вытирая воспалившиеся от дыма, слезящиеся глаза.

— Ваше величество, умоляю вас, поедem! Мы здесь все погибнем! — уговаривал вице-король.

— Стоит только одной искорке упасть удачнее других на зарядный ящик... — начал Мортье и не закончил.

— Мы погибнем иначе: если Кутозов вдруг атакует нас теперь, вы, ваше величество, окажетесь отрезанными от своей армии огнем! — сказал Бертье.

Этот неожиданный довод произвел на императора больше впечатления, чем все остальные.

— Куда же идти? — спросил он.

— В распоряжение моих корпусов на Петербургскую дорогу,— ответил Евгений Богарне.

— Ну что ж, пойдем! — мрачно согласился император.

Во дворце поднялась суматоха. Придворные лакеи и адъютанты забежали по комнатам, укладывая вещи. Секретари собирали со стола бумаги. Меневаль держал зеленый портфель императора, а Фен — книгу со списками полков, которой Наполеон очень дорожил.

Император машинально надел пальто, поданное ему Констаном, надвинул на глаза треуголку и пошел из дворца.

Как гордо он всходил вчера по этим же ступеням и в каком подавленном состоянии спускался сейчас!

IV

В Петровском дворце Наполеон провел три томительных дня, но не отдал ни одного приказа, не продиктовал ни одного военного распоряжения.

Хотя Петровский дворец находился на расстоянии мили от города, он не мог идти ни в какое сравнение с Кремлем.

Когда под приказом, рескриптом, письмом или бюллетенем в Париж, Берлин или Вену стояло: «Москва, Кремль», весь мир понимал, что это значит. «Петровское» же звучало хуже любого Витебска.

Пусть Петровский дворец уютен и красив своим английским садом, гротами, китайскими павильонами, киосками и беседками, в которых разместились генералы и свита, но, разумеется, все это не могло сравниться с Кремлем.

Все три дня Наполеон не отходил от окон: смотрел, когда же утихнет этот невероятный пожар.

Ночью вид пылающей Москвы был очень эффектен, но император находил пожар Смоленска более величественным. Когда он смотрел на высокие смоленские стены и толстые башни, объятые пламенем, в воображении невольно возникали Троя, Помпея, Геркуланум.

А пожар Москвы напоминает ему Рим, сожженный Нероном.

Пожар Смоленска веселил Наполеона, пожар Москвы — беспокоил.

Думалось: «Что скажут в Европе? — Преступник...»

— Это предвещает нам большое несчастье! — вырвалось у Наполеона, когда на второй день пребывания в Петровском он утром увидел, что пожар и не думает уменьшаться.

Наполеон был мрачен, неразговорчив и зол. Маршалы, генералы и свита ходили на цыпочках, боясь чем-либо вызвать вспышку близкого, готового вот-вот взорваться гнева императора.

Наполеон еще надеялся на свою счастливую звезду, надеялся, что Кремль уцелеет.

«Пусть горит этот роковой город, лишь бы остался невредимым его Кремль!»

Маршал Мортье не забыл угрожающего предостережения императора: батальон гвардии, оставленный в Кремле, делал все, чтобы не допустить в нем пожара. И Кремль уцелел.

Ночью с 5 на 6 сентября полил крупный, спорый дождь. Он шумел до самого рассвета.

Ураганный ветер, который бушевал вчера и позавчера, наконец стих. Зарево стало уменьшаться и бледнеть.

Утром 6 сентября густые облака дыма повисли над городом. Пламя уже не пробивалось сквозь них. Только солнце смотрелось сверху кроваво-красным глазом.

Накаленная земля, по которой еще вчера едва можно было ходить — так она была горяча, — сегодня остыла. Воздух немного освежился.

Наполеон решил немедленно возвращаться в Кремль.

Сегодня он ехал уже без музыки, но в окружении все той же многочисленной блестящей свиты. Впереди ехал взвод конных егерей с карабинами, взятыми на изготовку.

Сейчас же за Петровским начались биваки «великой армии». Полки располагались на грязных, уже раскисших от дождя полях. Всюду жарко пылали бивачные костры. Они были сложены не из сырых, только что поваленных деревьев и не из старых бревен деревенских хат, как бывало в походе по дорогам Литвы и Белоруссии. В московских кострах горела разломанная, порубленная саблями дорогая мебель красного, палисандрового, черного дерева, горели золоченые рамы от картин и зеркал, тлели брошенные книги в сафьяновых и телячьих переплетах.

Вокруг костров стояло некое подобие шалашей, сооруженных из сорванных с домов дверей и створок шкафов, отделанных бронзой. Пол в них был устлан великолепными, втоптаннами в грязь восточными коврами. Под этими навесами стояли шелковые диваны и кресла. На них располагались закопченные, почерневшие от дыма и грязи, немывые, небритые, но, видимо, довольные офицеры и солдаты.

Из некоторых шалашей кокетливо выглядывали женские лица. Походные дамы, бесстрашно проделавшие со своими друзьями такой далекий и трудный поход, сидели в самых изнеженных и ленивых позах на роскошной мебели, укутавшись в персидские шали и китайские шелка и закрыв ноги лисьими, песцовыми, собольими мехами.

Над кострами вместо походных чугунных котлов висели серебряные ведра, чаши и вазы. Из них торчали лошадиные голени и ребра.

Тут же среди битой и целой фарфоровой и хрустальной посуды стояли мешки с кофе, сахаром, банки с вареньем. На серебряных блюдах лежали какие-то черные неаппетитные лепешки.

Ни на серебре, ни на фарфоре, ни на хрустале хлеба видно не было. И всюду в неимоверном количестве виднелись пустые и еще не откупоренные бутылки самых дорогих, тонких вин.

Почти все офицеры и солдаты были пьяны.

Увидев едущего императора, они и не подумали салютовать ему шпагой или брать ружье на караул. Одни подымали вверх хрустальные бокалы и серебряные кубки с вином или просто бутылки, из которых пили, и кричали нетвердыми и малопочтительными голосами: «Да здравствует император!» Другие приглашали императора чокнуться с ними, третьи под смехи своих возлюбленных слали «маленького капрала» ко всем чертям и даже дальше.

Но так поступали немногие. Большинство солдат и офицеров совершенно не обращали никакого внимания ни на императора, ни на его свиту. Они были поглощены серьезным и приятным делом: разбирали награбленные вещи, хвастались друг перед другом своей удачей, радовались богатой пожизне.

Люди более веселого склада забавлялись на биваке чем и как могли.

Дородная, изрядно пожившая маркитантка, наряженная в костюм русской боярыни с кокошником, напяливала на молодого, шатающегося от возлияний шассера модную прозрачную женскую сорочку под одобрительный смех его товарищей. Маркитантка вертела шассера и, вероятно, отпускала сальные шуточки, потому что шассеры хохотали, крича:

— Ай да тетка Дюбуа!

Перед большим зеркалом, каким-то чудом вытасненным из дома в полной сохранности, несколько вольтижеров примеряли разную наворованную одежду: модные голубые и коричневые фраки, польские контуши, треуголки, ентовые и лисьи шубы, папахи.

Лагерь вообще представлял картину карнавала. Здесь можно было увидеть солдат, одетых персами, китайцами, поляками, татарами, калмыками, турками.

Город еще дымился. Кое-где на пожарище маячили фигуры изможденных, полуголых, обобранных до последней нитки москвичей, которые искали хоть какой-нибудь еды. А из лагеря французов доносились пьяные выкрики, песни и смех, сквозь которые иногда прорывалась многоязычная ругань дерущихся или истошные вопли горожанок, не желавших добровольно веселиться вместе с неприятелем.

«Великая армия» наслаждалась.

Навстречу императору, не думая сторониться и уступать ему дорогу, тянулись конные и пешие солдаты с награбленным добром. Они подгоняли прикладами и саблями полуголых москвичей — женщин, стариков и детей, которые, сгибаясь под непосильной ношей, должны были тащить награбленное французами.

Все эти сцены не коробили Наполеона: на войне как на войне! Что ж, его солдаты, прошедшие с боями столько, могут наконец доставить себе удовольствие!

Так было всегда, и так будет: *vae victis!*¹

Наполеон въехал в самый город.

Улиц не осталось. Они угадывались только по обвалившимся и частично уцелевшим стенам каменных домов и печным трубам, которые выказывали из пепелищ свои длинные шеи.

Дорога была завалена догоравшими, тлеющими бревнами, золой, скрюченным, обгорелым железом, осколками

¹ Горе побежденным (лат.).

В ТАРУТИНСКОМ ЛАГЕРЕ

Пала Москва, но, опершись на Кутузова, устояла Россия.

Надпись на памятнике в Тарутине

Пребывание в Тарутине было для Кутузова одною из блистательнейших эпох его достославной жизни. Со времен Пожарского никто не стоял так высоко в виду всей России.

Михайловский-Данилевский

I

Еще в Филях все удивлялись и не понимали, почему Кутузов решил отходить на Рязань. Когда после совета, на котором было решено оставить Москву, главнокомандующий вызвал генерал-интенданта Ланского и сказал ему, что армия пойдет на Рязань, Ланской изумился: главнокомандующий должен был помнить, что все боевые и продовольственные запасы сосредоточены возле Калуги. Но Михаил Илларионович сделал вид, будто забыл об этом.

— А разве у Рязани ничего нет? — спросил он.

— Если прикажете, будет! — ответил Ланской.

Главнокомандующий не приказал передвигать запасы к Рязани, потому что и не собирался идти туда, но все-таки велел военному полицеймейстеру армии Шульгину отправлять на Рязань все обозы.

Штабные знали Кутузова: он никому не откроет того, что думает, это не горячий Багратион и не методичный Барклай.

И теперь армия и часть жителей Москвы медленно двигались по Рязанскому тракту на Бронницы. Армия не могла особенно торопиться: надо было прикрывать уходящее из Москвы население. Москвичи жались под крылышко армии. На остановках многие из них, вышедшие из дому налегке, просили у солдат «хлебушка», сенца для козы или коровы, которых вели с собой.

Солдаты делились с бабами и ребятишками последним куском.

Трудно было москвичам уходить из любимой, родной столицы. Вздыхая и плача, они оглядывались назад.

стекла и битой посуды, выброшенной из домов мебелью и разными домашними вещами. Их старались бросать немощные подневольные носильщики или оставляли сами мародеры, прельстившись по пути чем-либо более интересным.

Москвы, в сущности, не было. Была груда сплошных развалин.

Кремль возвышался среди руин, как маяк.

К вечеру топографы главной императорской квартиры во главе с д'Альбом уже представили императору план нового города: от Москвы осталась лишь одна треть.

Изумительная на числа память Наполеона тут же подсказала ему, что и от «великой армии» осталось не более.

Но все это для Наполеона были пустяки. Его слава еще не померкла.

Два таких имени, как «Наполеон» и «Москва», соединенные вместе, будут достаточны для того, чтобы достойно завершить кампанию.

И в этот же вечер Наполеон отправил из Москвы, из Кремля, письмо жене, императрице Марии-Луизе:

«Мой друг, я тебе пишу из Москвы. Я не имел понятия об этом городе. Он заключал в себе пятьсот таких же прекрасных дворцов, как Елисейский дворец, меблированных на французский лад с невероятной роскошью, несколько императорских дворцов, казармы, великолепные госпитали. Все это исчезло, огонь пожирает это вот уже четыре дня. Так как все небольшие дома граждан деревянные, то они загораются, как спички. Губернатор и сами русские в ярости за свое поражение зажгли этот прекрасный город. Двести тысяч обитателей в отчаянии, на улице, в несчастье. Однако для армии остается достаточно, и армия нашла тут много всякого рода богатств, так как в этом беспорядке все подвергается разграблению».

Наполеон написал письмо в таких же радужных красках, как писал из Вильны, Витебска, Смоленска, Бородина. Он обелял себя и всю «великую армию», он делал вид, что его дела — блестящи.

Наполеон написал так, как писал и все свои знаменитые бюллетени: с непомерной хвастливостью и беспардонной ложью.

— Москва, красавица ты наша! По камушку, по дощечке унесли бы мы тебя с собою — не доставайся лютому врагу! — говорили они.

На второй день пути, в ночь, москвичи увидели над древней столицей страшное зарево; оно переливалось всеми цветами. Ни один самый искусный пиротехник не мог бы придумать такого сочетания красок.

Солдаты шли хмурые, молчали.

— Господи, да что ж это такое!

— Матушка наша Первопрестольная занялась!

— Горит, горит Белокаменная!

— Поджег окаянный француз! — проклинали, причитали бабы.

Мужики кляли врага, ожесточались:

— Коли Москва не наша, так пусть уж будет ничья!

— Теперь остается нам торговать золой да углями! — с горечью иронизировали они.

Армия заночевала в деревне Панки, в пятнадцати верстах от Москвы. Главнокомандующий сидел в избе у открытого окна, пил чай. Под окнами собрались панковские старики. Кайсаров хотел гнать их, но Михаил Илларионович не велел. Старики с ужасом указывали на горевшую Москву, крестились, спрашивали:

— Что же это? Неужто пропадем все?

Девяностолетний, с замшелыми зелеными бровями дед говорил, опираясь на клюку:

— Ваше сиятельство, ежели не хватило войска, зачем же не кликнули народ? Разве мало нас на Руси? Все бы пошли. Солдат делал бы свое, а мы свое.

— Так и надо, дедушка: навалиться на него всем народом. Вон витебские и смоленские давно поднялись.

— Оружия нетути, — сказали из толпы.

— А топоры, вилы, косы — разве не оружие? — спросил Кутузов.

— Правильно!

— Всем миром мы ему голову и слоим, вспомните мое слово! — говорил в сердцах Михаил Илларионович. — Горит Москва — прискорбно, жалко, но ведь горела же она не раз: и татары ее жгли, и поляки, а все стоит! Гори Москва — но живи Россия!

В тот же вечер Кутузов послал письмо жене в Петербург:

«Я, мой друг, слава богу, здоров и, как ни тяжело, надеюсь, что бог все исправит».

3 сентября подошли к Боровской переправе через реку Москва. На следующий день по устроенным двум понтонным и двум накидным мостам армия перешла на правый берег реки, и тут вдруг последовал новый приказ: не идти на Рязань, а повернуться на запад, к Подольску. Свернули с широкого большака на размытые дождями глинистые проселки. Тронулись в путь темной ночью; двигались по проселочным дорогам двумя колоннами, соблюдая строжайшую дисциплину.

«Всем генералам во всякое время находиться неотлучно в линиях при своих корпусах», — приказал Кутузов.

Арьергард должен был так прикрывать отход, чтобы ни малейшего следа на фланговой нашей дороге неприятель не открыл.

Арьергард скрытно шел следом за армией, оставив у Боровского перевоза два казачьих полка. Казаки должны были под натиском врага отступать к Бронницам, делая вид, что армия отходит по Рязанской дороге.

Офицеры недоумевали:

— И зачем петляем, как заяц на дороге?

— Принимаем фланговое положение.

— Пока зайдем во фланг Наполеону, так сами представляем неприятелю свой. Враг сидит у нас на плечах, а мы перестраиваемся.

— И совсем неверно: наш правый фланг надежно защищен рекой. А французов нигде не видно, мы оторвались от них, — спорили офицеры.

Солдаты рассуждали об этом же по-своему:

— Почитай, три месяца шли все на восток, а теперь, глянь-кось, повернули на запад, на Тульскую дорогу.

— Император, бают, велел идтить к нам, на Владимир.

— Идти на восток? — усмехался другой. — А всю теплую сторону, все лучшие земли, Украину, Новороссию, выходит, оставить францу?

— В твоём Владимире что есть? Купцы да монашки, а в Туле — оружейный завод!

— Да в Брянске пушечный.

— И в Орле тоже пушки льют, у Демидова.

— А у нас, на Черниговщине, в Шостке, селитренный, пороховой.

— Вот видишь, а ты со своим Владимиром! Михайло Ларивоныч знает, что делает!

— Зна-а-ет! Москву отдал, столицу!

— А что Москва? Мы на любом месте столицу сделаем. Вон Петра Великой устроил на болоте Петербург...

— Михайло Ларивоныч играет с французом в гуляшки...

По мере приближения к Калужской дороге цель Кутузова становилась все яснее даже солдатам. Они поняли: идут в тыл врага. Потому старались удвоить шаг и жалели, что переходы невелики.

Все сообразили:

— Вот зачем отдали французам Москву.

— Это их нарочно заманили в западню.

Хвалили на все лады Кутузова:

— Ай да старик Кутузов! Поддел Бонапартия, как ни хитрил француз!

— Михайло Ларивоныч — тертый калач: он и турка обжегил!

— Он — суворовский любимый ученик!

5 сентября вечером армия подошла к Подольску и дневала в нем.

В Подольске Кутузов сделал смотр армии. Войска проходили мимо главнокомандующего и впервые после сдачи Москвы приветствовали его возгласами «ура».

Из Подольска армия двинулась на старую Калужскую дорогу, которая была в центре всех путей из Москвы на юг, и встала у Красной Пахры, прикрывшись рекой Пахра.

Русские отдыхали в Красной Пахре пять дней. Кутузов собирал оставших, приводил полки в порядок.

Он каждое утро спрашивал:

— А что, неприятель где? Не видно еще его?

Французы пропали. Мюрат, введенный в заблуждение Милорадовичем, потерял русскую армию.

А она с каждым днем становилась веселее. Отчаяние, уныние и ропот прекратились. Вернулась уверенность. Солдаты ободрились.

В Красной Пахре получили радостную весть: государь произвел за Бородинскую победу генерала Кутузова в фельдмаршалы, офицеры получили третное жалование, а солдаты — по пять рублей на человека.

Однажды за обедом фельдмаршалу подали стерлядь уху.

— Откуда такая прекрасная рыба? — удивился Михаил Илларионович.

— Калужские купцы прислали, — ответил Резвой.

— Ну, спасибо им. Сразу видно, что мы теперь живем как надо быть, дома!

Мюрат, не найдя русской армии на Рязанской дороге, повернул к Подольску, куда подошел со своим корпусом и Понятовский, посланный Наполеоном на розыски Кутузова.

13 сентября в Подольске оба генерала узнали наконец, где находится русская армия, след которой был потерян две недели тому назад.

Ввиду того что Мюрат и Понятовский двинулись на Кутузова, Михаил Илларионович собрал 14 сентября военный совет.

Оставаться у Красной Пахры Кутузов не хотел: от Москвы до Красной Пахры всего один переход. Лучше бы отойти еще на юг, чтобы не быть под непосредственной угрозой удара всей армии Наполеона.

На совете присутствовали Беннигсен, Барклай и Толь.

— Нам необходимо принять меры, чтобы не быть отрезанными от Калуги. Тридцать верст от Москвы — это очень близкое соседство с Наполеоном, — сказал главнокомандующий.

— Надо еще отвести армию назад, — предложил Барклай. — Нет ли хорошей позиции позади Чирикова? — обернулся он к Толю.

— Я исследовал всю местность до Воронова — нигде нет такой, чтобы можно было удержать, — ответил Толь.

— Тогда отступим дальше.

Услышав это, Беннигсен вскочил со скамьи и забегал по комнате, плюясь от негодования:

— Еще отступать? Всегда отступать! И так хорошо известно, что господин Барклай любит отступления!

По перекошенному от злобы лицу Беннигсена можно было подумать, что он готов поколотить Барклая.

Михаил Богданович, совершенно ошеломленный бестактной выходкой Беннигсена, сидел сконфуженный и красный. Ему было неприятно, что Беннигсен снова говорил об отступлении, которое было Барклаю как острый нож. Он пытался вставить хоть слово в свое оправдание, но Беннигсен перебивал его потоком издевательских замечаний.

— Зачем вы горячитесь, любезный генерал? Вы знаете, как я вас люблю и уважаю. Вам стоит лишь высказать свое мнение, и мы тотчас же согласимся с ним,— вкрадчиво, спокойно, убедительно вставил Кутузов.

Беннигсен поддался на уговоры Кутузова. Он шагнул к столу, где лежала карта, и в последний раз бросил Барклаю:

— Отступить! Я думаю, вы очень недовольны, генерал, что нет второй Москвы, которую можно было бы отдать врагу!

Это был камушек в огород обоих врагов Беннигсена — Барклая и Кутузова.

Беннигсен нагнулся над картой и предложил не отступать, а идти к Подольску, навстречу Понятовскому, и дать бой.

— Вот что хорошо, то хорошо! Вы всегда говорите так умно, что остается только соглашаться с вами. Полковник Толь, сделайте распоряжение согласно указаниям генерала Беннигсена,— сказал главнокомандующий.

Барклай криво улыбался: он не понимал, почему нужно возвращаться назад по той дороге, по которой только что пришли в Красную Пахру, и оставлять без прикрытия важную стратегическую линию — Калужскую дорогу?

Беннигсен ушел с совета вполне довольный: завтра утром он поведет войска на французов.

Но радовался он преждевременно: Кутузов ни на минуту не думал идти вперед. В полночь армии было приказано отходить на юг.

Кутузов отступил еще на один переход к Калуге и остановился у села Тарутино на реке Нара. Тарутино находилось на большаке из Москвы в Калугу и лежало на одинаковом расстоянии от обоих городов. На левом берегу Нары раскинулось Тарутино, а на противоположном берегу села была деревня Границево. В полуверсте за деревней Границево и встала лагерем русская армия.

Река Нара здесь неглубока и неширока, но правый берег ее нагорный: крутые и высокие берега хорошо защищали лагерь. Позиция у Тарутина оказалась весьма сильной: она имела прекрасный обзор, правое крыло прикрывалось оврагом. Хуже было с левым, которое упиралось в лес, тянувшийся до самой Калуги.

— Позиция как при Бородине: левое крыло у нас всегда хромает,— сказал Беннигсен.

— Сделаем засеки в лесу, укрепим,— ответил Кутузов.— Здесь наш тыл прочно прикрыт. И мы можем угрожать сообщениям Наполеона, Смоленской дороге.

— Немножко тесновато для лагеря,— поморщился Толь.

— В тесноте — не в обиде! — весело отозвался Михаил Илларионович, оглядывая с высокого берега свое расположение.— Ну, теперь — ни шагу назад!

И в тот же день главнокомандующий отдал приказ, в котором говорилось:

«Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество на нас взирают».

II

Слова Кутузова — «ни шагу назад!» — в тот же день стали известны всем.

— Ну, теперь держись, Аполийн! — радовались солдаты.

Теперь все восхищались дальновидностью, осмотрительностью Кутузова, его правильным, удачным фланговым маршем. И все, кто еще недавно порицал Кутузова за блуждание по проселкам, за движение к старой Калужской дороге, не только хвалили его, но приписывали себе честь открытия этого марша. Толь хвастался тем, что это он подсказал «старика» такой план. Беннигсен делал вид, что он тоже причастен к плану. Ермолов, бывший всегда себе на уме, не говорил прямо, как Толь, но намекал, что не обошлось без его советов. Только один прямодушный Коновницын не присваивал себе такой чести.

На дороге из Панков в Жилино Кутузов отправил рапорт царю об оставлении Москвы. В нем Михаил Илларионович правдиво писал, что на совете «некоторые были противного мнения», и заранее признавал: «Не отрицаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею», но кончал тем, в чем был глубоко убежден: «Пока армия цела и подвижна известною храбростию и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря Отечества».

Кутузов послал рапорт с генералом Мишо. Мишо был иностранец; Александр I посчитался с ним, когда Мишо раскритиковал Дрисский лагерь.

Рапорт о сдаче Москвы, конечно, запоздал. Михаил Илларионович знал, что царю уже сообщили об оставлении столицы: первый постарался наклеветать Ростопчин. Кутузов ясно представлял себе, какой переполох вызвало это известие в Петербурге, как усердствуют в сочинении разных небылиц, в клевете на главнокомандующего его многочисленные петербургские «друзья», которые готовы утопить Михаила Илларионовича в ложке воды.

На пути из Красной Пахры к Тарутину прибыл в главную квартиру генерал-адъютант царя князь Волконский с письмом Александра I.

«Я отправляю с сим князя Волконского, дабы узнать от Вас о положении армии и о побудивших Вас причинах к столь несчастной решимости»,— писал обозленный Александр (Кутузов не рапортовал царю с 29 августа).

В эти дни Кутузов дал приказ соединить две Западные армии в одну: уже не было никакого смысла продолжать их разделять. Командующим армией он назначил Барклая де Толли, а резервом, состоявшим из 3-го и 5-го корпусов и двух кавалерийских дивизий,— генерала Милорадовича.

Барклай подал рапорт об увольнении его из армии ввиду болезни. Честный Барклай считал ниже своего достоинства быть в непосредственном подчинении у такого начальника штаба армии, как Беннигсен.

Кутузов удовлетворил просьбу, и Барклай уехал. Командование Западной армией Михаил Илларионович принял на себя.

Дежурным генералом Кутузов назначил Коновницына. Главная квартира приняла иной вид.

Но интриганы и враги Кутузова остались в ней по-прежнему.

Первым из них был все тот же Беннигсен. Он не терял надежды когда-нибудь свалить Кутузова и стать вместо него главнокомандующим. Беннигсен не гнушался никакими средствами: сплетней, ложью, клеветой. В этом ему деятельно помогал Ростопчин, живший здесь же.

Московский губернатор оказался в Тарутине не у дел: «афишек» выпускать он не мог; иностранцев при армии было не меньше, чем в Москве, но этих иностранцев нельзя было выслать ни в какой Саратов. Ему оставалось лишь интриговать против Кутузова, облыжно обвиняя его во всех смертных грехах, и писать доносы на него царю. Ростопчина очень задевало то, что главнокоман-

дующий ни разу не пригласил его к себе, делая вид, будто Ростопчина нет в Тарутине.

К Беннигсену и Ростопчину примыкали родственники царя, молодые, но явно бездарные генералы — герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский. Как всякая бездарность, они не могли простить старику Кутузову его полководческого таланта.

Не всегда ясно, но с всегдашним постоянством поддерживал группу Беннигсена наружно почитавший фельдмаршала, но державший камень за пазухой умный, самолюбивый, иронический Ермолов.

Вся эта компания получила в Тарутине подкрепление: в армию приехал представитель Англии сэр Роберт Вильсон с большими полномочиями от Александра I.

Этот бритт с длинным красным носом и таким же красным угреватым лицом был деятелен и нагл. Он совал свой нос всюду. Вильсон вел себя так, будто не Кутузов, а он командует Западной армией.

И он поддерживал Беннигсена хотя бы уже потому, что Беннигсен, как ганноверец, считался подданным английского короля.

Вильсон, следуя английской политике, ее целям и намерениям, хотел, чтобы Кутузов уничтожил Наполеона и его армию. Он действовал так, как всегда действовали все английские дипломаты: старался загребать жар чужими руками.

Кутузов — полководец и дипломат — прекрасно знал традиционную политику Англии. Он давно сталкивался с ней на Дунае и в Крыму. Осторожная, осмотрительная тактика Кутузова не устраивала английского представителя. У него не хватало терпения выжидать. Он хотел бы разделиться с Наполеоном поскорее.

Вильсону было наплевать на все потери, которые могли понести русские: англичане ведь не рисковали ничем.

Беннигсен, всюду кричавший о необходимости активных наступательных действий, был больше по душе Вильсону, чем осторожный Кутузов. Как раньше о Барклае, Беннигсен распространял теперь разные небылицы о Михаиле Илларионовиче, клеветал на него. Главным коньком у Беннигсена была старость Кутузова. Беннигсен всюду кричал о дряхлости главнокомандующего, забыв о том, что сам он — ровесник Кутузова.

То, что Кутузов принял отставку Барклая, Беннигсен считал выгодным для себя: одним конкурентом стало

меньше. Беннигсен помнил, что Александр не любит Кутузова, и все еще не терял надежды стать главнокомандующим вместо него.

На третий день пребывания армии в Тарутине, рано утром, когда Беннигсен еще нежился в постели, к нему прибежал его адъютант Клиnger и сообщил потрясающую новость: главнокомандующий только что получил письмо от маршала Бертье. Наполеон послал к Кутузову для переговоров своего генерал-адъютанта Лористона, и Кутузов собирался ехать на аванпосты для встречи с ним.

Беннигсен вскочил как ужаленный.

Он знал, что после сожжения Москвы дворянство не позволит заключить мир и что Кутузов, конечно, не станет говорить о мире, но эту встречу Кутузова с послом Наполеона можно и должно использовать в борьбе против Кутузова. Нужно поднять шум, сделать из этого большой скандал. Беннигсен жаждал мщения. Он не забыл, как три дня назад, когда выбирали позицию у Тарутина и Беннигсен доказывал, что она плоха, Кутузов вдруг оставил свой всегдашний, хоть и ядовитый, но дипломатически выдержанный тон и бросил в лицо Беннигсену: «Ваша позиция при Фридланде была хороша для вас, а я доволен тарутинской! И мы на ней останемся, потому что я начальствую и отвечаю за все, а не вы!»

Кутузов снова напомнил Беннигсену о Фридланде? Хорошо же! Посмотрим, господин фельдмаршал!

Нужно натравить на Кутузова рыжего англичанина Вильсона. Но где он? Он ни минуты не сидит на месте, этот узаконенный шпион. Вильсон летает то на аванпосты, то в Калугу, хочет все видеть сам, собирает сведения для отсылки в Англию. Вот и сейчас он оказался на аванпостах.

Беннигсен написал записку Вильсону, прося его тотчас же возвратиться в главную квартиру. В записке Беннигсен сплетничал: он говорил, что главнокомандующий согласился на свидание с Лористоном за несколько верст от наших аванпостов, что при переговорах, вероятно, будет присутствовать сам Наполеон, которого «эта старая баба, Кутузов», очень уважает.

Послав записку Вильсону, Беннигсен известил об этом всех своих единомышленников: Ростопчина, герцога Вюртембургского, принца Ольденбургского и Ермолова.

Вильсон немедленно примчался с аванпостов. Не заезжая к Беннигсену, он прямо ввалился к главнокомандующему, который диктовал Коновницину приказы. Михаил Илларионович уже думал о зимней кампании и слал калужскому, орловскому, рязанскому и владимирскому губернаторам приказы заготовить сто тысяч полушубков и сто тысяч пар сапог для армии.

Фельдмаршал не собирался ехать к аванпостам. Он хотел протянуть день, чтобы подготовиться. Кутузов не успел еще привести свой лагерь в надлежащее оборонительное положение и не хотел показывать его в таком виде французскому уполномоченному.

Когда Михаил Илларионович увидел красный мундир и красное, не столько от прыщей, сколько от гнева, лицо англичанина, он понял, зачем пожаловал к нему нахальный бритт.

— Вероятно, вы привезли мне новости из авангарда? — спокойно, но не без иронии спросил Кутузов.

— Раньше меня вам их привез французский парламентар, — не стараясь сдержать своего раздражения, выпалил Вильсон.

Он обрушился на Кутузова за его желание говорить с представителем «коварного корсиканца», сказал, что это свидание повредит общему делу. Тридцатипятилетний англичанин почти кричал на посевшего в боях русского фельдмаршала. Коновницин видел, как бледнеют пухлые щеки Михаила Илларионовича и дрожит рука, держащая перо.

Фельдмаршал поднялся и сказал отдельно и веско:

— Извольте знать, сэр, что главнокомандующим русских войск являюсь я! Я знаю, что может быть вредно вверенному мне делу! Я буду делать то, что считаю необходимым! А вам советую увлечься более преданностью к русскому императору, чем негодованием к Наполеону!

Вильсон повернулся и выбежал из избы, сильно хлопнув дверью и крича на ходу:

— Это возмутительно!

Он был взбешен до крайности.

Вильсон помчался к герцогу Вюртембургскому, жившему напротив. У герцога он застал принца Ольденбургского, Беннигсена и Ростопчина. Осторожный Ермолов предпочитал оставаться за кулисами.

Решено было тотчас же идти к главнокомандующему

обоим принципам и возражать против его свидания на аванпостах.

Дядя и шури́н царя — молодые, еще не достигшие тридцати лет генералы — пришли с Вильсоном к фельд-маршалу. Английский генерал и немецкие принцы имели наглость пытаться решать судьбы России.

Михаил Илларионович согласился послать к Лористону князя Волконского. Фельдмаршал поручил Волконскому поехать на передовые посты, вызвать Лористона и спросить его, с какой целью он прислан. Если Лористон привез письмо Наполеона, то взять это письмо.

Опытный старый дипломат Кутузов понимал, что если Лористон прислан Наполеоном для переговоров лично с фельдмаршалом, то он ничего не скажет Волконскому.

— А если Лористон не даст мне письмо: мол, приказано передать в собственные руки? — спросил Волконский.

— В таком случае скажите, что пошлете ко мне за приказанием. Но предупредите адъютанта, чтобы он возвращался как можно потише.

Волконский взял с собой штаб-офицера Павла Нащокина и послал к аванпостам. Он вызвал Лористона. Лористон, видимо, ожидал поблизости, потому что быстро приехал к Волконскому. Французский генерал объявил, что послан императором Наполеоном для переговоров лично с фельдмаршалом и поэтому не может ни изложить цели своего посещения, ни передать Волконскому письмо Наполеона.

Волконский отправил Нащокина к Кутузову.

В это время к Лористону подъехал Мюрат, а к Волконскому — Милорадович и Беннигсен.

Беннигсен, только что осуждавший Кутузова за то, что он согласился на свидание с Лористоном на аванпостах, не выдержал характера: захотел показаться послу Наполеона там же. Это он сделал сам, не сказав ни Вильсону, ни прочим своим единомышленникам ни слова. Милорадович и Мюрат виделись ежедневно, и их встреча не представляла ничего особенного. Мюрат приветствовал Милорадовича как старого приятеля.

— Ну, долго ли еще будет продолжаться эта ненужная война? — широко улыбаясь, спросил он Милорадовича.

— Не мы начали войну, — ответил с достоинством Милорадович.

— Как король неаполитанский, я нахожу, что ваш климат суров для нас!

— Простите, ваше величество, но мы не приглашали вас к себе, — парировал Милорадович.

Это была их ежедневная, обычная словесная дуэль.

Беннигсену хотелось бы тоже вступить в разговор, но князь Волконский строго заметил:

— Господа, неудобно! Поедьте в главную квартиру!

Он сказал Лористону, что в ожидании ответа фельдмаршала целесообразнее всего каждому из них вернуться к себе в лагерь. И первый подал пример, поскакав к Тарутину.

Беннигсену волей-неволей пришлось последовать за Волконским.

Кутузов стал готовиться к встрече с Лористоном. Войска в Тарутине стояли очень скученно, лагерь был тесен. Фельдмаршал приказал некоторым корпусам расположиться за лагерем и всем войскам к вечеру разложить побольше костров, петь песни, а музыке играть.

В лагере и без того не было скучно — все радовались, что Наполеон шлет к фельдмаршалу посла: значит, хочет мириться.

— Наша берет!

— Подавился Москвой, бродяга!

— Нехолодно встретила его матушка Москва!

— Опалила крылья французским орлам!

— Скоро погоним гостей домой — больно засиделись у нас!

Кутузов не торопился. Уже стемнело, а он все не слал за Лористоном коляски.

— Ничипор, а ты мой парадный мундир взял? — спросил он у денщика.

— Узял, ваше сиятельство. Тільки еполеты старэньки, новые прозабулы узять! — виновато чесал он голову.

— Эх ты, макытра! Ну попроси у кого-нибудь. Вон у Петра Петровича. У него, наверно, найдутся.

Коновницын дал свою новенькую пару эполет, и Кутузов впервые за всю кампанию надел парадную форму.

Кутузов не захотел принимать Лористона в той избе, где стоял сам. Освободили маленький домик под горой, недалеко от реки Нара, который занимал только что уехавший из армии Барклай. В домике помыли пол, поставили у самых окон («Пусть все видят, что я буду делать!» — сказал фельдмаршал) стол и две скамейки.

Наступил вечер.

Тарутинский лагерь сиял огнями бесчисленных костров. Если судить по ним, то русская армия была тысяча во сто. В лагере стояло веселье — смех, пёснь, музыка.

— Что он тынет? Это какая-то новая кутузовская уловка! — возмущался нетерпеливый Вильсон.

Он никак не мог постичь замыслов и планов Кутузова.

Наконец в девять часов фельдмаршал отправил князя Волконского за гостем.

— Господа, если с Лористоном приедут французские офицеры, то прошу вас ни о чем другом с ними не говорить, как только о погоде! — предупредил всех своих штабных Кутузов.

Михаил Илларионович сидел в избе у стола, на котором горели в подсвечниках две свечи.

Коновницын, Ермолов, оба принца и Вильсон стояли у порога, возле печки. Никто из них не смел сесть на единственную свободную, предназначенную для Лористона скамейку — главнокомандующий и не предлагал этого. Коновницын и Ермолов пришли по службе — мало ли что может понадобиться главнокомандующему! А Вильсон явился непрошеным и привел молодых принцев только затем, чтобы русский фельдмаршал не забыл, что за каждым его движением и словом следит недреманное око царя и всесильной Англии.

Беннигсен демонстративно отсутствовал.

Михаил Илларионович был весел, вспоминал французских послов в Петербурге — Коленкура и Лористона, как о них остроумно отозвался Александр Львович Нарышкин. Когда послом в Петербург был прислан вместо отозванного Армана Коленкура Батист Лористон, Александр I спросил у Нарышкина, кто из них лучше, Александр Львович ответил: «О ваше величество, батист всегда тоньше коленкура!»

— Посмотрим, верно ли это, — улыбался Кутузов. — Каков missus Dominicus?¹

В половине одиннадцатого вечера приехал с Волконским Лористон. Он был один, без сопровождающих.

Михаил Илларионович не знал его, только слышал восторженные отзывы Катеньки об исключительном такте Лористона и его умении очаровывать собеседника.

Перед Кутузовым стоял высокий, стройный генерал. Его лицо, с прямым, немножко длинным носом, было приятно. Густые каштановые бакенбарды обрамляли лицо, делая его круглее. В мягких манерах, ловких движениях Лористона сквозила кошачья повадка. Михаил Илларионович сразу увидел: Александр Львович прав. Коленкур прямолинейнее и проще, а это настоящий дипломат.

После первых приветствий Михаил Илларионович предложил Лористону садиться. Французский посол сел на скамейку против Кутузова. Он недоуменно оглянулся на столпившихся у печки генералов, среди зеленых мундиров которых резко выделялся красный, нерусский мундир англичанина.

— Господа, прошу оставить нас одних! — сказал Кутузов, обращаясь к генералам.

Все поспешили выйти из комнаты. Последним с презрительной миной неохотно выходил Вильсон. Он шел, оглядываясь на фельдмаршала, словно ждал, что Кутузов его остановит.

— Спокойной ночи, генерал Вильсон! — сказал вслед ему Михаил Илларионович.

Кутузов остался с Лористоном с глазу на глаз.

Старый и молодой дипломаты сидели друг против друга, разделенные лишь неширокой сосновой столешницей.

— Я вас слушаю, генерал, — сказал Кутузов, глядя на Лористона.

— Ваше сиятельство, мой государь хотел бы предложить разменять пленных, — сделал первый, такой невинный на вид, выпад молодой дипломат.

«Вы не имеете точных данных о нашей армии и хотите получить их столь простым способом?» — мысленно перевел на свой язык просьбу Наполеона Кутузов.

— Мы так мало потеряли пленными, что, право же, генерал, игра не стоит свеч! Не стоит говорить о таких пустяках! — легко парировал первый удар противника Кутузов.

— Да, да, конечно. Это маловажный вопрос, — согласился Лористон. — Есть поважнее...

¹ Посол, вассал (лат.).

«Ну, какой же?» — подумал Михаил Илларионович.

— Его величество жалуется на варварский образ войны. Ваши крестьяне нападают на наших одиночных солдат. Сами поджигают свои дома и хлеб. Император полагает, что следовало бы унять крестьян.

Кутузов невольно улыбнулся:

— Если бы я и хотел изменить образ мыслей народа, то не смог бы достичь в этом успеха! Русский народ считает эту войну вроде татарского нашествия.

— Я думаю, что между Великой армией и ордами Тамерлана все-таки существует разница! — не выдержав дипломатической бесстрастности, покраснел, задетый за живое, Батист Лористон.

— Может статься, но не в глазах народа, который видит, как горит его древняя столица.

— Нас обвиняют в поджоге Москвы, но вы же знаете, ваша светлость: жечь города не в характере французов! Москву подожгли сами жители.

— Жители виноваты в очень немногих пожарах. Эти пожары легко было потушить. Вы же разрушаете Москву планомерно: определяете день, когда должна гореть та или иная часть города. Вы разбиваете пушками дома, которые слишком крепки. Я имею обо всем подробнейшие сведения, — сказал Кутузов, барабанив пальцами по столешнице.

Выпад Лористона обернулся против него самого: теперь ему приходилось защищаться.

— Ваша светлость лучше меня знает, что всякая война — жестока. Но неужели эта необычайная, неслыханная война должна продолжаться вечно? Император, мой повелитель, имеет искреннее желание покончить раздор между двумя великими и великодушными народами, — с пафосом сказал Лористон.

Дело дошло до дипломатического красноречия. В словах Лористона все было ложью, за исключением одного: Наполеону действительно нужен был мир!

— При отправлении меня к армии слово «мир» не было упомянуто государем ни разу! Я буду проклят потомством, если заклячу какое бы то ни было соглашение — таково настроение русского народа! — легко хлопнул по столу ладонью фельдмаршал.

Лористон секунду помедлил с ответом, а потом вытащил из кармана мундира конверт:

— Ваша светлость, мой повелитель шлет вам письмо.

И он с полупоклоном передал конверт Кутузову.

Фельдмаршал вскрыл конверт, достал из него чет-вертушку бумаги и, отставив ее подальше от глаз, к самой свече, прочел:

«Посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с Вами о многих важных предметах. Прошу Вашу светлость верить словам его, особенно когда он станет выражать Вам чувства уважения и особенного внимания, издавна мною к Вам питаемые. Засим молю бога о сохранении Вас под своим священным кровом.

Наполеон

Москва, 20 сентября 1812 г.»

«Последний козырь! Ничего не говорящая, по-дипломатически льстивая записка! Пыль в глаза!»

— Я бы просил, ваша светлость, разрешить мне поехать в Петербург к императору Александру, — просительно сказал Лористон и посмотрел на Кутузова умоляющими глазами.

«Вот самый гвоздь всего разговора!» — подумал Михаил Илларионович.

— К глубокому моему сожалению, генерал, я не имею права сделать этого. Я доложу обо всем немедленно его величеству и думаю, что результат будет благоприятным.

— А пока последует ответ, мы могли бы заключить перемирие, — вкрадчиво предложил Лористон.

— Простите, генерал, останавливать военные действия мне не разрешено, — ответил Кутузов.

— Сколько же уйдет дней на все это? — раздумывал Лористон. — Ваше сиятельство, когда пошлете рапорт императору?

— Завтра утром с князем Волконским.

— А может быть, лучше послать простого фельдгегеря — он доедет быстрее?

— Нет!

— Тогда, может быть, ваша светлость, разрешите князю Волконскому проехать через Москву — это будет короче?

Кутузов чуть улыбнулся такой детски наивной хитрости Лористона.

— Зачем же князю Волконскому проезжать через неприятельский лагерь?— ответил Кутузов и встал, показывая, что больше говорить не о чем.

Лористон прощался с Кутузовым так любезно, словно русский фельдмаршал оказал ему громадное одолжение. Но когда французский посол вышел к дрожкам, то в свете фонарей его лицо было невеселым.

III

Потерпев неудачу в своем желании присутствовать при переговорах Кутузова с Лористоном, взбешенный Вильсон пулей вылетел из избы.

На улице Вильсон громко порицал фельдмаршала, упрекал его в робости, слабости и преклонении перед «Корсиканским выскочкой», кричал, что Кутузову пора на покой, повторял слова Ростопчина, который называл Кутузова «старой бабой».

Но возмущение Вильсона было понятно только двум принцам, шедшим вместе,— Вильсон говорил на английском языке.

Вернувшись к себе, герцог Вюртембергский пригласил их поужинать. Сэр Роберт не мог есть спокойно: он то и дело вскакивал из-за стола, выбегал на улицу и смотрел на окна избы, где сидели Кутузов и Лористон.

Они все так же спокойно разговаривали за столом.

Вильсон клокотал от злости. Он представлял, какое письмо напишет об этом свидании сегодня же английскому послу в Петербурге лорду Каткарту и императору Александру I.

Принцы поужинали, кое-как поужинал и Вильсон, а беседа Кутузова с Лористоном все продолжалась. Вильсон видел, как фельдмаршал читал какое-то письмо, которое вручил ему Лористон. Англичанин приходил в совершенную ярость: Кутузов читает, а он, Роберт Вильсон, не знает, что там написано. Он рисовал перед молодыми принцами страшную картину предательства Кутузова и настаивал на том, что их священный долг — тотчас же после отъезда французского генерала пойти к Кутузову и потребовать от него полного отчета.

Так и сделали.

Едва лишь коляска с Лористоном скрылась в ночной темноте, как Вильсон побежал к Кутузову.

Михаил Илларионович диктовал Кайсарову письмо к царю, которое завтра чем свет должен был везти князь Волконский.

Кутузов правильно понял это позднее посещение его принцами и английским генералом. Он спокойно, с милой улыбкой на этот раз попросил их сесть и выслушать все то, о чем он говорил с Лористоном и что сейчас диктовал Кайсарову.

Кутузов рассказал им о своей беседе с Лористоном и только упустил одну деталь: благоразумно умолчал о том, что сказал Лористону, будто надеется на благополучный исход переговоров. Кутузову надо было во что бы то ни стало задержать подольше Наполеона в Москве, и он сказал это нарочно.

Вильсон и принцы выслушали сообщение фельдмаршала и откланялись.

Уже было за полночь. Герцог Вюртембергский пошел к себе домой пешком (адъютант нес перед ним зажженный фонарь), а Вильсон и принц Ольденбургский, жившие вместе на противоположном конце Тарутина, поехали на дрожках. Ночь была темная. Бивачные костры еще горели, но песни и музыка уже утихли — тарутинский лагерь спал.

Ехали без фонарей. Дремавший кучер неловко свернул в сторону, попал в какую-то яму; дрожки опрокинулись и придавили правую ногу Вильсона.

Принц Ольденбургский и его адъютант Фенш с трудом вытащили сэра Роберта из-под дрожек. Вильсон едва поднялся: нога была сильно ушиблена.

День вообще оказался очень неудачным для него. Но все это не обескуражило упрямого брита.

Когда приехали на квартиру, принц Ольденбургский лег спать, а Вильсон сел писать письма.

Он не смог не солгать лорду Каткарту и написал:

«Фельдмаршал желал, чтобы герцог Вюртембергский и я были тут, когда Лористон войдет, чтобы показать ему, что герцог и английский генерал присутствуют в его совете».

И укоротил ненавистное ему свидание Кутузова с Лористоном. «Свидание продолжалось полчаса»,— написал он, в то время как Лористон пробыл у Кутузова больше часа.

Ушибленная нога сильно болела.

Утром сэр Роберт не мог ходить — так распухла нога.

Принц Ольденбургский вызвал лейб-медика барона Вилие.

— Вам придется посидеть несколько дней дома, сэр Роберт,— сказал лейб-хирург, сделав Вильсону компресс.

— Ежели что-нибудь случится, я все равно выйду, я поеду верхом!— ответил упрямый Вильсон.

IV

Кутузов перенес главную квартиру из Гранищева в соседнюю деревню Леташевка, которая лежала в четырех верстах по дороге в Калугу; в Гранищеве было очень тесно и шумно.

Леташевка представляла собой маленькую, в несколько дворов, деревеньку. Главная квартира с трудом разместилась в ней.

Кутузов занял чистую избу с тремя окнами. За дощатой перегородкой у печи стояла кровать Михаила Илларионовича, а вся остальная, большая часть избы была кабинетом, столовой и приемной фельдмаршала.

Коновницын с канцелярией помещался рядом в старой избе, которую еще топили «по-черному». В ней не было трубы, и когда топили русскую печь, то дым выходил только через волоковое оконце над дверью и через раскрытую дверь. Оттого все стены избы покрывал черный блестящий наросст сажи, по которому, шелестя, бегали такие же черные тараканы.

— Я хоть и Петр, но не великий, и тараканов не боюсь!— шутил Коновницын, вспоминая, что царь Петр боялся их.

Во дворе в низеньком овине жил комендант главной квартиры Ставраков.

В избе у Коновницына стояли кровати и стол, а здесь не существовало никакой мебели. Глиняный пол овина толстым слоем устилала солома, покрытая попонами, полстями, коврами, бурками. Это был штабной клуб: здесь спали офицеры штаба, сюда собирались покурить трубочку, попить чайку и покалякать о том о сем адъютанты, вестовые фельдмаршала и все приезжавшие в армию, потому что в избе гостеприимного Коновницына не хватало места.

В Леташевке Кутузов развернул большую работу — наконец он получил возможность переорганизовать, подго-

товить армию к контрнаступлению так, как считал необходимым.

Кутузов не думал столь легкомысленно и наивно, как Беннигсен и Вильсон, будто с Наполеоном уже можно быстро и легко покончить. Пусть враг и ранен, но он еще достаточно крепок. И это ведь не какой-нибудь враг, а Наполеон!

Пока русская армия не пополнит свои силы и не подготовится как следует, начинать контрнаступление рискованно.

Надо воспользоваться предоставленной возможностью передышки. Пусть Наполеон тешится тем, что занял русскую столицу, и ждет ответа на свои предложения о мире.

Кутузов был убежден, что Александр I не пожелает говорить с Наполеоном, но нарочно оставил у Лористона некоторую надежду на благоприятный исход переговоров.

Каждый день, проведенный в Тарутине, был дорог для Кутузова. Он считал, что не надо тревожить медведя в его берлоге. Лишь бы Наполеон подольше остался в разграбленной и сожженной Москве.

Приезд Лористона пришелся очень кстати, чего не понимал или не хотел понять соблюдавший только свои, английские интересы нахальный Вильсон.

В Тарутине Кутузов прежде всего взялся усилить свою позицию, особенно ее левый фланг. Опять понадобился шанцевый инструмент, которого не запасли вовремя, и его все время не хватало. Фельдмаршал попросил тульского губернатора прислать две тысячи двести лопат и тысячу топоров. И хотя губернатор Богданов был совершенно обыкновенный человек и не «писатель», как Ростопчин, он быстро и точно выполнил требование Кутузова. Весь нужный шанцевый инструмент был немедленно привезен к Тарутину.

Кутузов видел, что приближается военная зима. Он приказал генерал-интенданту Ланскому запасти сто тысяч подков для лошадей, а губернаторам Калужской, Рязанской, Орловской и Владимирской губерний — доставить сто тысяч полушубков, сто тысяч пар валенок и сапог и шесть тысяч лыж для стрелков.

Нужно было также позаботиться о провианте, снарядах, госпиталях и о многом другом.

Заботы и работы у главнокомандующего хватало, а его заклятые враги и мелкотравчатые клеветники вроде Рос-

топчина и Вильсона кляузничали царю, будто фельдмаршал Кутузов предается в Тарутине неге и несвойственным его возрасту удовольствиям.

V

— Ваше сиятельство, сегодня поутру к нашим аванпостам пришло несколько москвичей. Не желаете ли побеседовать с ними?— спросил у фельдмаршала Паисий Кайсаров, когда Кутузов окончил подписывать поданные ему бумаги.

— Да, да, обязательно! Веди их, Паисий!— ответил Михаил Илларионович.

Кайсаров вышел из комнаты, а Михаил Илларионович повернулся к двери, готовый встретить гостей.

Еще во время «отступного марша» к старой Калужской дороге приходили в армию москвичи, бежавшие из французского плена. Тогда это были одиночки, а теперь в Тарутину стали являться уже по несколько человек каждый день. Они приносили самые свежие данные о неприятеле.

Кайсаров ввел к фельдмаршалу группу оборванных и изможденных мужчин и женщин. Все они были в таких немислимых лохмотьях, что могло казаться, будто Паисий собрал на какой-либо ярмарке самых жалких нищих.

Войдя в избу, москвичи кланялись фельдмаршалу, крестились на темные лики икон, висевших в красном углу.

— Здравствуйте, друзья мои!— приветствовал их Кутузов.

— Здравствуйте, ваше сиятельство! Здравствуй, батюшка!— нестройно ответили москвичи.

Они вошли и, казалось, принесли с собой запах дыма и гари московских пожаров.

— Ну, как Москва?— спросил Кутузов.

— Нет Москвы, ваше сиятельство, осталось одно пепелище...

— Сжег ее, нашу матушку, окаянный враг!

— Уже не белокаменная, а чернокаменная!

— Может, десятая часть ее только уцелела.

— Нет, я думаю, немножко поболее осталось,— сказал старик в полушубке, засаленном до такой степени, что он казался сделанным из жести.

— Ну где там поболее?— возразил ему высокий, с козлиной бородкой человек.— Замоскворечье-то все сгорело?

— Все,— ответил старик.

— Земляной вал — весь?

— Весь.

— Старая Басманная — вся?

— Как вся?— возразил старик.— Остался дом княгини Куракиной да гошпитальной.

— Еще дом Хлебниковой уцелел,— прибавили из толпы.

— Ну ладно,— не уступал человек с козлиной бородкой.— От Воскресенских ворот до дома главнокомандующего все сгорело, даже трахир...

— Сгорело,— согласился старик.

— От Мясницких до Красных ворот — бóльшая часть сгорела?

— Нет, там оставши еще.

— Гостиный ряд весь,— не слушая возражений старика, азартно затаропился человек с бородкой.— Немецкая слобода вся, Покровская казарма сожжена. Сжег проклятуший француз Первопрестольную, а говорит на нас, русских,— обернулся он к фельдмаршалу.— На Тверском бульваре невинных людей вешают, будто бы поджигателей.

— Хватают кого ни попадя и — хоть кстись, хоть божись — не слушают: веревку на шею, и готов...

— Страстная площадь у француза так и называется, ваше сиятельство, «площадь повешенных»,— сказали из толпы.

— А ведь французы говорят: мы, мол, тушили!— усмехнулся Кутузов.

— Видел я, ваше сиятельство, как они тушили,— продолжал старик.— Я жил в Мясницкой части, у Колпачного питейного дому. Пришли ихние солдаты в этих высоких медвежьих шапках вроде тушить начавшийся пожар, а сами только и рады переполоху: знай шарят по шкапам, сундукам да чуланам.

— И не боятся огня: дом горит, а они лезут в него и тащат, что под руку попадется.

— Француз грабит без зазрения совести,— высунулась из толпы древняя старуха.— У меня стояли на окне банки с вареньем, так варенье вычерпали горстями, даже бумагу не сняли, а просто продавили.

— Что твое варенье! Вот он,— указал старик на паренька в ветхом зипунишке,— купил в спасов день новые сапоги. Когда пришли французы, он надел сапоги, а сверху на них натянул шерстяные чулки и старые калоши. И проклятушие догадались. Один смотрел, смотрел, да и говорит: «Что это у тебя ноги столь толстые?» А парень отвечает: «Водяная прикинулась».— «А вот,— говорит француз,— я тебя сейчас от водяной вылечу». Содрал с него чулки и сапоги. Парень остался в одних дырявых калошах. Как у меня дочиста все в дому обобрали и самого раздели-разули, я жаловался ихнему генералу — он на Покровке у церкви Успенья стоял. Так генерал только улыбается: «Из ста тысяч французских детей (это они-то, грабители, «дети»!) найдется, говорит, немало шалунов!»

— Это еще хорошо, что парень не вздумал сопротивляться, а то хуже было бы. Я видал, как прусский улан заметил у чиновника табакерку с финифтью, стал отнимать, а чиновник не дает: известно, жалко. Так улан без зазрения совести и проткнул чиновника пикой.

— И кто же больше грабит: француз, итальянец, немец или поляк?— полюбопытствовал Кутузов.

— Настоящие, природные французы — добры: где стащат, а где и своим поделятся!

— Француз берет то, что ему сгодится, а пруссак не токмо грабит, а еще и портит: не может сам унести, так уничтожает, чтобы после него другой не мог попользоваться. Вот сколь вреден!

— Француз как сыт да пьян, так никого не трогает, только болтает без умолку, а эти хуже исправников да заседателей ко всем пристают: давай пенионзы, давай брот, давай млека!

— Кто это?

— Ляхи, да беспальцы, да поварцы.

— Поляки, вестфальцы да баварцы? Так, так,— покачивал седой головой фельдмаршал.— Но, стало быть, живет им на грабеже да насилиях неплохо?

— Нет, ваше сиятельство. С едой у них тесновато. Сласти — вина, варенья, конфет — много, сахар они даже в суп кладут; а хлебушка не видно.

— И с одежей плоховато,— прибавили из толпы.— Все торговые ряды обворовали, все дома ограбили, а ходят в женских салопах да в монашеских рясах. Кто генерал, а кто капрал — не разберешь!

— Теперь, как все погорело, ищут в стенах, в подвалах, погребах, роют в огородах, садах. Где увидят свежую землю, там и копают.

— Дворы поливают водой: если вода быстро впиталась, значит, взрыхлена, тут и роют.

— Могилы на кладбищах разрывают: думают, там клад...

— Слуг, ваше сиятельство, которые оставши при домах, бьют и пытаются, чтоб указали, где спрятано барское добро,— рассказывал степенный мужчина в бакенбардах, по всей видимости лакей.— Не осталось такой пытки, которой они не пользовались бы!

— Уж всю верхнюю одежду и сапоги симут, идешь в одном белье, все равно обыскивают, смотрят, нет ли на шее креста серебряного, не зашито ли где что.

— Женщину встретят — соромно сказать, ваше сиятельство: юбку на голову заворотят и обыскивают...

— Нашей сестре — хуже всего!— раздался из толпы бабий голос.

— Ни малых девчонок, ни седых женщин не щадят охальники! Тьфу, прости господи!— сказала в сердцах старуха.

— В девичьих монастырях иношеский сан оскверняют.

— Молоденькие послушницы чего не делают: сажей лицо мажут, в тряпье одеваются, чтоб страшнее казаться, не помогает...

— Девичье естество не спрячешь.

— Как пришли к нам в дом,— сказал лакей,— все спрашивали: «А где ваши боярышни? Где ваши мамзели? Хотим, мол, с ними поплясать, позабавиться».

— «Мамзель» у них первое слово,— вставил человек с бородкой.

— Нет, перво слово у них «аржан»,— снова не согласился с ним старик в полушубке.— «Аржан», стало быть, аржаной хлеб.

— «Аржан» — это, по-ихнему, деньги,— степенно объяснил лакей.— «Пень» — это хлеб, «бир» — это масло, «ох» — это вода.

— Не все требуют «аржан», другие поминают Пензу: «Матка, где Пенза? Пензу давай!» — поправила старуха.

— Ни наших ассигнаций, ни медных денег не берут, а только подавай им серебро!

— И допреж всего, ваше сиятельство, всякой кричит: «Манжет!» Мол, есть хочу,— сказал лакей.

— Спервоначалу не ели нашей русской пищи — квашеной капусты, соленых огурцов, вяленой рыбы...

— Семгу копченую пробовали жарить...

— А потом уж все прибрали, как саранча проклятая!

— Да, слава те господи, сманжетили уже все: и галок, и ворон, всю городскую дичинку!

— Нехристи: голубей, божью пташку, извели! Как увидят голубя, целой ротой по нему палят!

— Что голуби? Они церквей святых не щадят: вон в Иверской часовне у них габвахта, у Спаса на Бору — склад сена.

— В Лефортове, в Петропавловской церкви, быков содержат для убоя. А в Даниловом монастыре бойни устроены. В соборе на паникадилах туши висят, весь монастырский помост в крови и в коровьей крови...

— А наемни звонят у нас на Мещанской у Андриана. Я думала, службу наконец позволили править, а это они, нехристи, залезли на колокольню и потешаются.

— Нет от них никакого житья, ваше сиятельство! — жаловались бежавшие.

— Порадейте, батюшка, вся надежда на вас! — просили обездоленные москвичи.

— Ничего, ничего, детушки! Отольются волку овечьи слезки! Мы им за все сполна отплатим — и за пожар, и за насилия, и за грабеж! — убежденно сказал фельдмаршал.

VI

Благо тому народу, который в минуту испытаний, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью.

Лев Толстой

Кутузов проснулся от размеренного, согласного топота сотен ног: по улице, мимо фельдмаршальской избы, шли из Тарутина войска.

Не хотелось подыматься с постели, но он все-таки встал, надел туфли и халат, подошел к окну и стал смотреть.

Еще во время флангового движения к Тарутину прибывали в главную армию пополнения князя Лобанова-Ростовского. А вчера генерал-майор Русанов привел сформированные им в Рязани, Тамбове и Воронеже четыре пехотных и два егерских полка. Кутузов смотрел их в поле. Полки были хорошо обмундированы и вооружены, имели вид тертых — хоть куда! — солдат. На учении неплохо стреляли.

Фельдмаршал остался очень доволен ими, благодарил генерала Русанова и весь офицерский состав.

Русановскими полками Кутузов пополнил гвардию.

— Вам будет весело служить с такими храбрыми молодцами, как наша гвардия, — говорил он рязанцам и тамбовцам. — Учитесь у стариков.

Солдаты Лобанова-Ростовского оказались значительно хуже. Они были еще, что называется, «сено — солома». Пока они больше напоминали ратников ополчения, нежели воинов. Их приходилось многому обучать.

Фельдмаршал приказал выводить ежедневно из лагеря за линию какую-либо часть для занятий в поле — «к лучшему познанию оборотных движений» и для стрельбы по мишеням.

Молодые рекруты приучались ходить тихим, скорым и беглым шагом, делали с полной выкладкой марши без дорог, по пересеченной местности, чтобы познакомиться со всеми превратностями похода, стать выносливыми. Кутузов учил молодых так, как в Петербурге готовил ополчение: поменьше фрунтовых «хитростей», побольше того, что требуется в бою.

Только в Тарутине Кутузов получил возможность организовать армию как следует. Раньше враг не давал времени, чтобы осмотреться. Те короткие дни передышки, которые случались иногда, служили только необходимым, недостаточным отдыхом.

Оттого Михаил Илларионович так пристально следил за комплектованием и состоянием армии: от этого зависела окончательная победа.

И теперь Михаил Илларионович внимательно смотрел в маленькое зеленоватое от старости оконце.

Солдаты шли сносно. Конечно, любящий фрунтовую красоту Александр I побелел бы от негодования, видя та-

кую выправку, а его блаженные памяти папаша Павел I просто прогнал бы такие роты с парада, но в этих рядах уже присутствовал воинский ритм, шли уже не крестьяне с косами и цепями на косьбу или молотьбу, а солдаты с ружьями.

«Обомнутся, выправятся», — с удовлетворением подумал Михаил Илларионович и, кликнув Ничипора, стал одеваться.

Одевшись, Михаил Илларионович не спеша вышел из избы подышать свежим сентябрьским воздухом.

— Что, озяб, братец? — спросил он у стоявшего возле крыльца часового-измайловца.

— Никак нет, ваше сиятельство! — бодро ответил курносый гвардеец.

— Сыро. Вон землю как дождиком полило. И крыши влажные.

Михаил Илларионович стоял на крылечке, смотрел.

Напротив через улицу изба Беннигсена. Кружевные занавесочки на окнах, как у девушки-невесты. Возит с собой вместе с французом-поваром и лекарством от почечуя. Занавесочки задернуты, — значит, барон Левин-Август изволит еще спать-почивать. Вчера сидел допоздна — ужинал и «дулся» в штосс со своими прихлебателями, пока Михаил Илларионович отвечал царю на его выговор по поводу князя Яшвиля.

Генерал-майор Владимир Михайлович Яшвиль, сотоварищ Беннигсена по убийству Павла I, жил в Калужской губернии. Кутузов, не зная, что князь Яшвиль состоит под присмотром губернатора, поручил ему четырехтысячный отряд Калужского ополчения. Царь, узнав об этом, дал нагоняй фельдмаршалу, и Кутузов вынужден был оправдываться.

— Не понимаю, — иронически улыбаясь, говорил Кудашеву Михаил Илларионович. — Один убийца, — кивнул он на окна Беннигсеновой избы, — назначен начальником штаба армии, ему все дозволено, а другому, князю Яшвилю, оказывается, нельзя вверить даже небольшой отряд.

Михаил Илларионович сошел с крыльца и неторопливо двинулся, заложив руки за спину, вдоль изб, занятых главной квартирой.

Леташевка — деревенька маленькая, помещичьего дома здесь не было, изб мало. Пришлось размещаться во всех постройках, какие нашлись.

Вот старая изба, которую топили еще «по-черному». В ней живет работяга Петр Петрович Коновницын. Дверь в его избу раскрыта настежь. Из избы валит густой дым: денщик топит печь, стряпает для всей канцелярии обед. Дежурный генерал Коновницын обедал всегда у фельдмаршала, но кормил у себя всю свою штабную братию.

За древней избой раскинулся большой овчарник — низенький домик без окон, занятый комендантом главной квартиры полковником Ставраковым. В овчарнике нет никакой печи, но в нем всегда тепло: тут спала вся канцелярия и во всякое время дня «строила» чай, курила бесконечные трубки и вела нескончаемые беседы штабная молодежь — адъютанты, ординарцы. На стене овчарника написано мелом: «Секретная квартирмейстерская канцелярия». Но дверь в овчарнике стоит открытой настежь, чтобы было светлее, и все ее секреты слышны издали. Вот и теперь, пока Михаил Илларионович медленно подходил к овчарнику, он слышал, как чей-то тенорок выводил:

Полюбил меня московский купец,
Посулил он мне китаечки конец.
Мне китаечки-то хочется,
А купца любить не хочется!
Полюбил меня гусарик молодой,
Посулил он мне сухарик, да гнилой.
Мне сухарик не хочется,
А гусара любить хочется!

— Это Тройкин, — узнал своего адъютанта, ротмистра Ахтырского гусарского полка, Кутузов.

Фельдмаршал пошел вдоль овчарника. Остановился у стены послушать: о чем-то беседует молодежь?

Голос Дзичканца рассказывал:

— Вот этак часов в одиннадцать утра сажусь за стол обедать. Разумеется, в халате. У ног моих лежит любимый пес Отругай. Пухленькая ручка, мишень моих лобзаний, разливает жаркий, пахучий борщ...

«Мечты о недосыгаемом, о том, чего нет», — улыбнулся Кутузов.

— Потом спрашивает: какой тебе кусочек положить, мой маленький петушок?

— Хо-хо-хо, петушок! — рассмеялись в овчарнике.

— Ну не петушок, так голубок. Или еще какая-либо птица.

— А разве рученька может спрашивать?

«Это басит сам хозяин, полковник Ставраков»,— признал Кутузов.

— Не мешайте, Семен Христофорович. Само собою разумеется, что говорят пухленькие губки, а не пухленькая ручка любимой супруги.

— А не жены?

— Не все ли равно, Семен Христофорович, супруга или жена?

— Нет, далеко не равно! Вот слушайте, как говорится в народе: если женился по любви — то жена, если из выгоды — супруга. Супруга — для света, жена — для мужа. Жена делит радости и печали, супруга — имущество и деньги. Вот так-то, ваше благородие!

— Нет, тогда у меня — жена, женушка!— ответил Дзичканец.— И вот эта пухленькая ручка любимой женушки кладет на тарелку половину жареного поросенка с коричневой хрустящей кожей...

— Пойдите, Дзичканец, а были ли у вас за столом вареники с вишнями?— спросил Ставраков.

— Что за вопрос? Ведь действие происходит в благословенной Полтавской губернии. Ну вот, откушали...

— Как, уже и откушали? Так скоро? А разве ничего не пили за обедом? Или вы записались в трезвенники, испугались пухленькой ручки?— спросил иронический полковник Резвой.

— Нет, Павел Андреевич, выпивка была: домашняя сливянка или вишневка. Какой аромат, какой вкус! Поэма! Я пять серебряных чарочек пропустил...

— А знаете, Дзичканец, что пить из серебряной чарки называется пить втемную?— пробасил Ставраков.

— Ну, втемную так втемную. Я люблю из чарочки, Семен Христофорович!

На секунду в овчарнике голоса затихли. Очевидно, все в мечтах о будущем перенеслись в идиллическую домашнюю обстановку.

И только снова послышался тенорок ротмистра Тройкина, мечтавшего совсем об ином:

Я сорву алой цветок,
Совью милому венок,
Алой лентой обвою,
Поцелую-обойму,
Надёженькой назову...

— А вот послушайте, как меня в походе в восемьсот седьмом году обучали выпивке,— перебил артиллерийский поручик Лукьянов, прикомандированный к штабу.— Еду я с зарядными ящиками — вез снаряды. Холодина собачья, ветер. Навстречу мне — гусарский ротмистр. Усы повисли, взор мрачный.

— Явно с перепоею,— подсказал кто-то.

— Да, да. Остановился и спрашивает: «Господин ротмистр, а нет ли в ваших ящиках древней истории?» Я удивился: «Никак нет, господин ротмистр».— «А не найдутся ли хоть повести Мармонтеlevы?» У меня и глаза на лоб. «И повестей Мармонтеlevых нет? Ну хоть чего-нибудь, говорит, из легкой литературы».— «Решительно ни одной книги нет у меня, господин ротмистр». А он досадливо махнул рукой и отвечает мне: «Да кто же вам говорит о книгах? На кой они черт! Я вам о древней истории и изящной литературе в военном смысле!»— «А это, спрашиваю, что же значит?»— «Извольте, объясню: в первом случае — водка, ром и коньяк, во втором — вина всевозможных цветов и качеств».— «Ах вот что!— понял я.— Так вы, говорю, господин ротмистр, кажется, изрядно начитанные?»— «Да, говорит, читывал, конечно, но видите ли, какая холодина? Надо бы пройти зады: повторение — мать учения. А то в такую погоду все чтение из головы выветрится!»

В овчарнике захохотали:

— Ай да чтец! Вот так грамотей!

— А что ж, сказано ведь: ешь солоно да пей кисло, на том свете не сгниешь!— сказал поручик Лукьянов.

Михаил Илларионович, улыбаясь, медленно пошел назад к себе, думая:

«Ах, молодежь, молодежь! А что им делать! Не о Наполеоне же, не о полушубках, госпиталях и подковах думать!»

Вслед ему из «секретной» неслась песенка:

К тебе любовью млею,
Мученье терплю,
Сказать того не смею,
Что я тебя люблю!

У фельдмаршальской избы стоял с самоваром Ничипор. Самовар уже кипел, но денщик все еще совал в трубу щепки.

— Он же кипит!— сказал Михаил Илларионович.

— Пушай в дру́гий раз закипеть — скусней будэ! — ответил Ничипор.

Кутузов усмехнулся: каждый денщик убежден, что если чай закипит вторично, то он будет вкуснее и крепче.

Кутузов вошел в избу.

Пока Михаил Илларионович сначала пил чай, а потом выслушивал пришедшего с докладом Коновницына, возле фельдмаршальской избы собрался, как всегда, народ.

В Леташевку приезжали из разных (и не только ближайших) губерний депутаты дворян, купечества, духовенства с дарами и пожертвованиями в пользу армии.

Сюда стремились «всякого рода и состояния» люди, хотевшие попасть добровольцами в армию. На прием к фельдмаршалу являлись и безусые чиновники, и студенты, и семидесятилетние отставные подпоручики и ротмистры, которые мчались в главную квартиру, как старые военные кони, услышавшие полковую музыку. Ветераны надоедливо рассказывали о своей прошлой боевой деятельности, а молодежь скромно вручала фельдмаршалу прошения, исполненные искреннего патриотизма и начинавшиеся примерно так:

«Россия, дражайшее Отечество наше, яко оскорбленная мать, простирая к верным сынам своим длани, требует от них помощи, защиты и отмщения столь лютому и коварному врагу за обиды, насилия и поругания.

Я не имею денег, чтобы оными пожертвовать, но имею жизнь и здоровье. Ваше сиятельство! Простите мое дерзновение, что смело прибегаю к Вашему покровительству...»

Михаил Илларионович был ко всем ним чрезвычайно внимателен: семидесятилетних бывших гусар он не пускал дальше Тарутина, а молодежь охотно принимал в армию.

Сегодня у фельдмаршальской избы столпились одни крестьянские зипуны и свитки. Среди мужиков замешалось несколько парнишек лет десяти — двенадцати.

Подписав поданные Коновницыным бумаги и сделав распоряжения по армии, Кутузов вышел посидеть на крыльце и побеседовать с посетителями — день был ясный.

— Ну, с чем пришли, друзья? — обратился к мужикам Михаил Илларионович, садясь на скамейку.

— К вашей милости, ваше сиятельство, — ответило несколько голосов.

— Говорите, я слушаю.

— Хотим спросить, да не знаем как, — смущенно почесал затылок длинный, худой мужик.

— Ну, чего боишься, говори! — подбодрил его фельдмаршал.

— Ваше сиятельство, а француза... бить можно? — выпалил худой мужик и словно испугался того, что сказал.

Михаил Илларионович с удивлением посмотрел на него:

— Можно ли бить врага, который разоряет нашу землю?

— Да... армии — дело другое, а вот нам, мужикам?

— Он нас, русских людей, не милует, а мы будем с ним стесняться? А почему нельзя бить врага?

— Да вить, ваше сиятельство, мы княжеские, — сказал старик, ближе всех стоявший к крыльцу, — мы княжеские, у нас у князя жена — французинка, а управитель — немец.

Михаил Илларионович невольно улыбнулся:

— Так что же с того?

— Как бы чего худого не вышло?

— Кроме хорошего, ничего не выйдет!

— Стало быть, можно? — чуть не крикнул худой.

— Не можно, а должно бить!

Толпа весело загудела:

— А я что говорил?

— Вот это хорошо!

— Только, ваше сиятельство, бить его без оружия несподручно: пока дотянешься до француза топором аль вилами, он тебя издалека скорей пристрелит. Нам бы ружьем разжиться...

— На всех вас у меня ружей не хватит. Дам сколько могу, а потом уж сами добывайте у французов! — сказал Кутузов.

— Добудем, батюшка!

— Премного благодарны! — ответили хором мужики.

— Только не забудьте присылать к нам гонцов, как у вас дела идут. Вы откуда?

— Из-под Вереи.

— Хорошо. Ступайте вот за полковником, — кивнул на Резвого Кутузов. — Он вам десяток ружей даст.

Резвой пошел к избе Коновницына, у которого в чулане складывалось трофейное оружие. Мужики повалили вслед за ним веселой гурьбой.

У крыльца стояли одни ребяташки.

— А вы чего ждете, воробы?— спросил Михаил Илларионович, лукаво поглядывая на ребят.

Мальчики молчали, смущенно улыбались, робели.

— Они, верно, вместе с тятками пришли,— высказал предположение Кайсаров, стоявший у двери.

— Ну, что же вы молчите?— допытывался Кутузов.

— Нет, мы сами,— наконец осмелел кареглазый паренек в новеньких липовых лаптях.

— Как сами?

— Одни пришли.

— Откуда?

— Из Матрениной.

— Это где же такая?

— Из-под Верен.

— Ага. А зачем пришли?

— Нам бы ружьецо, дедушка!..— ковыряя пальцем тесовую обшивку крыльца, сказал кареглазый.

— Хоть бы одно на всех,— поддержал просьбу второй мальчик.

— А что же вы с ними станете делать?

— Француза бить.

— Он нашу деревню пожег. Тетку Марью убил,— прибавил третий.

— И дядю Степана,— разговорился последний, четвертый мальчик, бывший меньше всех.

— А где же вы теперь живете?

— В лесу, у лисих ям, знаете?— ответил маленький.

Михаил Илларионович смотрел на ребят, горько улыбаясь.

— Дедушка, дайте хоть этот... Как его, забыл... Такой... поменьше...— просил кареглазый.

— Пистолет, что ли?

— Ага, ага! Дайте!

— А вы стрелять умеете?

— Умеем!— уже хором ответили мальчики.

— Как думаешь, Паисий, придется дать?— посмотрел на Кайсарова Михаил Илларионович.

— Придется, ваше сиятельство: парни — brave,— ответил Кайсаров, пряча улыбку.

— Тогда принеси им карабин и патронную суму, что давеча взяли у пленного конноегеря. Карабин стоит возле окна, в углу.

Кайсаров принес французский карабин и сумку с патронами и передал Михаилу Илларионовичу.

— Тебе сколько лет?— спросил Кутузов у кареглазого паренька.

— В филипповки будет тринадцать.

— Ну вот. Я в четырнадцать лет взял ружье, а ты немного раньше. Ты парень храбрый, будь же таким всегда! Получай!

И Кутузов передал кареглазому пареньку карабин и патронташ.

Мальчик весь зарделся от радости:

— Спасибо, дедушка!

— Спасибо!— благодарили все остальные.

И, окружив счастливец, побежали к коновницынской избе, где полковник Резвой выдавал крестьянам ружья.

Михаил Илларионович сидел на крылечке, удовлетворенно думая: «Народ поднялся, в нем вся сила!»

Наполеона, видимо, тоже очень беспокоит русский народ, партизаны.

Недаром и Лористон так распинался о «варварской войне». Перед партизанской войной весь полководческий талант Наполеона становится бессильным. Так было в Испании, так будет и в России.

Надо окружить Наполеона в Москве партизанскими отрядами, чтоб он без нашего ведома не мог сделать ни шагу. И побольше тревожить его коммуникации.

А чтоб руководить партизанами, надо немедленно отправить небольшие военные отряды.

«Ты думаешь, голубчик, разбить нас в генеральной баталии, а вот мы тебя доконаем малой войной!»— подумал Кутузов, вставая.

VII

Каждый день, проведенный нами на этой позиции, был драгоценен для меня и для армии, и мы этим воспользовались.

Кутузов

Партизанская война, которую от Витебска вели своими силами и по своему разумению народы России, приняла в Тарутине более широкие и совершенные формы.

Фельдмаршал Кутузов мудро оценил все значение и мощь народного гнева. Александр I и русское дворян-

ство боялись народа и не хотели давать ему в руки оружие. Ростопчин, только на бумаге неискренне призывавший народ дать отпор врагу, продавал москвичам заведомо негодное оружие. Когда же пришлось уходить из Москвы, Ростопчин предпочел оставить врагу в Московском арсенале 150 пушек и 60 тысяч новых, совершенно исправных ружей и пистолетов, нежели раздать их народу.

Кутузов же не только помогал организовать партизанские отряды и руководил ими, но и заботился об их вооружении. Он взял под свой контроль выступления партизан, тесно связав их с действиями армии.

Кутузов разослал по всем направлениям летучие военные партии под командой молодых энергичных офицеров. Эти партии были костяком, на который опирались и вокруг которого росли отряды народных мстителей.

В треугольнике Можайск — Москва — Тарутино находились легкие военные отряды полковника Вадбольского, капитана Сеславина, поручика Фонвизина. Генерал Дорохов стоял у Вереи. Левее их, между Гжатском и Вязьмой, уже с конца августа действовал отряд Дениса Давыдова. Правее, на Серпуховской дороге, был отряд князя Кудашева, на Коломенской — казачьего полковника Ефремова, у Рузы — майора Пренделя, у Можайска — подполковника Чернозубова.

Москва была охвачена с юга и юго-запада цепью отрядов.

Они истребляли шайки французских мародеров, нападали на отдельные команды и транспорты наполеоновской армии, перехватывали курьеров и брали пленников.

Такая «малая война» была необычайно неприятна, непонятна и тяжела Наполеону: он терял в ней каждый день убитыми, ранеными и пленными сотни солдат.

Не очень понимал, а потому и не очень одобрял ее и английский соглядатай при квартире русского главнокомандующего сэр Вильсон, считавший себя первоклассным полководцем. Ему поддакивал Беннигсен: барон вообще всегда считал своим долгом выступать против любого начинания Кутузова. Он из зависти к Михаилу Илларионовичу называл «малую войну» никчемной.

— Курочка по зернышку клюет да сыта бывает! — говорил на все такие неумные, недаленовидные разговоры Кутузов.

Он не обращал внимания на злопыхательства врагов и делал свое. Фельдмаршал каждый день имел точные сведения о противнике и мог спокойно жить в Тарутинском лагере, который, в сущности говоря, был не лагерем, а крепостью.

Русская армия хорошо обжилась за три недели у Тарутина. Лагерь растянулся от правого берега реки Нара по обоим сторонам Калужского большака почти на две версты в длину.

Видя, что главнокомандующий не собирается снимать с места, солдаты построили теплые шалаши и землянки, завели бани. У офицеров в землянках появились камельки и лежанки и кое-какая мебель. В деревне Гранищево, как во всех окрестных деревнях, покинутых жителями еще до прихода армии, не осталось изб: солдаты растащили их по бревнышку, используя по-своему. Кое-что — заборы, клетки, сарай — в первые же дни пустили на дрова. В Гранищеве было всего лишь две улицы, а тут сразу образовалось их множество: «Шестой корпус», «Второй корпус», «Гвардейский» и т. д. Самой крайней была «Кирасирская», а за ней все поляны вдоль дороги занимала резервная артиллерия, тянувшаяся чуть ли не до Леташевки.

В лагере существовали не только улицы, но и площади, возле которых осели пронырливые, юркие маркитанты.

Тарутино стало чем-то вроде столицы: взоры всей России были обращены на это безвестное село.

Сюда двигались воинские пополнения, гнали табуны лошадей, везли снаряды, порох, ружья, полушубки, сапоги, хлеб, фураж.

В Тарутино шли пешком и ехали на подводах мужики и бабы проводить служивших в армии сыновей, мужей, братьев.

Торговцы гнали скот, везли масло, мед, крупу, яйца.

В Тарутине можно было достать ставропольские арбузы и дыни, крымский виноград, астраханскую сельдь, киевские паляницы.

Тарутино походило на шумную, веселую ярмарку.

Ржали кони, звонко перекликались кузнечные молоты: полковые кузнецы делали подковы, обивали железом колеса повозок; стучали топоры: плотники исправляли фуры и зарядные ящики. На площадях сбивенщики, саечники, пряничники, блинники, квасники зазывали покупателей.

Продавцы махорки кричали: «А вот черт курил, дымом жинку уморил!» Торговцы нюхательным табаком предлагали: «На грош нюхай сколь хошь!» Разбитные марки-тантки бойко выкрикивали:

— А вот орешки для помешки, прянички для Анички! — И лукаво поглядывали на служивых.

А старые служивые лихо подкручивали ус и улыбались друг дружке:

— Ишь у нас как: любую ягодку-малинку рви!

Всего в изобилии, лишь бы в кармане у служивого водились деньжонки.

И как раз деньги в армии пока что водились: за Бородинскую баталию каждый солдат получил по пять рублей, а офицер третное жалованье.

В первые дни жизни в Тарутинском лагере солдаты, обносившиеся в походах и боях, ходили в потертых, латаных мундирах и шинелях, в пестрых, у кого какие оказались, холщовых, холодных брюках. У офицеров редко были видны эполеты и шарфы.

Блестели только ружья, штыки, эфесы сабель да пушечные стволы. Фельдмаршал понимал нужду и строго взыскивал лишь за чистоту и исправность оружия.

Но через неделю каптенармусы выдали на зимние панталоны белого, серого и черного сукна, и армия постепенно приоделась.

Жизнь в лагере была разнообразнее и веселее, чем в походе. В походе и бою некогда осмотреться и новости одни и те же: вчера убили того-то, сегодня ранили этого.

А здесь каждый день что-либо новое.

То пригонят из Калуги или Рязани тысячу лошадей для пополнения конницы. И не только кавалеристы, но и пехотинцы рады случаю посмотреть, оценить и обсудить коней по всем статьям.

То въедут в лагерь с песнями, с музыкой, с лихим при-свистом новые казачьи полки ополчения, которые собирал на Дону атаман Платов. Любопытно посмотреть: безусые чубатые казачата в одном ряду с седобородыми казаками. Деды и внуки в одной сотне. И пойдут рассказы о том, как деды «скрадывали свои лета не для венца брачного, а для подвига ратного».

То пригонят, как стадо баранов, очередную партию пленных, которых взяли мужички партизаны. Желтый гусар рядом с малиновым уланом, громадный кирасир

в шишаке — с малорослым артиллеристом в куньей шапке. Всякой нации люди: французы, пруссаки, голландцы, баварцы, итальянцы, поляки. Стоят истощенные, худые.

— Не густо живете, тесно у вас с хлебушком!

— А не лезь в чужой двор! — говорили солдаты, глядя на незваного гостя, и удивлялись: из одной, кажется, армии все они, под одним французским золотым орлом воюют, а друг дружку не понимают!

Коротенький осенний день в Тарутине пролетал для солдат незаметно. Молодых рекрутов вводили за лагерь на стрельбище, а старых с утра смотрел сам фельдмаршал. Сумы открыты, накремники вынуты и повешены на пуговицу, пыжовники и отвертки сняты.

Михаил Илларионович медленно шел вдоль строя и хоть одним глазом, а все видел, замечал всякий непо-рядок.

Но вот день прошел. Пробита «Заря», пропели «Отче наш», и раздался фельдфебельский крик (нет приятней команды на свете):

— Водку пить!

Все бегут к каптенармусу, каждый спешит выпить «ржаное молочко»: водку выдавали в Тарутине три раза в неделю, а в дурную погоду — ежедневно. И хотя жадная каптерская душа, конечно, разбавляла ее речной водицей, но солдат пил водку с удовольствием.

От каптенармуса все бегут к своим артельным котлам ужинать.

Сытная каша съедена. Трубочка выкурена. Кажется, можно бы и на боковую.

Но ничуть не бывало. О сне никто не думает — завтра не в поход и не в бой, можно и позабавиться.

Вот слева, в соседней роте, уже затянули серьезную песню, которую кто-то сложил здесь, в Тарутине:

Ночь темна была и не месячна.

Справа завели старую, лукавую, занозистую:

Молодка, молодка молодая,
Солдатка, солдатка полковая...

Где-то весело тренькает балалайка и тенорок вместе с ней выговаривает:

Ах ты, черненький глазок,
Поцелуй меня разок!

А во 2-м батальоне уже ухает бубен, слышится топот ног и кто-то припевает, выплясывая:

Как под дождичком трава,
Так солдатска голова:
Не кручинится, не вянет,
Службу царску справно тянет...

У жарких костров пошли душевные разговоры.

У одного вспоминают Бородино:

— При Бородине трусу не было приюта!

— Да, пришлось и в рыло, досталось и по дыхалам, схватили и под микитки!

— У нас под телегой на самой оси висела корзинка с овсом. Ядро пробило ее, прошло сквозь овес и засело в оси. Так и до сих пор сидит.

У второго костра балагур-рассказчик складно бает:

— Старый муж молодую жену имел, из дому отпускать в гости никуда не хотел. Когда же с нею вместе опочивал, то спальню свою накрепко запирает...

У третьего старый солдат не спеша поучал молодых:

— Первый год службы — это, как сказано, первая паша, первый подножный корм... Я вот, братцы мои, в девяти стражениях был. В первых двух делах, не хочу греха таить, хоть назад и не пятился, а больно струсил: не пришлось мне по вкусу, как ядра жужжат да пули свистят. Но с третьей схватки по привычке к этой музыке. И перетужил на свой пай чуть ли не десяток врагов!

А в сторонке, где чернеют телеги и шалаши маркитантов, слышится приглушенный говор:

— Что ты, окаянный, уронишь! — недовольно шепчет бабий голос.

— Толста, не расшибешься!

— Чего пристал, всамделе? — уже строже начинает тот же голос, но тотчас сбивается на прерывающийся хохоток: — Ой, пусти, сатана!

— Дуня, слышь-ка! Где же солдату и погреться...

— Я те погреюсь! Пшел ты к лешему! — опять становится суровым бабий голос, слышится звучный шлепок, и от маркитантской телеги отлетает в сторону какая-то фигура в шинели.

— Велика барыня — до нее и не дотронься! Сама не прочь, даром, что мужняя жена, — недовольно изрекает фигура.

Но через секунду снова ласково усовещает издалика:

— Дуня, Дуняша! Подь сюда — хозяин требует!

— Я те такого хозяина дам, гладкий пес! — слышится в ответ.

И все эти лагерные звуки покрывают протяжные оклики часовых.

Тарутинский лагерь жил полнокровной, спокойной жизнью, словно не было войны, словно в двенадцати верстах не стоял авангард Мюрата.

Русская армия пополнялась, укреплялась, отдыхала.

Вильсон, Беннигсен и прочие недруги Кутузова не хотели видеть этого, но народ, солдаты понимали прозорливость старого фельдмаршала.

— Наш Михайло Ларивоныч держит Аполиёна в Москве, точно лютого зверя в западне! — с гордостью и некоторой похвальбой говорили они.

Глава десятая

ПАРТИЗАНСКОЕ ЖИТЬЕ

В течение шестинедельного отдыха главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия.

Кутузов

I

Вот когда Черепковский понял, что командовать, пожалуй, труднее, чем быть под командой.

В роте ему ни о чем не приходилось думать: за него думал ротный, капитан Чельцов. А случится тревога — загремит неусыпный барабан.

Здесь же и без барабана вечное беспокойство: выставь за деревней караулы да ночью сам проверь, не спят ли под кустиком дозорные. Патронов мало, ружей и того меньше — у кого голова об этом болит? У командира. А в бою класть голову что рядовому партизану, что командиру — одинаково.

Черепковский и Табаков осваивались с давно забытой деревенской жизнью, а мужики привыкали к новой, незнакомой роли партизан. Черепковский не думал обучать пар-

тизан строю. Он учил чистить ружье и всегда помнить о нем.

— Ружье чтоб всегда было справно. Придешь в избу, прежде всего ему место найти. Но не где-либо в темном углу, что сразу и не схватишь, коли вдруг понадобится, и не с бабьими ухватами да помелом,— повторял он то, чему двадцать лет назад учил его самого фельд-фебель.

Черепковский прививал партизанам кое-какие солдатские заповеди:

— Кто вперед идет, тому одна пуля, а кто бежит назад, тому десять вослед! Храбрый терпит раны, как мученик, трус — как наказанный преступник!— поучал Левон.

— Пострелять бы!— просила молодежь, не очень при-слушиваясь к поучениям.

— Патронов мало. В армии и то говорится: береги патрон в бою, а сухарь в походе. А тут и подавно. Разживемся немного, тогда и, постреляем.

— Как ни учись стрелять, а француз скорее тебя подстрелит,— сказал староста.— Он с ружьем так, как ты с цепом!

— Ничего — схватимся в заградки!

Табаков слушал наставления Черепковского партизанам и вполголоса говорил бабам, которые так и ждали от этого веселого солдата каких-либо шуточек-прибауточек:

— Левон не колпак: строгий командир! Он у меня ровно поп, а я как пономарь. Он проповеди читает, а мое дело только петь.

Неунывающий Табаков поддерживал настроение деревни: все крестьяне ходили мрачными — в Москву вошел враг.

— Эх, Москва, Москва, горбатая старушка!— вздыхали крестьяне.

— Эта весть, как крещенский мороз, оледенила нас!

— Ничего, братцы!— подбадривал Табаков.— И опрочь Москвы люди живут: вот на Волге, в Сибири, на Украине.

— И какой-то Аполиён? Али у него ноги в десять сажен, что он так быстро до нас добрался? Ведь его царство — за морем, за горами, за лесами?

— Нет, не за морем. К нему по сухому пути дойти свободно — через Смоленск, наш Витебск, Минск и на Аршаву. Прямая дорога,— объяснял Черепковский.

— Сказывают, он сам-то с локоток, तकонецкий, а пузо у него агромадное, словно целое корыто гороху съел.

— Да не ври,— строго перебил Черепковский.— Человек, как и все. Мы вот с Табаковым его видали...

— Да неужто?

— Всамделе.

— Человек как человек. Голова облезши, как старый полушубок, а шея синя, ровно в петле была,— улыбался Табаков, и партизаны не знали, шутит он или взаправду Аполиён таков.

Вместе со слухами о пожаре и разграблении Москвы доходили и другие, более веселые слухи: народ подымался на врага кругом. Все — и стар, и млад, мужчины и женщины. Тут партизан собирал бурмистр, там — отставной солдат, а в соседнем селе — волостной писарь. И всего чуднее казалось, что в партизаны шли женщины.

— Ирод нашу сестру нарушает,— говорила баба.— Вон в Знаменье к помещицкей кухарке двое ихних подли-пал влезли в чулан, где она спряталась. Так стряпуха их обоих кухонным ножом и приколола!

Девушки испуганно переглядывались:

— Поделом им, окаянным!

— А тая кухарка — Настасья знает — немолода, годов сорока, да к тому же дурнолица, с журавлиной шеей.

— Им любая гожа...

— Вот добро нашему брату мужику,— улыбался Табаков.— Только б от него лошади не шарахались, то и красив!

Ото всюду шли рассказы об убийствах стариков и детей, о насилиях и грабежах солдат «великой армии».

В деревню иногда наведывались группы мародеров, но Черепковский не зевал, всегда достойно встречал их со своими партизанами. И его отряд все больше вооружался. Кроме того, молодежь ходила на страшное Бородинское поле собирать ружья и патроны. И вскоре у большинства партизан уже были ружья.

Черепковский учил партизан на лесной полянке стрелять. Стреляли в соломенный куль, на который надевали мундир убитого французского солдата. И через неделю уже кое-кто из молодых хвастался перед девками:

— Я к ружью, как крючок к петельке, приловчился. Мои выстрелы всегда верны, и франц промаха не жди!

Война ушла куда-то далеко, совершенно не стало слышно орудийных раскатов. Казалось, всюду царит тишина и покой.

Враг сидел в сожженной Москве. Партизаны со всех сторон окружили ее, не позволяя Наполеону производить фуражировку в окрестностях. У Калуги стояла главная русская армия, которая, по всем слухам, крепла и росла день ото дня.

Деревня повеселела.

— Аполиён сидит, как волк, попавший в облаву!— говорили крестьяне.

Почти весь партизанский отряд был уже вооружен, и Черепковский сказал:

— Нечего нам отлеживаться. В военное время не вино курить, не брагу варить. Надо понемногу щипать француза.

По своему солдатскому опыту он знал, что к Москве должны двигаться обозы с вооружением, продовольствием, снаряжением.

— Как станем отбивать их подводы да нарушать подвоз, так Аполиён скорее ножки протянет!

Мужики охотно согласились: что ж, попробуем!

Черепковский отобрал тридцать партизан помоложе, велел им взять с собой на два дня сухарей и толокна.

— А спать-то где и как будете?— поинтересовалась какая-то сердобольная старуха.

— Клади под голову кулак, а бока лягут и так!— шутил Табаков.

— Тебе что? Ты будешь спать в избе,— ответила старуха. Левон оставлял Табакова на всякий случай в деревне командовать стариками.

Партизаны впервые вышли за пределы своей деревни. Они осторожно двигались к большаку. Во всех деревнях, мимо которых они шли, их встречали партизанские дозоры.

— Куда путь держите?— спрашивали их крестьяне.

— Идем к французам в гости,— серьезно отвечал Левон.

— Час добрый!

К ночи Левон Черепковский со своим отрядом дошел до большака, переночевал в лесу, а утром расположил своих партизан на опушке леса, откуда открывалась Смоленская дорога.

Некоторое время на дороге никого не было видно. Затем показался длинный обоз, идущий с запада. На высоких нерусских фурах что-то везли. Фуры сопровождало большое прикрытие — эскадрон улан.

— Это артиллерийские. Везут порох, бомбы да гранаты,— сказал партизанам Левон.— Взорвать бы их, да у нас сила мала...

Когда обоз прошел, Левон перевел партизан в ложину, где через речушку был проложен небольшой мост. Он выставил с двух сторон караульных, чтобы знать, кто поедет по большаку, и взялся с партизанами ломать мостовины.

Партизаны успели взломать доски моста, когда дозорные сообщили, что со стороны Москвы движется небольшой обоз, сопровождаемый несколькими верховыми.

Левон приготовился встретить гостей — он расположил партизан в придорожных кустах.

Подъехав к поврежденному мосту, французский обоз остановился. Возницы, не ожидая нападения, слезли с телег и пошли к мосту — судить-рядить, что делать.

Партизаны по команде Левона ударили по ним из ружей, а потом кинулись врукопашную.

Произошел короткий бой. Из пеших и конных французов не уцелел никто. Партизаны отделались сравнительно благополучно: шесть человек были легко ранены.

Левон Черепковский, гордый и удовлетворенный, возвращался домой с добытым оружием и трофеями.

Все встречные крестьяне хвалили их за удаль и завидовали трофеям.

В этот день деревня напоминала шумный базар. У старостиной избы, окруженные односельчанами, стояли и сидели партизаны. Они рассказывали о своих делах.

— Дяденька Левон, а что этот рыжий кричал: «Русь, пардон!»— спрашивал молодой паренек.

— Это значит: сдаюсь!— объяснил Черепковский.

— А ты должен ему отвечать: «Никс пардон!» Стало быть, нет тебе никакой милости, ворюга!— прибавил Табаков, которому хотелось показать, что и он не лыком шит, а тоже кое-что знает.

— Я как подскочил к тому высокому, он хотел меня срубить сашкой. А я стукнул его прикладом, он и перекувырнулся. Я гляжу: помер аль нет? Хотел колоть штыком, а Петька кричит: «Брось, не коли! Сам околеет!»— рассказывал другой парень.

Табаков даже закашлялся от смеха.

— Такой детина даст, да еще спрашивает: помер ли? После твоей рученьки надо сразу панафиду заказывать!

— Что ж, мы гостей не звали, а постели им постлали,— нравоучительно заметил Черепковский.

— А я,— постарался завладеть разговором третий партизан и сам уже заранее смеялся своему приключению,— вижу, бежит поп, на плечах риза, на ризе хрест. Ну как тут его бить? Я и кричу дяде Левону: «Это ж поп, как в него стрелять?» А дяденька мне отвечает: «Он только прикрывается хрестом, а такой же поп, как мы с тобой!»

— И ты в хрест стрелил?— возмущались бабы.

— Хрест на плечах, а я чуть пониже, в поясицу вдарил!

— И зачем он, сучий сын, в ризу рядился?— не переставали возмущаться бабы.

— Набравши, награбивши в Москве, сами не знают, что и делают. От дождя заместо плаща надел ризу, конечно!— объяснил Черепковский.

— Ах он, окаянный!— не унимались бабы.— И что ж ты, паря, этого нехристя убил?

— Не встанет!— весело ответил партизан.

Разбирали, оценивали трофеи: оружие, телеги, вещи, которые французы, награбив в Москве, увозили в тыл.

Кусок парчи — он сгодится бабам на кики. Золоченые канделябры громадные, кому они нужны? Пожертвовали в церковь. А вот фарфоровая чашка. Красивая, ободок золотой, бока разрисованы, а в днище для чего-то дыра. Зачем она? В такой чашке ни киселя, ни каши не удержишь!

Но больше всего удивлял французский конь убитого драгуна. Коня придирчиво осматривали старики. Конь не понимал русского языка — ни «дай зубы», ни «ногу», ножку!»— и даже такого простого, ясного всем, как поношение, — «но»!

— Молодой, здоровый конь, а поди ж ты — бестолковый. Я ему говорю, а он ровно глухой!— возмущался старик.

— Что думаешь, дедуня, все кони на свете понимают только русскую речь?— усмехнулся Табаков.— Мы вот с Левонем бывали и в Неметчине, и в Туреччине и у австрияка — вся животная такая: понимает только хозяйский язык!

В треволнениях живой партизанской жизни незаметно прошло лето. Потускнело небо, стали холоднее солнечные лучи, все чаще сыпался на землю нудный, осенний, «грибной» дождик. Неуютно стало в поле и в лесу. Бабы и старики уже неохотно ночевали в сырых лесных землянках, жались к избам и клетям, обнадеженные тем, что партизаны не дадут их в обиду.

И неуютно жилось на московском пепелище незванным гостям. От села к селу упорно шел слух: ни хлеба, ни фуража французы достать в Подмоскovie не могли — в каждой деревне их ждали с ружьями, вилами, косами, топорами партизаны. Казацьи пики и шашки военных летучих отрядов встречали вражеских фуражиров на каждой дороге.

Холодно и голодно жилось «францу» в чужом, разоренном ими гнезде.

— А поголодай, Аполиён, поголодай!

— Раньше сказывали: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят!» А теперь и того нет, что у нас, в деревне!— смеялись мужики.

В Москву партизанам хода нет, но они, бродя по закустью, могли видеть французских курьеров, едущих в столицу. Летом это были сытые, барские рожи, а теперь голодуха сделала свое: из-под каски или кивера смотрели голодные глаза и впалые небритые щеки. Табаков, впервые увидев такого курьера, тотчас же — к смеху остальных партизан — вспомнил народную песню:

Сам шестом,
Голова пестом,
Руки грабельками,
Ноги вилочками,
Глаза дырочками...

И в одежде курьеры потеряли свой прежний бравый, воинственный вид. Вместо нарядного мундира болтался какой-то архалук, женская мантилья, а то и монашеская ряса.

— Обносились, соколики!— потешались партизаны.

А кони курьеров чуть плелись,— видно, негусто живется и лошадям в ограбленной, сожженной Москве.

Однажды Левон Черепковский со своими товарищами обзирал из кустов дорогу. Вдали показалось несколько

подвод: то ли везли из Москвы раненых, то ли опять увозили награбленное к себе домой. Охраны было немного — по одному-двум человекам на телеге. Черепковский решил напасть на них. Он распределил, кому из партизан по какой подводе стрелять.

— Вы, братцы,— сказал он двум парням, стоявшим рядом,— бейте по первой.

— Дяденька, в кого же стрелять-то?— спросил Петруха.— Тама ведь барыня сидит!

На передней телеге действительно сидела какая-то фигура в женском платье. На голове торчала вычурная соломённая шляпка.

— Какая-такая барыня? Это самый настоящий француз. Видишь, из-под юбки-то красные порты торчат и ботфорты?— усмехнулся Черепковский.

Левон был прав: когда партизаны разбили небольшой транспорт, «барыня» оказалась усатым драгуном.

Глава одиннадцатая

РУССКАЯ АРМИЯ НАСТУПАЕТ

Переход из оборонительного положения в наступательное — одно из самых затруднительнейших действий на войне.

Наполеон

I

Это уже начинало надоедать Михаилу Илларионовичу: каждый день кто-нибудь из генералов осторожно намекал ему, что не довольно ли, мол, стоять у Тарутина, не пора ли наступать?

Наступлением прожужжали Кутузову уши.

Об этом говорили Коновницын и Ермолов, Багговут и Платов, но, конечно, больше всего старался Беннигсен, которого подбивал английский уполномоченный. Вильсону не терпелось: хотелось поскорее, немедленно, сейчас же раздаться с ненавистным Наполеоном. Сэр Вильсон не желал вникать никаким резонам, не принимал в расчет никаких доводов. Карфаген должен быть разрушен! Ведь подставлять голову под французские пули будут не англичане, а русские, так чего же, в самом деле, медлить? Он

вместе с Ростопчиным клеветал на Кутузова Александру I, обвиняя фельдмаршала в нерешительности, медлительности и вообще во всех смертных грехах. Вильсон хотел, чтобы русскими войсками командовал Беннигсен — с ним он легко бы сговорился.

Кутузов видел это и однажды, во время спора с Беннигсеном, прямо сказал ему:

— Мы с вами никогда не сговоримся, барон: вы думаете только о пользе Англии, а по мне, если сегодня этот остров пойдет на дно морское, я не заплачу!

В последние дни о наступлении упрямо заговорил даже Карлуша Толь. Сидение в Леташевке было горячему Толю не по нутру. Он каждый день ездил в рекогносцировку и сам проверял то, о чем доносили казацкие разъезды.

Казаки продолжали прибывать с Дона. К началу октября пришло в Тарутино двадцать четыре полка. Казацкая разведка и пронохала первая, что авангард Мюрата стоит у речки Чернишня слишком бесечно.

Мюрат ежедневно встречаясь на аванпостах с казаками и генералом Милорадовичем, привык к ним. Неаполитанский король считал, что казаки влюблены в него, а Милорадович — его друг. Оба генерала съезжались на аванпостах, как два соседа-помещика в отъездежном поле. Оба — болтуны, они говорили без конца и хвалились друг перед дружкой, причем, по словам острого на язык Ермолова, «в хвастовстве не всегда французу принадлежало первенство».

Мюрат являлся на эти свидания театрально одетым. Он, как завзятая кокетка, каждый раз приезжал в новом костюме: то в вымышленном испанском, то в польской конфедератке и глазетовых штанах. Сегодня у него на ногах красовались красные венгерские сапоги, а завтра он щеголял в желтых.

Милорадович тоже не уступал Мюрату. Он всегда был в парадном мундире со звездой, шея обернута тремя персидскими шальями — красной, зеленой и оранжевой. Их концы развеивались по ветру, как хвост жарптицы.

Ермолов зло смеялся, что «третьего, подобного им, во враждующих армиях не было».

К этим милым встречам на передовой линии, ублажавшим легковверного Мюрата, Кутузов прибавлял еще одно: он велел казакам распространять слухи, что под-

крепления, идущие к русским, плохо обучены и недостаточно вооружены и что в Тарутине туго с продовольствием.

Кутузов придерживался все той же мысли: чем дольше Наполеон проживет в Москве, тем больше будет у русских времени пополнить и обучить армию.

Сэр Вильсон делал вид, что не может уразуметь этой простой мысли, которую уже отлично понимали простые солдаты.

Войска, отдохнувшие за три недели в Тарутине, были не прочь померяться силами с французами:

— Что же это мы отдыхаем, а француз сидит в Москве, точно бельмо в глазу?

— Подогрелся малость, теперь прохладается.

— Пора бы этих субчиков попугать.

— Авангард евовный можно расколотить за милую душу.

— Очень свободно.

— Наш старик чего-то раздумывает.

— Михайло Ларивоныч не хочет будить француза — передышка, вишь, нам выгоднее: мы поправляемся, а он слабеет.

— Да, партизаны щиплют его кажинный день!

Как ни был легкомыслен Мюрат, а все-таки и он наконец увидел, что на аванпостах казаки — одни, а в тылу у него — иные.

Но это не встревожило его пылкое, гасконское сердце, а только обидело.

За несколько дней до наступления русских у Мюрата произошел на аванпостах любопытный разговор с Милорадовичем.

Тон их беседы был уже далеко не тот, что неделю назад.

Когда они съехались на поле, Мюрат, шелкая по зеленым голенищам сапог шелковой плетью, сказал тоном выговора Милорадовичу:

— Известны ли вам, генерал, буйства, которые позволяют ваши казаки? Они стреляют по нашим фуражирам. Этого мало. Крестьяне убивают моих гусар!

— Мне очень приятно слышать из ваших уст, ваше величество, что казаки хорошо исполняют мои приказания, — спокойно ответил Милорадович. — Не менее радуется и то, что крестьяне оказываются настоящими русскими!

— Это противно правилам войны. Если так будет продолжаться, мне придется отряжать солдат для охраны фуражиров! — возмущался Мюрат.

— Вы только сделаете нам приятное, — легко поклонился Милорадович. — Мои офицеры жалуются, что около трех недель бездельничают. Им хотелось бы отбить несколько французских пушек.

— Зачем озлоблять два народа, имеющие столько причин уважать друг друга? — уже миролюбивым тоном начал неаполитанский король.

— Поверьте, государь, что я и мои офицеры всегда готовы дать всевозможные доказательства нашего уважения храброму французскому воинству! Но вместе с тем осмеливаюсь заверить вас, ваше величество, что фуражирам вашим не дадим пощады. Мы будем бить и охрану, которую вы пошлете!

— Позвольте вам заметить, генерал, что охрана не разбивается словами! — снова вспыхнул Мюрат. — Лучшая часть России завоевана нами. Посмотрите, куда проникли наши победоносные войска!

— Карл Двенадцатый пробрался еще дальше, однако же... — начал Милорадович.

— Однако же мы по сей день всегда оставались победителями! — перебил Мюрат.

— Пока что мы дрались по-настоящему только под Бородином и вы ничего не смогли нам сделать! — парировал Милорадович.

— А не открыла ли наша победа под Бородином ворота Москвы?

Теперь уже настал черед возмущаться Милорадовичу:

— Извините, ваше величество, Москва была отдана без боя...

— Как бы то ни было, но ваша древняя столица в наших руках! — торжествовал неаполитанский король.

— К сожалению, это пока еще так, — согласился Милорадович. — Но ведь его величество король неаполитанский приехал к генералу Милорадовичу просить пощады для французских фуражиров, а не наоборот!

Мюрат поморщился.

— Я хотел только довести до вашего сведения о наглых поступках казаков и крестьян... Я много воевал, но не видел такой войны! — обидчиво вспыхнул Мюрат.

— Я тоже воевал немало!— ответил Милорадович.
— Где и когда вы начали службу в генеральском чине?— заносчиво глянул на русского генерала Мюрат.

— В тысячу семьсот девяносто девятом году во время похода Суворова в Италию. Я полагаю, во Франции еще не забыли Суворова?— улыбнулся Милорадович.

Мюрат ничего не ответил: он дал шпоры коню и помчался к своим.

Неаполитанский король был раздражен, но, проскакав с полверсты, успокоился. Он не придал сегодняшнему разговору серьезного значения; Мюрат счел это простой словесной дуэлью, в которой, может быть, русский генерал и вышел победителем.

Стоит ли об этом думать?

А настоящее столкновение назревало.

Толь продолжал убеждать Кутузова в необходимости наступления. Он говорил, что скоро Наполеон сам оставит Москву, что к французам идет на помощь корпус Виктора и потому следует поторопиться разбить авангард Мюрата. Толь представлял веские доводы: расположение французского авангарда у речки Чернишня таково, что легко обойти левый фланг: к самому лагерю подходит лес. В лесу не устроено засек, по лесу не ездят французские дозоры. Мюрат держит себя неосмотрительно, беспечно: он легкомысленно поверил в слабость русских. Французам война надоела, они хотят мира и уверены, что между Наполеоном и Александром идут переговоры. Силы у Мюрата невелики: восемь тысяч кавалерии и около двенадцати тысяч человек пехоты при ста восьмидесяти семи орудиях.

Кутузов отвечал Толю, что все это так, но русские непривычны к обходным маневрам, а к тому же теперь в полках много молодых солдат.

Может быть, все уговоры генералов и Толя не подействовали бы на Кутузова, но в эти дни он получил рескрипт царя, не очень ласково говоривший о том же:

«По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам с своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед Вами, были значительны и не позволяли Вам действовать наступательно?»

В конце рескрипта стояла такая фраза, звучавшая угрожающе:

«Вспомните, что Вы еще должны отчетом оскорбленному Отечеству в потере Москвы».

Делать было нечего, Кутузов согласился напасть на авангард Мюрата, но с одним условием: чтобы это нападение не переросло в большой бой — Наполеон с главными силами был все-таки очень близко.

II

Свита Кутузова, состоявшая из офицеров, служивших не только при Кутузове, но и при Барклае и Багратионе, прекрасно изучила нрав и характер своих полководцев. Она знала, каковы они в милости и в гневе.

Пылкий, горячий Багратион взрывался мгновенно, словно фейерверк. В гневе, как и в бою, Багратион был солдатом: его лексика приобретала всю простоту и упругость народной речи. Он с грузинским акцентом честил провинившегося: «па-адлец!», «ма-ашенник!» Темпераментно слал он к черту-дьяволу и мог пригрозить «белой рубахой». Но все знали, что князь Петр так же быстро отходит, как и загорается.

Флегматичного, всегда внешне спокойного, сухого Барклая де Толли вывести из равновесия было не так легко. Он не возмущался даже тогда, когда слышал за своей спиной оскорбительно грубые замечания по своему адресу.

Но случались моменты, когда невозмутимый Барклай становился страшным. При отступлении от Смоленска генерал Тучков 3-й лично доложил Барклаю де Толли, что не может противостоять превосходящим силам противника. Барклай спокойно, но веско сказал ему: «Возвращайтесь к вашему посту и умирайте там. Если вы еще раз приедете сюда, я велю вас расстрелять!» Барклай сказал эти две фразы чуть быстрее обычного, и только. Но все, и в том числе Павел Алексеевич Тучков, поняли: будет так, как сказал командующий.

Совершенно иначе сердился Михаил Илларионович Кутузов.

С человеком, который вызвал его гнев, Кутузов становился предупредительнее и ласковее обычного. Михаил Илларионович ко всем вообще обращался с неизменным и ничего в сущности не выражающим словом «голубчик». Но

когда он сердился, его вежливость превосходила все границы.

Если, например, во время боя он посылал кого-либо с поручением и посланный не вполне справлялся с ним, Кутузов медоточивым голосом говорил ему: «Ах, простите, любезный поручик, как же я мог подвергать пулям вашу столь дорогую для меня голову? Простите меня, голубчик Иван Иванович, вы говорите, что там свистят пули (хотя поручик и не думал упоминать об этом). Как я признателен вам, что вы туда не доехали! Пожалуйста, отдохните, поберегите себя, прошу вас!»

Но в Тарутине штабные увидели такую вспышку гнева Кутузова, какой никогда еще не случалось наблюдать им.

4 октября вечером Кутузов со всей свитой выехал из Леташевки к Тарутину. Никто не знал, куда и зачем направляется фельдмаршал: о решении атаковать Мюрата знали только командиры корпусов. Накануне, 3 октября, фельдмаршал отправил диспозицию к предстоящему нападению на французский авангард начальнику штаба 1-й армии Ермолову.

Для обхода левого фланга Мюрата главнокомандующий назначил три пехотных и один кавалерийский корпус с десятью казачьими полками Орлова-Денисова. Они должны были выступить вечером 4-го с тем, чтобы к рассвету выйти на опушку леса у самого бивака кирасир Мюрата. Всю операцию Кутузов поручил Беннигсену — назойливый барон упрямился-таки фельдмаршала. Беннигсен хотел показать себя: вон, смотрите, как я одержу победу!

Сам Кутузов с гвардией и главными силами полагал двигаться с фронта.

Кутузов ехал, внимательно вглядываясь вперед. По обеим сторонам старого Калужского большака шел лес. Вот сквозь полуголые деревья замелькали огни биваков резервной артиллерии, расположенной на широких полянах. Темнели группы зарядных ящиков, полуфурки, тела орудий, покрытых мешками с овсом. Лагерь готовился ко сну.

Навстречу коляске Кутузова двигалась какая-то масса. Это был целый табун лошадей. Кое-где на конях сидели солдаты.

— Куда едете? — высунулся из коляски удивленный фельдмаршал.

— На водопой, — словоохотливо ответило несколько солдатских голосов.

Михаила Илларионовича кольнуло: что-то не так!

За биваком артиллерии пошли коновязи кирасир. Тут все спокойно — обычные шумы кавалерийского лагеря: ржание лошадей, злые окрики солдат, кое-где приглушенный лошадиный топот, сочный храп.

Кутузов не очень присматривался к затихающей жизни кирасирского бивака: кирасирам не надо двигаться в обход.

За кирасирами слева потянулись землянки, шалаши, избенки пехоты. Это 3-й корпус, которому по диспозиции уже положено готовиться к маршу. А у них — мир и покой. Откуда-то слышится песня:

У милого в огороде
Растет трава мята.
Любил меня милый друг,
Хоть я небогата!

Главнокомандующий подозревал попавшегося на глаза офицера:

— Приказ выступать получили?

— Никак нет, ваше сиятельство, не получили.

Кутузов так круто повернулся в коляске, что скрипнули пружины.

— Кто возил диспозицию к генералу Ермолову? — спросил он у Коновницына, ехавшего рядом с коляской верхом.

— Герсегованов, ваше сиятельство.

— Давай его сюда!

— Герсегованова к его сиятельству!

К коляске подскакал офицер:

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Голубчик, ты вчера возил пакет к генералу Ермолову? — вглядываясь в полутьме в безусое лицо поручика, спросил фельдмаршал.

— Точно так, я, ваше сиятельство!

— Кому вручил?

Мягкий, вкрадчивый голос фельдмаршала стал понемногу наливаться металлическими нотками.

— Начальнику канцелярии полковнику Эйхену, ваше сиятельство.

— Почему не самому генералу, как было приказано, голубчик?

— Не мог нигде разыскать его превосходительство. Он, оказывается, был в гостях у генерала Шепелева в селе Спасском.

Фельдмаршал вдруг поднялся в коляске и закричал:

— Это не армия, а кабак! И полковника и генерала — выгнать вон из армии, обоих! И полковника и генерала! — повторил фельдмаршал, задыхаясь от гнева. — Поезжай к дому! — ткнул он рукой в спину ямщика и плюхнулся на сиденье.

На случай приезда главнокомандующего в лагерь в деревне Границево оставили незанятым один дом — тот, в котором Кутузов принимал Лористона.

Туда и привезли фельдмаршала.

Зажгли свечи. Кутузов, не раздеваясь, сидел у стола.

— Пиши приказ: наступление откладывается на сутки! — приказал он Коновницыну.

Пока писали приказ, в избу вошли Дохтуров, Уваров, командир 3-го корпуса Строганов. Окончательно выяснилось, что полковник Эйхен побоялся сам вскрыть пакет, а Ермолов вернулся поздно и потому не успел известить о диспозиции войска.

Корпусные командиры просили не отменять диспозицию, говорили, что время еще не упущено, что впереди целая ночь, что отклад не идет на лад, но Кутузов стоял на своем: отложить!

И, сердитый, уехал к себе в Леташевку.

Коновницын едва уговорил фельдмаршала не наказывать генерала Ермолова.

III

Эту ночь Михаил Илларионович провел в маленькой избе в деревне Границево, среди 6-го корпуса Дохтурова, составлявшего центр армии.

Войска, назначенные в обход левого крыла Мюрата, двинулись заблаговременно, с вечера. Шли со всей осторожностью — болтунам и курильщикам хоть пропади: громко говорить нельзя, огнем высекать не смей. Казаки оставляли жеребцов в лагере, чтоб не ржали.

Погода благоприятствовала скрытному движению русских: дождя не было, но и не морозило. На сырой земле не слышалось ни топота ног, ни стука орудийных колес.

Когда обходные колонны тронулись, Кутузов вздохнул с облегчением: и Беннигсен, и надоедливый, чван-

ливый англичанин Вильсон, и наружно вежливый, но держащий камень за пазухой Ермолов — все недоброжелатели Михаила Илларионовича потянулись к правому флангу. Завтра исполнялось их желание: русская армия наступала.

На рассвете 6 октября все в Границево ждали выстрелов с правого фланга. Но день начинался, а, к удивлению всех, ни пушечных, ни ружейных выстрелов не было слышно.

Михаил Илларионович беспокоился: что-то случилось, атака явно запаздывала.

К правому флангу поскакали все: и Толь, и Коновницын. Возле Михаила Илларионовича остались одни адъютанты.

Потом наконец послышались беспорядочные выстрелы. И вот прискакал с правого фланга первый ординарец с доносением. Вести были не особенно приятные: пехота за целую ночь все-таки не смогла подойти к назначенному месту, сбилась с пути и опоздала. На опушке леса собрались одни казаки Орлова-Денисова. Когда рассвело, казаки стали бояться, что французы увидят их, и одни ударили по врагу.

Французские кирасары были смяты и обращены в бегство, оставив свой лагерь.

— Кто успел оседлать коня, а кто так, на голую спину вскочил, — рассказывали участники.

Казаки, захватив лагерь, напрасно задержались в нем: Мюрат успел собрать силы для отпора.

Кутузов пришел в раздражение от такой вести. Он ходил по избе, ни на кого не глядя. Штабные офицеры вполголоса обсуждали происшествие:

— Как же предпринимать такое дело без проводников? Ночь ведь темная, осенняя?

— Да, надо было расставить на дорогах людей!

— Такие грубые промахи непростительны даже на маневрах, а не то что на войне!

— Во всем виноват рыжий Беннигсен!

С левого фланга приехал быстрый Милорадович. Он уговаривал Кутузова идти вперед.

— У вас у всех на языке одно: атаковать. Вы не видите, что мы еще не созрели для сложного движения! — немного раздраженно ответил фельдмаршал.

От Коновницына примчался адъютант:

— Багговут убит!

Михаил Илларионович представил себе милого толстяка Карла Федоровича Багговута.

— Ах, как жаль! Кто принял команду?— спросил Кутузов у ординарца.

— Командир семнадцатой пехотной дивизии генерал-лейтенант Олсуфьев.

Кутузов приказал 6-му корпусу и кавалерии барона Корфа двинуться к Чернишне. Левый фланг и центр шли стройно, словно на параде.

— Смотрите, ваше сиятельство, как идут!— восхищался Милорадович.

— Потому что идут по прямой линии,— ответил Кутузов.

Мюрат отступал в беспорядке до Спас-Купли.

Кутузов медленно ехал по дороге.

Сзади послышался топот. Прискакал казачий урядник от Кудашева из-под Подольска. Он привез перехваченное отрядом Кудашева предписание Бертье генералу д'Аржану: немедленно все тяжести отправить к Можайску. Эта маленькая записочка была важнее длинных реляций. Кутузов понял, что Наполеон готовится ретироваться из Москвы, но куда?

Не собирается ли он обойти нас по новой Калужской дороге, пока мы возимся тут?— прикидывал Михаил Илларионович.

Не советуясь ни с кем, он тотчас же приостановил движение наступающих войск.

Не зная о перехваченном письме Бертье, все были страшно поражены странным приказом фельдмаршала: почему он не допускает окончательного разгрома Мюрата?

Дохтуров и Милорадович просили не прекращать преследования неаполитанского короля, который отступил уже на семь верст.

— Если не уметь вовремя прийти на место и взять Мюрата живьем, то преследование пользы не принесет. Нам нельзя удаляться от укрепленной позиции и от нашей оперативной линии,— ответил генералам Кутузов.

Он велел разостлать на поле ковер и сел.

Приехал Толь. Карл Федорович рассказал, что во французском лагере нашли много награбленного московского добра: перины, подушки, шубы, самовары, вазы. И тут же, рядом с посудой саксонского фарфора и золоченой бронзой, валялись жернова, деревян-

ная посуда и лапти, вероятно, взятые в окрестных деревнях. В лагере застали много женщин — француженок, полек, немок.

— Весело жили!— сказал Милорадович.

— У французов так всегда: от любви — к сражению, от сражения — к любви!— заметил Михаил Илларионович.

— Беннигсен жалуется!— увидел кто-то.

К временному биваку командующего ехал генерал Беннигсен. Его сухое лицо иезуита выражало плохо скрываемый гнев: он был уверен, что Кутузов нарочно не послал ему подкрепления, нарочно остановил движение центра и левого фланга, чтобы сорвать окончательный успех его дня. Беннигсен облизывал тонкие губы, словно его попотчевали сладким.

Кутузов поднялся навстречу Беннигсену.

— Вы одержали победу. Я обязан вам благодарностью, а государь вас наградит!— сказал фельдмаршал.

Беннигсен даже не слез с коня. Он сказал, что получил контузию в ногу, и, рапортую, постарался укунить Кутузова:

— Жаль, очень жаль, что ваша светлость находились слишком далеко от места действия и не могли видеть картины поражения!

«Не был, но видел, но знаю: ты провалил все!»— подумал Михаил Илларионович и стал собираться ехать назад, в деревню Гранищево.

Он ехал и думал, что не только Беннигсен, а с ним Вильсон, Платов, Ермолов, но даже Толь, Дохтуров и Милорадович, вероятно, подумают, что Кутузов не помог Беннигсену только из зависти.

«Дальше своего носа не видят!»

Никто не хочет считаться с тем, что Наполеон еще располагает стотысячной армией и что он только и ждет, когда Кутузов сделает какую-либо оплошность, вроде той, которую допустил Александр I, приказав очистить Праценские высоты. Наполеон ждет удобного случая, чтобы одним ударом решить все в свою пользу.

У полуразрушенной избы постоялого двора стояли привезенные трофеи: тридцать восемь французских пушек, сорок зарядных ящиков, обозные фуры. Тут же развевался штандарт кирасирского полка.

Фельдмаршал слез с коня осмотреть пушки. Калибром они были меньше русских.

Мимо Кутузова с песнями проходили войска.

— Вот наш подарок России! — крикнул Михаил Илларионович. — Именем Отечества благодарю вас, дети мои!

Веселое «ура» было ответом главнокомандующему. Сегодня ликовал весь русский лагерь.

Глава двенадцатая

НАПОЛЕОН ПРОСИТ МИРА

I

Наполеону хотелось думать, что русским после ухода из Москвы остается лишь просить у него мира.

В этой мысли его еще более укрепил неаполитанский король, примчавшийся в Москву с аванпостов.

Даже в осеннюю слякоть Мюрат сохранил в одежде театральную пышность и кокетство. Казаки, называя его «гетманом», подсказали ему мысль нарядиться à la гетман Жолкевский. И Мюрат оделся в стиле XVI века: поверх зеленой венгерки с золочеными шнурами он набросил серый суконный плащ польского покроя, а на голову надел маленькую соболью шапочку с неизменным страусовым пером. Сапоги остались красными, как ноги у аиста. Но на московском пепелище фигура неаполитанского короля уже не производила того необычайного впечатления, как бывало прежде. Здесь на каждом шагу встречались не менее вычурно одетые фигуры, больше напоминавшие карнавальные маски, чем солдат и офицеров «великой армии». И среди них Мюрат несколько утерял оригинальность своей одежды.

Зато он не потерял своего всегдашнего апломба. Мюрат был вполне уверен в том, что он действительно прирожденный неаполитанский король, а не сын трактирщика из Кагора. Он был убежден, что все любят его, даже казаки. Мюрат хвастался в императорской квартире, что казаки и даже «купидоны» (так французы называли башкир из легкой кавалерии, вооруженных луками и стрелами), увидев его, кланяются, снимая свои высокие шапки, и кричат: «Король!», «Гетман!» И конечно, не думают стрелять в него или принимать «в дротики».

Он рассказывал всем, что едва намеревался двигаться вперед, как к нему подлетел казачий полковник и просил не начинать бесполезного кровопролития. «Мы вам больше не враги. Мы хотим мира и только ждем указаний из Петербурга», — якобы говорили казаки. А если неаполитанский король настаивал, то казачий полковник услужливо спрашивал у него, до какого пункта его величество хочет дойти и где желает расположиться со штабом. Русский авангард отступал до указанного места без боя. (Мюрат не видел, что казаки продолжают отступать по Рязанской дороге, в то время как главные силы русских уже начали фланговое движение на Калугу.)

Неаполитанский король был также уверен в том, что начальник русского авангарда — генерал Милорадович — его поклонник и верный друг. Милорадович почтительно называл Мюрата «ваше величество», а Мюрат, кокетничая, останавливал его и говорил: «Здесь я не король, а простой генерал!» И Милорадович, пересыпая «ваше превосходительство» словами «ваше величество», делал все, что хотел неаполитанский король.

Мюрат рассказывал, смеясь, как однажды он шутя предложил русскому генералу: «Уступите мне вашу позицию». Милорадович ответил: «Извольте атаковать ее, ваше величество. Я приготовился к хорошему кавалерийскому делу и достойно вас встречу. У вас первоклассная конница, а у меня — сыны тихого Дона. Пусть сегодня решится, чья конница лучше: ваша или моя. Только советую вам, ваше превосходительство, не атаковать слева — там болото». И Милорадович поехал и показал Мюрату, где находятся топкие места.

Мюрат, разумеется, тоже сыграл в благородство — не атаковал русских.

Неаполитанский король не рассказал в императорской квартире продолжения этой совместной прогулки с Милорадовичем по русским аванпостам. Он хотел проехать немного в глубь русского расположения, но Милорадович, боясь, как бы Мюрат не увидел, что за казачьими полками нет больше никаких русских войск, вежливо предупредил: «Казаки знают вас, ваше величество, но пехота, стоящая сзади, может обстрелять!» И проводил Мюрата до французских постов.

Рассказывая все свои похождения на аванпостах, Мюрат убеждал Наполеона, что русская армия рассеялась,

что она состоит из одних казаков (так ему казалось) и что «сыны Дона» тоже скоро уедут домой.

Императору было приятно слушать рассказы Мюрата. Но все-таки на следующее утро он поспешил отправить неаполитанского короля назад. Наполеон хотел знать, где же находится русская армия. Он боялся, что генерал Себастиани, оставшись в авангарде один, будет еще менее решителен, чем Мюрат.

Прошло несколько дней; русская армия как в воду канула.

Наполеон начал тревожиться не на шутку.

Он продолжал рассказывать о похождениях неаполитанского короля на аванпостах, но передавал их уже в ироническом тоне. Наполеон сам не очень верил Иоахиму: он знал своего фантазера-шурина не первый день, знал его гасконскую лихость во всем. Недаром Наполеон звал его «полишинель» и «итальянский Панталоне».

— Мюрат — король казаков? Что за чушь! — насмешливо и раздраженно повторял Наполеон. — Легковерие — мать глупости. Русские водят наивного неаполитанского короля за нос! Не может быть, чтобы Кутузов оставался на Рязанской дороге: на ней он не прикрывал бы ни южных губерний, ни Петербурга!

Император думал, что русские должны прикрыть «Калигулу», как Наполеон по-своему называл Калугу, — там у русских были сосредоточены все запасы.

Наполеон образовал особый наблюдательный корпус под командой маршала Бессьера. Он отправил Бессьера на Калужскую дорогу, приказав двигаться по ней до тех пор, пока маршал не наткнется на главные силы русских. Понятовский двигался по Тульской.

Наполеон нетерпеливо ждал от них донесений. Он боялся, что русские перережут со стороны Можайска сообщения французской армии.

Император непрерывно диктовал настоятельные приказы корпусам, разыскивающим русскую армию. Бертье ежедневно слал им грозные напоминания.

Бессьер и Понятовский доносили: русских нигде нет, а Мюрат продолжал твердить все то же.

Теперь Наполеон был уже вполне уверен в том, что Мюрат и Себастиани обмануты переговорами.

— Все эти переговоры приносят пользу только тому, кто их ведет! — говорил Наполеон и велел Бертье написать неаполитанскому королю:

«Его величеству угодно, чтобы сносились с неприятелем только ружейными и пушечными выстрелами».

Бессьер, еще не доходя до Десны, доносил:

«Нет ничего удивительного, если старый русский генерал, ускользнув от неаполитанского короля, идет со всею армией наперерез наших сообщений с Смоленском».

Наполеон был в полном недоумении.

В ночь на 12 сентября он отдал категорический приказ Мюрату:

«Найти след неприятеля должно быть вашей единственной целью. Меня уверяют, что Кутузов через Серпухов идет на Калугу. Поищите его там!»

Тревога Наполеона росла с каждым днем.

II

Пока Мюрат, Понятовский и Бессьер по всем дорогам искали пропавшую русскую армию, Наполеон попытался навести порядок в сожженной и разграбленной Москве.

Древняя столица представляла огромное скопление развалин, между которыми едва можно было различить направление прежних улиц. Везде валялись трупы людей и животных. Они разлагались и заражали воздух.

Уже когда Наполеон ехал из Петровского дворца в Кремль, он увидел: большинство солдат и офицеров, попадавшихся ему навстречу, были пьяны. Дисциплина и порядок падали. Солдат, который всегда не склонен вообще думать о далеком будущем, предавался грабежу и дрался с товарищем из-за добычи.

Приехав в Кремль, Наполеон приказал генерал-интенданту армии графу Дюма собрать уцелевшее в городе вино и поместить в особых магазинах. Хлебное вино Наполеон хотел сохранить для раздачи войскам, а виноградное — госпиталям. Но Дюма резонно ответил, что прежде надо прекратить грабеж. По повелению императора Бертье издал приказ, кончавшийся так:

«Солдаты, которые будут пойманы и уличены в грабеже, с завтрашнего дня будут предаваемы военному суду и судимы по всей строгости законов».

Патрули задерживали грабителей. Кто нес награбленное — отнимали и складывали тут же, на земле, под охраной гвардии. В грязи, в пепле, в мусоре валялись богатые меха, золотые и серебряные вещи, дорогие вышивки и материи. В первые дни после издания приказа удалось сделать кое-какие запасы и войскам выдали на пятнадцать дней водки.

Наполеон жил в Кремле как в крепости.

Были открыты только Никольские, Троицкие и Тайницкие ворота. Остальные наглухо завалили бревнами, и при каждом входе стоял пикет из восьми солдат с сержантом. А у открытых ворот находилось по сто шести гвардейцев. По всем кремлевским стенам растянулись цепи часовых, часовые стояли у башен, соборов и в дворцовых подъездах. По Кремлю беспрестанно ходили патрули. Караул в Кремле несли конная и пешая гвардия и польские уланы.

На холме у церкви Николая Гостунского стояло десять полевых орудий. Русским входить в Кремль не разрешалось, часовым приказано было стрелять по ним: Наполеон боялся покушений.

Сообщение с Францией и Парижем и всей огромной империей было налажено — депеши получались регулярно. Регулярно, на пятнадцатый день, приходил парижский портфель и пакеты из Варшавы и Вильны. Из Парижа ехали в Москву так же просто, как в Марсель. Мчались курьеры, врачи, интенданты, маркитанты. Даже прибывали обозы. В армию слали много вина, не зная, что в Москве его в достатке, но зато совершенно нет хлеба.

Наполеон аккуратно получал европейские газеты. Все они превозносили взятие Москвы, называли его «дивным подвигом», сравнивали с походом Александра Македонского в Индию. Писали разные напыщенные красивые фразы, которые было приятно читать: «Гром французских пушек слышен в Азии», или «Россия поражена в самое сердце». В Париже по случаю занятия Москвы была произведена пушечная пальба, в храмах служились благодарственные молебны.

Но пожар Москвы произвел в Европе иное впечатление. О нем говорили с изумлением и ужасом и считали, что «это событие без сомнения нанесет сильный удар высокому идеалу воинской славы». Мирные, гражданские люди в первую минуту сочувствовали несчастным жителям Моск-

вы, а потом вспоминали о своих сыновьях, мужьях и братьях, находившихся в «великой армии», и их охватывали тревога и беспокойство за близких.

«Всякий бюллетень, из которого узнали бы, что наши солдаты в тепле, одеты и сыты, произвел бы гораздо больше впечатления на всех, нежели известия о победах», — так писали из Парижа.

Чтобы ослабить впечатление от пожара Москвы, Наполеон выпустил 17 сентября очередной, девятнадцатый бюллетень, в котором писалось:

«Хотя пожар убавил средства для содержания войск, но, несмотря на то, их найдено уже и открывается очень много. Огонь не коснулся погребов. Войска отдыхают от усталости. Они имеют в изобилии хлеб, картофель, капусту и другие овощи, свежую говядину, соленую провизию, вино, водку, сахар, кофе и вообще всякого рода продовольствие».

В этих строках все было истинно, за одним исключением: хлеб в Москве отсутствовал. Его с трудом получала гвардия и совершенно не видели остальные полки армии. Нужда в хлебе была замаскирована мнимым изобилием. Да, действительно, было много вин, водки, кофе, сахару, была соленая рыба, на истоптанных огородах находились кое-какие овощи, было свежее мясо, но не говяжье, а лошадиное, и совершенно, начисто отсутствовал хлеб.

В бюллетене не говорилось о лошадях. Если люди имели в изобилии хоть вино и сласти, то кони совершенно голодали: фуража в городе не хватало. На складах он был, но получить мешок овса представлялось делом более сложным, чем получить мешок медных русских денег. Лошади тысячами гибли в походе и так же продолжали погибать в Москве. Кое-как удавалось поддерживать гвардейскую кавалерию, а простые кавалерийские полки постепенно стали спешиваться.

III

Наконец только 14 сентября, через двенадцать дней после занятия Москвы, Наполеон достоверно узнал, что Кутузов фланговым движением прошел с Рязанской дороги на старую Калужскую и встал лагерем у реки Нара.

Он успел загородить Наполеону путь на плодородный юг.

Император издевался над легковерием Мюрата и говорил:

— Я посоветовал бы своим послам быть столь же проныцательными и ловкими, как эти дикие казачьи офицеры, которые так хорошо провели неаполитанского короля!

Наполеон был зол, что «каналы», как он называл казаков, провели фантазера Мюрата и что даже он сам на какое-то время поддался было их сладким речам.

Но теперь стало ясно: армия Кутузова вовсе не деморализована, как распинался Мюрат, и она располагалась слишком близко, чтобы можно было беззаботно отдыхать в Москве. Вставал вопрос: что же делать дальше? Ни генеральное сражение, которое Наполеон считал выигранным, ни занятие неприятельской столицы не принесли желаемой победы и славного, почетного мира. А мир был нужен всей «великой армии» как воздух.

И Наполеон решил добиться его другим путем.

Он вызвал Коленкура и предложил ему поехать к Кутузову.

Арман Коленкур отказался наотрез. Со всегдашней прямоотой он сказал императору, что эта поездка не приведет ни к чему, а будет лишь вредна: Александр I убедится в трудном положении Наполеона.

Рассерженный император круто оборвал Коленкура:

— Ах, вы не хотите? В таком случае я пошлю Лористона!

Призванный Лористон говорил то же, что и Коленкур, но Наполеон не слушал его резонных возражений.

— Вы поедете! Мне нужен мир во что бы то ни стало! — раздельно, подчеркнуто сказал Наполеон. — Спасите только честь! Я больше от вас ничего не требую.

Лористону пришлось подчиниться. Он поехал к Кутузову и вернулся почти ни с чем. Оставалась лишь слабая надежда на то, что, может быть, Александр I соизволит ответить на предложение Наполеона.

Наполеон знал, что при русском дворе сильна партия за мир. Мириться с французами хотела Мария Федоровна, хотя она и не переносила Наполеона. За мир с ним был глупый Константин Павлович и влиятельный Аракчеев. И Наполеон ждал. Другого ничего не оставалось делать.

Зимовать в Москве? Сначала он думал об этом и говорил Коленкуру, что «Москва по самому своему имени является политической позицией, а по числу и характеру

своих зданий и по количеству еще сохранившихся здесь ресурсов — лучшей военной позицией, чем все другие, если мы останемся в России».

Но он понимал, что французскому солдату тяжело будет примириться с зимовкой без победы. Он избалован прежними кампаниями: обычно война продолжалась всего несколько месяцев и к зиме армия возвращалась с победой домой. А здесь приходилось думать не о победах, а о хлебе.

Продовольствия становилось все меньше и меньше. Правильной раздачи провианта не существовало. Только гвардия снабжалась регулярно. Армия ела конину, кошек, стреляла ворон и галок. Насколько туго было с продуктами, видно из письма французского губернатора Москвы Лессепса к голландскому генералу Вандедену, который просил у Лессепса помощи:

«Я ничтожнейший губернатор в свете. Вам не трудно будет поверить моим словам, когда вы узнаете, что посылаю к вам то, что могу и отчего краснею. Я делюсь с вами по-братски. У меня нет ни хлеба, ни муки, и еще менее кур и баранов. Но мне подарили вчера несколько яиц, и я имел случай купить четыре бутылки вина. Тороплюсь уделить вам половину».

В Москве жили как в осаде. За фуражом и хлебом приходилось посылать вооруженные отряды. Вокруг Москвы располагались летучие кавалерийские отряды Кутузова, и кругом был враждебный французам русский народ. О русских партизанах говорили с невольным уважением и страхом:

— Они гораздо смелее испанских гверильясов, хотя хуже их вооружены!

Грабежи в Москве не прекращались. Наполеон приказал не пускать никого в столицу, кроме команд, отправляемых за продуктами. Каждый день являлись в Москву определенные части. Это еще больше усилило грабеж: армейские полки, получив ордер на командировку в Москву, приходили к мысли, что такой счастливый случай больше уже не представится, и потому предавались безудержному грабежу. Солдаты дрались друг с другом за вещи, за одежду, за меха с не меньшим мужеством, чем с неприятелем за редут или пушку. А за хлеб и золото — ожесточеннее, чем за знамя. Солдаты не слушались офицеров, офицеры не обращали внимания на замечания генералов.

Улицы, которые пощадил пожар, походили на ярмарку. Торговцы и покупатели были военные.

В грабежах больше других участвовала гвардия, располагавшаяся в Кремле, в центре Москвы. Ей было сподручнее других. Гвардия всегда и во всем была на особом, привилегированном положении. Кроме того, на нее не распределялась очередность выходов, набегов на город: они могли грабить каждый день когда душе угодно.

«Император чрезвычайно недоволен тем, что, невзирая на строгие приказания прекратить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающихся в Кремль», — писал в приказе маршал Лефевр, командовавший старой гвардией.

Гвардейцы уже в кремлевских караулах вели себя по-своему. Они несли караульную службу со всеми удобствами. Сидели у постов, завернувшись в лисьи, собольи шубы, перевязанные кашемировыми шальями. Возле часовых стояли громадные хрустальные вазы, наполненные вареньем. Из ваз торчали золотые и серебряные ложки. И всюду виднелись горы бутылок шампанского и разных дорогих вин.

Курьер, мчавшийся с депешами в императорскую квартиру, адъютант маршала с донесением к императору, полковник или генерал, приехавшие с докладом, одинаково останавливались гвардейскими солдатами и не допускались дальше, пока не чокались с часовым grenадером за здоровье императора или «тетушки Лангула», маркизантки 1-го батальона.

Наполеон видел, как под окнами у него, шатаясь, останавливались grenадеры. Хорошо, что при Наполеоне не было женщин и ничья стыдливость не оскорблялась при этом, а многочисленные подружки и походные жены свитских генералов и офицеров смотрели на такие вольности снисходительно.

Отсутствие хлеба и избыток вина не помогали дисциплине. Она падала тем больше, чем меньше становилось хлеба и больше вина.

Ночью часовые уже не окликали прохожих.

И маршал Лефевр, которого звали «самый истинный солдат армии», напрасно изощрялся в приказах:

«В старой гвардии беспорядки и грабеж возобновились сильнее, нежели когда-нибудь, вчера в последнюю ночь и сегодня. С соболезнаванием видит император, что отбор-

ные солдаты, предназначенные охранять его особу, которые должны подавать другим пример подчиненности, до такой степени не повинуются приказаниям, что разбивают погреба и магазины, приготовленные для армии. Они дошли до такой степени унижения, что не слушались часовых и караульных офицеров, бранили их и били. Все офицеры, всяких чинов, проходя с войсками мимо императора, должны салютовать шпагой его величеству. Сегодня на разводе это не исполнялось. Герцог Данцигский, поставляя на вид офицерам такое неисполнение обязанностей, предписывает начальникам всех частей войск, чтобы они наблюдали за порядком службы».

Еще меньше дисциплины, чем во французских полках, было в немецких и итальянских частях. Солдат страстно хотел мира. Но, видя, что до мира далеко, он стал думать только о том, как бы получше насладиться настоящим.

Наполеон замечал развал армии, но не хотел признаваться в этом окружающим. Он предпочитал сидеть в Кремле и здесь же делать смотры войскам. На парады выбирались лучшие армейские полки. Их тщательно одевали и снаряжали к смотру.

Наполеон наслаждался криками: «Да здравствует император!» — криками, в которых больше чувствовалось спиртного, чем энтузиазма, и не переставал восхищаться ясными осенними днями.

— Ну, что скажете вы, любезный Нарбонн, о таких войсках, марширующих при такой прекрасной погоде? — спросил он у своего самого блестящего, самого светского адъютанта, бывшего министром у Людовика XVI.

— Государь, я скажу только, что войска отдохнули и могут предпринимать движение на зимние квартиры в Литву и Польшу, оставив русским их Москву.

Император ничего не возразил на эту довольно ядовитую, но правильную реплику.

Мысль о том, что надо уходить ни с чем из Москвы, раздражала и угнетала его.

IV

Наполеон молчал.

Он никогда не был разговорчивым, а в последние дни жизни в Москве совершенно замкнулся в себе, стал как-то

особенно холоден и сух в обращении с окружающими, не шутил с Бертье по поводу его легкомысленной жены, а одеваясь, не трунил над своим пополневшим животом. Работая в кабинете, он угрюмо молчал, мучительно думал все об одном. Маршалы и генералы стояли по целым часам, не проронив ни слова, ждали, когда император заговорит с ними сам. А он, насупив брови, ходил из угла в угол или бросался на диван с книгой и делал вид, что читает.

Чаше, чем в других кампаниях, Наполеон страдал в Москве бессонницей. Он среди ночи вставал, надевал халат и ходил взад и вперед по кабинету. Услышав его шаги, дежурные адъютанты вскакивали, готовясь к тому, что император позывает кого-нибудь из них отдать приказ или просто поговорить.

Но император молчал, думая свою невеселую думу.

Когда же ему удавалось проспать до утра, Наполеон вставал с бледным измятым лицом, — видимо, сон не приносил ему нужного отдыха и покоя и пробуждение к той же невеселой действительности угнетало его.

По утрам Наполеон был особенно раздражителен и по пустякам набрасывался на свиту и маршалов.

Раньше его обед продолжался не более пятнадцати минут, а теперь он растягивался до полутора часов. За столом император не становился общительнее и веселее. Он сидел, словно не замечая ничего вокруг, но не уходил из-за стола. Раз в неделю Наполеон приглашал к обеду вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов.

Но все это ничуть не рассеивало его тяжелого раздумья.

Время шло, а от Александра I не было письма. Наполеон чувствовал, что этот византиец не удостоит его ответом.

Всем было ясно: зимовать в Москве нельзя, придется уходить, самим оставлять древнюю русскую столицу. Оказалось, что войти в нее было гораздо легче, нежели выйти из нее.

Как уйти? Как отступить, если «великая армия» привыкла только завоевывать и наступать? Это окажется бегством!

Отступление невозможно — до такой степени оно противоречило гордости Наполеона, его блестящим успехам, всей боевой полководческой деятельности.

И как это отзовется во Франции и во всей Европе? Оно развеет обаяние его непобедимости, ослабит узы, в которых он держит всю Европу.

Москва — это не только военная позиция, но и позиция политическая. А в политике никогда не надо отступать, не нужно признавать своих ошибок — это подрывает уважение.

Что вся русская кампания была сплошной ошибкой, он уже ясно видел. Савари мог не подсказывать императору, что «неосторожно было так далеко углубляться в Россию!».

Войска еще не утратили веру в Наполеона, они привыкли к его непогрешимости. Они видели, понимали сложность положения армии, но надеялись: император все предвидит, всегда найдет выход из любого обстоятельства.

И Наполеон тщетно искал выход.

Император приказал каждый вечер зажигать по две свечи около его окна, чтобы солдаты говорили: «Смотрите, император не спит, он заботится, думает о нас! Он всегда за работой!»

Для того чтобы поднять дух войск, Наполеон заплатил жалование армии русскими медными деньгами, которые никто из солдат не хотел брать, и сфабрикованными по приказу Наполеона фальшивыми русскими ассигнациями, от которых было столько же проку, как от медных. Солдаты ничего не покупали, а все, что попадалось, брали бесплатно, и обманывать, в сущности, было некого.

Через Бертье и маршалов Наполеон велел распустить разные слухи, чтобы хоть немного успокоить возбужденных солдат.

То говорили о походе в Индию, прельщали сказочными богатствами этой чудесной страны, и солдаты гадали, за сколько месяцев будут доходить из Индии письма во Францию. То утверждали, будто маршал Макдональд взял приступом Ригу, захватил и сжег Петербург, а русский император Александр I умер от огорчения. Другие спорили, говоря, что не Макдональд взял Петербург, а шведы, и что Александр I вовсе не умер, а удрал в Сибирь. И все божилось, будто из Вильны идут новые дивизии маршала Виктора с зимней одеждой, хлебом и что к весне в армии будет снова шестьсот тысяч человек, как при переходе через Неман.

Болтуны и легководы хвастались:

— Если русские не заключат зимой мир, то Наполеон прогонит их в Азию, восстановит Польшу, устроит новые герцогства: Смоленское, Петербургское, Курляндское, Московское.

Более предусмотрительные и благоразумные отвечали на это так:

— Зачем нам Виктор, когда самим здесь нечего жрать?

— Наши беды только начинаются, а впереди — зима!

Наполеона угнетало то, что он не имел никаких сведений о России. Все его шпионы — генерал Сокольниковский, Даву и лейтенант легкой гвардейской кавалерии Вандернот, который следил за поляком Сокольниковским, — не могли доставить свежих новостей.

Наполеон считал русскую кампанию наиболее тщательно обдуманной и подготовленной, а на деле получался провал.

Чтобы успокоить армию, отвлечь ее от невеселых мыслей, Наполеон велел организовать в Москве театр из оставшихся актеров французской труппы. Театр устроили на Никитской в великолепном доме Позднякова, уцелевшем от пожара, но, конечно, разграбленном дочиستا. Актеры и актрисы, ограбленные своими же земляками, были одеты кое-как, занавес сшили из парчи, вместо люстры повесили паникадило, взятое из собора, мебель натаскали из дворцов. В театре ставились легкие пьесы: «Игра любви и случая», «Три султанши», «Притворная неверная» и другие.

Дом Позднякова был светлым маяком среди темной, мрачной московской ночи: он горел огнями. По Никитской тянулись всевозможные экипажи ехавших в театр генералов и офицеров. Вокруг дома стоял караул от разных полков и бочки с водой: боялись, чтобы русские не подожгли театр. В первых рядах партера сидели солдаты гвардии. Генералы и офицеры занимали ложи. В театре было много разряженных женщин.

Сам Наполеон не бывал в театре, но внимательно следил за его деятельностью.

В Кремле пел итальянец Тарквинио, приехавший в Москву из Милана, и играл пианист Мартини, но Наполеон скучал на этих коротких концертах: было не до музыки!

V

Наполеон делал вид, что очень занят. Он старался издать как можно больше декретов из Москвы, из Кремля, чтобы все видели, как он заботится о Париже, о Франции,

чтобы думали, что военные дела идут у него хорошо, если император помнит о всякой мелочи. Он составлял уставы для разных цехов — булочного, аптекарского — и целых три вечера посвятил рассмотрению устава Театра французской комедии в Париже.

В тот вечер, когда Наполеон собирался подписать декрет об устройстве театра, он разговаривал с Нарбонном.

Луи Нарбонн, внебрачный сын короля Людовика XV, служил при своем брате Людовике XVI военным министром, а теперь в пятьдесят восемь лет был адъютантом Наполеона. Наполеон отличал его за светскость и остроумие и любил вести с Нарбонном «умные» разговоры. Это не сын бочара Ней, не Виктор — сын какого-то сторожа, не Удино — сын пивовара, а все-таки — пусть и незаконный, но сын короля! С Неем или Мюратом не поговоришь о высоких материях. Хотя Наполеон дал им титулы герцогов и принцев, но дальше сабельного клинка или штыка они ничего не знают.

А с Нарбонном можно говорить о чем угодно.

— Я должен посоветоваться с вами, любезный Нарбонн, прежде чем подпишу декрет. Вы в молодости, конечно, любили театр, но, я знаю, вы предпочитаете комедию, а я, наоборот, люблю высокую, величественную трагедию, которую создал Корнель. Великие люди изображаются в ней вернее, нежели в истории. В трагедии они выведены в критических обстоятельствах, в которых вынуждены прибегать к великим решениям. Все человеческие слабости, колебания, сомнения должны исчезнуть в герое. Это должна быть величавая статуя, глядя на которую не видишь слабостей. Это «Персей» Бенвенуто Челлини! — говорил Наполеон, шагая по громадной зале. — Надо, чтоб великие короли были великими и на сцене. Отчего не возведут на нее Карла Великого или Людовика Святого?

Он остановился у ярко горящего камина и секунду смотрел на огонь. Потом обернулся к Нарбонну, стоявшему навтыжку у стола:

— Я не отвергаю, любезный Нарбонн, даже иностранных героев. Какую трагедию мог бы создать писатель из Петра Великого, этого гранитного мужа, который просветил Россию, который вынудил меня через сто лет после него предпринять такую ужасную экспедицию! Я прихожу в изумление, когда думаю, что в этом дворце, — показал

он рукой,— двадцатилетний Петр, почти без образования и без советников, захватил власть. Какой пример нравственной силы!

Наполеон быстро зашагал по зале. Потом остановился перед Нарбонном, который был уже не рад такой затянувшейся беседе: Нарбонну хотелось сесть, а он принужден был стоять.

— Что же касается особенностей его гения, то они никем не были поняты. Не заметили, что он приобрел то, чего не хватает рожденным на престоле: славу нового человека, дошедшего до трона со всеми испытаниями, соединенными с этой славой. Он добровольно сделался артиллерийским лейтенантом, чем был и я,— с улыбкой сказал Наполеон.— Это не была игра, комедия. Он оставил страну, чтобы освободить себя на некоторое время от короны, чтобы испытать жизнь честного человека и постепенно дойти до величия. Он сам сделал для себя то, что дала мне судьба. Вот что выдвигает его из ряда всех прирожденных государей!

Наполеон снова быстро прошел по зале, думая о чем-то, потом сказал:

— И несмотря на то, какое испытание этому гению! Подумайте: такой человек на берегах Прута во главе им же созданных войск допустил окружение турецкой армией! Лишил себя продовольствия и едва не попал в плен! Такие необъяснимые затмения случаются с великими людьми. Вспомните Цезаря, плохо начавшего дело и осажденного в Александрии негодными египтянами. Но Цезарь взял свое! Он отомстил им! Великий человек всегда найдется в ошибке и несчастье!— с пафосом закончил император, продолжая быстро ходить.

Граф Нарбонн, воспитанный при роскошном дворе Франции, не очень понимал Петра Великого. В глазах Нарбонна царь Петр был варвар. И своими успехами обязан не столько своему гению, сколько ошибкам противников.

— Если бы Карл Двенадцатый не вошел так далеко в глубь России или вовремя отступил бы, если бы он не продолжал своего нашествия даже зимой, то никогда не был бы побежден. Он прикрыл бы Польшу и не позволил бы царю идти дальше,— ответил почтительно Нарбонн, понимая, почему Наполеон вспомнил сегодня о русском царе.

Наполеон не любил, когда отгадывали его мысли и намерения.

— Я вижу, к чему вы клоните речь, любезный Нарбонн,— сказал он с улыбкой.— Вам говорят о театре, а вы отвечаете политикой. Впрочем, искусство и политика часто соприкасаются. Но будьте покойны, мы не повторим ошибки Карла Двенадцатого! Надо было несколько подождать здесь последствий громовых ударов Бородинской битвы и занятия Москвы. Я имел основания надеяться на заключение мира, но, заключим мы его или нет, во всяком случае, есть предел нашему пребыванию в Москве. Наши войска отдохнули и переустроены. Погода стоит хорошая. Мы имеем возможность отойти к Смоленску, соединиться с подкреплениями и расположиться на зимних квартирах в Польше и Литве. Есть и другой способ, который предложил Дарю. Я называю его «львиным советом». Дарю советует собрать продовольствие, послать всех наших лошадей и зимовать в Москве. Я не согласен. Можно ходить далеко, но не следует долго оставаться в гостях! Париж призывает меня сильнее, нежели манит Петербург. Будьте довольны, любезный граф, мы скоро уедем! С миром или без него, но уедем отсюда!— хлопнул пухлой рукой по столу Наполеон.

VI

Он врёт, как бюллетень!
Французская поговорка

Наполеон уже несколько дней готовился к уходу из Москвы. Мира, в котором он так нуждался, не было. Русские не хотели прощать Наполеону сожженных сел и городов, испепеленной Москвы, не хотели забывать о всех насилиях, надругательствах и грабежах «великой армии».

Он приказал начать вывозить из Москвы и окрестностей раненых и дал Бертье указание, чтобы дальше Можайска, Гжатска и Вязьмы не продвигалась бы ни одна воинская часть, ни один артиллерийский парк, идущие с запада.

Наполеон еще не говорил прямо, что начнет отступать, но заявлял:

— Армия займет другое положение.

Герцогу Бассано он написал несколько точнее: «Возможно, буду зимовать между Днепром и Двиной».

Ему так тяжело было сознаваться в том, что он не смог уничтожить русскую армию и покорить русский народ, что он тешил себя разными слухами.

«Все сообщения говорят, что пехота у неприятеля ничтожна. Меня уверяют, что нет и пятнадцати тысяч старослуживых солдат. Второй и третий ряды состоят только из ратников милиции. Но неприятель усилил свою кавалерию. Он учетверил число казаков, страна наводнена ими, и это порождает для нас много мелких столкновений, очень тягостных», — писал он министру полиции герцогу Ровиго.

Но приготовления к уходу делал.

Корпусам Даву и Нея, стоявшим у Москвы, император приказал войти в город. И впервые армии были выданы из складов пятнадцатидневный запас сухарей и вина, холст и кожи для пошивки одежды и обуви.

В хлебе всегда был недостаток, и сухарям обрадовались; вина и без выдачи хватало всюду: среди пепелищ все еще находили подвалы с вином, а заниматься шитьем белья или сапог нашлось мало охотников.

Наполеон приказал захватить «трофеи» — крест с колокольни Ивана Великого, которым он хотел украсить Дом инвалидов в Париже, старинные турецкие и польские знамена из Оружейной палаты и ценности из кремлевских соборов.

Император предупредил Мюрата, чтобы авангард тоже запасся хлебом. Это звучало смехотворно: Мюрат давно объел все вокруг, а посылки отрядов за продовольствием куда-либо подальше никогда не обходились без потерь — партизаны и казаки не дремали!

В письмах к жене Наполеон понемногу перестал писать о Москве. Он предпочитал говорить о разных мелочах, — например, о панораме Антверпена, которую сделали для императрицы: «Я очень рад, что ты довольна панорамой Антверпена. Было бы хорошо сделать панораму пожара Москвы». И как бы вскользь, хвалил прекрасную, солнечную московскую осень.

Он каждый день делал парады в Кремле и заставлял маршалов устраивать смотры у кремлевских прудов или у Калужской заставы.

Для парадов в Кремле назначали наиболее дисциплинированные части, а из них выбирали солдат в наименее потрепанном обмундировании, и все же смотры у Калужских ворот представляли позорное зрелище. На зов барабана становились под знамена в изорванных, нечищенных мундирах и дырявых сапогах. Солдаты не слушались команды офицеров: громко разговаривали в строю, переходили с места на место, меняя награбленные вещи. С каждым днем полки редели — пехота уже становилась не в три, а только в две шеренги.

В солнечное теплое утро 6 октября в Кремле проходил обычный ежедневный парад. Наполеон смотрел линейные полки барона Разу́ из корпуса Нея. Португальцы Разу́ сохранили во всех превратностях лагерной жизни коричневый цвет своих мундиров. В дыму бивачных костров также не изменились их черные кивера, но широкие белые танталоны, которые португальцы носили навыпуск, стали грязно-серыми, а вместо розового лампаса шла какая-то красноватая размазня.

Император видел и не видел этого: парад ведь происходил не в Булони! А строй португальцы держали сносно.

Парад уже кончался, когда вдруг издали послышалась глухая артиллерийская канонада.

Маршалы, стоявшие за Наполеоном, с тревогой переглядывались: орудийные раскаты доносились с юга. Мюрат не собирался давать Кутузову бой. Неужели русские пошли сами в наступление? Это была неприятная новость.

Император делал вид, будто не слышит канонады и не видит тревоги на лицах свиты.

Никто из маршалов не решался обратить его внимание на подозрительную пушечную пальбу, боясь порывов его необузданного гнева: в последние дни Наполеона раздражал любой пустяк. Все смотрели на начальника штаба маршала Бертье, но принц Невшательский от волнения только энергичнее обычного ковырял в носу. Красивый Коленкур кивал на рыжего Нея — Ней стоял ближе всех к императору. Наконец осмелился обер-гофмаршал Дюрок.

— Вероятно, русские напали на неаполитанского короля, — спокойно сказал он императору.

Наполеон изменился в лице, но быстро овладел собой. Его взволновало не нападение, а самый факт: значит, русские все-таки не желают мириться!

Он кончил смотр, похвалил барона Разу́ и Нея и быстрыми шагами ушел во дворец.

За завтраком он наружно спокойно выслушивал доклад префекта императорского двора Боссе о представлениях в поздняяковский театре, где вчера давали комедию Мариво «Игра любви и случая». Наполеон вместе с Боссе прикидывал, каких артистов надо выписать на зиму из Парижа в Москву. Но тут вошел растерянный Бертье и доложил, что прискакал адъютант Мюрата.

Боссе поспешил обратиться со своими актрисами.

Предположения маршалов оказались верными: русские напали на авангард «великой армии» и оттеснили Мюрата.

Император в сильном волнении выскочил из-за стола и начал бегать по комнате.

«Значит, этот дурак Иоахим все наплел! Русские сильны! Надо торопиться на юг, чтобы выйти раньше Кутузова к этой Калигуле!» (Так называл Наполеон Калугу.)

Наполеон понял свою ошибку, в которой не хотел сознаваться, — он слишком долго засиделся в Москве, ожидая мира! Не послушался того, что говорили маршалы, верил в свою счастливую звезду.

В это утро он уже не мог усидеть на одном месте. Не проходило и получаса, как император отворял дверь в дежурную комнату и звал то одного, то другого. Распоряжения сыпались без конца.

Приходилось поторапливаться.

Наполеон оставлял маршала Мортье с семью тысячами солдат молодой гвардии в Москве, чтобы сохранить позу победителя и не показать, что удирает. Он велел Мортье сжечь магазины с продовольствием и фуражом, которыми не успели воспользоваться, сжечь дом Ростопчина и графа Разумовского, взорвать Кремль и все его дворцы.

— Это детское мщенье! Словно персидский царь Кир, который заставил бить плетями море за то, что оно потопило его корабли! — смеялись в дежурной комнате.

А Наполеон ходил и думал.

Как сохранить привычный облик победителя? Посредством какой уловки представить всему миру свою неудачу успехом? С помощью какого искусного приема уйти из Москвы с торжеством?

Оставался один верный выход — бюллетень.

И Наполеон прибежал к нему.

Он без всякого смущения нахально написал в последнем бюллетене, данном в Москве:

«Великая армия, разбив русских, идет в Вильну!»

Глава тринадцатая

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Московские и калужские крестьяне лучше испанцев защищали свои дома.

Воейков в письме к Державину

I

У крыльца фельдмаршальской избы перед застывшим на часах рослым семеновцем, охранявшим вход, стояла пестро одетая толпа партизан.

Из-за рыжих кожаных и черных русских кафтанов «в сборку» кое-где выглядывали синие французские шинели. В гуще крестьянских заячьих треухов и старых обтерханных малахаев там и сям торчали кивера вольтижеров, уланские каски, объемистые шапки итальянских grenadier.

У некоторых мужиков висела через плечо на веревочной портупее блестящая конногвардейская сабля или длинный кирасирский палаш, смешно бывший по партизанским онучам и лаптям.

Одни засунули за широкий суконный пояс, которым стягивался полушубок, обыкновенный топор, а другие — инкрустированный дорогой пистолет.

Многие держали в руках дорожные посохи — увесистые дубинки.

Тут же, у забора, табунились кони под французскими седлами и вальтрапами с вензелем «N» или просто с перекинутым через лохматую лошадиную спину мешком и веревочными стремянами.

Это были партизанские гонцы, прибывшие с донесением к Кутузову.

Партизаны точно исполняли приказ князя Кутузова: регулярно сообщать в главную квартиру о своих действиях.

Толпа негромко, но оживленно гуторила:

— Светлейший еще занят, вишь, у него офицер. Рассказывает. Докладывает.

— Это ротмистр из отряда генерала «Винцо в огороде», наши суседи.

— А ты откуда?

— Из села Малая Матерщина.

— Где такое?

— Под Клином. У нас по деревням народ хорошо француза шиплет...

— Им нигде спуска нет,— вмешался молодой партизан.— Вот мы вчера славный обоз отбили. Полковник Вадбольский напал на дороге у ручья, а мы и николевские ему помогали. Полковник потом благодарил нас: мол, спасибо, братцы, за подмогу, мы без вас, мол, дольше провозились бы! Отдал нам все телеги ихние и лошадей. Телеги ничего — на железном ходу и упряжь подходящая, а лошаденки тощие-претощие!

— А в нашей стороне справно работает капитан Всеславин, Александр Никитич, душа человек! Лихо воюет!

— Нет, лучше, чем Фиглер, не найти! Фамилия у него вроде не наша, а сам — настоящий русак. Ну и дает же он им жару! Кто в его руках побывал, тот больше на русскую землю не полезет! Казаки у него...

— Казаков они до смерти боятся. У нас в селе Верхнем вошло несколько этих «поварцев» в избу к бедной-пребедной старухе тете Паше. Требуют: давай млека! «Нет у меня млека»,— отвечает. «А муму у тебя есть?»— пристали. «Нет муму. Есть одна коза».— «Казак! Казак!»— как встрепенутся, как закричат, и давай бог ноги. Старушка, вишь, говорит — «коза», а им почудилось — «казак»,— смеялся партизан.

— А у вас, бабы, кто за командера?— спросил басом у двух молодых высокий кряжистый старик в синем французском мундире, который на нем трещал по всем швам. Одна из них держала в руках карабин, а другая простые вилы.

— Кузнец Прокоп, дяденька.

— А я думал, ты командер: вон у тебя какая фузея!— шутил старик.

— Не-ет. Разве бабы бывают командерами?— застеснялась молодка.

— А как же, бывают. Вон в Сычевке старостиха Василиса,— сказал средних лет курчавый партизан.

— Ну, конец свету пришел,— гудел басом старик.— Бабы воевать зачали! Приведись мне, я бы к ней под начало ни за что не пошел бы!

— А она тебя — вилами!

— Баба-то? Руки коротки!

— У ней руки хорошие, молодые, у Василисы-то. Баба в самом соку!— смеялся курчавый.

В другой кучке партизаны оценивали трофейные головные уборы. Молодой мужик вертел в руках кивер.

— В етой шапке хорошо: она легкая и не боится дождя. Вишь, вся кожаная,— хвалил он, поворачивая французский кивер во все стороны.

— А на ней же должен быть красный аль желтый султан. Стоит вот эдак торчком, ровно помело,— показал другой.— Ты куда же, паря, султан подевал?

— Верно, был и салтан. Зеленый. Длинный, ровно собачий хвост. Я его топором обкорнал. По закустью ходить с ним несподручно: мешает.

— Лучше моей шапки нет!— хлопнул по высокой медвежьей гренадерской шапке веселый партизан.— И мягкая и теплая! По нашей зимушке!

— Ты в ней, брат, как духовное лицо!

— И скажи: они все с теплой стороны, а как хоронят голову!

— Да, одежда у них ветром подбита, а голова накутана, как у старой бабы.

— Умные люди бают: держи голову в холоде, а ноги в тепле. А у них все наыворот: голову кутают, а ноги — босы...

— Ты бы, как они, с конца света к нам пожаловал, тоже без сапог бы ходил.

— Мои сапожки не скоро износятся,— засмеялся партизан, подымая ногу в аккуратном новеньком лапте.— Только вот беда: в стремя не влезают — широки!

Партизаны говорили о том, о сем, а в избе фельдмаршал сидел, склонив свою седую голову над картой — обдумывал действия летучих военных отрядов, вместе с партизанами державших врага в тесном надежном кольце.

Организованная Кутузовым «малая война» приносила большие успехи.

Офицер из отряда генерала Винцингероде доложил все, получил приказ и умчался, не мешкая, назад, к отряду.

Михаил Илларионович глянул через стол в окно.

— Сегодня у нас много гостей!— весело сказал он.— Что, привели снова пленных? Сколько?

— Больше восьмисот человек, ваше сиятельство,— ответил Коновницын.

— Видишь, Петр Петрович, что значит «малая война»,— сказал фельдмаршал.— Вчера в бою мы взяли всего тысячу пятьсот человек, а сегодня в мелких партизанских стычках враг потерял пленными восьмисот! Молодцы ребята! Ай да партизаны, ай да мужики!

— Не одни мужики, ваше сиятельство. Из Бронницкого отряда в конвое пришли две бабы.

— Вот как у нас!— улыбнулся Кутузов.— Стало быть, не только сычевская Василиса Кожина действует! Весь народ поднялся! Это чудесно! Ну, откуда они там?

— Из разных отрядов,— ответил Коновницын, глядя в окно.— Вон от Стулова из Волоколамска вижу гонца, вон старик из Звенигородского отряда дьячка Романа... А тот, курносый, молодой,— из-под Дмитрова. Я его запомнил — он как-то привез нам эполет убитого французского генерала, что попался партизанам...

— Как же, помню. Хорошо, голубчик. Давай послушаем-ка их, как всегда, по одному. Раньше тех, кто прибыл издалека. Нет ли сычевских, от Василисы Кожиной?

— Не видно, Михаил Илларионович. Да ведь от нее недавно были.

— Вон вижу гонца из Гжатского отряда.

— От Четвертакова?

— Нет, от Потапова.

— А, это от гусара, которого зовут «Самусь»? Ну что ж, начнем с него.

Коновницын вышел из избы, а главнокомандующий уселся поудобнее и приготовился слушать партизанские повести. Он только что выслушал донесения, присланные генералами, полковниками, командирами летучих военных партий, а теперь настал черед послушать представителей народных отрядов, которыми командовали крестьяне, мещане, ремесленники, купцы, духовные, отставные военные и солдаты, попавшие в плен, как драгун Четвертаков и гусар Потапов, но потом бежавшие из вражеской неволи.

Коновницын ввел в избу сорокалетнего крестьянина в коротком дубленом полушубке и крепких сапогах. Крестьянин, не робея, вошел к главнокомандующему, степенно поклонился ему и спокойно стоял, ожидая вопросов.

«Одет хорошо. Очевидно, кто-либо из дворового начальства. Потому и не смущается! Привык приходить к барину для докладов»,— подумал Михаил Илларионович и спросил:

— В старостах ходил?

— Изволили угадать, ваше сиятельство, был бурмистром в имении Веселое Полозовых.

— Как звать?

— Макаров Галактион.

— Как, как? Галактион?— удивленно переспросил главнокомандующий, наклоняясь вперед.

— Точно так, Галактион.

— Ишь какое мудреное имя тебе поп нарек! Почему?

— Наш барин любил выдумывать, чтоб посмешнее, чтоб мужик не мог выговорить, а другие б смеялись... Мое имя — что? В нашей деревне есть бондарь, ему при рождении барин дал имя Индис, вроде индюк, а другого зовут Арапион, вроде как собачья кличка — Арапка...

Главнокомандующий молча покачал головой. Спросил:

— Ну, как же вы воюете в Гжатской округе?

— Стараемся, ваше сиятельство. Помним, что вы сказывали: чтоб французу — ни пройти, ни проехать. Мы за большаком так и следим в оба глаза. Намедни снова разбили евоный обоз.

— А с летучими военными отрядами держите связь?

— Как же, держим. С полковником Давыдовым.

— Держите, обязательно держите! Ваш командир Потапов-Самусь простой солдат, а Давыдов — полковник. И оба командуют отрядами. Ладят они между собой?— спросил, улыбаясь, Кутузов.

— Ладят, ваше сиятельство! Полковник лихой, но простой — русская душа!

— Впрочем, по численности ваш отряд не уступит давыдовскому. Сколько у вас в отряде человек?

— Поболе полутора тысяч.

— Петр Петрович, а сколько людей у Четвертакова?— обратился к Коновницыну Кутузов.

— За три тысячи перевалило, Михаил Илларионович.

— Вот слышишь, Галактион! Передай Самусю, что ему, гусару, негоже отставать от драгуна!

— Слушаюсь, батюшка!

— Передай всем мужикам: держать врага в страхе! Чтоб ему ни днем ни ночью не было покоя! Чтоб чувство-

вал, что не гостем пришел в наш дом, а разбойником, грабителем! Помогайте полковнику Давыдову справляться с врагом. Других заданий пока не будет. Поезжай домой — путь у тебя неблизкий!

— Не сумлевайтесь, ваше сиятельство. Будем истреблять врага! Счастливо оставаться!— кланяясь, ответил Галактион и вышел.

Коновницын пошел вслед на ним.

«Весь народ встал на защиту родины — русские, белорусы, украинцы... Башкиры и калмыки прислали свои полки»,— думал Кутузов, глядя на разостланную перед ним карту.

Вместе с Коновницыным в избу вошел небольшой, невзрачного вида человек.

— Это из Серпуховского отряда,— доложил Коновницын.

— Ну что у вас новенького, рассказывай!— обратился к вошедшему Михаил Илларионович.

— Третьеводни ребяташки нам сказали, что французы идут на Хотунь. Мы переправились вброд через Лопасню, вышли им в тыл и ударили. Одиннадцать убили да тридцать шесть взяли в плен. Шесть повозок с лошадьми взяли.

— Ну что ж, молодцы, серпуховцы!— похвалил главнокомандующий.— Но не смотрите, что осень идет. Не леживайтесь на печи!

— Что вы, батюшка, что вы!— замахал руками партизан. В одной руке он держал треух, из которого торчали рыжие клочья ваты.

— Неужто треух пулей прошибло?— спросил Кутузов.

— Пулей,— ответил партизан, повертывая треух во все стороны, будто видел его впервые.— Ежели б на палец пониже, то — какюк...

Коновницын записывал в тетрадку количество убитых и пленных французов. Главнокомандующий молчал, глядя на партизана. А тот стоял, переминаясь с ноги на ногу. Чувствовалось, что человек хочет что-то сказать, но не решается.

— Ну что еще, говори!— подбодрил его Михаил Илларионович.

— Не знаю, как лучше сказать,— почесал затылок партизан.— Барин наш, что в Покровском, Андрей Николаич Ключарев, с французами заодно... У него в имени ихние кавалеристы стояли... Из дворни двое ребят хотели

пристать к нам в отряд, так он узнал и грозил им всячески, говорил: не ходите, а то французы узнают, имение сожгут...

— Ах, так!— нахмурился Кутузов.— Запиши, Петр Петрович. Мы господину Ключареву это припомним!

— Спасибо, ваше сиятельство, спасибо!— поблагодарил крестьянин и заторопился к выходу.

— А какие это вон молодичи в лапоточках, откуда?— спросил Михаил Илларионович, глядя в окно.

— Из Бронниц. Привели пленных.

— Вишь они! Одна даже с карабином. А ну-ка попроси их сюда. Побеседуем с партизанками,— сказал Кутузов.

Коновницын вызвал в избу бронницких молодых. Одна — постарше — держала в руках французский карабин, а вторая — помоложе, курносая — простые русские вилы-тройчатки. Та, что помоложе, войдя в избу, смутилась — не знала, куда девать вилы...

— Не робейте, бабоньки! А ты, голубушка, не соромься, что у тебя вилы, ведь это твое оружие, не так ли?— приветливо встретил партизанок Кутузов.

Молодая партизанка только кивнула утвердительно головой, но еще сильнее покраснела от смущения. Ее оружие волновалась тоже, но смело смотрела на главнокомандующего.

— Так вы, значит, привели пленных?

— Да.

— Одни вели?

— Нет. С нами шли два старика.

— А пленных много?

— Семь душ.

— И вы не боялись, что в дороге они вас одолеют?

Та, что была помоложе, взглянула на подругу и чуть улыбнулась. А вторая серьезно и уверенно ответила Кутузову:

— Нисколечко. Ведь они безоружные. Да мы и с вооруженными справляемся. Вот у нас на прошлой неделе две сестры уколошили немца-миродера.

— Как же так?— полюбопытствовал Михаил Илларионович.

— Пришел к ним в избу миродер, стал приставать к матери — давай деньги. В сундук полез, на мать тесаком замахнулся. Так Дуня и Фрося схватили топор да вот эдакие вилы и прикончили вора! Он, окаянный, успел-таки их тесаком поранить! Дуне рассек руку выше локтя, а

Фросю ударил по голове. Дуня — рукодельница — плакала, боялась, что рука отыметя, а младшая, Фрося, — хоть бы что. Кровь у нее с головы так и льется, а она только сжала губы, и все...

— Молодцы! — восхищенно сказал главнокомандующий. — Ишь какие у нас на Руси геройские девушки! Петр Петрович, дай-ка — вон на подоконнике лежит — медовую коврижку. Давеча мне купцы из Калуги прислали. Попотчuem-ка наших дорогих гостей!

Коновницын протянул молодежи большую, как поднос, украшенную сахарным вензелем «МК» коричневую коврижку.

Партизанки отказывались, благодарили, пятились от коврижки к порогу, но Михаил Илларионович заставил их принять угощение. Молодцам пришлось унести с собой коврижку. Они шли, гордые тем, что их попотчевал сам Михаил Ларионович.

Коновницын вызвал к главнокомандующему следующего партизанского гонца — крепкого, чернобородого крестьянина.

— От Герасима Курина, из Вохновской волости, — доложил Коновницын.

— Добро пожаловать! — приветствовал Кутузов. Он ценил Герасима Курина как одного из самых талантливых организаторов крестьянских отрядов.

— Да ты, брат, похож на Герасима Курина, — сказал Кутузов. — Такой же чернобородый...

— Герасим — мой двоюродный брат.

— Ах, вон оно что! Ну, какие вести привез?

— Стараемся, ваше сиятельство. В воскресенье опять сшибка была на большой дороге. Сто восемьдесят девять положили на месте, сам считал, сто шестьдесят два запросили пARDону, из них два офицера, да разбежалось сколько-то. Захватили двадцать две телеги с амуницией и лошадьми, шесть зарядных ящиков и вот что.

Чернобородый достал из-за пазухи малиновый шелковый сверток. Он развернул сверток на столе у главнокомандующего — это было французское знамя.

— Какого полка? — нагнулся над полотнищем Михаил Илларионович.

— Сто семьдесят второго линейного пехотного, — прочел Коновницын.

— Вот за это, дружок, спасибо! — весело сказал главнокомандующий. — А кто же взял знамя?

— Я, ваше сиятельство, — смутился чернобородый.

— Молодец! Тебя как величать?

— Емельян Васильев.

— Молодец, Емельян! Петр Петрович, запиши, голубчик, его фамилию. Надо представить к награде. Славно, славно! — повторял Кутузов, разглядывая знамя. — Вон в двух местах прострелено. Бывалое, боевое... А в стычке потери у вас были?

— Человек двадцать легко ранены да семь убиты...

— Вечная им память! — перекрестился Кутузов. — Ну, удружил Герасим! Ай да Курин! Ежели бы его учить, хороший полководец вышел бы! Сколько сейчас у вас в отряде народу?

— Около пяти тысяч пеших, ваше сиятельство, да пятьсот конных.

— Слышишь, Петр Петрович! Это два полка. А пушек не прибавилось? Все те же, что тогда взяли?

— Не прибавилось, — виновато ответил Емельян.

— Ну, передай Герасиму Курину — спасибо! Это не я говорю, Отечество, Россия говорит!

Емельян Васильев, обрадованный тем, что главнокомандующий обещал отметить его за взятое знамя и что сам Кутузов передает через него благодарность всему отряду, ушел из избы, сияя от счастья.

— Сколько за последние дни взяли в плен партизаны? — спросил у Коновницына Михаил Илларионович.

Коновницын полистал ведомости, лежащие на столе, и прочел:

— С третьего по восемнадцатое сентября уничтожено более тысячи ста человек, взято в плен один генерал, двадцать три офицера и пять тысяч пятьсот солдат. И это, ваше сиятельство, без сегодняшних, — уточнил он.

Кутузов встал из-за стола, чтобы немного размяться. Он тоже был удовлетворен: войну небольших отрядов регулярной армии он превратил во всенародную.

...Вечерело. В избе главнокомандующего уже горели на столе две свечи, а Кутузов все выслушивал рассказы партизанских гонцов.

II

Вечером 7 октября, когда в русском лагере пели, гуляли, веселились по случаю вчерашней тарутинской победы, к главнокомандующему примчался гонец от генерала До-

рохова, стоявшего со своим небольшим летучим отрядом у села Котово. Дорохов сообщал, что на новой Калужской дороге показались значительные силы французов, и просил прислать в помощь два полка пехоты, обещая: «Я сей отряд убью непременно!»

Михаил Илларионович уже поджидал движения французов, хотя, по своему обыкновению, не говорил о нем никому. Кутузов знал, что Наполеон рано ли поздно уйдет из Москвы, поймет наконец, что нечего сидеть у моря и ждать погоды.

Поражение Мюрата у Чернишни должно было ускорить это.

Конечно, Наполеон захочет пробиться на юг, к Калуге, где собраны все запасы русской армии. Старая Калужская дорога короче, но ее не уступал Кутузов — он вернулся назад к Тарутину.

Люди, не вникавшие глубоко в положение вещей, советовали вчера Михаилу Илларионовичу гнаться за Мюратом. Фельдмаршал отказался от этого: неаполитанский король отступил бы еще, а Наполеон тем временем обошел бы Кутузова и раньше его появился бы у Борова.

Пока еще было неясно, куда направился Наполеон: он тоже следил за каждым шагом Кутузова. Михаил Илларионович старался поступать так, чтобы не он, а французский император сделал бы первый шаг. Кутузов придерживался той же тактики, как при Бородине.

Еще вчера, после сражения, Михаил Илларионович послал на всякий случай 6-й корпус Дохтурова, казаки и егерские полки к Боровску, подчинив ему отряды Дорохова, Фигнера и Сеславина. Вместе с Дохтуровым Кутузов отправил и генерала Ермолова: Михаил Илларионович не хотел видеть его львиного взгляда, в котором львиное соединялось с лисьим.

Он знал, что Ермолов, так же как и Беннигсен, считает Кутузова дряхлым стариком. Недаром Алексей Петрович сплетничал о Кутузове: «Он ходит уже, как на лыжах», то есть уже не подымает ног.

К Боровску по собственному желанию помчался жаждавший боевой славы английский генерал сэра Роберт Вильсон.

На месте оставался лишь Беннигсен. После дела у Чернишни Беннигсен окончательно возненавидел Кутузова. Не понимая, почему фельдмаршал не пошел вперед, Беннигсен принял все на свой счет: он жаловался всем, буд-

то главнокомандующий нарочно оставил его вчера без поддержки, чтобы не допустить окончательного разгрома Мюрата и уменьшить заслуги Беннигсена. Беннигсен не выходил из своей избы — делал вид, будто страдает от «контузии» ноги. И следовательно, лезть к Михаилу Илларионовичу с предложениями и советами было уже некому.

Кутузов тотчас же отрядил Дорохову два полка пехоты и стал ждать дальнейших событий.

8 октября на русские аванпосты явился полковник Бертеми с письмом маршала Бертье. Князь Невшательский снова повторил слова Лористона «о принятии мер, дабы война получила ход, сообразный с установленными правилами, а страна претерпевала бы токмо одни неизбежно от войны происходящие бедствия».

Михаил Илларионович понял, что это просто разведка: Наполеону, с одной стороны, хотелось удостовериться, где находится Кутузов, а с другой — убедить русского главнокомандующего, что он еще в Москве, раз под письмом Бертье стояло: «Москва».

Кутузов был не настолько прост, чтоб не понять всего этого. Он ответил Бертье пространным письмом, в котором еще раз многозначительно сказал:

«Повторяю, однако, здесь истину, значение и силу которой Вы, князь, несомненно, оцените: трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел; народ, который в продолжение стольких лет не знал войны на своей территории; народ, готовый жертвовать собою для Родины и который не делает различий между тем, что допустимо или недопустимо в обычных войнах».

В последние дни фельдмаршал был много занят текущими делами: он заботился о сухарях, вине и прочем. Хозяйство у Кутузова было громадное, обо всем приходилось помнить и вникать во всякую мелочь. Фельдмаршал продолжал подготавливать армию к зимней кампании и ждал, когда же станет окончательно ясным следующий шаг Наполеона.

III

Капитан Сеславин запомнил, что сказал фельдмаршал, отправляя их из Леташевки для ведения «малой войны»: «Партизан должен быть решителен, быстр и неутомим!»

Решительности у Александра Никитича не занимать, быстроты тоже, да иначе и не могло быть: отряд Сеславина состоял из двухсот пятидесяти казаков и эскадрона (сто тридцать человек) изюмских гусар. Народ все не только конный, но и молодой.

Фельдмаршал, отряжая партии, лично выбирал их командиров, а командирам дал право самим отбирать народ. И капитан Сеславин выбрал из изюмцев солдат помолже. Только один вахмистр украинец Мыкола Кныш был лет сорока, но быстр и ловок. А неумоимости у тридцатидвухлетнего капитана Сеславина хватало: он уже целые сутки неустанно следил за французами, пришедшими в село Фоминское. Их было тысяч до десяти — об этом уже донес фельдмаршалу генерал Дорохов, действовавший рядом с Александром Никитичем. Это была дивизия Брусье и легкая конница Орнано, называвшаяся «легкой», а по измученности лошадей превратившаяся в «тяжелую» на подъем.

Генерал Дохтуров, стоявший со своим 6-м пехотным корпусом в Аристове, верстах в семнадцати от Леташевки, ждал точных известий. Он приказал Фигнеру и Сеслаину вести неустанную разведку.

И Александр Никитич не спускал с Фоминского глаз.

Серый октябрьский денек быстро промелькнул. Отряд Сеславина расположился в трех верстах от Фоминского у деревни Мальково.

Деревня стояла пустая, сумрачная: жители все укрылись в лес. Калитки и ворота открыты, ни из одной трубы не шел дым.

Отряд располагался на поляне в лесу. В дозоре у дороги из Фоминского в Боровск стояли три казака.

Уже вечерело. Сеславин с офицерами своего отряда сидел у костра. И вдруг послышался топот копыт — к ним скакал один из казаков.

— Тронулись! Едут! — закричал он издалека.

Сеславин сел на коня и, приказав всем оставаться на месте и взяв одного лишь вахмистра Кныша, выехал на опушку леса. Он встал в густых можжевельных кустах. Кныш в нескольких шагах от него держал коней.

Взглянув на дорогу, Сеславин сразу понял, что из Фоминского движется не одна дивизия, а целая французская армия. Вся дорога была запружена войсками. Перед глазами Сеславина тянулась бесконечная пестрая лента повозок. Обозы были непомерно велики. В них виднелось не

так много армейских фургонов и телег, как много разного рода экипажей, карет, колясок, дрожek. «Великая армия» увозила награбленное в Москве добро.

Генералы и старшие офицеры везли мебель, картины, ковры, меха, хрусталь более или менее открыто, а солдаты еще старались замаскировать все грязными рогожами, прикрыть мешками, в которых угадывался картофель или капуста. Но шила в мешке не утаишь. На тряской дороге из-под куля с отрубями или овсом тут нескромно выглядывал золоченый канделябр, а там дорогая фарфоровая ваза.

Среди обозов тяжело тащились орудия. Лафеты и зарядные ящики тоже были загромождены разной кладью, не имевшей даже отдаленного отношения к артиллерии.

Сама армия еще была громадна, но ее маскарадные костюмы выглядели странно: среди синих форменных мундиров кое-где виднелись женские мантильи и салопы, светлые священнические ризы и черные монашеские рясы, русские поддевки и бухарские халаты. Погода стояла еще теплая, и нельзя сказать, чтобы солдаты кутались из-за стужи. Вероятно, хотели прикрыться от дождя или напяливали на себя бог весть что, чтобы только не расставаться с понравившейся вещью.

Уже не было никакого сомнения в том, что двигалась вся армия.

Но Сеслаину хотелось удостовериться, увидеть самого Наполеона.

Александр Никитич простоял больше часа. Людской поток катил мимо него полки, пушки, фуры. Повозок было больше всего — они шли в четыре ряда. Это напоминало движение варваров после удачного набега.

Но вот наконец среди этого маскарадного одетого войска, шедшего без всякой воинской выправки, думавшего больше о том, что у него за плечами, показалась сомкнутая по-военному колонна. Солдаты были все в одинаковом обмундировании, с ружьями на плече. Рослые, усатые, они шли привычным размеренным шагом. У каждого из гвардейцев поверх телячьего ранца лежали два-три белых хлеба, а сбоку на портупее висела фляжка, которая, разумеется, не была пустой.

В середине этих стройных шеренг колыбался эскадрон гвардейской кавалерии, а за ним ехал маленький человек в треуголке в сопровождении многочисленной свиты.

Ждать больше было нечего.

Александр Никитич повернулся, сел на коня и по-скакал: надо было немедленно известить генерала Дохтурова, что Наполеон идет к Боровску в обход русской армии.

Проворные казаки захватили в плен гвардейского унтер-офицера, которого неисправный желудок вынудил заскочить в придорожные кусты.

Сеславин допросил пленного.

Француз словоохотливо рассказал: Наполеон с армией идет из Москвы к Малоярославцу уже четвертый день. Тяжелая артиллерия и все прочие тяжести отправлены по Можайской дороге под прикрытием Понятовского. Завтра императорская квартира будет в Боровске. Мортье, с молодой гвардией оставленный в Москве, взорвал Кремль и уцелевшие от пожара дома и идет вслед за Наполеоном.

Француз был доволен, что наконец увидал настоящий хлеб, и только сокрушался, что в обозе у него осталось много имущества: он обещал жене привезти из Москвы ковры и персидскую шаль.

Капитан Сеславин взял с собой пленного и в сопровождении Кныша и трех гусаров поскакал в Аристово к Дохтурову.

IV

Большие кавалерийские кони ординарцев постепенно отстали от маленького, выносливого майорского «калмыка», — Дмитрий Николаевич Болговской шпорил его, ехал не разбирая дороги: она вся была одинаково плоха. Ее разбили войска Дохтурова, двигавшегося вчера в Аристово.

Под луной блестели лужи вчерашнего дождя, который лил всю ночь. Грязь летела из-под копыт «калмыка» во все стороны. Пóлы шинели и сапоги Болговского были заляпаны ею.

Получив донесение от Сеславина о том, что из Фоминского движется вся армия Наполеона, Дохтуров немедленно послал к фельдмаршалу с этим важным известием своего дежурного штаб-офицера.

Болговской торопился как мог. Еще хорошо, что стояла месячная, светлая ночь.

Уже было после полуночи, когда Болговской на измученном «калмыке» добрался до Летащевки.

Майор с удовольствием соскочил с коня у избы Коновницына.

Болговской отворил тяжелую, набухшую дверь и вошел. Петр Петрович еще не спал. Он в халате и колпаке писал при свече у стола в облаках табачного дыма.

Коновницын поднял глаза на Болговского:

— Дмитрий Николаевич, что?

— Наполеон ушел из Москвы. Он движется от Фоминского к Боровску, — выпалил Болговской.

— Это верно? Откуда сведения?

— Сеславин видел собственными глазами. Он взял пленного, который рассказал, что французы взорвали Кремль и сожгли все, что уцелело в Москве от пожаров. Вот рапорт Димитрия Сергеевича, — Болговской положил конверт на стол.

— Садись, я сейчас! — сказал Коновницын и, надев мундир, выбежал из избы.

Болговской хотел сесть на скамью, но невольно глянул на свои ноги и пóлы шинели.

Фельдмаршал, конечно, пожелает сам расспросить гонца. Он вышел на освещенный луной двор и стал стряхивать грязь с шинели и сапог.

Коновницын через минуту вернулся к нему с Толем. И все трое пошли к фельдмаршалу.

Коновницын и Толь вошли в избу, а майор Болговской остался в сенях. Сквозь маленькое оконце светила луна. Из-за тяжелой двери глухо доносились голоса. Фельдмаршал быстро откликнулся. Ясно послышалось его возмущенное: «Ах мерзавцы, взорвали Кремль! Я ж говорил! Да позовите его сюда!»

Открылась дверь, и Толь позвал:

— Дмитрий Николаевич!

Болговской одернул шинель, вошел в избу и встал у перегородки в лунном луче, падавшем через окно на пол.

В призрачном свете луны Болговской увидел грузную фигуру Кутузова. Фельдмаршал в сюртуке сидел на кровати за перегородкой:

— Ну говори, дружочек, какие ты мне вести привез? Неужели вправду Наполеон бежит из Москвы? Говори же скорее, голубчик! Сердце дрожит!

— Ваше сиятельство, Наполеон уже четыре дня как вышел из Москвы. Армия идет к Малоярославцу. Надеются завтра быть в Боровске.

— Так, так! Господи! Ты внял нашим мольбам! — растроганно сказал фельдмаршал. — Теперь Россия спасена!

Он полуобернулся к красному углу избы, где чернели иконы.

Кутузов протер слезившийся правый глаз, а заодно машинально провел платком и по здоровому левому. Когда он делал так, все считали, что Кутузов плачет. И враги Михаила Илларионовича, начиная от Александра I, неосновательно называли его «плакса».

— Свечу! — бодро и властно сказал фельдмаршал и, поднявшись, быстро пошел к столу.

Через полчаса майор Болговской уже мчался назад с приказом главнокомандующего генералу Дохтурову не медля идти к Малоярославцу.

Три недели можно было у Тарутина «предаваться неге», как писали неумные враги Михаила Илларионовича. Попросту говоря, три недели приходилось готовиться и ждать, а сейчас надо было действовать.

V

Еще час тому назад маленькая, затерявшаяся среди лесов Леташевка мирно спала, а теперь вдруг вся ожила: в окнах засветились огни, захлопали двери изб, тишину лунной ночи разорвали неуважительно громкие голоса, по улицам зацокали копыта лошадей — ординарцы и вестовые мчались от фельдмаршальского дома во все стороны, подымая фонтаны грязи.

Кутузов решил двигаться с армией к Малоярославцу утром и теперь делал последние приготовления.

Фельдмаршал сидел у стола перед раскрытой картой. Все эти дороги от Москвы на юг и запад давно были исхожены циркулем и карандашом. На карте спокойно стоял стакан чаю, поданный Ничипором.

Фельдмаршал предписал Платову со всеми его полками и ротой конной артиллерии «не медля нимало» идти к Малоярославцу. Платов должен был прикрывать с фланга движение всей русской армии.

Кутузов вызвал начальника военных сообщений гене-

рала Ивашова и приказал ему посмотреть дорогу и починить мосты.

Милорадовичу дано было задание уточнить, где находится французский авангард, а затем следовать за армией.

Кутузов послал гонца в Калугу предупредить губернатора о том, что Наполеон идет на Боровск.

Остаток ночи и утро прошли в разных срочных делах.

И когда уже, кажется, все было готово (Михаил Илларионович отдал за последние двенадцать часов шестнадцать письменных приказов, не считая словесных распоряжений), Кутузов вспомнил еще об одном.

Он уходил из гостеприимного, так много давшего русской армии Тарутина. Михаил Илларионович написал владелице Тарутина обер-гофмейстерине Анне Никитишне Нарышкиной, с которой не раз встречался при дворе:

«Село Тарутино, Вам принадлежащее, озаменовано было славною победою русского войска над неприятельским. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Покорнейше прошу Вас, милостивая государыня, чтоб укрепления, сделанные близ села Тарутина, укрепления, которые устроили полки неприятельские и были твердою преградою, близ коей остановился быстрый поток разорителей, грозивший наводнить всю Россию, чтобы сии укрепления остались неприкосновенными.

Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай земледелец, обрабатывая вокруг их мирное свое поле, не трогает их своим плугом; пускай и в позднее время будут они для россиян священными памятниками их мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться огнем соревнования и с восхищением говорить: вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества!»

В полдень 11 октября русская армия оставила Тарутино.

VI

Дорога была скучная — грязная и непонятная: кажись, неплохо жилось в Гранищеве у Тарутина и неплохо поколотили «Мюрада» (старые солдаты, воевавшие с туркой,

так называли Мюрата), а вот, поди ж ты, ведут куда-то назад, на юг.

Армия шла через Леташевку. Думалось разное, думалось такое, о чем вслух и не скажешь.

«Неужто отступаем?»

«Неужто так-таки против него не выстоим?»

От этих невеселых мыслей никли солдатские головы и нехотя шагали ноги.

Солдат — весь век на ходу. Солдату не привыкать стать менять квартиру, но все же нелегко оставлять обжитое, пригретое местечко, веселый тарутинский лагерь.

Солдаты шли угрюмые, молча месили ногами осеннюю грязь.

И только на рассвете, пройдя Протву, услышали впереди оружейные выстрелы и оживились.

— Погоди, погоди, паря! Это на отступление не похоже! — начали смекать они.

Не доходя пяти верст до Малоярославца (уже виднелась колокольня его пятиглавого собора и церквей), главнокомандующий устроил привал.

Впереди кипел жаркий бой, слышались не только пушечные выстрелы, но и перекаты ружейной перестрелки. Полки составили ружья в козлы. Задымились трубочки, захрустели на солдатских зубах сухарики.

Фельдмаршал вылез из забрызганной чуть ли не доверху грязью старой коляски и сел на скамеечку среди гвардии.

От Малоярославца скакали к нему с донесениями гонцы. Солдаты услышали: француз раньше Дохтурова поспел в Малоярославец. Бьются отчаянно, городишко уже три раза переходил из рук в руки.

По дороге из Малоярославца тянулись редкие госпитальные фуры с ранеными. Как всегда, раненым небо казалось с овчинку:

— Валам ваят. Тальянцы...

— Не перебить окаянных.

Здоровые уверенно и бодро отвечали им:

— Ну да ничего! Мы их попотчуем!

Дохтуров, принявший на свои плечи удар всей армии Наполеона, просил сикурсу. Он бился с шести утра, уже больше восьми часов.

Михаил Илларионович сидел на скамеечке, думал: «Вот если бы послушался «умников» и погнался бы тогда за Мюратом у Чернишни, Наполеон успел бы проскочить

мимо нас к Калуге по этой новой Калужской дороге. А так — близок локоть, да не укусишь, ваше величество!»

«Умники» были у Малоярославца: Ермолов, рыжий англичанин Вильсон. При Кутузове, как бельмо в глазу, торчал все еще обиженный за Чернишню спесивый Беннигсен.

Ермолов прислал адъютанта, просил подкрепления.

«Все они думают одно: как бы завязать генеральное сражение, а следует только не пустить козла в огород! Не пустить Наполеона в Калугу!»

Михаил Илларионович подозревал Коновницына — он не интриган, он простой солдат, увидит, что там надо.

— Петр Петрович, голубчик! Ты знаешь, как я тебя берегу! — сказал ему фельдмаршал. — Я всегда удерживал твою храбрость, просил: не кидайся в огонь, а сегодня прошу: очисти город!

Коновницын взял бывшую свою 3-ю пехотную дивизию и повел туда, где хлопотали гранаты, визжали ядра, рушили горевшие дома.

Томительно тянулись минуты. Малоярославец горел. Ветер приносил вместе с выстрелами терпкий запах пожара.

Коновницын оттеснил французов к реке Лужа, но французы зацепились за торговые ряды Соборной площади, за Черноострожский монастырь, стоявший на противоположном конце города на обрыве.

Коновницын просил помощи. Кутузов отправил своего второго любимца — Раевского.

Малоярославец в четвертый раз оказался у русских. Собственно говоря, города уже не было: были догорающие дома и груды тел на тесных улицах и огородах.

Опять барабанный бой, крики, лязг штыков, ожесточенная рукопашная схватка, и опять русские отброшены к южной, Калужской заставе.

Но и французы не могут никак пробиться дальше, за Малоярославец. Враги дерутся с одинаковым ожесточением.

Кутузов поднял армию и подошел на версту к городу — он твердо преграждал путь Наполеону.

Пока полки занимали позицию, фельдмаршал без свиты незаметно подъехал к самому Малоярославцу. Не только ядра, но и пули носились роем вокруг него. Одна граната упала в двух шагах от Кутузова. Спокойный конь фельд-

маршала испуганно шарахнулся в сторону, но Михаил Илларионович усидел и продолжал осматривать позицию, а потом так же невозмутимо вернулся назад к гвардии, где осталась его коляска. Позиция русских была выгоднее: южная часть города располагалась на возвышенности, и ее трудно было атаковать.

Раевский поддержал Дохтурова, но полки Дохтурова сильно поредели и утомились, пробыв целый день в непрерывном бою. Хочешь не хочешь, а надо их сместить.

Михаил Илларионович послал на смену Дохтурову 2-й корпус Бороздина.

В это время по дороге из Ильинки показались полки Милорадовича.

Никто не ожидал, что он так быстро сделает пятьдесят верст.

Армия встретила Милорадовича дружным «ура».

К Кутузову подскакал красный, потный, но все же щеголеватый (хотя уже без цветных шарфов на шее), сияющий, как именинник, Михаил Андреевич.

— Мой крылатый гений! Ты прилетел к нам, как архангел Михаил! — сказал фельдмаршал Милорадовичу, раскрывая ему свои объятия.

Теперь вся русская армия была в сборе.

Из Малоярославца выходили сильно поредевшие, черные, усталые солдаты 6-й пехотной дивизии. Откуда-то из сожженных вишневых садов городка пришел и сам Дохтуров со своим штабом. Он был по-всегдашнему спокоен, и только глаза глядели устало.

— Мы не пропустили врага, ваше сиятельство, — сказал он, подходя к Кутузову.

— Благодарю тебя, мой дорогой! Ты сегодня утешил меня, старика! — ответил Михаил Илларионович, обнимая Дохтурова. — Пойди отдохни, дружок!.. Нет, провести нас я Наполеону не позволю! — добавил фельдмаршал, поправляя свою белую бескозырку. — Пусть идет назад, как пришел — по старой дороге!

Вечерело. Бой длился уже больше полусуток. Маленький уездный городок восемь раз переходил из рук в руки.

На землю легла теплая ночь. Бой затихал. Выплыла луна.

Михаил Илларионович ходил возле палатки и думал. Генералитет и свита стояли у костра, переговаривались вполголоса, ждали, что предпримет фельдмаршал.

Намерения Наполеона было нетрудно угадать: завтра он будет стараться пробиться к Калуге. Завтра он усилит атаки. Сегодня действовали только итальянцы вице-короля и Даву, а завтра Наполеон бросит все. Ему во что бы то ни стало надо пробиться к Калуге, где сосредоточены все продовольственные и боевые запасы русских.

«А какова же наша позиция? — обдумывал Кутузов. — На ней негде развернуться кавалерии, а кавалерия у нас сильнее обезноженной французской конницы. В тылу русского расположения, в версте, перед селом Нямцевым, лежит овраг. Овраг труден для перехода: его склоны, как назло, чрезвычайно круты. А дальше тянется узкая и длинная плотина. Конечно, нужно подготовить за ночь более удобную позицию».

Михаил Илларионович подошел к костру и сказал Толю:

— Карлуша, пиши диспозицию: армия отходит за село Нямцево. А ты, голубчик, — кивнул он квартирмейстерскому офицеру Кроссару, — поезжай и найди местечко поудобнее. Эта наша позиция и мала и узка!

В толпе генералов произошло движение, словно над их головами брызнула картечь.

Все заговорили, запротестовали.

Возражали на разных языках, хотя по одному и тому же поводу: Беннигсен — на немецком, Вильсон — на английском, Ермолов и Толь — на русском.

— Отступать? Зачем? Куда? Никогда!

— Ваше сиятельство, я напишу диспозицию к завтраму такую: идти вперед, прогнать неприятеля за Лужу и преследовать! — горячо сказал Толь.

Он уже был в волнении, ноздри его раздувались.

— Да, да, только фпериот! — затараторил рыжий Вильсон.

Англичанин смотрел на старого фельдмаршала с удивлением и презрением.

Кутузов спокойно слушал эти нелепые возражения и предложения.

— Господин фельдмаршал, желаю вам успеха для завершения дела, начатого под Эйлау! — бросил Беннигсен.

Кутузов понял тонкую насмешку самовлюбленного хвастуна Беннигсена: мол, при Эйлау я начал бить Наполеона, а тебе остается теперь только докончить.

Кутузов подошел к возбужденному Толю и сказал: — Видишь, Карлуша, вон опытный генерал, — Михаил Илларионович кивнул на Беннигсена, — говорит, что завтра на меня нападет неприятель. А ты хочешь, чтоб я действовал как заносчивый гусар. Нет, нет, я должен хорошенько подготовиться к встрече! — Фельдмаршал положил руку на плечо Толя и без тени неудовольствия, но твердо приказал: — Поди, милый, и напиши то, что я говорю!

Больше всех суетился и беспокоился Вильсон. Он стал так красен, как его волосы и мундир. Он кричал, что переводить ночью через нямцевский овраг значительные силы опасно. Что на длинной и узкой плотине войска смешаются, собьются, что арьергард во всяком случае погибнет целиком. И он уже сочувственно смотрел на генерала Уварова, командовавшего арьергардом.

На секунду фельдмаршал закрыл глаза. Потом с вежливой, но холодной улыбкой веско, неторопливо сказал наглому бритту:

— Ваши соображения меня не убеждают. Я предпочитаю построить неприятелю, как вы называете, «золотой мост», чем получить от него удар в затылок. Сверх того, я снова повторяю то, что уже несколько раз говорил вам: я вовсе не убежден, что совершенное уничтожение Наполеона и его армии будет великим благодеянием для вселенной. Его наследство достанется не России или какой-нибудь иной из держав материка, но той, которая уже завладела морями. И тогда-то ее владычество будет невыносимо!

И фельдмаршал пошел от него прочь так быстро, насколько позволяли его старые, больные ноги.

Несмотря на мрачные предсказания английского генерала, русская армия благополучно перешла через нямцевский овраг и узкую плотину. Арьергард остался совершенно цел: по коннице Уварова, когда она отходила на новые позиции, французы пустили всего лишь две гранаты.

А старый фельдмаршал, утомленный всеми переживаниями этого великого дня, решившего судьбы России и Наполеона, уснул под открытым небом на бурке. Свист ядер и ружейная трескотня, то и дело вспыхивавшие на линии, не мешали ему спать: Кутузов был спокоен — русская армия преградила Наполеону путь на юг.

Что иностранные писатели все почти единодушно приписывать истребление наполеоновской армии голоду и морозу, то это неудивительно. Все почти имели там своих представителей, и не сознаться же им пред целым светом и потомством, что истребили их действия русских армий.

*Н. Митаревский
«Воспоминание о войне 1812 г.»*

Относительно ужасных бедствий, обрушившихся на французскую армию во время ее отступления, бедствий, которые Наполеон приписывает единственно морозу, Сен-Сир отвергает так, как и я: «Это заверение теперь все знают, говорит маршал, что когда большие морозы начались после переправы через Березину, то семи восьмых нашей армии уже не существовало».

Генерал Шамбре

Почти три четверти армии, которую Наполеон привел в Россию, было разрушено, а остальная, четвертая часть приведена в жалкий беспорядок еще до выпадения снега, которому Наполеон потом заблагорассудился приписать свою неудачу.

Вальтер Скотт

Было бы ошибкой думать, что зима в 1812 г. наступила рано: напротив, в Москве стояла прекраснейшая погода. Когда мы выступали оттуда, 19 октября, было всего три градуса мороза и солнце ярко светило.

Армия погибла прежде, чем погода приняла суровый вид.

Канфиз

I

«Великая армия» отступала.

Не пробившись в южные губернии, Наполеон был вынужден повернуть на старую дорогу и идти через Боровск — Верею — Можайск в Смоленск.

Наполеоновской армии было хорошо знаком и памятен этот широкий тракт, с кое-где уцелевшими полосатыми верстовыми столбами. Еще с лета там и сям у обочины валялись остовы разбитых фургонов и повозок, ржавели

пробитые пулями каски, белели конские черепа. А чуть дальше от дороги мрачно чернели трубы сожженных домов.

Наступить по этому пути было несладко, но отступать под неусыпным конвоем казаков и партизан, которые нападали при всяком удобном случае, было во сто раз хуже.

Тогда шли, надеясь на победу, на мир, на Москву. А теперь все кончено: нет ни Москвы, ни победы, ни мира.

Многие увозили и уносили из Москвы золото, серебро и дорогие меха, но ценой скольких невероятных лишений и невзгод!

А что ждало каждого впереди? Ведь еще надо было прошагать так много лье до милого отеческого очага, если не сразит раньше пуля русского мстителя или казачья пика.

Уныние царило всюду. А если француз потерял последнюю опору в несчастье — веселость, ему чудятся одни бедствия.

Солдаты шли с опущенными головами, стыдясь смотреть в глаза друг другу: каждый понимал, что хоть это и называется «отступление», но на самом деле — постыдное бегство.

Сеял мелкий осенний дождь. Дорога сразу стала грязной и тяжелой. Измученные, вечно голодные кони падали десятками под непосильной кладью. И опять, как летом, в канаву полетели повозки и зарядные ящики, а у дороги стали присаживаться усталые, отставшие солдаты.

Число отставших увеличивалось с каждой верстой.

Под Малоярославцем дрались отчаянно, самозабвенно, как при Бородине, потому что хотели любыми средствами пробиться на юг, к теплу и хлебу, хотели увезти и сохранить награбленное в Москве богатство. Но не смогли сломить стойкость русских людей, преградивших им путь, пришлось возвращаться на опустошенную дорогу, и уныние овладело армией.

Теперь у всех — от барабанщика до маршала — заветной мечтой стал древний Смоленск. Император, главный штаб, генералы — все только и твердили о том, что в Смоленске армию ждут богатые провиантские магазины, полные разных продуктов, гурты скота, склады обуви и зимней одежды, теплые казармы.

Хлеб и тепло. Какие увлекательные, волнующие слова! Хотелось верить, что где-то существует все это. Но когда говорили о Смоленске, в памяти вставали высокие камен-

ные стены, море огня и дыма над городом, заваленные трупами улицы и испепеленные дома.

Наполеон позорно отступал, он хотел обмануть Европу, убедить ее в том, что он уходит на запад не под давлением русской армии и партизан, а лишь затем, чтобы занять удобные зимние квартиры и сблизиться со своими флангами. С пути он отправил комендантам Могилева и Витебска приказ заготовить побольше провианта и писал успокоительные слова:

«Движение армии добровольное, это только маневр для приближения на четыреста верст к армиям, действующим на флангах; с тех пор как мы оставили окрестности Москвы, нам попадают только казаки».

Наполеон разделил армию на отдельные эшелоны, которые следовали в полупереходе друг от друга. На этот раз Наполеон предоставил войска маршалам, а сам отступал не как полководец, а как император. Он думал только о себе, а не об армии. Он готов был жертвовать всем, лишь бы самому унести ноги. Наполеон со своей главной квартирой не помещался, как обычно на походе, в центре армии, а шел с гвардией в авангарде. Он чувствовал себя увереннее и безопаснее среди этих закаленных в боях, хорошо обмундированных, сытых, сохранивших выправку и бодрость французских батальонов — недаром он берег их и не пустил в бой во время Бородинской битвы.

Наполеон не думал разделять труды и лишения с войсками, не спал, как Суворов в Альпах, вместе с солдатами на снегу у бивачного костра, а отгораживался от всех гвардией, которая становилась в каре вокруг домов, где располагался со своими фургонами, со своими лакеями и свитой император.

Кроме того, в авангарде не было голодных, завистливых глаз, ревниво следящих за тем, как на привале в императорскую палатку вносят стол, покрытый чистой накрахмаленной скатертью, ставят серебряную посуду. Император и его свита не чувствовали голода. У Наполеона всегда был белый хлеб, говядина или баранина, хорошее прованское масло, рис, любимые с детства бобы и не менее любимые вина — шамбертен и кло-вужо.

Императорский обоз, перевозивший провиант, мебель, палатки, канцелярию, был в порядке. За ним следовало

семьдесят фургонов, двадцать карет и колясок и сорок вьючных мулов со столовыми принадлежностями. Никто не смотрел жадными, голодными глазами на мешки с белой мукой, на окорока ветчины, на бараньи туши, потому что за гвардией тянулся громадный обоз, какого, вероятно, не было ни у одной боевой части с тех пор, как ведутся войны.

Когда солдаты Мюрата, жившие впроголодь у Винкова, увидели сытую старую гвардию и богатство ее обоза, зависть и обида вкрались в их сердца. Голодные, они просили у гвардии продать хлеба и вина, но надменные гвардейцы не хотели даже разговаривать с ними. Они жестокосердно-грубо отказывали — денег и дорогих вещей у гвардии было вдоволь.

Вся остальная армия питалась только тем, что каждый вез в фурах или нес за плечами в ранце.

Выступая из Москвы, Наполеон приказал раздать войскам продовольственные запасы, собранные в разных складах на случай отступления. Но уходили внезапно и поспешно, и правильной раздачи быть не могло. Кто оказался поближе к складам, расторопнее и нахальнее, тот захватил больше. Частям, стоявшим вне Москвы, как авангарду Мюрата, вовсе не досталось ничего. Они принуждены были идти в поход без запасов, надеясь только на то, что найдут по дороге. А дорога была опустошена и ограблена на много верст вокруг, и все, кто пытались раздобыть еду или фураж подальше от тракта, подвергались риску быть захваченными казаками или партизанами.

При таком беспорядочном распределении запасов нищета и голод уживались в одном и том же полку с изобилием и довольством. В первой роте было всего вдоволь, а во второй — полное оскудение. Случалось и так, что одному батальону доставалось много вина, но ни горсти муки, а у другого была мука, но ни капли вина.

В Симоновском монастыре жгли запасы, которые не успели увезти, а многие полки уходили из Москвы с полупустыми фургонами, имея лишь по несколько горстей муки на человека.

На пути от Боровска к Верее Наполеон два раза смотрел проходившие корпуса с бесконечными тысячами повозок. Зрелище было неавантажное. Из фургонов, повозок, карет выглядывали дети, старики, женщины —

жены и подружки солдат и офицеров, семьи московских французов, пожелавших уехать с армией на родину. Это походило больше на кочевников, ищущих, где бы остановиться, или на орды варваров, возвращающихся с удачного набега, чем на регулярную первоклассную армию Европы.

Каждому капралу было ясно, что маневрировать с таким табором невозможно. Но приказать бросить все награбленное Наполеон не мог — он боялся открытого возмущения. И так уже корпуса, увидев его, не кричали, как бывало: «Да здравствует император!» Он ловил на себе безразличные, а иногда и косые взгляды некоторых солдат, особенно немцев, слышал их нелестные реплики по своему адресу.

Солдаты были злы и недовольны. Они добились того, о чем мечтали, — увозили и уносили несметные богатства древней русской столицы, но никогда не предполагали, что им придется тащить все это на себе.

Наполеон понимал их самочувствие.

Он поехал к себе в авангард под защиту довольных собой, своей жизнью и своим императором старой гвардии.

Император презрительно думал: «Наплевать, у меня хватит еще пушечного мяса!»

Он торопил авангард, боялся, как бы Кутузов не встретил его в Вязьме, куда мог прийти раньше французов.

Армия спешила поскорее пройти разграбленную, сожженную местность, которую полчища Наполеона окончательно опустошали теперь.

Не сумев ни разбить русскую армию, ни поставить русский народ на колени, он в бессильной злобе предавал все огню и мечу.

— Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь в этом! — сказал он.

И весь путь отступления «великой армии» обозначался сплошными пожарами. Все города и села, через которые проходила армия, безжалостно сжигались. А немногочисленные русские пленные расстреливались по дороге.

Привалы были короткими и случайными. Кто имел какую-либо муку, тот пек в золе лепешки или варил похлебку, приправляя ее вместо недостающей соли порохом. На углях костров жарили конину, ее было достаточно: го-

лодные, истощенные кавалерийские, артиллерийские и обозные кони падали каждый день сотнями. Маршалы советовали императору бросить часть артиллерии, а освободившихся лошадей передать истомленной, почти уничтоженной кавалерии, необходимой для охранения и разведок. Но Наполеон упрямо не соглашался: в нем, во-первых, заговорила честь старого артиллериста, а во-вторых, он боялся показать, что бежит от русских. Он старался все увезти, а в результате все терял.

Вообще он не хотел признавать бедственного положения своей армии. Наполеон расписывал солдатам, какие блага ожидают их в Смоленске, и повторял нелепую легенду о том, что скоро к армии придут какие-то «польские казаки», которые заменят обессиленную кавалерию.

Еще выходя из Москвы, Наполеон видел расстройство армии, падение дисциплины, но не хотел ни с кем говорить об этом, понимая, что уже ничем поправить дело нельзя.

Войск по количеству было достаточно, но мало хлеба и еще меньше дисциплины.

Он полагался на обаяние своего имени: армия еще продолжала верить в него и его счастливую звезду.

Спешенные кавалеристы первые внесли беспорядок в ряды армии, придали ей вид толпы, а не организованного войска. Очутившись без лошадей, они побросали ставшие обременительными и ненужными палаши и сабли. Спешным кавалеристам роздали ружья, но бывшие кавалеристы не привыкли к длительным переходам и предпочитали опираться на простую, легкую палку, а не тащить тяжелое, неудобное ружье. Их догадливостью быстро воспользовались пехотинцы — они понемногу освободились от амуниции и вооружения. Лучше бросить подсумок с патронами, чем расстаться с ковром или столовым серебром, заполнившими заплечный мешок.

Эти безоружные, унылые толпы брели, как стадо за вожак.

Постепенно с каждым днем разваливалась не только дисциплина — падал воинский дух, рушилось товарищество: каждый думал лишь о себе. Было потеряно доверие. Все смотрели друг на друга как на врага, который при первом удобном случае украдет у соседа ранец с награбленным в Москве добром, последнюю горсть муки или кусок конины.

Командиры приказывали солдатам делиться с товарищами своими запасами съестного, но никто не делал этого.

Вообще с каждым днем все меньше и меньше слушались начальников.

Солдаты армейских корпусов были озлоблены и угрюмы. Не слышалось ни шуток, ни смеха. «Великая армия» шла в великом унынии. Солдаты роптали:

— Завели на край света!

— Погибнем все в этой Татарии!

На мрачное состояние духа сильно повлияла ужасная, бедственная участь раненых. Раненых и больных везли из Москвы, из Тарутина, раненых захватили после боя у Малоярославца, раненых встречали здесь же, на Смоленской дороге, в Колоцком монастыре, в Гжатске.

Всюду были раненые.

Когда 17 октября, пройдя через страшное Бородинское поле, увидели сотни живых мертвецов в Колоцком монастыре, Наполеон приказал: рассадить их по всем каретам, повозкам, фургонам.

— Римляне награждали лавровым венком тех, кто спасал своих сограждан! — изрек он.

Что руководило им: обычное позерство, игра в «отца и благодетеля» или просто расчет — может быть, из этих людей, раз они не погибли до сего времени, еще полчатся солдаты? Ведь это старые, опытные вояки!

Наполеон даже постоял и посмотрел, как размещали этих несчастных, искалеченных людей.

Их сажали в генеральские кареты, в фургоны, нагруженные московской мебелью, в дормезы, набитые до отказа какими-то молодыми особами в атласных и бархатных салопках и кокетливых шелковых чепчиках, на грязные мешки, на торчащие углами ящики, на тесные, неуютные передки и задки телег, на высокие козлы, на скользкие крыши армейских повозок, на откидной верх фургонов.

Владельцев всего этого разнообразного транспорта не прельщали почетные римские лавры. Они встречали непрошенных гостей сдержанно, сухо и не внимали преждевременной, но искренней благодарности несчастных, поверивших в свое неожиданное чудесное спасение. Раненые готовы были мириться со всей необычностью путешествия, лишь бы не оставаться заживо умирать в сырых стенах Колоцкого монастыря.

Но их надеждам не суждено было исполниться.

Грубые кучера, гордые камердинеры и наглые денщики, бессердечные, жадные маркитанты, возгордившиеся жены и подружки солдат и нахальные возлюбленные генералов только и думали о том, как бы поскорее избавиться от этого лишнего, неопрятного, неприятного седока.

«Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людское сердце. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались «удаче», когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта», — писал об этом впоследствии не бесстрастный, но беспристрастный Колленкур.

Владельцы экипажей спешили как-либо избавиться от своих седоков: когда раненые сползали со своего места по нужде на землю, они погоняли лошадей, и несчастный оставался на дороге, где уцелеть было даже меньше шансов, чем оставаясь в Колоцком монастыре.

Они бросали раненых на ночлегах, уезжая без них, или, забрав лучшие вещи, выпрягали лошадей и оставляли раненых сидеть в повозке.

Такое бездушное, бессердечное отношение к раненым тоже не способствовало увеличению воинского духа.

— Какой дурак станет драться, чтобы спасти других, а погубить себя? — рассуждали солдаты.

Воинственный пыл армии понемногу иссякал.

«Великая армия» теряла веру в себя.

Все думали лишь об одном: скорее, скорее из этой страшной России. Старались обогнать друг друга, с тревогой поглядывая по сторонам: не скажут ли из леса казаки, не налетают ли партизаны?

К счастью, погода еще благоприятствовала: было тепло, утрами слегка морозило.

Император неоднократно стыдил пессимистически настроенного Бертье, говоря:

— Это такая погода, какая бывает у нас в Фонтенбло в день святого Губерта¹. Сказками о русской зиме можно запугать только детей!

Перед уходом из Москвы Наполеон приказал пересмотреть все календари и справочники за пятьдесят последних лет: когда в России наступают морозы? Ему доложили, что раньше первых чисел декабря нового стиля нечего опасаться. Следовательно, в его распоряжении было около сорока дней, то есть вдвое больше того времени, которое требуется, чтобы дойти до Смоленска.

Но, несмотря на то что холода еще не наступили, Наполеон за Гжатском уже не ехал верхом, а пересел в карету. И больше не выезжал из каре старой гвардии.

Он слышал, что с каждым днем порядок и дисциплина в частях армейских корпусов исчезают, и боялся, что какой-нибудь недовольный пруссак или вестфалец покончит с ним. Наполеон сидел в карете, погруженный в мрачные мысли, а когда хотелось на воздух, то переодевался и ехал верхом. Примелькавшийся всем серый сюртук и маленькая треуголка оставались в карете. Наполеон надевал польскую соболью шубу, крытую зеленым бархатом и украшенную золотыми шнурами, и меховую кунью шапку.

Он ускорял движение армии, но голодный арьергард не поспевал за сытым авангардом — ему надо было отбиваться от наседавших со всех сторон казаков и поджидавших у каждого моста или дефиле партизан. Эта поспешность еще более увеличивала количество отставших.

Арьергард Наполеон поручил непреклонному, строгому, методичному маршалу Даву. Его I-й корпус всегда считался образцовым во всех отношениях. По строжайшей дисциплине и полному порядку корпус Даву соперничал со старой гвардией. Если Мюрат лучше других мог наступать, то Даву лучше всех был способен замыкать отступление. Он отходил огрызаясь, как волк.

Даву отступал по всем правилам ведения войны, а Наполеону это здесь было не нужно. Ему нужна была не упорная защита армии, а быстрое движение к Смоленску. Наполеону требовалось одно: чтобы арьергард не задерживал авангарда. Наполеону было наплевать на труды и лишения отставших. Он не жалел людей — ему было жалко только себя и своей репутации.

¹ 21 октября.

Даву с каждым днем все больше отставал от Наполеона и в Вязьме заплатил за это. Платов, бывший со своими казаками в авангарде русской армии, которым командовал Милорадович, окружил у Вязьмы корпус Даву. Даву спасся от окончательного разгрома лишь потому, что к Платову не успела подойти пехота.

Наполеон, услышав сзади себя орудийные выстрелы, понял, что у Даву завязалось серьезное дело, но не пошел, как сделал бы раньше, ему на выручку, а остался в Славкове. Из Вязьмы вернулся на помощь Даву вице-король Евгений Богарне. Вместе с Понятовским он кинулся на Платова. Очутившись между двух огней, Платов ушел с большой дороги. Сильно потрепанный Даву поспешил укрыться за корпуса вице-короля и Понятовского.

Маршалы решили отступать. Милорадович на их плечах ворвался в Вязьму, захватив пленных и большой обоз.

Наполеон передал арьергард пылкому Нею.

Даву обиделся: Нею и Даву, так не схожие друг с другом, были издавна не в ладу.

Прикрывая дальнейшее отступление, Нею убедился, что «великая армия» не существует.

Утром на следующий день откровенный и прямодушный Нею так и донес императору.

Наполеон никак не хотел примириться с мыслью, что его армия деморализована. Накануне, во время боя под Вязьмой, он в тиши своей кареты составил такой приказ:

«Если неприятельская пехота будет следовать за движениями армии, то его величество намерен напасть на нее, опрокинуть и частью взять в плен. С этой целью он избрал позицию посередине между Славковым и Дорогобужем. Завтра с рассветом император будет на ней с гвардией. Император разместит войска таким образом, чтобы их прикрывал арьергард маршала Нея и они могли бы со всею артиллерией двинуться на неприятеля, тогда как он будет предполагать, что перед ним находится один арьергард».

Для этого он приказал маршалам отправить все обозы вперед к Дорогобужу (как будто это был нормальный воинский обоз, а не огромный табор) и приготовить

войска к сражению (словно можно было вернуть отставшим деморализованным и безоружным солдатам их былую силу).

Нею приехал к императору и по-солдатски откровенно сказал ему:

— Вы хотите драться, государь, а у вас уже нет больше армии!

Бессмысленный приказ пришлось отменить.

То, что когда-то называлось «великая армия», продолжало свой постыдный бег на запад.

В эти дни Наполеон получил неприятнейшие известия из Парижа о заговоре генерала Мале. Мале, распространив слух о смерти Наполеона, хотел захватить власть, но был схвачен и расстрелян.

Наполеон встревожился заговором не на шутку: он двенадцать лет правит, у него родился сын — наследник Наполеон II, а кто-то может покушаться на его императорскую власть!

— Когда имеешь дело с французами или с женщинами, нельзя отлучаться на слишком длительное время, — наставительно сказал он Бертье.

После заговора Наполеон еще больше уверился в том, что надо спешить в Париж. С этой неудачной кампанией в России надо кончать любыми средствами, чтобы не потерять больше.

И тут, как назло, впервые пошел снег. Небо закрыли густые облака, повис туман, и большими хлопьями повалил первый снег.

Было не очень холодно — при Прейсиш-Эйлау та же армия прекрасно выдержала не такую вьюгу и холод, но снег действовал вообще на психику солдат. Пессимисты и трусы готовы были сделать из него трагедию, несмотря на то, что до Смоленска осталось всего лишь полсотни верст.

Первый снег внес еще большее расстройство в среду полуголодных солдат.

Наполеон послал своего адъютанта полковника д'Альбиньяка посмотреть, что происходит в арьергарде.

Д'Альбиньяк вернулся и доложил, что только итальянская гвардия похожа на воинскую часть, в остальных полный беспорядок: солдаты не слушаются приказа офицеров, офицеры не повинуются генералам.

— У генерала Матье свои же солдаты украли ночью из-под головы ранец.

— Полковник, я не посылаю вас собирать сплетни! — грубо оборвал недовольный император.

Его уши привыкли к победным реляциям, а не к такой грубой и горькой прозе. Он не хотел слушать, но д'Альбиньяк сказал правду: правильного военного строя уже не существовало. Двигались не в шеренгах, а группами, компаниями, объединенные старой дружбой или новой корыстью: четыре-пять стрелков шли вокруг одной клячи, на которой лежала их поклажа — еда и награбленное добро. Они готовы были защищать эту клячу до последнего патрона. На ночлеге происходило сплошное воровство, грабеж и даже убийства из-за куска конины.

Больше всех бедствовали женщины: лепешка из мякины стала для солдата желаннее и дороже любой привлекательной женщины.

Наполеон послал самого Бертье еще раз посмотреть на марше корпусá.

Принц Невшательский написал рапорт о том, что видел. Он подтвердил все сказанное полковником д'Альбиньяком и заключил:

«Такое положение, усиливаясь постепенно, дает повод опасаться, что, если не будут приняты немедленные меры против него, у нас не будет войск, способных для битвы».

Вся надежда оставалась только на Смоленск. И вот вдали показались колокольни Смоленска.

9 ноября Наполеон с гвардией вошел в Смоленск.

Он тотчас же велел запереть крепостные ворота и никого не впускать.

Гвардия стала получать припасы — их раздавали день и ночь.

У городских ворот собрались огромные толпы изнуренных, голодных солдат и офицеров армейских корпусов, спешивших к Смоленску. Это были закопченные дымом бивачных костров, небритые, заросшие бородами, с воспаленными, красными от дыма и ветра глазами люди. В театральных костюмах, в шалях, салопах, ризах, укрытые попонами, рогожами, они с ожесточением стучали в ворота прикладами, эфесами сабель, кулаками и посылали проклятия на всех европейских языках Наполеону и его интендантам. Они казались не солдатами, а шайкой бандитов, выпущенных из тюрьмы.

Они захватили в пригороде и тут же съели стадо быков и двести здоровых лошадей артиллерийских конюшен. Потом наконец-то выломали городские ворота и бросились, давя друг друга, к складам.

То, что удавалось получить какому-либо счастливцу, он съедал за один присест, словно ему осталось жить только день.

Для многих изголодавшихся это так и оказывалось.

Люди грабили и убивали друг друга.

И все роптали на неравномерность раздачи:

— Гвардии выдали на две недели, а нам по кусочку!

Обозленные, они готовы были подступить к гвардейцам, но те стояли на карауле у своих казарм такие же устатые, рослые, здоровые, в своих непотрепанных синих мундирах и белых жилетах с высокой медвежьей шапкой на голове — как статуи.

— Эй ты, кишка, отойди, не горлань! Ты не в кафе Режанс! — еще по-приятельски прогоняли они французов.

— Убирайся, колбаса, подобру-поздорову! Пропись! — отталкивали они прикладами пьяного немецкого стрелка, лезшего к ним.

Наполеон сидел в доме и не показывался на улицу. Ему было о чем подумать.

Припасов в Смоленске оказалось только на семь-восемь дней для всей армии. Наполеон обеспечил провиантом главное — гвардию. Остальное было расхвачано, растаскано и растоптано хлынувшей многотысячной толпой солдат разных корпусов. Склады в селе Клементово по дороге на Ельню — взяты и частью сожжены отрядом генерала Орлова-Денисова. Витгенштейн занял Витебск и захватил тамошние магазины. Ждать долго в Смоленске было нельзя. Об устройстве зимних квартир нечего было и думать: солдаты жгли те последние деревянные дома, которые уцелели от пожара во время штурма Смоленска.

Приходилось спешить дальше, пока армии Чичагова и Витгенштейна не перерезали окончательный путь к отступлению.

Наполеон выехал из Смоленска.

Он ехал верхом — хотел еще раз взглянуть на древний Борисфен.

За Смоленском у дороги лежал с переломленной ногой офицер из корпуса Жюно, шедшего впереди. Уви-

дев Наполеона, он собрал последние силы и крикнул:
— Вот этот жалкий кривляка, который уже десять лет водит нас, как кукол! Он спятил с ума! Остерегайтесь его! Он стал людоедом! Чудовище сожрет всех вас!

Наполеон проехал, сделав вид, что не слышит этой справедливой ругани.

II

Я первый генерал, перед которым Бонапарте так бежит.

Кутузов

Осторожный, осмотрительный Кутузов прикрывал все пути на юг до тех пор, пока не убедился в том, что Наполеон отступает на запад по опустошенной Смоленской дороге.

План дальнейшей борьбы у Михаила Илларионовича был намечен заранее. 16 октября главнокомандующий так писал генералу Витгенштейну о своих будущих действиях против Наполеона:

«Полагаю ему нанести величайший вред параллельным движением и, наконец, действовать на его операционные пути».

Следом за Наполеоном Кутузов отправил авангард, а сам с главными силами пошел по параллельной дороге.

— Ну, господа,— сказал он Милорадовичу и Платорову,— провожайте гостей нога в ногу, а мы проселком, левой сторонкой вперед забежим!

Этот остроумный план преследования был очень удобен: он не давал французам ни отдыха, ни срока, заставлял торопиться, потому что Кутузов мог в любой момент перерезать их путь. Кроме того, движение Кутузова не зависело от остановок Наполеона, и русская армия проходила по менее разоренным местам. Впрочем, Наполеон делал такие форсированные марши, что Ермолов, находившийся при авангарде, доносил главнокомандующему:

«Скорость, с каковой идет неприятель, так велика, что без изнурения людей догнать его невозможно».

Тем не менее казаки день и ночь нападали на французские фланги, а партизаны в каждом удобном месте поджигали бредущих толпами отстающих солдат и растянувшийся на многие версты обоз.

Как и ждал Кутузов, быстрота переходов неминуемо привела армию Наполеона к расстройству: такого бешеного темпа не выдерживали ни люди, ни тем более плохо кормленные кони.

Погода стояла теплая, шли обычные осенние дожди, но иной день вдруг прохватывал легкий морозец и образовывалась гололедица.

Неподкованные как следует французские кони (Наполеон думал окончить всю кампанию до зимы и не позаботился о подковах) падали, ломая ноги.

Отступающим приходилось бросать зарядные ящики и повозки. Конечно, повозки, на которых были сложены награбленные в Москве вещи, никто и не подумал бросать; предпочитали оставлять на дороге провиантские, нагруженные чаем, кофе, сахаром, вином, крупой. Кроме того, что везли в ротных повозках, каждый солдат нес кое-какие запасы в своем ранце. Все надеялись на то, что до Смоленска еды хватит, а там будет всего вдоволь: ведь в Смоленске ждут зимние квартиры, ждет отдых.

И после французского марша на дороге оставались брошенными повозки, узкие зарядные ящики, оружие и обглоданные остовы павших лошадей.

III

В погожий день в главную квартиру Кутузова, помещавшуюся в большом селе Кременское за Медынью, прискакал от казачьего генерала Иловайского 4-го сотник. Он привез радостное известие: Москва освобождена.

В пятницу 11 октября казачий полк Иловайского, лейб-казаки и Перекопский татарский вошли в столицу.

Ликованию всех не было границ:

— Дождались-таки!

Сотника зацеловали, наперебой предлагали ему угощение — кто водки, кто табачку, кто чаю — и засыпали вопросами. Всем, особенно москвичам, хотелось знать: как матушка Первопрестольная. Но сотник раньше в Москве никогда не бывал, а в сожженной успел разглядеть не-

много — генерал тотчас же отправил его с донесением к светлейшему.

Сотник только мог сказать, что кремлевские соборы целы — он видел собственными глазами! — и Иван Великий стоит, но без креста: крест увезли французы. А так — кругом — одни печные трубы да груды кирпича и камней...

— Вот негодяи!

— Теперь не скажешь: «Что матушки Москвы и краше и милей!..»

— Прежде говорили: славна Москва калачами да колоколами, спешили в Москву хлеба-соли кушать, красного звона послушать, а теперь в Первопрестольной — ни звона, ни хлеба, — сокрушались москвичи.

— Калачей не встречал, а ходебщики по пепелищам бродят, — рассказывал сотник. — Видал, баба в кичке и французской шинели носила какой-то бурый студень, мужик в зипуне и гусарской медвежьей шапке — гороховый кисель.

— Торг, стало быть, идет?

— Идет. Разный. Старушка предлагала мне охалку французских палашей. Спрашиваю: «Куда тебе палаша, мамаша?» — «Голубчик, говорит, избавь старуху от тяжелой ноши! Дешево, говорит, отдам. Сгодятся на косари щипать лучину!»

— Да, и смех и горе!

Главнокомандующий в этот же день дал приказ:

«Неприятель, с самого вступления в Москву жестоко обманутый в своей надежде найти там изобилие и самый мир, должен был претерпевать всякого рода недостатки. Утомленный далекими походами, изнуренный до крайности скудным продовольствием, тревожимый и истребляемый повсюду партиями нашими, кои пресекли у него последние средства доставить себе пропитание посредством сбора от земли запасов, потеряв без сражения многие тысячи людей, побитых или взятых в плен отделенными нашими отрядами и земскими ополчениями, не усматривая впереди ничего другого, как продолжение ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию, видя в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его обольщения, решимость всех сословий грудью стоять за любезное Отечество, претерпев шестого числа октября при учиненной на него атаке сильное поражение и постигнув, наконец, всю суетность дерзкой мысли одним

занятием Москвы поколебать Россию, предпринял он поспешное отступление вспять, бросив на месте большую часть больных своих, и одиннадцатого числа сего месяца Москва очищена».

А через несколько дней, уже за Вязьмой, в главную квартиру приехал из Москвы дворовый человек квартирмейстерского штаб-ротмистра князя Гагарина, лысый, шестидесятилетний, но шустрый Яшка. Яшка был оставлен с другими дворовыми в Москве стеречь господский дом и пережил в ней все невзгоды нашествия. Старый князь Гагарин, вернувшись из имения в Москву (княжеский дом случайно уцелел), послал Яшку к сыну в армию — проводить его и обо всем рассказать.

Яшка целый вечер рассказывал квартирмейстерским офицерам, как французы входили в Первопрестольную, как жгли и грабили ее, как уходили, взорвав башни Кремля, и про то, что Иван Великий без креста «как с разможженной золотой главой» и что Грановитая палата без крыши и с закопченными стенами, и многое другое. Рассказывал словоохотливо, но степенно, чинно, без шуток.

А потом в тесной крестьянской баньке, где помещались штабные денщики, Яшку угощали ужином и водкой. И Яшка рассказывал своему брату мужику-денщику совсем по-иному:

— Грабили, окаянные, грабили знатно! Особенно старались немцы да поляки. В первый же день, как только пришли, в нашей церкви стоял гроб с покойницей. Так немчура мертвое тело вытряхнула — не спрятано ли, мол, чего. Туфли с покойницы содрали и косыночку смертную с шеи. Не щадили ни живого ни мертвого, ни старого ни малого. Вот несет баба годовалого ребеночка. Ну, что они с бабой делали, известно. Но ребеночка-то хоть не тронь, подлая твоя душа! Так нет же, пеленки развяжут, расшвыряют — нет ли в них чего, — плевался лысый Яшка. — А бывало, среди горя — и смех. По первости, как загорелся Охотный, побегал и наш брат — все равно, мол, сгорит. У Ланских лакей есть, Меркул, — маленький, толстый, словно шарик. Так озорники французы скинули его вниз головой в бочку с медом. Насилу выкарабкался. Фунтов десять с себя меду счистил потом. И смех и горе!..

— Погодите, а сколько же они, окаянные, побыли в Москве? — задумался коновницынский Иван.

— Со второго сентября по одиннадцатое октября,— быстро ответил Яшка. Это он помнил как «Отче наш».

— Стало быть, сорок суток! Но, однако ж, пришлось им смазывать пятки...

— Да, пришлось!— продолжал Яшка.— И уходили все двенадцать языцы, как настоящие нищие, не хуже нас обносивши. Все в лохмотьях, словно их собаки драли. И обернувшись во что горазд: тут и зипун, и бабья юбка, и лошадиная попона — чего хочешь, того просишь! Один натянул на себя салон, другой — поповскую ризу. Как ряженные. Настоящие святки! А за ними пушки, а за пушками фуры, и коляски, и кареты. И в каретах, братцы мои, бабы. Ихние жены аль приятелки, кто знает. Одним словом, мамзели. Одна сидит в телеге и сама правит, а телега доверху нагружена: и перина, и самовар — всякой масти по части, а наверху кинарейка, не вру, ей-богу! Желтенькая такая! Солдаты вброд реку переезжали. Вздумала и эта мамзелька за ними, да забрала чуть в сторонку, попала на быстрину. Лошадь стала вертеться, мамзелька как закричит благим матом, а французы на нее никакого внимания. Тут наши молодцы дворовые смекнули — кинулись в воду, столкнули мамзельку в реку, лошадь под уздцы, вывезли телегу на берег и пустились всюю к Остоженке. Ищи-свищи! А мамзелька стоит на берегу, юбки выше колен задравши, и голосит!— мотал головой от смеха пьяненький Яшка.

Денщики тоже хохотали: понравилось!

— От як сказано: від вовка тікав, а не ведмедя натрапив,— утирал веселые слезы кутузовский Ничипор.

IV

В одно погожее октябрьское утро бабы, вставшие доить коров, услыхали отдаленные пушечные выстрелы. Деревня встревожилась: война снова приближалась.

Черепковский усилил дозоры и уже не решался уходить с партизанами дальше деревенской околицы. Старики и малые дети опять потащились в надоевшие темные лесные землянки. По ночам небо рдело заревами далеких пожаров — становилось еще тревожнее.

По деревням — от дозора к дозору — понеслась радостная весть: француз оставил Москву и с боями уходит во свояси. И в бессильной злобе жжет на пути все поселения, которые не успел сжечь прежде.

— Холодно у нас. Потянулись, как журавли к теплему краю!

— Да, мы их неплохо подогрели!

— Пришло и на них, окаянных, невзгодье!— ликовали крестьяне.

Затем выстрелы снова утихли. Французы не показывались. А однажды под вечер в деревню с неожиданной стороны — с севера — въехало с полсотни верховых. Увидав конных, крестьяне сначала встревожились, но Левон сразу признал: свои, донцы-молодцы!

Казakov встретили, как родных. Станичники рассказали: франц улепетывает домой. Кутузов идет сбоку, а атаман Платов и генерал Милорадович гонят француза перед собой по старой Смоленской дороге.

В избе у старосты поместился сотник. Увидев Черепковского и Табакова, он спросил:

— А вы кто такие?

— Солдаты Виленского пехотного полка, ваше благородие. Взяты в плен под Бородином. Бежали из плена и партизанам!— четко ответил Черепковский.

— Они у нас всеми партизанами командуют,— сказал староста.

— Добро, добро! Помогайте нам,— похвалил сотник, подкручивая усы.

— Дозвольте, ваше благородие, узнать, а далеко ли наша двадцать седьмая дивизия?— спросил Табаков.

— Еще далече! Еще партизаньте! Успеете нагнать!

— А ежели мы пойдем навстречу?

— Теперь на каждом шагу полно французишек. Наши донцы еще, чего доброго, не разберутся да возьмут вас в дротики!— рассмеялся сотник.— Лучше обождите, пока вся их орда пройдет по дороге!

К утру казаки тронулись дальше.

V

Черепковский, Табаков и несколько партизан отправились к большаку посмотреть, как удирает «франц».

Французская армия отступала. Со стороны это походило не на отступление регулярной армии, а на бегство грабителей.

Вся широкая дорога была забита повозками, фурами, всевозможными экипажами, доверху нагруженными наво-

рованным добром. Пушек в этой немыслимой толчее виднелось мало. И только немногие воинские части держали строй — солдаты и офицеры валили толпой. Пехотинцы перемешались с верховыми. Опытный глаз старых солдат сразу приметил странную вещь: драгуны и уланы шли пешком, а вольтижеры и фузилеры ехали на лошадях. Все это безбрежное людское море шумело, волновалось и несло вперед.

Лихим казакам на резвых, еще не измученных конях можно было бы налететь на какую-либо маловооруженную часть обоза и, воспользовавшись переполохом, отбить что-нибудь. Но пешим партизанам здесь нечего было делать. Им оставалось лишь наслаждаться зрелищем позорного бегства врага.

Партизаны вернулись домой.

Черепковский и Табаков прожили еще несколько дней в гостеприимной деревне. Они кое-как привели в порядок обмундирование и, взяв с собой по ружью, отправились в путь разыскивать свой полк.

Вся деревня провожала их за околицу, а ребятишки — до той березы, на которой они столько дней несли караул.

Черепковский был по-всегдашнему сосредоточенно-молчалив, а Табаков веселил провожающих:

— Эх, опять к батюшке-барабану под бочок! Нищей петух не поет столь весело, как ротный барабан! Задробит, затрещит — чужому уху не понять, а солдатское — враз уловит. Барабан режет правду-матку всем, даже самому фельдфебелю. Не меняет голоса, не поет лазаря. Иной раз разбудит до света, а в другой — не даст понежиться на привале, но без барабана солдат как без души!

У околицы стали прощаться. Черепковский целовался со всеми мужиками серьезно, а Табаков норовил поцеловаться и с молодками и шутил над тем, как некоторые сердобольные бабы украдкой утирают невольную слезу.

— Он весел, ему хоть бы что, — сказала старостиха. — Зря вы, девки-бабы, сокрушаетесь. У него где-то своя зазнобушка есть!

— Верно, Федосевна, есть! — смеялся Табаков. — И девка — я те скажу — не из последних: щека — блином, нос — огурцом, губы — стручком, подбородок — яичком!

— А ну тебя! Бахарь был, бахарем и остался! — приторно-сердито хлопнула старостиха по плечу Табакова.

Выйдя на дорогу, солдаты пошли ровным, заученным солдатским шагом. Черепковский шел не оглядываясь, а Табаков несколько раз оборачивался и махал рукой.

VI

22 октября у самой Вязьмы неутомимый Милорадович, командовавший авангардом, атаковал сильно отставший от прочих своих эшелонов арьергард Даву.

На выручку арьергарда из Вязьмы вернулись полки вице-короля, Понятовского и маршала Нея. Французы упорно защищались, но были сбиты, потеряли большой обоз, до двух с половиной тысяч пленными и шесть тысяч убитыми и ранеными.

Милорадович вошел в Вязьму с музыкой.

Французам с каждым днем становилось труднее отступать. Провиант, который неделю тому назад армия Наполеона взяла с собой из Москвы, подходил к концу. Раздобыть что-либо по дороге было трудно — всюду рыскали зоркие казаки и партизаны, и потому армейские корпуса «великой армии» начали терпеть голод. Вот теперь многие пожалели, что бросали на дороге фуры с провиантом, а не награбленное добро: люстры, фарфор, картины, ковры не могли заменить ни муки, ни крупы, ни соли.

Михаил Илларионович писал жене из Ельни 28 октября:

«Я, мой друг, хотя и здоров, но от усталости припадки, например: от поясницы разогнуться не могу, от той же причины и голова временами болит.

По сю пору французы все бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ними происходят. Это участь моя, чтоб видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ними делают мужики!»

В эти же дни выпал снег.

Кутозов, еще после Бородина предвидевший зимнюю кампанию, заранее позаботился о том, чтобы армия была снабжена полушубками, сапогами, валенками. Войска в

большинстве были обуты, одеты, имели хлеб, мясо и вино, но все-таки дело шло к зиме, и в одном из своих приказов главнокомандующий счел нужным напомнить об этом:

«Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостью и терпением, старые служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит Суворова: он научил сносить голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед, с нами бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие».

VII

И все-таки сказывались годы. На непрерывном марше, в старой тряской коляске, на неудобных ночлегах, где Михаил Илларионович по давней военной привычке спал не раздеваясь, он в конце концов натрудил поясницу. С ним приключился «прострел» — не смертельная, но противная, нудная болезнь. Лежишь — кажется, здоров, нигде ничего не болит, а встать нельзя.

Ничипор, знавший эту частую гостью барина, накалил в печке кирпич, завернул его в мешок, и Михаил Илларионович должен был спать на кирпиче. Он смог так полежать одни сутки. Тепло помогало, становилось легче, но разлеживаться было некогда — впереди ждал Наполеон.

За эти сутки лежания в избе Михаил Илларионович многое передумал. Он написал Кате письмо:

«Если вдуматься и обсудить положение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или никогда не думал о том, чтобы покорить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое странное произведение, как этот человек, такую смесь различных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и начала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много лет и его неблагодарность, и как он дурно воспользовался ее покровительством, она тут же бросила его, сказав «Фу, презренный!»

Вот старик,— продолжала она,— который всегда обожал наш пол, боготворит его и сейчас, он никогда не был неблагодарным по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И чтоб отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала участие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время...»

Фортуна подавала руку старому русскому фельдмаршалу: уже был освобожден полуразрушенный, полусожженный Смоленск, где французы, отступая, побросали много пушек; а через несколько дней, в четырехдневном упорном бою при Красном, русские войска нанесли армии Наполеона страшное поражение — она потеряла двести шестнадцать орудий и двадцать шесть тысяч пленными.

Впрочем, пленных было гораздо больше: ни у кого не хватало времени заниматься их точным подсчетом.

Офицеры и солдаты русской армии рвались в бой. Они отказывались сопровождать пленных и только указывали им направление, куда надо идти.

— Адье! — отвечали пленные.

— Да, да, одне! Идите, приятели, одне. Нам некогда с вами возиться!

— Ишь, зяблики голоштаные, уже выучились плясать русского трепака! — беззлобно шутили солдаты, увидав, как, согреваясь, пританцовывали французы, португальцы, голландцы, пруссаки.

— Я подбежал к ним, а один и кричит: «Ляви, ляви!» Чего мне, говсрю, ловить-то, коли вы и так от нас не убежите! — обменивались впечатлениями солдаты.

Вечером 6 ноября, получив донесение от Милорадовича о последнем дне сражения у Красного, Кутузов поехал к бивакам гвардии. Семь кирасир везли за главнокомандующим отбитые у французов знамена. Обычно фельдмаршал ехал шажком, а тут примчался рысью.

— Здорбо, молодцы семеновцы! — громко крикнул он, подъезжая к палатке командира дивизии генерал-лейтенанта Лаврова. — Поздравляю вас с победой. Вот гостинцы вам привез! — указал он на французских орлов. — Эй, кирасиры, нагните-ка пониже орлов! Вот так, пусть поклонятся молодцам! Матвей Иванович Платов донес, что взято сто двенадцать пушек и — сколько генералов? — обернулся он к Резвому.

— Пятнадцать, — быстро ответил Резвой.

— Слышите, друзья? Пятнадцать! — подчеркнул Михаил Илларионович. — Пятнадцать генералов! Ну если б у нас взяли столько! Сколько бы осталось? А? — хитро посмотрел главнокомандующий на улыбающихся семеновцев, которые окружили его. — Пушки можно сосчитать, да и то не верится. А в Питере, как услышат — пятнадцать генералов, чай, скажут: хвастают ведь. Вот как! Ура, братцы!

Семеновцы так дружно и весело гаркнули «ура», что старый конь фельдмаршала затряс от неожиданности ушами.

Кутузов слез с коня. Казак, ехавший за ним, тотчас же подал Михаилу Илларионовичу его походную старую скамеечку. Главнокомандующий сел в кругу офицеров.

Николай Иванович Лавров, зная, что фельдмаршал любит чай, распорядился поднести ему горяченького — большой медный чайник стоял на угольях костра.

Кирасиры, везшие французские знамена, спешили и стояли позади Кутузова. Седой фельдмаршал сидел под пестрой сенью отбитых французских знамен.

Молодой семеновский поручик, оказавшийся у знамен, бестактно прочел вышитое на французском знамени золотом поперек красно-сине-белых шелковых полос: «Аустерлиц». Прочел он это достаточно громко.

— Что, что? — полуобернулся Кутузов. — Аустерлиц?

Недогадливого поручика уже толкали под бока товарищи.

— Аустерлиц... — виновато повторил покрасневший поручик.

— Да, под Аустерлицем было жарко, но я перед всем войском умываю руки: неповинны они в аустерлицкой крови! — громко сказал Кутузов, обводя всех своим одним зорким глазом. — Вот хоть и теперь, к слову сказать: выговор за то, что дал капитанам гвардейских полков бриллиантовые кресты за бородинскую победу. Говорят, я нарушаю предоставленное мне право: бриллианты принадлежат кабинету. Это правда. Но и в этом я виноват без вины. Если разобрать по совести, то теперь каждый, не только старый солдат, а и новичок ратник столько заслужил, что, осып его алмазами, он все еще не будет достаточно награжден! Ну да что и говорить. Истинная награда не в крестах и медалях, а в нашей совести!

— Верно, верно! — загудела внимательно слушавшая толпа гвардейцев, офицеров и солдат.

Михаил Илларионович прихлебнул из чашки крепкого чайку и продолжал:

— Вот расскажу вам, дети, как за штурм Измаила получил я Георгия третьей степени и потом представлялся матушке царице. Иду я себе, горжусь, думаю: у меня Егорий на груди. Дохожу до кабинета, отворяются двери, и передо мной царица. Что со мною случилось, и теперь не опомнюсь. Забыл и про Егория, и про то, что я Кутузов. Ничего не видел, кроме ее очей! — закончил Михаил Илларионович и полез в карман за платком: правый глаз слезился.

Толпа молчала.

— Это напоминает сцену из трагедии «Дмитрий Донской», — несмело сказал семеновский капитан, желавший как-нибудь загладить неудачно вырвавшееся слово своего товарища, вспомнившего Аустерлиц.

— Да, вот заговорили об изящной словесности, — оживился Кутузов. — Я сегодня получил из Петербурга стихок. Где это он был у меня? — захлопал руками по всем карманам фельдмаршал. — Эка беда, наверно, оставил на столе! Я помню. В Питере сочинили басенку в стихах, как волк, — многозначительно поднял Кутузов вверх короткий пухлый палец, — лез ночью в овчарню, а попал на псарню. Увидел свою промашку, стал умолять, чтоб псаря его простили.

Михаил Илларионович на секунду остановился.

— Тут пиит так хорошо изобразил это стихом. Как же у него? — Он прижмурился, вспоминая. — Да, вот-вот! — прищелкнул от радости пальцами. — «Забудем прошлое, уставим общий лад, а я не трону ваших стад».

Толпа сдержанно смеялась, внимательно слушая, что же будет дальше.

— А дальше... — остановился Кутузов, — проклятая старость — забыл. Но финал помню. Волк так-то просит, а псарь ему и говорит... — Главнокомандующий поднялся со скамейки и четко продекламировал: — «Ты сер, а я, приятель, сед!» — И при последнем слове Кутузов снял с седой головы бескозырку.

Толпа захохотала, забила в ладоши:

— Здорово!

— Действительно!

— А кто это, ваше сиятельство, написал? Глинка? — спросил у главнокомандующего генерал Лавров.

— Не Марин ли?— подсказали из толпы.
— Нет, это Крылов. Тот, кто написал комедию «Урок дочкам».

— Михаилу Илларионовичу ура!— крикнул кто-то. И все покрыло раскатыстое «ура».

К генеральскому костру сбежалась и встала плотной стеной гвардия. Михаил Илларионович, опираясь на плечо Резвого, встал на скамейку. Все затихло.

— Друзья мои, это честь не мне, а русскому солдату!— И подняв над головой бескозырку, Кутузов крикнул молодым, таким, как когда-то водил солдат на штурмы, голосом:— Русскому солдату — ура!

На этот клич отозвалась вся гвардия. «Ура» катилось по лагерю, как радостный весенний гром.

VIII

Но каким образом тогда этот старый человек, один в противность мнению всех, мог угадать так верно значение народного смысла событий, что ни разу во свою деятельность не изменил ему?

Лев Толстой

Дело двигалось успешно: наполеоновская армия с каждым днем все больше таяла и разваливалась. Но и в Петербурге и в самом штабе главнокомандующего никто не хотел понять простых намерений Кутузова: уничтожить врага с меньшими потерями.

Все были недовольны тактикой фельдмаршала, даже его ближайшие помощники и друзья Толь и Коновницын. Молодые, горячие головы упрекали старика не только в «лени», как раньше всем наушничал Беннигсен, но и в неосмотрительности и даже трусости. Увидев отступление Наполеона, все они решили, что Наполеон совершенно слаб, что стбит лишь отрезать ему путь на запад и ударить, как «великая армия» будет разбита, а сам Наполеон пленен. Они не хотели принимать в расчет того, что у Наполеона есть еще более ста тысяч человек с сотнями орудий. Они не задумывались над тем, какие потери понесет такая же стотысячная русская армия, если преградит путь Наполеону, и без того старающемуся поскорее уйти из России...

Разумеется, больше всех кипятился и всюду с пеной у

рта кричал неугомонный, надоедливый и неотвязчивый, точно овод, английский уполномоченный сэр Роберт Вильсон. Ему-то уж нисколько не было жаль русской крови, которая пролилась бы для окончательного уничтожения главного врага Англии Наполеона. Вильсон проклинал кутузовскую медлительность и осторожность, писал на него бесконечные жалобы и доносы Александру, уверяя русского императора, что «Беннигсен в сравнении с Кутузовым — Аннибал».

Несмотря на то, что Кутузов уже несколько раз прямо говорил Вильсону, чтобы он не лез не в свое дело, наглый бритт снова пристал к Михаилу Илларионовичу.

— Разве вы не помните, что я сказал вам у Малоярославца?— спокойно и веско ответил главнокомандующий и не стал слушать разглагольствований Вильсона, который окончательно потерял все хваленое британское хладнокровие.

А своим русским горячим головам фельдмаршал отрезал:

— За десять французов я не отдам одного русского! Неприятель скоро и так пропадет! А ежели мы потеряем много людей, то с чем придем на границу?

Старый полководец и старый дипломат, Михаил Илларионович Кутузов смотрел глубже и дальше, чем все его тридцатилетние генералы. Кутузов не хотел проливать понапрасну кровь русских людей. Он рассуждал здраво и трезво.

Уже после Смоленска Кутузов сказал Евгению Вюртембергскому:

— Наши молодые горячие головы негодуют на старика, что я удерживаю их порывы. Они не обращают внимания на обстоятельства, которые делают гораздо больше, нежели сколько могло бы сделать наше оружие. Не прийти же нам на границу, как нестройной толпе бродяг!

Кутузов не боялся ничего: ни продолжавшегося нерасположения к нему императора Александра, ни яррой ненависти английского генерала, ни осуждения неспешных, но дальновидных кутузовских действий пылкими молодыми русскими генералами.

Он был уверен в своей правоте. Он знал, что беспристрастная история и русский народ скажут о нем и о его действиях в Отечественную войну свое веское, окончательное слово.

БЕРЕЗИНА

Зубастой щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.

Крылов

I

Командующий Молдавской армией адмирал Павел Васильевич Чичагов, которого в прошлом году Александр I назначил на такой необычный пост «главнокомандующего Молдавией, Валахией и Черноморским флотом», чувствовал себя героем: его армия, двигавшаяся с южных границ навстречу отступающему Наполеону, заняла Минск и Борисов.

Мост у Борисова через Березину защищали польско-французские части генерала Домбровского, но авангард Чичагова под командованием графа Ламберта сбил Домбровского с предмостного укрепления, захватил мост и вошел в Борисов. Переправа через широкую, с топкими илистыми берегами реку, через которую должен был переходить Наполеон, оказалась в руках у Чичагова.

Адмирал Чичагов был любимцем Александра I. Не оттого ли, что Чичагов воспитывался в Англии, где, как писал сардинский посланник в Петербурге граф де Местр, он «выучился преимущественно презирать свою родину и все то, что в ней происходит»? Чичагов никогда не служил ни у кого под началом, был безмерно заносчив и самовлюблен. Он считал себя способным ко всему, а других — ни к чему. О его пребывании в должности морского министра современник выразился так:

«Сорил деньгами, воображая, что делает наши морские силы непобедимыми. Подражая слепо англичанам и вводя нелепые новизны, мечтал, что кладет камень величии русского флота.

Наконец, испортив все, что оставалось еще доброго во флоте и наскучив наглостию своею и расточением казны верховной власти, удалился, поселив презрение к флоту в оной и чувство глубокого огорчения в морях».

Александр I почему-то верил в военные таланты Чичагова так же безоговорочно, как и в свои, и называл его без всякого повода и основания «человеком с головой».

Готовясь к войне с Наполеоном, Александр I назначил Чичагова командовать Молдавской армией вместо уволенного в отставку славного победителя турок Михаила Илларионовича Кутузова. Ни Александр I, ни Чичагов не могли в мае 1812 года предполагать, что через три месяца народ поставит Кутузова выше их обоих.

В военном деле Чичагов был полнейшим невеждой. Умный Дохтуров говорил о нем: «Наш адмирал управляет по ветрам!»

Напыщенный вельможа и сибарит, Чичагов привык и на театре военных действий жить по-барски: он возил с собой целое капральство поваров и большой обоз со столовым серебром, фарфором и разным кухонным имуществом. Захватив предмостное борисовское укрепление и город, Чичагов, не разведав хорошенько, где находится Наполеон, сразу же обосновался со всеми своими обширными пожитками в Борисове.

Чичагов был уверен в том, что ему будет принадлежать честь пленить всю армию Наполеона у Березины. Самонадеянный, лишенный чувства юмора, адмирал Чичагов дал такой приказ по Дунайской армии:

«Наполеонова армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с нею. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что всевышнему угодно будет прекратить гнев свой, предав его нам. Почему желаю, чтобы приметы сего чело века были всем известны. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедроты монарха за сие ответственуют».

Наивный Чичагов ждал, что к нему в Борисов приведут спасающегося бегством Наполеона.

II

Зло сжав губы и надвинув на лоб треуголку, Наполеон угрюмо ехал, окруженный свитой и остатками гвардейской кавалерии.

После небольших морозов ударила оттепель, и, волей-неволей, пришлось сбросить тяжелую соболью шубу и горностаевую шапку: Наполеон потел.

Впрочем, Наполеон потел даже в сюртуке и шинели — он волновался, он злился.

До Смоленска император следовал только с авангардом и потому не видал эти толпы покорно побросавших оружие, малодушных, забывших присягу людей. Но после Смоленска, в котором для всех стало окончательно ясно, что ни о каком отдыхе и зимних квартирах в России не может быть и речи, беспорядок и расстройство в войсках стали всеобщими.

Если до Смоленска вместо полков остались под знаменами хоть роты, то теперь на каждом переходе уже исчезали целые полки. До Смоленска в толпе солдат шли только младшие офицеры, теперь же в этом людском разношерстном стаде замешались полковники и генералы.

Стало теплее. Из-под женских кацавеек и прожженных на биваках салопов, из-под рогож и попон, которыми укутывались воины, выглянули грязные мундиры солдат и потускневшее золотое офицерского шитья.

Наполеон с трудом пробирался сквозь медленно, устало бредущие толпы безоружных, косо, без всякого былого энтузиазма глядевших на императора.

Более сильные и волевые, старавшиеся во что бы то ни стало унести голову из России, не засиживались в Смоленске. Они смешались с остатками корпуса Жюно, шедшего в голове наполеоновской армии к Орше. Впереди их ждала Березина, за которой маячил новый спасительный пункт — Минск. Там находились громадные провиантские склады, а главное — Минск не подвергся разрушению.

Туда и стремился Наполеон.

Картина с каждым днем все больше разлагающейся армии действовала на него угнетающе. Он не жалел этих людей, исхудавших и почерневших от дыма костров и всех лишений бесславного отступления. Он негодовал.

Наполеон решил испытать последнее средство. Выбрав довольно большую поляну среди леса, он велел гвардии построиться на ней в каре.

Бредущие как автоматы, изнуренные, деморализованные солдаты и офицеры с удивлением смотрели на то, как

строятся гвардейцы. Отставшим это казалось уже просто какой-то смешной и ненужной игрой.

Наполеон смотрел, как выстраиваются его «ворчуны». Их уцелело не более шести тысяч человек. Он думал: «Какое счастье, что при Бородине я не послушался большинства маршалов и сохранил эту силу!»

Когда гвардия построилась, Наполеон начал говорить. Его голос был более визгливым, чем обычно. Он дрожал от сдерживаемого гнева:

— Гренадеры моей гвардии! Вы видите расстройство армии, многие солдаты побросали оружие. Если вы последуете их примеру, то все погибло. Необходимо, чтобы не только офицеры поддерживали строгую дисциплину, но и солдаты бдительно наблюдали друг за другом и наказывали тех, которые оставляют их ряды.

Сегодня он уже ничего не обещал войскам — только обращался к их сознанию и долгу.

Окончив речь, Наполеон приказал гвардейским музыкантам играть походный марш. Музыканты, давно забывшие о музыке, схватились за свои холодные рожки и трубы и нестройно заиграли марш.

Раздалась команда.

Гвардейцы преувеличенно четко замаршировали к дороге.

Бравурная музыка и воинственный вид старой гвардии не влили бодрости в эти бесконечные людские толпы, тащившиеся по дороге. Им было наплевать на все: на марш, на старую гвардию, на императора. Единственное чувство, которое возбудил в них весь этот необычайный парад, было озлобление на то, что гвардия своим шествием задержала их движение.

Наполеон ехал среди гвардии.

Он надеялся на свою «звезду», на какое-то чудо. Он надеялся на Борисов, где есть удобная переправа через Березину, и на близкий к Борисову Минск.

Но сведения, которые он получил по пути в Оршу, были неутешительны. «Звезда» Наполеона не хотела сиять. Маршал Виктор, сражающийся с Витгенштейном на петербургском направлении, не сумел отбросить Витгенштейна за Двину. А Чичагов, идущий с юга, уже занял Минск.

Привыкший к победам и удачам, Наполеон взбелевился.

— Довольно я был императором! Пора вновь стать генералом! — запальчиво сказал он.

Наполеон послал приказание маршалу Удино, бывшему вместе с Виктором на Двине, спешить к Борису.

И вот показались невзрачные домики Орши и главы Кутеевского монастыря.

В Орше Наполеон хотел попробовать установить порядок в войсках. Он приказал читать с барабанным боем в нескольких местах городка строгий приказ. В нем Наполеон призывал всех, оставивших свои части, вернуться к полкам под угрозой военного суда.

Но угроза расстрела не пугала никого — смерть от изнурения и голода и так подстерегала каждого на любом лье дороги. И практически расстрел стал невозможен: безоружных было уже не меньше, чем вооруженных. Беспорядочные толпы солдат и офицеров, хлынувшие по мостам в Оршу, не обращали никакого внимания на барабанный бой и не слушали чтения приказа. Всех интересовало лишь одно: где выдают провиант. Но провиант раздавали только тем, кто следовал организованно, со своей частью. И потому безоружные бросились сами добывать еду. Сначала они покупали за фальшивые русские ассигнации, которые Наполеон выдал армии в счет жалованья, и за серебро и золото, награбленное в Москве, а потом стали просто грабить, как делали это везде.

Оставшиеся в строю получили продукты. Эта мера удержала многих солдат от ухода из части.

В Орше Наполеон переорганизовал армию: корпус Даву был сведен в три батальона, вице-короля — в два батальона, Жюно — в один батальон. Знамена и орлы уже не существующих полков сняты с древков и отданы на сохранение более здоровым офицерам.

В Орше Наполеон приказал сжечь лишние подводы, запретил солдатам иметь телеги с кладью. Несколько десятков их было уничтожено, но основная многотысячная масса все-таки осталась.

В Орше оказался артиллерийский парк из тридцати шести орудий. Из них сформировали шесть батарей и разделили их между корпусами.

Хуже обстояло дело с кавалерией: пышная, цветистая, лихая, она вся погибла от бескормицы. Из двухсот двадцати четырех эскадронов, с которыми Мюрат перешел Неман, остался всего лишь один эскадрон в пятьсот коней. Он

был составлен из одних офицеров, потому что только у них кое-как сохранились кони. В этом эскадроне полковники (вспомнив свою молодость) стали рядовыми, а бывшие корпусные командиры — генералы Себастиани, Латур-Мобур, Груши — взводными. Всем эскадроном командовал Мюрат.

Потерявший вместе с двумястами двадцатью четырьмя эскадронами всю свою театральную нарочитую красоту и задор, Мюрат чувствовал себя ужасно. Действия эскадрона были ограничены и лишены поэзии и героизма — ему поручалась прозаическая обязанность охранять священную особу императора. Осталось одно, что еще немного льстило Мюрату и отвечало его не очень тонкому и глубокому уму, — пышное название эскадрона: «священный эскадрон».

III

Наполеон шел пешком, опираясь на палку, которую раздобыл ему в Орше заботливый начальник штаба принц Невшательский.

Несколько в стороне от императора семеня своими коротенькими ножками маршал Бертье. «Обезьяна Наполеона», как называли все придворные принца Невшательского за его подражание во всем любимому полководцу, тоже опирался на палку. Палка Наполеона была из красного дерева (она принадлежала раньше настоятелю Кутеевского монастыря), а палка Бертье — из белорусской березы.

Бертье теперь не во всем копировал обожаемого императора. Наполеон после Орши был угрюм и мрачен: надежды проскочить между русскими армиями Кутузова и Витгенштейна не было — его прижимали к Березине, за которой стоял Чичагов. И потому Наполеон смотрел как затравленный волк. А толстенький Бертье старался изобразить на своем некрасивом лице овечью кротость и безмятежность. В душе он не меньше своего властелина переживал весь страшный позор неудачного похода, давно изгрыз ногти (пальцы Бертье всегда были в крови), но лицо принца Невшательского пыталось сохранить невозмутимое спокойствие.

И теперь, когда в версте от Толочина к нему вдруг подошел конноегерский лейтенант и передал страшную, по-

трясающую весть, лицо Бертье в первый момент покривилось ужасной гримасой. Но как только начальник штаба увидел, что император обернулся и вопросительно смотрит на него, Бертье попытался изобразить подобие улыбки. В эту секунду его лицо походило на лицо ребенка, который готовится заплакать, но боится няньки.

Хотя император шел погруженный в свои мысли и, казалось, не видел ничего, но его серые, быстрые глаза сразу схватили фигуру конноегеря, который стоял с солдатом и лошадьми на развилине дороги, ожидая, пока пройдет император. Двубортный зеленый мундир и кивер конноегеря были новее, чем у его спешенных товарищей, затерявшихся в несметной толпе отступавших. Малиновые обшлага не потеряли цвета, а ноги не были обернуты тряпьем.

«Уж не из второго ли корпуса Удино?» — мелькнуло в голове Наполеона.

И его точная на все, касающееся войска, безотказно действующая память сразу подсказала:

«Малиновый воротник — двадцатый конноегерский. Шестая кавалерийская бригада Корбино».

И в памяти возник сам генерал Корбино — маленький, быстрый, черноусый, но лысоватый в свои тридцать пять лет. Умный, преданный Наполеону генерал.

Наполеон повернулся и подошел к Бертье.

— Что он говорит? Что говорит? — нетерпеливо-быстро спросил император, по смущенному, искажившемуся лицу Бертье уже предчувствуя недоброе.

— Доложите сами его величеству, — сказал конноегерскому лейтенанту начальник главного штаба.

— Маршал Удино поручил мне доложить, что русский генерал Тши... Тши... — старался выговорить он трудную русскую фамилию, — Тшичагоф пришел к Березине и занял все переправы! — вытягиваясь, докладывал лейтенант. — Два неприятельских отряда...

— Неправда! Этого не может быть! — перебил Наполеон.

— Два неприятельских отряда заняли мост и перешли на левый берег реки.

— Неправда! — визгливо кричал Наполеон, стуча палкой.

Но исполнительный офицер упорно продолжал докладывать то, что ему поручил маршал:

— Лед на реке слаб. Переходить по нему нельзя.

— Неправда! Он лжет! — в бешенстве кричал Наполеон, топая ногами.

Изменившийся в лице Бертье даже отступил назад. Лейтенант стоял красный как рак. Молодые, пухлые губы его дрожали от обиды и возмущения.

— Государь, я только исполняю поручение маршала, который приказал мне сообщить это, — ответил оскорбленный офицер, но Наполеону было не до того.

Все его надежды на то, чтобы пройти мимо окруживших его со всех сторон русских армий и перевести войска через Березину, разом исчезли. Самообладание оставило Наполеона. Он, словно отброшенный какой-то силой, отступил назад, заскрипел зубами и, подняв вверх руку, выругался так, как ругался, когда был подпоручиком артиллерии ла-Ферского полка.

— Значит, там, наверху, написано, что мы теперь будем совершать одни ошибки?

И он, как император Юлиан, выругал тех, кто наверху, еще раз.

— Коня! — крикнул, обернувшись к берейтору Амодрю, ведущему императорского араба.

Наполеон вскочил на коня, хотел пустить его в галоп к этим грязным домишкам Толочина, но потом подозвал Бертье и велел ему приказать Удино во что бы то ни стало отбить у Чичагова Борисовскую переправу.

Через несколько минут обиженный конноегерский лейтенант, которого успокоил Бертье, уже мчался назад со своим ординарцем и думал, как он будет рассказывать в штабе о своем споре с императором.

Наполеон подъехал к Толочину. У крайней хаты — еврейской корчмы — горел костер, сложенный из досок разломанного сарая. У костра стоял только что прискакавший в Толочин генерал Дод, которого император посылал к Виктору.

Наполеон соскочил с коня и хотел уже идти в дом, но генерал Дод, почтительно снимая вылинявшую треуголку, подошел к нему.

С перекосившимся от злобы лицом Наполеон выразительно сказал Доду:

— Они уже там! — И, кивнув генералу, чтобы он шел за ним, вбежал на широкое крыльцо.

Лакеи, приехавшие заранее приготовить императору помещение, раскрывали двери, указывая, куда идти.

В большой комнате, на столе, застланном чистой хо-

зийской скатертью, стояли в двух субботних подсвечниках зажженные праздничные свечи, хотя было начало недели.

Наполеон подбежал к столу, сел на лавку и протянул руку, крикнув:

— Карту!

Паж тотчас же положил перед ним карту Белоруссии. Наполеон, не снимая треуголки, нагнулся над картой.

Генерал Дод стоял у стола.

Наполеон начал думать вслух, как выйти из создавшегося катастрофического положения. Кавалерии у него не осталось, разведки не было. Приходилось лишь гадать о силе и движениях русских войск.

Дод знал Березину с ее болотистыми берегами и советовал не переправляться у Борисова, потому что русские, конечно, уже сожгли мост, а ниже Борисова сплошной лес и болота, через которые проложены многоверстные гати из тонких бревен и фашичника и где десятки мостов. Дод советовал перейти реку у Лепеля при соединении ее с Улой — там Березина неширока, а берега не илистые, а песчаные. Удино неоднократно переправлялся через нее. Дод предлагал соединиться с Виктором и Удино и идти через Глубокое к Вильне.

Наполеон то внимательно слушал Дода, то слушал и не слышал, думая что-то свое. Он переспрашивал генерала, потом опять молча склонялся над картой.

— Путь на Борисов короче. Идя к Лепелю на Глубокое, придется сделать большой обход, — возражал Наполеон. — Русские смогут прийти в Вильну раньше нас. И впереди — Витгенштейн.

Наполеон возражал не столько Доду, сколько своему ходу мыслей, этому варианту, который он давно знал и о котором только что напомнил Дод. Император водил пальцем вверх и вниз по течению Березины и Днепра и вдруг прочел:

— Полтава! Полтава!

Рука невольно оторвалась от карты.

За этим коротеньким словом возникли те картины, которые часто вспоминались еще в московском Кремле.

Наполеон вскочил и, заложив за спину руки и наклонив голову, заходил по корчме.

Дод с тоской смотрел на императора, понявшего печальную аналогию.

Молчал.

В комнату вошли приехавшие Бертье, Мюрат, Евгений Богарне и генерал Жомини.

Тактичный Дод поспешил выйти.

Император ходил, продолжая машинально повторять:

— Полтава!.. Полтава!..

Присутствовавшие поняли его невеселые мысли. Стояли кучкой у порога. Император дошел до порога и, подняв на Жомини глаза, сказал:

— Кто никогда не испытывал поражений, у того они должны быть так же громадны, как и его победы!

Жомини только поклонился, молча соглашаясь с императором.

Наполеон снова подошел к карте и, рассказав всем о предложении генерала Дода, спросил у Жомини, знавшего местность, что советует сделать он.

— Ваше величество, перейти Березину ниже Борисова невозможно, но идти с измученной армией к ее верховьям — утомительно. Я полагаю, что можно перейти Березину чуть выше Борисова и выйти к Вильне кратчайшей дорогой на Сморгонь, — ответил Жомини.

Наполеон слушал Жомини, глядя не на карту, а на пламя свечи в медном еврейском праздничном подсвечнике. Он продолжал думать о своем — не о бегстве и поражении, а о победе.

— Если бы не все сердца оробели, — взглянул он на маршалов, стоявших у стола, — то можно было бы произвести чудесный маневр: идти к верховьям Березины, броситься на Витгенштейна, охватить его, взять в плен! — зажегшись, горячо выпалил Наполеон.

Бертье смотрел на Наполеона с упоением. Евгений Богарне печально улыбался, как бы говоря: «Красивые сказки!» Мюрат, который окончательно завял, сник в этом бегстве армии, был настроен весьма скептически. Он только поднял вверх брови и подумал привычными кавалерийскими образами: «Загнал коня, а теперь хочет, чтоб он скакал рысью!»

Наполеону ответил генерал Жомини:

— Ваше величество, такое чудесное движение возможно лишь в Италии и Германии, где есть продовольствие.

Жомини возвращал Наполеона с небес фантазии на землю действительности.

...и крысы хвост у ней отъели.
Крылов

Адмирал Чичагов наслаждался отдыхом в небольшом уютном доме местного ксендза, который он занял для постоя в Борисове.

Румяный, плотно сбитый пятидесятилетний ксендз, еще два дня назад усердно возносивший молитвы за императора Наполеона, теперь смиренно склонялся перед русским адмиралом. Ксендз вынужден был уступить «москалю» весь домик, а сам остался жить в одной комнатке у кухни со своей тридцатилетней черноокой экономкой, несмотря на обет безбрачия, который он давал при посвящении в сан.

Впрочем, русский адмирал не был виновником прельщения почтенного отца-настоятеля: ксендз жил с экономкой уже около десяти лет, о чем знал весь Борисов. А адмиральские повара и денщики слышали, как ксендз пилил экономку за то, что она якобы не прочь преступить седьмую заповедь с главным поваром адмирала, не по-поварски сухим англичанином Томасом.

Павел Васильевич Чичагов, только что плотно, на английский манер, позавтракав натуральным бифштексом из свежей борисовской говядины, сидел в кабинете ксендза под миловидной мадонной, кормящей пышной грудью младенца, и чистил напильником ногти. И тут к нему вошел адъютант и с таинственным видом доложил, что казацки разьезды схватили за Зембиным нескольких пленных французов и один, по мнению всех штабных, очень похож на Наполеона.

— Он, как вы справедливо изволили отметить, ваше высокопревосходительство, малоросл,— доложил адъютант.

— А где он?— заинтересовался адмирал.

— Вон стоит у крыльца. Я нарочно велел поставить его так, чтобы вы, ваше высокопревосходительство, могли обозреть.

Адмирал живо подошел к окну и глянул. У крыльца стоял в синей французской шинели и треугольной шляпе действительно маленький человек. Он нетерпеливо поглядывал во все стороны, но казачий урядник, свесив из-под шапки светлый чуб, не спускал с пленника глаз.

— Изволите видеть, ваше высокопревосходительство, как есть все приметы: мал, плотен, шея короткая, волосы черные,— угодливо шептал адъютант, наклонившись к окну.

— Накормить и дать выпить. Пусть развяжется язык. Потом доставить ко мне,— приказал адмирал и снова сел в кресло под пышногрудой мадонной.

Чичагов чистил ногти и предвкушал, как напишет Александру Павловичу о том, что поймал его тильзитского «брата».

Прошел добрый час, пока пленник позавтракал. Наконец адъютант доложил, что француз готов.

— Сразу видно птицу по полету, ваше высокопревосходительство,— шептал адъютант.— Как он тонко разбирается в винах — с одного глотка узнал, что кло-вужо!

— Пусть войдет!— сказал Чичагов и встал у стола, на котором лежала гравюра, изображавшая Наполеона: адмирал возил ее с собой.

Дверь открылась, и адъютант ввел французского офицера лет сорока, в зеленом двубортном мундире с голубым воротником и зеленых рейтузах. У него были карие веселые глаза и полное, небритое лицо.

— Добрый день, господин адмирал!— непринужденно приветствовал Чичагова пленник.

Чичагов наклонил голову так, что подбородок вдавился в шею. Он надулся и смотрел с достоинством — адмирал принимал такую позу всякий раз, когда хотел показать свой независимый, гордый характер.

— Спасибо за вкусный завтрак. Только знаете, у нас в Париже другие соусы, более острые. Я, признаться, не очень люблю английскую кухню...

«Он даже каламбурит... Конечно, вам, государь, все английское не по вкусу!»— иронически подумал Чичагов.

А охмелевший француз продолжал развязно тараторить:

— А вот вино — неплохое.

Чичагов стоял все в той же позе собирающегося бо-даться бычка. Прикидывал в уме, косясь на лежащую гравюру:

«Рост и плотность — Наполеоновы. Волосы? Адъютант сказал — черные. Собственно, волос нет. Один седоватый венчик вокруг головы, а все остальное — голое, как орех. У Наполеона же сохранилась на макушке небольшая прядка. И все же какое-то сходство есть!»

— Прошу садиться, господин генерал,— предложил Чичагов.

— О, очень благодарен. Вы мне льстите, я еще не генерал, а всего лишь полковник,— по-приятельски улыбался француз, садясь в кресло у стола.

«Да, да, притворяется чудесно»,— подумал Чичагов, тоже садясь к столу.

— Скажите, а какое вино вы пьете у себя?— спросил он, вспомнив рассказы Александра Павловича о том, что Наполеон пил в Тильзите один шамбертен.

— Какое придется.

— Шамбертен?— чуть улыбнулся Чичагов.

— Да, и шамбертен,— ответил француз, осматривая комнату. Увидев мадонну и младенца, он подмигнул адмиралу:— А неплоха!

Чичагов вспомнил о том, что у Наполеона ведь есть сын, и спросил:

— Как ваш сынок?

— Который?— повернулся к нему француз.— У меня их три.

— Вы скромничаете, государь, у вас их, верно, больше,— сказал добродетельный Чичагов.

— Хе-хе-хе,— засмеялся француз и игриво дотронулся рукой до адмиралова колена.— Вы шутник, я вижу!

— Я говорю о вашем любимом сыне.

— Любимый — Наполеон, назван так в честь императора. Бедовый мальчишка. Он с матерью в Париже.

— Так, так,— удовлетворенно подтвердил Чичагов, покачивая ногой.— Вы ведь артиллерист, а носите, если не ошибаюсь, форму конноегеря?

— Нет, я никогда не служил в артиллерии. По росту я гоюсь в вольтижеры, как карманный мужчина. Но сам — прирожденный кавалерист.

— Вам понравилась Москва?

— Я не был в Москве. Я был только в Полоцке.

Чичагов молчал, испытующе глядя на француза в упор. Француз вдруг почувствовал себя неловко. Он оглянулся по сторонам, потом впервые обратил внимание на гравюру Наполеона, лежащую перед ним на столе.

Француз глянул еще раз на адмирала, потом еще раз на гравюру, и его лицо снова оживилось.

— Пойдите, пойдите, я, кажется, начинаю понимать! В полку мне уже говорили об этом сходстве не раз. Но

не может быть! Вы, вы принимаете меня за... императора?— вытаращил глаза полковник.

— А как знать, кто вы,— чуть улыбаясь, ответил Чичагов, закладывая руку за борт морского вицмундира.

— Кто я? Я полковник конноегерского полка Камиль Вуатю!

Веселость снова вернулась к нему.

— Я — император? О боже мой!— француз захохотал, схватившись за живот.— Я — император? И не потому ли вы угощали меня кло-вужо? О-хо-хо!— полковник хохотал до слез.

Чичагов сидел, покачивая ногой. Улыбка сползала с его важного лица. Щеки начинали покрываться краской.

— Да посмотрите же — у меня вон на щеке бородавка. Она от рождения.

Француз встал и, наклонившись к адмиралу, показал пальцем на довольно большую бородавку, сидевшую у него под глазом.

— У императора лицо чистое. Я видел его в лагере в Булони вот так же близко, как вижу вас!— уже не смеясь, сказал француз.

Адмирал Чичагов вскочил и, взбешенный, выбежал вон из комнаты.

На этом конфузном случае не суждено было окончиться неприятностям адмирала Чичагова в Борисове.

Граф Пален-второй, вступивший в командование авангардом вместо раненого Ламберта, прислал к Чичагову ординарца, прося подкрепления. Верстах в десяти от Борисова, у деревни Лошница, где должен был расположиться авангард, Пален наткнулся на превосходящие силы противника.

Разведка у Чичагова была поставлена из рук вон плохо, адмирал не имел представления о том, какие и где французские силы стоят на его пути в Оршу. Зная из сообщений главнокомандующего Кутузова, что Наполеон бежит в полном расстройстве, Чичагов не поверил Палену. Он решил, что толстый сибарит Павел Петрович Пален просто трусил. Чичагов не обратил внимания на его рапорт, велел солдатам варить кашу, а три тысячи кавалеристов отправил на фуражировку по левому берегу реки.

Но не прошло и часа, как прискакал второй гонец с известием, что французы теснят наш авангард. Об этом можно было бы не говорить — орудийные выстрелы гремели уже вот тут, под самым Борисовым.

Впервые за все командование сухопутными войсками Чичагов видел наступающего врага. До сих пор враг не принимал боя, и адмирал уже привык к легким победам. А теперь он растерялся: Чичагов не знал, на что решиться, — перевести ли оставшиеся на правом берегу войска и принять бой под Борисовом или уйти снова за реку. Пока он раздумывал, маршал Удино гнал Палена к Борисову. Дорога шла лесом. Палену негде было развернуть кавалерию для отпора.

Чичагов отдал приказ отступать на правый берег. Артиллерия и обозы бросились к единственному мосту через Березину. У моста тотчас же образовалась давка: всякий хотел поскорее очутиться на том берегу.

Адмирал Чичагов, бросив свои фургоны со столовым серебром и фарфоровой посудой, кинулся наутек. Повара и многочисленные слуги улепетывали вместе с ним.

Экономка ксендза тотчас же воспользовалась приготовленным для адмирала обедом, но не успела захватить фуры со столовым серебром и посудой — ими завладел маршал Удино, ворвавшийся в Борисов.

V

Борисовскому ксендзу повезло: не успел умчаться один постоялец, как его дом занял второй — французский маршал Удино.

По уверению экономки, русский адмирал был красивее и моложе французского маршала, но ксендз не поверил словам коварной сестры прародительницы Евы и продолжал не менее бдительно охранять ее целомудрие, чем охранял от русских.

Заняв Борисов, Удино немедленно начал разыскивать другую переправу через реку: мост у Борисова был наполовину сожжен отступавшими русскими, и на том берегу стоял Чичагов. Удино послал кавалерийские отряды и расспрашивал у местных жителей о бродах и переправах. К утру следующего дня он установил, что возле Борисова находятся четыре брода: один ниже Борисова у деревни Ухолоды и три выше города — у деревень Стахово, Студенка и Веселово. Удино думал остановиться на Студенке — она была подальше от Ухолод и Стахова, находилась недалеко от тракта на Зембин и по своему местоположению позволяла более скрытно вести подготовительные работы.

А самое главное то, что брод был проверен: у Студенки третьего дня удачно переправились французы.

Кавалерийская бригада генерала Корбино из его же 2-го корпуса, стоявшая в Глубоком, возвращалась по приказу Удино к корпусу. Но так как Борисов был тогда занят русскими, то бригаде пришлось переправляться через Березину. Корбино нашел по указаниям местных жителей брод у деревни Студенка, благополучно (потеряв с десятком людей отсталыми) переправился через Березину и соединился с Удино.

Как все маршалы Наполеона, Удино отличался личной храбростью, о чем свидетельствовали его двадцать восемь ран, но, как немногие из маршалов, Удино был на поле боя только хорошим исполнителем замыслов Наполеона, а вести самостоятельные операции не умел. И здесь, находясь в переходе от Наполеона, Удино не рисковал действовать сам, а обращался к Наполеону. Он послал генерала Корбино к императору с докладом.

Из всех бродов Наполеон выбрал Студенку. Император немедленно отправил Корбино назад, в Борисов. Он приказал готовить в Студенке мосты, а чтобы отвлечь внимание Чичагова, устроить ложную демонстрацию — рубить лес, якобы для переправы у деревни Ухолоды, а в Борисове распространить об этом слухи.

Наполеон правильно считал, что после этого к Ухолодам потянутся тысячи безоружных французских солдат. Они вряд ли уйдут от плена, но императору не было их жаль. И они еще сослужат службу — Чичагов подумает, что к Ухолодам стягиваются главные французские силы.

Удино точно выполнил приказ Наполеона. Он скрытно перебрасывал свой корпус к Студенке. Деревню заняла кавалерия Корбино, укрыв людей в лесу. К Ухолодам Удино двинул батальон пехоты и роту понтонеров. За ними, как и ожидал Наполеон, потащились толпы безоружных. С русского берега они, конечно, представлялись крупным воинским соединением.

В Борисове же разыграли комедию.

Начальник штаба корпуса Удино генерал Лорансе потребовал к себе знатных мещан города. Когда человек десять борисовских жителей явились в дом ксендза, Лорансе стал расспрашивать их о переправах ниже Борисова и дорогах к Минску, о глубине реки у деревни Ухолоды. Борисовские мещане подтвердили все, что и без них знали французы.

Генерал Лорансе оставил при штабе пятерых мешан в качестве будущих проводников, а с остальных взял клятву, что они никому не расскажут об этом разговоре.

Можно было не сомневаться в том, что не позже следующего утра Чичагов узнает обо всем, что говорилось в стенах знакомого ему дома ксендза.

Так и случилось.

VI

Наше отступление, начавшееся маскарадом, окончилось похоронным шествием.

Е. Лабов

Бегство французской армии продолжалось.

Этот необычный марш начинался с рассвета и кончался вечером. Подымались без сигнала и шли без команды и порядка, подгоняемые голодом и страхом. Обледенелая дорога терялась в непроглядной чаще леса, а надежда на спасение — во мраке длинных, голодных и становившихся все более ощутимыми холодных ночей.

В растерянности и смятении армия Наполеона приближалась к Борису, откуда неутешительно и тревожно, а не призывно, как было когда-то, раздавались пушечные выстрелы.

Деревень по дороге не было.

Приходилось разводить костры из сырых еловых или сосновых сучьев и веток. Нужно было приложить много усилий, чтобы только нарубить сучьев. К костру, который удавалось разжечь какой-нибудь более сильной и энергичной компании беглецов, уже не могли, как бывало еще до Смоленска, подходить погреться все желающие. Принимали только того, кто приносил свое топливо. Без него к костру не пускали не только солдат, но гнали прочь даже полковников и генералов.

Императорские слуги и лакеи, всегда ехавшие немного впереди, разводили громадный костер, чтобы согреть землю для императорской палатки. Слуги потихоньку доламывали кресла и столы главной квартиры, чтобы развести огонь. И Бертье и Коленкур смотрели на это сквозь пальцы. Рядом с костром, на месте которого потом ставили императорскую палатку, раскладывали второй — у него грелась свита.

Бредущие мимо этого яркого зовущего костра армейцы с завистью смотрели на жаркий, приветливый огонь. Там, у императора и его гвардии, находились и пища и тепло. Гвардейский обоз хоть и сильно уменьшился, но все-таки вез еще кое-какие запасы продовольствия. При всех задачах провианта, которые производились в некоторых пунктах по дороге, гвардия получала львиную долю.

А шедшим без команды и оружия, несшим на себе только награбленные в Москве ценные вещи, приходилось самим заботиться о питании и ночлеге.

Уже подходили к самому Борису. Густой бор, подымавшийся с обеих сторон хмурой стеной, уступил место полям. Впереди виднелась деревня, занятая какими-то войсками. Никто не знал, свои там или чужие.

Наполеон, ехавший верхом, побелел: неужели это войска Витгенштейна? Неужели перерезан последний путь?

Беглецы невольно остановились в страхе, но кто-то из генералов разглядел в зрительную трубу трехцветные французские знамена. Тогда все с радостными криками кинулись из последних сил к деревне.

Это были войска маршала Виктора, бесславно боровшегося против Витгенштейна и отступающего от Двины.

Солдаты корпуса Виктора, прекрасно снаряженные и вооруженные, сытые и бодрые, с удивлением и ужасом смотрели на своих товарищей. Вместо блестящих, стройных колонн «великой армии» они увидели безоружные, беспорядочные толпы грязных, худых, бородатых людей в лохмотьях, с ногами, обернутыми тряпками. Они, не испытывая стыда, угрюмо шагали, безучастно глядя по сторонам, как стадо пленников. Среди этого сброда виднелись треуголки офицеров и расшитые золотом мундиры генералов. Над толпами не рыло ни одно знамя.

Армия Виктора была поражена так сильно потому, что от нее скрывали положение главной армии.

Только всем знакомая фигура в серой шинели и маленькой треуголке осталась без изменения. Солдаты Виктора встретили императора обычным приветствием, которого он уже давно не слышал.

Действия маршала Виктора, а тем более его последний отход за Двину не вызывали восторга у императора, но, увидев боеспособные войска, Наполеон обрадовался. Тем более что вчера, не блиставший, как и Виктор, победами, маршал Удино выбил Чичагова из Борисова. Настроение

у Наполеона поднялось. В его, казалось, совершенно безвыходном, катастрофическом положении блеснул маленький, робкий луч надежды.

К вечеру 13 ноября Наполеон прибыл со старой гвардией в Борисов. Всегда верный своему правилу — «полководец не должен щадить себя в деле рекогносцировок, но беречь себя в бою», — Наполеон лично познакомился с обстановкой — проехал до самого моста через Березину. Перед ним расстилалась мутная полоса реки. По ней плыли небольшие льдины. Мороз был не настолько силен, чтобы сковать реку и сделать ее удобной для перехода, но все-таки доставлял много неприятностей голодным, одетым не по сезону солдатам его армии.

Русские сожгли со своего берега значительную часть моста. На их берегу весело горели многочисленные костры, стояли пушки, преграждавшие переправу.

Наполеон поехал в Старый Борисов в имение князя Радзивилла, которое лежало на одинаковом расстоянии от Борисова и Студенки; у Студенки император решил попытаться переправиться. С императором двинулась и старая гвардия.

Наполеон провел тревожную ночь. Он каждый час выходил на крыльцо дома послушать, не раздаются ли со стороны Студенки выстрелы. Сегодня решалась его судьба.

Против самой деревни Студенка, на правом берегу, стоял отряд генерала Чаплица. Когда Удино прислал к Студенке офицеров для осмотра места, они не смогли даже промерить реку, потому что на противоположном берегу шныряли казаки, а у деревни Брили виднелись тридцать русских пушек: Чичагов поставил у Брилей дивизию генерала Чаплица. Французские офицеры делали вид, что только поят лошадей в реке: казаков это не беспокоило.

Удино очень боялся, что русские заметят его приготовления к переправе и помешают строить мосты.

В Студенку приехали начальник понтонеров армии генерал Эбле и начальник саперов генерал Шаслу.

Вечером затемно пришли четыре роты понтонеров. Понтонеры и саперы работали всю ночь — разбирали деревенские хаты, выкидывали жителей, пилили бревна, заготавливали гвозди и делали козлы и плоты, потому что понтонные лодки неосмотрительно сожгли в Орше, думая, что в них не будет нужды.

Как ни старались делать все это потише, но нельзя было работать бесшумно, нельзя было обойтись без ко-

манды и, кроме того, нельзя было не разжечь костров, чтобы стало светлее и теплее. Все с тревогой посматривали на противоположный берег, где стояла дивизия Чаплица.

Но там царили мир и покой — даже пели, не чуя тревоги, петухи.

Наполеон не мог дожидаться утра. Он каждый час вскакивал с постели, думая, что уже кончилась ночь. Он не верил ничьим часам: ни своим, ни Бертье, ни часам хозяев, ни петухам, еще не переловленным французами. И в полной темноте двинулся к Студенке, проводником был генерал Корбино.

Маршал Удино размещался в маленькой, закопченной деревенской баньке, стоявшей в голых ольховых кустах у самой реки. Нерешительный Удино был в большой, понятной тревоге. Он боялся, что Чаплиц обнаружит их и ударит по мостам и переправе из своих тридцати пушек.

Но сегодня тревожился не один Удино. И более решительные и мужественные маршалы — Бертье, Ней, Мюрат — и все свитские генералы чувствовали себя весьма беспокойно.

Император с Бертье и Удино жались в тесной белорусской бане, пахнувшей сажей и березовыми вениками, за наскоро сколоченным столом, на котором лежала карта и стояла свеча.

Наполеон в который раз изучал течение этой проклятой реки. Длинноносый, с невеселым лицом маршал Удино стоял у порога, ожидая приказаний. А не похудевший за поход маленький Бертье грел руки у «каменки», которую топили ночью.

В тесном предбаннике, устланном тертой соломой, стояли Ней, Мюрат и генерал Рапп. Они вышли из бани, потому что всем не хватало в ней места.

У дверей бани маячили с ружьями у ног два усатых гвардейца.

— Наше положение неслыханное. Если Наполеон выпутается, тогда в нем сидит сам дьявол! — по-солдатски грубо сказал товарищам несдержанный Ней. Он говорил по-немецки, чтобы его не поняли часовые.

— Я предложил ему, — зашептал Мюрат, — спастись одному: переправиться через реку в нескольких лье отсюда. Мои польские уланы берутся доставить его в Вильну. Но он и слушать не хочет. Я не думаю, чтоб нам удалось вывернуться. О сдаче в плен, конечно, не может быть и речи. Мы все должны погибнуть здесь!

Мюрат огорченно махнул рукой и вышел из предбанника на свежий воздух.

Ней и Рапп ходили в раздумье по тесному предбаннику из угла в угол.

И вдруг Мюрат вбежал назад в предбанник и, расталкивая Ней и Раппа, кинулся в баню.

— Государь, неприятель очистил позицию! — закричал Мюрат так, словно звал в атаку.

— Не может быть! — вскочил со скамейки Наполеон.

— Посмотрите, они уходят.

Все бросились вон.

Из деревни, занятой русскими, тянулась в лес колонна пехоты. Ее замыкали казаки. Из тридцати пушек, стоявших на пригорке у деревни, не осталось ни одной. Бивачные костры чуть дымились, потухая.

Все, у кого были зрительные трубы, смотрели не отрываясь на это непонятное, но восхитительное зрелище.

Сомнений не оставалось — произошло невероятное чудо: генерал Чаплиц снялся с удобной позиции за час до того, как французские понтоны собирались ставить первые козлы для мостов.

— Фридрих Второй назвал бы это «его величество случай»! — говорил Наполеон, продолжая смотреть в трубу. — Я всегда считал, что всякое военное предприятие хорошо соображено, если две трети в нем отнесены на долю расчета, а одна треть на долю случая! — закончил Наполеон, опуская трубу и глядя на своих повеселевших маршалов. — Я обманул глупца адмирала. Он ждет меня там, где я ему подсказал! Где я хочу, чтоб он меня ждал!

Он сиял от счастья, которое свалилось так неожиданно.

Увидав, что Чаплиц ушел, Наполеон приказал поскорее занять противоположный берег.

Адъютант Удино, лейтенант Жакмино и граф Пшездецкий бросились на лошадях вплавь через реку. За ними последовало сорок охотников 7-го конноегерского полка. Конные егеря взяли на стремя по одному вольтижеру. Два простых небольших плота стали перевозить стрелков.

Переправившиеся на правый берег французы отеснили казачьи разъезды, которые показывались несколько раз на берегу.

Наполеон приказал наводить два моста — в двухстах саженях друг от друга: один для пехоты и кавалерии, другой для артиллерии.

В час дня закончили легкий мост — его настлали досками. Первой переправилась 6-я дивизия Лёграна из корпуса Удино. Она была в отличном состоянии и в полном, почти кадровом составе. Когда дивизия перешла на правый берег, она закричала: «Да здравствует император!»

Наполеон гордо взглянул на маршалов и сказал:

— Моя звезда взошла вновь!

VII

Любимец императора Александра I адмирал Чичагов считал себя непогрешимым в военном деле, недаром император отводил ему, англomanу, первую роль в поимке главного врага Англии Наполеона. Бежав на правый берег Березины, Чичагов был уверен, что Наполеон попытается переправляться где-либо возле Борисова, на кратчайшей дороге в Минск. Потому Чичагов с главными силами остался у Борисова, а дивизию Чаплица послал к деревне Брили против брода у деревни Студенка. Чаплиц должен был занимать дефиле у Зембина на пути в Вильну. Ниже Борисова адмирал поставил отряд генерала Орурка.

Когда же к Чичагову прибежали борисовские мещане и сообщили, что французы собираются переправляться в нижнем течении у деревни Ухолоды, где французские понтоны уже рубили лес, то Чичагов решил оставить Борисов и двинуться на юг к Шебашевичам.

Как ни уговаривал его начальник штаба опытный генерал Сабанев обождать, пока обстановка прояснится, самонадеянный и упрямый Чичагов не послушался и пошел со своими главными силами на юг.

Чаплицу он приказал подойти к Борисову, чтобы подкрепить оставленный у мостовых укреплений корпус Ланжерона.

Чаплиц, стоя у деревни Брили, заметил 13 ноября вечером возле Студенки многочисленные бивачные огни, услышал стук топоров. Он произвел разведку на левом берегу и взял пленных. Пленные показали, что между Старым и Новым Борисовом сосредоточена вся французская армия.

Чаплиц послал донесение об этом Чичагову и Ланжерону, а сам собрал свои войска, разбросанные между деревнями Брили, Веселово и Зембинским дефиле, к Брилям.

Он заботился только о дороге на Минск, а дорогу на Вильну оставил без внимания. На Зембинской болотистой дороге тянулась на несколько верст гать с десятками длинных мостов, делавших дорогу труднопроходимой. Если бы Чаплиц догадался все поджечь, французам, даже переправившимся через Березину, было бы невозможно спастись.

Прошел день. Чаплиц не получил от Чичагова никакого ответа, зато Ланжерон вторично приказывал идти с дивизией к Борису. И Ланжерон и Чичагов не придали сообщениям Чаплица никакого значения.

Чаплиц, видя готовящуюся переправу, мог бы на свой страх и риск остаться с дивизией у Брилей, но не захотел брать на себя лишнюю ответственность. Он пошел к Борису, оставив против Студенки слабый отряд генерала Корнилова, решив: «Начальству должно быть виднее, что надо делать!»

Бездарный, но самоуверенный адмирал Чичагов и исполнительный, но глупый генерал Чаплиц оказались той «звездой» Наполеона, которая засияла ему в Березине.

VIII

При Березине окончилась судьба великой армии, заставлявшей трепетать Европу. Она перестала существовать в военном отношении, ей не оставалось другого способа для спасения, как бегство.

Шамбре

К вечеру 14 ноября был закончен второй мост, предназначенный для артиллерии, ее парков и обоза. Этот мост делали из более толстых бревен и настилали не досками, а круглым лесом.

В течение ночи и следующего дня шла непрерывная переправа боеспособных частей и артиллерии под прикрытием сильной сорокапушечной батареи на высоком правом берегу у Студенки.

Толпы безоружных и обозы с награбленным в Москве добром, с которым никак не желали расстаться многие солдаты, их жены и любовницы, разбогатевшие жадные маркитанты, везшие десятки телег с дорогой даровой поклажей,— все они еще не успели подойти к Студенке.

Мосты, сделанные на козлах, ломались по несколько раз в день. Возницы мчались по ним вскачь, козлы постепенно углублялись в илистое дно. На мосту образовывались впадины и ухабы, бревна настила выпирали вверх, козлы расшатывались и подламывались. Движение приостанавливалось на несколько часов, пока неустойчивые понтоны не исправляли повреждения.

15 ноября в полдень переправился сам Наполеон со свитой и штабом в сопровождении гвардии.

Императорскую квартиру устроили в одном лье от реки, в маленькой деревне Занивье. Переправившиеся раньше войска дивизии Удино растаскали на костры все занавески хатенки. Уцелела только одна: в ней помещался штаб. Эту хату заняли под квартиру императора, хотя в ней уже не было крыши: солома, стропила и слегы давно исчезли.

Наполеон приказал генералу Эбле хоть приблизительно прикинуть, сколько понадобится бы дней для того, чтобы переправить все армейские и частные обозы, скопившиеся на берегу у Студенки.

— Понадобилось бы не менее шести дней, государь,— ответил Эбле.

— Их все надо сжечь на месте! — не выдержал Ней.

Наполеон молчал, думая о чем-то. Прекрасно знавший своего любимого властелина и опытный придворный угодник, маршал Бертье понял мысли Наполеона: ему не хотелось бы расстаться с «трофеями», вернуться в Европу с пустыми руками. Ему хотелось бы, чтобы новые тысячи солдат, которых он поставит под свои знамена, знали бы, что трудности похода вознаграждаются богатейшей добычей. Он колебался. Бертье понял его мысли и стал рьяно возражать прямодушному простаку Нею.

Решено было не жечь обоз — все равно приходилось ждать подхода частей корпуса Виктора. Маршал Виктор дрался с Витгенштейном, который наконец-то рискнул двинуться вперед.

До вечера 15 ноября давки на мостах не было, переходили только боевые части. Но поздно вечером к Студенке докатились первые волны моря беглецов с их несметным обозом. Грабители хотели не только уйти от справедливого мщения русского народа, но и увезти с собой награбленное.

Повозки, телеги, кареты, коляски, фуры подъезжали к мостам в тридцать — сорок рядов. Все пространство между мостами и тем местом, где стояла несчастная деревня Студенка, по бревнышку раскатанная французами для постройки мостов, оказалось покрытым повозками, людьми и лошадьми.

В ночь рискнули переправляться через Березину очень немногие, большинство отложило переправу до утра.

А утром 16 ноября на обоих берегах Березины загремели пушки: от Борисова шел Витгенштейн, а по правому берегу Чичагов. Оба они прозевали переправу Наполеона и теперь старались наверстать упущенное.

На правом берегу Наполеон уже сосредоточил почти всю свою армию: корпус Удино, гвардию и остатки корпусов Нея, вице-короля и Даву. На левом осталась для охраны еще не переправившихся обозов и беглецов одна дивизия Жерара из корпуса Виктора с двумя бригадами конницы, да у Борисова застряла следовавшая у Виктора в арьергарде 3-я дивизия генерала Партуно.

В полдень русские батареи стали уже обстреливать мосты. Снаряды падали в гущу столпившихся обозов, создавая панику. На мостах образовались заторы — ломались колеса, падали загнанные лошади, стояла страшная давка. Но короткий ноябрьский денек быстро пролетел, выстрелы стихли, поток едущих прекратился.

Наполеон не двигался никуда из Занивок — он ждал подхода последней дивизии Партуно: теперь каждый боеспособный солдат был для него на вес золота.

Ночью переправился с сорока орудиями и тремьями повозками своего обоза корпус Виктора. На левом берегу остались только его аванпосты.

Генерал Эбле предупредил расположившихся громадным табором беглецов, чтобы они переправлялись сейчас, потому что утром мосты будут сожжены. Но его предупреждений послушались немногие. Усталость и апатия овладели беглецами. Они были рады, что можно легко разжечь костер из поломанных чужих телег, поджарить любой кусок конины (павшие лошади валялись сотнями), и не думали о завтрашнем дне.

Утром 17-го Наполеон узнал в Занивье неприятную весть: дивизия Партуно сдалась в Борисове русским, окружившим ее со всех сторон. С Партуно сдались генералы

ле Камюс и Бланмон. Это был первый случай за всю кампанию, когда капитулировала целая французская дивизия.

В императорской квартире, которая помещалась в одной старой хатенке Занивья, все возмущались и негодовали:

— Так мог поступить только трус!

— Или полная бездарность.

— А кажется, Партуно был неплохой генерал! Однако какая небрежность!

— Не небрежность, а подлость!

— Капитуляция дивизии — позор!

— Поучился бы мужеству у Нея: Ней был тоже окружен, но не сдался же!

— Если генерал не имеет мужества драться, он должен предоставить это дело своим гренадерам! Барабанщик спас бы товарищей от бесчестия, ударив сигнал к атаке. Любая маркитантка спасла бы дивизию, крикнув: «Спасайся, кто может!», вместо того чтобы сдаваться! — кричал в гнев Наполеон.

Он велел отвести аванпосты Виктора и сжечь мосты: ждать было некогда.

Когда стали отходить последние солдаты Виктора, среди беглецов поднялась невообразимая паника. Все бросились к мостам. Тысячи разного рода повозок, нагруженных награбленным московским добром, мчались к спускам. Они давили встречавшихся на их пути людей, сталкивались друг с другом, сцепливались построшками. Кучера рубили чужие построшки саблями, другие кучера рубили их же самих, повозки опрокидывались, сшибая и давя пешеходов. На упавшую повозку налетали следующие. Груды исковерканных повозок, лошадиных и людских тел загромождали подход к мостам и сами мосты. Предсмертные крики, исполненные отчаяния и ужаса, дикая многоязычная ругань, бесполезные мольбы и страшные проклятия висели над холодной рекой. На мостах творилось неопишное.

Один из мостов провалился. Едущие, идущие сзади не видели этого, напирали, сбрасывая передних в воду, чтобы через минуту быть самим сброшенными туда же.

А с правого берега понтоны уже подожгли смолистые бревна. Сухое дерево студенских хат быстро загорелось. Черный едкий дым окутал мосты, поплыл над рекой.

Наиболее отчаянные и одержимые протискивались сквозь горы лошадиных туш, опрокинутые повозки и людские трупы и кидались в огонь, надеясь сквозь дым и пламя пробежать на спасительный берег. Многие бросались вплавать.

Те руки, которые убивали, насиловали, грабили, жгли Москву, теперь цеплялись за тонкие льдины, за обледенелые окровавленные устои моста, те люди, которые принесли неисчислимые бедствия русской земле и ее народам, хотели спастись, уйти от заслуженной кары, но гибли в мутных, студеной водах Березины, отомстившей за Двину, за Днепр, за Колочу, за Москву.

И вот уже из-за холмов показались высокие казацкие шапки и острые пики.

«Великая армия», завоевавшая всю Европу, перестала существовать.

Глава шестнадцатая

НА КРЫЛЬЯХ СТРАХА

Он на крыльях победы дерзновенно проник в Россию и на крыльях страха поспешил из нее.

Бошан

Бюллетень заключается, как и многие другие, словами: «Здоровье его величества было в наилучшем состоянии».

Осиротевшие семейства! отрите слезы: Наполеон здравствует.

Шатобриан

I

После Березины не стало ни центра армии, ни крыльев — все перемешалось: пехота, пушки, кавалерия.

Наполеон еще имел под ружьем двадцать тысяч человек: гвардию, кое-какие остатки армейских дивизий и корпуса Удино и Виктора, не успевшие окончательно потерять дисциплину и порядок. Эти боеспособные части по-прежнему тонули в многотысячной безоружной толпе бродяг, несмотря на то, что в самой Березине и на ее левом берегу у Студенки осталось не менее тридцати тысяч человек.

Только значительно уменьшился обоз, в котором армия Наполеона увозила награбленное в Москве добро.

За Березиной усилились морозы. Стало еще труднее с ночлегом и добычей провианта, тем более что и в Белоруссии в деревнях и лесах наполеоновских солдат ждали крестьянские топоры и вилы и неумолимые казацкие пики.

Казаки не давали Наполеону покоя. С ними ложились и с ними вставали. Слово «казак» подымало лучше трубы и барабана. Неутомимые, вездесущие донцы надоели Наполеону невероятно. Он все ждал, когда же придут к нему обещанные Варшавой «польские казаки».

Наполеон надеялся или только притворялся, будто надеется, что в Вильне армия станет на зимние квартиры и солдаты возвратятся под знамена. Он говорил Коленкуру, что в Вильне и Ковне у него большие продовольственные склады, что из Европы идут людские пополнения, и хвастливо заявлял:

— Я за неделю соберу в Вильне больше, чем русские у себя за целый месяц!

Наполеон сильно тревожился, какое впечатление на Францию и всю Европу произведет его отступление из России. Сообщения с Парижем были в последние дни прерваны. Сидя в карете, Наполеон подготавливал очередной, двадцать девятый бюллетень, чтобы заставить Европу думать так, как хочет он, как ему выгодно.

— Я расскажу все, пусть лучше знают подробности от меня, чем из частных писем,— говорил он Коленкуру.

21 ноября, в прекрасный солнечный день, при легком морозце Наполеон прибыл в тихое белорусское Молодечно. В Молодечне беглецы нашли не столько муки и крупы, сколько сена и соломы, но изобилие фуража было ни к чему: лошадей осталось очень немного.

В Молодечне Наполеона ждали четырнадцать эстафет из Парижа и депеши из Варшавы и Вильны. Пока все еще было спокойно: Европа верила в силы и могущество Наполеона.

Но Варшава о «польских казаках» молчала.

Впрочем, Наполеон надеялся, что скоро перестанет вообще видеть казаков. Он собирался уезжать из армии в Париж и осторожно заговорил об этом в Молодечне с наиболее близкими ему из придворных, чтобы узнать их мнение. Первому он сказал своему обер-штабмейстеру. И не из-за того, что в распоряжении Коленкура находились

эстафеты, лошади, все хозяйство главной квартиры, а потому, что Арман Коленкур был искренний и прямой человек.

— При нынешнем положении вещей я могу внушить почтение Европе только из дворца Тюильри,— доказывал император Коленкуру.

Коленкур понял Наполеона так: император торопится уехать, чтобы опередить известие об отступлении «великой армии».

Обер-шталмейстер принял сообщение императора спокойно и, как казалось Наполеону, вполне сочувственно.

Тогда Наполеон посвятил в свои планы Дарю.

Трезвый, рассудительный Дарю заметил, что не видит необходимости в отъезде императора: сообщение с Европой восстановлено.

— Я не чувствую себя достаточно сильным, чтобы оставлять между собою и Россией ненадежную Пруссию. Надо успокоить Францию и удержать немцев в повиновении. А чтобы не подвергаться излишним опасностям, надо уезжать немедленно!

Дарю выслушал доводы императора без возражений, но, видимо, остался при своем мнении.

— Кому же, государь, вы доверите армию? — спросил в этот же день Коленкур.

— Неаполитанскому королю или вице-королю, — ответил еще не решивший этого вопроса Наполеон. — Что думаете вы?

— Храбрость неаполитанского короля, безусловно, достойна полного уважения. Все помнят его многочисленные заслуги, но упрекают за то, что Мюрат погубил столь прекрасную кавалерию. Сумеет ли он реорганизовать армию? У него мало воли. Он самоотвержен в атаке, но сейчас не время для атак. Вице-короля ценят и любят больше, — ответил Коленкур.

Наполеон энергично защищал своего шурина, а не пасынка:

— У неаполитанского короля больше блеска, а теперь это нужнее; его ранг не позволяет подчиняться вице-королю. Если во главе армии останется вице-король, Мюрат покинет ее. За неаполитанским королем титул, возраст, репутация. Он внушает больше почтения всем маршалам, чем Евгений. Храбрость тоже кое-что значит, когда имеешь дело с русскими! Наконец, при нем я оставляю принца Невшательского! Бертье — придворный, привык-

ший к беспрекословному исполнению. Следовательно, в самой форме не будет никаких изменений.

Коленкур понял, что Наполеон не хочет выдвигать пасынка и далек от мысли оставить во главе армии наиболее даровитых маршалов, вроде Даву. Император предпочитал блестящую куклу — Мюрата.

— И нечего откладывать в долгий ящик. Я еду послезавтра из этого... из как его... из Шомона, — сказал Наполеон.

— Из Сморгони, — поправил Коленкур.

— Да, да. И держать все в строжайшем секрете, — приказал император.

Он боялся, как бы солдаты не возмутились его отъездом.

В тот же вечер в Молодечне император предупредил об отъезде начальника штаба. Когда толстый принц Невшательский узнал о том, что Наполеон, который не расставался с ним с Итальянского похода 1796 года, покинет его, послушный, почтительный, ехавший целые версты с непокрытой головой за «арабом» Наполеона Бертье вдруг в первый раз посмел возразить обожаемому монарху.

Наполеон возмутился его неповиновением, стал упрекать шестидесятилетнего принца Невшательского (который плакал и сморкался, как шестилетний ребенок) в неблагодарности: ведь Наполеон так облагодетельствовал его!

— Вам необходимо остаться с неаполитанским королем. Я-то отлично знаю, что вы не годитесь никуда, но другие этого не знают, и ваше имя в армии довольно популярно! Я даю вам на размышление двадцать четыре часа. Или оставайтесь при армии, или уезжайте в свое Гробуа и торчите там до смерти, не смея больше показываться мне на глаза! — визгливо, сердито кричал Наполеон, хотя в эту минуту он только притворялся сердитым.

Бертье не ждал даже двадцати четырех минут, он тут же покорно согласился остаться. Положение его было незавидное: он обожал Наполеона, он старался во всем подражать императору. Теперь же вместо Наполеона будет Мюрат. А Бертье, маленький, толстенький, плохо сложенный и некрасивый, никак не похож на Мюрата, если не считать того, что оба они любят женщин.

Здесь же, в Молодечне, во дворце князя Огинского Наполеон окончил и подписал свой знаменитый двадцать девятый бюллетень, в котором не было и намека на пани-

ческое бегство «великой армии» из России и на ее громадные потери. Наполеон в бюллетене признавался лишь в том, что французская армия лишилась «значительного числа лошадей в коннице и артиллерии».

О самой особе императора в бюллетене было сказано правдиво:

«Здоровье его величества не оставляет желать ничего лучшего».

Тысячи людей «великой армии» гибли каждый день, но виновник всех этих несчастий, не изведавший ни голода, ни холода, чувствовал себя превосходно: к чужим страданиям и бедам Наполеон был равнодушен.

Через день Наполеон был уже в заснеженной Сморгони.

Коленкур в строжайшем секрете приготовил все для отъезда императора, позаботился о лошадях до Вильны и об эскорте. Наполеон решил кроме слуг взять с собой Коленкура, Дюрока, графа Лобо и необходимого в пути польского капитана Вонсовича. Адъютанты и офицеры императорского двора должны были нагонять его в пути. Эскорту — тридцати гвардейским конноегерям, выбранным маршалом Лефевром из наиболее здоровых и лучших наездников, приказано было сопровождать императора только до Вильны. По Пруссии Наполеон собирался ехать под именем Коленкура, называясь его титулом «герцог Виценский».

И вот настал последний вечер 23 ноября.

Императорская квартира располагалась в помещичьем доме. Гвардия по-прежнему окружала ее, но не так, как случалось на походе, когда император помещался в деревенской хате, а гвардейцы сидели под открытым небом на своих ранцах и дремали, поставив ружья меж колен. В Сморгони армия заняла все ближайшие постройки, и только у помещичьего дома стоял на карауле взвод гвардейцев.

В девять часов вечера император устроил у себя нечто вроде совещания, хотя каждый из участников понимал его театральность.

Наполеон пригласил к себе всех маршалов, находившихся в армии. Пришли Мюрат, Даву, Ней, Бессьер, Лефевр, Мортье, Евгений Богарне. Не было одного Виктора — он командовал арьергардом. Наполеон с небывалой предупредительностью встречал каждого из них, рассыпал любезности и похвалы, старался всячески расположить их в свою пользу.

Пасынок, бывший в натянутых отношениях с Мюратом, попросил Наполеона отпустить его в Италию, но император отказал.

Особенно лебезил Наполеон перед Даву. Увидев его, Наполеон пошел навстречу, спросил, почему его давно не видно, не покинул ли Даву императора.

— Мне казалось, что вы, государь, недовольны мной, — ответил хмурый Даву.

Наполеон наговорил Даву похвал его замечательным полководческим талантам.

Затем приказал Евгению Богарне прочесть двадцать девятый бюллетень, а потом объявил, что сейчас же уезжает в Париж с Коленкуром и Дюроком, и просил всех сказать свое мнение.

Никто не возражал императору, понимая, что это было бы ни к чему.

Наполеон благодарил всех за прекрасные действия во время кампании и постарался оправдаться в своих ошибках.

— Если б я родился на троне, мне было бы легче избежать ошибок. Я поручаю командование армией неаполитанскому королю, — сказал император напоследок. — Надеюсь, что вы будете повиноваться ему, как мне, и среди вас будет полнейшее согласие.

Он радовался в душе, что уезжает, что уже через час не увидит этих тысяч голодных, оборванных, замерзших людей, которых его ненасытная жажда к власти и мировому господству заставила прийти в непреклонную, суровую страну. И от радости Наполеон, никогда не отличавшийся особыми сентиментами, поцеловал каждого из маршалов. После этого поторопился уехать.

Было десять часов вечера. Вызвездило. Стоял крепкий мороз — таких в Париже не случалось. Наполеон в шубе и шапке шмыгнул в поданный к крыльцу дормез. Коленкур сел с ним рядом. Вонсович, Рустан и берейторы Амодрю и Фagalъд вскочили на коней: они должны были ехать рядом с дормезом. Эскорт конноегерей давно стоял наготове.

Когда лакей захлопнул дверцу дормеза и сани, легко поскрипывая полозьями по снегу, тронулись с места, Наполеон сказал вслух то, что, видимо, терзало его все дни:

— Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, мо-

жет быть, я худо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного — один шаг. И пусть меня судит потомство!

Он помолчал несколько минут в раздумье, потом прибавил:

— А собственно говоря, чего мне стоила вся эта история? Какие-то триста тысяч человек. Причем в их числе было столько немцев! — презрительно фыркнул он.

...А в это время к большому костру гвардии, где грелось много старших офицеров, подошел командир батальона гренадер и громко сказал:

— А все-таки разбойник удрал!

— Что, император уехал? Когда?

— Пять минут назад, — ответил угрюмо командир батальона, садясь к огню.

— Бросил армию?

— Да, позорно бросил!

— Ему не впервые: вспомни Египет!

— Сам удрал, а нас оставил на погибель... Это низко! Это подло!

— Что и говорить: беспорядок в лавочке! — попробовал пошутить кто-то.

Но император Наполеон не слышал этих осуждающих слов — он убежал от справедливого мщения народов России, которых надеялся так легко и быстро поработить.

Глава семнадцатая

ВРАГ ИЗГНАН

Наполеон все царства поглощал
И никогда б глотать не утомился,
Да отчего ж теперь он перестал?
Безделица: Россией подавился!

Из стихов о войне 1812 года.

I

Русская армия шла за бегущей армией Наполеона по пятам.

Хотя солдат был одет и обут, но русская армия на каждом биваке оставляла сотни людей больными. А во время ежедневных форсированных переходов по разбитым

проселочным дорогам провиантские фуры не всегда поспевали за воинскими частями, и русскому солдату частенько приходилось потуже затягивать пояс.

Кутузов, как опытный военачальник, знал это и на биваке обязательно подъезжал к какому-либо полку, чтобы поговорить и подбодрить людей. Он помнил, как в солдатской песне поется:

Русский наш народ таков,
Он на все идти готов,
Лишь бы было нам дано
Хлеб, и мясо, и вино.

— Что это вы, братцы, едите? — по-отечески спрашивал он, подъезжая к пехоте на своем тихом белом «мекленбуржце».

— Да вот остатный сухарик размочили в водице, ваше сиятельство.

— А что, хлебушка разве нет?

— Нет, ваше сиятельство, — смущенно, точно провинившиеся в чем-то, отвечали пехотинцы.

— А говядины?

— Никак нет! — уже чуть свободнее говорили служивые.

— А вина?

При магическом слове «вино» обветренные солдатские лица расплывались в улыбке. Солдаты уже хором с мрачной веселостью кричали:

— И вина нет!

Фельдмаршал насупливался и громко, чтоб все слышали, кричал, грозя кому-то невидимому нагайкой:

— Погодите же вы, провиантские крысы! Я вас всех вздерну на виселицу! — И, обратившись к солдатам, успокаивающе говорил: — Завтра же, ребятушки, вам доставят всего: и хлеба, и мяса, и вина.

— Покорнейше благодарим, ваше сиятельство! — весело отвечали солдаты.

Фельдмаршал светлел. Минутку молчал, а потом подмигивал левым зрячим глазом и говорил вразумительно, не спеша:

— А матушку Расею освободить от злодея надо! Надо добить лютого врага, а то, пока мы будем отдыхать, он унесет ноги...

— Вестимо, надо!

— Да мы что? Мы готовы! — гудели солдаты, окружившие Михаила Илларионовича.

И с привала уходили хоть и не сытыми, но бодрыми. Шли, пересиливая все невзгоды и тяготы, шли с одной мыслью — выгнать врага с родной земли.

И гнали его все дальше, к Березине, где должны были встретить непрощёных гостей менее уставшие, мало сражавшиеся армии Витгенштейна и Чичагова.

А они, Витгенштейн и Чичагов, сплеховали.

Малоталантливый, слабовольный и робкий, Витгенштейн не посмел ударить, как следовало бы, по маршалу Виктору. Путь для Витгенштейна был совершенно открыт, но он боялся, что за Виктором стоит сам Наполеон. Витгенштейн не хотел ставить под удар свою репутацию «спасителя Петербурга».

А совершенно бездарный, хоть и волевой, адмирал Чичагов ушел по глупости с того места, где ему лучше всего следовало бы стоять, поджидая Наполеона.

И Наполеон проскользнул между ними двумя.

Когда в ставке главнокомандующего узнали, что Наполеон перешел через Березину, Кутузов был искренне огорчен.

Михаил Илларионович все время твердо держался одного убеждения: сильного врага, нагло вторгшегося в Россию, надо только выбросить за ее пределы. Незачем жертвовать русскими людьми и непременно добивать его тут же в угоду Англии. Но коль скоро представлялась возможность сообща уничтожить «великую армию» у Березины, следовало воспользоваться ею. И вот теперь такая возможность была позорно упущена.

В штабе главнокомандующего все возмущались глупейшими действиями адмирала Чичагова:

— Эх он, сальная пакля! Зря потерял три дня, двигувшись неизвестно зачем к Шебашевичам. Упустил «барина»!

— Да, господин адмирал изволил хорошо сесть на мель!

— И скажи, как они собрались там все на букву «ч»: Чичагов, Чаплиц. Черта только не хватает. Умники! Полководцы!

— Чичагов-то хоть в сражениях на сухом пути когда-нибудь бывал?

— Нет.

— Ну, знаешь: не учась и лаптя не сплетешь...

— А зачем тогда лезть в командование армией?

— Всякому лестно!

— Сказано: як не коваль, той рук не погань! — вставил присутствовавший при разговоре офицеров кутузовский Ничипор.

Среди солдат пошла ходить неизвестно кем пущенная молва:

— Аполиён подкупил адмирала: дал ему десять бочек золота!

Осторожный Михаил Илларионович публично не осуждал императорского любимчика, но наедине с Павлом Андреевичем Резвым обсуждал происшествие.

— Жаль, что я не послал к нему в помощь Карлушу Толя, — говорил Кутузов.

— Думаете, Чичагов послушался бы Карла Федоровича? — спросил Резвой. — Никогда! Капитан Лузгин жаловался: говорит, Чичагов не верит ни советам таких опытных людей, как его начальник штаба Иван Васильевич Сабанеев, ни донесениям разведки, никому. Все хочет сам. Своим разумением!

— Адмирал сотворен по образу и подобию своего дружка, императора Александра Павловича. Одного поля ягоды. Как он будет слушать мнение какого-то Сабанеева, если Сабанеев — русский? Это же не Вейротер и не Вильсон. Они оба, и Александр и Чичагов, презирают нас, русских! — сказал Михаил Илларионович и продолжал, смеясь: — Да на Павла Васильевича-то, собственно, и жаловаться нельзя: он адмирал, с него и спрос невелик. И подумаешь, что он такое сделал? Надо было идти влево, а адмирал пошел вправо, к Шебашевичам... А вот генерал Чаплиц, тот настоящая корова: торчал у Зембина, где по болотам одни гати проложены, где длиннющие мосты, и, уходя, не догадался их сжечь! Не генерал, а мамврийский дуб! — стучал по столу пальцами Михаил Илларионович.

В кутузовском штабе все были возмущены Чичаговым. Один Вильсон, знавший англomанию Чичагова, щадил адмирала. Вильсон распространил всюду нелепую мысль, будто в том, что Наполеону удалось уйти, виноват не кто иной, как... Кутузов.

II

Михаил Илларионович подъезжал к своей, как он издавна называл, «доброй Вильне». Он любил этот маленький уютный городок, укрывшийся среди зеленых холмов,

между которыми бежит широкая, веселая Вилия. Любил узкие средневековые виленские улочки, Острую Брамму, гордую Замковую гору, роскошный генерал-губернаторский дворец.

Михаил Илларионович два раза служил в Вильне военным губернатором, жил в ней привольно и нескучно.

И вот он приехал в Вильну в третий раз — главным командующим русскими войсками, перед которыми бежали разгромленные остатки «великой армии».

28 ноября войска Чичагова заняли Вильну. Михаил Илларионович попросил адмирала подождать его в городе и, опередив главную армию, приехал на следующий день после взятия Вильны, в восемь часов вечера, в любимый город. У городской заставы Кутузова встретил временный комендант Вильны с казачьим конвоем.

Михаил Илларионович ехал по слабо освещенным виленским улицам, которые еще были загромождены брошенными фурами, разного рода санями, завалены телами павших лошадей и замерзшими человеческими трупами солдат армии Наполеона, валявшимися всюду. На площадях горели костры: мороз был жесток.

В знакомом Михаилу Илларионовичу дворце его ждал адмирал Чичагов. Он был в морском вицмундире, с кортиком и фуражкой в руке. Чичагов, нарочно не надевший для встречи парадного мундира, не расшаркивающийся перед главным командующим, старался казаться независимым и гордым. Он понимал, что его карьера сухопутного полководца кончена и нечего зря притворяться.

Чичагов принужденно вежливо (он, так же как и Александр I, не любил Кутузова) отдал фельдмаршалу строевой рапорт и вручил городские ключи, о существовании которых Михаил Илларионович как-то до сих пор и не подумал.

Кутузов же встретил адмирала с подчеркнутой любезностью.

— Поздравляю вас, ваше высокопревосходительство, с одержанными победами над врагом и вместе с сим благодарю вас за ваши распоряжения, — сказал Кутузов.

Фраза имела несколько оттенков. Для простодушных в ней заключалась преувеличенная похвала: какие особенные «победы» одержал адмирал Чичагов? И неужели приказ Чаплицу отойти от Брилей к Борисову можно считать заслуживающим благодарности?

Для скептика же в фразе сквозила насмешка.

Чичагов прижал подбородок к шее и, едва разжимая губы, ответил с плохо скрытой злостью:

— Честь и слава принадлежат вам одному, ваше сиятельство, ибо все, что ни делалось, все, что ни исполнялось, исполнялось буквально во всей силе слова повелений ваших, следовательно, победа и все распоряжения есть ваше достояние!

Михаил Илларионович не стал спорить с адмиралом, а обнял его за талию и повел в каминную. Кутузов мог идти во дворец, закрыв глаза, — так все было знакомо. Даже лакеи остались те же.

— Ваши экипажи с посудой и столовым серебром, захваченные французами в Борисове, отбиты. Я велел их доставить вам, — сказал Кутузов, возвращая адмирала к его борисовским «победам».

— Благодарю вас, — вспыхнул Чичагов. — У меня хватает посуды. Я могу предоставить ее вам, если вы пожелаете давать обеды!

Позор Березины следовал за адмиралом как тень. От этого пятна Чичагову не удалось избавиться до смерти, несмотря на все ухищрения английских друзей оправдать действия Чичагова.

III

«Я прошлую ночь не мог почти спать от удивления в той же спальне, с теми же мебелью, которые были, как я отсюда выехал, и комнаты были вытоплены для Бонапарте, но он не смел остановиться, объехал город около стены и за городом переменял лошадей», — писал жене на следующее утро из Вильны Михаил Илларионович.

Отправив курьера с донесением и письмами в Петербург, фельдмаршал поехал встречать первые полки главной армии, вступающей в Вильну.

Он остановился на просторной кафедральной площади у величественного собора св. Станислава — здесь должны были проходить полки.

День выдался чудесный — солнечный, тихий. Мороз не сдавал, снег искрился и скрипел под ногами. Михаил Илларионович вылез из саней и стоял, окруженный генералами и адъютантами. Поодаль, у большого костра, жалась кучка любопытных горожан.

Пришедшие в Вильну полки готовились к смотру на площади у ратуши. К ним поскакал адъютант главнокомандующего Дзичканец сказать, что фельдмаршал ждет.

Михаил Илларионович ходил, поглядывая на высокую колокольню собора, на заснеженную Замковую гору с остатками башни Гедимины, потирал уши — мороз был знатный.

И вот от ратуши показалась колонна grenадер. Солдаты шли в разной одежде и обуви: одни в сапогах, другие в валенках, кто в шинели, а кто в полушубке, рядом с форменным, но холодным кивером виднелась какая-нибудь неположенная, но теплая меховая шапка.

Шли быстро и бодро.

Было радостно смотреть на войска, которые уничтожили такого грозного врага. Было приятно сознавать свое превосходство и силу.

— Песенники, вперед! — невольно вырвалось у фельдмаршала.

Из рядов grenадер выбежало десятка два людей. Впереди всех, лихо заломив кивер, у которого не хватало султана, приплясывал курносый молодой grenадер. И вместо привычных солдатских песен:

Мы, гвардейские солдаты,
Идем с радостью в поход...

или

Ах, мы Польшею идем,
Сами песенки поем...

курносый вдруг завел совершенно иную, неожиданную:

Весела тогда бываю
И довольна я судьбой,
Все на свете презираю,
Когда миленькой со мной!

И, повторяя припев, курносый grenадер при словах «когда миленькой со мной» заодно указал рукой на стоявшего впереди свиты Кутузова.

Это было так неожиданно просто и сердечно, что Михаил Илларионович рассмеялся.

Смеялась и вся свита.

А песня катилась дальше:

Как музыка нн играет,
Забавляя мя собой,

Но то лучше утешает,
Что мой миленькой со мной.

И запевала вновь указал рукой на фельдмаршала, а песенники с еще большей удалью и присвистом подхватили слова припева.

— Выдать от меня по полтине на брата! — обернулся Михаил Илларионович к смеющемуся Резвому.

Gренадеры уже поравнялись с собором, и приплясывающий запевала уже не был виден, но песня все гремела:

То мне служит в утешенье,
Было б в тягость что одной:
Разделяет упражненье
Всегда миленькой со мной!

Встречать истинных победителей было приятно, но совсем не радовала Михаила Илларионовича встреча с «победителем», который всю тяжелую кампанию спокойно просидел в тепле и неге петербургского Зимнего дворца. Александр I, узнав, что Вильна отбита от врага, заторопился из Петербурга к армии — он не доверял Кутузову и хотел взять руководство в свои руки.

Старая неприязнь Александра к Кутузову неоднократно прорывалась в течение всей кампании. Хотя император в рескриптах к Кутузову и подписывался «в прочем пребываю Вам благосклонный», но настоящая благосклонность в отношениях Александра к почтенному полководцу и не ночевала. Александр был недоволен Кутузовым за Москву, за Тарутино, за Малоярославец, за Красный — за все. Александру казалось, что Кутузов всегда делает наперекор ему. Император не желал понимать простой истины: Кутузов радел о благе России, а он, Александр I, о своем престиже и собственной славе.

Размолвки происходили на каждом шагу. Уже на третий день пребывания в Вильне фельдмаршал в рапорте писал императору:

«Главная армия, быв в беспрестанном движении от Москвы до здешних мест на пространстве почти тысячу верст, несколько расстроилась. Число ее заметно уменьшилось, и люди, делая форсированные марши и находясь почти день и ночь то в авангарде, то в беспрестанном движении для преследования бегущего неприятеля, в очевидное пришло изнурение; многие из них отстали и только во время отдохновения армии догнать могут.

Во уважение сих обстоятельств, дабы войска Вашего императорского величества привести в желаемое состояние и с лучшими успехами действовать на неприятеля, я положил дать здесь отдых главной армии на несколько дней, что, однако ж, может продолжиться до двух недель».

Несколько дней назад он писал об этом же из Радошковичей, а теперь повторял свою окончательную просьбу.

Но не успел курьер выехать из Вильны, как прискакал фельдъегерь из Петербурга и привез не считающийся ни с чем строгий приказ императора:

«Никогда не было столь дорого время для нас, как при теперешних обстоятельствах, и потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим, преследующим неприятеля, ни на самое короткое время в Вильне».

Александр I не больше жалел русских солдат, чем Наполеон жалел немецких!

Предстоял серьезный разговор по поводу дальнейшего ведения войны. Александр I рвался освободить Европу, готовился проливать русскую кровь во имя интересов Англии и Пруссии. А Кутузов, зная цену «дружбе» европейских держав, считал не только ненужным, но и неосмотрительным усиливать немцев: они клянутся в дружбе, а за пазухой всегда держат нож. Эти «друзья» легко могут оказаться врагами.

Кутузов готовил императору строевой рапорт. Рапорт получался малоутешительным. Когда главная армия выходила из Тарутина, в ней насчитывалось девяносто семь тысяч человек при шестистах двадцати двух орудиях. К Вильне же пришло лишь двадцать семь с половиною тысяч при двухстах орудиях. Двенадцать тысяч человек убитыми во время преследования французов, а сорок восемь тысяч заболевших по дороге остались лечиться в госпиталях.

Враг уже изгнан из России. В журнале военных действий Кутузов записал:

«Следы неприятеля остались видимыми только по косям его, усеянным по полям, начав от Москвы и до границы».

Пора остановиться, поставить точку. А Александру все еще хочется самому взять реванш за Аустерлиц, ему не дают спать лавры Кутузова.

11 декабря 1812 года император Александр I приехал вечером в Вильну.

В монастырях и госпиталях трупы французов валялись грудями. Не было ни одного дома, где бы не лежали раненые или больные. Но улицы Вильны, по которым должен был следовать к генерал-губернаторскому дворцу Александр, были иллюминированы, а сам дворец сиял огнями.

Фельдмаршал Кутузов, в парадном мундире, с лентой через плечо, встретил императора у дворца, рапортовал ему о том, что 2 декабря остатки главной французской армии перешли за Неман. Из трехсот восьмидесяти тысяч, вошедших в пределы России с многочисленной артиллерией, едва осталось пятнадцать тысяч без единого орудия. Вручил императору строевой рапорт.

Александр прошел по фронту выстроенного почетного караула — роты лейб-гвардии Семеновского полка — и вместе с Кутузовым направился во дворец, расточая комплименты старому фельдмаршалу, — притворяться императору было привычно и легко. Кутузов только почтительно кланялся, думая про себя: «Врешь, не проведешь!»

Улыбаясь налево и направо генералам и виленской знати, собравшейся приветствовать русского императора, Александр прошел в кабинет, где его ожидали уже лакеи и приехавший вместе с другими петербургскими сановниками обер-гофмаршал Толстой.

Михаил Илларионович понимал, что император устал с дороги и его следует оставить одного, но не мог не высказать тотчас же главной своей мысли, которая мучила Кутузова все время:

— Ваше величество, ваш обет исполнен: на русской земле не осталось ни одного вооруженного неприятеля. Теперь от вашего величества зависит исполнение второй части обета — прекратить брань.

Александр, конечно, предвидел, что Кутузов заговорит об этом. Он ответил заранее приготовленной фразой. В ней сквозь льстивое признание заслуг Кутузова проглядывало непреклонное намерение царя продолжать дальше эту ненужную для России войну:

— Михаил Илларионович, вы спасли не только Россию, вы спасли Европу! — сказал, стараясь не смотреть на фельдмаршала, император.

Кутузов понял, что государь будет стоять на своем. Он поклонился и ушел из кабинета в залу, где еще все ждали, не зная, выйдет к ним император или нет.

Не прошло и минуты, как дверь кабинета отворилась и из нее вышел обер-гофмаршал Толстой. Он нес на серебряном блюде орден Георгия первой степени. Толстой подошел к Кутузову, говорившему с генерал-адъютантом царя князем Волконским и статс-секретарем Шишковым, и почтительно протянул Михаилу Илларионовичу блюдо, сказав:

— Его императорское величество жалует вам, князь, орден Георгия Победоносца первой степени.

Обер-гофмаршал подчеркнул слово «Победоносца».

Михаил Илларионович с поклоном взял дрожащей рукой орден, олицетворяющий победу России.

Все окружили его, наперебой поздравляя с высокой наградой.

Кутузов машинально благодарил, но плохо слушал эти излияния. Он думал свое: «Да, русский народ отстоял Отечество и избавил Европу от тирании! Спасенная Европа, конечно, постарается поскорее забыть об этом подвиге России.

Но история, но наши потомки забыть не должны!..»

1951—1961

О Г Л А В Л Е Н И Е

М. Алексеев. Слово о подвиге

5

Часть первая «ИЗ СТАИ СЛАВНОЙ»

Глава первая. «Чугун кагульский, ты священ!»

14

Глава вторая. Фонтан Сунгусу

35

Глава третья. Женильба

48

Глава четвертая. Очаков

67

Глава пятая. «День Измаила роковой...»

85

Глава шестая. «Бедный Павел!»

100

Глава седьмая. Посол России

118

Глава восьмая. Отец и сын

157

Глава девятая. «Властитель слабый и лукавый»

201

Глава десятая. Рущукская виктория

237

Часть вторая «СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ 1812 ГОД»

Глава первая. Встревоженный Петербург

304

Глава вторая. Наполеон торопился	336
Глава третья. Народный избранник	374
Глава четвертая. «Приехал Кутузов бить французов!»	396
Глава пятая. «Про день Бородина»	417
Глава шестая. Народ на войне	451
Глава седьмая. Фили	466
Глава восьмая. Москва в огне	496
Глава девятая. В тарутинском лагере	513
Глава десятая. Партизанское житье	553
Глава одиннадцатая. Русская армия наступает	560
Глава одиннадцатая. Наполеон просит мира	572
Глава тринадцатая. Малоярославец	591
Глава четырнадцатая. Наполеон бежит	613
Глава пятнадцатая. Березина	640
Глава шестнадцатая. На крыльях страха	666
Глава семнадцатая. Враг изгнан	672

Р19 Раковский Л. И.
 Кутузов: Роман / Предисл. М. Алексеева.—
 М.: ДОСААФ, 1987.—684 с.— (Б-ка «Отчизны
 верные сыны»).

3 р. 10 к.

Роман о великом русском полководце и выдающемся дипломатическом
 деятеле Михаиле Илларионовиче Кутузове.
 Для массового читателя.

Р $\frac{4702010200-080}{072(02)-87}$ КБ—13—41—87
 БЗВ—1—2—87

ББК 84.Р7
 Р2

Литературно-художественное издание

Раковский Леонтий Иосифович

КУТУЗОВ

Заведующий редакцией **Г. В. Самолис**
Редактор **А. В. Юркин**
Художник **М. Л. Буткин**
Художественный редактор **А. А. Митрофанов**
Технический редактор **В. Н. Кошелева**
Корректор **Е. А. Платонова**

ИБ № 2265

Сдано в набор 27.01.87. Подписано в печать 22.06.87. Г. 13810. Формат 84×108^{1/32}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,75. Уч.-изд. л. 37,29. Тираж 300 000 экз. Заказ 608. Цена 3 р. 10 к. Изд. № 1/с-254. Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Куйбышевского обкома КПСС. 443086, г. Куйбышев, просп. Карла Маркса, 201.

В 1987 году романом Л. Раковского «Кутузов» Издательство ДОСААФ СССР начинает выпуск библиотеки «Отчизны верные сыны». Пятьдесят томов библиотеки выйдут к пятидесятилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Библиотека включит наиболее крупные, этапные произведения русской и советской художественной литературы, посвященные полководцам, пламенным патриотам Отечества, защитникам Родины. Цель этого фундаментального издания — на ярких эпических полотнах показать преемственность героических традиций нашего народа, образцы беззаветного служения Отчизне, воспитывать молодежь в духе патриотизма и готовности к защите Родины. Вместе с тем, библиотека призвана приобщить читателей к лучшим произведениям русской и советской литературы, героико-патриотической классике.

В 1988 году увидят свет следующие издания:

Андреев Ю. А., Воронов Г. А. Багряная летопись.

При всей необычности биографий многих героев роман документален, построен на изображении подлинных событий 1919 года. Центральная фигура произведения — выдающийся советский полководец Михаил Васильевич Фрунзе, осуществивший блистательный разгром войск Колчака. В книге показаны и ближайшие соратники Фрунзе.

Форма романа, сочетающего исторический размах с воссозданием частных судеб, позволила авторам слить многообразие сюжетных линий в единую летопись революционного времени.

Корольков Ю. М. Кио ку мицу!

Роман о замечательном разведчике, Герое Советского Союза Рихарде Зорге, который в тридцатых-сороковых

годах, находясь в качестве немецкого журналиста в Китае, Японии и других странах, добывал ценную для Советского Союза информацию.

С у б б о т и н А. А. За землю Русскую.

В центре этого исторического романа — образ Александра Невского, талантливого полководца и выдающегося государственного деятеля тринадцатого века. Главное внимание автор сосредоточил на молодых годах князя, его славных победах, нетленных в памяти народа.

Ф е д о р о в П. И. Генерал Доватор.

Широкое эпическое полотно, воссоздающее картину боевых действий кавалерийской группы, преобразованием в 3-й кавалерийский, а затем — во 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Рассказывая о блистательных победах конников, одержанных летом — зимой 1941 года под командованием прославленного героя Великой Отечественной войны Льва Михайловича Доватора, автор достигает подлинных высот драматизма, рисует характеры истинно народные, волнующие современного читателя.

Напоминаем, что издательство распространением книг не занимается. Приобретайте наши издания в книжных магазинах.

